ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО



ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · 3 · 2

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО — ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

3

ЖУРНАЛЬНО-ГАЗЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
1 · 9 · МОСКВА · 3 · 2

МАРКС И ЭНГЕЛЬС О ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ «ФРАНЦ ФОН ЗИКИНГЕН»

ПЕРЕПИСКА МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА С ЛАССАЛЕМ

Предисловие редакции «Литературного Наследства»
Статья Георга Лукача

Переписка Маркса и Энгельса с Лассалем по поводу его трагедии «Франц фон Зикинген» стала известна уже в начале 90-х гг. прошлого века, когда Э. Бернштейн впервые воспользовался оставшимися у Энгельса письмами Лассаля к Марксу и Энгельсу и напечатал в «Neue Zeit» и в изданных им сочинениях Лассаля письмо последнего (от 6 марта 1859 г.) об идее трагического в «Зикингене» [1]. Затем письма Лассаля к основоположникам научного социализма были напечатаны Мерингом в четвертом томе «Literaricher Nachlass», переведенном и на русский язык [2]. Но до конца мировой войны письма как Маркса, так и Энгельса оставались неопубликованными и было неизвестно их отрицательное отношение к эстетическим и политическим взглядам Лассаля в трагедии «Зикинген»; об их критике этих установок можно было судить только по цитатам и полемике, содержащимся в письмах Лассаля. И лишь после окончания войны Густаву Майеру удалось найти письма Маркса и Энгельса к Лассалю, хранившиеся в замке потомков графини Гацфельд в Эльзас-Лотарингии. Полностью переписка Маркса и Энгельса с Лассалем была опубликована как III том шеститомного издания литературного наследства Лассаля в 1922 г. [3] Отрывки из новонайденной переписки Маркса и Энгельса и оба письма по поводу «Зикингена» были переведены на русский язык и напечатаны в 1922 г. в журнале «Под знаменем марксизма». Таким образом вся переписка по поводу трагедии Лассаля для русского читателя была разбросана и настолько плохо переведена (особенно ранние русские переводы), что в ее тексте местами был совершенно искажен смысл. В настоящей публикации 1) впервые воедино собраны все письма как Лассаля, так и Маркса и Энгельса, имеющие отношение к трагедии, 2) русский перевод в основном сделан заново и отредактирован И. Б. Румером, 3) печатается специальная работа Георга Лукача, посвященная этим материалам.

Собрав всю переписку Маркса и Энгельса с Лассалем вокруг полемики об этой драме, мы имеем возможность оценить ее огромное теоретическое и политическое значение. Эта переписка представляет величайшую важность для решения основных вопросов марксистско-ленинского литературоведения. Ответные письма Маркса и Энгельса являются одним из лучших документов, оставленных нам основоположниками марксизма как наглядный пример сугубо политического, партийного подхода к вопросам литературы и эстетики; они являются одним из лучших образцов конкретного анализа художественного произведения и показывают, как Маркс и Энгельс в своих эстетиче-

---

1 Ferd. Lassalle's Reden und Schriften, Neue Gesamtausgabe mit einer biographischen Einleitung. Hrsg. von Ed. Bernstein. Bd. 1—3. Berlin, Vorwärts, 1892—1893 (письмо напечатано в I томе, стр. 32—41).

2 Письма Ферд. Лассаля к К. Марксу и Ф. Энгельсу. С примечаниями Ф. Меринга. Изд. 2-е. СПБ., «Литерат. Дело», 1907.

3 Der Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx. Hrsg. von G. Maver, Stuttgart, 1922. Существует русский перевод первой части этой переписки (до 1859 г. вкл.) в заграничном меньшевистском издании (Ф. Лассаль, Переписка между Лассалем и Марксом. Изд. Г. Майера, перев. с нем. Ф. И. Дана. Берлин, 1923).

ских суждениях, в решении таких вопросов, как творческий метод, взаимоотношение единичного и всеобщего, индивида и класса и т. д., не отрывают этих вопросов от конкретной политической практики класса, от исторического развития классовой борьбы, а наоборот теснейшим образом связывают решение этих вопросов именно с мировоззрением автора (Лассаля) как представителя определенного класса и определенной исторической ситуации. Они убедительнейшим образом показывают, как абстрактно-морализующий, субъективистский метод творчества Лассаля в «Зикингене» неразрывно связан с его идеалистическим, буржуазно-революционным, а не пролетарским мировоззрением, они же показывают, как должен был бы писать, каким творческим методом художественно оформить трагедию революционный идеолог пролетарской партии.

Маркс и Энгельс в этих письмах ставят вопрос о политических союзниках руководящей революционной партии, об отношении индивида, «героя», к классу и разоблачают идеалистичность и действительный классовый смысл цезаристской исторической концепции «героя» в «Зикингене», который якобы может распоряжаться общественными классами. Насколько Маркс и Энгельс были правы в своей критике, показывает вся деятельность Лассаля как организатора и руководителя немецкого рабочего движения 60-х гг., его бонапартистские стремления стать «Ришелье пролетариата» (Маркс), его союз с Бисмарком и предательство рабочего класса, как это особенно ясно подтвердилось после опубликования его переписки с Бисмарком [1].

Лассальянство уже в течение долгого времени является знаменем оппортунизма, ревизионизма, ренегатства, всяческих извращений марксизма. Лозунг «назад к Лассалю» выбрасывается, начиная от русских струвистов и кончая современными социал-фашистами, опирающимися в своей «реальной политике», в тактике «меньшего зла» и защиты капиталистического общества на «старую, испытанную» тактику и теорию родоначальника оппортунизма — Лассаля. В области литературы и эстетики, в которой Лассаль всегда оставался до конца идеалистом, оппортунисты и ревизионисты марксизма также опирались, где только могли, на мнения Лассаля. И поэтому-то переписка вокруг «Зикингена» приобретает такое чрезвычайно важное значение для характеристики отношений Маркса и Энгельса к Лассалю. Этим объясняется то обстоятельство, что эта полемика, несмотря на сравнительно позднее издание писем Маркса и Энгельса, уже имеет свою богатую литературу. Нет кажется ни одной биографии или другой работы о Лассале как марксистских, так и буржуазных авторов, в которой не было бы посвящено ей главы или хотя бы нескольких страниц. Интересен например отзыв известного буржуазного биографа Лассаля Германа Онкена, который писал о ней в 1923 г.: «Так, в трагедии «Зикинген» общественное движение реформации и нашего времени отступает на задний план перед единой, духовно свободной и избавившейся от князей Германией. Такое же точно развитие действия, как у Лассаля, мог бы сочинить и буржуазный демократ, а не ученик Маркса. Эту разницу учитель остро почувствовал» [2]. Особенно много занимался этой полемикой Э. Бернштейн — и притом весьма характерно, что в связи с его политической эволюцией менялась и его оценка «Зикингена». Именно Бернштейн первый опубликовал большое письмо Лассаля от 6 марта 1859 г. об идее трагического. Живя в Лондоне после закрытия заграничного органа германской с.-д. партии «Социал-Демократ», Бернштейн занялся по поручению партийного издательства подготовкой собрания сочинений Лассаля с биографическим очерком его жизни. Бернштейн тогда находился под непосредственным идейным руководством Энгельса и весьма резко относился к Лассалю и лассальянству. Энгельс же и предоставил Бернштейну находящиеся в его распоряжении письма к Карлу Марксу, среди которых находилось и вышеназванное. Бернштейн сразу же напечатал его в «Neue Zeit», но без определенных комментариев [3]. В своем биографическом очерке он критикует точку зрения Лассаля в «Зикингене» и его эстетические взгляды почти дословно, как в пись-

---

[1] Gustav Mayer, Bismarck und Lassalle. Gespräche und Briefe. Berlin, Dietz, 1928; в русском переводе переписка Лассаля с Бисмарком напечатана в «Летописях марксизма» 1928 г., № 6.

[2] H. Oncken, Lassalle. Eine politische Biographie. 4 Aufl. Stuttgart—Berlin, 1923, S. 153.

[3] Ed. Bernstein, Lassale über die Grundidee seines Franz von Zickingen («Neue Zeit» 1891, Bd. II, S. 588—597).

мах Маркса и Энгельса. Это совпадение объясняется очевидно тем, что Энгельс изложил Бернштейну свою точку зрения на эту драму. Любопытно, что Бернштейн попутно упрекает Лассаля в выпячивании тенденции (поверхностной) и в чрезмерном «рефлексировании»; все это доказывает, что эта критика была написана под влиянием Энгельса. Но совершенно иначе Бернштейн оценивает трагедию «Зикинген» и его автора в 1919 г., когда он после войны выпустил новое издание сочинений Лассаля. Бернштейн вскоре после смерти Энгельса сделался вождем ревизионизма и — увы — теперь он уже не критиковал, а опирался на Лассаля. Ренегат и социал-фашист Бернштейн в 1919 г. в предисловии к первому тому сочинений Лассаля пишет о «Зикингене»: «Франц фон Зикинген» разрабатывает исторический конфликт XVI в., который в иной форме вновь оживает в XIX и который XX век пытается разрешить опять-таки иным способом: это — борьба за единство Германии против притязаний различных светских и духовных властителей. Лассаль превозносит Зикингена и его друга и советника Гуттена как героев этой борьбы, окончившейся поражением благодаря тактическим ошибкам (!) Зикингена»[1]. Возвращаясь к своей точке зрения в биографическом очерке к изданию 1892—1893 гг., Бернштейн продолжает:

«Лассаль, по мнению процитированной нами во введении биографии, впадает в заблуждение, игнорируя причинную связь между вышеуказанными ошибками Зикингена и тем обстоятельством, что Зикинген и Гуттен являлись представителями обреченного класса и поэтому были вынуждены своего рода необходимостью к такой политике, которая исключала возможность победы. Но если взять драму такой, как она есть, то оказывается, что Лассаль, преподнося своим мечтавшим о единой неделимой Германии современникам картину прежней неудачной борьбы за этот идеал, хотел предостеречь их от политических ошибок, повлекших за собой поражение Зикингена. Сущность этих ошибок он излагает в примечательной статье о трагическом замысле «Франца фон Зикингена», столь заслуживающей особого внимания в наше время, когда самое понятие о вине в политических актах сильно пошатнулось»[2].

Таким образом драма Лассаля теперь должна была служить ширмой для патриотических «отечественных» забот социал-предателя Бернштейна.

Немало писал о «Зикингене» и Франц Меринг в своей «Истории германской социал-демократии», биографии Маркса и ряде других своих работ. Но и Меринг, несмотря на то, что он был одним из вождей германской «левой», до конца жизни не освободился от полуменьшевистских взглядов, в частности и по вопросам литературы и искусства. В трактовке взаимоотношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем он всегда оправдывал тактику Лассаля в раннем рабочем движении, противопоставляя ее тактике Маркса и Энгельса. И в области эстетики Меринг опирался в гораздо большей степени на идеалиста Лассаля, нежели на Маркса и Энгельса. Его защита творческого метода Лассаля, переоценка классического литературного наследства (в особенности Шиллера), недооценка пролетарской литературы и ряд неправильных положений в теории искусства, сближающих его в этих вопросах с Каутским, Троцким и другими центристами довоенного II Интернационала, восходят в значительной степени к эстетике Лассаля.

Лассальянство, как оно было выработано и оформлено в теории и практике самого Лассаля и его наиболее талантливого последователя И. Б. Швейцера, всегда и притом уже очень рано получало самый резкий отпор со стороны В. И. Ленина; в ряде статей он вскрывает оппортунизм этого течения в рабочем движении и разоблачает тех идеологов II Интернационала, которые или открыто проповедывали возврат к Лассалю, или покровительствовали лассальянству, вычеркивая например резкие отзывы Маркса и Энгельса о Лассале при издании их литературного наследства, и т. п. Помимо Бернштейна по этому вопросу в работах Ленина особенно резко критикуется и Меринг. Полемику Маркса и Энгельса с Лассалем о «Зикингене» Ленин использовал в 1911 г. в вопросе о «левоблокизме». В статье «Принципиальные вопросы избирательной кампании»[3], выступая против меньшевиков Ю. Чацкого, Л. Мартова и Ф. Дана, он пишет:

---

[1] Ferd. Lassalle, Gesammelte Reden u. Schriften. Hrsg. u. eingeleitet von Ed. Bernstein. Bd. I—XII, Berlin, Cassirer, 1919.

[2] Там же, т. I, стр. 9—10.

[3] Ленин, Сочинения, 2-е изд., т. XV, стр. 347.

«Именно «левоблокистская тактика», именно союз городского «плебса» (современного пролетариата) с демократическим крестьянством придавал размах и силу английской революции XVII, французской XVIII века. Об этом Маркс и Энгельс говорили много раз не только в 1848 году, но и гораздо позже. Чтобы не приводить много раз уже приводившихся цитат, напомним переписку Маркса и Лассаля в 1859 году. По поводу трагедии Лассаля «Зикинген» Маркс писал, что коллизия, проведенная в драме, «не только трагична, но она есть именно та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848 и 1849 годов». И Маркс, уже намечая в общих чертах всю линию будущих разногласий лассальянцев и эйзенахцев, упрекал Лассаля, что он впадает в ошибку «тем, что ставит лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской». Нас не касается здесь вопрос о том, правилен или не правилен упрек Маркса: мы думаем, что правилен, хотя Лассаль энергично защищался от этого упрека. Важно то, что ставить «лютеровско-рыцарскую» (либерально-помещичью в переводе на русский язык начала XX века) оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской» (пролетарско-крестьянской, в таком же переводе) и Маркс, и Лассаль считали явной ошибкой, считали абсолютно недопустимым для социал-демократа!»

В. И. Ленин тогда не знал полной переписки между Марксом, Энгельсом и Лассалем по поводу «Зикингена» и был знаком с точкой зрения Маркса лишь по цитатам в письме Лассаля; В. И. Ленин не знал также всех подробностей отношений Лассаля к Бисмарку, но он и по имевшимся тогда данным сделал все выводы и гениальным образом применил анализ, данный Марксом и Энгельсом в 1848, 1849 и 1859 гг. для революционной ситуации и соотношения классовых сил прежних революций, углубив его в применении к обстановке 1905 и 1917 гг., т. е. уже к эпохе империализма и пролетарской революции.

Полемика Маркса и Энгельса с Лассалем и применение ее В. И. Лениным — блестящая страница из истории борьбы воинствующего марксизма-ленинизма с оппортунизмом и идеализмом в рядах рабочего движения. Марксистско-ленинское литературоведение на этом примере конкретной критики и сугубо партийного подхода основоположников научного социализма должно учиться непримиримой борьбе с противниками пролетарского литературного движения.

Ред.

I. ЛАССАЛЬ — МАРКСУ

[Берлин, 6 марта 1859 г.]

Дорогой Маркс!

В тот самый день, когда я получил твое письмо относительно Энгельса, я тотчас ответил тебе, уведомляя тебя, что дело мной улажено, и сообщая адрес, по которому ты или он должны послать рукопись. Ничего нового я по этому поводу пока не слыхал. Надеюсь, что рукопись придет на этих днях, потому что в таких делах время не терпит.

Прилагаю при сем три экземпляра моего последнего произведения — для тебя, Фрейлиграта и Энгельса. Двум последним будь так добр доставить их экземпляры как можно скорее.

Какое изумление изобразится на твоем лице, когда ты увидишь драму, сочиненную мною! Почти такое же, какое испытал я сам, когда напал на мысль написать ее, или вернее, когда эта мысль напала на меня! Ибо все это возникло у меня не как продукт свободного творчества, которым решаешь заняться, но как некое принуждение, которое нашло на меня и от которого я никак не мог отделаться. Я, который даже в юные годы не написал ни одного лирического стихотворения, я — поэт! Как безумно я смеялся над самим собой, когда мной впервые овладела эта мысль! Но кто может итти против своей судьбы! — Постараюсь же объяснить тебе, как эта судьба меня постигла.

Это было в то время, когда я с напряжением всех сил заканчивал своего Гераклита. Ты вероятно увидел из него, что у меня есть некоторая способность, а следовательно и склонность к умозрительному мышлению. И тем не менее я бесконечно с т р а д а л, работая над этим сочинением. Пропасть, отделяющая эти научные, бесцветно-теоретические интересы от всего, что сегодня практически волнует нашу кровь, или, правильнее выражаясь, та лишь к о с в е н н а я и отдаленная связь, которая все же имеется в последнем счете между обеими этими областями, вот что было причиной моего страдания, и могу тебя уверить, что оно было огромно. О, как часто, когда какая-нибудь ассоциация идей уносила меня из того мира мыслей, в который я должен был насильственно втиснуть себя, к нашим жгучим современным интересам, к великим вопросам дня, которые хоть и казались внешне затихшими, но в моей груди продолжали кипеть с прежним жаром, — как часто вскакивал я тогда из-за письменного стола и бросал прочь перо! Точно вся кровь застывала в моих жилах, и лишь после получасовой или еще более длительной борьбы с самим собой ко мне возвращалось самообладание, я мог заставить себя вновь сесть в кресло и вновь отдаться во власть железной концентрации мыслей, которой требовал мой труд. Очень тяжело после 48 и 49 гг., после того как уже пролито столько крови и столько дел вопиет о мести, все еще быть вынужденным заниматься теорией (я исключаю только политико-экономические сочинения, потому что они являются вместе с тем и практическими действиями), — особенно когда видишь, как никакое теоретизирование не приносит н е п о с р е д с т в е н н о й пользы, как люди продолжают себе спокойно жить, словно лучшие и величайшие творения и мысли никогда не были написаны и высказаны! И в такое-то время заниматься умозрительными рассуждениями о греческой древности — я при всем желании не мог бы тебе описать, каких усилий мне это стоило. Но я всегда буду расценивать это как одно из наилучших свидетельств железной силы воли, выданных мною самому себе. Прости, дорогой друг, это лирическое излияние. Ты знаешь, что я в общем не лирик и привык как раз сильнейшие чувства таить в себе. Но иногда бывает необходимо излиться перед другом. А ты в сущности последний друг, оставшийся у меня среди мужчин. Мендельсон умер, графиня же, как ни превосходна эта женщина и как ни дорожу я ее дружбой, все-таки женщина и не в состоянии проникнуть с вполне исчерпывающим пониманием во все тайники мужского мышления. С тобой я в сущности мало жил. Тем не менее мне всегда казалось, что в тебе я имею истинного и настоящего друга. Да ты ведь и сам знаешь, что я всегда так смотрел на тебя. У меня есть, в особенности теперь, много так называемых добрых друзей. Но для дружбы, о которой я говорю сейчас, этим другим недостает хотя бы уж необходимого умственного развития и одинаковости духовных интересов.

Но довольно, вернусь к моему рассказу. Итак, я довел Гераклита до конца, но я пожалуй не сумел бы этого сделать, если бы не нашел спасительного средства в том, что занимался одновременно по ночам, как бы для успокоения, специальным изучением одного предмета, находившегося в тесном родстве с нашими актуально-политическими интересами и т. д., но вместе с тем не настолько непосредственно актуального, чтобы поглотить меня целиком. Привыкнув с ранних лет заниматься вперемежку четырьмя-пятью науками, я изучал по ночам средние века, эпоху реформации, над которой я уже прежде много работал, в особенности произведения Гуттена и т. д. Сочинения и жизнь этого удивительного человека опьяняли меня. Однажды я, потрясенный до глубины души некоторыми его вещами, ходил взад и вперед по своей комнате. Несколько дней до того мне пришлось перелистать одну ничтожную современную драму. Так возникла во мне ассоциация идей

Я сказал себе — ибо я никогда не подумал бы при этом в первый же момент о себе самом — боже, если бы хоть кто-нибудь из этих людей, тратящих попусту свой маленький талант на такие вещи, посоветовался бы со мной относительно темы. И я подумал, как я рекомендовал бы им Гуттена, и стал далее думать о том, как бы они составили план подобной драмы, затем от Гуттена — с которым дело опять застряло бы в чистой теории — я перешел к Зикингену как к главному герою. И едва мелькнула у меня эта мысль, как тотчас же, словно по какой-то интуиции, весь план возник передо мной в готовом виде, и в то же мгновение мною овладело повелительное чувство, от которого я уже не мог отделаться: «ты это должен и выполнить». И как я ни робел перед этой задачей, она все же захватила меня. Теперь я мог упиваться чувствами возмущения и ненависти, мог дать волю их набегающим волнам, мог наконец излить свое сердце! Так я нашел способ освободиться от тех удушливых притоков крови к сердцу, которые без этого пожалуй не дали бы мне довести до конца Гераклита.

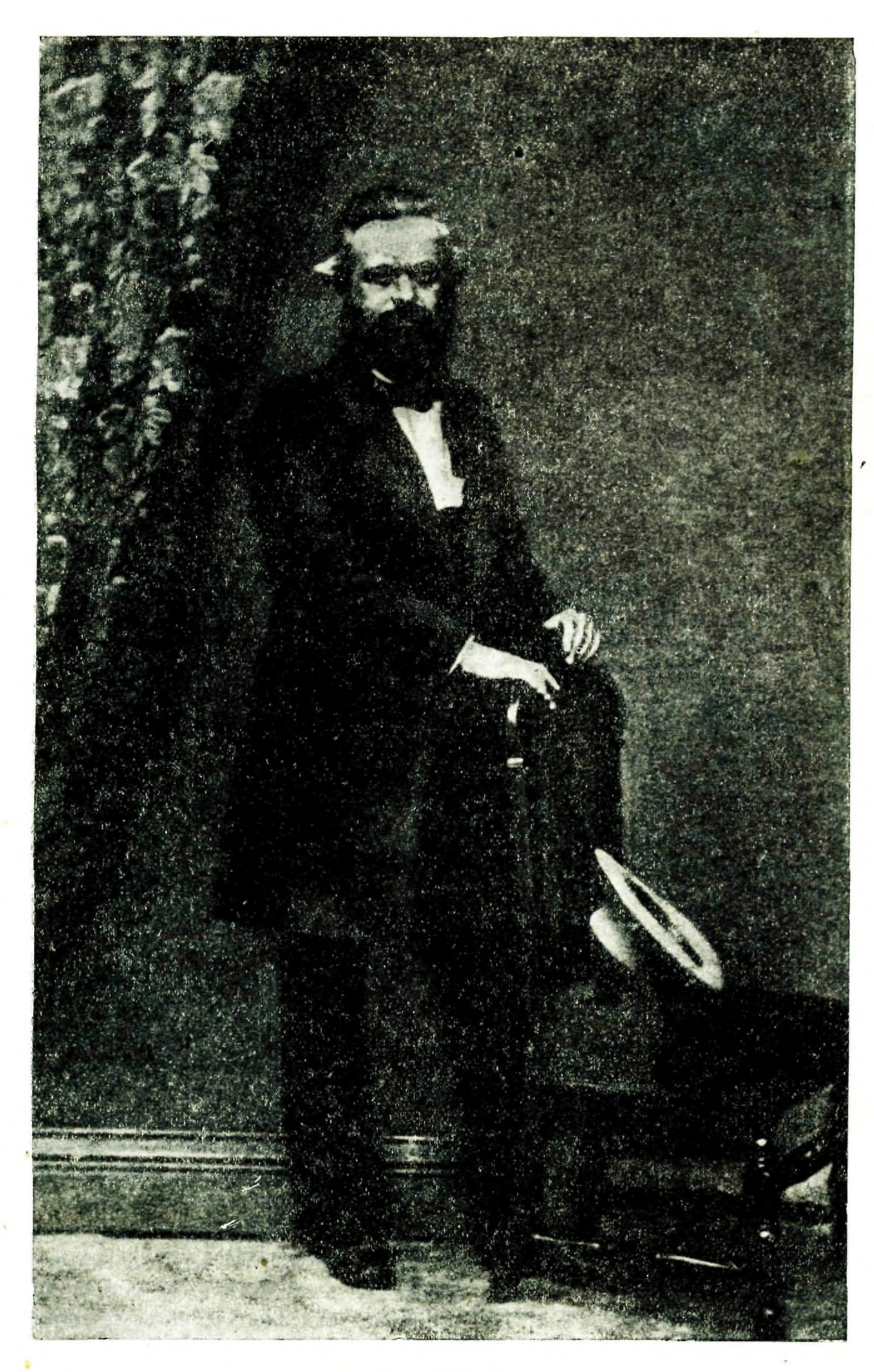
Вот как возникла эта вещь. И я должен сказать, что я считаю ее в сущности прекрасной — не знаю, ослепляет ли меня субъективное чувство, но во всяком случае ты не сочтешь это откровенное заявление за тщеславие, которому оно скорее диаметрально противоположно. Но пусть бы это даже была прекраснейшая вещь в мире, — больше я не напишу ни одной драмы. Эта одна была на меня возложена как бы роковым велением свыше, и больше это не повторится!

О формальной основной идее моей трагедии я написал для некоторых знакомых, менее тебя привыкших к спекулятивному мышлению, небольшую статью, предназначенную разумеется только для частного пользования, но никак не для печати. Чтобы ты не счел меня слишком педантичным и настолько глупым, что я сам выдаю своей трагедии свидетельство о бедности, точно она нуждается в особой fabula docet (морали), я замечу, что поводом к этому комментарию было возражение, сделанное мне одним хорошим знакомым, и к тому же еще в якобы гегелевском духе; этим объясняется и форма статьи. Кроме того я воспользовался ею, как ты без труда увидишь из самого текста, чтобы заодно осветить в общих чертах мой спор с моими здешними знакомыми о политическом положении и нашем отношении к нему. Раз статья уже написана, я счел уместным прислать и тебе один экземпляр. Тебе она конечно не нужна, чтобы понять спекулятивную идею драмы. Но все же она представит для тебя тот интерес, что даст тебе возможность судить с полной уверенностью о том, что я сам хотел сказать своей драмой, в отличие от того, что в нее можно вложить со стороны, а также о том, насколько замысел и выполнение покрывают друг друга. Итак, прочти пожалуйста эту статью до или после прочтения драмы и будь так добр, передай ее потом Фрейлиграту, для которого, при его меньшей привычке к спекулятивному мышлению, она и вообще может оказаться не совсем лишенной интереса.

Наконец сама собой подразумевающаяся просьба — н а п и с а т ь мне о б с т о я т е л ь н о е и вполне о т к р о в е н н о е м н е н и е о том, как т ы н а х о д и ш ь мою вещь. (Из предисловия ты увидишь, что она в такой форме не предназначена для постановки на сцене. Для сцены я обработал ее отдельно в очень сокращенном виде. Впрочем надежда на постановку при нынешних политических условиях равна разумеется нулю.) Итак, жду правдивого отзыва между прочим и о том, считаешь ли ты, что она будет полезной в ожидаемом мною смысле.

Жму сердечно руку, искренний привет твоей жене, Фрейлиграту и Энгельсу.

Т в о й Ф. Л а с с а л ь.



КАРЛ МАРКС

С фотографии (конца 50-х гг.), хранящейся в Музее Маркса и Энгельса

[РУКОПИСЬ О ТРАГИЧЕСКОЙ ИДЕЕ, ПРИЛОЖЕННАЯ ЛАССАЛЕМ К ПИСЬМУ ОТ 6 МАРТА 1859 г.]

Относительно формальной трагической идеи, положенной мною в основу предлагаемой драмы и ее катастрофы, — о глубоком диалектическом противоречии, присущем природе всякого действия, в особенности революционного, — я конечно не высказался в имеющем общий характер предисловии, а в самой трагедии наметил ее отчетливее лишь в пятом акте.

Вечная сила всех господствующих классов, защищающих существующий порядок, заключается в безошибочной, проработанной сознательности, с какой они представляют себе свой классовый интерес именно как уже господствующий, проработанный.

Вечная слабость всякой правомерной революционной идеи, пытающейся осуществиться практически, заключается в недостатке сознательности со стороны членов преданных ей классов, принцип которых еще не осуществлен, а также в связанной с этим неорганизованности имеющихся в ее распоряжении средств. Всегда повторяющееся при этом диалектическое противоречие состоит вкратце в следующем. Сила революции заключается в ее воодушевлении, в этом непосредственном доверии идеи к своей собственной мощи и бесконечности. Но воодушевление — как непосредственная уверенность во всемогуществе идеи — есть прежде всего абстрактное невнимание к конечным средствам действительного осуществления и к трудностям реальных осложнений. Воодушевление должно поэтому ввязаться в реальные осложнения, перейти к действию с помощью конечных средств, чтобы достигнуть своих целей в конечной действительности. Иначе в своих мечтаниях о том, чего оно желает (о цели), оно упустит из виду реальную сторону осуществления.

При таких обстоятельствах следует повидимому признать торжество высшего реалистического благоразумия революционных вождей, когда они считаются с данными конечными средствами, скрывают от других (и тем самым даже от самих себя) подлинные и последние цели движения и посредством этого умышленного обмана господствующих классов, более того — посредством их использования, приобретают возможность организовать новые силы, чтобы затем с помощью этой умно завоеванной части действительности победить самое действительность.

Такое бесконечное реалистическое превосходство над Гуттеном проявляет Зикинген в третьем акте, как он и вообще постоянно сохраняет над ним, этим лишь духовным революционером, превосходство реалистического взгляда на вещи и практически-политического, государственного гения. Но в этом ввязывании воодушевления в конечное, в этом его подчинении последнему оно отнюдь не осуществляет себя, а наоборот, отказывается от своего формального принципа — бесконечности идеи, — отдает себя во власть своей противоположности, конечности, как таковой, в упразднении которой и состоит ее значение, и поэтому здесь оно должно потерпеть крах.

Действительно, хотя рассудку и трудно это признать, почти кажется, будто есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным рассудком с его расчетливостью. Большинство революций, потерпевших крушение, разбились — всякий истинный знаток истории должен с этим согласиться — об эту расчетливость, или по крайней мере крушение потерпели все революции, пытавшиеся опереться на эту расчетливость. Великая французская революция 1792 г., победившая при самых трудных обстоятельствах, победила только потому, что сумела отбросить в сторону рассудок.

В этом разгадка силы крайних партий во время революций и в этом же разгадка того, почему инстинкт масс во время революций в общем гораздо

правильней, чем сознание интеллигентов. «И чего не видит разум умников, то осуществляет на деле, и т д.». Именно *недостаток образования*, свойственный массам, предохраняет их от подводных камней расчетливого образа действий.

Впрочем в сказанном уже заключается действительное разрешение и внутренняя необходимость упомянутого диалектического противоречия между бесконечной целью идеи и конечным благоразумием компромисса.

Ибо 1) как уже было отмечено, интерес господствующих классов именно потому, что их принцип господствует и поэтому является вполне проработанным, сознательным, не может быть обманут. Отдельные личности могут быть обмануты, но классы — *никогда*!

2) В особенности же компромисс как уступка существующему неизбежно должен — и притом, как уже было упомянуто, столько же в формальном отношении, сколько именно поэтому и в отношении содержания — в большей или меньшей степени порвать со своим принципом, т. е. с тем, что составляет силу и оправдание революций, должен встать на почву принципа противника и тем самым уже теоретически признать себя побежденным, и тогда остается только привести в исполнение этот его приговор над самим собой.— Цель только тогда может быть достигнута каким-нибудь средством, — как это с мастерским глубокомыслием показал старик Гегель и отчасти знал уже до него Аристотель, — когда уже заранее само средство насквозь проникнуто собственной природой цели. Цель должна быть выполнена и осуществлена уже в самом средстве, и последнее должно быть запечатлено ее природой, чтобы она могла быть достигнута с помощью этого средства (поэтому в гегелевской логике цель достигается не через средство, а обнаруживается в самом средстве как уже выполненная). Таким образом всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно *революционные* цели не могут быть достигнуты *дипломатическими* средствами.

Или 3) говоря более реально, революции можно в конце концов делать только с помощью масс и их страстного самопожертвования. Но массы именно вследствие их так называемой «грубости», вследствие того, что они лишены образования, совсем не понимают компромиссов, они интересуются— ибо всякий неразвитой ум признает только крайности, знает лишь *да* и *нет* и никакой середины между ними — только крайним, цельным, непосредственным. Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (Revolutionsrechner) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устраняют позади себя своих единомышленников. Таким образом мнимый разум оказывается на деле высшим неразумием.

Впрочем вполне естественно, что чем больше отдельные личности обладают весом и значением в действительном мире, зоркостью взгляда, благоразумием и образованием, тем легче они впадают в ошибку этой роковой, мнящей себя реалистической рассудочности. Этим объясняется то, что например во время французской революции (и во время английской было нечто аналогичное) абстрактные идеалисты, якобинцы, угадывали возможное и реально осуществимое в тот момент лучше, чем кичившиеся своим образованием, реалистическим взглядом на вещи и государственным умом жирондисты, которые и получили поэтому от народа — ненавидящего это государственное благоразумие — странное ругательное прозвище «государственных людей».

Это «лукавство» Зикингена там, где дело идет об идее, впрочем не наносящее ущерба его революционному величию и радикальной решимости и не превращающее его в примиренца, ибо он не изменяет ни на йоту революционным *целям*, по отношению к которым он идет дальше всех, и лукавит

только в смысле способа их осуществления, — это лукавство и есть таким образом вина Зикингена, и конечно это — «великая ошибка», как того требует Аристотель.

Но, мог бы кто-нибудь возразить, эта «великая ошибка», как бы велика она ни была, есть все-таки лишь интеллектуальная ошибка, а не нравственная вина, и следовательно она не трагична.

На это я должен ответить трояко. Прежде всего я ни в каком случае не согласился бы с тем, что диалектика глубочайшего интеллектуального, внутренне неизбежного и поэтому вечного идейного конфликта не является сама по себе глубоко трагическим мотивом, как это доказывает античная трагедия, почему Аристотель вероятно и ограничился требованием «великой ошибки». Во-вторых, эта интеллектуальная вина есть уже на том основании моральная вина, что к тому, кто ставит себя настолько выше существующего порядка, что хочет его ниспровергнуть и заменить его принцип своим собственным, должно быть предъявлено требование, чтобы он и действительно был духовно настолько выше, иначе придется сказать, что он «зазнался» (в античном смысле слова).

Наконец, в-третьих, несомненно, что эта интеллектуальная вина носит по преимуществу и нравственный характер, ибо она проистекает как раз из недостатка доверия к нравственной идее и к ее самой в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам. В ней заключается таким образом недостаток непосредственной уверенности и убежденности в идеальном, далее недостаток безграничной полной откровенности, а следовательно, так как и то и другое необходимо для революционной точки зрения, и уклонение от своего принципа, частичная надломленность.

В религиозных войнах это явление большей частью не наблюдается, непосредственная мечтательная убежденность во всемогуществе божественного исключает здесь его возможность.

(В том и состоит историческое величие и решающая сила Лютера, что в тех пунктах, которых он действительно хотел достигнуть во что бы то ни стало, он не знал этого благоразумия, не делал никаких уступок, не входил в компромиссы с господствующими силами и не считался с «возможным», но — я говорю об его первом периоде — обращался непосредственно к простому человеку.) Отсюда та нередко чудесная победительная сила, с какой эти фанатики так часто осуществляют невозможное, почти непостижимое. Отсюда также драматически захватывающая сила этих вдохновенных фанатиков. В их односторонности заключается сила их действия, потому что всякое деяние односторонне.

Таким образом названная вина Зикингена является именно нравственной виной по преимуществу, но виной, которая, если можно так выразиться, смягчена тем, что она интеллектуальна, и именно потому, что она интеллектуальна, что она основывается на идейном конфликте, постоянно повторяющемся во все переломные эпохи, она перестает быть виной частного случайного лица и в свою очередь становится необходимой вечной точкой зрения, неоспоримая относительная правота которой и глубочайшая внутренняя неправда влекут за собой ее трагическую судьбу, ее диалектическую гибель. Mutato nomine de nobis fabula narratur (под другими именами речь идет о нас самих), и так это будет вечно. Именно такого рода виновность, в одно и то же время нравственная и интеллектуальная и как раз поэтому-то основанная на вечном и необходимом объективном идейном конфликте, и составляет, как мне кажется, глубочайший трагический конфликт.

Или, чтобы выразить теперь мой взгляд со всей определенностью и четкостью, всякая действительно нравственная вина только интеллекту-

альна, и лишь та вина является нравственной, которая интеллектуальна. Ибо нравственная вина в отличие от моральной, которая связана исключительно с отдельным субъектом и его внутренним миром, заключается не в чем ином, как именно в практике и реализации объективной и относительно правомерной мысли и мысленной позиции, которая однако не умеет справиться со своей диалектической противоположностью, вследствие этого нарушает созвучие как в мире идей, так и в реальном мире и поэтому в теории является односторонней, а на практике — виновной.

Впрочем Зикинген снимает с себя в пятом акте как интеллектуальную, так и нравственную вину тем, что осознает ее и переходит к искупляющему действию. Отбросив в сторону свои дипломатические сомнения и лукавства, он ставит на острие меча свою судьбу и судьбу страны. — Но теперь уже поздно, и так оно должно быть согласно трагической идее. Оскорбленные боги мстят за себя, и, к несчастью, диалектика оскорбленных идей разума мстит за себя еще более жестоко и неумолимо, чем любой из греческих богов. Жизнь и история — жестокая практика логики, и какая жестокая!

В том, что Зикинген вынужден теперь силой обстоятельств сделать неправильный шаг: подвергнуть себя и заодно страну (как уже при осаде его замка, так и при вылазке) чистой случайности, в которой страна и его принципиальные приверженцы в ней вовсе не стоят за ним, так что подлинная сила обеих сторон здесь вовсе не обнаруживается и не является решающим моментом; в том, что этот великий дипломат и реалист, желающий тщательно вычислить все заранее и совершенно исключить всякую случайность, как раз поэтому-то и вынужден в конце концов предоставить все чистейшей случайности, — в этом заключается настоящая и самая жестокая диалектическая кара, выпавшая на его долю. Вместо того чтобы открыто апеллировать к принципам и развязать их революционную силу, он в трирском походе поставил историческую идею и национальное дело на почву предприятия, у которого старательно отнял его общее значение и которое облек в видимость случайности. И поэтому, как он ни хотел предусмотрительнейшим образом исключить всякую случайность, он сам призвал на помощь случай, и так как его расчет на обман с помощью видимости случайного и несущественного должен разбиться о сознательный характер существующего порядка, то он вынужден принять решение своей судьбы не из рук подготовленной случайности, как ему того хотелось, а скорей из рук подлинного, неподготовленного случая. Поэтому он и гибнет не вследствие превосходства старого—что не было бы действительно трагической гибелью, ибо неизбежное падение старого, впрочем далеко еще не равносильное достижению великих целей Зикингена, достаточно ясно чувствуется в пятом акте, — но он гибнет вследствие собственной ошибки.

Необходимым представляется мне и то, что Валтасар только в пятом акте получает возможность раскрыть Зикингену истинную сущность дела, в третьем же акте не успевает этого сделать. Было бы ущербом либо для формального величия духа Зикингена, либо для его нравственного воодушевления,— что я еще менее мог допустить, — если бы Валтасар уже раньше раскрыл ему эту истинную сущность, а Зикинген все-таки продолжал бы держаться своей точки зрения. Он тогда непременно сделался бы менее значительным умственно или нравственно, чем он должен быть. Теперь же его интеллектуальная вина отнюдь не роняет его, потому что она опирается на нечто тоже существенное и правомерное, и она особенно смягчается тем обстоятельством, что и зритель или читатель до пятого акта наверное будет на его стороне. Точно так же и его нравственная вина, до его беседы с Валтасаром, является чисто бессознательной, но именно поэтому

в данном случае вдвойне трагичной и подходящей к его чистому характеру, между тем как после этой беседы она стала бы сознательной и следовательно умаляющей его умственно или нравственно.

Только в тот момент, когда уже слишком поздно, допустима речь об ошибке, в которую впал Зикинген на победоносной высоте своего благоразумия, и тут Валтасар должен быть настолько же выше Зикингена, насколько последний выше Гуттена в третьем акте. Примыкающая непосредственно к этому диалогу крестьянская сцена являет как бы хор и ту среду, которая действительно откликается на ряд идей, высказанных Валтасаром.

Впрочем Зикинген в следующей же сцене возвращает себе свое яркое героическое превосходство над теоретическим превосходством Валтасара: между тем как последний совершенно подавлен и удручен, и кажется, что все должно погибнуть, Зикинген мгновенно выпрямляется и, став на точку зрения Валтасара, задумывает и выполняет план спасения.

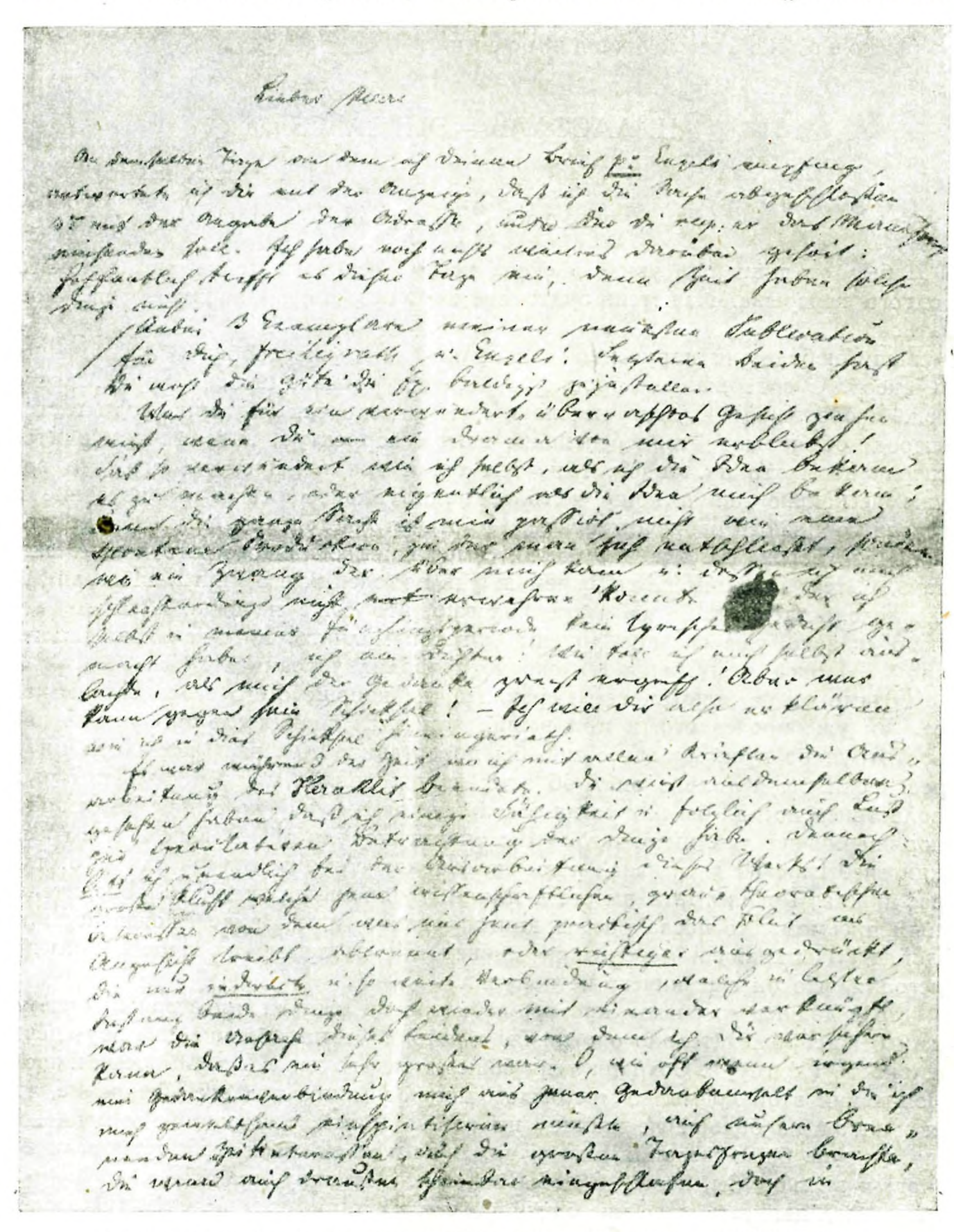
То, что названным превосходством я вообще наделил Валтасара, а не Гуттена, мне тоже представляется необходимым.

Во-первых, в характере Гуттена, как я его обрисовал, преобладает лирический тон, и ему таким образом эта роль не подходит. Напротив, Зикинген есть и остается по отношению к нему, этому, как уже было замечено, лишь духовному революционеру, с начала до конца более сильным, политически дальнозорким реалистическим героем. Он предвидит развитие событий, как оно сложилось и должно было сложиться в результате одного только завоевания религиозной свободы, которую Гуттен считал нужным спасти прежде всего.

Во-вторых, у Гуттена не было бы, если бы он должен был руководить здесь Зикингеном, никакого другого средства кроме воодушевления. Но в этом отношении Зикинген ни на иоту не должен уступать ему, как он и действительно в своем сосредоточенном, непосредственно практическом пафосе в третьем акте давно уже решился действовать и выработал соответствующий план, между тем как Гуттен, которого он настолько превосходит, думает, что его еще надо побуждать к действию.

В-третьих, наконец, одно только воодушевление — и это возвращает нас к сказанному вначале — никогда не могло бы быть более сильным и верным средством, чем реалистическая проницательность Зикингена. Со своим игнорированием конечных средств оно ведь так же абстрактно-односторонне, как и сама эта точка зрения конечных средств, и если оно внутренне и попадает в цель более метко, то оно все-таки не может достаточно сильно проявить свое действительное внутреннее право и таким образом привлечь к себе противоположную точку зрения. Обе являются стало быть лишь относительно правомерными и абстрактными противоположностями. И Зикинген является тут пожалуй даже более высокой и сильной стороной. Действительно возвысить реалистическую точку зрения Зикингена над нею самой способна только еще более реалистичная натура Валтасара, который из своего многолетнего опыта почерпнул свой зрелый взгляд на вещи и законченное познание законов истории и движения народов. Только реалистическая мудрость может преодолеть реалистическое благоразумие и поднять его над ним самим. Однако примирение заключается отчасти в том, что, поскольку дело идет о религиозных целях Зикингена, их позднейшее торжество является фактом и, как уже было замечено, достаточно ясно просвечивает в пятом акте; отчасти же и в особенности в том, что, поскольку дело идет о его более далеких и более важных политико-национальных целях, именно наше время снова начало борьбу за них в аналогичной, хотя еще более широкой форме и упорно выполняет этот суровый труд, страдая и борясь, — как бы в осуществление пророческого намека в заключительных словах Гуттена. И я

считаю немаловажным преимуществом для культурно-исторической трагедии — именно такой, как моя, цели и идейная борьба которой так близко соприкасаются с современностью, что это становится возможным,— если сознание современного зрителя, и не просто лишь как общечеловеческое



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛАССАЛЯ К МАРКСУ ОТ 6 МАРТА 1859 г.
(ПРИ ПОСЫЛКЕ ТРАГЕДИИ)

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

сознание вообще, но именно вследствие пронизывающего его содержания, снова становится как бы хором, к которому непосредственно обращается трагическое действие и страдание героев. Сознание современного мира вносит, с одной стороны, примирение в трагедию, так

как в нынешнем возобновлении борьбы и заключается высший триумф героя и его целей, а с другой стороны — это сознание черпает для себя в тяжелых борениях современности утешение и веру из трагедии, поскольку в этом возобновлении борьбы через три столетия и в доказанной тем самым вечности этих целей заключается наивысшее доказательство их победоносной необходимости.

II. ЛАССАЛЬ — ЭНГЕЛЬСУ

Берлин, 21 марта [18]59 г.

Дорогой Энгельс!

Я был от души рад увидеть снова несколько строк от вас после такого долгого перерыва. Кажется, будто все хорошее опять начинает налаживаться.

Ваши небольшие поручения я исполню, и я уже сообщил, что нужно, Дункеру. С содержанием брошюры я жажду ознакомиться. Труд Маркса тоже скоро выйдет в свет; не знаю, почему дело так медленно подвигается вперед; объясняют это черепашьим шагом корректур, которые приходится сперва посылать в Лондон. Мне тем более хочется прочесть его, что вот уже несколько лет я ношу в голове одно экономическое произведние и теперь собираюсь разрешиться им. Но я этого не сделаю, если Маркс, как я почти уверен, перехватил у меня самое важное из того, что я хочу сказать. С тем большим нетерпением жду я появления его книги. Но если даже дело обстоит так, как я предполагаю, это тоже не беда. Если то, что надо сказать, уже сказано другим, я готов молчать. И я не знаю никого, кроме Маркса, кому бы я так охотно позволил устранить меня.

То, что он не прислал вам Гераклита, не хорошо с его стороны, так как сам он уже прочел его, а при ваших занятиях сравнительной филологией этот труд во всяком случае мог бы представить для вас кое-какой интерес. Если бы я только знал об этих ваших занятиях, то с большим удовольствием послал бы вам тогда отдельный экземпляр, но сейчас в моем распоряжении нет уже ни одного.— Вы значит прочли объявление о моем Зикингене? Еще 10 дней назад я послал Марксу три экземпляра для него, для вас и для Фрейлиграта вместе с длинным, очень длинным сопроводительным письмом. Но послал через книгопродавца, и кто знает, когда посылка дойдет! По крайней мере Маркс пишет мне в письме, которое я получил сегодня, что он еще ничего не получил.

Но я должен со смехом протестовать против выражения в вашем письме, как бы доброжелательно оно ни было, что я «также бросился в эту специальность (драму)». Сохрани меня боже от такого дела! До, во время и после сочинения этой драмы во мне было одинаково живо твердое убеждение, что я никогда больше не напишу ни одной драмы, как раньше у меня никогда не было желания писать их. Я не хотел бы этого, даже если бы мог; и не мог бы, даже если бы захотел. Эту одну драму я мог и должен был написать. Это мне было суждено. C'etait écrit là-haut! (Это было предначертано свыше.) Об этом я подробно говорю в моем длинном письме к Марксу. Но вы и без того это поймете, когда прочтете драму. Надеюсь, что вы это сделаете, как только получите ее.

Но — несмотря на то, что к моему изумлению моя пьеса встретила необычайно сочувственный отклик, — больше я не напишу ни одной.

Отныне я остаюсь при своей политико-экономической и историко-философской специальности — я имею в виду историю в смысле социально-культурного развития, если только, на что впрочем весьма хотелось бы на-

деяться, не начнется наконец практическое движение и не приостановит на время всякую большую теоретическую деятельность.

Как охотно я оставил бы ненаписанным все, что я знаю, если бы зато удалось сделать кое-что из того, что мы (вся партия) можем.

С приветом и рукопожатием

Ваш Ф. Лассаль.

С 28 марта мой адрес: улица Bellevue, 13.

III. МАРКС — ЛАССАЛЮ

Лондон, 19 апреля [18]59 г.

Дорогой Лассаль!

Я не известил тебя особо о получении 14 ф. 10 ш. потому, что они были посланы заказным письмом. Но я написал бы тебе раньше, если бы не нагрянул один проклятый «кузен из Голландии» и не завладел бы излишками моего рабочего времени самым жестоким образом.

Теперь его нет, и я опять могу вздохнуть.

Фридлендер писал мне. Условия не так выгодны, как те, о которых я сообщил тебе сначала, но все-таки «распектабельны». Когда будут улажены еще некоторые второстепенные пункты, — а это произойдет, я думаю, в течение этой недели, — я напишу тебе.

Здесь, в Англии, классовая борьба развертывается превосходно. К сожалению в настоящий момент не существует больше ни одного чартистского органа, так что я около двух лет назад должен был прекратить свое сотрудничество в этом движении.

Перехожу теперь к «Францу фон Зикингену». Во-первых, я должен похвалить композицию и действие, а это больше, чем можно сказать о любой современной немецкой драме. Во-вторых, помимо всякого критического отношения к пьесе, она при первом чтении сильно взволновала меня, и поэтому на читателей, у которых эмоциональность больше преобладает, она окажет такое действие в еще большей степени. И это вторая, очень важная сторона. А теперь другая сторона медали: во-первых — это чисто формальный момент, — раз уже ты писал стихами, то мог бы отделать свои ямбы несколько более художественно. В общем однако, как ни будут шокированы этой небрежностью профессиональные поэты, я вижу в ней преимущество, ибо у наших поэтических эпигонов не осталось ничего кроме гладкой формы. Во-вторых: задуманная коллизия не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг. Я могу поэтому лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии. Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой коллизии? Валатасар может конечно вообразить, что если бы Зикинген не скрыл свой мятеж под маской рыцарского междоусобия, а водрузил бы знамя борьбы с императором и открытой войны с князьями, то он победил бы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию? Зикинген (и вместе с ним Гуттен, в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства. Он погиб потому, что как рыцарь и как представитель гибнущего класса восстал против существующего или вернее против новой формы существующего. Если отнять от Зикингена то, что принадлежит данному индивиду с его особенным образованием, природными задатками и т. д., то останется Гетц фон Берлихинген. В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адэкватной форме, и поэтому

Гете справедливо выбрал его в герои. Поскольку Зикинген — и даже отчасти Гуттен, хотя по отношению к нему, как ко всем идеологам класса, подобные формулировки следовало бы значительно видоизменить, — борется против князей (ведь его ход против императора объясняется только тем, что тот из императора рыцарей превращается в императора князей), постольку он на самом деле просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически. Что он начинает восстание под маской рыцарской войны, означает всего-навсего, что он начинает его как рыцарь. Чтобы начать дело иначе, он должен был бы прямо и сразу же апеллировать к городам и крестьянам, т. е. к тем самым классам, развитие которых = отрицанию рыцарства.

Если поэтому ты не хотел просто свести коллизию к той, которая изображена в Гетце фон Берлихингене, — а это не входило в твои планы, — то Зикинген и Гуттен должны были погибнуть потому, что они в своем воображении были революционерами (последнего нельзя сказать о Гетце) и, совсем как образованное польское дворянство 1830 г., сделались, с одной стороны, орудиями современных идей, а с другой — фактически представляли реакционный классовый интерес. Но в таком случае дворянские представители революции, — за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой императорской власти и кулачном праве, — не должны были значит так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя: представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были составить существенный активный фон. Тогда ты мог бы, и в гораздо большей мере, выразить как раз наисовременнейшие идеи в их чистейшей форме, теперь же главной идеей фактически остается у тебя наряду с религиозной свободой гражданское единство. Тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим крупнейшим недостатком. Не впал ли ты до известной степени сам, как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?

Я не нахожу, далее, характерных черт в характерах. Я исключаю Карла, Валтасара и Рихарда Трирского. А между тем найдется ли эпоха с более резкими характерами, чем XVI век? Твой Гуттен, по-моему, уж слишком представляет одно лишь «воодушевление»: это скучно. Разве он не был в то же время умницей, отчаянным остряком, и разве ты стало быть не поступил с ним крайне несправедливо?

В какой мере даже твой Зикинген, который кстати тоже нарисован слишком абстрактно, является жертвой коллизии, независимой от всех его расчетов, видно из того, как он вынужден проповедывать своим рыцарям дружбу с городами и т. д. и как охотно, с другой стороны, он сам расправляется с городами по способу кулачного права.

В отдельных местах я должен упрекнуть тебя за чрезмерное рефлексирование действующих лиц над самими собой, что проистекает от твоего пристрастия к Шиллеру. Так например на стр. 121, где Гуттен рассказывает Марии историю своей жизни, было бы в высшей степени естественно вложить в уста Марии слова:

«Вся гамма ощущений» и т. д. до
«И тяжелей она, чем бремя лет».

Предшествующие стихи от «Говорят» до «постарела» могли бы следовать за этим, но замечание «Лишь ночь нужна, чтоб девушка созрела и стала женщиной» (хотя оно показывает, что Мария знает не одну только абстракцию любви) совершенно излишне; и уж совсем недопустимо, что Мария начинает с рефлексии над своим собственным «постарением».

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА МАРКСА К ЛАССАЛЮ ОТ 19 АПРЕЛЯ 1859 г.
(С РАЗБОРОМ «ЗИКИНГЕНА»)

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

Лишь после всего того, что она успела, рассказать в «один» час, она могла бы дать своему настроению общее выражение в сентенции о своем постарении. Далее, в следующих строчках меня шокируют слова «сочла я это правом» (т. е. счастье). К чему было отнимать у Марии ее наивный взгляд на мир, свойственный ей согласно ее прежним высказываниям, превратив его в правовую доктрину? Может быть как-нибудь в другой раз я изложу тебе мое мнение подробнее.

Особенно удачной я считаю сцену между Зикингеном и Карлом V, хотя диалог тут с обеих сторон слишком уж переходит в адвокатскую речь; очень удачны также сцены в Трире. Превосходны изречения Гуттена о мече.

Но на этот раз хватит.

В лице моей жены ты приобрел горячего поклонника твоей драмы. Только Марией она не довольна.

Привет.

Твой К. М.

Кстати: в статье Энгельса «По и Рейн» имеются злостные опечатки, список которых я помещаю на последней странице настоящего письма.

IV. ЭНГЕЛЬС — ЛАССАЛЮ

6, Торнклиф Гров, Манчестер, 18 мая [1859 г.].

Дорогой Лассаль!

Вас вероятно несколько удивило, что я вам так долго не писал, тем более, что я еще был в долгу перед вами с моим суждением о вашем Зикингене. Но именно это-то обстоятельство и удерживало меня так долго от писания. При теперешнем повсеместном оскудении изящной литературы мне редко случается прочесть подобное произведение, и уже очень давно не случалось прочесть такое, чтобы в результате чтения у меня установилась подробная оценка, сложилось какое-нибудь определенное твердое мнение. Появляющаяся мазня не стоит этого труда. Даже те немногие сравнительно хорошие английские романы, которые я еще время от времени читаю, например Теккерея, несмотря на их неоспоримое литературное и культурно-историческое значение, ни разу не могли настолько заинтересовать меня. Но благодаря столь долгому неупражнению моя способность суждения сильно притупилась, и должно пройти не мало времени, прежде чем я могу позволить себе высказать определенное мнение. Однако ваш Зикинген заслуживает иного отношения, чем все эти литературные изделия, и поэтому я не пожалел на него времени. Первое и второе чтение вашей во всех смыслах, по теме и по обработке, национальной немецкой драмы взволновало меня душевно до такой степени, что я должен был на время отложить ее; тем более, что столь огрубевший в эти скудные времена вкус довел меня (я должен к моему стыду признаться в этом) до того, что порой даже малоценные вещи производят на меня при первом чтении известное впечатление. Так вот, чтобы добиться вполне беспристрастного, вполне «критического» отношения, я на время отложил Зикингена в сторону, т. е. я одолжил его некоторым знакомым (здесь еще есть несколько более или менее литературно-образованных немцев). Habent sua fata libelli, — когда их одалживаешь, они редко возвращаются, и моего Зикингена мне тоже пришлось добывать обратно силой. Могу вам сказать, что при третьем и четвертом чтении впечатление осталось то же, и в уверенности, что ваш Зикинген вполне способен выдержать критику, я произнесу теперь свое критическое слово.

Я знаю, что для вас не будет большим комплиментом, если я скажу, что ни один из нынешних официальных поэтов Германии и отдаленно не был бы в состоянии написать подобную драму. А между тем таков факт,

и факт слишком характерный для нашей литературы, чтобы можно было умолчать о нем. Останавливаясь сначала на формальной стороне, отмечу, что я был весьма приятно поражен искусной завязкой и насквозь драматическим характером пьесы. В области версификации вы, правда, позволили себе некоторые вольности, но они мешают более в чтении, чем со сцены. Я хотел бы прочесть вашу драму в обработке для сцены; в своем настоящем виде она наверное не может быть поставлена. У меня был здесь один молодой немецкий поэт (Карл Зибель), мой земляк и отдаленный родственник, довольно много работавший в области сцены; как запасный прусской гвардии он возможно будет в Берлине, и тогда я может быть позволю себе дать ему записочку к вам. Он очень высокого мнения о вашей драме, но считает ее совершенно непригодной для постановки из-за слишком длинных монологов, во время которых только один из актеров играет, а остальным приходится дважды и трижды исчерпывать свою мимику, чтобы не стоять простыми статистами. Два последних акта вполне доказывают, что вам было бы не трудно сделать диалог быстрым и оживленным, а так как за исключением отдельных сцен (что бывает во всякой драме) это можно было бы сделать и в первых трех актах, то я не сомневаюсь, что при обработке вашей пьесы для сцены вы учли это обстоятельство. Идейное содержание должно конечно при этом пострадать, но это неизбежно, и полное слияние большой идейной глубины, сознательного исторического содержания, которые вы справедливо приписываете немецкой драме, с шекспировской живостью и богатством действия, будет вероятно достигнуто лишь в будущем и может быть вовсе даже не немцами. Правда, именно в этом слиянии я вижу будущее драмы. Ваш Зикинген целиком на правильном пути, главные действующие лица в самом деле представляют определенные классы и направления, а стало быть и определенные идеи своего времени, и почерпают мотивы своих поступков не в мелочных индивидуальных вожделениях, а в том историческом течении, которое является их носителем. Однако желательный дальнейший шаг вперед должен был бы заключаться в том, чтобы эти мотивы были более живо, активно, так сказать самородно выдвинуты на первый план ходом самого действия и чтобы, наоборот, аргументирующие речи (в которых я впрочем с удовольствием признал ваш старый ораторский талант, блиставший на суде присяжных и в народном собрании) становились все более излишними. Вы сами повидимому считаете целью этот идеал, поскольку вы устанавливаете различие между драмой для сцены и литературной драмой; мне думается, что Зикингена можно было бы, хотя и с трудом (ибо достигнуть совершенства действительно не так просто), переделать в указанном смысле в драму для сцены. С этим связана характеристика действующих лиц. Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает, и с этой стороны идейному содержанию вашей драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы могли бы без вреда посчитаться немножко больше с значением Шекспира в истории развития драмы. Но это второстепенные вопросы, и я отмечаю их только для того, чтобы вы видели, что я призадумался и над формальной стороной вашей пьесы.

Что касается исторического содержания, то вы очень наглядно и с дозволительным указанием на последующее развитие изобразили обе стороны

2*

тогдашнего движения, наиболее важные для вас: национальное движение дворянства, представляемое Зикингеном, и гуманистически-теоретическое движение с его дальнейшим развитием в богословской и церковной области с реформацией. Больше всего нравятся мне здесь сцены между Зикингеном и императором, между папским легатом и архиепископом Трирским (здесь вам удалось в то же время, в антитезе между светским, эстетически и классически образованным, политически и теоретически дальновидным легатом и ограниченным немецким князем-попом, дать прекрасную индивидуальную характеристику, однако же прямо вытекающую из репрезентативного характера обоих действующих лиц); большой меткостью отличается характеристика и в сцене Зикингена с Карлом. Введя автобиографию Гуттена, содержание которой вы справедливо называете существенным, вы прибегли, правда, к весьма рискованному способу вставить это содержание в вашу драму. Очень важен также разговор между Валтасаром и Францем в V акте, где первый излагает своему господину подлинно революционную политику, которой он должен был бы держаться. Затем наступает собственно трагический момент; и именно поэтому мне кажется, что на него следовало бы сильнее указать уже в третьем акте, где для этого имеется не один повод. Но я опять возвращаюсь к второстепенным вопросам. Положение городов и князей тоже изображено во многих местах с большой ясностью, и этим так сказать официальные элементы тогдашнего движения приблизительно исчерпаны. Но недостаточно, как мне кажется, подчеркнуты у вас неофициальные, плебейские и крестьянские элементы с их сопутствующим теоретическим выражением. Крестьянское движение было на свой лад столь же национально, столь же направлено против князей, как и движение дворянства, а колоссальные размеры борьбы, в которой оно пало, резко контрастируют с той легкостью, с какой дворянство, предоставив Зикингена его собственной участи, примирилось со своим историческим призванием к придворному раболепству. Мне кажется поэтому, что и при вашем взгляде на драму, который, как вы конечно поймете, с моей точки зрения слишком абстрактен, недостаточно реалистичен, крестьянское движение заслуживало большего внимания; крестьянская сцена с Иостом Фрицем, правда, характерна, и индивидуальность этого «смутьяна» изображена очень правильно, но она недостаточно веско представляет, в противовес дворянскому движению, тогда уже высоко поднявшуюся волну крестьянского движения. При моем взгляде на драму, согласно которому за идейным моментом не следует забывать реалистический, за Шиллером — Шекспира, привлечение тогдашней столь удивительно пестрой плебейской общественности доставило бы еще совсем новый материал для оживления пьесы, неоценимый фон для разыгрывающегося на авансцене национального движения дворянства, оно впервые осветило бы по-настоящему само это движение. Какие причудливо характерные образы дает эта эпоха разложения феодальных связей в лице правящих королей без копейки денег, нищих ландскнехтов и авантюристов всякого рода — фальстафовский фон, который в исторической драме этого типа был бы еще эффектнее, чем у Шекспира! Но кроме того мне кажется, что именно это невнимание к крестьянскому движению есть тот пункт, по вине которого вы и само национальное движение дворянства изобразили, по-моему, неправильно в одном отношении и вместе с тем упустили из виду подлинно трагический элемент в судьбе Зикингена. По-моему, масса тогдашнего имперского дворянства не думала о заключении союза с крестьянами; этого не допускала его зависимость от доходов, связанных с угнетением крестьян. Союз с городами был уж скорее возможен; но он не состоялся или состоялся лишь весьма частично. Но торжество национальной дворянской революции было возможно

6 Thorncliffe Grove, Manchester, 18 Mai 1859.

Lieber Lassalle

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЭНГЕЛЬСА К ЛАССАЛЮ ОТ 18 МАЯ 1859 г.
(С РАЗБОРОМ «ЗИКИНГЕНА»)
С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

только в союзе с городами и крестьянами, особенно с последними; и как раз в том-то и заключается на мой взгляд трагический момент, что союз с крестьянами, это основное условие, был невозможен, что политика дворянства неизбежно должна была поэтому быть мелочной, что в тот самый момент, когда оно захотело встать во главе национального движения, масса нации, крестьяне, запротестовала против его руководства, и оно неизбежно должно было пасть. Я не могу судить о том, насколько исторически правильно ваше допущение, что Зикинген находился в некоторой связи с крестьянами, да это и не важно. Впрочем, насколько я помню, писания Гуттена там, где они обращаются к крестьянам, легко обходят этот щекотливый вопрос о дворянстве и пытаются направить всю ярость крестьян главным образом против попов. Однако я отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян. Но тогда тотчас же получается то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно **против этого**, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления. Опуская этот момент, вы сводите трагический конфликт к более мелким размерам, к тому, что Зикинген вместо прямой борьбы с императором и имперскими чинами выступил только против **одного** князя (хотя вы здесь и вводите с верным чутьем крестьян), и он гибнет у вас просто из-за равнодушия и трусости дворянства. Но эта трусость была бы мотивирована гораздо лучше, если бы уже раньше был сильнее подчеркнут нарастающий гнев крестьян и вызванный прежними крестьянскими мятежами и «бедным Конрадом» несомненный переход дворянства к более консервативному настроению. Впрочем все это только один из способов, каким можно было ввести в драму крестьянское и плебейское движение, и существует по крайней мере еще десяток других, столь же или более подходящих.

Как вы видите, я подхожу к вашему произведению с очень высокой меркой — именно **с наивысшей** как в эстетическом, так и в историческом отношении, и то обстоятельство, что только при таком подходе я могу сделать кое-какие возражения, явится для вас лучшим доказательством моей высокой оценки. Ведь **взаимная** критика давно уже приобрела среди нас, в интересах самой партии, крайне откровенный характер, вообще же мне и всем нам всегда очень приятно, когда появляется новое доказательство, что в какой бы области ни выступила наша партия, она всегда обнаруживает превосходство. А таково ваше выступление и на этот раз.

Мировые события принимают повидимому весьма отрадный оборот. Едва ли можно представить себе лучшую основу для радикальной немецкой революции, чем та, которая создается франко-русским союзом. Нам, немцам, вода должна подступить к самому горлу, чтобы мы всей массой пришли в тевтонское бешенство; а на этот раз опасность захлебнуться подходит повидимому совсем близко. Тем лучше. При таком кризисе все существующие силы должны погибнуть и все партии распасться одна за другой, от «Kreuzzeitung» до Готфрида Кинкеля и от графа Рехберга до «Геккера, Струве, Бленкера, Цитца и Блюма». В таких боях должен наступить момент, когда только самая непримиримая, самая решительная партия в состоянии спасти нацию, и вместе с тем должны быть даны условия, при которых только и будет возможно окончательно выбросить за борт весь старый хлам — внутреннее разделение, с одной стороны, и связанные с Австрией польские и итальянские привески, с другой. В прусской Польше мы не должны будем уступить ни пяди, а что . . . .[1].

[1] Конец письма не найден — *Ред.*

V. ЛАССАЛЬ — МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ

Берлин, пятница, 27 мая [1859 г.]

Дорогие Маркс и Энгельс!

Я наполовину завален работами, наполовину чуть не задушен личными делами, так что всякое обстоятельное писание для меня настоящая мука. Тем не менее я чувствую настойчивую потребность ответить возможно более исчерпывающим образом на любезные письма твое и Энгельса, который тоже написал мне очень подробно о моей драме. Ответ на оба письма лучше всего соединить вместе, потому что ваши возражения, не будучи прямо тождественны, все-таки в главном касаются одних и тех же пунктов.

Вы найдете вполне естественным, дорогие друзья, если я попытаюсь по возможности доказать свою правоту в тех пунктах, в которых я считаю себя правым, находя ваши соответствующие возражения либо вообще неверными, либо опровергнутыми той или другой упущенной вами из виду стороной драмы. В этом вы конечно усмотрите отнюдь не личное тщеславие, не желающее терпеть никаких порицаний, а лишь тот же законный интерес к предмету, который и вас самих побудил написать мне так обстоятельно, за что я вам горячо благодарен, и который с моей стороны ни в коем случае не должен быть меньше оттого, что я — автор.

Относительно письма Энгельса я должен прежде всего заметить, что важнейшие из его возражений заранее отведены мною в письме о трагической идее моей драмы, которое я послал тебе, дорогой Маркс, одновременно с этой последней. Энгельс, правда, отнюдь не проглядел эту трагическую идею, которую я изложил в упомянутом письме и которая в самой драме выступает во всем пятом акте—в диалоге между Валтасаром и Францем, в крестьянской сцене, в монологе Франца и в его пылких излияниях в сцене перед вылазкой, — но зато и не уловил ее во всей ее отчетливости и цельности.

Прошу тебя поэтому переслать ему одновременно с этим письмом и то письмо, если только оно, как я надеюсь, еще у тебя: иначе и настоящее послание покажется ему висящим в воздухе, так как я тут везде предполагаю известными изложенные там идеи и молчаливо имею их в виду.

Что касается теперь твоей критики, дорогой Маркс, то не могу тебе выразить, до какой степени она меня обрадовала. Ибо можно быть уверенным, что критика, столь четкая, ничего не упустит из виду и не поддастся личному пристрастию. И потому, если ты так хвалишь композицию и действие, если ты заявляешь, что чтение моей драмы произвело на тебя такое сильное впечатление — и то же самое пишет мне Энгельс! — то я конечно могу быть весьма доволен. В особенности меня радует последнее. Ведь сам автор никогда не может судить, увлекательно ли его произведение или нет, а я всегда считал способность трагедии производить впечатление, бросать читателя в пот, лучшим ощутительным признаком ее достоинства.

Очень насмешило меня то, что ты даже ставишь мне в заслугу мои плохие стихи! Насмешило это меня не столько странностью такого утешения, сколько большим сходством наших характеров, которое тут проявилось. Ведь я действительно — придавая большое значение силе языка — часто вполне сознательно и с почти умышленным равнодушием нарушал правила стихосложения. В процессе творчества мне это казалось настолько безразличным, что я даже не дал себе труда исправить стих там, где исправить его было бы легче всего на свете. К тому же другие места показывают, что я умею сочинять и другие стихи. Но оппозиция против смехотворно преувеличенного значения, какое обыкновенно придают стиху, увлекла меня к этой презрительной небрежности. При всем том мне те-

перь жаль, что я слишком поддался этому презрению. Кое-кого это может смутить, и вообще, когда хочешь произвести впечатление, важно сделать вещь безупречной даже в мелочах. Однако это уже moutarde après dîner (горчица после обеда)!

Затем ты переходишь «к другой стороне медали». При этом ты сперва еще соглашаешься со мной, что изложенная в моем письме трагическая идея не только проведена в драме, но что эта коллизия «не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг.». «Я могу поэтому,— прибавляешь ты, — лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии».

В этих заявлениях содержится в сущности наивысшее одобрение, какого только я добивался для своей трагедии и на какое рассчитывал. Это как раз тот пункт, — и таково собственно говоря всегда должно быть отношение трагической идеи драмы к самой драме, — ради которого одного лишь я и написал всю вещь и изображению которого я строго подчинил все остальное. Таким образом в этих-то твоих заявлениях я и нахожу наивысшее для меня оправдание моей драмы в целом — разумеется лишь со стороны ее с о д е р ж а н и я.

Какие же недостатки ты все-таки находишь в этом отношении?

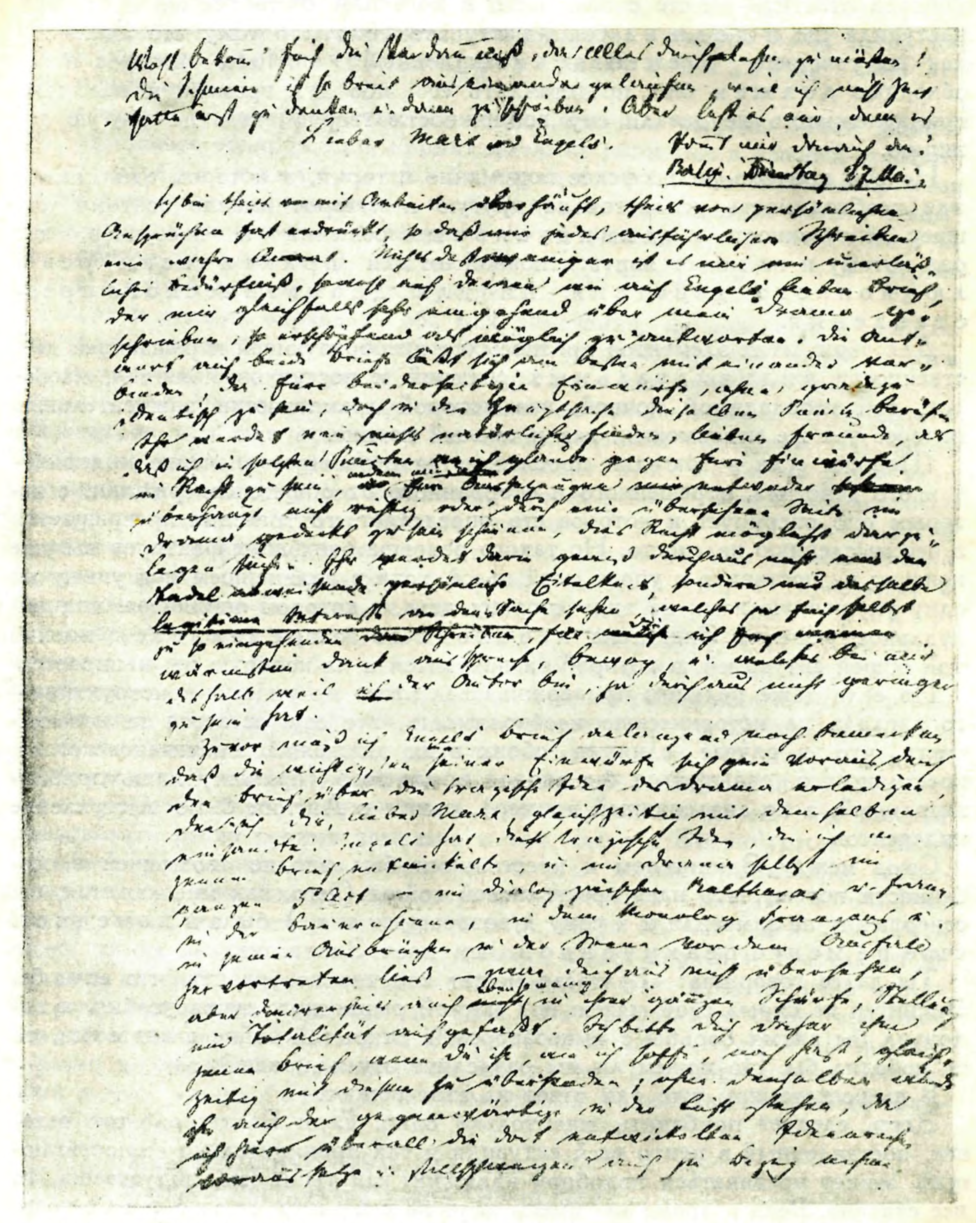
Ты говоришь: «Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой коллизии?» Несомненный утвердительный ответ на этот вопрос вытекает уже из того, что эта трагическая коллизия есть ф о р м а л ь н а я и, как я уже разъяснил в своем письме, не специфически-свойственная какой-либо о п р е д е л е н н о й революции, но п о с т о я н н о повторяющаяся во всех или почти всех прошлых и будущих революциях коллизия (иногда преодолеваемая, иногда нет), — словом, трагическая коллизия самой р е в о л ю ц и о н н о й ситуации, бывшая налицо как в 1848 и 49 гг., так и в 1792 г. и т. д. Эта коллизия присутствует таким образом в большей или меньшей степени во всякой революционной ситуации. Уже по одному этому ее можно было п р и п и с а т ь и революционному положению 1522 года, если бы она даже и не играла тогда особенно важной роли.

Но и и с т о р и ч е с к и нет никакого сомнения, что эта коллизия существовала и тогда в е с ь м а р е а л ь н о, что она во всяком случае была т о ж е очень важной, хотя и не п о с л е д н е й причиной гибели Зикингена, и что она — дипломатически-реалистическое направление Зикингена, отказ от открытого обращения к революционным силам — даже была е д и н с т в е н н о й виновницей того, что Зикинген погиб именно так, как он погиб, т. е. что он погиб, не ввязавшись вообще ни в какую действительную борьбу, что он был сразу же задушен, не имея даже возможности развернуть свои силы. Валтасар очень выразительно подчеркивает, что он мог бы погибнуть и действуя иначе, но что это была бы гибель совершенно и н о г о р о д а:

Ты б мог изведать в исполинской схватке
Всю мощь той п о ч в ы, ч т о т е б я в с к о р м и л а,
Ты п а л бы, как стоял, в о в с е й красе!
Всего страшнее не погибель — страшно,
Что, погибая, падаешь в расцвете
Н е и з ж и т ы х, н е п о б е ж д е н н ы х с и л.
В о т ч т о г е р о ю т я ж е л е й в с е г о!

В самом деле, если бы Зикинген обратился с открытым воззванием к революционным элементам или, что сводится приблизительно к тому же, подождал бы еще 1½ года и дожил бы до начала крестьянских войн,

то борьба была бы во всяком случае совершенно иной и приняла бы гигантские размеры. Несомненно, что в последнем случае крестьяне нашли бы в нем действительно преданного их делу вождя вместо вынужденного к этой роли и предательского вождя в лице Гетца. При государствен-



Lieber Marx und Engels!

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛАССАЛЯ К МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ ОТ 27 МАЯ 1859 г.
(ОТВЕТ НА ИХ КРИТИКУ «ЗИКИНГЕНА»)

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

ном гении Зикингена, при его громадном влиянии на швабский союз, при его близком родстве с влиятельными лицами того времени борьба приобрела бы чрезвычайно колеблющийся хаарктер, чреватый самыми переменчивыми перипетиями. Поэтому и все историки ставят себе вопрос: что было

бы, если бы Зикинген подождал еще два года и оба движения встретились бы друг с другом?

Что получилось бы? Если исходить из конструктивной философии истории Гегеля, усердным приверженцем которой являюсь я сам, то придется конечно ответить вместе с вами, что в конечном счете все же неизбежно наступила бы и должна была наступить гибель, потому что Зикинген, как вы говорите, представлял реакционный au fond интерес и необходимо должен был представлять его, ибо дух времени и классовая принадлежность не давали ему возможности твердо стать на другую позицию.

Но это критико-философское понимание истории, в котором одна железная необходимость цепляется за другую и которое именно поэтому угашает действенность индивидуальных решений и поступков, как раз потому и не может явиться почвой ни для практически революционного действия, ни для драматического представления.

Для обоих этих элементов предпосылка преобразующей и решающей действенности индивидуальных решений и поступков является, наоборот, той необходимой почвой, вне которой драматически зажигательный интерес так же невозможен, как и смелый подвиг.

(Правда, если в трагедии прославляется решающее значение индивидуального действия, отрешенного и оторванного от общего содержания, с которым оно оперирует и которое его определяет, то трагедия превращается в бессмысленную нелепость. Но такого разрыва этих двух факторов вы уже конечно не поставите в упрек моей пьесе, хотя в дальнейшем я и укажу на одну упущенную вами из виду сторону дела, с которой ошибочное индивидуальное решение Зикингена необходимо определяется именно той общей ситуацией, в которой он находится и на которую вы напираете.)

Но если даже целиком придерживаться этого критически-конструктивного взгляда на историческую необходимость, все еще остается та возможность, что в случае слияния обоих этих движений, зикингеновского и крестьянского, разыгрался бы эпизод вроде того (привожу лишь приблизительный, а не аналогичный пример), каким в Англии было выступление индепентов.

Союз между Зикингеном и крестьянами был вполне возможен в особенности потому, что идея крестьянской войны (чего, как мне кажется, вы совершенно не заметили и к чему я возвращусь ниже) была в конечном счете не менее реакционной, чем идея Зикингена.

Ты далее говоришь: «Валтасар может конечно вообразить, что если бы Зикинген не скрыл свой мятеж под маской рыцарского междоусобия, а водрузил бы знамя борьбы с императором в открытой войне с князьями, то он победил бы. Но можем ли мы разделять эту иллюзию?»

В вышесказанном уже дан ответ на этот вопрос.

Здесь следует прибавить еще только одно. Если Валтасар, этот человек, поставленный в центр всей ситуации и так проницательно ее постигающий, может предаваться подобной иллюзии, как ты и сам допускаешь, то все сказано. Ведь в драме мы имеем дело не с критически-философской истиной, а с эстетической иллюзией и правдоподобием. Если моя формальная трагическая идея, согласно которой Зикинген погибает только оттого, что он не преодолел вышеупомянутой коллизии и не решился своевременно на революционное действие, так проведена через всю пьесу и правдоподобно представленную в ней ситуацию, что даже столь проницательный человек, как Валтасар, может питать иллюзию, будто Зикинген был бы в силах вызвать революцию и с ее помощью победить, — то для зрителя такое заблуждение ко-

нечно еще гораздо более возможно. А в этой эстетической иллюзии и заключается все дело. Драма — не критико-философский трактат по истории.

Ты продолжаешь: «Зикинген (и вместе с ним Гуттен, в большей или меньшей степени) погиб не из-за своего лукавства». (Если под этим «лукавством» ты понимаешь, как и я в моем письме, отсутствие у него решимости на революционное действие, то он погиб именно из-за него, чем бы ни была в свою очередь неизбежно вызвана сама эта нерешительность.)

«Он погиб, — говоришь ты, — потому, что как рыцарь (этот момент был, как вскоре обнаружится, принят мною во внимание в высшей степени) и как представитель гибнущего класса (поскольку этот момент совпадает с предыдущим, он был принят во внимание вместе с ним; поскольку же он с ним не совпадает, он не был, и справедливо не был, принят во внимание) восстал против существующего или вернее против одной формы существующего».

Теперь я должен оправдать оба мои замечания, приведенные в скобках. Что он погиб оттого, что выступил «как рыцарь» против одной формы существующего, это, говорю я, очень резко подчеркнуто мною. Ибо оттого, что он внутренне еще не может до конца порвать со старым, к которому он сам еще причастен и представителем которого он таким образом является, — оттого-то и происходит в конечном счете дипломатическое искажение его восстания, его не-революционное выступление и провал последнего! Этот момент составляет даже всю ось пьесы, и кроме того он резко подчеркнут в отдельных деталях, ибо именно отсюда из этого ветхого рыцарского Адама, который вдруг врывается в его революционные решения, и вытекает то, что он так ценит рыцарские орудия своей власти, свои замки, Эбернбург и т. д., вытекает мучительная борьба, которая происходит в его душе, когда Валтасар убеждает его выбросить вон весь этот старый рыцарский хлам. И в высшей степени резко подчеркнуто у меня это противоречие Валатасаром и самим драматическим развитием всей пьесы, поскольку Валтасар и ход событий насильно ставят Зикингена перед альтернативой: если он действительно хочет достигнуть своих революционных целей, он должен пожертвовать всеми своими замками, в том числе и Эбернбургом — «моей твердыней и моим оплотом, — короче, всем своим рыцарским существованием, и, как беглый пролетарий, броситься нищим в объятия крестьянства. Уже в конце четвертого акта, когда он вынужден распустить войско, чтобы не разместить его по замкам своих друзей и тем самым не задушить их сразу же, начинает сказываться это противоречие между его революционными целями и всем его рыцарским существованием и способом войны, а в пятом акте Валтасар четко резюмирует и чрезвычайно резко подчеркивает противоречие между его революционными тенденциями и его рыцарством с возможными в пределах последнего средствами борьбы:

Как, государь! Ужель сия нора —
Предел могущества и сил Франциска?
В вас, в вашем имени вся ваша мощь,
В доверии, с каким душа народа
Сочувственно несется к вам навстречу.
И стены замка только отделяют
От вашей силы, от народа вас, и т. д.

И он указывает ему на тлеющее крестьянское восстание. В целях овладения этим последним он требует от него, чтобы он одним взмахом отбросил от себя всю рыцарскую ветошь и предложил сдачу всех замков.

включая Эбернбург. Рыцарский Адам в Зикингене страстно восстает против этого:

Ты бредишь, Валтасар! Как? Эбернбург —
Мою твердыню, мой оплот — я должен....

Но Валтасар резко противопоставляет ему в ответ одно только слово:

Там за стенами встретит вас н а р о д.

Зикинген переживает тяжелую борьбу, но он выходит из нее п о б е д и т е л е м. Он переламывает себя и уполномачивает Валтасара на все. Он так хорошо понял сделанный ему упрек, что повторяет его дословно (5-я сцена) в своем монологе:

Он прав! Мне эти стены не оплот,
А только грань меж мною и народом.
Там, там он ждет меня под тяжким гнетом,
Ждет с страстною тоской, и т. д.
Иду, Германия, и т. д.

Теперь, в этот момент своего, я сказал бы, апофеоза, он умеет победить в себе, но слишком поздно, рыцарского Адама, он сам называет «обломками б е с п л о д н о г о лукавства» свое прежнее обращение к рыцарским средствам борьбы и связанное с этим дипломатически-расчетливое поведение в самый разгар революционного действия. Он восклицает:

...и еще тесней
Сжимает грудь мою змея у к о р а.
Мой меч, теперь ты должен разрубить мне два узла,
Один из них разрубишь ты наверно.

И особенно ясно он выражает это в обращении к Марии, с которым на устах и бросается в гибель:

Твой жребий поручаю добрым силам,
М е н я ж е призывают те, что м с т я т
З а з а б л у ж д е н и е!

При чем здесь конечно следует понимать не простое заблуждение ума, а ту нравственную вину, что посреди революционной стихии он не был д о к о н ц а революционен, оставался во власти к о м б и н а ц и й с в о е г о к л а с с а, и что он должен искупить это противоречие действительной или хотя бы только возможной гибелью:

Иду, Германия! Будь ты мне искупленьем
От всех пороков и земных сует:
Коль меж тобой и мной воздвиг я стену,
Так сам же я дерзну ее сломить!

Стало быть, когда ты говоришь: «Что он начинает восстание под маской рыцарской войны, означает всего-навсего, что он начинает ее как рыцарь», — то это в высокой мере верно, но в такой же мере и принято во внимание в моей драме. Ибо ведь если он хочет действовать дипломатически-лукаво, орудуя своими рыцарскими средствами борьбы, вместо того чтобы с самого начала открыто обратиться к революции, то и это не его случайное индивидуальное свойство, а опять-таки р е з у л ь т а т того что он своей п о з и ц и е й и к л а с с о в ы м п о л о ж е н и е м тесно связан с существующим порядком, с рыцарством, чем и определяется его индивидуальность. (Как у нас например лучшие буржуа, с а м и п о с е б е наиболее демократичные, обыкновенно не становятся подлинными

революционерами, потому что они сами участвуют в условиях жизни своего класса и связаны с ним.)

То, что вы повидимому принимаете за чисто случайную индивидуальность Зикингена, я рассматриваю, наоборот, как неизбежное, удерживающее его от решительного революционного шага воздействие его классового положения, с которым он еще тесно связан. В том же смысле, в каком Карл V говорит во втором акте:

Кто ж образует сам свои решенья,
А не находит их в готовом виде
В железных письменах своей среды?

И что это воззрение есть единственно правильное, вытекает еще из двух следующих соображений: 1) в противном случае, именно потому, что в остальном я приписал Зикингену вполне революционные цели, было бы совершенно непонятно, почему революционный элемент все же по-настоящему не прорывается у него наружу. Так как в отношении своих целей, ума и воли, во всем, что составляет сознательную сторону человеческого духа, Зикинген вполне революционен, то этот провал может объясняться только тем, что бессознательная сторона его существа, его натура, т. е. как раз та сторона, которая является продуктом условий существования индивида, остается еще тесно связанной с существующим строем, остается не-революционной.

2) Это вытекает далее из того, что именно в этом отношении все трое, Зикинген, Гуттен и Валтасар, желающие в общем одного и того же, отличаются друг от друга, в точном соответствии с условиями своего существования, как раз тем, как они этого желают. Гуттен, хотя и рыцарь по рождению, но в качестве настоящего идеолога вообще независимый от каких бы то ни было сословных уз, всей своей жизнью порвавший со своим классом, наконец принадлежащий к рыцарству лишь по праву рождения, а не по своему реальному положению и материальным условиям, — Гутен стоит в третьем акте за восстание, как чистый идеалист; он — за открытый призыв повстанцев к дворянству, городам и крестьянам. Дипломатические ходы Зикингена не по нем. Но как идеолог-идеалист он стоит за восстание только ради чисто духовных, религиозных целей.. Увлеченный гораздо более обширными государственно-реальными целями Зикингена и силой, с какой тот развертывает перед ним свой величественный замысел, он тотчас же с бурным воодушевлением, свойственным ему как чистому идеалисту, присоединяется к политическим планам Зикингена, предоставляя ему их детальное выполнение как нечто такое, в чем он сознает себя менее компетентным. Валтасар, человек низкого происхождения, не связанный с условиями классового положения Зикингена, за восстание в его истинном и революционном виде. Только один Зикинген стремится к восстанию и представляет его себе в не-революционной, реалистично-дипломатической форме, которая, с одной стороны, в отношении цели выходит далеко за пределы непосредственных планов Гуттена, но с другой — несомненнейшим образом отмечена влиянием его классового положения, материальных средств и реальной позиции, словом является продуктом еще не умершего в нем рыцарского Адама.

Все трое различаются таким образом между собой тем, как они хотят, — в точном соответствии с теми условиями существования, с которыми они связаны или не связаны.

Мимоходом замечу здесь еще кое-что против Энгельса. Вы оба находите, что и Зикинген обрисован все-таки слишком абстрактно. Об этом, как обо всех сторонах формального выполнения, я не позволю себе спорить.

Это вам как непредубежденным читателям конечно виднее, чем автору. Я спорю только о вопросах, относящихся к содержанию. Но когда Энгельс совершенно справедливо замечает: «Личность характеризуется не только тем, чего она хочет, но и тем, как она этого хочет», то я позволю себе заметить, что, согласно сказанному, все три лица представляются мне весьма определенно охарактеризованными в том отношении, как они хотят достигнуть общей цели.

Далее ты говоришь: «Зикинген погиб потому, что как представитель гибнущего класса восстал против одной формы существующего». Поскольку этим утверждается лишь то, что он погиб именно потому, что бессознательно и непроизвольно был связан с условиями существования этого класса и поэтому не мог добиться решительного выявления противоречий, — постольку это совпадает с вышесказанным: он погиб потому, что восстал как рыцарь против одной формы существующего, что и было, как я уже заметил, полностью принято мною во внимание и даже сделано центральной идеей пьесы. Поскольку же твое утверждение идет дальше, то изобразить Зикингена таким я не счел возможным. Со стороны его сознания я приписал ему наоборот самые революционные цели и изобразил его человеком, способным подняться и до всех дальнейших революционных выводов, к которым его мог бы привести практический успех революции, если бы он победил и продолжал жить.

Ведь я наделил его даже способностью — правда, лишь в момент апофеоза, правда, когда это уже слишком поздно, — совлечь с себя и отбросить прочь все рыцарское.

Что я имел право приписать ему такую революционную позицию, вытекает из следующего: он стоит в начале революции, он занимает хотя бы в одном направлении революционную позицию. Последняя является таким образом неким весьма двусмысленным «в себе», которое, если движение продолжится и толкнет его к дальнейшим выводам, может развиться как в том смысле, что он эти выводы сделает, так и в том, что он выступит против них с реакционной враждебностью. Насчет его класса нельзя конечно усомниться ни на одно мгновение, что он занял бы эту последнюю позицию. И я готов также согласиться с тобою, хотя и можно было бы кое-что возразить на это, что исторически определенный индивид Зикинген вел бы себя как классовый индивид и взял бы именно это направление. Но абсолютной необходимости для любого индивида в этом нет. Индивид может все-таки целиком подняться над своим классом, в особенности когда он получил идеологическое образование, — а он получил его отчасти благодаря своему alter ego Гуттену, отчасти же и в достаточной мере благодаря самому себе; сам Гуттен говорит о нем, что он настолько eruditus, насколько это вообще возможно sine literis (без знания греческого и латинского языков). Так, Сен-Жюст был маркизом, Сен-Симон — пэром Франции, а более близкий к той эпохе Ян Жишка был тоже рыцарем и дворянином. В жизни Зикингена мы имеем кстати то в высшей степени удобное для драматического поэта обстоятельство, что он погибает в самом же начале движения, что он не пережил ни одной действительной ситуации, которая поставила бы его перед указанной альтернативой, что поэтому нет ни одного совершонного им факта, дающего возможность судить, как он отнесся бы к дальнейшему развитию движения: все его бумаги и более или менее выработанные планы погибли при пожаре Эбернбурга, так что все известное относительно последних не выходит из круга все того же первоначального революционного «в себе» и поэтому производит очень благоприятное впечатление (не говорю уже о том, что имеется

много весьма любопытных, хотя прямо и не решающих симптомов и в пользу его возможного дальнейшего развития). Я имел таким образом право представить его так, как будто его личный гений мог в случае надобности подняться до всех революционных выводов, именно потому, что он фактически не дожил до противоположной эволюции, и следовательно это можно было представить в достаточно приемлемой и правдоподобной форме, с достижением полной эстетической иллюзии, не нарушаемой никакими фактами из области народного сознания или истории. Но раз я имел на это право, то ясно само собой, что я и очень много выигрывал от этого. Действительно, как мог бы я возбудить интерес к личности, как мог бы сам заинтересоваться личностью, преследующей сознательно реакционные дворянские цели, являющейся сознательным представителем этого класса — не только против князей, но и против народа? Но тем более потрясающим и тем более революционным одновременно должно было стать впечатление, когда я одарил его всевозможными революционными добродетелями, частью действительными, частью внутренне для него возможными, и когда он тем не менее погибает у меня оттого, что он не вытравил из своей натуры одну последнюю преграду, непроизвольный продукт его классового положения, еще отделяющую его от законченного революционера.

Если поэтому ты говоришь, что Зикинген должен погибнуть у меня оттого, что он был революционен лишь «в своем воображении», то так оно и есть в моей трагедии, ибо если от вполне законченного революционера его отделяет хотя бы только одна единственная преграда, значит он и остается революционером лишь «в воображении». Одна преграда или сто преград — это безразлично: несоединимое останется несоединимым. Но сверх этой одной преграды я не хотел и не мог, при поставленной мною цели, создавать еще другие.

Ты думаешь, что Зикинген отличается от Гетца только тем, что он воображал себя революционером, и что если отнять у Зикингена образование, врожденные задатки и т. д., то получится Гетц. Против этого я должен выдвинуть два обстоятельства:

1) хотя это в сущности совершенно безразлично для моей драмы, — ты тут решительно ошибаешься и насчет исторического Зикингена. Я целиком подписываюсь под твоей характеристикой Гетца как «жалкого субъекта», и лишь отсутствием исторического чутья у Гете я всегда объяснял себе то, что он мог сделать героем трагедии этого совершенно ретроградного молодца. С твоей похвалой по адресу Гете я не могу поэтому согласиться, ибо ведь Гете желает сосредоточить на нем положительный интерес.

Но совсем иначе обстоит дело с Зикингеном. Исторический Зикинген не совпадает конечно целиком с Зикингеном моей трагедии, нисколько,— но еще менее совпадает он с тем Зикингеном, какого ты себе представляешь. В этом ты можешь мне пока поверить на слово, так как я подробнее знаю его биографию. При случае я мог бы представить доказательства в пользу моего утверждения. Существует множество указаний на то, что Зикинген мог бы даже пойти вместе с крестьянами. Таковы: «Новый Карстганс», в котором Гуттен в диалоге с одним крестьянином называет его крестьянским вождем; опасение князей, что он поднимет «восстание с простолюдином»; имя «Жишка», которым он любил сам себя называть, и т. д. При всем том я согласен, что можно сомневаться, пошел ли бы он действительно вместе с крестьянами, и во всяком случае, как далеко он пошел бы вместе с ними. Но когда ты говоришь, что за его словами коварно скрываются мечты «о старом кулачном праве», то ты ошибаешься. Эту стадию он давно перерос; об этом свидетельствуют самые несом-

ненные данные. С городами он пошел бы наверное, и он всячески добивался того, чтобы стать их вождем. Когда ты говоришь, что не будь он таким, каким ты его себе представляешь, он должен был бы апеллировать непосредственно к городам (и крестьянам), т. е. «к классам, развитие которых = отрицанию рыцарства», то я возражаю, что он и в самом деле беспрестанно апеллировал к городам, даже еще до восстания, и что усерднее всего он добивался именно союзов с городами в Страсбурге, Бамберге и т. д. В промежуток времени между трирским походом и осадой его замка он прямо засыпал города посланиями, созывал съезды городов или посылал к ним своих гонцов, обращался даже к своим старым врагам из Вормса и т. д. Города подвели его.

В речи, которую он произносит у меня в третьем акте перед жителями города Ландау, он в вопросе о городах вполне верен тому повороту, который позднее произошел в его политике.

Наконец 2) — и это главный пункт — если бы ты был даже вполне прав относительно исторического Зикингена, ты все же не прав по отношению к моему Зикингену. Разве поэт не в праве идеализировать своего героя, наделить его более совершенным сознанием? Разве Валленштейн Шиллера историчен? Разве Ахилл Гомера — действительный Ахилл? Энгельс прямо признает это. Он говорит: «Однако я отнюдь не оспариваю ваше право рассматривать Зикингена и Гуттена как деятелей, поставивших себе целью освобождение крестьян».

Раз уже я заговорил о праве поэта идеализировать свои исторические персонажи, то укажу тут же обе границы, в которых ему дозволено пользоваться этим правом: 1) он не смеет приписывать своему герою таких взглядов, которые выходят за горизонт всей той эпохи, в которой он жил. В противном случае он будет неисторичен и тенденциозен в худшем смысле этого слова. Но все то, что в эту эпоху так или иначе думали, говорили или представляли себе наиболее свободные и передовые умы, все это он может сконцентрировать, как в фокусе, в личности своего героя. И действительно я не вложил в уста Зикингена или Гуттена ни одного воззрения, ни одного слова, про которое нельзя было бы доказать, что так думали или говорили в ту эпоху. 2) Но и этому праву поэта концентрировать все духовные лучи эпохи в личности своего героя, как в фокусе, наделить его наивысшим сознанием, какое только было возможно в ту эпоху (хотя бы он в действительности и не обладал им), поставлена вышеуказанная граница: необходимо, чтобы герой не вступил в противоречие с этими воззрениями на каком-либо этапе своего фактического развития. Необходимо, другими словами, чтобы он шел в ногу с развитием событий или же чтобы он вовсе не пережил это развитие, чтобы он погиб в самом начале, когда ситуация еще была двусмысленна. При несоблюдении этой границы поэт пойдет прямо против истории, допустит неправду и уже не сможет дать ничего правдоподобного и захватывающего, им будут нарушены все законы эстетической иллюзии. Поясню мой взгляд на одном примере. Так как Лютер дожил до крестьянских войн и выступил против них, то было бы невозможно и бессмысленно отвести ему в трагедии противоположную роль, роль защитника крестьянского дела; но если бы Лютер умер, подобно Зикингену, до крестьянских войн и до споров с Мюнцером, то было бы пожалуй возможно — хотя я не хочу сказать здесь ничего определенного об этом конкретном случае и привожу его только как пример — изобразить его в какой-нибудь драме так, как будто он взял на себя защиту крестьянского дела. Ибо если многое в его точке зрения должно было поставить и действительно поставило его во враждебное отношение к крестьянству, то было в его точке зрения и много других моментов (как фактически на него сначала и возлагали

надежды в этом отношении). Значит здесь был налицо неразрешенный конфликт разноречивых моментов, а где положение таково, там свободна если и не историческая критика, то во всяком случае творческая фантазия. Это ты, по-моему, упускаешь из виду. Так например, в упомянутом случае Лютеру можно было бы отвести такую роль, как если бы он был способен к тому развитию, какое фактически породил из себя и переживал некоторое время протестантизм в лице английского индепендентства.

Итак, ясно, что большинство твоих возражений касается лишь исторического, а не моего Зикингена. Мой Зикинген вовсе не мог бы пасть жертвой реакционных целей, потому что я и не наделил его ими, а только поставил его перед реакционной преградой, каковой является его не доходящая до революционного взрыва, определяемая его классовым положением натура.

Если признать мое право на это, которое я постарался обосновать в предыдущем и которое Энгельс признает и сам, то все остальное в драме развивается, как мне кажется, в высшей степени последовательно. Но есть еще один упрек, который мне здесь делает Энгельс. Он согласен, что я мог приписать Зикингену и Гуттену намерение освободить крестьян. «Но тогда,— говорит он,— тотчас же получается то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически-необходимым постулатом и практической невозможностью его осуществления». Короче говоря, он думает, что Зикинген должен был бы погибнуть у меня из-за нежелания его партии, дворянства, следовать за ним в его революционных планах, из-за возникшего отсюда разлада и т. д. Энгельс высказывает тут вполне верный взгляд, что я мог поднять личность Зикингена, но не его класс, над классовыми целями. Вызванный этим конфликт и должен был бы стать мотивом гибели моего героя. Но при всей проницательности этого упрека он все-таки несостоятелен: 1) прежде всего замечу мимоходом, что я считаю даже невероятным, чтобы Зикинген, если бы он решился апеллировать к крестьянству, пал жертвой этого своего выступления. Если бы он только подчинил себе дворянство и крестьян, то с помощью последних он уже совладал бы и с первыми, тем более, что крестьяне являлись более сильным элементом. Для этого он был самый подходящий человек. Обречь его на такую гибель значило бы с моей стороны признать за дворянской партией силу и значение, которых она уже не имела. Кроме того, как бы ревностно и горячо ни было ему предано дворянство, без крестьян и городов он все равно должен был бы погибнуть. Истинную причину его гибели надо значит искать в чем-то другом, а не в сопротивлении дворянской партии. И наконец союз крестьян с дворянством тоже был вполне мыслим, о чем скажу ниже. Но 2) такого отказа со стороны дворянства следовать за ним в его планах освобождения крестьян и вызванных этим трений и ухода от него фактически вовсе не было. Все это вполне могло бы случиться, если бы Зикинген продолжал жить, заключил бы союз с крестьянами и т. д. Но на самом деле этого не было. А изменять в области истории такие реальные события я считаю прямо непозволительным. Зато внутренние цели, которые могли и не обнаружиться явно ни в каких фактах, я считаю вполне дозволенным — покуда продолжается двусмысленная ситуация — вложить кому-нибудь в душу, так как в ней никто читать не может. Но сочинять такие реальные события, как раздоры, распри со своей партией, конфликты и споры с другими дворянами по поводу его тенденций в крестьянском вопросе — а такие осязательные факты приш-

лось бы внести в историю от себя, потому что ничего подобного фактически не случилось, — это, по-моему, непозволительно.

3) Наконец, и это главное, выбранный мной конфликт несомненно гораздо глубже, трагичнее и революционнее, чем тот, который мне рекомендует Энгельс. Он глубже и трагичнее уже потому, что мой конфликт имманентен самому Зикингену, между тем как энгельсовский конфликт имел бы место лишь между ним и его партией. Куда девалась бы тогда собственная трагическая вина Зикингена? Он погиб бы, внутренне совершенно оправданный и безупречный, исключительно из-за эгоизма дворянского класса,— страшное, но в сущности совершенно не-трагическое зрелище.

Но именно потому, что вина Зикингена имманентна у меня ему самому, конфликт становится гораздо более революционным. Ведь нет никакой специфической или очень глубокой революционной «морали» в том, что можно погибнуть, когда идешь дальше своей партии и поэтому уже не имеешь ее за собой. У меня наоборот: Зикинген погибает оттого, что идет недостаточно далеко. И я нахожу в высшей степени революционную «мораль» в обнаружении того, что как бы революционен ни был кто-нибудь по своему содержанию, какими бы материальными средствами и т. д. он при этом ни располагал, он все-таки должен погибнуть, если вступит в какой бы то ни было компромисс с существующим, хотя бы даже то была сделка только в отношении чисто формальных моментов его действий, и хотя бы он именно благодаря этой сделке в области формы приобрел как угодно много благоприятных условий и реальных выгод. Энгельс, правда, говорит: «Опуская этот момент (его конфликт), вы сводите трагический конфликт к более мелким размерам, к тому, что Зикинген вместо прямой борьбы с императором и имперскими чинами выступил только против одного князя (хотя вы здесь и вводите с верным чутьем крестьян), и он гибнет у вас просто из-за равнодушия и трусости дворянства».

Мне и в голову не приходило заставить Зикингена погибнуть из-за равнодушия и трусости дворянства. Валтасар в пятом акте излагает перед Зикингеном совершенно иные причины его гибели и упоминает о нерешительной позиции дворянства только в таких выражениях: «пока, напуганное первой неудачей, дворянство робко отступает вспять» и т. д.,— напоминает о ней только как об одной из наименее важных причин временного затруднения Зикингена. Ясно также, что даже преодолев его, Зикинген все-таки не мог бы победить без крестьян, почему Валтасар и указывает на них как на единственных победоносных носителей движения. Даже о городах он упоминает при этом только вскользь.

Критика Валтасара основывается не только на этом временном затруднении в Ландштуле. Ведь уже в третьем акте, а затем, возвращаясь к этому вопросу и развивая его подробнее в пятом, он порицает поход Зикингена на Трир, где дворянство было еще целиком и горячо предано ему. (Валтасар говорит в третьем акте: «Будь я с вами, я дал бы вам — ей-ей — другой совет, не столь же умный и все-таки, быть может, поумнее»; и в пятом акте он только разъясняет, в чем бы заключался этот совет.) Таким образом Валтасар объясняет катастрофу не трусостью дворянства, этой отрицательной причиной, проявившейся лишь в Ландштуле, а тем, что Зинкинген не решился на положительное выступление совсем иного рода.

Точно так же и крестьяне выведны на сцену вовсе не между прочим, как это думает Энгельс, а объявлены Валтасаром главной осью всего, единственным «сим победиши», и, как я еще покажу ниже, все строится на них.

Когда Энгельс говорит, что Зикинген погибает у меня оттого, что он вступил в борьбу лишь с одним князем, а не сразу же с императором и имперскими чинами, то в *такой форме* это соображение совершенно парадоксально и даже непонятно. Ведь вообще говоря, легче справиться с одним князем, чем со всеми князьями и с императором в придачу. Необходимо поэтому выразить это в положительной форме и сказать: Зикинген погибает оттого — и на это и указывает ему Валтасар с *беспощадной* ясностью как на причину его гибели,— что он не ринулся со всего размаха в самое сердце революции, что он не апеллировал, сжигая за собой все корабли и мосты, к *низшему и самому крайнему* революционному слою и не развязал таким образом все революционные силы народа, что он не доверился в безумном идеалистическом порыве, пренебрегая всеми реалистическими сомнениями и умствованиями, одному лишь могучему напору революционной идеи и ее наивысшему напряжению.

Но в таком случае апатия дворянства и не является уже причиной его гибели. Выраженный в такой форме конфликт не сводится уже к «более мелким размерам», но вырастает в глубочайшую и вечную коллизию революционной идеи с самой собой и в то же время влагается в самого Зикингена как еще действующий в нем и поэтому обусловливающий его вину момент.

Но Энгельс не написал бы конечно этих фраз, если бы прочел мое первое письмо и усмотрел бы из него всю трагическую идею моей драмы. Ибо эта идея, как она изложена у меня в письме, действительно проведена и в самой пьесе, этого, я думаю, он точно так же не станет оспаривать, как не оспариваешь ты, да это впрочем доказывает весь пятый акт.

Перехожу наконец к последним, но вместе с тем наиболее важным для меня возражениям, потому что ими затрагивается интерес партии, который я считаю весьма правомерным. Вы оба сходитесь на том упреке, что я «слишком отодвинул на задний план» крестьянское движение, что я «недостаточно выдвинул его вперед». Ты обосновываешь это так: Зикинген и Гуттен должны были бы погибнуть у меня оттого, что они, подобно например польскому дворянству, были *революционны* лишь в своем *воображении* (поскольку это верно, это, как я только что показал, высказано в моей драме), на самом же деле защищали *реакционные интересы* (но *в моей драме* они их не защищают, а потому и не могут погибнуть из-за них). «*Дворянские* представители революции, — говоришь ты, — за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой императорской власти (recte! но это относится также, и в такой же мере, к *крестьянам*) и кулачном праве (это неверно даже по отношению к историческому Зикингену в его второй период) не должны были *значит* (это «значит» показывает, что эти слова являются лишь выводом из предыдущего и падают вместе с ним) так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя: представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были составить гораздо более существенный активный фон. Тогда ты мог бы, и в гораздо большей мере, выразить как раз наисовременнейшие идеи в их наиболее наивной форме(??!), теперь же главной идеей фактически остается у тебя наряду с *религиозной* свободой гражданское единство». «Не впал ли ты до известной степени сам,—восклицаешь ты,— как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил *лютеровско-рыцарскую* оппозицию выше *плебейско-мюнцеровской?*»

О, в высшей степени несправедливый друг! Прежде всего отвечу мимоходом на упрек в том, что я инсценировал апофеоз лютеровско-рыцарской оппозиции! Каким это образом? Я думаю наоборот, что в моей драме

протестантизму приходится гораздо хуже, чем католицизму. Во втором акте папский легат сводит протестантизм, этот еще недозревший плод, к свободно-человеческому атеистическому гуманизму как к его истинной основе и конечной цели его развития, как к его действительному духовному корню. Гуттен делает то же самое в третьем акте, описывая свою жизнь и борьбу с Рейхлином. Так обстоит дело с духовной стороной протестантизма и с его критикой у меня. В политическом же отношении уже во втором акте, в диалоге с императором и еще более решительно в третьем акте, в своем диалоге с Гуттеном, когда последний требует, чтобы он поднял меч в защиту религиозной свободы, Зикинген доказывает, что протестантизм может только разрушить всякое национальное и политическое бытие, если он не будет взят в руки самим императором и превращен в великую национальную и государственную идею. Он показывает, предрекая заранее ход развития, наступивший в Германии после Вестфальского мира и благодаря ему, что протестантизм неизбежно приведет нацию к окончательной политической смерти и гибели, что он является могильщиком нашей истории. (В этой мнимо протестантской пьесе нет ни одной протестантской фигуры, кроме осмеянного Эколампадиуса. Гуттен изображен в чисто гуманистических, Зикинген в чисто политических тонах.) Так обстоит дело с прославлением лютеровской оппозиции. Что же касается рыцарской оппозиции, то ведь для Зикингена она вообще не существенная цель, а (что вы оба проглядели) лишь средство, которое он хочет употребить, лишь движение, которое он хочет искроме цельного и обязательного, проведенного императором чтобы затем, выполняя роль, от которой отказывается Карл, преобразовать и осуществить протестантизм как государственную и национальную идею. От всякого другого осуществления этой идеи, кроме цельного и обязательного, проведенного императором для всей Германии, от всякого частичного ее осуществления Зикинген ожидает, как он это подробно высказывает Карлу и Гуттену, гибели и упадка, и значит к частичной рыцарско-лютеровской оппозиции это относится в такой же мере, как к княжеско-лютеровской. До какой степени Зикинген не вовлечен у меня сам в дворянское движение, до какой степени он только использует его, чтобы сделаться императором с помощью дворян и без их ведома и осуществить затем свои великие государственные планы,— об этом ведь свидетельствует каждое слово моей драмы. Никто из дворян не знает о его стремлениях к императорской короне, только Гуттену он говорит о них. Он созывает дворянство в Ландау в тот момент, когда собирается итти на Трир для осуществления своих целей. Даже в Ландау дворяне не узнают, за исключением всего нескольких доверенных лиц, что он собирается итти в Трир. Он возбуждает их в Ландау своими речами, заставляет их заключить союз, который по его расчету должен доставить ему Трир и императорскую корону, и эти господа кричат «да», ничего не зная ни о той, ни о другой его цели. Я умышленно не дал им слова и ни разу не вывел их на сцену до того, как Франц созвал их в Ландау. Я хотел изобразить их в виде партии, которую один Франц привел в движение, которой он механически управлял, дергая ее, как марионетку, взад и вперед, которая была им использована, ничего не зная о его тайных целях. До какой степени он властвует над ними, как мало их ценит и с каким превосходством командует ими, видно в четвертом акте, в момент прибытия герольда, и потом яснее всего после штурма, когда постепенно приходят известия о неудачах. Тогда они покидают его, но не вследствие сознания различия их

внутренних целей, а из простой апатии, трусости, нерешительности; и как единственный элемент, достаточно способный и сильный, чтобы быть носителем и проводником стремления Зикингена к императорской короне, изображается исключительно лишь крестьянство — в речах Валтасара, в крестьянской сцене, в согласии Гуттена с крестьянами, в упреках, которые Франц делает самому себе в монологах и сценах пятого акта, наконец в последней сцене между ним и Гуттеном... И то, что Зикинген не обратился с призывом к этому единственно сильному и имеющему будущность элементу, объявляется справедливой причиной его падения.

Так обстоит дело с «прославлением» «рыцарской» и «лютеровско-рыцарской» оппозиции!!!

И ты утверждаешь, что я сам до некоторой степени впал в дипломатическую ошибку Зикингена, поставивши лютеровско-рыцарскую оппозицию над плебейско-мюнцеровской?

Обожди, мой друг. Я построю свои основания в полном порядке:

1) Строго говоря, ваши замечания в этом отношении сводятся ни к чему иному, как к отведенному уже Платоном и Аристотелем упреку по адресу какой-либо трагедии, что не те или иные отдельные черты в ней плохи или ошибочны, но что это вообще не другая трагедия. Ваши упреки сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал «Франца фон Зикингена», а не «Томаса Мюнцера» или какую-нибудь другую трагедию из эпохи крестьянских войн. Но я отнюдь не думаю ограничиться одним только этим ответом.

2) Если бы я написал «Томаса Мюнцера» или какую-нибудь другую крестьянскую трагедию, то даже в том случае, если бы это не было связано со всеми теми затруднениями, к которым я еще вернусь, я все-таки написал бы только трагедию определенной, исторической, законченной и миновавшей для нас революции.

Не мог же я вложить в «Томаса Мюнцера» основную трагическую идею моей драмы, этот почти при каждой революции повторяющийся вечный конфликт. Каковы бы ни были причины гибели Мюнцера, он ведь во всяком случае погиб не оттого, что вел реалистическую дипломатию, а не апеллировал с непримиримым фанатизмом и с закрытыми глазами к самой крайней революционной позиции и к ее силе. Такого упрека Мюнцеру уж никак не сделаешь.

Я написал всю трагедию, как я уже сообщал тебе в моем письме, только для того, чтобы изобразить эту трагически-революционную основную идею. Следовательно я не мог выбрать Мюнцера. Ты сам говоришь, что «вполне одобряешь» эту трагическую идею, что она и есть та коллизия, от которой погибла также революция 1848 и 1849 гг. Не станешь ты отрицать и того, что для будущей революции та же самая коллизия снова явится опаснейшим подводным камнем, хотя и будем надеяться, что нам тогда удастся благополучно обойти его. Вот это-то вечно-современное в этом революционном конфликте и побудило меня написать мою драму. Не какую-нибудь определенную минувшую революцию, как таковую, хотел я изобразить, но глубочайший и вечно вновь повторяющийся конфликт революционного действия и его необходимость. Словом, я претендую на то, что написал трагедию формально-революционной идеи par exellence! И это ты называешь дипломатией? Дипломатия в том, что я как раз показал бессилие даже самой незаметной сделки, относящейся, казалось бы, вовсе даже не к цели, не к существу, а только к выполнению, к форме?

3) Наконец и крестьянские войны не таковы по своей природе, какими вы их повидимому считаете. Они наоборот а) не-революционны;

b) и в конечном счете даже в высшей мере реакционны; ничуть не менее реакционны, чем исторический (не мой) Зикинген и историческая дворянская партия.

a) Не-революционны. Ведь крестьяне требовали от дворян лишь уничтожения злоупотреблений, а не уничтожения самих порядков. Чем тщательнее изучаешь крестьянские войны, тем яснее видишь это; и это не удивительно. Идея прав субъекта, как такового, выходит за пределы всей той эпохи, внести ее туда — значило бы поступить неисторично в худшем смысле этого слова. Но на основе движения, поднявшегося только для устранения злоупотреблений, а не на почве свободного правового принципа, можно было бы написать трагедию человечности, но не трагедию сознательного принципа. Указанный характер крестьянского движения проходит через все это движение и видоизменяется у Т. Мютцера, проповедников и т. д. — словом, там, где присоединяется элемент религиозного фантазерства. Но работать над материалом религиозного фантазерства и относиться к нему положительно я не в силах совершенно. Тут уже мне милей любой, даже менее радикальный по своим лозунгам свободно человеческий пафос. Идеалистическое образование, которое я мог приписать Гуттену и Зикингену, сделав из него все выводы, казалось мне гораздо более удобным и по крайней мере не обоюдоострым материалом. Ибо единственное условие, при котором можно было бы согласиться написать драму «Мюнцер», — намерение показать, что движение Мюнцера гибнет как раз из-за своего религиозного характера, — это условие невыполнимо ни по существу, ни исторически.

b) И наконец меня удивляет, как могли вы не заметить, что крестьянская агитация в последнем счете была насквозь реакционна, столь же реакционна, как и историческая дворянская партия. Дело в следующем: крестьяне хотели исключить из имперского сейма всех князей лишь как промежуточную власть. Они хотели, чтобы в нем было представлено только дворянское землевладение наравне с крестьянским (князья должны быть представлены не как таковые, а лишь поскольку они являются вместе с тем дворянами-землевладельцами). Другими словами: определяющим политическим моментом является для них еще не субъект — это выходило за пределы той эпохи,— а частное землевладение. Оно одно считается правоспособным. На основе свободного личного землевладения предполагалось создать государство землевладельцев с императором во главе. Это была следовательно все та же старая, отжившая идея германской империи, которая и потерпела крушение. Именно благодаря этой архиреакционной идее крестьян их союз с дворянством был бы еще вполне возможен. В своей политической позиции дворянство не только ничего не теряло от крестьянских планов, но даже выигрывало. А то, что оно теряло в своих доходах с крестьян от ограничения злоупотреблений, компенсировалось уничтожением ленных прав князей по отношению к дворянам. Отсюда тот факт, что многие дворяне и графы — и не все предательски или во всяком случае не сразу же предательски и вынужденно — сближались с крестьянским движением.

Эта-то архиреакционная идея служит в равной мере фундаментом для исторического Зикингена, для исторической дворянской партии и для крестьянского движения и общей исторически-оправданной и необходимой причиной гибели всех трех. Ибо в противоположность этой идее, которая основывает общественное право на частной земельной собственности и в ней одной усматривает источник всякой политической правоспособности,

князья с их господством над не составлявшей их частную собственность и не полученной ими в лен землей были представителями впервые зарождавшегося политического, независимого от частного землевладения государственного принципа.

Отсюда победа князей как над дворянством, так и над крестьянами, и в этом же причина того, что города не должны были погибнуть.

Итак, с точки зрения неумолимой исторической критики, крестьянские движения того времени столь же реакционны, как и дворянская партия. Это одна и та же идея. Если бы я писал критико-исторический трактат, я показал бы, что именно в этом причина гибели и дворянства, и крестьян. Но в художественном произведении, не говоря уже о трудности изложения таких мыслей в эстетической форме, это не могло бы возбудить особенного интереса к крестьянскому делу, а только весьма ослабило бы обычный интерес к нему. Таким образом крестьянские войны и т. д., использовать ли их в вашем или в моем смысле, должны оставаться в некотором полумраке, к ним нельзя подходить слишком близко. И я боюсь, что еще одно обстоятельство должно сделать драму на сюжет крестьянских войн почти отталкивающим зрелищем. Я не говорю уже о той большой трудности, что здесь нет объединяющей индивидуальности. С этим еще можно было бы справиться. Но дело в том, что внешней причиной неудачи крестьянских войн было полнейшее равнодушие, с каким каждая кучка крестьян относилась к другой, их эгоизм, обособленность, беспримерная ограниченность.

Сущность немецкого мещанства можно изучать на крестьянских войнах в большом масштабе. Каждая кучка крестьян думает только о себе, и как только она сожжет замки в своем округе, ей уже абсолютно безразлично, что творится с крестьянами соседнего округа. Особенно величественным изображение этого самого скверного и узколобого эгоизма, этого полнейшего отсутствия всякого общественного чувства уж никак не могло бы стать!

Что же я сделал для изображения крестьянского движения при таком его не-революционном и даже прямо пассивно-реакционном характере и заслужил ли я упрек в том, что не обратил на него достаточно внимания?

Чтобы хотя бы только ввести это движение в мою пьесу, я смело допускал всяческие анахронизмы. У меня крестьяне восстают или готовы к восстанию на 1½ года раньше, чем это было фактически, я воскресил Йосса Фритца, который умер или исчез за 8 лет до того, у меня Гуттен, вовсе не вернувшийся из Цюриха, приезжает в Германию, чтобы принять их предложение; крестьяне берут на себя в моей трагедии инициативу и предлагают Зикингену союз и восстание,— всего этого не было в действительности. Уже на одном этом основании я как будто мог считать, что сделал почти невозможное.

Но не то еще получится, если я спрошу, какую роль отвел я крестьянству по отношению к целому? С самого же начала все в драме рассчитано на крестьян. С самого начала слышны намеки на них сперва нарочно в очень слабых, потом постепенно во все более усиливающихся тонах, пока наконец могучие аккорды и оглушительный барабанный бой не возвещают о них, как о мессии, от которого одного только можно было ждать спасения и которого следовало призвать на помощь.

Первое упоминание о них происходит во втором акте в диалоге с Карлом, который показывает Францу объявление о крестьянском восстании и восклицает:

Как? Неужель мои дворяне могут
Забыться до того, чтоб с мужиком
Восстать против законного порядка, и т. д.

Так как ответ Франца перебивается императором, то зритель все еще остается пока в полном неведении. Далее, в третьем акте, Гуттен обращает внимание зрителя на крестьян и на свое отношение к ним:

На твой призыв крестьянская дружина
Вооружится в миг для новых битв.
Везде кругом насилие и гнет
Воспламеняют ненависть к дворянству,
Лишь ты один, и т. д.

Затем в Ландау Зикинген в своей речи все больше и больше обращает внимание дворянства на крестьян. Он говорит дворянству, что крестьянин ненавидит князей, а не их, не дворян (почему, я только что выяснил), упоминает о том, что крестьянин уже восстал однажды во время мятежа «бедного Конрада» против того же самого князя, против которого вслед затем должно было выступить и дворянство, и что уже в этом сказывается общность их судьбы. Более того: он открыто указывает на крестьянство как на ту силу, которая в свое время будет развязана и решит судьбу страны:

Когда по всей стране
Промчится фурия войны кровавой
И все расколет на два вражьих стана,
Тогда крестьянин мощною рукой,
Развязанной в последнюю минуту,
Решит исход чудовищной игры,
Решит судьбу Германии. Об этом
Подумайте!..

В четвертом акте — в Трире — появляется городской элемент. В пятом акте наконец раздаются мощные аккорды Валтасара, который со всей силой ударяет по этой струне:

Страдает населенье, и т. д.
. . . .
В крестьянстве бродит, и т. д.
. . . .
На ваш призыв к крестьянам сотни тысяч
Поднимутся с оружием в руках.
Лишь вымолвите слово, и страна
Вам станет войском, вы стране — вождем!

И не успел Валтасар убедить его, как в следующей сцене перед зрителем восстает в живом и развернутом виде то, о чем прежде только возвещалось. Это только одна сцена, но в эту сцену я вложил всю силу пластики, какая только у меня есть, при чем охотно признаю, что у меня ее не так уж много. И может быть потому, что эта сцена единственная, она должна тем сильнее выделяться и производить тем большее впечатление. Если до сих пор о крестьянстве говорилось лишь как об элементе, который еще только должны поднять официальные вожди движения, как о подходящем материале, оживить который может лишь инициатива этих вождей, — то теперь эта иллюзия сразу исчезает. Крестьяне выступают как внутренне-организованная и готовая к бою сила, твердо сплоченная и способная ударить на врага. Теперь оказывается, что тогда как везде были только планы, колебания и половинчатость, здесь и только здесь была действенность и сила. Предоставленное исключительно самому себе, совершенно оторванное от всех официальных элементов движения, действуя исключительно от себя и в себе, крестьянское движение стоит во

всеоружии, в любой момент готовое к удару. Набросанная Йоссом Фритцем картина крестьянской войны с изображением ее могущественных ресурсов должна произвести огромное впечатление уверенной в себе силы, как в ней и действительно предвосхищена и заранее показана одна из самых великих сторон крестьянской войны. Не от Франца исходит призыв к крестьянам, а от крестьян — призыв к нему, от них исходит инициатива движения. И тотчас же все меняется. Гуттен увлечен, дает согласие на все и не только принимает предложение — что в данный момент психологически весьма понятно, ибо, как бы он ни отнесся к предложению крестьян в другое время, в том отчаянном положении, в котором Франц оказался теперь, ни Гуттен, ни Франц не могли от него отказаться, — но мало того: Гуттен даже становится из вождя ведомым, духовное руководство переходит от него к Йоссу Фритцу. Словом, эта сцена должна произвести самое сильное и благоприятное для крестьян впечатление, и отчасти именно потому, что она появляется сразу, без всякой подготовки, что мы внезапно видим здесь совершившимся то, возникновение чего было от нас сокрыто. Предсказания Валтасара не только осуществляются в этой сцене, но оказываются превзойденными действительностью в тысячу раз. Далее идут те сцены, в которых Франц, все настойчивей и все глубже упрекающий себя в том, что он не сразу же апеллировал к революции, как таковой, к крестьянину, решается на отчаянный искупительный подвиг. Его слова: «иду, Германия» исчерпывающе разъясняются в сцене с Валтасаром и в сцене между крестьянами и Гуттеном в том смысле, что эта Германия есть не какая-нибудь другая, а именно крестьянская Германия. Он хочет пробиться вперед, хочет броситься без оглядки в объятия крестьянства, делать с ним общее дело и получить от него ту силу, которую он искал повсюду, только не у крестьян, и повсюду, несмотря на всю вероятность успеха, совершенно тщетно. Но его попытка срывается, и еще раз в разговоре Гуттена с Францем крестьянское восстание изображается как осуществление и завершение всего, как такой момент, который ставит вверх ногами все положение; в кратких чертах изображаются его огромное могущество, сила его размаха, безусловная достоверность победы в союзе с ним:

Пора! За меч хватается крестьянин,
Зовет тебя в вожди. Я здесь стою
Его посланником. Скажи лишь слово,
И сотни тысяч встанут как один, и т. д.

Это национальное движение описывается как «великий поток», в котором княжеские войска захлебываются подобно «нескольким утопающим в открытом море». Но уже слишком поздно. Франц умирает. Гуттен убит горем. Но он еще раз показывает в перспективе судьбу крестьянской войны. Дворянство и города трусливо и малодушно отступают:

Один крестьянин верен славной цели;
За меч берется он — но без друзей
Ему не сдобровать, в кровавой бойне
Он будет уничтожен и покроет
Родную землю грудой страшных трупов.
. . . .
И в черном мраке наступившей ночи
Затмится будущность родной страны.

Таким образом все симпатии сосредоточиваются в конце концов на крестьянском восстании, и его неудача изображается как несчастье Германии и как несчастье, в котором сами крестьяне *не повинны*, как

следствие их изолированности, вызванной тем, что только они одни были способны действовать. Франц и Гуттен погибают оттого, что они не апеллировали во-время к крестьянскому восстанию как к единственному законному и победоносному носителю революции, и вся пьеса, все время возвещающая о нем как об осуществителе и завершителе данной ситуации и революционного переворота, относится к нему примерно так, как Иоанн к Христу! Но это такой Христос, которого нельзя рассматривать вблизи или разве только в колыбели, если желаешь сохранить о нем эстетическую иллюзию, как это и было возможно именно при моем способе изображения, при котором все сочувствие, вся правда, вся любовь сосредоточиваются на крестьянском восстании.

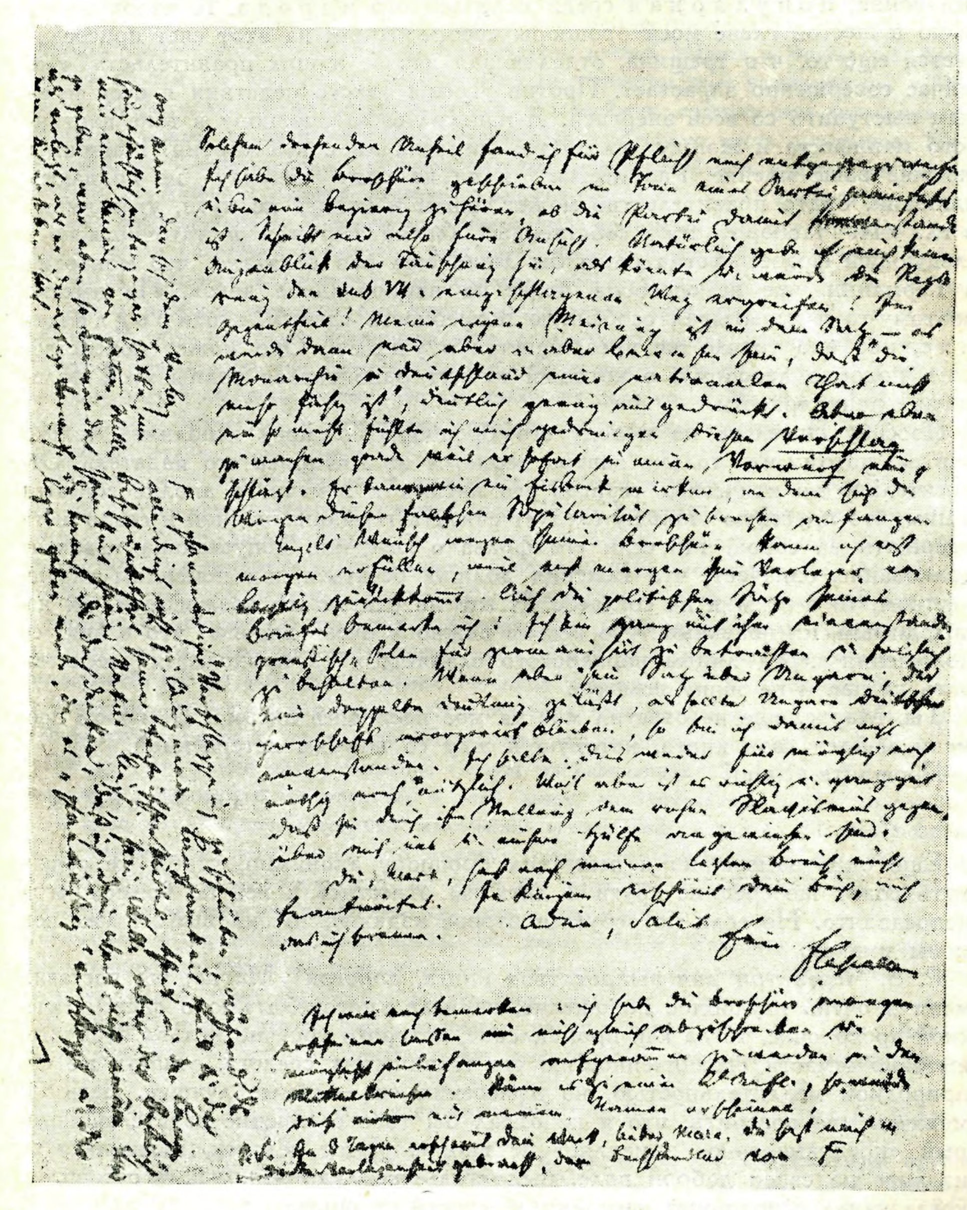
Поэтому, мой дорогой друг, я считаю в высшей степени несправедливым твое замечание, будто я отвел слишком мало места крестьянскому восстанию и из «дипломатических» соображений поставил рыцарско-лютеровскую оппозицию выше «плебейско-мюнцеровской»; это было у тебя, надеюсь, лишь мимолетным впечатлением. Хотя я отлично знаю, что вы люди, критику которых нельзя объяснять лишь впечатлениями, вынесенными из моей пьесы, но я все же не считаю вполне исключенным, что как раз моя трагедия, сосредоточивая все значение и все сочувствие на мессии крестьянского восстания, этим-то своим отношением к нему и вызвала в вас такое чувство, будто для его прославления сделано все-таки слишком мало. (Все другие «Францы фон Зикингены», появившиеся до сих пор, не упоминают даже вскользь ни единым словом о крестьянском восстании.) И поэтому если бы хоть тысячную долю вашего возражения можно было приписать благоприятному для крестьян впечатлению от моей драмы, то я мог бы поздравить себя и счел бы свою цель достигнутой.

Итак, более благоприятной идейной роли, чем какую я отвел крестьянскому восстанию в моей драме в целом, я не мог ему отвести. Если вы думаете, что из этой стихии можно было бы почерпнуть еще много благодарных сцен для драматического оживления трагедии, то это другое дело, и тут я вполне согласен с вами. Но от этого идейное положение крестьянства в составе целого нисколько бы не изменилось. С другой стороны, драма уже и так чрезмерно длинна. Какие-то границы надо было ей поставить. Я собирался написать пролог, в котором должны были выступать ландскнехты, крестьяне, нищие, начальники отрядов. Но так как трагедия и без того уже несуразно длинна, то я отказался от этого. Иначе мне пришлось бы выпустить некоторые уже написанные сцены, а я не мог найти ни одной лишней. К тому же, прибавивши такой пролог, я ослабил бы пожалуй впечатление, производимое крестьянской сценой в пятом акте. Всякая предыдущая крестьянская сцена служила бы для нее посредствующим звеном, а между тем именно в ее неопосредствованной внезапности и заключается, как мне кажется, один из главных моментов производимого ею трагического впечатления.

Но довольно об этом! Простите мне мое многословие. Ни разу еще я не написал письма, столь же скучного, растянутого, лишенного всякого стиля и всякой четкости. Это произошло оттого, что меня все время прерывали на каждой фразе, и моя голова занята другим. Но все-таки главное сказано, и мысль, хоть и растянуто, но выражена.

Впрочем вы не будете удивляться этому длинному посланию. Ведь вы единственные люди, похвалы и порицания которых серьезно меня затрагивают. Если вы напишете мне, что я убедил вас в том или ином пункте, это будет для меня истинной радостью. Но я отнюдь не требую ответа, потому что не хочу мучить вас своей драмой больше, чем это необходимо, и думаю, что с вас достаточно и того, что придется прочесть это посланье.

Теперь о другом. Вы вероятно получили мою брошюру «Итальянская война и задача Пруссии, голос демократа». Не знаю, читаете ли вы там у себя немецкие газеты в достаточном количестве, чтобы быть хоть приблизительно в курсе здешних настроений. А б с о л ю т н о е ф р а н ц у з о-



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛАССАЛЯ К МАРКСУ И ЭНГЕЛЬСУ ОТ 27 МАЯ 1859 г. (ОТВЕТ НА ИХ КРИТИКУ «ЗИКИНГЕНА»)

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

е д с т в о, ф р а н ц у з о ф о б с т в о (Н а п о л е о н т о л ь к о п р е д л о г, подлинная же тайная причина в революционном развитии Франции) — вот тот рог, в который трубят в с е здешние газеты, и та страсть, которую они стараются, к сожалению д о в о л ь н о у с п е ш н о, разжечь в сердце

низших классов народа и демократических кругов, играя на национальной струнке. Насколько полезна была бы для нашего революционного развития начатая правительством против воли народа война с Францией, настолько же вредно должна была бы отразиться на нашем демократическом развитии война, популярная среди ослепленного народа. К изложенным мною в шестой главе моей брошюры соображениям на этот счет присоединяется еще то, что трещина, отделяющая нас от наших правительств, уже сейчас совершенно зарастает. Против угрозы такого бедствия я счел нужным выступить со всей энергией. Я написал свою брошюру в тоне партийного манифеста и жажду услышать, согласна ли с ней партия. Напишите же мне ваше мнение. Разумеется я ни на одну секунду не поддаюсь иллюзии, будто правительство может пойти и пойдет по пути, указанному в гл. VII. Наоборот! Мой собственный взгляд выражен достаточно ясно в следующей фразе: «тогда было бы лишь еще раз доказано, что монархия в Германии уже не способна более на национальное дело». Но именно поэтому-то я испытывал особенную потребность сделать это предложение, ибо оно тотчас же превращается в упрек. Оно может подействовать подобно ледолому, о который начнут разбиваться волны этой фальшивой популярности.

Просьбу Энгельса по поводу его брошюры я смогу исполнить только завтра, потому что только завтра вернется из Лейпцига его издатель. Относительно политических тезисов его письма я замечу: я вполне согласен с ним, что прусскую Польшу следует считать германизованной и стало быть удержать за собой. Но если его фраза о Венгрии, допускающая двоякое толкование, означает, что Венгрия должна остаться под немецким владычеством, то с этим я не согласен. Я это не считаю ни возможным, ни необходимым, ни полезным. Но весьма важно и очень хорошо, что в виду ее положения перед лицом варварского славянства ей приходится рассчитывать на нас и на нашу помощь.

Ты, Маркс, еще не ответил мне на мое последнее письмо. В скором времени выйдет твоя книга, которую я жду со жгучим нетерпением.

Прощайте. Salut!

Ваш Лассаль.

Еще одно замечание: я выпустил брошюру анонимно, чтобы не отпугнуть сразу же средние круги и дать им отнестись к ней по возможности непредвзято. Но если потребуется второе издание, то она выйдет уже под моим именем.

P. S. Через три дня выйдет твоя книга, дорогой Маркс; ты поставил меня в очень неудобное положение, написав книгоиздателю о систематической проволочке, тогда как промедление, которого конечно нельзя отрицать, вызвано отчасти ограниченностью его технических средств, отчасти же его природной медлительностью, но намерения его — самые лучшие. Ведь ты можешь мне поверить, что я не отдал бы твое сочинение издателю, который «преднамеренно» замедляет печатание. Этот человек, взявшийся за издание по своей доброй воле, был столь же удивлен, как и оскорблен, когда узнал о подобных нареканиях с твоей стороны.

Да не будет для вас слишком тяжела жестокая необходимость прочесть все это! Мазня моя так расползлась оттого, что у меня не было времени сначала подумать, а потом уж написать. Но прошу вас прочесть все: это для меня очень важно.

МАРКС И ЭНГЕЛЬС В ПОЛЕМИКЕ С ЛАССАЛЕМ ПО ПОВОДУ «ЗИКИНГЕНА»

I

С опубликованием неизданных писем и сочинений Лассаля появился новый материал, очень важный для правильной оценки отношений между Марксом-Энгельсом и Лассалем; в третьем томе этого издания [1] напечатаны письма Маркса и Энгельса к Лассалю, между тем как Меринг мог опубликовать (в четвертом томе изданного им «Nachlass») почти одни только письма Лассаля. Дальнейшим расширением материала мы обязаны главным образом тому, что относящиеся к Лассалю места, опущенные Бернштейном, опубликованы теперь в новом издании переписки Маркса и Энгельса (Gesamtausgabe, III Abteilung; русское издание переписки, тт. XXI—XXIV). Попытка общего разбора опубликованных Майером материалов была сделана в свое время автором этих строк (после появления четвертого тома шеститомного издания) в «Grünbergs Archiv» (11-й год издания). Если теперь мы позволим себе остановиться на специальной теме, и притом носящей, казалось бы, чисто эпизодический характер, то лишь вследствие убеждения, что некоторые принципиальные разногласия между Марксом-Энгельсом и Лассалем нашли здесь еще более четкое выражение, чем в других дискуссиях между ними, а, с другой стороны, потому, что эта дискуссия дала повод Марксу и Энгельсу высказаться об искусстве, в отношении которого их взгляды изучены и оценены еще далеко не полно.

Внимательный подход Маркса к проблемам эстетики и искусства общеизвестен. Как бы ни решила филологическая критика вопрос о его участии в работе над второй частью «Posaune» [2], письма Маркса, относящиеся к этому периоду, свидетельствуют об очень глубоком интересе к эстетическим проблемам. Но несомненно, что Маркс продолжал интересоваться ими и позднее. То например, как он через несколько лет после дискуссии о «Зикингене» подходит к французским драматургам эпохи Людовика XIV в своих письмах, посвященных критике лассалевской «Системы приобретенных прав» [3], показывает, что он навсегда сохранил глубокий теоретический и исторический интерес к вопросам литературы и искусства. Это особенно ясно по отношению к занимающему нас периоду. Переписка по поводу «Зикингена» относится ко времени от марта до мая 1859 г. [4] Это время непосредственно следует за окончанием «К критике политической экономии»; фрагментарное введение к этой книге, опубликованное позже, содержит в себе одно из наиболее подробных изложений эстетических взглядов Маркса позднейшего периода. Укажем далее, что имеются очень подробные выдержки Маркса из «Эстетики» Ф. Т. Фишера от 1857—1858 гг., тоже свидетельствующие об усердных занятиях эстетическими вопросами как раз в это время [5].

Поэтому, с каким бы раздражением ни писал Маркс Энгельсу в последнем из вышеупомянутых писем по поводу второго лассалевского письма о «Зикингене» («непонятно, как в такое время года и при таких мировых событиях человек не только сам находит время писать нечто подобное, но еще думает, что и у нас найдется время прочесть все это») это замечание, как выяснится из дальнейшего, относится отнюдь

---

[1] F e r d i n a n d L a s s a l l e, Nachgelassene Briefe u. Schriften. Hrsgb. von G. M a y e r. Stuttgart u. Berlin, 1921.

[2] Название брошюры, вышедшей в 1841 г. из круга левых гегельянцев (группы Бруно Бауэра. По предположению Густава Майера, вторая часть этой брошюры («Учение Гегеля о религии и искусстве с точки зрения верующего», Лейпциг, 1842) написана Марксом. Майеру возражал Неттлау.

[3] Т а м ж е, Bd. III, S. 375, письмо от 22 июля 1861 г.

[4] Письмо Лассаля Марксу датировано 6 марта, ответ Маркса — 19 апреля, ответ Энгельса — 18 мая, наконец возражение Лассаля — 27 мая. Это последнее письмо Лассаля Маркс имеет в виду в письме Энгельсу от 10 июня.

[5] Отметим еще мимоходом, что в 1857 г. Маркс получил от Дана заказ написать для «New-American Encyclopaedia» статью об эстетике. В письмах от 23 и 28 мая 1857 г. Маркс и Энгельс смеются над наивностью Дана, воображающего, что можно изложить такую тему на одной странице (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Сочинения, т. XXII, стр. 205—206). Появившаяся впоследствии в этом словаре статья об эстетике конечно не принадлежит ни Марксу, ни Энгельсу.

не к занятиям Лассаля эстетическими вопросами. Оно объясняется вероятно тем, что Маркс считал всякий дальнейший спор с Лассалем совершенно бесплодным и бесцельным, ибо во всех важных политических и исторических вопросах, так же как и в вопросах миросозерцания, обсуждавшихся в этом споре, Лассаль не поддавался никаким аргументам. В течение спора весьма опасные следствия из его позиции обнаружились даже еще более ясно, чем прежде. Правда, это произошло отнюдь не впервые. Но разница в тоне между довольно сердечными — несмотря на весьма резкую критику — первыми ответными письмами Маркса и Энгельса по поводу «Зикингена» (написанными гораздо менее «дипломатично», чем предыдущее письмо Маркса — от 31 мая 1858 г. — о «Гераклите») и между только что приведенным замечанием настолько велика, что стоит остановиться на вопросе об ее причине и о роли всей дискуссии в истории отношений между Марксом и Лассалем.

Все изложенное вполне оправдывает, думается нам, наше намерение заняться несколько подробнее данными письмами, при чем в центре нашего внимания должна быть разумеется связь эстетической стороны спора с разногласиями в области политики и общего мировоззрения. Систематическое исследование эстетических взглядов зрелого Маркса выходит за пределы нашей темы не потому, что они не имеют значения, а наоборот потому, что вопрос этот еще слишком мало изучен. До сих пор у нас нет еще даже систематической сводки всех высказываний Маркса и Энгельса на эту тему; не исследована внутренняя связь этих высказываний и их место в мировоззрении Маркса. Мы не можем предвосхищать этих необходимых исследований, которые должны быть произведены на основе опубликованных и неопубликованных материалов, и в дальнейшем будем привлекать общеэстетические воззрения Маркса и Энгельса лишь в той мере, в какой это безусловно необходимо для нашей более узкой темы.

6 марта 1859 г. Лассаль послал Марксу и Энгельсу своего «Зикингена» с предисловием и рукописью о трагической идее в этом произведении. Оба документа содержали в себе программное изложение взглядов Лассаля. Первый документ, предназначенное для печати предисловие, выдвигает на первый план эстетическую проблему и рассматривает лежащий в основе драмы историко-политический вопрос только как материал. Второй документ — рукопись, предназначавшаяся Лассалем для более близких друзей, — уже не ограничивается осторожными, дипломатическими формулировками политико-исторических проблем, а энергично выдвигает их в центр внимания и обсуждает эстетические вопросы (о трагическом, о форме драмы) лишь в связи с этими проблемами.

«Зикинген» Лассаля должен был быть, согласно мысли автора, трагедией революции. Трагический конфликт, лежащий, по мнению Лассаля, в основе всякой революции, состоит в противоречии между «воодушевлением», «непосредственным доверием идеи к своей собственной мощи и бесконечности», с одной стороны, и необходимостью «реальной политики» — с другой. Лассаль умышленно формулирует этот вопрос сразу же в возможно более абстрактном виде, но тем самым он сразу же дает ему — без умысла — и своеобразную постановку по существу. В самом деле, задача «реальной политики» — «считаться с данными конечными средствами» — приобретает у него следующее содержание: «скрывать... от других подлинные и последние цели движения и посредством этого умышленного обмана господствующих классов (разрядка наша. — *Г. Л.*), более того — посредством их использования приобрести возможность организовать новые силы» [1]. Соответственно этому и противоположный полюс — революционное воодушевление — неизбежно получает столь же абстрактную и столь же своеобразную формулировку, будучи противопоставлено расчетливости ума. О «расчетливость» разбилось большинство революций, а разгадка силы «крайних партий» заключается именно в том, что они «отбрасывают в сторону рассудок». Положение таково, «словно есть какое-то неразрешимое противоречие между спекулятивной идеей, составляющей силу и воодушевление революции, и конечным умом с его расчетливостью» [2].

[1] Nachgelassene Briefe u. Schriften, Bd. III, S. 153.
[2] Там же, стр. 152.

Это вечное, объективное, диалектическое противоречие лежало, по мнению Лассаля, также в основе революции 1848 г., и именно это противоречие он хочет изобразить в своей драме. Перед нами таким образом — трагедия революции. «Трагическая коллизия» является здесь «формальной», как Лассаль полемически заостряет вопрос против Маркса и Энгельса в своем втором письме—это: «не специфически свойственная какой-либо определенной революции, но постоянно повторяющаяся во всех или почти всех прошлых и будущих революциях коллизия (иногда преодолеваемая, иногда нет), — словом, трагическая коллизия самой революционной ситуации; бывшая налицо как в 1848 и 49 гг., так и в 1792 г., и т. д.». Отсюда вытекает противоречие между целью и средством, неминуемо приводящее к трагедии этот тип изображенного Лассалем революционера; революционный деятель «становится на точку зрения противника и таким образом уже признает свое теоретическое поражение». Усмотренное Аристотелем и Гегелем диалектическое единство цели и средства оказывается разорванным, но «всякая цель может быть достигнута только посредством того, что соответствует ее собственной природе, и следовательно революционные цели не могут быть достигнуты дипломатическими средствами». Рассудок, дипломатические расчеты должны в революции потерпеть крушение. «Вместо того чтобы устранить перед собой своих обманутых противников и иметь позади себя своих друзей, такие революционные люди расчета (Revolutionsrechner) неизбежно кончают тем, что имеют перед собой врагов и устраняют позади себя своих единомышленников»[2].

Franz von Sickingen.

Eine historische Tragödie

von

Ferdinand Lassalle.

Die höchste Macht der Begünstigung eines Stoffes bleibt doch der Poesie gegeben.
A. von Humboldt.

Berlin.
Verlag von Franz Duncker.
(W. Besser's Verlagshandlung.)
1859.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ТРАГЕДИИ ЛАССАЛЯ «ФРАНЦ ФОН ЗИКИНГЕН»

Из такого понимания революции вытекает все воззрение Лассаля на трагическое, на форму и стиль драмы и т. д. Само это понимание, изложенное нами здесь по возможности в формулировках самого Лассаля, имеет свой классовый фундамент в той самокритике, которой могла и должна была подвергнуть себя крайняя левая буржуазной демократии на основе опыта революции 1848—1849 гг. Лассаль, впадающий здесь в спекулятивный самообман, будто им найден внутренний конфликт революции вообще, становится рупором того очень узкого крайне левого крыла немецкой буржуазной демократии, которое надеялось создать единый буржуазно-пролетарский демократический фронт против «сил старого» и с его помощью провести до конца радикальную буржуазную революцию. Эта тенденция, которая впрочем, как мы покажем в дальнейшем, сразу же перекрещивается у Лассаля с другими противоположными тенденциями, составляет основу его «Системы приобретенных прав» и является тем мотивом, который привлекал к Лассалю убежденных демократов 1848 г. вроде Франца Цитлера; разочарование в возможности осуществить эту тенденцию явилось основным мотивом его позднейшего «тори-чартизма», его ожесточенной и «односторонней» борьбы против промышленной буржуазии без соответствующей борьбы с полуфеодальным землевладением

---

[1] Там же, стр. 152—153. Подчеркнуто везде, где не оговорено обратное, самим Лассалем.

[2] Там же, стр. 187.

и его политическими выразителями в Пруссии, более того: в союзе с ними. Короче говоря, согласно этому взгляду, революция 1848—1849 гг. разбилась о «расчетливость», «о дипломатию», о «государственную позицию» вождей. В «Зикингене» Лассаль ставит себе целью выразить в образах трагизм этого крушения как трагизм всех революций вообще.

Этой историко-философской и политической постановкой вопроса обусловлены эстетические проблемы «Зикингена», его исключительное положение в развитии современной драмы. Лассаль стоит, правда, во многих важных эстетических вопросах целиком на той же почве, что и современная ему немецкая драма и ее теория (под сильным влиянием идеалистической философии от Канта до Гегеля). И он сам вполне сознает эту связь. В предисловии к «Зикингену» он ясно высказывается по этому поводу: «Шаг вперед, сделанный немецкой драмой в лице Шиллера и Гете по сравнению с Шекспиром, я усматриваю в том, что ими, в особенности Шиллером, впервые была создана историческая драма в собственном смысле слова» [1]. Он ищет следовательно, правда в противоречии с самим Гегелем, но в широком согласии с эстетиками и поэтами послегегелевского периода, такой тип драмы, который мог бы существовать как самостоятельная форма наряду с античной трагедией и с Шекспиром, образующим у Гегеля завершение «нового» типа в противоположность античному, и явился бы до известной степени третьим периодом, выводящим за пределы античности и Шекспира [2]. Это новое в начатом Шиллером развитии сам Лассаль усматривает в том, что «подобная трагедия имеет дело уже не с индивидами, как таковыми, являющимися здесь лишь носителями и воплощениями глубочайших внутренних борений всеобщего духа, а только... с судьбами, решающими вопрос о радостях и горестях всеобщего духа» [3]. Однако дальнейшее развитие должно перерасти Шиллера, ибо «у самого Шиллера великие конфликты исторического духа составляют только почву, на которой развертывается трагический конфликт. Подлинным драматическим действием, выделяющимся на этом историческом фоне, душою драматического действия остается... чисто индивидуальная судьба» [4].

Связь этих мыслей с общим развитием класса буржуазии, в частности с развитием проблем классической немецкой философии, слишком очевидна и общеизвестна, чтобы на ней стоило подробно останавливаться. Нужно только подчеркнуть, что лассалевская постановка вопроса в решающих пунктах существенно отличается от позиции его современников, участвовавших более или менее сознательно, хотя и с различных классовых точек зрения, в процессе разложения гегельянства. Все эти мыслители и поэты 1840—1850 гг. стремятся идейно постигнуть или поэтически изобразить происхождение и развитие буржуазного общества, примирить в системе (или в художественном произведении) те противоречия, которые вызываются экономическим развитием, но не постигаются ими, как таковые. Мы подчеркиваем важность категории «примирения» не только потому, что она была уже у самого Гегеля главным источником внутренних противоречий системы, противоречий, которые не могли быть разумеется разрешены и послегегелевскими буржуазными мыслителями, а лишь еще сильнее обострялись при всякой попытке их разрешения, вызывая рецидивы эмпиризма, субъективного идеализма, эклектицизма, релятивизма и т. д.,— но главным образом потому, что здесь ясно обнаруживается классовый смысл всей этой эстетической постановки вопроса. Он обнаруживается в том, что обе антиномии, стоявшие перед новыми драматургами и эстети-

---

[1] Ferdinand Lassalle, Werke, Bd I. S. 133, Cassirer, Berlin, 1919.

[2] Так как историко-литературные интересы стоят здесь для нас на заднем плане, мы можем ограничиться несколькими беглыми замечаниями. Укажем поэтому лишь на «Эстетику» Фишера, которая объявляет задачей современной драмы объединение античности и Шекспира («Aesthetik», Reutlingen u. Leipzig, 1846—1858. § 908, Bd. III, S. 1417). Эта программа целиком совпадает с программным заявлением Фр. Геббеля в его предисловии к «Марии Магдалине» (Fr. Hebbel, Werke, Jubiläumsusgabe. Berlin, 1913, Bd. XI, S. 41), где он говорит, что в противоположность античности и Шекспиру начавшаяся с Гете новая драма «внедрила диалектику непосредственно в самое идею».

[3] Ferdinand Lassalle, Werke, Bb. I, S. 134.

[4] Там же, стр. 133. Совершенно в таком же роде Геббель говорит о Гете, что тот хотя и вступил во владение великим наследием времени, но не использовал его до конца.

ками — антиномия свободы и необходимости, с одной стороны, и индивида и общества, с другой — что эти антиномии, возросшее значение и конкретное содержание которых имеют чисто социальное происхождение, мистифицируются здесь, превращаясь во «вневременные» споры, которые велись вокруг Гегеля и после Гегеля по вопросу о «трагической» вине, вращаются в конечном счете вокруг этого вопроса, и ответ на него, определяющий структуру, стиль и т. д. трагедии, освещает ярче всего классовую позицию того или другого мыслителя. Сам Гегель, у которого, с одной стороны, совершенно ясно (хотя и в извращенной идеалистической формулировке) выступают внутренние противоречия классового развития буржуазии, но который, с другой стороны, самым решительным образом одобряет это развитие, и именно в форме утверждения конкретной современности, — сам Гегель весьма энергично устраняет всю проблему «вины-невиновности». Необходимо «отбросить ложное представление о вине и невиновности». С точки зрения свободы воли, с той точки зрения, имели ли герои трагедии возможность выбирать, они невиновны. Их необходимость, их пафос толкнул их на «дела, составляющие их вину. Быть неповинными в этих делах они вовсе не желают. Наоборот, они гордятся тем, что их дела действительно содеяны ими. Слава великих характеров в том, что они виновны»[1]. Правда, это воззрение — связь которого с гегелевской философией истории вполне очевидна — ориентируется на греческую трагедию (что в «Феноменологии» еще определеннее и яснее, чем в самой «Эстетике»). Однако место, которое Гегель отводит искусству в общем развитии, таково, что все новое искусство, даже и «романтическое», является для него разложением искусства, снятием идеи искусства в религии или философии[2]. Проблема вины, проблема свободы-необходимости и т. д. в новой поэзии тоже выступают таким образом в эстетике Гегеля как формы разложения первоначального, классического, греческого подхода; действительно адэкватные формулировки вопросов, объективно лежащих, по Гегелю, в основе этих эстетических проблем, Гегель может поэтому дать только в своей философии истории и философии права.

Послегегелевская буржуазная эстетика исходит в этом вопросе из противоположной точки зрения: ее стремление сводится как раз к оправданию специфически современной, новой поэзии. Это приводит к глубокой перестройке гегелевских формулировок, ибо хотя замысел новой эстетики историчен, — он заключается в более или менее сознательном разрыве с гегелевским «концом истории», — однако конкретная ее разработка состоит как раз в поисках и мнимом нахождении таких категорий, которые в определенных вариациях были бы приложимы ко **всем** периодам истории искусства. Если гегелевские теории были по существу мысленными выражениями определенной исторической эпохи (в «Феноменологии» это выступает яснее, чем в «Эстетике») и если они поэтому несут на себе откровенно выступающую **печать существенных** особенностей этой эпохи, то путь послегегелевской эстетики ведет **к формалистическому пониманию** эстетических проблем. Свобода вообще противопоставляется необходимости вообще, положение человека в истории, индивида в обществе и т. д. рассматривается абстрактно. В результате принципы, еще кое-как спаянные у Гегеля, неудержимо распадаются. То обстоятельство, что послегегелевской эстетике присуще как преувеличенное тяготение к принципу определенного исторического содержания (положительное восприятие специфически нового), так и не менее преувеличенное подчеркивание формалистического принципа (сверхисторические категории, **одинаково** объемлющие **все** периоды и формы), приводит к тому, что и при обработке частностей диалектически-полярные категории противопоставляются друг другу столь же резко, односторонне и непримиримо. Методологически возникает двойственность абстрактного формализма и эмпирического позитивизма. В занимающем нас частном случае, в области драмы, одни возводят необходимость в граничащую с мистицизмом, часто даже (например у Геббеля) прямо впадающую в мистицизм абстрактность, тогда как у других индивидуализация доводится до жанровых или до патологических черт. Разорванную таким образом

---

[1] «Aesthetik», S. 552—553.

[2] **Там же**, т. II, стр. 231 и сл.; т. III, стр. 580 и сл.

связь приходится затем восстанавливать сложными, надуманными или мистифицирующими средствами. Диалектическое единство свободы и необходимости, их необходимое совместное движение в движущемся противоречии, часто (хотя и на идеалистической основе) встречавшееся у Гегеля, пропадает совершенно, заменяясь этикой, психологией и т. д.

В основе всей этой перемены в постановке эстетических вопросов лежит необходимость определить свое отношение к революции как к надвигающейся актуальной проблеме. Гегель мог трактовать революцию — Великую французскую революцию — как предпосылку современности (революция 1830 г. уже не могла оказать решающего влияния на его мировоззрение). Он был поэтому в состоянии по-своему конкретно говорить о тех коллизиях, которые вызывают революции и вызываются ими; это позволяло ему рассматривать примирение, взаимное упразднение противоречащих принципов как определенное «мировое состояние» [1]. Он мог, таким образом, соединить признание минувшей революции с утверждением существующего порядка. На анализе внутренних противоречий в позиции самого Гегеля мы не можем здесь останавливаться. Совсем иное дело, когда революция стоит перед мыслителями и поэтами как актуальная, современная проблема. Так как вопрос поставлен теперь исторически-конкретно, то всякая абстракция в методологическом подходе к отдельным вопросам и в ответе на них является уклонением от конкретно-исторической проблемы и тем в большей степени, чем конкретнее поставлен вопрос. Яснее всего это сказывается на Ф. Т. Фишере — крупнейшем эстетике послегегелевского периода. Правда, когда Фишер усматривает в революции подлинную тему трагедии [2], то это несомненный шаг вперед по сравнению с Гегелем. Но тотчас же делается попятное движение, и Фишер даже нисходит на догегелевскую ступень, заявляя, что под революцией он разумеет «постоянную противоположность свободного движения вперед и необходимо существующего порядка, юношеского натиска и задерживающего отпора». В результате такого определения Антигона, Тассо, Валленштейн, Гетц одинаково попадают у него в разряд «революционеров»: всякое восстание против «существующего» относится к категории «революции», даже когда оно исходит из принципа «старого» (Антигона, Гетц). С другой стороны, именно такое слишком абстрактное понимание проблемы вынуждает Фишера разоблачить свое умеренно-либеральное сердце. Он говорит: при столкновении двух этих принципов «более глубокая правота на первой стороне (на стороне нового), ибо нравственная идея есть абсолютное движение». Но однако «и существующее имеет свою правоту. Истина лежит посредине... Лишь далекое будущее принесет подлинное примирение». Если в 40-х годах, когда эта теория возникла, она носила еще характер хоть и умеренной, но все же буржуазно-революционной позиции, то в своем дальнейшем конкретном развитии, пришедшемся на период после 1848 г., она уже превращается в попытку чисто эстетического оправдания «современной» поэзии, при чем формально-эстетический момент приобретает решающее значение, и буржуазно-революционный принцип целиком растворяется в умеренном либерализме. Корни этого превращения были разумеется заложены уже в первоначальной формулировке теории [3]. Еще резче проявляется реакционное классовое содержание формалистического понятия революции у крупнейшего драматурга этого времени, у Геббеля [4]. Если, согласно его те-

---

[1] Наиболее поучительна в этом отношении «Феноменология», где трагедия завершает «опустошение неба» и начинает борьбу философии против богов. Еще яснее высказаны эти мысли в главе «Истинный дух, нравственность», где трагическая эпоха изображается в виде необходимости пролога к правовому состоянию».

[2] «Aesthetik», Bd. I, S. 315—316. (Это место было отмечено и выписано Марксом.)

[3] Ср. «Aesthetik», Bd. II, § 136, где Фишер находит «вполне понятным», что «преимущественными объектами эстетического интереса... являются жертвы революции, дворянство, трон и т. д. Революция должна после крушения ее первого абстрактного взрыва примириться с природой и преданием... она должна перейти к естественному росту, и лишь грядущее дерево, выросшее таким образом, обещает быть прекрасным» (II том «Эстетики» Фишера вышел в 1847 г.).

[4] Обращение к Геббелю для характеристики общих эстетико-философских предпосылок позиции Лассаля как драматурга оправдывается уже тем обстоятельством, что и до нас некоторые авторы, в особенности Меринг, отметили известное сродство (хотя

ории, трагедия, и в особенности современная трагедия, имеет своей задачей изображение «родовых мук борющегося за новую форму человечества», то содержанием и целью этого изображения оказывается следующее: «драматическое искусство должно способствовать завершению всемирно-исторического процесса, который происходит в наши дни и который стремится не низвергнуть, а глубже обосновать и следовательно предохранить от разгрома существующие учреждения человечества — политические, религиозные и нравственные» [1].

Таковы самые общие эстетико-философские черты тех литературных течений, к которым примыкает лассалевский «Зикинген». Если мы выше отметили, что драма Лассаля стоит, с одной стороны, по своим существенным признакам на почве этих течений, а с другой — занимает по отношению к ним совершенно своеобразную, исключительную позицию, то это лишь кажущееся противоречие. Лассаль разделяет с этими течениями постановку проблемы, исходный пункт, и в целом ряде решающих методологических вопросов он едва ли идет дальше них (как мы увидим, он скорее даже примыкает к более старым течениям), но от всех остальных он отличается тем, что *пытается вложить в формальное понятие революции как основы современной трагедии революционный смысл*, т. е. в борьбе «старого» и «нового» он безоговорочно становится на сторону нового. Это вносит ряд изменений в постановку проблемы, но так как основа всей этой постановки не пересматривается Лассалем, то в результате у него получаются лишь еще более резкие противоречия, чем у других. В самом деле: подчеркивание превосходства «нового» («революционного принципа») не только перед лицом всемирно-исторической идеи, как это мы имеем у Фишера, но также перед лицом «эстетической идеи» драмы, и вытекающее отсюда центральное положение «революционного принципа» в эстетическом мировоззрении Лассаля приводит его к попытке дать более конкретное изображение общественных пружин трагической борьбы, чем это делают его современники, которые в очень абстрактной форме или в мистифицированной конкретности могли удовлетворяться «существующим». Но, с другой стороны, благодаря этой же самой тенденции он должен был видеть и изображать в более конкретно схваченных людях и общественных отношениях лишь носителей, представителей и выразителей «всемирно-исторической идеи». Это противоречие превращается у Лассаля в абстрактную антиномию, ибо он хочет в конкретные отношения внести «идею революции *вообще*» и одновременно полагает и упраздняет их конкретность. Одушевляемый революционным порывом своей исходной точки зрения, Лассаль испытывает справедливую антипатию к драматическому жанру своего времени, к «подробному углублению в безыдейную и пустую особенность случайного характера», но он отнюдь не спасается от грозящего ему, как он сам это видит, «подводного камня» «абстрактной и ученой поэзии», усматривая *историческое* «вовсе не в *историческом материале*» самом по себе, а в том, что на этом материале «развертывается... *глубочайшая всемирно-историческая идея и идейная коллизия переломной эпохи*» [2].

И поэтому Лассаль, несмотря на его уже упомянутые выше оговорки, возвращается к Шиллеру. Так как при своей исходной точке зрения он никак не мог воспринять единство всеобщего и частного в образах и фабуле как единство индивида и класса, единство судьбы отдельной личности и исторической классовой судьбы, то ему оставалось только попытаться преодолеть неразрешенную антиномию единичного и всеобщего с помощью риторически-этического пафоса. Такого рода преодоление, т. е. возврат к шиллеровскому пафосу маркиза Позы, при всем его превосходстве над мистифицирующей психологией реакционных современников Лассаля, не может однако дать реальное оформление даже буржуазно-революционным конфликтам. Не случайно, что стиль этот возник не на почве самой буржуазной революции, т. е. во Франции или в Англии, а на почве

и при противоположных исходных пунктах в их взглядах на связь между трагедией и революцией. Ср. соображения Меринга о «Гигесе» Геббеля о «Зикингене» Лассаля Werke, Bd. II, S. 48).

[1] *Там же*, стр. 42 и 47—48.

[2] *Werke*, Bd. I, S. 135.

ее эстетического отражения в Германии. Он с самого начала оформляет великие исторические антагонизмы в виде словесных поединков руководящих «всемирно-исторических личностей», чьей «волей», «решением» и т. д. якобы определяется судьба дальнейшего развития. Таким образом на выработку этого стиля — у Шиллера это особенно ясно видно в «период маркиза Позы» — по меньшей мере сильно повлияло представление о «революции сверху», о «просвещенном монархе». Впрочем стилистический возврат Лассаля к Шиллеру носит не только формальный характер, вопреки иллюзии самого Лассаля. На самом деле во всей фабуле «Зикингена» и во всей исторической концепции его автора имеются элементы такого расчета на «революцию сверху». В решающей сцене второго акта между Зикингеном и императором Карлом V [1] мы видим попытку Зикингена привлечь императора к своим целям, при чем в результате этой сцены, формально напоминающей диалог между Позой и Филиппом, оказывается, что цель Зикингена — убедить Карла произвести в Германии революцию «английского» типа. Правда, Лассаль стоит выше иллюзии своего героя или по крайней мере воображает, что стоит выше подобных иллюзий. Ведь «трагическую вину» своего героя он усматривает как раз в этом «лукавстве» по отношению к «идее революции». Но самообман Лассаля обнаруживается именнно в том, что он видит здесь по-шиллеровски «трагическую вину». Лассаль исходит не из объективно-классовых условий; так например, характер Зикингена складывается у него не как характер представителя определенного класса — объективно-классовые условия служат только фоном, на котором должна выделиться диалектика «идеи революции». Благодаря этому характеры драмы приобретают «свободу». Подобно тому как они могут теперь лишь риторически излагать свои «идеи» в диалогах, а не выражать их своими действиями, так и их связи друг с другом, со своим классом, с фабулой становятся «свободными» деяниями — предметами этики. Лассаль вынужден таким образом вернуться от Гегеля к «трагической вине» Аристотеля [2]. Защищая образ Зикингена, Лассаль старается доказать, что «вина» Зикингена не просто «интеллектуальное заблуждение», но вместе с тем и нравственная вина — нравственная вина в самом интеллектуальном заблуждении, ибо она возникает из недостатка доверия к нравственной идее и к ее в себе и для себя сущей бесконечной мощи и из чрезмерного доверия к дурным конечным средствам» [3].

Связь между эстетической и драматически-композиционной проблемой «трагической вины», а также шиллеровским этико-риторическим стилем, с одной стороны, и абстрактно и именно поэтому морально, а не политически поставленным вопросом о «реальной политике» и «компромиссах» — с другой, совершенно очевидна. Тем, что Лассаль ставит вопрос о «реальной политике» и «компромиссах» не на классово-материальную почву, а в духе «философии истории», формально, он сам отрезает себе путь ко всякому другому решению, кроме этического. Когда принципы «старого» и «нового» резко и непримиримо противополагаются друг другу, вообще не может быть поставлен возникающий в процессе конкретной классовой борьбы вопрос о том, как с помощью компромиссов привлечь на свою сторону или нейтрализовать колеблющиеся классы. Всякое отклонение от прямого осуществления последней цели («принципа») становится «предательством» по отношению к «идее», впутывает героя в «трагическую вину». Различие между умеренными и радикалами, между жирондистами и якобинцами становится моральной проблемой [4], при чем однако Лассаль игнорирует и не может

---

[1] Там же, т. I, стр. 195 (ср. особенно стр. 205—206).

[2] Как во многих вопросах, так и здесь Лассаль воображает, что стоит на ортодоксально-гегельянской точке зрения. Ср. его дискуссию с Адольфом Штаром об Аристотеле и трагической вине (письмо Лассаля в «Deutsche Revue», ноябрь 1911 г., и ответ Штара в майеровском издании писем Лассаля, т. II, стр. 141). В этой дискуссии Лассаль все время ссылается на Гегеля, хотя приведенное им место (процитированное выше и нами) резко противоречит всей его теории. Это не единственный случай, когда Лассаль вынужден вносить в философию Гегеля субъективистски-этические элементы, фихтезировать Гегеля, хотя сознательно он всегда боролся против этих тенденций, как показывает его полемика с Розенкранцем.

[3] Briefwechsel, Bd. III, S. 154.

[4] Там же, т. III, стр. 153. Что в этом одно из идеологических оснований понятия «единой реакционной массы» — ясно само собой.



ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

С фотографии (конца 50-х гг.), хранящейся в Музее Маркса и Энгельса

не игнорировать то обстоятельство, что якобинцы так же заключали «компромиссы», как и жирондисты, только исходя из других классовых предпосылок и поэтому с другими классами, с другим содержанием. А отсюда вполне понятно, что проблему крестьянских войн, как и проблему революции 1848—1849 гг., он также может рассматривать только с этой точки зрения.

О целом ряде эстетических и историко-политических противоречий, вытекающих из этой позиции Лассаля, нам еще придется говорить подробнее. Здесь же отметим только, как крепко и органично связан вопрос о стиле лассалевской трагедии, которая по-шиллеровски построена на основе «трагической вины» и имеет своей темой диалектические противоречия в «идее революции», с охарактеризованной выше политико-исторической установкой Лассаля. Если Лассаль понимает «самокритику» революции 1848 г. как «трагическую» критику революции вообще, если он поэтому в медлительной, маневрирующей, слишком «умной» «реальной политике» усматривает типичную «трагическую вину» революционеров, то эта абстрактно-формальная постановка вопроса не только определяет, как мы видели, весь эстетический характер, все художественное содержание его драмы, но она тесно связана и с политическим содержанием всей его позиции. Проблема «реальной политики» отрывается от решающего классового содержания революции 1848 г., от борьбы между буржуазией и пролетариатом; всякое реальное отношение к этой проблеме — хотя бы даже в рамках буржуазной революции — сразу же становится методологически невозможным. Но самообман Лассаля, воображающего, что его абстрактно-диалектическая точка зрения возносит его на вершину самокритики революции, обнаруживается не только с этой стороны. Его самообман оказывается двойным. В самом деле: тот догматизм, то отсутствие всякой критики, с каким Лассаль избирает эту установку исходным пунктом для самокритики революции 1848 г., то, что он останавливается на непосредственности радикально-буржуазной точки зрения, не отдавая себе отчета в ее классовой обусловленности, — все это доказывает вместе с тем, что он в состоянии представлять себе революцию только наивно догматически, как буржуазную революцию, что поднятые им здесь проблемы революции он ставит, сам того не замечая, с буржуазной, а не с пролетарской точки зрения[1].

II

Переходя к критике «Зикингена», данной Марксом и Энгельсом, к их полемике против взглядов Лассаля, мы должны были бы сопоставить сначала их интимные высказывания по этому предмету с их письмами к самому Лассалю. К сожалению, для такой сверки, возможной и весьма поучительной в отношении «Гераклита» и «Системы приобретенных прав», переписка Маркса и Энгельса не дает никакого материала. Маркс и Энгельс не обменялись мнениями ни по поводу первого письма Лассаля, ни по поводу своих собственных ответов ему. Единственное замечание, которое быть может относится сюда, это слова Маркса в письме от 19 апреля 1859 г. (этой же датой помечен ответ Маркса Лассалю), где мы читаем: «Ad vocem» Лассаль завтра, когда я вообще напишу тебе подробнее»[2]. Однако в следующем письме, датированном 22 апреля, о Лассале нет ни слова. Таким образом нам остается обратиться только к анализу самих писем Маркса и Энгельса к Лассалю. Отмечая прежде всего их сравнительно сердечный тон и откровенность содержащейся в них критики, мы должны разумеется учесть, что ко времени этой переписки и без того не слишком сильное[3] доверие Маркса и Энгельса к Лассалю уже было впервые сильно поколеблено разоблачениями Леви; что Маркс смотрел на «Гераклита» как на «посмертный цветок минувшей эпохи» и подверг уничтожающей критике совершенно некритическое отношение Лассаля к гегелевской диалекти-

---

[1] Этот вопрос выяснится еще больше при рассмотрении полемики о роли крестьян. Разочарование Лассаля по поводу приема, оказанного его «Системе приобретенных прав» Марксом, имеет тот же корень. Ср. особенно письмо Лассаля Марксу от 27 марта 1861 г. (т. III, стр. 381).

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 398.

[3] Ср. письма Маркса к Энгельсу, относящиеся к 1853 г. (Соч., т. XXI, стр. 468 и 470-471).

ке [1]; что, далее, политические разногласия, а также трения в связи с немецким изданием сочинений Маркса и Энгельса уже довольно сильно возросли к этому времени. Тем неожиданнее должен показаться тон разбираемых писем и дружеская откровенность критики, хотя и не следует забывать, что критика входила составной частью в сложную «дипломатию» Маркса по отношению к Лассалю [2]. Тем не менее мы считали бы неправильным толковать эти письма как чисто «дипломатические». Характерно например, что в письме Энгельса встречается следующее замечание: «Впрочем мне и нам всегда приятно, когда появляется новое доказательство, что в какой бы области ни выступила наша партия, она всегда обнаруживает при этом превосходство», — замечание, вполне соответствующее по духу интимной оценке «Гераклита» Марксом [3]. А если еще припомнить, что незадолго до того Маркс, оценивая положение Лассаля в Берлине, высказал мысль о неизбежности его разрыва с лево-буржуазной демократией [4], то придется заключить, что разбираемые письма Маркса и Энгельса были не чистой «дипломатией», а действительной попыткой убедить Лассаля в неправильности его точки зрения.

И в самом деле: как Маркс, так и Энгельс сразу подходят в своих возражениях к самой сути вопроса. Маркс хвалит замысел Лассаля написать драматическую самокритику революции 1848 г.: «...задуманная (разрядка наша.— *Г. Л.*) коллизия не только трагична, но это и есть та самая трагическая коллизия, которая совершенно основательно привела к крушению революционную партию 1848—49 гг. Я могу поэтому лишь в высшей степени одобрить намерение сделать ее центральным пунктом современной трагедии». Однако это одобрение тотчас же переходит в самую суровую критику: «Но я спрашиваю себя, годится ли взятая тобою тема для изображения этой (разрядка наша. — *Г. Л.*) коллизии?» [5] Возражение Маркса кажется на первый взгляд чисто эстетическим и, как мы еще увидим, оно действительно содержит в себе эстетические элементы — оно вскрывает противоречия между заданием и материалом лассалевской драмы. Но тотчас же обнаруживается, что главный интерес для Маркса и Энгельса совсем не в этом. Согласие насчет «задуманной» коллизии оказывается с самого начала чисто мнимым; оно имеет лишь тот совершенно абстрактный смысл, что Маркс и Энгельс считают критику революции 1848 г. вообще важной и желательной. Но они разумеют под этой критикой как методологически, так и по существу нечто совсем иное, чем Лассаль, а поэтому и возражение, что выбранная Лассалем тема не годится для изображения «этой» коллизии, имеет не только эстетическое значение, а поражает всю концепцию Лассаля в самом ее основании. Лассаль почувствовал это очень ясно и прямо высказал в своем ответе: «Ваши упреки,— писал он Марксу и Энгельсу,— сводятся в конечном счете к тому, что я вообще написал «Франца фон Зикингена», а не «Тамаса Мюнцера» или какую-либо другую трагедию из эпохи крестьянских войн» [6].

В этом действительно центральный нерв возражений Маркса и Энгельса. Они спорят против мысли Лассаля, будто причиной гибели Зикингена была его «дипломатия», т. е. его индивидуальная «трагическая вина» (безразлично — интеллектуальная, нравственная или та и другая). То, что Лассаль изображает как «вину», есть на самом деле лишь необходимое последствие объективного классового положения Зикингена. «Он погиб,— пишет Маркс [7],— потому что как рыцарь и как представитель гибнущего класса восстал против существующего, или, вернее, против новой

[1] Там же, т. XXII, стр. 273, а также письмо Маркса к Лассалю (издание Г. Майера, т. III, стр. 123).

[2] Ср. письмо к Энгельсу о «Гераклите»: «В нескольких незначительных замечаниях— так как лишь на фоне недостатков похвала кажется серьезной — я все же намекнул на действительные недостатки работы». (Соч., XXII, стр. 340.)

[3] Маркс говорит: «Все же наш еврейчик и даже его «Гераклит», хотя он и написан очень скверно, лучше чего бы то ни было, чем могут похвастать демократы». (Там же, XXI, стр. 385.)

[4] «В то же время его пребывание в Берлине убедило его, что с буржуазной партией такому энергичному парню, как он, делать нечего». (Там же, стр. 388.)

[5] Nachgelassene Briefe u. Schriften, т. III, стр. 173.

[6] Там же, т. III, стр. 204.

[7] Там же, т. III, стр. 173—174.

формы существующего». Этим самым уже устранено представление Лассаля о трагедии революции вообще, для которой «Зикинген» является лишь внешним воплощением, и вопрос ставится так: что представляет собой действительный Зикинген в классовых боях своего времени? Ответ Маркса совершенно ясен [1]. Если отвлечься от специфически индивидуального в Зикингене, «то останется Гетц фон Берлихинген. В этом жалком субъекте трагическая оппозиция рыцарства против императора и князей дана в своей адэкватной форме, и поэтому Гете справедливо выбрал его в герои». В своей борьбе Зикинген «просто Дон-Кихот, хотя и оправданный исторически».

Это замечание — о вытекающих из него дальнейших следствиях мы тотчас будем говорить подробнее — необыкновенно поучительно; оно ярко освещает весь комплекс принципиальных разногласий между Марксом и Лассалем и в то же время показывает, как относились они в этих вопросах к Гегелю и его последователям. Разногласие ясно проявляется в эстетическом понимании Гетца фон Берлихингена, в суждениях о Гете, тем более, что в политической оценке Геца как «жалкого субъекта» оба — и Маркс и Лассаль — вполне сходятся. Маркс хвалит Гете, как мы видели, за то, что в лице Гетца он выбрал такого героя, в котором исторический конфликт рыцарства с императором и князьями получает свое адэкватное выражение. Тут Маркс в известном смысле находится в согласии с Гегелем. Гегель пишет [2]: «То, что Гете выбрал своей основной темой это столкновение, эту коллизию средневековой героической эпохи с подчиненной законам современной жизнью, свидетельствует о его великом чутье. В самом деле: Гетц, Зикинген это — еще герои, которые хотят, опираясь на свою личность, на свою отвагу и на свое прямое чувство права, самостоятельно урегулировать условия жизни в более тесной и более широкой сфере; но новый порядок вещей делает самого Гетца неправым и приводит его к гибели, ибо только рыцарство и феодальные отношения являются в средние века подлинной почвой для такой самостоятельности». Эти рассуждения заканчиваются и у Гегеля ссылкой на Дон-Кихота. Таким образом при диаметральной противоположности в оценке Гетца («жалкий субъект» и «герой») как Гегель, так и Маркс считают Гетца и Зикингена представителями погибающей эпохи и усматривают поэтическую значительность Гете в том, что он выбрал своей темой типичный всемирно-исторический конфликт. Совсем иначе смотрит на дело Лассаль. В своем ответном письме Марксу и Энгельсу он, цепляясь за выражение «жалкий субъект», решительно высказывается против похвалы Маркса по адресу Гете и замечает, что «только отсутствием у Гете исторического чутья» объясняется то, что он мог «сделать героем трагедии этого совершенно ретроградного молодца» [3].

О внутреннем противоречии, которое сказывается при этом во всей исторической концепции Лассаля, мы будем говорить лишь при анализе его ответного письма. Там он оценивает все крестьянское движение, подобно движению исторического Зикингена, как движение реакционное и следовательно, с его же точки зрения, не способное явиться темой для трагедии. Мы отмечаем это противоречие теперь же только потому, что в нем проявляется своеобразная позиция Лассаля по отношению к Гегелю и позднейшим гегельянцам. Все они разрывают с историческим пониманием трагического у Гегеля и стремятся выработать общую формальную концепцию трагедии, в центре которой стоит, как мы показали, революция, понимаемая чисто формально. К чему ведут подобные взгляды, мы уже вкратце показали на примере двух типичных современников Лассаля — эстетика Фишера и поэта Геббеля. К сказанному нам остается еще только прибавить, что для Фишера, с его чисто формальным понятием трагического, и Гетц, и крестьянские войны являются возможными темами трагедии [4], у консервативного же

---

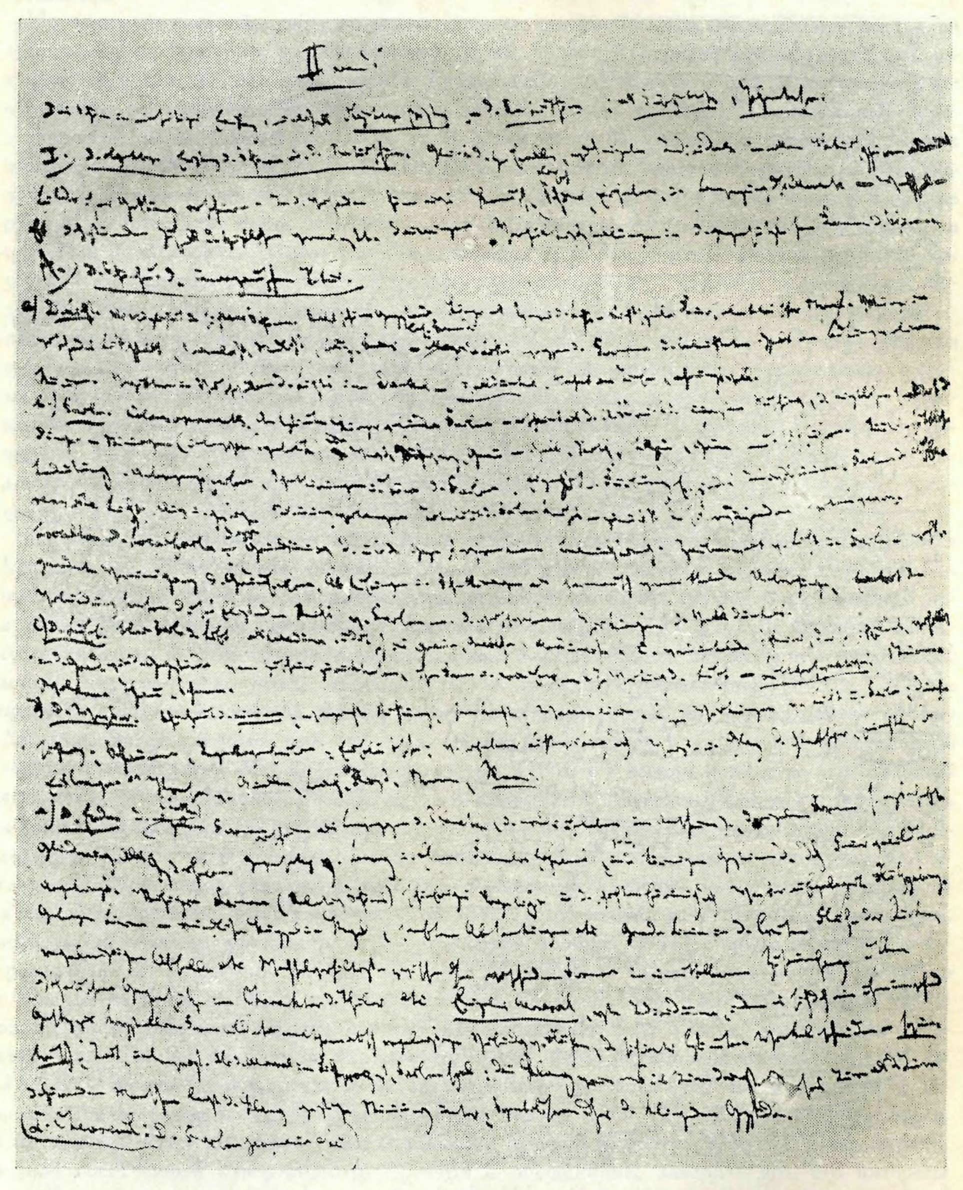
[1] Там же, т. III, стр. 173—174.

[2] «Aesthetik», Bd. I, S. 246—247. Разумеется, когда речь идет о «герое», следует иметь в виду специфически гегелевский взгляд на «доправовое» состояние, на состояние, «предшествующее гражданскому обществу». Ср. приведенное выше место из «Феноменологии» о трагедии и в особенности «Философию права», § 92, прибавление.

[3] Nachgelassene Briefe etc. Bd. III, S. 196

[4] Ср. наряду с вышеприведенным местом в особенности «Aesthetik», § 368, Bd. II, S. 273—274. Впрочем для умеренно-либерального Фишера характерно при этом, что через восемь лет после того, как он рекомендовал в качестве темы для трагедии

Геббеля формальное понимание заостряется настолько, что трагическая коллизия приближается к «первородному греху» и с драматической точки зрения становится совершенно безразличным, «погибает ли герой жертвой высокого или низкого стремления» [1],—



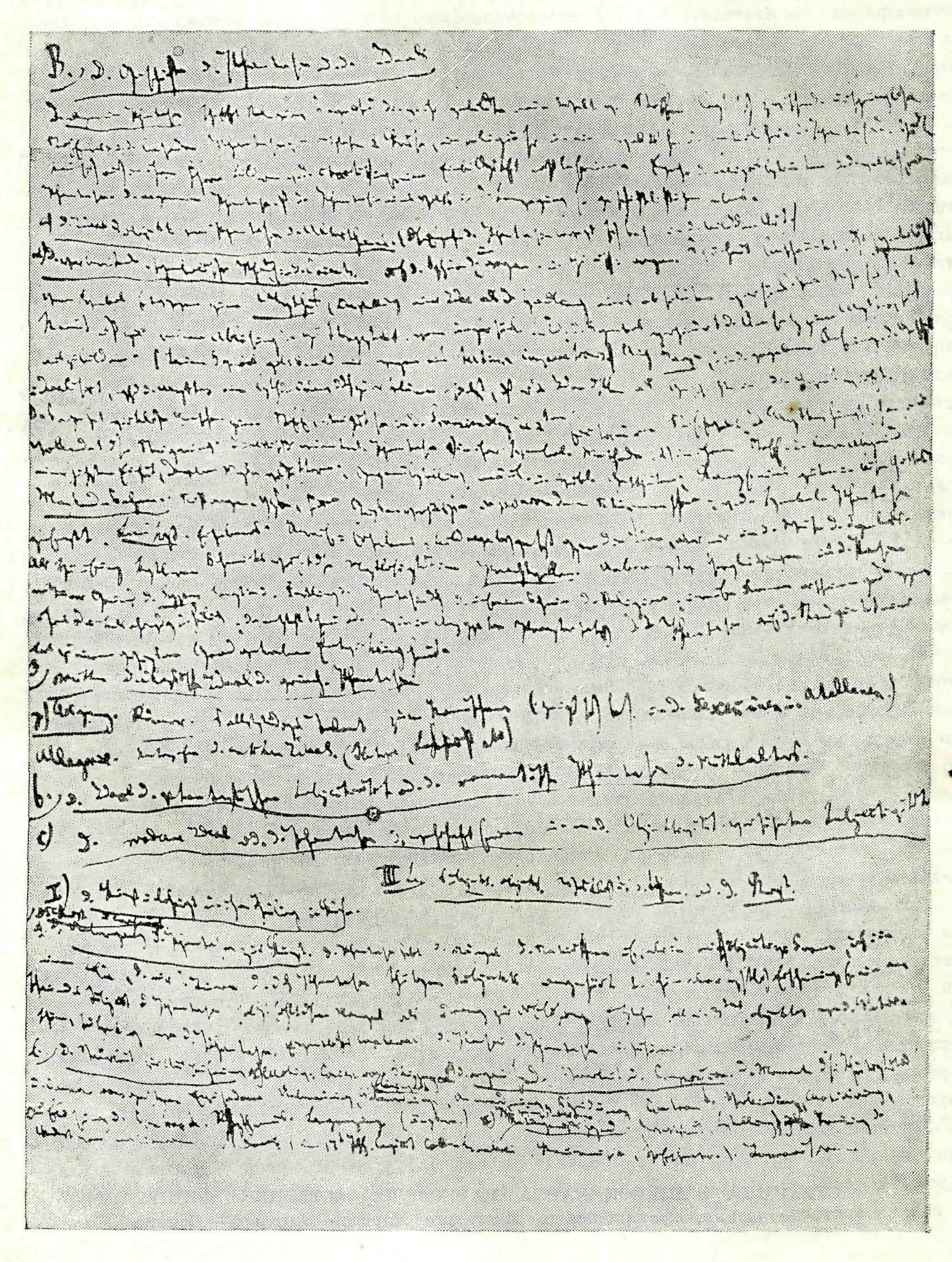
СТРАНИЦА ВЫПИСОК КАРЛА МАРКСА ИЗ «ЭСТЕТИКИ» ФИШЕРА
С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

путь, ведущий от Гегеля через его последователей к Шопенгауэру. Лассаль, принципиально стоящий на почве этого формального понимания трагического, делает отчаянные усилия спастись от реакционных последствий своего отправного пункта, извлечь из фор-

крестьянские войны, он уже отклоняет даже тему «Зикинген». «Это был дельный человек, но не герой в высшем смысле слова», пишет он Лассалю 26 апреля 1889 г. (Nachgelassene Briefe u. Schriften, Bd. II, S. 206).

[1] « Mein Wort über das Drama» (указан. место, стр. 29—30).

мального определения трагического, из формального понятия революции революционное содержание. Но все его усилия разумеется безуспешны. Чтобы не оказаться в плену у реакционного «объективизма», у метафизической апологии «существующего», он вы-



СТРАНИЦА ВЫПИСОК КАРЛА МАРКСА ИЗ «ЭСТЕТИКИ» ФИШЕРА
С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

нужден броситься в объятия морализирующего субъективизма. Суждение же Маркса о Гетце есть некое объективно-историческое констатирование факта, отнюдь не отбрасывающее просто в сторону констатирование того же факта у Гегеля (или в художественном творчестве Гете),— хотя Маркс и ставит Гегеля «на ноги», т. е. переводит его

мифологизирующее изложение на экономически-классовый язык, и видит яснее, чем кто-либо, «филистерскую» ограниченность Гегеля. Напротив, суждение Лассаля, несмотря на его политическое согласие с Марксом, остается морализирующим оценочным суждением [1].

Но вернемся к самой сути дискуссии. С точки зрения Маркса должен быть поставлен вопрос: какая трагедия может возникнуть на подобной основе? По Марксу, она заключается в следующем: «Зикинген и Гуттен гибнут оттого, что они были в своем воображении революционерами (последнего нельзя сказать о Гетце) и, совсем как образованное польское дворянство 1830 г., с одной стороны, сделались носителями новых идей, а с другой — фактически представляли реакционный классовый интерес». Это значит, что Зикинген не мог в виду своего классового положения в качестве рыцаря действовать иначе. «Чтобы начать дело иначе, он должен был бы прямо и сразу же апеллировать к городам и крестьянам, т. е. тем самым классам, развитие которых = отрицанию рыцарства». Энгельс, разобравший эту сторону вопроса еще подробнее, чем Маркс, принимает на мгновение — в виде методологического приема — наиболее благоприятное для Лассаля предположение, что Зикинген и Гуттен ставили себе целью освободить крестьян. «Но тогда тотчас же получается, — продолжает он, — то трагическое противоречие, что оба они стояли между дворянством, бывшим решительно против этого, с одной стороны, и крестьянами — с другой. В этом заключалась, по-моему, трагическая коллизия между исторически необходимым постулатом и практической невозможностью осуществления» (последняя разрядка наша — *Г. Л.*).

Из всего вышеизложенного легко убедиться, что «задуманная коллизия», одобряемая Марксом, не имеет ничего общего с подлинной темой Лассаля и даже диаметрально противоположна ей. Мы можем при этом оставить в стороне вопрос о формальном понимания революции, о лассалевской трагедии революции вообще, ибо позиция Маркса и Энгельса в этом пункте совершенно ясна. Ограничимся вопросом о крестьянской войне, взятым, как этого желал Лассаль, в связи с революцией 1848 г. Мысль провести параллель между этими двумя событиями вовсе не принадлежит самому Лассалю. Энгельс провел уже эту параллель в своем этюде о «Немецкой крестьянской войне» в «Обозрении Новой Рейнской газеты» (1850 г.) весьма конкретно и с большой четкостью. И если Маркс и Энгельс в своей полемике с Лассалем то и дело возвращаются к вопросу о Мюнцере, то это вытекает с такой же необходимостью из их отношения к революции 1848 г. (а тем самым, — хотя методологически и совершенно иначе, чем у Лассаля, — к буржуазной революции вообще), с какой лассалевский выбор темы «Зикинген» и его интерпретация этой темы вытекали из его отношения к буржуазной революции, которую он впрочем отождествлял с революцией вообще. Энгельс показывает это с несравненной ясностью при анализе позиции Мюнцера: «Худшее, что может случиться с вождем крайней партии, это необходимость взять в свои руки правление в такую эпоху, когда движение еще не созрело для господства того класса, который он представляет... Так он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может делать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен делать, неосуществимо. Ему приходится в интересах самого движения проводить интересы чуждого ему класса, а свой собственный класс кормить фразами и обещаниями, заверять его, что интересы чуждого ему класса суть его собственные интересы. Человек, попавший в такое ложное положение, обречен на неминуемую гибель» [2].

Трагедия Мюнцера является таким образом исторической по преимуществу; из нее можно конечно извлечь стратегические и тактические уроки, применимые mutatis mutandis и к другим условиям, но мы неизбежно пришли бы к извращению диалектики, к оппортунизму, если бы стали толковать вышеприведенные слова Энгельса абстрактно,

---

[1] Меринг, как это с ним часто бывает, находится и в этом пункте под более сильным влиянием Лассаля, чем Маркса (Mehring, Werke, Berlin, 1930, Bd. II, S. 110).

[2] Engels, Der deutsche Bauernkrieg. Elementarbücher des Kommunismus. Bd. VIII, Berlin, 1925, S. 117—118.

в смысле общего предостережения не начинать борьбу в «несозревшей» ситуации. Поэтому Ленин подчеркивает в своей статье против Мартынова [1] конкретно-исторический характер этих слов Энгельса. Мартынов (равно как и Плеханов) хотел использовать в 1905 г. энгельсовский анализ положения Мюнцера в качестве аргумента против участия РСДРП в революционном правительстве и в интересах гегемонии буржуазии в буржуазной революции. Ленин метко показал, что конкретное противоречие в положении Мюнцера, из которого Энгельс и выводит его трагедию в письме к Лассалю, не имеет ничего общего с этой проблемой, что Мартынов пользуется словами Энгельса только как предлогом для уклонения от действительного анализа ситуации и от выводов из ее правильного анализа. Рассуждения Энгельса представляют собой конкретный анализ классового положения Германии в 1525 г., и они как раз показывают на примере трагедии Мюнцера, как из трудной «несозревшей» ситуации можно извлечь революционно возможный максимум, если правильно и решительно действовать. Вопреки мысли оппортунистов, это отнюдь не есть «прообраз» такой «несозревшей» ситуации, в которой действовать вообще невозможно. Анализируя революции прошлого, Маркс и Энгельс всегда выводят из «несозревшей» ситуации те самообманы революционеров, заблуждающихся насчет действительного направления объективного, прогрессивно-революционного процесса, которые возникают как исторически неизбежные, ложные отражения этого процесса в сознании сторонников «крайней партии». Таков анализ якобинцев у Маркса и таков же анализ положения Мюнцера у Энгельса. Эта революционная самокритика предшественников у Маркса, Энгельса и Ленина дает одновременно основу как для исторического понимания (и художественного изображения) прошлых революций, так и для извлечения правильных политических уроков из этой самокритики. Наоборот, абстрактно-схематический, неисторический взгляд (от Лассаля до Мартынова и дальше, в самых разнообразных оттенках) приводит на практике к оппортунизму, а в теории преграждает путь к пониманию революций прошлого. Это может проявиться, смотря по исторической конъюнктуре каждого данного оттенка оппортунизма, либо в идеализировании прошлых революций, в затушевывании специфических различий между различными ступенями развития, либо в искажении, умалении, опорочении их революционного характера. Во всяком случае здесь всегда разрывается диалектически-историческая связь, обнимающая как родство, так и различие сравниваемых ситуаций. Но так как анализ положения Мюнцера у Маркса, Энгельса и Ленина является конкретно-историческим, то приложение их учений зависит от той ситуации, в которой и к которой они прилагаются. Энгельс видел в 1850 г. в проблеме Мюнцера — mutatis mutandis — проблему революции 1848 г., как это между прочим видно из его рассуждений, следующих тотчас же после приведенного нами выше места. Но вступительная фраза этой цитаты показывает вместе с тем, что во всей этой проблеме, даже в такой наиболее широкой постановке, Энгельс видел только проблему определенной ступени революционного движения. Уже в 1874 г. (в вводных замечаниях ко 2-му изданию «Крестьянской войны») Энгельс ставит вопрос об аналогии между 1525 и 1848 гг. в том смысле, что пролетариат «значит тоже нуждается в союзниках»; трагическое положение Мюнцера превращается таким образом — вместе с усилением революционного класса — в стратегический вопрос о союзниках и резервах революции.

Итак, для Маркса и Энгельса этот анализ «трагического» положения «крайней партии» ни на минуту не заключал в себе «вечной» проблемы. Энгельс имеет здесь в виду только своеобразную позицию Мюнцера как вождя революционной «плебейской» партии, которая «хотя бы в фантазии» должна была «стремиться даже за пределы едва лишь возникавшего буржуазного общества» [2]. Но аналогия с 1848—1849 гг. распространяется у Маркса и Энгельса лишь на определенные конкретные моменты классовых отношений и на вытекающие отсюда стратегически-тактические проблемы и, стало быть, лишь на определенные стороны классовой подоплеки мюнцеровской позиции, а не на его трагедию как трагедию революции вообще. «Коммунистический манифест» начертал еще до взрыва революции ясную программу действия «крайней партии», а после пора-

[1] «Соц.-демократия и временное рев. правительство», Собр. соч., т. VII, стр. 186 и сл.
[2] «Bauernkrieg», S. 40.

жения революции и в ожидании нового революционного подъема Маркс устанавливает на основе вполне конкретной самокритики, что его общий прогноз целиком оправдался. Правда, он устанавливает точно так же, что одновременно с успехами произошло и «значительное ослабление» Союза коммунистов, и в результате «рабочая партия утратила свою единственную твердую опору... и попала поэтому в общем движении целиком под власть и руководство мелкобуржуазных демократов» [1]. То же самое «Обращение» дает точные фактические директивы, чтобы обеспечить правильное отношение рабочей партии к различным классам и их партиям во всех фазах назревающего революционного подъема. Трагедия Мюнцера является таким образом для Маркса и Энгельса трагедией ситуации, принадлежавшей уже тогда историческому прошлому. Если же они все-таки выдвинули ее на первый план (и, как мы видели, не только в дискуссии о «Зикингене»), то это объясняется историко-политически теми внутренними аналогиями между этой ситуацией и революцией 1848 г., которые неоднократно вскрывались Энгельсом, а подытожить уроки последней и внедрить их в сознание своих сторонников было центральной задачей всей деятельности Маркса и Энгельса после поражения революции. В деле собирания сил, в деле идеологического воспитания Лассаль еще играл для Маркса и Энгельса в этот период немаловажную роль. Поэтому его попытка подойти к этим вопросам с помощью художественного творчества должна была встретить их одобрение, но именно поэтому же естественно было их желание убедить его в коренной ошибочности его концепции.

Итак, эстетическое на первый взгляд разногласие относительно выбора Мюнцера или Зикингена в качестве темы трагедии переходит в вопрос о том, усматривать ли главное затруднение революции в экономической, идеологической, организационной слабости самого революционного класса [2], что ведет к охарактеризованной Энгельсом трагедии Мюнцера и к формулированным Марксом и Энгельсом в их письмах к Лассалю возражениям против пригодности темы «Зикинген», — или же считать вместе с Лассалем центральной проблемой «всеобщую» революцию против «старого», при чем главным вопросом окажется проблема «дипломатии», «реальной политики», словом, тема «Зикинген». Мы имеем, стало быть, с одной стороны, вопрос с «союзниках» революционного класса, т. е. объективно-исторический вопрос, а с другой — вопрос о способности известного «интеллигентного» промежуточного слоя руководить всеми недовольными существующим режимом классами, при чем центральной проблемой оказывается связанность этих вождей со «старым» миром, трудность для них «совлечь с себя ветхого Адама», т. е. этико-психологический вопрос. Маркс и Энгельс осуществляют таким образом действительную самокритику «крайнего», единственного подлинно революционного крыла революции 1848 г., они вскрывают объективные условия крушения революции с помощью беспощадного классового анализа. Лассаль же, наоборот, подвергает критике колеблющийся (в силу объективно-экономических условий), «дипломатизирующий», «реально-политический» «центр». Так как он не видит в его поведении исторически-необходимого, объективно-экономического момента (во всяком случае не видит действительного значения этого момента) [3], то он поневоле должен остановиться на чисто идеологической интерпретации исторического процесса, что и приводит его по содержанию к теме «Зикинген», а с эстетически-формальной стороны к морализирующему пафосу, к «трагической вине», к Шиллеру.

---

[1] «Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов». Любопытно, что Лассаль нашел это обращение «превосходным» (письмо Марксу от 3 июля 1851 г.).

[2] «Плебеев», как выражается Энгельс в «Bauernkrieg», стр. 39—40.

[3] Мы имеем здесь в виду основные установки Лассаля в его произведениях и политической деятельности. Конечно у него найдется сколько угодно изречений, признающих роль пролетариата и социалистический характер революции (так, он пишет Марксу в письме от 24 октября 1849 г., что ему теперь ясно, «что никакая борьба уже не может быть успешна в Европе, если она не носит с самого начала ярко выраженного чисто социалистического характера» (Nachgelassene Briefe etc., Bd. III, S. 14 и т. д.). Но дело-то в том, что в основе его литературной и политической деятельности лежит совсем другая концепция революции, и сочетание этих двух концепций может быть только чисто внешним, эклектичным. Мы увидим, что в ответном письме Лассаля это противоречие проступает совершенно ясно.

Как Маркс, так и Энгельс ставят действительно в своих письмах вопрос о шиллеровском стиле в «Зикингене». Тем самым вся дискуссия приобретает еще в большей мере эстетическое направление, не теряя однако своей тесной связи с рассмотренным выше основным разногласием. В самом деле, главнейшая композиционная ошибка, отмечаемая Марксом и Энгельсом у Лассаля, заключается, по Марксу, в следующем[1]: «Дворянские представители революции, за чьими лозунгами о единстве и свободе все еще таится мечта о старой империи и кулачном праве, не должны были, значит, так всецело поглотить весь интерес, как это случилось у тебя; представители крестьян (их-то особенно) и революционных элементов в городах должны были бы составить существенный активный фон». Совершенно в таком же духе пишет Энгельс[2], похвалив сначала Лассаля за изображение князей, городов и т. д.: «...так сказать, официальные элементы тогдашнего движения этим приблизительно исчерпаны. Но недостаточно, как мне кажется, подчеркнуты у вас неофициальные, плебейские и крестьянские элементы с их сопутствующим теоретическим выражением». После всего вышесказанного ясно, в чем подлинная суть этих эстетических, композиционных возражений. Но Маркс и Энгельс стараются вообще использовать каждый поворот дискуссии, чтобы с самых различных точек зрения убедить Лассаля в ошибочности его понимания. Так Энгельс вслед за приведенной нами только что цитатой далее указывает, что цель Лассаля — изобразить в лице Зикингена героя «политического освобождения и национального величия»[3] — была бы достигнута гораздо лучше с помощью изображения крестьянской войны, ибо «крестьянское движение, — говорит Энгельс, — было на свой лад столь же национально, столь же направлено против князей, как и движение дворянства, а колоссальные размеры борьбы, в которой оно пало, резко контрастируют с той легкостью, с какой дворянство, предоставив Зикингена его собственной участи, примирилось со своим историческим призванием к придворному раболепству». И далее Энгельс объясняет выпадение из лассалевской драмы «подлинно трагического элемента в судьбе Зикингена» именно этой «недооценкой крестьянского движения». Еще решительнее выражает эту мысль Маркс. Он подытоживает всю свою полемику против темы «Зикинген» и атакует центральное идейное содержание драмы, упрекая Лассаля в том, что действие драмы охватывает только проблемы буржуазной революции, не делая решительного шага за ее пределы. «Тогда ты мог бы, — пишет он вслед за приведенным выше местом об игнорировании крестьян, — и в гораздо большей мере выразить как раз наисовременнейшие идеи в их чистейшей форме (разрядка наша.— *Г. Л.)*, теперь же главной идеей фактически остается у тебя, наряду с религиозной свободой, гражданское единство». И, пытаясь придать своей критике задуманной Лассалем самокритики революции 1848 г. диалектический характер в смысле самокритики Лассаля, он в заключение пишет: «Не впал ли ты до известной степени сам, как твой Франц фон Зикинген, в ту дипломатическую ошибку, что поставил лютеровско-рыцарскую оппозицию выше плебейско-мюнцеровской?»

Переходя в заключение, казалось бы, уже к чисто эстетической стороне дискуссии, к критике шиллеровского стиля в драме Лассаля, мы после всего сказанного заранее можем быть уверены, что и эта сторона вопроса имеет свою классовую и идеологическую подоплеку. Не случайно Маркс вставил свою критику стиля драмы между двумя последними из приведенных нами мест. Если он делает здесь Лассалю следующий упрек: «... тебе само собой пришлось бы тогда больше шекспиризировать, между тем как сейчас я считаю шиллеровщину, превращение индивидов в простые рупоры духа времени, твоим главнейшим недостатком» (последняя разрядка наша. — *Г. Л.*), — то это суждение весьма убедительно и тесно связано с упреком в дипломатической игре с революцией. Маркс указывает здесь весьма осторожно, вполне оставаясь в рамках эстетической дискуссии, на связь абстрактно-морализирующего идеализма Лассаля с его политическим оппортунизмом.

---

[1] Nachgelassene Briefe etc., Bd. III, S. 174.
[2] Там же, стр. 182.
[3] Vorwort F. Lassalle, Werke (Cassirer), Bd. I, S. 130.

Die Philosophie

Herakleitos des Dunklen

von Ephesos.

Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten dargestellt

von

Ferdinand Lassalle.

Bei Heraklit ist also zuerst die philosophische Idee in ihrer speculativen Form anzutreffen. — — Hier sehen wir Land; es ist kein Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen.

Hegel.

Nichtsdestoweniger verdiente Herakleitos, wenn, wie den Dichtern, also den Weltweisen einer bestimmt wäre, den Preis des Lorbeers.

Boeckh.

Erster Band.

Berlin.

Verlag von Franz Duncker

(W. Besser's Verlagshandlung.)

1858.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ ТРАКТАТА ЛАССАЛЯ «ГЕРАКЛИТ ТЕМНЫЙ»

Было бы следовательно большой ошибкой видеть в выдвижении Шекспира против Шиллера лишь чисто эстетический вопрос или вместе с Мерингом усматривать в пристрастии Маркса и Энгельса к Шекспиру, а Лассаля к Шиллеру только различие индивидуальных вкусов. Когда Меринг в посвященной этому вопросу статье[1] пишет, что «Лассаль был не в меньшей мере, чем Маркс и Энгельс, учеником Фихте и Гегеля», он затушевывает этим все существенные, решающие проблемы философского антагонизма между Марксом-Энгельсом и Лассалем. Лассаль действительно вернулся в философской области к Фихте, как в эстетической он возвращается к Шиллеру, между тем как Маркс и Энгельс видели в Фихте и Шиллере уже преодоленные Гегелем, а после того как диалектика, стоявшая у Гегеля «на голове», была поставлена на ноги — уж окончательно отошедшие в прошлое фигуры. Поэтому совершенно искаженно изображает дело Меринг, объясняя, с одной стороны, «антипатию» Маркса к Шиллеру «обстоятельствами», а с другой — усматривая даже в этом пункте какое-то превосходство Лассаля, поскольку он «различает между Шиллером и его буржуазными толкователями». Нет, Маркс и Энгельс отвергали в лице Шиллера (и в связи с этим в лице Канта) вполне определенную, конкретную ступень в развитии немецкой идеологии. Что это отрицательное отношение имеет и свои эстетические стороны, ясно само собой. Маркс и Энгельс были слишком цельными личностями, чтобы установки их миросозерцания, положительные и отрицательные, могли остаться без влияния и на их чисто субъективные оценки, на их симпатии и антипатии, на их эстетическое одобрение или неодобрение. Такова например суровая критика, которой Маркс подвергает «чрезмерное рефлексирование действующих лиц над самими собой» (что, как правильно подчеркивает Маркс[2], «проистекает из твоего (т. е. Лассаля) пристрастия к Шиллеру»), особенно в изображении женщин.

Но решающий момент в выдвижении Шекспира против Шиллера заключается для Маркса и Энгельса в том, что требуемое ими от драмы мощное, реалистическое изображение исторических классовых боев, как они действительно происходили, наглядное изображение их действительных движущих сил, действительных объективных конфликтов возможно только с помощью тех поэтических средств, которые Маркс обозначает здесь словом «шекспиризирование». Еще подробнее, чем Маркс, обсуждает этот вопрос в своем письме к Лассалю Энгельс[3]. Вот что он пишет о характере драмы: «Вы совершенно справедливо выступаете против господствующей ныне дурной индивидуализации, которая сводится к мелочному умничанию и составляет существенный признак выдохшейся эпигонской литературы. Мне кажется однако, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает; и с этой стороны идейному

[1] «Schiller und die grossen Sozialisten» («Neue Zeit», XXIII, Bd. II, S. 154).
[2] Nachgelassene Briefe etc. Bd. III, S. 175.
[3] Там же, стр. 181—182.

содержанию драмы не повредило бы, я думаю, если бы отдельные характеры были несколько резче разграничены и противопоставлены друг другу. Характеристика в стиле древних в наше время уже недостаточна, и здесь, мне кажется, вы могли бы без вреда посчитаться немножко больше с значением Шекспира в истории развития драмы». Это место, в связи с советом Маркса побольше «шекспиризировать» и с другим местом из письма Энгельса[1], где вопрос об изображении «тогдашней, столь удивительно пестрой плебейской общественности» увязывается с тем же вопросом о шекспировском стиле, вполне выясняет, как нам кажется, связь этих решительных эстетических возражений Маркса и Энгельса с вышеизложенным. А с другой стороны, мы уже выше показали, что возвращение Лассаля к Шиллеру связано со всей его концепцией революции, с самой сутью его миросозерцания.

Правда, это обращение Маркса к Шекспиру имеет двойное значение, которое мы должны здесь вкратце проанализировать, чтобы правильно оценить его позицию против Лассаля. Мы уже указали, говоря о взгляде Гегеля на трагическое, на соответствующий взгляд Маркса и отметили, что Маркс и в этом вопросе поставил диалектику (мистифицированную Гегелем) «на ноги». Путь к этому мог быть только один: общественно-историческая конкретизация проблемы трагического. Правда, и у самого Гегеля *трагедия есть общественно-историческое явление*, но (несмотря на всю ясность и конкретность в отдельных деталях) она остается облеченной в мистифицированную форму. Относя период трагедии, период «героев», ко времени до возникновения «гражданского общества» и усматривая в явлении трагического диалектическое саморазложение этого периода, его переход в гражданское общество (ср. особенно «Феноменологию духа»), Гегель вполне сознательно локализирует трагедию в рамках развития классической греческой культуры, и ему удается, опираясь на переплетенность греческой трагедии с мифологией, мифологизировать эту связь в историко-философских терминах. (Шекспир является в эстетике Гегеля каким-то удивительным эпилогом, чем-то вроде тех ricorsi, о которых говорит Вико.) Маркс ставит для прошлого момент диалектического разложения данного общественного строя в центр теории трагического. Трагическое есть таким образом выражение героической гибели класса. Так Маркс и Энгельс пишут, имея в виду именно Шекспира, хотя и не называя его по имени[2]: «Если гибель прежних классов, например рыцарства, могла дать материалы для величественных трагических произведений искусства, то мещанство вполне естественно не может пойти дальше бессильных проявлений фанатической злобы или собрания санчо-пансовских сентенций и премудрых наставлений». Еще отчетливее выявляется исторический характер трагического в «Критике гегелевской философии права», где трагическая форма выражения определяется как этап в том же историческом процессе упадка данного класса и определяемого им общественного строя — этап, за которым следуют этапы дальнейшего упадка, когда трагическое разлагается в комическое. Маркс пишет о том, какой интерес представляет борьба в Германии для народов Запада, и говорит: «Для них поучительно видеть, как старый порядок, переживший у них свою трагедию, разыгрывает теперь в Германии комедию, словно выходец с того света. Трагичной была его история, пока он был предсуществующей властью мира, а свобода была личным капризом — словом, пока он сам верил, и должен был верить, в свою правомерность. Пока старый порядок боролся как существующий мировой порядок с еще только возникавшим миром, на его стороне было всемирно-историческое, а не личное заблуждение. Его гибель была поэтому трагична».

Однако наряду с этой формой трагедии Маркс и Энгельс выдвигают в своей полемике с Лассалем второй ее тип. У Гегеля трагический герой был всегда защитником общественного строя, обреченного на гибель историческим развитием. Из вышеприведенного места видно, что по отношению к древнему миру и средним векам Маркс должен был освободить этот взгляд от мифологии и идеалистической мистификации (оценка Гетца фон Берлихингена), конкретно сведя явление к его общественно-историческим причинам, но для нового времени у Гегеля вовсе не было трагедии и не могло ее быть. Ибо осу-

[1] Там же, стр. 183.

[2] Рецензия на книгу Даумера «Die Religion des neuen Weltalters» в «Обозрении Новой Рейнской газеты».

ществление идеи в государстве, возникновение гражданского общества, подчинение отдельного лица разделению труда и т. д. создают такие условия, при которых, с одной стороны, индивид является «не самостоятельным, целостным и в то же время индивидуально живым образом самого общества, но лишь ограниченным членом этого последнего», а с другой — этот общественный строй настолько совпадает с разумом, что принципиальное восстание против него (например, Карл Моор у Шиллера) должно производить «мальчишеское» впечатление[1]. Таким образом неприятие современной трагедии вытекает у Гегеля непосредственно из всего его взгляда на новое время, поскольку этот взгляд связывает прозаический, неблагоприятный для поэзии характер современного «мирового состояния» с фактом самодостижения и самопостижения духа и именно поэтому сомневается в возможности «героической гибели» какого-нибудь класса в настоящее время. А трагедия революционера должна была быть для него еще более неприемлема[2]. Но именно здесь и возникает вопрос для Маркса и Энгельса. Послегегелевская литература и эстетика поставили, правда, как мы видели, вопрос о трагедии революции, пытаясь преодолеть гегелевский «конец истории» и в эстетическом плане. Но в постановке этого вопроса она поднялась в лучшем случае только на гегелевскую ступень, т. е. поставила вопрос в такой форме, которая оставляет неприкосновенным фундамент буржуазного общества (как ступени уже осуществленного разума). Отсюда либеральная двойственность Фишера и консервативная романтика исторической необходимости у Геббеля. Лассаль пытался, как мы знаем, разрешить проблему на основе революционного субъективизма (шиллеровская традиция). Но так как этот субъективизм есть сам лишь выражение непреодоленной гегелевской основы (т. е. неумения подняться над горизонтом буржуазного общества), то и все категории гегелевского решения (примирение и т. д.) эклектически смешиваются у Лассаля с категориями шиллеровско-фихтевского субъективного идеализма (трагическая вина). Лассаль понимает, правда, всю пустоту тех эстетических категорий, с помощью которых его современники думали преодолеть гегелевское положение о «непоэтическом» характере нового времени (умеренный реализм Фишера, «благоговение перед действительностью» современных либеральных писателей и теоретиков искусства, как «примирение» с худшими сторонами капиталистической действительности в Германии), но он может противопоставить им только риторический идеализм и субъективизм шиллеровского пафоса. Он находит таким образом и в эстетической области только эклектическое решение, потому что его основная позиция в вопросах, составляющих реальную основу его художественной установки, тоже проникнута эклектическим идеализмом. Зикинген должен быть, согласно его замыслу, революционным героем в духе Шиллера, объективно же этот герой гегелевской трагедии — представитель погибающего класса. (Эти противоречия остаются в драме неразрешенными.)

Маркс и Энгельс исходили, как это показано выше, из материалистической переработки гегелевского понимания трагедии. Но не только из этого. У Гегеля была лишь одна форма трагедии. Для Маркса и Энгельса наряду с ней существует еще трагедия преждевременно явившегося революционера, трагедия Мюнцера. Это различие двух типов трагедии и в эстетическом смысле необходимо связано с материалистической переработкой гегелевской теории трагического; трагедия (и комедия) оказывается поэтическим выражением определенных фазисов классовой борьбы — и при том как у нисходящего, так и у революционного класса. Второй тип трагического отменяет вместе с тем

[1] «Aesthetik», Bd. I, S. 265—267.

[2] Единственное исключение, когда революционер воспринимается Гегелем трагически, составляет судьба Сократа. Но это исключение покоится на основной концепции позднего Гегеля, согласно которой можно сказать, варьируя слова Маркса, что революция существовала, но больше не существует. Сократ оказывается «героем» потому, что он представлял против афинян от имени нового мирового порядка, осуществившегося впоследствии в христианстве, правомерный принцип, который однако афиняне всячески отвергали с таким же правом, так как он разрушил их мировой порядок. «Судьба Сократа таким образом подлинно трагична». Но с осуществлением христианства положение меняется, и Гегель весьма далек от того, чтобы например воспринимать трагически якобинцев («Geschichte der Philosophie», Bd. II, S. 119).

гегелевскую характеристику современности как «непоэтичной», но отменяет ее в духе диалектического материализма. Что «капиталистический способ производства враждебен некоторым отраслям духовного творчества, как например искусству и поэзии»[1], — это Маркс подчеркивал неоднократно. И этого не преодолеешь ни «примирительным» реализмом, ни субъективистическим идеализированием, а исключительно только революционным реализмом, раскрывающим внутренние противоречия капиталистического развития с беспощадной откровенностью, с бесстрашно-«циничной» или революционно-критической правдивостью. Это — поэзия революционного сознания, уяснившего себе основы дальнейшего развития[2]. Трагедия «преждевременного» революционера обнаруживается как раз в своей исторической конкретности, в неразрывной связи со всеми недостатками и ошибками, вытекающими из еще «несозревшей» революционной ситуации. В противовес унылым филистерам, всегда восклицающим вместе с Плехановым: «не надо было браться за оружие», Маркс одинаково энергично подчеркивает, с одной стороны, неумолимую историческую необходимость, явившуюся причиной гибели, а с другой — необходимость все-таки предпринимать борьбу и положительное прогрессивное значение того факта, что борьба была предпринята, и мужественно предпринята. «Творить мировую историю было бы конечно очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов... Демонстрация рабочего класса в последнем случае (т. е. если бы рабочие не ответили на поставленную буржуазией альтернативу открытой борьбой.— *Г. Л.)* была бы гораздо меньшим несчастием, чем гибель какого угодно числа «вожаков». Борьба рабочего класса с классом капиталистов «...вступила благодаря Парижской коммуне в новую фазу... Сравните с этими парижанами, готовыми штурмовать небо, тиранов германско-прусской священной империи...»[3] Трагедия таких революционеров, как Мюнцер, черпает свой пафос именно из того обстоятельства, что только через крушение героических попыток и через их «беспощадно основательную» самокритику движение может притти к высшим формам борьбы, к достижению победы. «Социальная революция» может поэтому, как пишет Маркс в «18 брюмера», «почерпнуть свою поэзию... только из будущего». Итак, Маркс и Энгельс критикуют Лассаля вдвойне: во-первых, они упрекают его за то, что он как запоздалый представитель немецкого классицизма выбрал трагедию первого типа (Мюнцер против Зикингена); а во-вторых, за то, что, раз уже выбрав эту тему, он не сделал из нее всех выводов и не изобразил героя погибающего класса именно как такового. Шекспир как великий поэт нисходящего средневековья может при этом служить художественным прообразом для обеих возможностей, между тем как шиллеровский стиль может привести лишь к затемнению и искажению тех реальных движущих сил классовой борьбы, материалистический анализ которых один только способен явиться фундаментом для действительно поэтической композиции.

Мы должны были остановиться несколько подробнее на этой позиции Маркса и Энгельса в вопросе о Шекспире, чтобы у читателя не возникло и тени подозрения, будто в своей критике шиллеровской манеры Лассаля они стояли на одном уровне с теми критиками, которые также упрекали Лассаля в «абстрактности», но в своих положительных оценках оставались как раз на точке зрения «дурной индивидуализации», в борьбе с которой Энгельс признал себя солидарным с Лассалем[4]. Возвращение Лассаля к Шиллеру равносильно в «Зикингене» признанию принципов буржуазной революции. Поэтому

---

[1] «Theorien über den Mehrwert», т. I, стр. 251.

[2] В нашу задачу не входит анализ эстетических взглядов Маркса и Энгельса в связи со всем их миросозерцанием. Но ясно, что их высокая оценка Дидро, Фильдинга, Бальзака и т. д. происходит из того же источника и дает вместе с тем ключ к их интерпретации Шекспира.

[3] Письма к Кугельману от 12/IV и 17/V 1871 г.

[4] Мы имеем здесь в виду прежде всего Ф. Т. Фишера, выступившего в своем письме к Лассалю о «Зикингене» с подобными упреками (в указ. месте, т. II, стр. 207). Меринг правильно отметил в своих «Эстетических очерках» (Mehring, Werke, Bd. II, S. 258—259) источники этого «третьего периода немецкого культа Шекспира», стремление заменить путь «от красоты к свободе» (немецкий классицизм) Шекспиром как «поэтом великих политических действий».

выдвижение Шекспира против Шиллера может происходить как справа, так и слева. Если бы после всего вышесказанного для этого требовалось еще косвенное доказательство, то мы могли бы указать на оценку словесно-метрической формы лассалевской драмы со стороны Маркса-Энгельса и со стороны Фишера-Штрауса. Маркс замечает, правда, что, поскольку Лассаль написал свою драму ямбами, ему следовало бы отделать их несколько более тщательно. «В общем однако,— прибавляет он,— я вижу в этом преимущество, ибо у наших поэтических эпигонов не осталось ничего, кроме гладкой формы». Энгельс касается лишь мимоходом «вольностей» в версификации, «мешающих больше в чтении, чем со сцены». В противоположность этому Фишер и Штраус приходят в величайшее негодование от стихотворной стороны «Зикингена».

III

Возражение Лассаля на критические замечания Маркса и Энгельса, весьма подробное и, по его собственному признанию, «растянутое, лишенное всякого стиля и всякой четкости», пытается отстоять позицию драмы и обоих предисловий к ней. Но Лассаль вынужден в этой самозащите пойти по всем почти существенным пунктам гораздо дальше, чем он шел или хотел итти вначале. Поэтому, с одной стороны, скрытые прежде (но ясно понятые Марксом и Энгельсом) противоречия его позиции обнаруживаются теперь как непреодолимые антиномии, непримиримость которых он сам может скрыть от себя только с помощью софизмов: а, с другой стороны, защита объективно несостоятельной позиции вынуждает его к таким выводам, всю п о л и т и ч е с к у ю суть которых он тогда еще едва ли сознавал, но значение которых наверное тотчас же было понято Марксом и Энгельсом в полной мере. Их резко отрицательное отношение к этому письму, отмеченное нами в начале статьи, их внезапный отказ от дальнейшей дискуссии объясняется, как нам кажется, именно этими моментами.

Начнем с той части спора, которую сам Лассаль рассматривает под конец, хотя он же называет ее «наиболее важной», потому что, как он пишет, «ею затрагивается интерес партии, который я считаю весьма правомерным». Начнем с и с т о р и ч е с к о й оценки Зикингена и его позиции в вопросе о крестьянской войне. Как помнит читатель, Маркс и Энгельс исходили из того, что Зикинген был в качестве рыцаря представителем погибающего класса и что поэтому его цели могли быть только реакционными и сам он был революционером «только в воображении». С этим связаны упреки в недостаточном внимании к плебейско-крестьянским элементам и упрек со стороны Маркса в том, что Лассаль в своей драме сам «дипломатизирует», подобно своему герою. И вот Лассаль с негодованием отклоняет от себя упрек в дипломатизировании как «в высшей степени несправедливый». Чтобы опровергнуть относящиеся сюда выражения Маркса и Энгельса, он набрасывает связный очерк своих взглядов на классовый характер дворянского восстания и крестьянской войны. Суть его теории заключается в том, что о б е стороны — как исторический Зикинген и рыцари, так и крестьяне — были р е а к ц и о н н ы. Крестьяне «в высшей степени р е а к ц и о н н ы, р е а к ц и о н н ы н и ч у т ь н е м е н ь ш е, ч е м и с т о р и ч е с к и й З и к и н г е н (не мой) и с а м а и с т о р и ч е с к а я д в о р я н с к а я п а р т и я», пишет Лассаль.

Здесь разумеется не место для подробного анализа и сравнения, с точки зрения их исторической правильности, взглядов Маркса-Энгельса и Лассаля на тенденции экономического развития и классовые отношения в Германии около 1522—1525 гг. (тем более, что правота Маркса и Энгельса тут совершенно очевидна). Мы займемся здесь только выяснением некоторых важных методологических сторон лассалевской полемики, освещением их связи с интересующим нас комплексом проблем и их сопоставлением с соответствующими взглядами Маркса-Энгельса. Итак, почему крестьянское движение является, по мнению Лассаля, реакционным? Лассаль приводит два соображения. Оно, во-первых, н е - революционно потому, что крестьяне требовали только «уничтожения з л о у п о т р е б л е н и й», а не радикального переворота; «идея прав субъекта, как такового, выходит за пределы в с е й т о й э п о х и». А во-вторых, оно «реакционно в т а к о й ж е м е р е, как и историческая дворянская партия», и именно потому, что «определяющим

политическим моментом является для них еще не субъект... а частное землевладение... На основе свободного личного землевладения предполагалось создать государство землевладельцев с императором во главе. Это была стало быть все та же старая, отжившая идея германской империи, которая и потерпела крушение. Именно благодаря этой архиреакционной идее крестьян их союз с дворянством был бы еще вполне возможен». В противовес этой реакционной идее князья с их властью над землей, не являвшейся их собственностью и не переданной им в ленное владение, представляли собой первый зародыш независимого от частного землевладения «политического, государственного принципа». Этот взгляд, который, как мы знаем, повторяется и в позднейших сочинениях Лассаля[1], характерен в двух отношениях. Во-первых, он насквозь идеалистичен, ибо он совершенно игнорирует основные экономические вопросы (эксплоатацию крестьян дворянством) или во всяком случае трактует их как нечто более или менее второстепенное[2], решая вопрос о революционном или реакционном характере движения с точки зрения юридического урегулирования вопросов собственности и не ставя вовсе вопроса о формах эксплоатации (или ее уничтожения).

А во-вторых, этот старый гегельянский метод в конце концов недиалектичен. Революционный и реакционный принцип противопоставляются друг другу в механически-застывшем виде. Живое взаимодействие классов совершенно игнорируется, несмотря на его огромное значение именно в данном случае, когда основные классы буржуазного общества — буржуазия и пролетариат — еще не успели образоваться, когда таким социальным слоям, как «плебеям», крестьянам, принадлежит решающая роль, и поэтому прогрессивные, реакционные и утопические тенденции все время перекрещиваются, так что часто бывает трудно конкретно установить преобладающий момент. Так Лассаль проходит, с одной стороны, мимо всех социалистических элементов плебейского движения (ср. приведенную выше цитату из Энгельса о Мюнцере с идеологическим представлением Лассаля о «религиозном фантазерстве» Мюнцера), а с другой — он не замечает и того, что объединение «прогрессивных элементов нации», как оно выразилось в имперской конституции Венделя-Гипплера, «является предчувствием нового буржуазного общества». Эти «принципы... не были, правда, непосредственно осуществимы, но они были несколько идеализованным, необходимым результатом фактического разложения феодального строя, и крестьяне, как только приступили к выработке законопроекта для всей империи, были вынуждены считаться с ними». В своем дальнейшем анализе проекта Гипплера Энгельс отмечает, что «дворянству делаются уступки», «весьма напоминающие выкупы нового времени». Но если по этой линии, по линии подчинения «подлинным интересам граждан», движение могло ставить себе буржуазно-революционные цели, а под мюнцеровски-плебейским руководством даже цели, идущие далее буржуазного строя, то как раз необходимая цель Гуттенов и Зикингенов — дворянская демократия — была определенно реакционной. Это,— говорит Энгельс[3], — «одна из наиболее грубых общественных форм, которая вполне нормально развивается в разработанную феодальную иерархию, представляющую собой уже значительно более высокую ступень». Полемика Лассаля ясно показывает, что этой конкретной исторической диалектики классового развития, а следовательно и действительной диалектики революции он не понимает, понять ее не хочет и не может.

[1] Ср. например «Наука и рабочие», 1863 г.

[2] Ср. то место в самой драме, где Зикинген Лассаля (т. е. не исторический, а революционно-стилизованный Зикинген) заявляет на собрании дворян в Ландау: «Щадите крестьянина! Он готов сбросить с себя поповское иго, которое давит его самого еще тяжелей, чем нас. Не нас, а князей ненавидит он; с нами же, если мы будем действовать справедливо, он помирится легко» (Werke, Bd. I, S. 281). Это приблизительно соответствует взглядам исторического Гуттена или Зикингена, их неспособности «обещать бюргерам или крестьянам что-нибудь положительное», их вынужденности «мало говорить или ничего не сказать о будущих взаимных отношениях дворянства, городов и крестьян, свалив все это на князей и на зависимость от Рима» («Bauernkrieg», S. 81). Но в устах лассалевского героя приведенные слова очень ярко освещают сказанное нами выше.

[3] «Bauernkrieg», S. 105—106.



ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ
С фотографии (конца 50-х гг.), хранящейся в Музее Маркса и Энгельса

Дело нисколько не меняется от того, встречаются ли у Лассаля в его драме и в письмах отдельные правильные формулировки или нет, дает ли он правильное изображение отдельных классовых ситуаций. Важен недиалектический характер его основной точки зрения, не только мешающий ему правильно понять современность и историю, равно как и их правильное истолкование Марксом и Энгельсом, но даже заставляющий его изменить своей собственной философской основе, идеалистической диалектике Гегеля, и приблизиться к догегелевским воззрениям. Мы уже коснулись этого вопроса выше, в связи с лассалевским пониманием «трагической вины» и с его приближением к Шиллеру. Маркс и Энгельс не подошли, правда, в своей критике непосредственно к этому вопросу (выдвижение Шекспира против Шиллера с ним очень тесно связано), но их критика настолько расшатала позицию Лассаля, что последний оказался вынужден показать свое философское лицо. Он пытается конечно опровергнуть аргументы Маркса-Энгельса по отношению к историческому Зикингену и таким образом лишить почвы всю их критику в целом. Но словно чувствуя, что в этой области его аргументы недостаточны, он старается отстоять решающий для него пункт, т. е. характер и судьбу своего (а не исторического) Зикингена, и с философской стороны. Речь идет понятно опять-таки о союзе Зикингена с крестьянством, о том, насколько этот союз был бы возможен и к чему бы он привел. И вот здесь Лассаль оказывается вынужденным подробно изложить свой общий взгляд на историческую необходимость и ее отношение к человеческой активности. В виду важности вопроса мы должны привести это место целиком. «Что получилось бы? Если исходить из конструктивной философии истории Гегеля, усердным приверженцем которой являюсь я сам, то придется конечно ответить вместе с вами, что в конечном счете все же неизбежно наступила бы и должна была наступить гибель, потому что Зикинген, как вы говорите, представлял реакционный au fond интерес и необходимо должен был представлять его, ибо дух времени и классовая принадлежность не давали ему возможности твердо стать на другую позицию.

Но это критико-философское понимание истории, в котором одна железная необходимость цепляется за другую и которое именно поэтому угашает действенность индивидуальных решений и поступков, как раз потому и не может явиться почвой ни для практически революционного действия, ни для драматического представления.

Для обоих этих элементов предпосылка преобразующей и решающей действенности индивидуальных решений и поступков является, наоборот, той необходимой почвой, вне которой драматически зажигательный интерес так же невозможен, как и смелый подвиг».

Здесь принципиально важно то обстоятельство, что в вопросе об исторической необходимости и практике Лассаль имеет в виду практику не классов, а индивидов и поэтому поневоле дуалистически разрывает необходимость и «свободу» (практику). Это приводит его к дуализму, который не только весьма далек от диалектического понимания этой проблемы у Маркса и Энгельса, но даже остается далеко позади Гегеля, приближаясь к Фихте, Шиллеру, Канту. Ибо хотя гегелевская философия истории и оперирует с индивидом, с его «страстью», соединяя его посредством «лукавства разума» с необходимостью исторического процесса, однако у Гегеля индивид есть все-таки представитель определенного исторического коллектива (нации и т. д.) и его «страсть» теснейшим образом связана с «интересами». «Это частное содержание,— говорит Гегель[1] (сказав сначала о «частных интересах», «специальных целях», «своекорыстных намерениях» и т. д.), — настолько едино с волей человека, что оно составляет всю определенность последнего и неотделимо от него: благодаря этому содержанию человек есть то, что он есть». Но именно эта переплетенность «идеи» и «страсти» и создает у Гегеля тесную историческую связь (вопреки его собственной идеалистической метафизике). «Таким образом великие исторические личности, — продолжает он,— могут быть поняты только на своем месте» (разрядка наша. — *Г. Л.*). Связь между

[1] «Die Vernunft in der Geschichte», «Phil. Bibl.», S. 63 u. 76—77.

«вождем», «всемирно-исторической личностью» и ведомой массой основана у Гегеля на том, что вождь высказывает и делает то, к чему масса стремится, сама того не зная. «Всемирно-исторические личности впервые разъяснили людям, чего они хотят. Знать, чего ты хочешь, нелегко; можно в самом деле хотеть чего-нибудь и все-таки стоять на отрицательной точке зрения, испытывать только недовольство; сознание положительной цели вполне может при этом отсутствовать». Итак, по Гегелю, «вождь» является таковым потому, и только потому, что он «есть выражение некоторой объективно-исторической коллективной необходимости (нации, класса); он может им быть лишь постольку, поскольку он выражает собою тенденцию общественного развития, поскольку он формулирует в виде программы то, к чему остальные, согласно своим интересам, необходимо стремятся, хотя это стремление и остается смутным, бессознательным и т. д. Ясное дело, что Лассаль, расходясь в этом пункте не только с Марксом-Энгельсом, но даже с Гегелем, отрывает «индивидуальные решения и поступки» от их реальной почвы, противопоставляет их необходимости, — словом, этизирует их в духе Канта и Фихте[1].

Тем самым Лассаль создает философскую почву, на которой он надеется одержать победу в споре с Марксом и Энгельсом о преимуществах темы «Мюнцер» или темы «Зикинген». Он формулирует этот вопрос как противоположность «слишком далеких» и «недостаточно далеких» шагов на революционном пути и настаивает на том, что его решение «гораздо глубже, трагичнее и революционнее», чем решение, предлагаемое Марксом и Энгельсом. Оно трагичнее, ибо только при нем возможно появление знаменитой «трагической вины». Как читатель помнит, Энгельс заметил, что хотя отдельные лица, и в том числе лассалевский Зикинген, могут действительно стремиться к союзу с крестьянами, но это тотчас же привело бы их к столкновению с дворянством, в чем, по Энгельсу, может заключаться источник трагической коллизии. Лассаль указывает (и после вышеприведенной цитаты это понятно) на то, что в предполагаемом Энгельсом случае конфликт имел бы место только между Зикингеном и его партией, и «куда девалась бы тогда собственная трагическая вина Зикингена? Он погиб бы, внутренне вполне оправданный и безупречный, исключительно из-за эгоизма дворянского класса — страшное, но в сущности совершенно не-трагическое зрелище». Теперь уже конечно нисколько не удивительно, что Лассаль, берущий развитие Зикингена в чисто индивидуальном разрезе, видит в объективно-необходимом классовом конфликте Зикингена с дворянским классом только «эгоизм» этого последнего, что он рассматривает действия обеих сторон, конфликт между ними, не как объективно-исторически необходимую коллизию и ставит с этой точки зрения — теперь уже вполне последовательно — вопрос о «трагической вине». Но ставя этот вопрос, он неизбежно порывает с гегелевской философией истории, неизбежно переходит на точку зрения субъективного идеализма.

Отсюда вполне естественно вытекает, что конфликт представляется Лассалю «более трагическим», когда он «имманентен самому Зикингену», т. е. когда он является этическим конфликтом. Как мы уже видели и как это теперь еще яснее показывает Лассаль, этот этический конфликт есть конфликт индивида с его собственным классом или, еще точнее, с пережитками старой классовой идеологии внутри самого человека, готового перейти к другому классу. Итак, согласно вышеприведенной ясной формулировке Лассаля, этический, «внутренний» конфликт трагичен, а объективно-историческое столкновение — не-трагично. Любопытно, как определяет Лассаль трагический конфликт. Понятно само собой, что в качестве «почти в каждой революции повторяющегося, вечного» конфликта он ставит его выше, чем исторически-определенный конфликт Мюнцера. Он видит в Зикингене индивида (вроде Сен-Жюста, Сен-Симона, Жишки), который хочет или может «целиком подняться над своим классом»[2]. Но чтобы получить конфликт и трагедию, чтобы иметь материал для изображения «вины» и

[1] Понятно, что например буржуазный биограф Лассаля Г. Онкен усматривает в этом пункте опровержение исторического материализма («Lassalle», 4-e Ausgabe, S. 149—150).

[2] Меринг правильно указывает в своем комментарии («Nachlass-Ausgabe», Bd. IV, S. 202), что таково было положение Флориана Гейера, а не Зикингена.

«искупления», Лассаль вынужден конкретизировать общую формулу в двух важных отношениях. С одной стороны, он весьма энергично подчеркивает, что вначале Зикинген «еще не может до конца порвать со старым... ведь отсюда и происходит в конечном счете дипломатическое искажение его восстания, его не-революционное выступление и провал последнего! Этот момент составляет даже всю ось пьесы»...[1] Стало быть трагичность, якобы более «глубокая», чем та, о которой говорит Энгельс, заключается главным образом в том, что отрыв Зикингена от своего класса происходит медленно и мучительно, что его решительный разрыв с ним наступает слишком поздно. Трагичность в том, что в Зикингене сконцентрированы все революционные возможности, и он все-таки гибнет, потому что он «не вытравил из своей натуры одну последнюю преграду, непроизвольный продукт его классового положения, еще отделяющую его от законченного революционера». Картина становится еще яснее благодаря тому, что Лассаль вынужден под давлением аргументов Маркса и Энгельса оставить перспективу дальнейшего революционного развития Зикингена в субъективистском этико-эстетическом полумраке. Лассаль разъясняет[2] положение Зикингена так: Зикинген «стоит в начале революции, он занимает хотя бы в одном направлении революционную позицию. Последняя является таким образом неким весьма двусмысленным «в себе», которое, если движение продолжится и толкнет его к дальнейшим выводам, может развиться как в том смысле, что он сделает эти выводы, так и в том, что он выступит против них с реакционной враждебностью». Здесь мы имеем весьма интересное высказывание Лассаля о том, как мыслится им судьба, якобы составляющая трагедию всякой революции. В этой связи становится совершенно понятно, почему Лассаль считал не только «более глубокой и трагичной», но и «более революционной» такую ситуацию, когда в основе конфликта лежат недостаточно далекие шаги, чем такую, когда он вызывается, как в схеме Маркса и Энгельса, слишком далекими шагами. Но ясно вместе с тем, что как лежащие в основе обеих установок мировоззрения (субъективный идеализм и материалистическая диалектика), так и обе концепции революции не имеют ничего общего друг с другом.

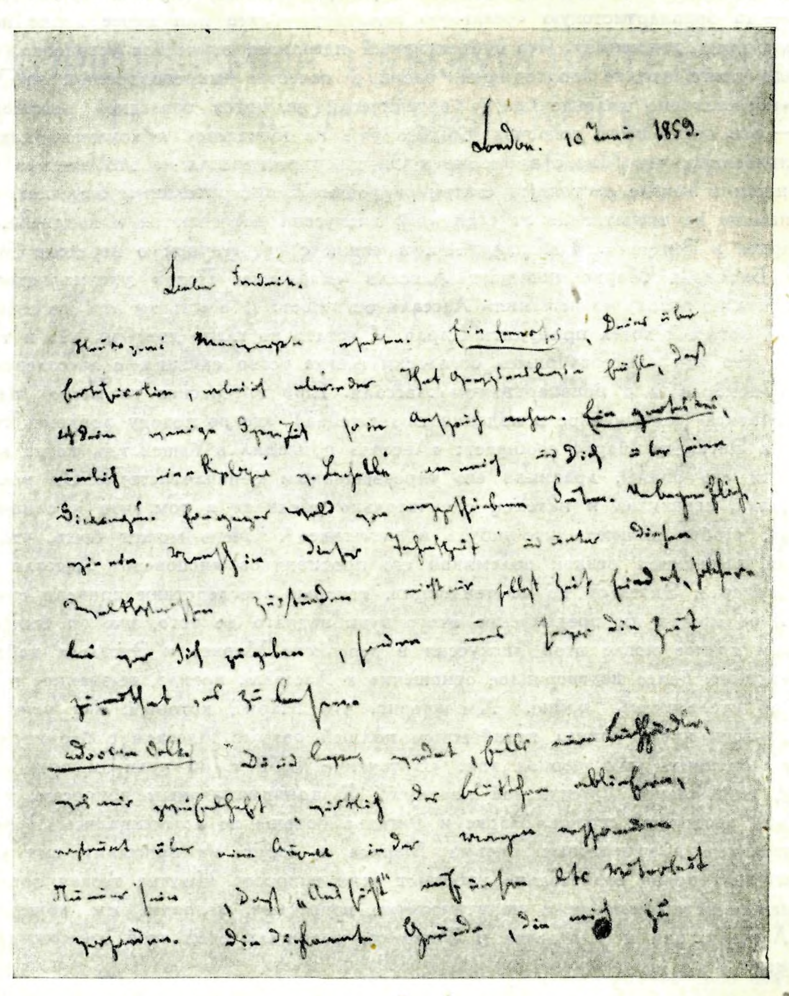
Этим однако «исповедь» Лассаля еще далеко не исчерпана. Чтобы как можно успешнее отстоять свою точку зрения против Маркса и Энгельса, он все время пытается показать, что Зикинген все-таки мог бы удержать вместе различные, устремленные в противоположные стороны классы — дворян и крестьян — и в этом сотрудничестве классов не дать ни на одну минуту решающего перевеса дворянству. Приведем некоторые характерные места. Мнение Энгельса о том, что попытка Зикингена освободить крестьян привела бы его к столкновению с дворянством, Лассаль считает несостоятельным: он находит «даже невероятным... чтобы Зикинген, если бы только он решился апеллировать к крестьянству, пал жертвой этого своего выступления. Если бы он только подчинил себе дворянство и крестьян, то с помощью последних он уже совладал бы и с первыми...» И Лассаль же пишет о дворянстве, что он хотел «изобразить его в виде партии, которую лишь Франц привел в движение, которой он механически управлял, дергая ее, как марионетку, взад и вперед, которая была им использована, ничего не зная о его тайных целях». Такому пониманию «вождя» соответствует аналогичное понимание «массы». Дворянство отступилось от Зикингена «не вследствие сознания различия их внутренних целей, а из простой апатии, трусости, нерешительности». Коротко говоря, мы имеем здесь хоть и проникнутую пафосом буржуазной революции, хоть и стоящую на духовной почве немецкого классицизма, но по существу бонапартистскую историческую концепцию «героя», «творящего» историю[3]. Буржуазно-революционные и поэтико-философские классические традиции, правда, несколько изменяют внешнюю форму этой концепции.

[1] Последняя фраза подчеркнута нами; у самого Лассаля подчеркнуто только слово «всю».

[2] Ср. очень интересное место о возможной революционной стилизации Лютера.

[3] Почти все, писавшие об этом письме, расслышали эту бисмаркистски-бонапартистскую нотку. Ср. Меринг, в указ. ст., стр. 905; Онкен, в указ. месте, стр. 153.

приближают ее в литературном отношении к этапу маркиза Позы в развитии немецкой идеологии [1], но решающим остается все-таки то обстоятельство, что, согласно Лассалю, «герой» может по произволу двигать классы назад и вперед, исторически осуществляя повеление «идеи» [2]. Зикинген терпит крушение только потому, что в нем, как мы видели, оставалось еще чересчур много «человеческой, слишком человеческой» связанности со своим старым классом. Таким образом попытка Зикингена провозгласить себя им-


London. 10 Juni 1859.

Lieber Friedrich.

НАЧАЛО ПИСЬМА МАРКСА К ЭНГЕЛЬСУ ОТ 10 ИЮНЯ 1859 г. С ОТЗЫВОМ О «ЗИКИНГЕНЕ»

«Сегодня получил две рукописи. Одну превосходную, это — твою о фортификации, при чем испытал прямо угрызения совести, что так отнимаю твое и без того скудное время. Другую — смешную, а именно возражение Лассаля мне и тебе по поводу его Зикингена. Целый лес густо исписанных страниц. Непонятно, как в такое время года и при таких мировых событиях человек не только сам находит время писать нечто подобное, но еще думает, что и у нас найдется время прочесть это...»

С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

ператором является не только элементом исторического предания, но и важной составной частью лассалевской концепции. «Что же касается рыцарской оппозиции,— пишет он против Маркса и Энгельса, — то ведь для Зикингена она вообще не существенная

[1] Напомним впрочем об отмеченной выше связи между концепцией Позы и «революцией сверху».

[2] Ср. сделанные выше замечания о противоположности Гегеля и Лассаля в вопросе о необходимости и исторической практике.

цель, а (что вы оба проглядели) лишь средство, которое он хочет употребить, лишь движение, которое он хочет использовать для провозглашения себя императором, чтобы затем, выполняя роль, от которой отказывается Карл, преобразовать и осуществить протестантизм как государственную национальную идею». Таким образом Лассаль высказывается здесь решительным образом за чисто буржуазный переворот по содержанию, а в отношении средств — за бонапартистскую «реальную политику» более или менее ловко направляемых «массовых движений». Что субъективный идеализм, этическая установка, является для всего этого вполне подходящей базой в качестве мировоззрения, что на этой почве «недостаточно далекие шаги» органически являются трагедией революции вообще,— это после всего вышеизложенного уже не нуждается в комментариях.

Неудивительно, что Маркс в письме к Энгельсу реагировал на это письмо Лассаля приведенным в начале настоящей статьи раздраженно-презрительным замечанием. Некоторые намеки на впечатление от всей этой дискуссии встречаются в позднейших письмах Маркса и Энгельса. Так например, в связи с сообщением о переходе Бухера на сторону Бисмарка Маркс называет Лассаля «маркизом Позой укермаркского Филиппа II», а по поводу «завещания» Лассаля он пишет: «Не есть ли это его собственный Зикинген, который хотел принудить Карла V «стать во главе движения»?» и т. д. Характерно, что эти «литературные» отголоски всегда тесно связаны с лассалевским курсом на Бисмарка и с бонапартизмом Лассаля. Еще интереснее то место из одного письма Маркса (выпущенное в издании Бернштейна), где по поводу лондонского визита Лассаля к Энгельсу Маркс сообщает: «Лассаль приходил в бешенство, когда я и жена высмеивали его планы, дразнили его «просвещенным бонапартистом». Он кричал, неистовствовал, вскакивал и наконец окончательно убедился в том, что я слишком «абстрактен», чтобы понимать что-нибудь в политике»[1]. Очень может быть, что именно невольная, вызванная резкой полемикой его противников «исповедь» Лассаля открыла глаза Марксу и Энгельсу на те тенденции, которые впоследствии привели его к Бисмарку, и облегчила им предвидение этого пути задолго до того, как он был пройден. Во всяком случае после этой дискуссии в переписке Маркса и Энгельса наблюдается более холодное, более недоверчивое отношение к Лассалю, правда, вызванное и его брошюрой об итальянской войне. Характерно, что Маркс, который, как уже замечено выше, до этих писем считал неизбежным полный разрыв Лассаля с берлинцами, впоследствии оценивал этот период так: «В течение 1859 г. он целиком принадлежал к прусской либеральной буржуазной партии»[2]. К принципиальным вопросам, послужившим темой настоящей статьи, Маркс и Энгельс больше не возвращались. Чрезвычайно содержательные и интересные письма Маркса в ответ на присылку ему «Системы приобретенных прав» сознательно избегают этих вопросов. Именно тесная органическая связь между эстетическими и политическими вопросами, которую мы констатировали как у Лассаля, так и у Маркса и Энгельса, положила всей этой дискуссии внезапный конец.

Георг Лукач

[1] Письма от 10 декабря 1864 г., 25 января 1865 г., 30 июля 1862 г. и т. д. (Собр. соч., XXIII, стр. 225, 230, 87).
[2] Письмо к Энгельсу от 12 июня 1863 г. (Собр. соч., XXIII, стр. 155).

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ ТЕКСТЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Предисловие редакции «Литературного Наследства»
Комментарии М. Нечкиной, В. Каплинского

НОВЫЕ ТЕКСТЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Маркс и Ленин чрезвычайно высоко ценили Н. Г. Чернышевского. Маркс в письме к редактору «Отечественных Записок» называл Чернышевского «великим русским ученым и критиком», заслуживающим «высокого уважения». В предисловии ко второму немецкому изданию «Капитала» Маркс писал, что Чернышевский мастерски выяснил в своих очерках политической экономии банкротство буржуазной экономической науки. Знавший лично Маркса Г. Лопатин свидетельствует, что Маркс не раз говорил ему о том, что Чернышевский представляет собою «действительно оригинального мыслителя», в то время как остальные «ученые» являются лишь простыми компиляторами, и считал, что «политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но целой Европы». Приведенными характеристиками не исчерпываются высказывания Маркса о Чернышевском, — он не раз возвращался к его оценке, остававшейся неизменно высокой. Столь же высоко ценил Чернышевского Ленин, давший в своих многократных высказываниях о Чернышевском глубочайший анализ его идеологии и его роли в революционном движении. Ленин называет Чернышевского «великим революционером», «великим социалистом домарксова периода», «гениальным мыслителем», сумевшим остаться «на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий взор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путанников»[1]. Ленин с величайшим вниманием изучал Чернышевского и не раз анализировал выдвинутые им положения. Вместе с тем Ленин предостерегал против искажения действительной исторической роли Чернышевского путем замазывания его слабых сторон, разоблачал позицию «Рабочей Мысли» (органа петербургских экономистов), пытавшейся отрицать утопизм Чернышевского[2].

Марксистско-ленинское изучение работ Чернышевского является важнейшей задачей. Это изучение должно располагать полным, точным, проверенным текстом работ Чернышевского. Лишь Октябрьская революция дала возможность восстановить все цензурные искажения, уродовавшие текст Чернышевского, и дать тем самым в руки советского читателя действительно полный текст. До Октябрьской революции выполнение этой задачи оказывалось неосуществимым: «Полное собрание сочинений» Чернышевского, подготовленное к печати его сыном и изданное в 1906 г., является «полным» лишь по названию. В силу технических условий и цензурных преград в нем опубликован далеко не полный текст и восстановлены далеко не все цензурные купюры.

За последние годы изучение Чернышевского обогатилось большим количеством его новых текстов. Наибольшее число публикаций падает на литературу, связанную со столетним юбилеем со дня рождения Чернышевского (1828—1928). Опубликован ценнейший дневник Чернышевского, отрывки из его автобиографии, огромное собрание писем Чернышевского за все периоды его жизни («Литературное наследие», т. I—III; значительная часть писем опубликована впервые). Уже после выхода трехтомного «Лите-

---

[1] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 387; т. XVII, стр. 159, 160; т. XIII, стр. 293—295.
[2] Сочинения, т. II, стр. 544—545.

ратурного наследия» опубликован ряд дополнительных материалов, в том числе писем Чернышевского. В те же юбилейные дни опубликован I том «Избранных произведений» Чернышевского, проверенных по рукописям и цензорским корректурам. Но к сожалению даже этот задуманный к юбилейным дням шеститомник избранных произведений остался неосуществленным: кроме I тома, вышедшего в 1928 г., вышел еще в 1930 г. IV том, — на этом дело пока и «закончилось» — четыре тома остаются неизданными.

Документальным публикациям последних лет ниже посвящен особый обзор, поэтому подчеркнем лишь одно: несмотря на большое количество ценных новых текстов Чернышевского, опубликованных за последнее время, мы еще далеко не знаем подлинного Чернышевского. Лучшее доказательство этого — новые тексты, впервые публикуемые в настоящем номере журнала. Они не были известны до сих пор, не вошли в исследовательский оборот. Можно ли сказать, что мы знали такие замечательные произведения Чернышевского, как «Суеверие и правила логики», «Тюрго», «Национальная бестактность», «Русский реформатор», «Нынешние английские виги», если самые острые в политическом смысле, самые насыщенные революционным содержанием тексты были вычеркнуты красным цензорским карандашом и эти статьи в таком изуродованном виде находились до сих пор в нашем распоряжении? Этот обескровленный, искаженный и разорванный текст подавался нам за настоящий и полный, на этом изуродованном тексте строилось изучение Чернышевского. Крупнейшая по объему монография о Чернышевском, принадлежащая Ю. М. Стеклову, занимающая два огромных тома (свыше 1 300 страниц!) и вышедшая (вторым изданием) в 1928 г., построена именно на этом изуродованном царской цензурой тексте Чернышевского.

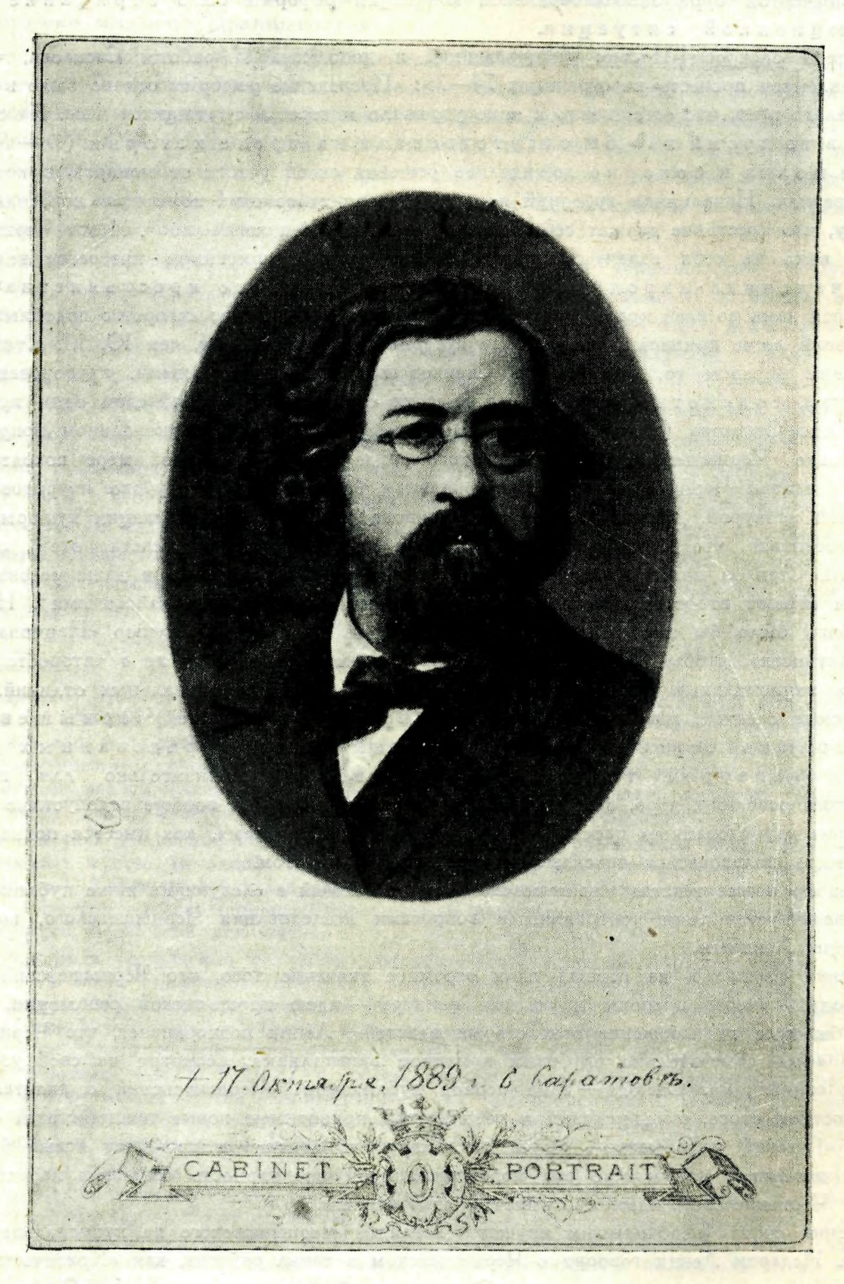
Ю. М. Стеклов разумеется прекрасно знал, что текст Чернышевского изуродован цензурой. Так же хорошо знал он и то, что чрезвычайно легко и просто можно восстановить полный текст произведений великого революционера, — надо лишь обратиться к рукописям и цензорским корректурам, местонахождение которых Ю. М. Стеклову было, конечно, хорошо известно. Столь же хорошо знал автор монографии, что появление в свет его труда во втором издании, «исправленном и дополненном» (какая ирония!), пускает в оборот среди широкой читательской массы искаженный царской цензурой текст великого революционера. Тем самым — разумеется наперекор собственному желанию — автор продолжает дело царской цензуры, стремившейся скрыть подлинного Чернышевского от трудящихся масс. Конечно Ю. М. Стеклов не хотел этого, но это не изменяет ни на йоту объективного значения его небрежного отношения к текстам Чернышевского.

Ошибочность концепции Ю. М. Стеклова уже давно вскрыта марксистско-ленинской критикой. Стеклов пытался представить Чернышевского идеологом пролетариата, основоположником научного социализма в России, предвидевшим и Октябрь, и советы, и колхозы. Чернышевский вовсе не нуждается в такой ложной и «хвалебной» оценке. Подобная трактовка Чернышевского противоречит и всем высказываниям Ленина, подчеркивавшего, что Чернышевский был социалистом-утопистом, который «не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма» [1].

Крестьянская реформа совершилась в обстановке революционной ситуации. Работа Чернышевского была глубочайшим образом связана с волной поднимавшейся крестьянской революции. Ленин подчеркивает это, говоря, что Чернышевский был не только социалистом-утопистом, но и «революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя, через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей». Недавно вышедшее собрание документальных материалов [2] по крестьянскому движению кануна реформы дает обильный фактический материал для

[1] Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 144.

[2] Крестьянское движение 1827—1869 гг. Вып. 1 и 2. Подготовили к печати Е. А. Мороховец и А. А. Сергеев, М., 1931, Соцэкгиз.



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Фотография (1883 г.) из альбома Ленина с его собственноручной подписью, хранящаяся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

характеристики создавшейся тогда революционной ситуации. Заметим, что революционная ситуация осознана была царским правительством, спешившим, как известно, освободить крестьян «сверху» для того, чтобы помешать им освободиться «снизу». Характерной чертой буржуазно-либеральной концепции реформы было отрицание революционной ситуации.

Теперь раскроем II том «исправленной и дополненной» работы Стеклова, чтобы с удивлением прочесть на страницах 74—75: «Проведение реформы отдано было в руки рабовладельцев, что естественно и явно угрожало интересам трудящихся масс. Последние в то время как бы отсутствовали на арене истории (!? — *Ред.*). Они молча и покорно дожидались решения своей участи от монарха, в которого еще верили. Начальники губерний во время работ губернских комитетов доносили отовсюду, что крестьяне держат себя тише и спокойнее, чем когда-либо[1]. И вот Чернышевский взял на себя задачу выступить в литературе защитником интересов великого молчальника-народа, быть рупором безгласного крестьянства».

Перед нами во всей красе буржуазная концепция «реформы»; авторство подобных рассуждений легче приписать калужскому губернатору Арцимовичу, чем Ю. М. Стеклову.

Таким образом то, что Ю. М. Стеклов пользовался неполными, изуродованными текстами, содействовало неправильности его концепции. Приведем один пример: в работе Стеклова (т. I, стр. 479—491) имеется раздел о национальном вопросе в трактовке Чернышевского; выводы этого раздела в значительной мере покоятся на тексте статьи Чернышевского «Национальная бестактность», глубоко изуродованном царской цензурой. Достаточно прочесть приводимые в нашей публикации купюры, чтобы убедиться, что мы не знали до сих пор настоящего текста этой статьи. Ю. М. Стеклов полагает, что, по Чернышевскому, «национальные и даже расовые отличия играют второстепенную роль сравнительно с различиями классовыми[2]. Но достаточно было бы ему прочесть лишь вторую из публикуемых купюр «Национальной бестактности», чтобы убедиться, что у Чернышевского речь идет не о «второстепенной роли» национальных отличий, а о классовом содержании национальных отличий.

Отсюда следует: марксистско-ленинское изучение Чернышевского должно основываться на полных, не изуродованных царской цензурой текстах Чернышевского. Унизительно для памяти великого революционера, столь высоко ценимого Лениным, и вообще недопустимо пользование изуродованным царской цензурой текстом в то время, как имеется полная возможность пользоваться неискаженным подлинным текстом.

Подбор новых текстов Чернышевского, предлагаемый в следующих ниже публикациях, руководствуется теми центральными вопросами исследования Чернышевского, которые указаны Лениным.

Ленин выдвинул на первый план огромное значение того, что Чернышевский умел проводить «через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей». Ленин подчеркивает, что Чернышевский «был замечательно глубоким критиком капитализма, несмотря на свой утопический социализм». Отсюда — тема первой публикации: «Чернышевский о капитализме, крепостном строе, самодержавии и революции», приводимые новые тексты статей «Тюрго», «Русский реформатор», «Суеверие и правила логики» и др. дают новый блестящий материал, еще и еще раз подтверждающий правильность основных характерных черт Чернышевского-идеолога, отмеченных Лениным.

Ленин считал необходимым изучение взглядов Чернышевского на национальный вопрос. Недаром Ленин говорит о Чернышевском в таких работах, как «Критические заметки по национальному вопросу», «О праве наций на самоопределение», «О национальной гордости великороссов». Во второй из упомянутых работ[3], написанной в 1914 г.,

[1] Утверждение, документально опровергаемое хотя бы цитированными в предыдущей сноске материалами, которые могли быть использованы Стекловым в подлинниках во время «исправлений и дополнений» его монографии. — *Ред.*

[2] Ю. М. Стеклов, Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность, М.—Л., 1928, том I, стр. 481.

[3] Ленин, Сочинения, т. XVII, стр. 457.

Ленин прямо дает тему для исследования: «Было бы весьма интересной исторической работой сопоставить позицию польского шляхтича-повстанца 1863 года, позицию всероссийского демократа-революционера Чернышевского, который тоже (подобно Марксу) умел оценить значение польского движения, и позицию выступившего гораздо позже украинского мещанина Драгоманова...»

Эта интереснейшая тема, формулированная Лениным, должна быть исследована историками-марксистами. Вторая наша публикация как раз и дает для нее новый материал, объединенный заглавием: «Чернышевский о национальном вопросе и классовой борьбе на Украине». Статья «Национальная бестактность», купюры которой приведены в этой публикации, написана в 1861 г. как раз в эпоху подготовки польского восстания и характеризует отношение Чернышевского к польским националистам и выдвинутой ими программе социальных реформ.

Несколько особняком стоит публикация новых текстов Чернышевского о Пушкине, еще раз подчеркивающих мысль Чернышевского о необходимости выяснить общественное значение творчества поэта и заняться изучением содержания его произведений в противовес увлечению одной лишь формой произведений. Мнение Чернышевского, что содержание произведений Пушкина неглубоко и характерно для дворянского общества его эпохи, связывается опять-таки с той непримиримой борьбой, которую Чернышевский вел с отживающим крепостным строем и дворянской Россией.

Наши публикации разумеется не преследуют цели восстановить полный текст тех работ Н. Г. Чернышевского, из которых цитируются купюры, — это задача полного академического издания работ Н. Г. Чернышевского, которое — будем надеяться — когда-нибудь осуществится; наша цель — привести наиболее характерные купюры, пустить их в исследовательский оборот и вместе с тем показать читателю, что мы еще не знаем подлинного Чернышевского [1].

Ред.

---

[1] Процесс этой работы наталкивает на необходимость поднять общий вопрос о создании в Москве Всесоюзного историко-литературного музея. Время для его создания назрело и потребность в нем огромная. Попытки организации подобного музея делались прежде с разных сторон, но по ряду причин терпели неудачу. Гораздо более серьезным, заслуживающим всемерного внимания и поддержки является начинание, о котором рассказывается ниже в сообщении В. Д. Бонч-Бруевича.

До сих пор ценнейшие историко-литературные фонды разбросаны между множеством карликовых музеев (в одной Москве десяток музеев: им. Достоевского, Чехова, Тютчева и др.). Какие неудобства в работе создает подобное положение можно видеть хотя бы на примере архива Чернышевского: всякая научная работа над подлинниками Чернышевского в Москве исключена.

Из-за ряда совершенно случайных обстоятельств, главным образом потому, что в 1916 г. в связи с империалистической войной в Саратов были эвакуированы рукописные коллекции библиотеки Академии Наук, там осели ценные материалы литературного наследства Чернышевского. Факту концентрации в Саратове рукописного фонда материалов по Чернышевскому способствовало и то, что старое руководство Пушкинского Дома передало туда в 1926/27 г. самую ценную часть архива Чернышевского: рукописи и корректуры статей Чернышевского из «Современника». Случилось так, что все остальные музеи и архивохранилища СССР передали туда хранившиеся у них материалы и документы по Чернышевскому.

Редакция понимает и ценит значение местных музеев и архивов, характеризующих прошлую культурную жизнь данного провинциального гнезда; всячески поощряя их развитие, редакция охотно предоставит страницы «Литературного Наследства» для сообщений о их деятельности и публикаций их рукописных собраний. Самой собой, в Саратове, как нигде, следует быть музею им. Чернышевского, но отсюда никак не вытекает необходимость концентрировать там подлинники его произведений, весь его литературный архив. Архивы и фонды всесоюзного значения, каким безусловно является и архив Чернышевского, должны найти место в научном учреждении всесоюзного масштаба; таким и должен стать вновь организуемый Центральный Литературный Музей, который обязан в свою очередь снабдить местные музеи взамен передаваемых ему фондов соответствующими фотокопиями.

Редакция просит заинтересованные институты, учреждения и отдельных научных работников высказать свои соображения по вопросу об организации Центрального Литературного Музея в Москве и о передаче ему всех значительных местных фондов.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О КАПИТАЛИЗМЕ, КРЕПОСТНОМ СТРОЕ, САМОДЕРЖАВИИ И РЕВОЛЮЦИИ

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЦЕНЗУРОЙ ТЕКСТЫ ИЗ РАБОТ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «ТЮРГО», «РУССКИЙ РЕФОРМАТОР», «СУЕВЕРИЕ и ПРАВИЛА ЛОГИКИ», «НЫНЕШНИЕ АНГЛИЙСКИЕ ВИГИ» И НОВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ [1]

Ленин в своей работе «Гонители земства и аннибалы либерализма» говорит о «могучей проповеди Чернышевского, умевшего подцензурными статьями воспитать настоящих революционеров»[2]. Действительно, под бдительным оком царской цензуры путем умелого «эзоповского языка», тонко подобранного контекста цитат и критических замечаний Чернышевский через голову цензора говорил с читателем-революционером и воспитывал революционера в читателе. Друг-читатель понимал Чернышевского, цензор же попадал в тупик внешне «благонамеренных» и чрезвычайно «почтительных» к правительству фраз, за которыми с убийственной иронией звучали разоблачения существовавшего строя.

К сожалению не весь этот тончайшим образом препарированный Чернышевским текст дошел до друга-читателя. Тяжесть правительственных репрессий и тактика революционера-конспиратора заставляли подчас Чернышевского поступаться рядом приготовленных им текстов, ряд других текстов вычеркивался цензурой.

Статья Чернышевского «Тюрго» написана в эпоху революционной ситуации кануна реформы — в 1858 г., вторая — в самый год реформы — в 1861 г. Обе статьи сохранились в рукописях, находящихся в Доме-музее им. Чернышевского в Саратове[3]; для статьи «Тюрго» сохранилась также цензорская корректура. Сравнение этих документов с текстом Полного собрания сочинений устанавливает значительные купюры.

Купюры статьи «Тюрго» касаются крепостного строя на его переломе и назревающей крестьянской реформы, о которой было запрещено писать. Революционная ситуация становилась все напряженнее. В секретном политическом обозрении за 1857 г. значилось: «Из всех предметов, наиболе занимающих теперь Россию, самым важным является предположенное освобождение помещичьих крестьян. Слухи об изменении их быта, начавшиеся тому около трех лет, распространились по всей империи и привели в напряженное состояние как помещиков, так и крепостных людей, для которых дело это составляет жизненный вопрос. Большинство дворян думает, что наш крестьянин слишком еще необразован, дабы понимать гражданское право; что он на полной свободе — лютее зверя, что волнения, грабежи и убийства будут почти неизбежны и что во многих губерниях, особенно приволжских, памятно еще страшное время пугачевщины»[4].

---

[1] Полный текст рукописей Н. Г. Чернышевского «Тюрго» и «Русский реформатор» был получен Коммунистической Академией из Дома-музея им. Н. Г. Чернышевского (Саратов). Имеющиеся в них цензурные купюры оставались неопубликованными до сих пор. Публикуя их в настоящей статье, сообщаем, что текст сверен с подлинной рукописью Н. М. Чернышевской-Быстровой. Ею же были отмечены места, вычеркнутые в цензорской корректуре. Остальные купюры воспроизведены с цензорских корректур по тщательным копиям, сделанным сыном Н. Г. Чернышевского Мих. Ник. Чернышевским уже после выхода в свет подготовленного им к печати Полного собрания сочинений его отца. Ныне большая папка с этими выписками, сделанными М. Н. Чернышевским, находится в распоряжении редакции «Литературного Наследства».

Происхождение этой папки выясняется следующей записью М. Н. Чернышевского: «Эти статьи были уже отпечатаны в моем издании, когда я получил новые пачки старых цензорских корректур из бумаг Пыпина. Согласно этим корректурам и сделаны поправки». Кроме дополнений к статьям «Суеверие и правила логики», «Нынешние английские виги» и «Новые периодические издания» в папке имеются также дополнения к следующим статьям: «Борьба партий во Франции» (статья 1858 г., перепечатанная в четвертом томе собрания сочинений), «Июльская монархия» (1860 г. — в шестом томе), «Предисловие к нынешним австрийским делам» (1861 г — в восьмом томе), «Национальная бестактность» (1862 г. — в восьмом томе, см. публикацию ниже), «О росписи государственных доходов и расходов» (1862 г. — в девятом томе), а также тетрадь с выписками нецензурных мест в статье «Политика. Февраль 1862 г.» (в девятом томе). Дополнения к последней статье были восстановлены по «Сборнику статей, недозволенных цензурой в 1862 г.» (т. I, стр. 424—443). Из этого же сборника (стр. 79—103) М. Н. выписал статью «Свобода слова и ее ограничение», к которой приписал: «Статья по всей вероятности принадлежит Н. Г. Чернышевскому». К этой статье, требующей особых розысканий, мы вернемся в ближайшее время. И наконец в этой же папке имеются «Воспоминания о Н. Г. Чернышевском» Е. Белова.

[2] Ленин, Сочинения, т. IV, стр. 126. Подчеркнуто Лениным.

[3] «Тюрго» — рукопись № 1744, цензорская корректура — № 1863, «Русский реформатор» («Жизнь графа Сперанского», соч. барона Корфа, т II, 1861) — рукопись № 1789.

[4] Крестьянское движение 1827—1869 гг. Вып. 1-й, М., Соцэкгиз, 1931, стр. 142.

В этой обстановке Чернышевский давал уничтожающую критику эксплоататорского крепостнического строя на переломе к капитализму под ловко выбранной формой разбора сочинений С. Муравьева «Тюрго, его ученая и административная деятельность или начало преобразования во Франции XVIII в. М., 1858». Тема предреволюционной Франции давала ряд ярких аналогий с предреформенной крепостной Россией. Все замечания шли под видом передачи положений автора книги или самого Тюрго. Под скромным видом критики школы Сэя (Сэ в транскрипции Чернышевского) шла проповедь социализма и резкое осуждение капитализма — строя, основанного «на владычестве золота» [1].

...напрасно так презрительно отзывается о меркантилистах школа Сэ, когда сама еще по уши сидит в меркантилизме; [нам приятно было бы также доказать, что похвалы и порицания, которыми награждает она физиократов и меркантилистов, хороши были для публики и все могут быть обращены в порицание ей самой, что, например, если заслуживают одобрение физиократы за верное понимание недостатков и потребностей своего времени, то вовсе не заслуживают одобрения экономисты в 1858 году, ограничивающиеся пониманием тех потребностей общества, какие были в 1776 году; что если достойны порицания меркантилисты, признававшие золото богатством по преимуществу, то нельзя восхищаться учеными, признающими удовлетворительность экономического порядка, основанного на владычестве золота. Эти и тому подобные темы представляются нам очень заманчивыми, но мы отлагаем их развитие до другого раза, а теперь займемся одним Тюрго.] (Вставка к стр. 221, т. IV Полного собр. соч. Чернышевского, 1906 г.) [2].

Мысль Тюрго о «праве искать работу» для пролетария давала Чернышевскому повод для бичующего обличения эксплоататарского строя. Это место в цензорской корректуре вычеркнуто красными чернилами.

...Словом, он допускал право искать работы, а не право иметь ее — различие существенное, до сих пор еще не вполне понятое.

[Какая польза была, если говорили пролетарию: «Ты имеешь право работать», когда он отвечал: «Как же я воспользуюсь этим правом? Я не могу обрабатывать землю для себя,— родившись, я нахожу ее уже занятою. Я не могу заняться ни охотою, ни рыбной ловлею — это привилегия владельца. Я не могу собирать плодов, возращаемых богом на пути людей,— эти плоды поступили в собственность, как и земля. Я не могу ни срубить дерева, ни добыть железа, которые необходимы для моей работы; по условию, в котором я не участвовал, эти богатства, созданные, как я думаю, природой для всех, разделены и стали имуществом нескольких людей. Я не могу работать иначе, как по условиям, возлагаемым на меня теми, которые владеют средствами для труда. Если, пользуясь так называемой у нас свободой договоров, эти условия чрезмерно суровы; если требуют, чтобы я продал и тело, и душу; если ничто не защищает меня от несчастного моего положения; или если, не имея во мне надобности, люди, дающие работу, оттолкнули меня — что будет со мной? Найдется ли у меня сила восхищаться тем, что у вас называется уничтожением произвольных стеснений, сделанных людьми, когда я безуспешно борюсь с условиями жизни? Буду ли я свободен, когда подвергнусь я рабству голода? Право работать будет ли казаться мне драгоценно, когда мне придется умирать от беспомощности и отчаяния при всем моем праве?»] (К стр. 288, т. IV).

Под предлогом передачи взглядов Неккера Чернышевский писал:

«Он изобличил лживость пышных фраз о свободе, которыми усыпляют страдания обманутой массы».

---

[1] Текст купюры, отсутствующий в Полном собрании сочинений, всюду обозначается квадратными скобками.

[2] В дальнейшем все ссылки даются по этому изданию, ограничиваясь лишь указанием тома и страниц.

Эта фраза конечно говорила о подготовлявшейся «свободе» крестьян. Цензор догадался и подчеркнутое нами выше слово «усыпляют» переправил на «усыпляли», чтобы снять с фразы ее политический, злободневный смысл и превратить в чисто «историческую» справку о прошлом.

Под предлогом передачи взглядов того же Неккера Чернышевский вел агитацию за радикальное решение аграрного вопроса. В этом не смог бы усумниться друг-читатель, если бы прочел следующие строки, вычеркнутые цензором:

Неккер восходил к основным началам общественного устройства и подвергал их анализу, равно возвышенному и смелому.

[Тот, кто вначале поставил несколько столбиков вокруг участка и бросил в него посев, неужели на этом одном основании мог получить исключительную привилегию на эту землю для своих потомков до конца веков? Нет, отвечал Неккер: «такое преимущество не могло принадлежать этой малой заслуге». Право собственности, по мнению Неккера, было основано на предположении своей полезности для общества; у тех, которые отваживались выставлять основанием своего права только самое это право, он спрашивал: «Скажите, разве ваша купчая крепость записана на небесах? Или вы принесли вашу землю с соседней планеты? Или есть у вас какая-нибудь сила, кроме той, которую дает вам общество?»

Не менее справедливо Неккер определял свободу. Он не удивлялся, что в тогдашнюю эпоху для людей, натерпевшихся долгого угнетения, одно слово «свобода» было уже очарованием, и слово «запрещение» отзывалось в их душе, как звук еще несломанной цепи; но от его взгляда не ускользнуло, что среди всеобщей борьбы, при неравенстве оружий, свобода служит только маской угнетения. Неужели во имя свободы можно позволить сильному человеку приобретать выгоды на счет слабого? А по выражению Неккера «сильный человек в обществе — это собственник; слабый человек — человек без собственности».

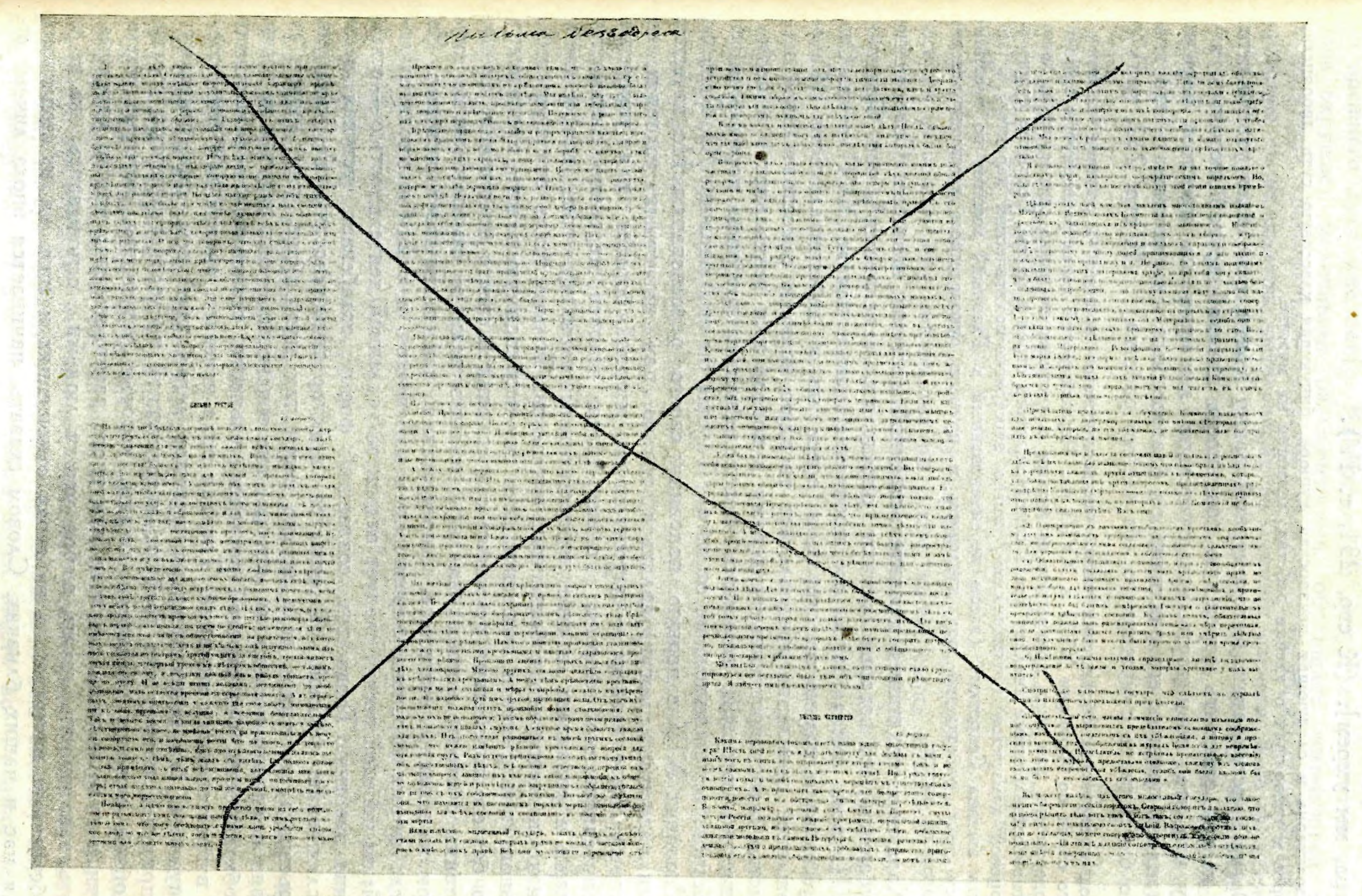
И чтобы лучше показать, к каким несообразностям может приводить идея права, когда смысл ее не истолковывается сердцем, он прибегал к поразительной гипотезе. Он предполагал, что некоторое число людей нашли себе средства присвоить себе воздух, как другие присвоили себе землю; потом он представлял, что они изобретают трубы и воздушные насосы, посредством которых могут сгустить или разредить воздух в данном месте: неужели этим людям дозволили бы произвольно распоряжаться дыханием человеческого рода?] (К стр. 231, т. IV).

Та же агитация продолжается в следующей купюре под прикрытием критики. Неккером положения физиократов, гласящего, что дороговизна съестных припасов якобы выгодна для трудящихся. Чернышевский пишет:

Неккер энергически опровергал этот опасный софизм. Хлеб поднимается в цене ныне, а через два, через три месяца увеличивается моя заработная плата. В ожидании этого, неужели мне должно умирать с голоду? [Неккер восклицал:

«Спросите у этого наемного работника, плату которого стараются по возможности понизить, желает ли он дороговизны съестных припасов? Если бы они умели читать, они были бы очень изумлены, узнав, что от их имени требуют дороговизны»[1]. Книга кончалась следующими словами: можно сказать, что небольшое число людей, разделив между собой землю, составили законы для обеспечения своих участков против массы людей, вроде того, как поставлены загородки в лесах против диких зверей. Установлены законы, ограждающие собственность, правосудие и свободу, но почти еще ничего не сделано для самого многочисленного класса граждан. Какая нам польза от ваших законов о собственности, могут сказать они —

[1] Взятое в квадратные скобки отсутствует в Полном собрании сочинений, цензором же вычеркнут в корректуре текст со слов «книга кончалась». — *Ред.*


Письма без адреса

КОРРЕКТУРА «ПИСЕМ БЕЗ АДРЕСА», ПЕРЕЧЕРКНУТАЯ НАКРЕСТ ЦЕНЗОРОМ
С оригинала, хранящегося в Доме им. Чернышевского в Саратове

мы ничего не имеем; от ваших законов о правосудии? — нам не о чем вести тяжбу; от ваших законов о свободе? — если мы не будем работать завтра, мы умрем]. (К стр. 231, т. IV).

Характерна и следующая цензорская купюра, бичующая классовую суть дворянских поборов и говорящая о клейме рабства, лежащем на мужике.

Орган аристократии, высокомерный принц Конти, осмелился утверждать, что нельзя заменять дорожную повинность никакой другой податью, потому что эта повинность, исключительно лежащая на простом народе, составляет признак его различия от благородных, [и уничтожать его значило бы снимать с мужицкого лба клеймо рабства][1]. (К стр. 232, т. IV).

Под прикрытием обсуждения чисто «академического» вопроса о разнице политического строя во Франции XVII и XVIII вв. Чернышевский давал развернутую критику самодержавия, для вида прикрытую вставками о «истинно-великих» самодержцах, ловко противопоставленными анализу вреда самодержавного строя в целом. Вскрытие сущности дворцовой камарильи («камариллы») имело заостренно-политический характер: в это время заседал Секретный (затем переименованный в Главный) комитет по крестьянскому делу, работавший под давлением и прямым руководством крупнодворянской придворной знати:

Характер тогдашней правительственной системы известен. Совершенно ошибаются те, которые думают определить ее словами[2], что Франция XVIII века имела такое же правление, как в начале XVII века. Оно существовало только на словах, а вовсе не в действительности. [Самодержавное правление предполагает твердую волю и самостоятельное знакомство с государственными делами в короле или гениальность в первом министре, который, пользуясь непоколебимым доверием короля, может действовать независимо ни от кого. Таковы были Людовик XI, Ришелье и Людовик XIV в первую половину своего царствования. Но качества, нами названные, могут являться только при известных условиях, из которых самое главное — существование упорной борьбы для упрочения правительственной формы. Только тогда человек серьезно занимается делами и развивает в себе мужественный характер, пока вопрос очень близко касается его собственных интересов. Только тогда он ищет гениального помощника и, нашедши, дает ему необходимую власть, когда видит, что без его содействия не может сам сохранить своего положения. Только в таких обстоятельствах являлись истинно великие самодержавные государи и великие министры самодержавия, как показывает история. Но когда форма упрочена, характер дел изменяется, а с ним и характер людей; за победой всегда следует отдых, за усиленной деятельностью — ослабление энергии. Тогда дух, создавший форму, ослабевает, уступая место наслаждению формой, открывается простор наклонностям, не имеющим серьезного значения; дела можно вести так или иначе, уже ничего не теряя в личном положении, которое вне опасности,— они ведутся не в духе необходимости, без строгой последовательности, становятся в зависимость от второстепенных желаний. Твердая воля исчезает, знание дел становится ненужным, без гениальных помощников легко обойтись, они становятся неприятны, потому что требуют энергической последовательности; гораздо удобней кажется вверяться людям, которые уступчивы, которые готовы итти и туда и сюда, по воле минутного расположения; можно удовлетворять наклонности, делать выбор между людьми, основываясь не на их собственных качествах, а на своих отношениях к ним, на их приятности для нас и наших близких. Словом сказать, начинается эпоха личных от-

[1] В корректуре это место, вычеркнутое цензором, читается так: «и уничтожать его значило бы снимать с мужицкого лба прирожденное клеймо рабства».

[2] В корректуре слова «определить ее словами» вычеркнуты и заменены словами «что Франция», которые тоже зачеркнуты.

ношений и наступает владычество камариллы, которая скоро так опутывает волю, что она лишается своей самостоятельности. Имя остается прежнее, но прежнего духа уже нет]... Камарилла не допускает развития воли*— [она окружает мелочными развлечениями, обольщает житейскими удовольствиями, расстраивает единство характера беспорядочностью, изменчивостью своих советов, вытекающих из личного расчета, а не из убеждений, не допуская образовать ни волю, ни ум, она лишает возможности иметь прочный и отчетливый образ мыслей. Словом, ту личность, около которой вертятся ее мелкие хлопоты, она делает такой же, какова сама — способной только на мелочи, лишенной и знания, и воли во всем серьезном]. (К стр. 236, т. IV).

Через несколько абзацев новая купюра продолжает то же разоблачение самодержавия и «камариллы».

[Но король, бесспорно желавший добра, мог взглянуть на вещи иначе и оттолкнуть камариллу от власти? На каком же основании, по каким причинам? Он воспитан был среди камариллы сообразно с ее правилами и расчетами. Она позаботилась не дать ему хорошего образования; она позаботилась не дозволить ему знакомства ни с кем, кроме своих сочленов. Он не знал государственных дел; он не понимал положения королевства; он приучен был смотреть как на людей опасных или как на людей непрактичных на всех тех, которые не сходились в образе своих понятий с камариллой; если бы он был недоволен советниками своего предшественника, он не знал бы, откуда взять других, кроме как из той же камариллы.

Все это он доказал с самого начала. Вступив на престол, он пожелал иметь человека, на которого мог бы полагаться во всем. Кого избрать таким доверенным лицом, он сам не знал, — так мало занимался он до той поры государственными делами, что ему были даже неизвестны люди со стороны этих занятий,— он знал, кто хорошо, кто дурно танцует, кто хорошо, кто дурно ездит верхом или стреляет из пистолета, фехтует, кто каков по части волокитства, любезности в обществе, кто знаток в гастрономии, кто знаток в лошадях, — но кто знаток в государственных делах, этого ему не случилось узнать; об этом доходили до него такие же темные слухи, как до нас с вами, читатель, о том, какие живописцы или поэты считаются мастерами своего дела в Китае. Слышали мы что-то об этом — но как и что, этого мы хорошенько не припомним, что же ему делать в таком беспомощном положении? Он обратился за советами к тем же членам камариллы — к кому же иначе? Других людей он не знал и не видал.] Ему рекомендовали разных людей, в том числе Машо и Морепа,— он выбрал Морепа,— говорят, потому, что приписал ему по ошибке те смутные сведения, какие доходили до него о деятельности Машо. (К стр. 237, т. IV).

Вся программа буржуазной революции (в завуалированной форме) излагалась Чернышевским под видом программы Тюрго в следующем по форме «насмешливом» рассуждении, из которого в силу цензурных соображений ему пришлось выкинуть замечание о конституции:

И если бы вы знали, какие великолепные планы он составил! Это любопытно, — он задумал — извольте-ка послушать:

Он хотел отменить феодальные права; уничтожить привилегии дворянства; пересоздать систему налогов и пошлин; ввести свободу совести; переделать гражданские и уголовные законы; уничтожить большую часть монастырей; ввести свободу тиснения; преобразовать всю систему народного просвещения. [В довершение всего хотел ввести во Франции нечто очень похожее на конституцию.]

Можно ли не посмеяться над простяком?

Разумеется, если бы ему удалось совершить все эти преобразования, не было бы революции. (К стр. 238, т. IV).

Статья Чернышевского «Русский реформатор» написана в другой обстановке — в той, о которой говорилось в знаменитой прокламации «Барским крестьянам». Только что свершилась реформа 1861 г. Ответить на эту реформу революцией — вот к чему призывал Чернышевский. Читатель прекрасно понимал, что речь идет не о реформе Сперанского, а о только что свершившейся крестьянской реформе. Суть вопроса была ловко завуалирована от цензуры тем обстоятельством, что речь шла не о реформе Сперанского самой по себе, а якобы о книге мракобеса барона Корфа «Жизнь графа Сперанского» в двух томах... Характерны также двусмысленные, «почтительнейшие» — а по сути дела глубоко иронические — начальные строки статьи, отсутствующие в Полном собрании сочинений:

[Книга барона Корфа принадлежит к числу тех, оценки которых нельзя от нас требовать. Мы можем только изложить ее содержание.]

Основной, внешний — для цензуры — «смысл» статьи «Русский реформатор» можно передать так: «реформы Сперанского были неудачной выдумкой, кончившейся крахом». Друг-читатель понимал: «реформы вообще — и в частности только что прошедшая — сплошной обман. Воля л ю б о г о отдельного человека в социальном преобразовании — ничто (пример — Сперанский), как бы далеко ни простирались его смелые преобразовательные планы. Необходимо массовое движение, необходима революция, чтобы по-настоящему преобразовать общественный строй».

О революции говорит уже первая из значительных по смыслу купюр статьи, — самое понятие революции дано в умелом шифре хронологического сопоставления, — речь идет о «людях Франции, предшествовавших Наполеону».

Сперанскому, как мы видим, казалось, по выражению барона Корфа, что «у нас все надобно переделать», и, по словам барона Корфа, «наступила эпоха смелой ломки всего существовавшего». По свидетельству барона Корфа, «любимым тогдашним его выражением» были слова, обозначавшие, что он замышляет коренные реформы [и слова эти очень сходны с выражениями, какими изобилуют речи государственных людей Франции, предшествовавших Наполеону.] Сперанский желал, как мы видим из этих слов, изменять не одни второстепенные подробности и не одни внешние формы прежнего государственного быта, а и некоторые существенные черты его, и считал нужным действовать как можно быстрее. (К стр. 300, т. VIII).

Оценка «реформы», а в особенности «реформ», исходящих от представителя правительственной власти, давалась в такой купюре:

Смешно называть Сперанского революционером по размеру средств, какими он думал пользоваться для исполнения своих проектов. Он был русский сановник, и, конечно, никогда не приходила ему в голову мысль прибегнуть к замыслам или мерам, несогласным с законными приемами или обязанностями его официального положения. [В этой двойственности заключалось непримиримое противоречие, не дававшее Сперанскому сделать ничего и очень скоро низвергнувшее его.] В нашей статье были и будут страницы, которые иной назовет панегириком Сперанскому. Но [чтобы видно было, как далеки мы от восхищения его реформаторскою деятельностью, мы прямо скажем, что она жалка, а сам он странен или даже нелеп.] Мы будем иметь случай представить из книги барона Корфа пояснение такому взгляду. (К стр. 301, т. VIII).

Детальный и убийственный разбор того, почему нельзя верить «реформе», исходящей от правительства, дан в большой купюре, трактовавшей этот вопрос под видом разбора причин падения Сперанского:

[Барон Корф нашел неудобным называть те два лица, которые заметнее всех других выказались в интриге против Сперанского. Действительно, нельзя оправдывать коварный способ действий этих лиц. Но не следует приписывать падение Сперанского исключительно влиянию интриги. В глубине дела находились отношения другого рода.

Мы видели, что в Сперанском разочаровались очень многие люди, сначала возлагавшие на него надежду. Почему не допустить, что точно так же мог разочароваться в нем и сам государь? Сперанский в письме из Перми

напоминает императору, что он составлял план общего преобразования по собственной мысли государя. Конечно — так. Но отвлеченная мысль, неопределенное стремление и подробный, систематический проект — вещи совершенно различные. Сочувствуя одной, можно почувствовать неудобство другой. Надобно сказать и то: думать о реформе, только как об отдаленной возможности, отсрочивающейся до неопределенного будущего, и увидеть близость ее—опять-таки вещи совершенно различные. Из слов барона Корфа надобно выводить, что император Александр Павлович думал об общей реформе государственных учреждений с первых лет своего царствования и продолжал думать о том же в течение долгих лет, по удалении Сперанского; быть может, не покидала его эта дума и в то время, когда Сперанский возвратился в Петербург. Почему же не осуществился предмет столь продолжительных размышлений государя? Ответ на это можно найти только один: конечно, государь находил какие-нибудь очень важные неудобства, которыми удерживался от осуществления своей мысли. А Сперанский, как мы знаем из слов барона Корфа, спешил, пренебрегал всякими затруднениями. Эта горячность могла пробудить в императоре сомнение относительно образа мыслей государственного секретаря. При таком взгляде на их отношения сами собою объясняются два обстоятельства, которые иначе непонятны. Какова бы ни казалась императору степень вероятности обвинений против Сперанского в то время, когда решено было удалить его, но впоследствии времени император, без сомнения, убедился в неосновательности мнения, будто бы Сперанский изменял отечеству и продавал государственные тайны Наполеону. Слова самого императора и многие другие обстоятельства положительно доказывают, что Сперанский совершенно очистился в мыслях государя от подозрения в измене. Но мы видим, что государь не спешил возвратить в Петербург бывшего своего любимца, видим, что и по возвращении в Петербург Сперанский не получил никакого влияния на общий ход государственных дел. Эти факты показывают, что император Александр Павлович уже не считал удобным вновь обращаться к содействию Сперанского в своих политических планах. А между тем Сперанский сохранял не только во мнении государя, который ближе всех других людей знал его способности, но и во мнении всех своих современников репутацию человека необыкновенных дарований, человека, с которым никто не мог равняться способностью быстро и легко исполнять труднейшие задачи. Если император не почел удобным вновь пользоваться его талантами, то, конечно, лишь по глубокому убеждению в неодинаковости стремлений Сперанского с его собственными.

Только тем же самым объяснением разрешается и затруднительный вопрос о том, как император мог, хотя на короткое время, усумниться в верности Сперанского. Продавать Россию французам, — это было бы слишком странно в положении Сперанского. Не говорим о том, что для измены родине нужна чрезвычайная низость души и что император Александр Павлович знал Сперанского за человека, не имеющего такой черты в характере. Но какой расчет мог быть Сперанскому в измене? Он был, после государя, сильнейший человек в империи; если нужны были ему почести, они сыпались на него с беспримерною быстротою. Если бы он способен был на дурные поступки из-за денег, он мог получать бесчисленные миллионы через обыкновенные злоупотребления своею властью, получать их путями гораздо более безопасными, чем измена. Наполеон, если бы даже завоевал Россию, никогда не мог дать Сперанскому такого могущества, какое он уже имел. Император Александр Павлович знал все это. Каким же образом мог он поверить обвинению в измене? Поверить ему мог он только в том случае, если уже и сам считал Сперанского человеком опасным, если сам собою утвердился в таком взгляде на него до обвинения его другими в измене.

Да, единственное правдоподобное объяснение катастрофы заключается в том, что сам Сперанский обнаружился перед императором, как человек вредного образа мыслей. Только тогда, когда сам император личными опытами приведен был к мысли о Сперанском, как о лице, стремящемся к вредному, только тогда и мог он внять внушениям других о его предательстве. И эти посторонние внушения послужили только поводом к событию, а главною действующею силою должно было служить тут созревшее в душе самого государя убеждение о необходимости устранить Сперанского от влияния на дела. И скажем прямо: император Александр Павлович не ошибался в этом убеждении]. (К стр. 310, т. VIII).

Заключительная купюра статьи прямо признает таких людей, как Сперанский, вредными для общества; читатель понимал: вредными потому, что они лишь отдаляют решительную, окончательную революционную развязку своими «реформами».

[они вредны бывают] обществу, когда обольщаются в серьезных делах. В своей восторженной хлопотливости на ложном пути они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль итти тем же ложным путем, [не приводящим ни к чему, кроме фантасмагорий. С этой стороны деятельность Сперанского надобно назвать вредной. Своим ошибочным увлечением он увлекает многих к такой же напрасной трате сил на употребление средств, не соответствующих делу. Своими работами он придавал нескольким годам нашей истории фальшивый оттенок; есть люди, принимающие его деятельность за доказательство существования мыслей о серьезных преобразованиях, тогда как на самом деле его работы назначались служить только праздною теоретическою игрою и были прекращены при первом поползновении к реальному значению].

Читатель видит, что мы столь же строги к Сперанскому, как и сам барон Корф, и главный упрек Сперанскому от нас тот же самый, какой делается ему бароном Корфом: Сперанский был увлекающийся мечтатель. Нам очень приятно, что мы могли сойтись в этом выводе [с биографом замечательнейшего из государственных сановников, думавших произвести существенные преобразования.]

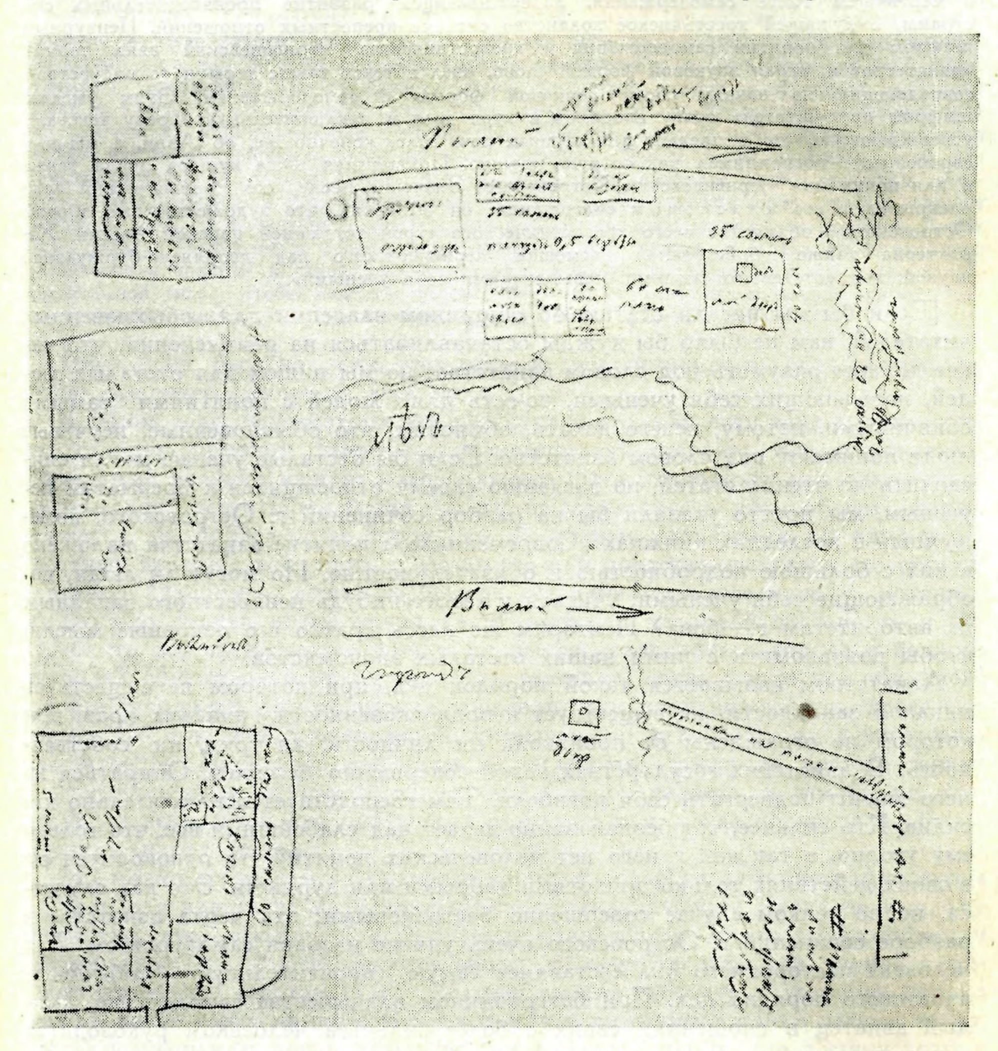
Статьи «Тюрго» и «Русский реформатор» имеют еще ряд купюр, не приведенных нами,— мы привели лишь значительнейшие по содержанию.

Следующая группа купюр относится к знаменитой статье Чернышевского «Суеверие и правила логики», написанной в 1859 г., опять-таки в эпоху кануна реформы и напряженной революционной ситуации. Статья эта входила в группу работ Чернышевского, посвященных общинному землевладению. В этой обстановке первая цензорская купюра статьи, посвященная «лености» «простонародья», имела ясный политический смысл: Чернышевский в прикрытой форме подводил читателя к мысли, что факт плохой производительности труда крепостного мужика зависел от социальных условий, от гнета барской эксплоатации, а отнюдь не от какой-то прирожденной «лености».

[Апатия у нас изумительная; она так поразительна, что многие называют нас народом ленивым. Мы не знаем, существуют ли на свете ленивые народы. Психология говорит, что страсть к деятельности врождена человеку, а физиология объясняет и доказывает это, говоря, что наши мускулы имеют физическую потребность работать, подобно тому, как желудок имеет потребность переваривать пищу, нервы — потребность испытывать впечатления, глаза — потребность смотреть, и т. п. Оставляя в стороне этот общий принцип органической жизни, по которому каждая часть нашего организма требует соответственной своему характеру деятельности, мы заметим только, что в нашем климате леность никак не может находить себе места, если б и могла принадлежать каким-нибудь другим племенам, живущим под полюсами или под тропиками. Смешно говорить о наклонности к лени в человеке, который в пять или шесть месяцев должен запастись средствами к жизни на целый год; но, между тем, не подлежит сомнению, что мы работаем хуже, нежели, например, англичане и немцы]. (К стр. 556, т. IV).

Еще ярче выражена и развита дальше эта мысль в следующей купюре той же статьи:

[Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергию в защите своей личности от притеснений. Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать чело-



ПЛАН ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАВШИХСЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ НА АЛЕКСАНДРОВСКОМ ЗАВОДЕ И В ВИЛЮЙСКЕ, СОБСТВЕННОРУЧНО ИМ РИСОВАННЫЙ

С подлинника, хранящегося в Доме им. Чернышевского в Саратове

века так, чтобы он умел, например, быть энергическим на ниве и безответным в приказной избе тем, чтобы почесывать себе затылок и переминаться с ногу на ногу. Он будет таким же вахлаком и за сохою. Впрочем, об этом предмете можно было бы наговорить слишком много, если бы в самом деле нуждалась в доказательствах мысль, что энергия в русском человеке подавлена обстоятельствами, сделавшими из него какого-то аскета. Возвратимся лучше к той более отрадной стороне его жизни, которая показывает, что по природе своей он вовсе не предназначен быть апатичным. Когда про-

буждается в нем усердие к делу, он обнаруживает чрезвычайно замечательную неутомимость и живость к работе. Но для этого бывает нужно ему увидеть себя самостоятельным, почувствовать себя освобожденным от стеснений и опек, которыми вообще он бывает подавлен]. (К стр. 556, т. IV).

Третья купюра той же статьи еще более значительна. Она развивает ту же мысль о мертвящем гнете самодержавия, задерживающем развитие производительных сил страны, о душащей крестьянское хозяйство системе крепостных отношений. Цензурным шифром для понятий самодержавия и крепостничества Чернышевский взял термин «азиатство» и, играя звуковой формой слова, ввел в текст также термин «самодурство», совпадающий по началу своей звуковой формы с самодержавием. Этим умелым шифром друг-читатель сразу вводился в курс дела и заключительную фразу текста,— утверждающую, что в предыдущих строках речь шла, конечно же, об Азии, а мы-де— европейцы, — воспринимал как острую иронию. Приводимая ниже купюра ценна также и для понимания Чернышевским Островского. Значение последнего Чернышевский ярко раскрывал в его классовом содержании: он объяснял, что художественные образы Островского — обличение всего крепостнического строя тогдашней царской России. Характерна также убийственная насмешка Чернышевского над дворянско-буржуазной наукой, над «отсталыми людьми, называющими себя учеными».

[Если бы мы писали статью об общинном владении для обыкновенных читателей, нам не было бы нужды останавливаться на разъяснении, что такое должно разуметь под словом азиатство; но мы пишем для отсталых людей, называющих себя учеными, то-есть для людей с понятиями самыми сбивчивыми, потому, нечего делать, объясним, что обыкновенные, неученые люди понимают под словом азиатство. Если бы отсталые ученые могли снисходить до чтения статей, по заглавию своему относящихся к предметам неученым, мы просто указали бы на разбор сочинений г. Островского, помещенный в последних книжках «Современника»: понятие азиатства изложено в них с большою подробностью и обязательностью. Но могут ли люди, воображающие себя учеными, учиться у какого-нибудь неизвестного западным их авторитетам г.—бова? Повторим же здесь кратко его основные мысли, чтобы познакомить с ними наших отсталых экономистов.

Азиатством называется такой порядок дел, при котором не существует никакой законности, не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. В азиатских государствах закон совершенно бессилен. Опираться на него значит подвергать себя погибели. Там господствует исключительно насилие. Кто сильнее, тот безнаказанно делает над слабейшими все, что только ему угодно, а так как у него нет человеческих понятий, то руководится он в своих действиях только прихотями добрыми или дурными. Это как случится, но во всяком случае совершенно бестолковыми; эта черта азиатства в разборе сочинений г. Островского очень удачно названа самодурством. Для человека постороннего она составляет самую поразительную особенность азиатского порядка дел. При безграничном владычестве самодурства, каждый азиатец в сношениях своих с более сильным человеком руководится исключительно мыслью угождать ему. Угодливость, уступчивость, раболепство — это единственный способ не быть раздавленным от руки сильнейшего. Мы часто обвиняем азиатцев за их раболепство; но что же им делать, когда закон у них, как мы сказали, бессилен? Водворите у них законность, и вы увидите, что они сделаются такими же людьми, как мы, европейцы]. (К стр. 559, т. IV).

Цензура вычеркнула конечно и приводимые ниже несколько строк с характеристикой царствовавшего в России административного произвола. По мнению Чернышевского вопрос должен быть ясен даже для «отсталых экономистов».

[Мы полагаем, что даже и они, подобно нам, скажут: наша администрация до сих пор не была способна удовлетворительным образом ограждать личность и собственность наших сограждан; от судебной власти до сих пор

нельзя было у нас обиженному ожидать быстрого восстановления своих нарушенных прав. Этого довольно для нашей цели]. (К стр. 562, т. IV).

К той же странице статьи «Суеверие и правила логики» относится огромная цензурная купюра, дающая убийственный анализ истинных причин «народной бедности» и отчетливо формулирующая основную причину этой бедности как систему самодержавного правления. Самодержавный строй конечно не назван прямо, а полускрыт за безобидными и довольно туманными с первого взгляда терминами «состояние нашей администрации», «управление» и пр. Со всей силой подчеркивает Чернышевский важную и часто встречающуюся у него мысль: дело не в лицах, не в нравственных качествах того или другого отдельно взятого чиновника, а в системе, во всей политической организации самодержавного строя, взятого в целом: этот строй приводит даже в узком личном смысле «честного» человека к необходимости превращаться во взяточника и притеснителя трудящихся. Отсюда — логический вывод, делавшийся другом-читателем: бороться надо со всем строем в целом, а не с отдельными его представителями. Следующая ниже купюра — один из наиболее ярких образцов политических разоблачений Чернышевского,— именно такие подцензурные тексты играли ведущую роль в воспитании «подлинного революционера», о котором говорит Ленин (см. цитату, приведенную в начале публикации). Как видим, в статье Чернышевского «Суеверие и правила логики» сделана не одна купюра, но достаточно было бы одной, приводимой ниже, чтобы сказать: до сих пор мы не знали настоящей статьи Чернышевского, а знали лишь ее остатки, изуродованные царской цензурой.

[Весь наш быт во всем, что есть в нем печального, обуславливается этою основною причиною всех зол.

В самом деле, пересмотрим все недостатки его, для всех найдем одну и ту же главную причину. Начнем с экономической стороны. Все неудовлетворительные явления нашего материального быта подводятся под одно общее выражение: «наш народ беден». Если мы сознались в этом общем факте, кажется, не подлежащем спору, мы не станем удивляться ни одному из частных явлений, входящих в состав его или представляющихся его последствиями. Например, может ли быстро увеличиваться население, у которого бедностью отнята возможность вести жизнь в здоровой обстановке и потреблять хорошую пищу? Могут ли быстро развиваться города у бедного народа? Может ли у него процветать торговля, когда у него нет обильного запаса продуктов для обширной торговли, или промышленность, когда ему не на что покупать произведений промышленности? Могут ли у него быть достаточные оборотные капиталы в земледелии, когда он вообще терпит чрезвычайный недостаток в капиталах? Словом сказать, в чем бы ни увидели мы недостаток, мы уже вперед сказали о нем, когда произнесли общую фразу: «народ беден».

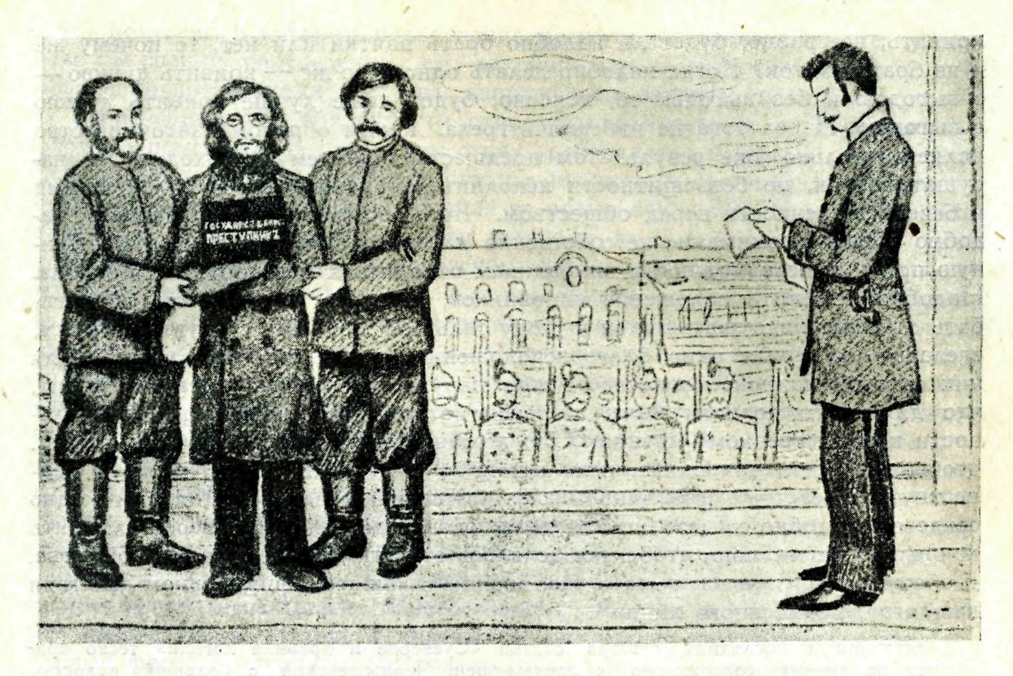
Но может ли выйти из бедности народ, у которого администрация дурна и судебная власть не исполняет своего предназначения? Разве не каждому известно, что народное благосостояние развивается только трудолюбием и бережливостью? А эти качества могут ли существовать при дурной администрации, при плохом суде? Человек может работать с усердием только тогда, когда никто не помешает его труду и не отнимет у него плодов труда. Этой уверенности нет у человека, живущего в стране, где администрация дурна и суд бессилен или несправедлив. Бережливым можешь быть только при уверенности, что бережешь для себя и своей семьи, а не для какого-нибудь хищника. Если этой уверенности нет, человек опешит поскорее растратить — хотя бы на водку — те скудные деньги, которые успеет приобрести. Распространяться здесь об этом вновь едва ли нужно, потому что много раз уже говорил об этом «Современник». Приведем только небольшой отрывок из статьи, которая по нашему мнению довольно верно указывает причину зла.

«Кто говорит: «бедность народа», тот говорит: «дурное управление». Это единственный источник народной бедности. Но что такое дурное управление? Зависит ли оно от лиц? Нет, каждый видел на опыте, что при самых благонамеренных начальниках порядок дел оставался точно таков, ка-

ков он был при самых дурных. Мы жили в провинции, губернатором которой был человек честнейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело[1]. Каждый житель того края скажет вам, что при нем делалось то же самое, что и до него. Должности продавались с формального торга. Суда и управы не было; грабительство было повсеместное; оно владычествовало в канцелярии губернатора, в губернском правлении, по всем ведомствам и инстанциям. Теперь мы нашли там начальником одного из частных управлений, человека также безукоризненной честности и большого ума[2]. Но когда, проезжая по провинции, мы спрашивали поселян его управления, меньше ли берут с них взяток, чем прежде при отъявленных взяточниках или глупцах, они отвечали, что берут с них столько же, как и прежде. Мы поручимся, что и в соседней, также поволжской, губернии, где губернатором теперь человек известной честности, дельности и ума, делается то же самое, что делалось прежде; поручимся, что не исправилась администрация и в Р. губернии, где вице-губернатором один из наших благороднейших писателей, характер которого достоин его прекрасных произведений. Итак, не личные качества людей причиною дурного управления. Или виновны в нем понятия народа, будто не сознающего всей гнусности гнусных дел? О, нет. Послушайте, как говорят о чиновниках люди всех других сословий: помещики, купцы, духовенство, мещане, крестьяне. Все, кроме берущих взятки, рассуждают о дурном управлении с теми чувствами, которых оно заслуживает. Или дурное управление зависит от привычек? Но нет, мы видим, что самые отъявленные взяточники на казенной службе бывают честными людьми, как помещики и хозяева промышленных заведений. И притом, что значила бы привычка какой-нибудь горсти людей, действия которых осуждаются всем остальным обществом? Эти люди быстро исправились бы или бы уступили место людям другого образа действий, если бы на их местах возможно было действовать другим образом. И послушайте самых дурных чиновников: редкий из них доволен своим служебным поведением. Напротив, почти все скажут вам, что хотели бы действовать иначе, отправлять свои обязанности честно, и если не делают этого, то лишь потому, что это невозможно. Да, они правы: действительно они не могут отправлять своих должностей иначе. Мы не говорим о недостаточности жалования, потому что действуют беззаконно и те чиновники, которые получают достаточное жалование; недостаточность жалования служит причиною только мелкого, можно сказать, невинного и безвредного взяточничества маленьких чиновников. Какой-нибудь бедняга писец или помощник столоначальника гражданской палаты берет с вас полтинник за то, что сделает для вас справку — тут нет еще большой беды. Дело не в этом взяточничестве. Нет, вопрос в том, почему дела у нас вообще ведутся беззаконно, с получением или без получения взяток, все равно. Если, например, я имею чин коллежского советника (это уже важный чин в провинции), я могу безнаказанно прибить мещанина, и меня оправдают, не взяв с меня никакой взятки. Зато, если обидит меня генерал (каждый генерал в провинции важнее, чем в столице генерал-адъютант или действительный тайный советник), его также оправдают, не взяв с него никакой взятки, и от меня не захотят взять даже огромной взятки, чтобы обвинить его. Только в тех случаях дело решается взяткою, когда обе стороны почти равны по общественному положению. Это случаи довольно редкие. Итак, вовсе не о взятках должна быть речь: речь должна быть о том, что вообще у нас дела ведутся беззаконно; то, что беззаконие доставляет доход чиновнику, есть уже только послед-

[1] Мы говорим о г. К., бывшем саратовском губернаторе. (Примеч. Н. Г. Чернышевского.)

[2] Мы говорим о г. М., управляющем удельною конторою. (Примеч. Н. Г. Чернышевского.)



ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Чтение приговора и лишение дворянства (19 мая 1864 г.)

С рисунка, хранящегося в Государственном Музее Революции СССР

ствие системы, а не причины ее. Истинные причины беззаконности — безответственность и беззащитность чиновников. Чиновник наш подлежит одному только контролю — контролю начальства; ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут ничего сделать с ним, если только начальство довольно им; зато ни общество, ни товарищи, ни подчиненные не могут спасти его, если начальство им недовольно. Он безответственен пред всем и всеми на свете, кроме начальства; зато перед начальством беззащитен. Лишенный всякой независимости относительно начальства, он может держаться на службе только тем, чтобы угождать ему. Теперь представим себе такой случай. У начальника есть брат, который имеет тяжбу с человеком маленьким. Начальнику нет времени и охоты вникать в запутанные подробности дела, да если он станет вникать, все дело поневоле представляется ему в свете более благоприятном для его брата, нежели как может представляться постороннему человеку. Дело производится, положим, в уездном суде. Если маленькие чиновники чисты и секретарь уездного суда не произведет его, как считает справедливым пристрастный по родству глаз начальника, они навлекут на себя его неудовольствие. То же, что о брате начальника, надобно сказать о других его родных и о его друзьях, и о его знакомых, и о знакомых его друзей и родственниках. Что же будет, если во второй, в третий, в десятый раз члены уездного начальства навлекут на себя неудовольствие начальника? Они беззащитны, они вполне зависят от него. Каким же образом могут они занимать свои места, если часто не нарушают закона для того, чтобы их решения совпадали с предубежденным в пользу известной стороны мнением начальника? И как устоят они против искушения нарушить закон? Ведь это совершенно безопасно: лишь бы был доволен начальник, и никакая ответственность не упадет на них. Таким образом они должны нарушать закон не для того, чтобы брать взятки, а для того, чтобы не подвергнуться несчастию самим. Вот истинный источник беззаконного ведения дел. А если уже совестью надо

кривить, все равно, будет ли надобно брать взятки или нет, то почему же и не брать взяток? Когда надобно делать одно и то же — кривить душою — с выгодою и без выгоды, то, конечно, будет даже лучше кривить душою с выгодою. И без того не избежишь греха. Таким образом взяточничество является только уже результатом предшествующей ему необходимости нарушать закон, по беззащитности исполнителей закона перед сильнейшими и безответственности перед обществом. Чтобы восстановить законность, надобно обратить внимание не собственно на взяточничество, а на эту коренную причину невозможности чиновникам обходиться без нарушения закона. Надобно изменить положение чиновников, дать им возможность не погибать от отказа нарушать закон в угоду сильным людям и, с другой стороны, сделать так, чтобы одно благорасположение начальства не служило для них залогом полной безопасности при нарушении закона. Читатель видит, что для этого должны быть изменены отношения должностной деятельности к общественному мнению. Оно должно получить возможность к тому, чтобы защитить чиновника, исполняющего свой долг, от погибели и подвергнуть ответственности чиновника, нарушающего закон. Для этого одно средство: надобно сделать, чтобы должностная деятельность перестала быть канцелярскою тайною, чтобы все делалось открыто, перед глазами общества, и общество могло высказывать свое мнение о каждом официальном действии каждого должностного лица»[1].

Следующая и последняя купюра статьи «Суеверие и правила логики» тесно примыкает по своему содержанию к предыдущей. Чернышевский с большой яркостью вскрывает глубочайшую органическую связь самодержавия и крепостного права, указывая на то, что первое — политический сторож последнего.

Мы не знаем, возможно ли, при нынешнем устройстве наших общественных отношений, осуществление условия, которое предлагается выписанным нами отрывком для прекращения беззаконности; быть может, подобная реформа предполагает уничтожение отношений слишком сильных, не поддающихся реформам, а исчезающих только вследствие важных исторических событий, выходящих из обыкновенного порядка, которым производятся реформы. Мы не хотим решать этого, мы не хотим рассматривать, какие обстоятельства нужны для исполнения мысли, изложенной автором приведенного нами отрывка. Но можно сказать, что пока не осуществится изменение, необходимость которого он доказывает, все попытки к водворению законности в нашей администрации и судебном деле останутся безуспешны.

Впрочем, рассмотрение средств, которыми могла бы устраниться коренная причина бедности нашего народа, дурное управление, не составляет главного предмета нашей статьи. Мы должны показать только, что дурное управление есть общая коренная причина всех тех недостатков, которые задерживают развитие нашего земледелия. Начав с экономической стороны быта, мы сказали, что дурное управление — основная бедность нашего народа, которая, в свою очередь, не дает развиться ни одному из материальных условий, нужных для успехов земледелия]. (К стр. 562, т. IV).

[Мы уже сказали, что не намерены писать филиппик против крепостного права; но мы укажем факт, всем известный, если скажем, что трудно было

---

[1] На корректуре против всей приведенной и перечеркнутой выписки на полях имеются следующие пометки: «На основании последнего распоряжения Министерства на помещение этого места нужны фактические доказательства. Цензор Мацкевич».

«Сделать ссылку на это место и потом возвратить мне. Мацкевич».

«Эта выписка сделана мною из рукописной статьи под заглавием «О взяточничестве и причинах его», присланной в редакцию «Современника» каким-то господином, подписавшим под нее буквы А. За—в. — Чернышевский». (Примечание Мих. Ник. Чернышевского.)

Как видим, Чернышевский умел посмеяться над правительственной властью и при прямом ее запросе об осведомителях «Современника»: приведенный псевдоним конечно не оставлял в руках чиновников никаких нитей для разыскания «виновных». — *Ред.*

найти поместье, в котором пользование крепостным правом или не превышало бы границ, определенных ему законом, или не употреблялись бы для управления крестьянами средства, запрещенные законом, и не оставлялись бы в пренебрежении обязанности относительно крестьян, возлагаемые законом на помещика. В одних поместьях требовалась барщина выше трех дней, в других — крестьяне подвергались иным притеснениям, в третьих — оставлялись без надлежащего пособия во время неурожаев, и т. д. Надобно сказать, что эти нарушения законов далеко не всегда проистекали от того, чтобы помещик был дурным человеком: нет, источник их лежал не в личных качествах отдельных людей, а в самой натуре крепостного отношения. По своей сущности крепостное право ведет к произволу, и какими бы законами ни определялось оно, оно неминуемо влечет и к нарушению, потому что произвол не может ужиться ни с каким законом. Если бы управление действительно хотело и могло преследовать все бесчисленные нарушения законов, неминуемо вытекавшие из крепостных отношений, в каждом поместьи беспрестанно возникали бы процессы против помещика, и, измученный справедливыми преследованиями, он давным-давно сам постарался бы вывести свое поместье из крепостных отношений, которые, прибавим, очень мало доставляли бы ему материальной и денежной выгоды, если бы управление не позволяло далеко превышать законных размеров и средств пользования крепостным правом. Много говорить об этом нет надобности: спросите какого угодно дельного чиновника, он скажет вам, что удовлетворительные формы ведения процессов гражданских и уголовных были невозможны при крепостном праве; а это значит, иными словами, что существование крепостного права было бы невозможно при хорошем управлении.

Если мы посвятили несколько страниц изложению последствий дурного управления в экономической стороне народного быта, то едва ли понадобится нам больше нескольких строк для обнаружения того, что дурное управление было также главною причиною неудовлетворительного развития



ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Исполнение приговора (19 мая 1864 г.)
С рисунка, хранящегося в Государственном Музее Революции СССР

нравственных и умственных сил народа. Говоря о бедности, производимой дурным управлением, мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравственной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергичен человек, привыкший к невозможности отстоять свои законные права, человек — в котором убито чувство независимости, убита благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлено и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школою, подготовляющею человека к энергии в умственном труде?] (К стр. 563, т. IV).

Этой купюрой заканчивается группа текстов, изъятых цензурой из статьи «Суеверие и правила логики». Кроме этих текстов цензура сделала ряд более мелких искажений и изъятий, не приводимых в настоящей публикации.

Несколько крупных как по значению, так и по объему купюр сделаны были в статье «Нынешние английские виги». Приведем из них две. Первая важна тем, что является прямым высказыванием Чернышевского об английском пролетариате и об угнетении его английским капиталистическим правительством, вторая — тем, что является прямым высказыванием о революции. Напомним, что эти тексты являлись органической частью статьи, имевшей по внешности скромный вид развернутой резенции на перевод сочинения Маколея, изданный Николаем Тибленом (Маколей, Полное собрание сочинений, т. I, Критические и исторические опыты. Изд. Николая Тиблена, СПБ, 1860). «Рецензия» содержала анализ политического лица Маколея и разоблачение консервативной, реакционной сущности якобы «прогрессивных» вигов.

Вот первая купюра, говорящая об английском пролетариате и о лишении его политических прав:

[Надобно только поставить в этих рассуждениях фразу «английские работники» вместо фразы «английские евреи», и рассуждения, выписанные нами, в точности применятся к предмету, о котором рассуждает Маколей в письме к северо-американцу. Английские работники не чувствуют расположения к «системе, существующей в Англии», но это потому, что сама английская система «обращалась, как мачеха». Поэтому «принимать за основание для обвинения» этого «класса людей — недостаток в них» расположения к нынешней английской системе «есть самая избитая уловка софистов. Это — логика волка относительно ягненка! Это все равно, что обвинять устье ручья в отравлении его источника». Английские работники «являются именно такими, какими их сделало правительство». За этим мы повторяем всю прекрасную параболу о чувствах, какие стали бы развиваться в рыжеволосых людях, если бы они были лишаемы политических прав за рыжий цвет волос, и говорим вслед за Маколеем: точно такие же чувства необходимо должны развиваться в английских евреях или в английских работниках, когда они признаются неспособными к политическим правам за принадлежность к сословию работников или за еврейское происхождение. Если люди того или другого имени — дурные английские граждане, в этом виноваты английские правители, и — продолжаем подлинными словами Маколея, находящимися у него на тех же страницах, с которых сделана нами последняя выписка,—

«Нельзя дозволить правителям слагать с себя, таким образом, важную ответственность. Не им говорить, что какая-нибудь секта (или какое-нибудь сословие) «не имеет патриотизма» (или интереса в безопасности собственности и поддержании общественного порядка, по выражению, употребленному Маколеем в письме к северо-американцу). «Их дело — внушить ей (ему) патриотизм» (интерес в безопасности собственности и поддержании общественного порядка). История и здравый смысл ясно указывают на средства к этому» (стр. 309).

В чем заключаются эти средства, Маколей разъясняет всею своею статьею о евреях: они заключаются в предоставлении государственных прав.] (К стр. 386, т. VI).

Статья «Нынешние английские виги» была опубликована в 1860 г., когда основные моменты подготовлявшейся крестьянской реформы были уже ясны и когда вопрос о крестьянской революции как результате реформы пугающим призраком стоял перед дворянством. Решиться говорить в легальном журнале о массовом восстании как результате «свободы» да еще доказывать благодетельность этого восстания — на это мог решиться только Чернышевский. Рассуждение это было им вдвойне законспирировано от цензуры: во-первых, Чернышевский придал ему вид цитаты из Маколея, чтобы отвести внимание от истинного смысла; во-вторых, Чернышевский придал рассуждению своему невиннейшую из невинных форму,— форму... сказки да еще «хорошенькой».

[«Ариосто рассказывает хорошенькую сказку об одной фее, которая по особенному таинственному закону своей природы осуждена была порою являться в форме гадкой и ядовитой змеи. Те, которые ожидали ее во время ее превращения, навсегда устранялись от участия в раздаваемых ею благах. Но тем, которые, не взирая на ее отвратительный вид, жалели и защищали ее, она открывалась потом в своей природной, прекрасной и небесной форме, становилась неразлучною их спутницею, исполняла все их желания, наполняла их дома богатством, делала их счастливыми в любви и победоносными в войне. Такая же фея — свобода. По временам она принимает вид отвратительного гада, ползает, шипит и жалит. Но горе тем, которые, побуждаясь омерзением, дерзнут раздавить ее! И счастливы те, которые, отважившись принять ее в ее униженном и страшном образе, будут, наконец, вознаграждены ею в пору ее красоты и славы!

Против зол, порождаемых новоприобретенною свободою, имеется одно лишь средство, — и это средство — сама свобода. Узник, покидая свою темницу, на первых порах не может выносить дневного света: он не в состоянии различать цвета или распознавать лиц. Но лекарство состоит не в том, чтобы снова отослать его в тюрьму, а в том, чтобы приучить его к солнечным лучам. Блеск истины и свободы может сначала отуманить и помрачить нации, полуослепшие в темнице рабства. Но, дайте срок, и они скоро будут в состоянии выносить этот блеск. Люди в несколько лет научаются правильно мыслить. Крайнее буйство мнений стихает. Враждебные теории исправляют друг друга. Рассеянные элементы истины перестают бороться и начинают сплавляться. И, наконец, из хаоса возникает система справедливости и порядка.

Многие политики нашего времени имеют обыкновение выдавать за аксиому, что ни один народ не должен быть свободным, пока не достигнет уменья пользоваться своею свободою. Правило это достойно того глупца в старинной сказке, который решил не ходить в воду, пока не выучится плавать. Если бы людям следовало дожидаться свободы, пока они не сделаются умными и добрыми в рабстве — им бы пришлось вечно пребывать в ожидании. (К стр. 387, т. VI).

В своем замечательном «Дневнике», получившем заслуженно широкую известность в дни столетнего юбилея со дня рождения Чернышевского (1928), Чернышевский записал особым шифром ряд прямых высказываний о революции, не стесненных учетом цензурных требований. Одно из этих высказываний перекликается с приведенным выше текстом цензурной купюры. В нем тоже идет речь о восстании, о революции и о прямом участии в ней самого Чернышевского. Он говорит своей невесте: «Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть лет через десять, но я думаю скорее. А если вспыхнет, я приму участие... Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня». Это говорил молодой революционер в 1853 г. Через семь лет в текстах, писанных вне цензурных условий, в прокламации «Барским крестьянам», Чернышевский говорил еще более зрелым языком организатора революции. Но мы видим, что и в текстах, приготовленных для цензуры, он умел в скрытой форме высказывать по существу те же мысли.

Небольшая рецензия Чернышевского на № 1 журнала «Время», опубликованная в 1861 г., сейчас не остановит на себе особого внимания читателя. В «Полном собрании сочинений» Чернышевского эти несколько страничек не отличаются чем-либо особо острым в контексте других небольших рецензий. Но это кажется так

лишь потому, что мы доселе не знали настоящего текста этой рецензии, из которой по воле цензора выкинуто основное ядро — блестящий иронический памфлет против российской «гласности» эпохи 1861 г. Поводом для него послужило «невинное» желание журналиста не рассматривать все статьи нового журнала для определения его лица — «это было бы слишком длинно», — а взять лишь какую-нибудь «пробу», отдельную тему как пример.

[Мы берем для этой пробы — понятие о так называемой у нас гласности, которую вернее было бы называть косноязычностью. Всему свету известно, что с русскою гласностью, несмотря на юность и невинность этой скромной институтки, а может быть именно по причине ее чрезмерной стыдливости, произошло не мало неприличных историй, конфузящих бедняжку до слез. До сих пор ее все еще экзаменуют и находят — не то, что она мало знает и почти ничего не говорит, нет, находят, что она держит себя непристойно и ставят ей дурные баллы за поведение. В образованных странах такого обращения с девицами не допускают нравы, — да и гласность там уже не девица, стыдящаяся всего на свете, робеющая каждого упрека, а очень бойкая дама, которая не дает спуску никому. Там все ее хвалят, потому что она сживет с белого света того, кто вздумал бы хоть заикнуться против нее. У нас не то: всякий норовит обидеть бедную девушку: и сплетница-то она, и нахалка-то она, и скандалезница-то она, — чуть кто посильнее, прямо зажимает ей рот, да еще дает пощечины (это считается хорошим средством примирить с собою, заставить полюбить себя); а кому не доставалась привилегия раздавать по своему усмотрению пинки и зажимать рот неприятному для него существу, тот по крайней мере подбивает других на это криками о том, что гласность зазорно держит себя, что надобно обуздать эту гадкую девчонку. Добро бы держали себя так становые и частные пристава, которым точно достается иногда от гласности и, надобно сказать, достается с нарушением всякой справедливости, как будто они — уж и в самом деле, бог знает, как виноваты в наших бедах и неурядицах, когда они-то в сущности еще гораздо невиннее очень многих. Нет, позорят и подводят под сюркуп нашу жалкую, колотимую всяким встречным и поперечным, гласность сами журналисты, которым, повидимому, следовало бы защищать ее. В общих фразах они действительно превозносят ее; но чуть только явится в печати что-нибудь неприятное какому-нибудь журналисту, он тотчас же начинает толковать о злоупотреблении гласности, о том, что она вышла в этом случае за пределы, в которых бывает полезна и может быть терпима; словом сказать, начинает рассуждать тоном людей, враждебных гласности, и дает им в руки оружие против нее: «вот посмотрите (говорят после таких статеек враги гласности), сами писатели находят, что литература слишком своевольничает»]. (К стр. 64, т. VIII).

Статья получает совсем иной политический смысл, если прочесть весь текст вместе с приведенной выше купюрой.

Выше приведены далеко не все изъятые цензурой тексты, но и приведенных более чем достаточно для того, чтобы понять, с какими существенными пробелами знали мы до сих пор подлинного Чернышевского и каким богатым новым содержанием мы должны овладеть, чтобы полностью изучить литературное наследство величайшего русского революционера 60-х годов.

М. Нечкина

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ И КЛАССОВОЙ БОРЬБЕ НА УКРАИНЕ

(НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕСТА ИЗ РАБОТЫ ЧЕРНЫШЕВСКОГО «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕСТАКТНОСТЬ»)[1]

Работа Н. Г. Чернышевского «Национальная бестактность» давно привлекала внимание исследователей. Эта работа была одним из наиболее ярких и острых документов, характеризовавших отношение Чернышевского к национальному вопросу. Особо важно поэтому подчеркнуть, что до сих пор мы не знали подлинного текста этой замечательной статьи. Цензура грубо исказила ее, выбросив ценнейшие места, говорящие именно о национальном вопросе и вскрывающие классовое содержание национальной проблемы. Напомним, что статья написана по поводу выхода в Львове в 1861 г. газеты «Слово», провозглашавшей себя «органом галицийских малороссов». Чернышевский разоблачает газету «Слово» как орган русинских националистов реакционной австрийской ориентации, орган клерикалов и угнетателей-помещиков, раздувающих вражду к полякам, и в то же время отмежевывающий западных украинцев от восточных. В эпоху подготовки польского восстания 1863 г. Чернышевский стоял за польскую ориентацию украинских трудовых масс, считая необходимой консолидацию национальностей в целях разгоравшейся революционной борьбы. Разоблачив реакционное националистическое лицо «Слова», Чернышевский высказывал пожелание, чтобы руководство газетой было как можно скорее вырвано из рук компрометирующей национальное движение клерикальной партии — газета должна стать действительным органом «русинского народа», а «народ» в устах Чернышевского означало трудящиеся массы.

Статья «Национальная бестактность», как известно, вызвала ожесточенный вой реакционной прессы. В славянофильском «Дне» на Чернышевского набросились И. С. Аксаков и В. Н. Ламанский, имели место и другие выступления. Этот вой лишний раз подтвердил правильность непримиримой позиции, занятой Н. Г. Чернышевским.

Первая крупная цензурная купюра статьи содержала в себе резкий протест Чернышевского против того, что газета руководима реакционерами-клерикалами. Одна из руководящих статей первого номера была наполнена подхалимским умилением по поводу выхода номера в день «святого Григория Богослова», т. е. в день «именин» галицкого митрополита Григория, «архипастыря православных русинов» и будущего «главы» освободительного движения Западной Украины, по мнению «Слова». Протест свой против реакционно-клерикального руководства Чернышевский облек в «цензурную» форму утверждений, что дело-де духовных пастырей — молиться, а не вмешиваться в «мирские» дела, например в политику, что духовенство в силу своих «небесных» занятий совершенно «не подходит» для роли руководителя политической борьбы. Эта форма была очень удачно выбрана Чернышевским: она, с одной стороны, была, казалось бы, цензурно-безупречна,— нельзя же было, в самом деле, протестовать цензору против утверждения, что дело духовенства — заниматься «духовными» делами! С другой стороны, эта форма давала огромный простор бичующей иронии Чернышевского, вскрывавшего истинное политическое лицо клерикала под видом доказательств «неудобства» занятий политикой для «архипастыря», носителя духовного сана.

Мы опускаем первую, довольно значительную часть купюры, состоящую из цитат подхалимовской статьи «Слова», восхваляющей «доблестного» «князя» — архипастыря Григория.

[Мы не знаем прошлой деятельности высокопреосвященного Григория, архипастыря провославных русинов, и с удовольствием готовы предположить, что деятельностью своею он вполне заслужил безграничное уважение, какое высказывается к нему в этой статье. Положим, что высокопреосвященный Григорий, или, как называется он в других статьях Львовского «Слова», кvръ Григорий,— ревностнейший покровитель и заступник русинской народности; положим, что благо русинского народа безусловно предпочитает он всем земным почестям и самому спокойствию своих лет, конечно, преклонных. Но мы все-таки не можем не сказать русинам, что на-

---

[1] Тексты цензурных купюр статьи «Национальная бестактность» воспроизведены по собственноручным копиям, сделанным сыном Н. Г. Чернышевского Михаилом Николаевичем Чернышевским с цензорских корректур, оказавшихся в его распоряжении уже после того, как издание Полного собрания сочинений (1906) было закончено; ныне эта папка с выписками М. Н. Чернышевского находится в распоряжении редакции «Литературного Наследства».

прасно вмешивать архипастыря в то дело, органом которого хочет быть Львовское «Слово». Это дело мирское, чуждое прямых священных обязанностей архипастыря и отчасти несогласное с ними. Архипастырь должен проповедывать любовь к врагам и христианское смирение. Львовское «Слово» основано для борьбы с противниками русинского народа. Оно теперь видит этих противников в поляках; но в ком бы оно ни увидело их, по более здравом рассмотрении дела,— в поляках ли, в австрийцах ли, в некоторой ли части самих русинов — все равно, оно, конечно, не откажется от борьбы с врагами русинского народа; а враги у русинского народа без сомнения есть, потому что в мирских делах без вражды никогда не обходится. Каково же должно быть отношение архипастыря к этому мирскому делу, соединенному с враждой? По обязанности своего сана он должен «благословлять», а не «проклинать»; начав бороться против врагов русинского народа по мирским делам, он изменил бы обязанности своего сана. Мы не полагаем, чтобы русины захотели подвергать своего любимого архипастыря справедливому нареканию.

В чем состоит главный упрек католическому духовенству? В том, что оно, забывая о прямых священных обязанностях, вмешивается в мирские дела, в борьбу политических партий. Львовское «Слово» поступает неразумно, взывая к православному архипастырю своему, чтобы он последовал дурному примеру католических кардиналов и прелатов. Как бы то ни было, Львовское «Слово» — орган политической партии. Желая иметь кўръ Григория своим руководителем, оно хочет сделать его предводителем политической партии. Согласиться на такое желание высокопреосвященному Григорию значило бы повредить интересам православной церкви в Галиции, как вредят интересам католической церкви французские, итальянские и немецкие епископы, делающиеся предводителями одной из политических партий. Они восстановляют против себя другие партии; а легок и неизбежен переход чувства с известного лица на звание этого лица и потом на самое дело, которому служит это звание. От вражды к католическому епископу, как предводителю политической партии, начинают враждовать католики против него, как католического епископа, а потом и против самой католической церкви. Неужели Львовское «Слово» хочет подвергнуть этой судьбе православие в Галиции?

Могут сказать: «православие в Галиции подвергается притеснениям уже и теперь,— значит, проигрыша не будет». Но если оно действительно подвергается притеснениям, это значит, что православное духовенство в Галиции до известной степени вмешивалось в мирские раздоры, потому что иначе не было ни у каких иноверцев охоты к мирскому преследованию православия; если православие в Галиции стесняется, оно наверное избавится от всяких мирских стеснений, когда православное духовенство не будет вмешиваться в политические дела; а вызывать православное духовенство к сильнейшему участию в этих делах, как делает Львовское «Слово», значит возбуждать сильнейшие мирские гонения на православие. Пусть Львовское «Слово» хорошенько подумает об этом. Если бы не были мы уверены, что оно делает это только по нерассудительности, мы предположили бы тут коварную махинацию австрийских иезуитов, переодевшихся в приверженцев высокопреосвященного кvръ Григория с целью повредить и ему и православию. Иезуиты часто поступали таким образом,— прикидывались друзьями иноверцев, чтобы вовлекать их в гибельные ошибки. В каком восторге должна быть папская курия и вся иезуитская партия, читая статью «Слова», нами переведенную! Какой прекрасный повод разжигать поляков против православия подает иезуитам эта статья!

От интересов православия в Галиции обращаясь к мирским выгодам русинского народа, мы точно так же находим способ действия Львовского

«Слова» прямо вредным для целей, которые оно себе ставит. Руководителями в каждом деле должны быть те люди, которые наиболее способны управлять этим делом успешно, хорошо знают его и могут ставить его главною задачею своих мыслей и усилий. Но политика никогда, конечно, не была и не будет специальностью русинского первосвятителя. Если он — пастырь достойный, в чем мы уверены, он не имел времени заняться изучением предметов, чрезвычайно многосложных и посторонних для него. Епископ не чиновник, не юрист, не политико-эконом, не сельский хозяин, не газетчик. У него есть другое занятие, требующее всех его сил. Он изучал православное богословие, а не юриспруденцию и не политическую тактику. К роли, которую неприлично для него занимать, к роли политического человека, он и не приготовлен. Поэтому он скорее всякого другого предводителя политической партии будет обманут хитростями противников и скорее всякого другого наделает ошибок в выборе средств. Словом сказать, если бы высокопреосвященный куръ Григорий, увлеченный ошибочными просьбами Львовского «Слова», и согласился принять предлагаемое ему предводительство политическою партиею, эта его решимость, не согласная с пользами православия, была бы вредна и для мирских выгод русинского народа]. (К стр. 283, т. VIII).

Вторая купюра той же статьи исключительно важна в литературном наследстве Чернышевского. Это — один из самых ярких и отчетливых его текстов, анализирующих *классовое содержание* национального вопроса. Под видом *национальной* вражды скрывается самая подлинная классовая борьба — вот, что говорит Чернышевский. Дальнейшие комментарии к этому новому тексту излишни — он говорит сам за себя. Добавим, что приводимый ниже текст особо интересен еще потому, что содержит замечательные высказывания Чернышевского о Шевченко. Чернышевский понимал классовое значение Шевченко, считал его поэтом угнетенной трудящейся Украины и «непоколебимым авторитетом» в вопросах «быта малорусского народа» (в силу цезурных условий Чернышевский вынужден в приводимом ниже тексте употреблять официальные правительственные термины, например термин «малорусский народ»).

[Он свидетельствовал нам, что паны из малороссов далеко уступают панам из поляков справедливостью и человечностью в обращении с поселянами. Этот отзыв прекратил для нас возможность смотреть на отношения поляков к малороссам теми глазами, какими смотрит Львовское «Слово». Он окончательно разъяснил для нас ту истину, которую давно мы предполагали сами. Вот она.

В землях, населенных малорусским племенем, натянутость отношений между малороссами и поляками основывалась не на различии национальностей или вероисповеданий; это просто была натянутость сословных отношений между поселянами и помещиками. Большинство помещиков там поляки, потому недоверие простолюдинов к полякам — просто недоверие к помещикам. Когда малороссы говорят о панах, они только забывают прибавлять, что в числе панов есть и малороссы, потому что этих панов малороссов гораздо меньше, чем поляков. Но к этим панам их отношение точно таково же, как и к польскому большинству панов. Различие национальностей не делает тут никакой разницы. О чувствах и поступках польских панов относительно поселян разных племен надобно сказать точно то же, что о чувствах малорусских поселян к панам разных племен: различие национальностей и тут не производит никакой разницы в отношениях. От польского поселянина польский пан требовал нисколько не меньше, чем от малорусского поселянина; ни в одном из тех облегчений, какие он сделал, или соглашается сделать польскому поселянину, он и не думает отказывать малорусскому поселянину. Тут дело в деньгах, в сословных привилегиях, а несколько в национальностях или вероисповедании. Малорусский пан и польский пан стоят на одной стороне, имеют одни и те же интересы; ма-

лорусский поселянин и польский поселянин имеют совершенно одинаковую судьбу; если была она дурна прежде, она была для обоих одинаково дурна; насколько становится или станет она лучше для одного из них, ровно настолько же и для другого.

Ничего этого не понимает Львовское «Слово». Ему не то неприятно, что поселянам было тяжело; ему неприятно лишь то, что большинство панов говорило не малорусским языком. Оно не понимает, что малорусскому поселянину не было бы ни на волос легче, если бы все паны в Малороссии были малороссы,— напротив, было бы малороссу тяжеле от этого, как свидетельствовал нам Шевченко. Мы знаем, что очень многие из образованных малороссов и кроме помещиков малороссов не захотят признать этого мнения за истину: оно противоречит национальному предрассудку, потому многими будет отвергнуто, по крайней мере на первый раз. Но никакие голословные возражения не поколеблют нашего мнения, опирающегося на такой авторитет, как Шевченко. Не опровергать наши слова мы советуем друзьям малорусского народа, а призадуматься над ними и проверить их фактами. Факты подтвердят их, мы в том уверены, потому что Шевченко чрезвычайно хорошо знал быт малорусского народа. Опираясь на этот непоколебимый авторитет, мы твердо говорим, что те, которые захотели бы говорить противное, ослеплены предрассудком, и что малорусский народ ничего кроме вреда не может ждать себе от них]. (К стр. 290, т. VIII).

Дальнейшее сравнение цензорской корректуры с текстом Полного собрания сочинений показывает, что мы не знали конца статьи. То, что мы обычно принимали за конец статьи, концом не является. Настоящий конец статьи также был вычеркнут цензором. Заранее можно догадаться, что и этот текст имеет острое политическое значение. Догадка эта оправдывается. Чернышевский, высказавшись о Западной Украине, переходит к вопросу Восточной, характеризует положение украинского народа, угнетенного русским самодержавием. Разумеется, если царская цензура еще могла как-либо пропустить крамольные рассуждения об украинцах под владычеством Австрии, то она должна была особо настороженно отнестись к рассуждениям об украинцах под владычеством России. Поэтому Чернышевский придал всему рассуждению форму иронического утверждения, явно противоположного действительности. «Друг-читатель» прекрасно знал по предыдущим статьям Чернышевского его отношение к русскому правительству и тем самым имел ключ к политическому шифру этого текста. Расшифровке помогало также ироническое признание Чернышевского никого иного, как Шевченко, в качестве свидетеля о... благоденствии украинского народа под самодержавным русским правлением.

[Мы начали статью тем, что будем говорить исключительно о галицийских русинах и действительно имели в виду только их во все продолжение статьи. Она относится исключительно к делам Галиции. Судьба остальной части малорусского племени устроена и обеспечена так превосходно, что об этой остальной части нам нечего заботиться, да и сама она не чувствует нужды иметь о себе никаких забот. Нашим русским малороссам даны все права и выгоды, каких только когда-либо желали они. Их обидеть не может теперь никакое племя. Они благоденствуют, по совершенно верному и очень удачному выражению своего любимого поэта Шевченко. Вероятно, мы не ошибаемся, предположив, что даже по мнению Львовского «Слова», столь преданного законной австрийской власти над Галицией, галицийские русины должны завидовать счастью своих одноплеменников-малороссов, пользующихся ныне свободою под нашею властью]. (К стр. 291, т. VIII).

Значение приведенных в настоящей публикации купюр несомненно. Самая тема, взятая Чернышевским — национальный вопрос в его классовом содержании,— еще больше увеличивает это зачение. Эти тексты должны оживить исследование Чернышевского на Украине, до сих пор уделявшей ему незначительное внимание (так юбилей Чернышевского в 1928 г. почти не получил откликов в украинской литературе). Кроме этого приведенные выше купюры дают новый богатый материал для изучения общей постановки Чернышевским национального вопроса,— без них не сможет в дальнейшем обойтись ни один исследователь этой темы.

М. Нечкина

НЕИЗДАННЫЕ МЕСТА ИЗ СТАТЕЙ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО О ПУШКИНЕ

Среди рукописного материала, переданного в Дом-музей имени Н. Г. Чернышевского Академией Наук, имеется рукопись, по инвентарю № 4287, содержащая ряд выписок из критических статей Чернышевского[1]. Одни из этих выписок относятся к «Очеркам гоголевского периода»; это — копии напечатанных мест соответствующего автографа (рукопись № 1649). В виду того, что в новейшем издании «Очерков» (Н. Г. Чернышевский, Избранные сочинения, т. IV, ГИЗ, 1930) данные места уже напечатаны по авторской рукописи, опубликование этой части выписки рукописи № 4287 особого интереса не представляет. В ином положении мы находимся относительно другой группы выписок, связанных с известными статьями Чернышевского о Пушкине по поводу издания Анненкова («Современник» 1855, кн. 2, 3, 7, 8. Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского, т. I, СПБ, 1906, стр. 245 и сл.). Именно эти копии ненапечатанных мест из указанных статей помогают восстановить первоначальный текст работы Чернышевского о Пушкине, привлекая внимание к автографу, до сей поры необследованному.

Всего разбираемых выписок 10; занимают они 2½ листа; 1-й лист и половина оборота написаны одним почерком, затем, до конца, идет другой. Оба переписчика, можно думать, были мало опытны; об этом свидетельствуют исправления, сделанные третьей рукой, особенно в начале, где указания переписчика (первого) на страницы оригинала заменены указаниями на листы и обороты. Когда и кем были сделаны разбираемые выписки — указаний не имеется.

Наличие выписок ненапечатанных мест заставило нас обратиться к авторской рукописи статей о Пушкине (№ 1600), уже описанной С. И. Быстровым. (Описание рукописей Н. Г. Чернышевского, хранящихся в Доме-музее его имени в Саратове. Составил С. И. Быстров. См сборник: «Николай Гаврилович Чернышевский». 1828—1928. Неизданные тексты, материалы и статьи, Саратов, 1928, стр. 327 и сл.) Просмотр автографа показал, что заявление в этом предварительном описании: «Кроме некоторых небольших разночтений в печатном тексте опущено около 30 строк окончания 3-й статьи» преуменьшает действительность. В автографе нашлись все те места, не попавшие в печать, которые были скопированы в выписках рукописи № 4287. Удалось сделать даже некоторые дополнительные наблюдения (см. ниже).

Это обращение к автографу показало, что выписки сделаны именно из него, а не из копии (если таковая была) или корректур. Помимо совпадения в описках Чернышевского (см. прим. к выписке VIII) это совершенно ясно из одного места выписки X. Во фразе, относящейся к людям, достойным уважения, Чернышевский в автографе пропустил одно слово («должны занимать одно за самых мест»); там имеется чья-то карандашная отметка, а на полях написано: «вероятно, почетных». Переписчик рабски все скопировал вплоть до значков, вставил в текст, и лицу, исправлявшему переписанное (третья рука), пришлось зачеркнуть то, что не относится к тексту. Что касается указаний в выписках на листы и обороты, к которым они относятся, то их следует относить не к авторской рукописи (там пагинации и не имеется), а к печатному тексту, ибо в автографе конец 3-й главы занимает очень мало места (вместо переписывания выдержек из статей критиков Чернышевский там просто указывает, откуда их набирать — журнал, страницу), а выписки отсылают и к 121, и к 124 листу оригинала. Можно думать, что имелся подбор статей Чернышевского, извлеченных из журнала, пронумерованных подряд, и к этому подбору и делались по автографу выписки опущенных мест. Подбор мог включать не только статьи о Пушкине, почему ссылки в выписках идут, начиная с 63-го листа.

Как бы то ни было опубликование на основе автографа этих неизданных мест, а также измененных, восстанавливая статьи Чернышевского о Пушкине в полном виде, неурезанными цензурой, дает нам более ясное изложение суждений Чернышевского о пушкинской критике, предваряющих появление «Очерков гоголевского периода». Жаль только, что и автограф, и выписки относятся не ко всем четырем статьям Чернышевского о Пушкине, а к первым трем.

Известно, какое место занимал Чернышевский в спорах того времени о Пушкине. Уже в рецензии на перевод «Поэтики» Аристотеля (1854) Чернышевский прозрачно намекал на правильное по его мнению решение этого вопроса, отдавая предпочтение Гоголю (Соч., т. I, стр. 29). Эти же мысли развиваются им и в статьях о Пушкине, к великому гневу блюстителей старого литературного порядка. Все ненапечатанные отрывки носят характер именно заострения пушкинской проблемы, почему их, так сказать, цензурное происхождение не подлежит сомнению. Можно быть уверенным, что публикуемые ныне места остались ненапечатанными не по желанию Чернышевского, а по воле цензуры.

---

[1] На эту рукопись обратила наше внимание заведующая музеем Н. М. Чернышевская-Быстрова, за что приносим ей благодарность.— *М. К.*

Выдержки печатаются в квадратных скобках, вставленными, в целях ясности, в контекст (иногда и сокращаемый).

Как явствует из содержания статей Чернышевского о Пушкине, главною целью критики было именно выяснение общественного значения творчества этого поэта. Однако по цензурным условиям открыто ставить перед собой такую задачу он не мог и вынужден был ограничиваться намеками. Наиболее резкая фраза в печать не попала:

Вполне понимая всю важность такого события, как издание сочинений Пушкина, спешим отдать о нем отчет публике.

[Читатели наши, конечно, знают, чего не должно искать в наших статьях о новом издании Пушкина.] (I—1—245) [1]

В общественно-литературных спорах 50-х годов имя Пушкина было святыней для реакционеров, сторонников так называемого чистого искусства, нападавших на «натуральную» школу в литературе.

Тем более цензуре могло показаться опасным всякое умаление Пушкина, в частности низкая оценка его исторических взглядов. Поэтому в следующем ниже тексте вычеркнуто указание на малую содержательность исторических характеристик Пушкина:

...взгляд его (т. е. Пушкина) на исторические характеры и явления был не более, как отражение общих понятий [какие были повторяемы всеми в то время, повторяемы даже без особенной охоты, потому что имели чрезвычайно мало содержания.] Петр — великий человек, мудрый правитель, Карл — опрометчивый герой... (II—21—289)

Хотя отзыв Пушкина о Державине и был напечатан в «Материалах» Анненкова, однако там он терялся среди разнообразнейших сведений о поэте. Помещенный же в виде выдержек в статье Чернышевского, он приобретал особо подчеркнутое значение, и цензура сочла нужным вступиться за честь этого придворного поэта XVIII в., в то же время смягчая и обрисовку Чернышевским Пушкина,— об этом говорит следующая купюра:

...Сколько проницательности, верности в его (т. е. Пушкина) беглых замечаниях о предшествующей ему русской литературе!.. Интересно знать, многие ли даже и ныне постигнут справедливость [например следующих его заметок, сообщаемых г. Анненковым: «Перечел Державина всего,— и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка (вот почему он ниже Ломоносова); он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии, ни даже о правилах стихосложения: вот почему он должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы... У Державина должно сохранить будет од восемь, да несколько отрывков, а остальное сжечь... Жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом. Довольно о Державине»] или следующей: «Стихотворство для Ломоносова было иногда забавою, чаще должностным упражнением». (III—23—291)

Историческое значение Пушкина, по Чернышевскому, состоит в том, что он ввел в русскую литературу поэзию как прекрасную художественную форму, после чего только и могло русское общество устремиться в сторону содержания. Эта мысль пронизывает все статьи Чернышевского о Пушкине и открыто высказана им в конце рецензии (стр. 330). Однако в 8-й книжке «Современника» ее было легче высказать, чем в 3-й (18 февраля 1855 г. умер Николай I); несмотря на хвалебный характер всего абзаца, мысль о том, что сочинения Пушкина могут стать только памятником эпохи, показалась цензуре опасной. Интересно сообщить, что весь печатаемый ниже текст (включая вставку) написан Чернышевским под влиянием известия об указанном историческом событии. В авторской рукописи имеется приписка: «дописано 18 февраля 1855 года — под влиянием известного события написаны последние строки» и дальше дата приписки: 6 апреля 1856 г.

Вообще влияние человека, одаренного таким огромным умом и так высоко стоявшего по своей образованности, как Пушкин, было неизмеримо важно для развития читателей, им созданных и очарованных его гениаль-

---

[1] Подобное обозначение принято нами и для всех дальнейших примечаний. Первая цифра указывает номер выписок в порядке текста (они имеются и в рукописи № 4287); вторая — соответствующее место автографа (рукопись № 1600); третья — соответствующую страницу печатного текста (по вышеуказанному к первому тому Полного собрания сочинений 1906 г.).

ным талантом. В истории русской образованности Пушкин занимает такое же место, как и в истории русской поэзии. Прийдут времена, когда его произведения останутся только памятником эпохи, в которую он жил; но когда прийдет это время, мы еще не знаем, а теперь мы можем читать и перечитывать творения великого поэта и, с признательностью думая о значении их для русской образованности, повторять вслед за ним:

Да здравствуют Музы, за здравствует Разум!

И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил Пушкин. (IV — 23 об.— 292)

Посвящая 3-ю главу своей работы о Пушкине критике 30-х годов и беря под свою защиту тех, кто смел судить поэта, Чернышевский стремился это сделать в возможно более открытой форме. Однако цензура разрешала печатать лишь выдержки из критических статей, без разъяснений к ним, на что Чернышевский жалуется в конце 4-й главы (стр. 328): «...нам остается только привести общее заключение о значении Пушкина в истории русской литературы — оно опять будет опираться на выписки — иначе невозможно в настоящее время, когда все должно быть защищено авторитетами; и как благодарны должны быть мы тому счастливому обстоятельству, что многое, нужное для настоящего времени, уже давно сказано — иначе мы или не могли бы, или не умели бы сказать ничего». Мнения самого Чернышевского, даже в замаскированном виде, как в следующей ниже купюре, не пропускались в печать.

Что касается изменения в сущности суждений о произведениях Пушкина, начиная с 1830 года, журналы... были только отголоском общего мнения огромного большинства публики. [Кто был в этом случае прав — Пушкин или публика, мы не будем говорить здесь. Дело будет ясно само собой, без всяких заключений с нашей стороны, когда мы проследим характер изменения, происшедшего в стремлениях великого поэта. Скоро мы увидим, что тогдашняя критика умела найти причину охлаждения публики к ее любимцу.] Но справедлива или несправедлива была публика, становясь равнодушнее к новым произведениям Пушкина, нельзя обвинять журналы за то, что они не прошли молчанием этот факт... (V—26—298)

Указывая на то, что «Московский Телеграф» (журнал, издаваемый Н. А. Полевым (1796—1846), известным критиком и писателем, примыкавшим к романтикам), начиная с 1830 г., меняет относительно Пушкина свой прежний панегирический тон на иной, Чернышевский, отнюдь не примыкая к хулителям Полевого, стремится объяснить этот факт, во-первых, общественно-литературным окружением Пушкина и во-вторых, наличием в кружке Полевого новых, по его мнению более правильных, требований, предъявляемых к литературе. По первому пункту цензура, пропустив ссылки на литературных друзей Пушкина, вычеркнула в следующем ниже тексте наиболее «опасное» место, связанное с Н. М. Карамзиным (1766—1844), известным писателем и автором «Истории государства российского»,— труда, проникнутого правоверным монархизмом. По второму пункту — заставила Чернышевского переделать одобрительное суждение о критике «Телеграфом» пушкинского «Онегина». Вот что писал Чернышевский и как это выглядит в печатном тексте: «Теперь каждый беспристрастный почитатель Пушкина согласится, что в этом отзыве чрезвычайно много правды, и мы не знаем, что в нем может быть найдено несправедливого» (автограф, 32 л.). «Едва ли можно согласиться с этим отзывом, но в нем все-таки не заметно недоброжелательства критики к разбираемому им автору» (стр. 304).

Неудивительно, что Пушкин, горячо стоявший за своего друга Дельвига... любивший и уважавший князя Вяземского, благоговевший перед Катениным, был увлечен в их вражду с Полевым. Вот, по нашему мнению, главнейшая причина распри... Этот главный мотив без всякого сомнения усиливается теми природными наклонностями Пушкина, которые прекрасно разъяснены П. В. Анненковым — уважением к преданиям старины, благоговением к памяти Карамзина и наконец особенным расположением к издателю другого журнала «Московского Вестника», бывшего во вражде с «Телеграфом». Последнее обстоятельство не требует подробных доказательств. [Известно также, какое сильное (и несовершенно основательное) негодование во всех почитателях Карамзина было возбуждено замечаниями Полевого на «Историю государства российского» (эти замечания были умереннее почти всех других критических статей о труде Карамзина)

и изданием «Истории русского народа», известно и то, как благоговел перед Карамзиным Пушкин.] Но выпишем несколько верных слов г. Анненкова о первой из причин неблаговоления нашего поэта к журналу Полевого. (VI — 30—301)

Следующая купюра касается общественной оценки Пушкина. Находя в статьях Полевого только проблески критического отношения к Пушкину, Чернышевский выдвигает как следующий этап пушкинской критики «грозные статьи экс-студента Никодима Надоумко», т. е. статьи Н. И. Надеждина (1804—1856), известного ученого, публициста, критика и издателя журнала «Телескоп». Примыкая к философскому учению Шеллинга и враждуя с романтиками, Надеждин требовал от литературы естественности и народности; в своей статье 1828 г. «Литературные опасения за будущий год» он весьма критически отнесся к современной ему русской литературе. Более подробно о Надеждине см. в «Очерках гоголевского периода», гл. IV. Не приходится удивляться, что цензура вычеркнула разъяснение смысла статей Надеждина, сделанное Чернышевским; особенно должен был обратить на себя внимание конец характеристики, где Чернышевский устами Надоумко отказывается приравнивать Пушкина к тем иностранным писателям, произведения которых имели большое общественное значение. Характерно, что вместо Делавиня (1793—1843), автора французских либеральных стихотворений, и Гюго (1802—1885), знаменитого французского романтика, Чернышевский хотел, как показывает автограф, поставить имя А. Шенье, поэта эпохи французской революции.

Предшественницами учено-литературной критики, которая одушевляла «Телескоп», были грозные статьи «экс-студента Никодима Надоумко», явившиеся в «Вестнике Европы» 1828 и 1829 годов. [Мы не имеем нужды защищать их, потому что автор их сам мог бы защититься, еслиб находил заслуживающими ответа односторонние отзывы, какие до сих пор повторяют о его мрачных приговорах. Но необходимость объяснить вопрос, о котором теперь идет речь, заставляет нас сказать несколько слов о существенном смысле статей экс-студента, — смысле, которого часто не замечают, останавливаясь на внешних мелочах. Мы уже видели, что критика «Телеграфа» рассматривала не одну форму, не одни слова и фактуру стиха — она старалась постичь идею разбираемого сочинения — стремление, бывшее великим шагом вперед. Но одним шагом, как бы ни был он велик, невозможно было пройти неизмеримое расстояние, отделявшее взгляды старой нашей критики, замечавшие только внешность, от истинно критического взгляда, который в поэтическом произведении ищет содержания. «Телеграф» придавал еще слишком много важности красоте слога, легкости стиха. Потому он был ослеплен дивным стихом Пушкина и не мог беспристрастно рассмотреть, до какой степени глубоко содержание дивных произведений несравненного художника. Была и другая слабость в критике «Телеграфа»: несмотря на все тогдашние толки о ее строгости, она была очень радушна и невзыскательна. «Телеграфу» так пламенно хотелось видеть осуществленными свои добрые желания относительно русской литературы, что он удовлетворялся самыми слабыми признаками исполнения этих желаний; малейшее сходство с его идеалами было достаточно «Телеграфу», чтобы прийти в восторг и торжествовать победу. Пришло время взглянуть на вещи серьезнее, отчетливее — и явились статьи Надоумко. Неземного совершенства нет на земле, и Надоумко мог иметь свои слабые стороны: он сам еще страдает хаотическим смешением нового, живого и плодотворного с отжившим и мертвым. Но за ним остается высокое достоинство: бестрепетно анализировал он содержание произведений, столь превозносимых за великолепную внешность, и с горечью воскликнул: «Эти дивные по художественности создания поверхностны или ничтожны по содержанию». — «Вы говорите, — сказал он, — что русская поэзия может гордиться — да, может, стихом, отделкою и только — а этого еще слишком мало, вы говорите, что имеем своих Байронов, Делавиней, Гюго — нет, у нас нет ничего подобного; в произведениях, которые вам кажутся байроновскими, нет ни искры того пламени, которым пылают байроновы создания. Вот несколько

отрывков, которые могут дать понятие о том, что говорил Надоумко. (VII—34—306)

Следующая цензорская купюра касается высокой оценки критики Надоумко и отрицания «равенства» произведений Пушкина произведениям Байрона. Указания Чернышевского на широкую образованность Надоумко-Надеждина и на близкое знакомство его с произведениями корифеев мировой литературы вполне правильны: Надеждин — известный профессор Московского университета. Вычеркиванием этого абзаца цензура, как и в других случаях, стремилась затемнить истинный смысл критики Надеждина, отказывающегося приравнивать «Евгения Онегина» к «Чайльд-Гарольду», выдающемуся произведению Байрона.

«Велемудрые наши крикуны, собирающиеся на Телеграфической сходке, не стыдятся к хламу, унавоживающему нашу литературу, прикидывать мерку бесконечного... Им чудится идеальное парение в «Нулине»; они видят развитие идей человеческого в «Выжигине»!!! Одно только может извинить пред судилищем литературного правосудия сию хулу на изящество: это — грех неведения!» [Надоумко — критик, близко знакомый с великими произведениями искусства всех времен и народов, воспитанный изучением греческих классиков, Шекспира, Гете и Байрона, проникнутый высокими философскими стремлениями: он не может не высказывать громко и резко, что произведения[1] русской поэзии вовсе не равняются с теми классическими произведениями искусства, подобными которым добродушно считали их другие. И если мы сумеем стать на его точку зрения, если мы припомним глубокий смысл Чайльд-Гарольда, то для нас не покажется странным следующее суждение «Телескопа» о «Евгение Онегине»], в котором — не должно забывать — хотели видеть русского Чайльд-Гарольда. (VIII — 34 об. — 307)

Конец 3-й статьи, куда относится приводимый ниже отрывок, вообще чрезвычайно изменен Чернышевским в связи с цензурными требованиями. Вычеркнутое цензурой место, содержащее отказ от «безотчетного восторга» перед Пушкиным, лишает выразительности весь следующий абзац, в котором Чернышевский указывает на то, что рассуждения Надоумко о Пушкине есть, в сущности, рассуждения вообще о русской литературе того времени. Последующие же строки уже совсем не выражают намерений Чернышевского, ибо ему для печати пришлось сильно изменять рукопись. В рукописи Чернышевский писал определенно: «Мы находим, что в суждениях «Телескопа» о Пушкине более справедливого, нежели ошибочного: другие могут находить, что ошибочного в них более, нежели верного, но во всяком случае для каждого, кто возьмет на себя труд перечитать статьи экс-студента Надоумко и разборы «Телескопа», или даже, пробежав наши выписки, припомнить преувеличенные толки о богатстве нашей литературы и т. д., несомненно то, что в этих суждениях есть много нужного и дельного. Еще бесспорнее то, что «Телескоп» в своих суждениях был прямодушен и руководился желанием высказать свое твердое убеждение, а не какими-нибудь посторонними отношениями. Бесспорно и то, что автор разборов доказал ими глубокие и обширные знания и ум, далеко переходящий за уровень обыкновенных умов» (35 л., об.). Вместо этой похвальной речи в печати Чернышевскому пришлось поместить нечто очень постное: «Но как бы то ни было, хотя в суждениях «Телескопа» о Пушкине и много ошибочного,— во всяком случае, кто возьмет на себя труд и т. д.— несомненно убедится в том, что в основаниях этих суждений есть много и дельного» (Полн. собр. соч., стр. 310). Все «бесспорные» утверждения оказались совсем опущенными, как показывает следующий ниже текст:

Говорят, что Надоумко строго судил о прежних произведениях Пушкина потому, что был лишен эстетического вкуса: едва ли это так. Людям, которые высказывают такое мнение, советуем прочитать его статью о «Борисе Годунове» — она положительно убедит их, что ни один из нынешних записных критиков не может похвалиться таким верным и проницательным эстетическим тактом, какой обнаруживается этим разбором. [«Телескоп» не преклонял колен в безграничном и почти безотчетном восторге перед Пушкиным, как это делал «Телеграф», — требования «Телескопа» были очень велики, понятия его о необходимых качествах великого поэта очень

[1] В автографе ошибочно — «в произведении».

высоки. Имя Пушкина привыкли произносить вместе с именем Байрона. «Телескоп» не мог не видеть, что это мнение неосновательно, не мог не сказать, что «Онегин» не «Чайльд-Гарольд». Другие могут думать иначе, могут ставить Пушкина наряду с Гете и Байроном; которое из этих двух мнений справедливо, каждый из нас может решать по-своему. Но при своем взгляде на вещи «Телескоп» не мог не говорить о Пушкине так, как говорил.] Надобно заметить, что, говоря о Пушкине, Надоумко и «Телескоп» имели в виду не столько отдельного поэта, сколько представителя русской литературы... (IX — 34 об. — 35—310)

Заключительный абзац общего характера, рассматривающий вопрос о Надоумко-Надеждине на фоне всей общественной жизни тех дней, когда писалась статья, изобилующий посему многозначительными намеками на современность, естественно не мог быть пропущен цензурой, коль скоро она вычеркивала даже всякое разъяснение выписок из разборов «экс-студента». Вместо него Чернышевский вставил небольшой заключительный переход — о чем он будет говорить в следующей главе. В «Очерках гоголевского периода» Чернышевский, припоминая свои статьи о Пушкине, пишет относительно рассуждений о Надеждине (стр. 157 ук. издания): «Это был едва ли не первый голос в защиту энергического критика, многими забытого, всеми другими осуждаемого». Следующий ниже неизданный отрывок, равно как и другие, ясно показывает, что этот голос должен был звучать куда более резко, чем то могли думать читатели «Современника», поэтому его усердно старалась придушить цензура.

...мы говорим только о лучших тогдашних критиках. Были в то же время между рецензентами люди и другого разбора, как бывают они везде и всегда... Неужели Пушкин должен был обращать внимание на этих людей... Неужели и мы должны иметь их в виду, говоря об отношениях Пушкина к современной ему критике? Лучше предать забвению эти вещи, не заслуживающие ничего, кроме забвения и сожаления. [Можно даже прибавить, что и те факты, важные для своего времени, которые приведены нами в настоящей статье, не имеют ныне существенного интереса, как не имеет его многое другое, более или менее важное для своего времени, с такою шумной суетливостью выкапываемое ныне из «бездны пустоты» старых времен. Но если уже вошло в моду говорить о старине, то нельзя не восстать против мнения, столь часто повторяемого и столь несправедливо отнимающего заслуженную честь у людей, которые должны занимать одно из самых «почетных» мест в ряду деятелей на поле нашего просвещения, людей, которые достойны уважения и по своему уму, и по горячей резкости ко всему, что казалось им благом и истиною, и которых имена доселе забываются или даже хулятся по узким и неверным понятиям о их отношениях к Пушкину, между тем как беспрестанно пишутся хвалебные распространения о людях, которые не имели и тысячной доли их достоинств и значения в нашей литературе.] В следующей главе, продолжая говорить об отношениях критики к Пушкину, мы рассмотрим взгляд на нашего великого поэта критиков ближайших к нашему времени[1]. (X—36,36 об. — 311)

М. Каплинский

[1] Этого абзаца в автографе нет. После слов «в нашей литературе» написано «Конец». На этом и кончаются имевшиеся в нашем распоряжении тексты цензурных купюр из статей Чернышевского о Пушкине.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА»

Предисловие Б. Резникова
Комментарии К. Федорова

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РОБЕСПЬЕР

Тургенев в пылу раздражения назвал Добролюбова «литературным Робеспьером». Тургенев не подозревал, при этом, какой замечательной похвалой награждает он своего противника. Но самое замечательное состоит в том, что эта похвала была недалека от истины.

Несомненно Добролюбов мог бы быть и не только литературным Робеспьером. По воззрениям своим это был законченный революционер-якобинец, не признававший никаких компромиссов, соглашений и уступок. Жгучей ненавистью ненавидел он либералов, просвещенных бар, пекущихся якобы о благе народном, вымаливающих для народа милостыню.

«Милостыней,— писал Добролюбов в статье против Бабста,— не устраивается быт человека; тем, что дано из милости, не определяются ни гражданские права, ни материальное положение. Если капиталисты и лорды сделают уступку работникам и фермерам так — или такую, которая им самим ничего не стоит, или такую, которая им даже выгодна. Но как скоро от прав работника и фермера страдают выгоды этих почтенных господ,— все права ставятся ни во что и будут ставиться до тех пор, пока сила и власть общественная в их руках».

Это — прямой призыв к революции, проистекающий из твердой уверенности, что без революции, без завоевания власти и уничтожения дармоедов никаких прав трудящиеся классы не получат.

Не случайно, что Добролюбов, разделяя всех людей на два класса: народ — трудящиеся массы и враги народа — образованное общество, безоговорочно причислял к врагам народа всех либералов и сторонников правительственных реформ. Это был настоящий революционер — один из штурманов надвигавшейся бури, как правильно назвал однажды Герцен лагерь Чернышевского-Добролюбова.

Но революционная буря не разразилась, и Чернышевский был на долгие десятилетия замурован на каторге, а Добролюбов угас в самом начале своей блестящей деятельности.

Не мало было охотников изобразить дело так, что царское правительство поставило Чернышевского на плаху, а затем сослало на каторгу (этого несомненно не избежал бы и Добролюбов) при всеобщем возмущении так называемого «образованного общества». Это — явное преувеличение, свидетельствующее лишь о том, что кое-кто не хотел замечать классового размежевывания в этом самом «обществе». В действительности царская камарилья, расправясь с Чернышевским, не без основания рассчитывала на сочувствие или во всяком случае на некоторый доброжелательный нейтралитет со стороны известной части либерально настроенной интеллигенции, не говоря уже о «просвещенных барах». Либералы ненавидели революционных демократов так же, как последние ненавидели либералов. Естественно, что они более или менее откровенно, более или менее приглушенно аплодировали расправе с Чернышевским.

Добролюбов, так же как и Чернышевский, был выразителем революционных устремлений задавленного крепостническим гнетом крестьянства. Это со всей определенностью подчеркивается Лениным.

Непримиримый враг существовавшего тогда строя Добролюбов прекрасно понимал, что дело не сводится к тому, правильную или неправильную политику ведет царское правительство. Он понимал, что положение нельзя изменить только поправочками. Он понимал, что суть заключается в господстве эксплоатирующего класса над эксплоатируемыми. Поэтому он и был революционером.

О какой революции мечтал Добролюбов, к какой революции готовился? В России того времени, когда начала развертываться общественная деятельность Добролюбова, основным политическим вопросом был вопрос об освобождении крестьянства, об уничтожении крепостного права. Из двух возможных путей освобождения крестьян, а значит и развития России — путь реформы, т. е. освобождения крестьян сверху, и революционного освобождения крестьян снизу — Добролюбов конечно выбирал второй путь — революцию, прекрасно понимая, что только этот путь дает выход из положения.

Это нет никакой надобности доказывать, так как точка зрения Добролюбова отчетливо видна даже из вышеприведенной цитаты. Добролюбов мечтал о крестьянской революции и к ней готовился. Не случайно под понятие «народ» он подводил прежде всего крестьянство плюс остальные эксплоатируемые слои населения. Революционное значение и историческую роль рабочего класса он не понимал, да и не мог понять в условиях того времени. Первое слово русского марксизма было сказано лишь два десятилетия спустя после смерти Добролюбова.

Если бы отдельные огни крестьянского восстания, озарявшие крестьянскую реформу 1861 г. до и после ее проведения, превратились в пожар крестьянской войны, то Добролюбов конечно был бы одним из ее идеологов, вдохновителей, вождей.

Добролюбов не был типичным западноевропейским просветителем, ни типичным социалистом-утопистом. Известно отрицательное отношение Добролюбова к утопическому социализму Фурье, Оуэна и др. Добролюбов прямо издевался над утопическими прожектами Фурье и противопоставлял этим прожектам революционную борьбу трудящихся против своих эксплоататоров.

Плеханов утверждал, что у Добролюбова «чисто идеалистический взгляд на историю... Точно такими же идеалистами были французские материалисты Дидро, Гольбах, Гельвеций», «Основное положение этого рода исторического идеализма гласит, что мнения правят миром». И далее: «В его лице (т. е. в лице Добролюбова) мы имеем типичного просветителя».

Ни одного из этих плехановских утверждений нельзя признать правильным.

Разумеется у Добролюбова не было законченных материалистических взглядов на историю. Но он не был и чистым идеалистом. В значительной части своих высказываний по вопросам истории он ближе к материализму, чем к идеализму. Он утверждал например, что «борьба аристократии с демократией составляет содержание истории» (Соч., 1876 г., т. I, стр. 468). По существу — это перефразировка первого положения Коммунистического манифеста.

В другом месте Добролюбов подчеркивает закономерность исторического процесса:

«Более внимательное рассмотрение открывает всегда, что история в своем ходе совершенно независима от произвола частных лиц, что путь ее определяется свойством самих событий, а вовсе не программой, составленной тем или другим историческим деятелем». Далее Добролюбов говорит о «неизбежной связи и последовательности событий».

Это еще не исторический материализм, но это уже и не «типичное просветительство». Где же тут тезис «Мнения правят миром», где тут ссылка на отвлеченный разум? Добролюбов наоборот спорит здесь с «типичным просветительством». Не менее определенно высказывался Добролюбов и о роли личности в истории. Как известно, французские материалисты, под схему которых Плеханов подгоняет Добролюбова, придавали большое значение исторической личности. Они прямо возлагали

надежды на просвещенного государя, философов, которые будут управлять государством и которые выведут людей из заблуждений. А вот что писал Добролюбов:

«Не хотят понять, что ведь историческая личность, даже и великая, составляет не более, как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенить камень».

«Не хотят понять, что вследствие исторических-то обстоятельств и являются личности, выражающие в себе потребности общества и времени» (Соч., т. I, стр. 560). Что это не было случайным высказыванием, можно было бы подтвердить большим количеством аналогичных выдержек из сочинений Добролюбова.

Ограничимся только одной:

«Не потому известное направление,— пишет Добролюбов,— является в известную эпоху, что гений принес его откуда-то с другой планеты, а потому, что элементы уже выработались в обществе и только выразились и осуществились в одной личности более, чем в других» (Соч., т. II, стр. 6).

Надо ли еще доказывать, что Плеханов ошибался, утверждая, что Добролюбов целиком разделял положение «Мнения правят миром»? Нет, Добролюбов считал, что мнения есть продукт закономерного общественного развития. Подлинный стержень исторической закономерности он еще не видел, не понимал. Поэтому правильно утверждение, что Добролюбов не был диалектиком-материалистом. Но ошибочно подгонять Добролюбова под «точно таких же исторических идеалистов, как Дидро, Гольбах, Гельвеций». Эта схема смазывает революционный якобинизм Добролюбова, его решительную борьбу с либерализмом и «реформизмом». Именно такую ошибку допускает и т. Кирпотин, идущий в оценке Добролюбова по стопам Плеханова. В своей статье в № 3 журнала «РАПП» т. Кирпотин не раскритиковал меньшевистской трактовки Добролюбова Плехановым. Тов. Кирпотин пишет:

«Совершенно естественно, что преобразование общества на новых началах зависит у Добролюбова в конечном счете от распространения образованности», «Всю прошлую историю человечества Добролюбов рисовал как плод заблуждения», «Коренная причина прогресса человечества заключается, по мнению Добролюбова, в прогрессе знаний», «Добролюбов был материалистом-метафизиком, материалистом-просветителем».

Что касается утверждения, будто Добролюбов рассматривал всю предыдущую историю человечества как плод заблуждения, то после сказанного едва ли необходимо это опровергать.

Добролюбов указывал на закономерность исторического развития и высказывал гениальную догадку: «уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории». Добролюбов поднимался порой до понимания неизбежности социальной революции, которую совершит сам народ, подготовленный к тому всем историческим процессом. И совершеннейшим поклепом на него, полным непониманием того, чем был Добролюбов, является утверждение, будто бы он считал весь исторический процесс плодом заблуждения или что он будто бы, точно так же как и французские материалисты, только полагал, что «мнения правят миром». Не надо забывать, что Гегель жил после французских материалистов, что учение Гегеля не прошло бесследно для Добролюбова. Не надо забывать, что Добролюбов был фейербахианцем. Но несомненно также, что Добролюбов шел дальше Фейербаха в вопросах истории. Он пытался — и часто небезуспешно — нащупать материалистические корни исторического процесса.

Гораздо серьезнее выглядит другое утверждение, будто Добролюбов видел единственный способ преобразования общества на новых началах в распространении образованности. Если это было бы так, то нечего было бы и говорить, что Добролюбов был революционером. Совершенно необоснованным было бы указание Ленина на ярко выраженный революционный демократизм Добролюбова. В самом деле, если преобразование общества на новых началах зависит в конечном счете от распространения образованности, то революционность становится проблематичной и на первый план выступает голое просветительство. Добролюбов «в конечном счете» превращается в либерала. Но страшен сон, да милостив бог. Вот что говорил сам Добролюбов о роли распространения образованности:

Во-первых:

«Всеми средствами образованности... владеют неработающие классы, которым нет никакой выгоды передавать оружие против себя тем, чьим трудом они пользовались до сих пор даром. Следовательно без участия особенных необыкновенных обстоятельств нечего и ждать распространения образования в народных массах» (Соч., т. II, стр. 62).

Надо ли объяснять, что «особенные необыкновенные обстоятельства» есть не что иное как революция? Надо ли еще объяснять, что распространение образования Добролюбов ставит в зависимость от революционной борьбы? Надо ли наконец пояснять, что Добролюбов видел и указывал иной путь преобразования общества на новых началах, чем путь распространения образованности?

Во-вторых:

«Холод и голод, отсутствие законных гарантий... всегда действуют несравненно возбудительнее, нежели самые громкие и высокие фразы о справедливости. И наоборот: материальное довольство успокаивает его несравненно более, нежели проповедь о кротости и благодушном терпении».

«Образованность ведет только к большей или меньшей степени ясности сознания и затем к умению формулировать то, что сознается». «Но и не сформулированное страдание есть страдание, и оно рано или поздно проявится на деле».

Кажется ясно, что Добролюбов понимал классовый характер распространения образованности, что «образованность» используется господствующими классами для усиления эксплоатации, что распространение образования ведет лишь к большей или меньшей степени ясности сознания, что решающим является отнюдь не образование.

В-третьих:

«С развитием просвещения,—говорит Добролюбов,—в эксплоатирующих классах только форма эксплоатации меняется и делается более ловкой и утонченной, но сущность все-таки остается та же, пока остается попрежнему эксплоатация».

Яснее кажется и быть не может. Добролюбов как будто бы предвидел старания некоторых современных исследователей, которые постараются причесать его под вполне благонамеренного либерала-просветителя, и не оставил ни тени сомнения о своих взглядах на просвещение. Конечно Добролюбов не был пролетарским революционером, так же как он не был научным социалистом. Социализм, как это можно судить по его дневникам, он представлял себе довольно наивно. Но политически важной для нас является правильная оценка Добролюбова как одного из предшественников пролетарской революции в нашей стране. Разумеется в полном собрании сочинений великого критика можно найти две-три цитаты, которые свидетельствовали бы о переоценке Добролюбовым «распространения образованности». Но, во-первых, для нас важен самый характер мировоззрения и деятельности Добролюбова, а во-вторых, во всем его собрании сочинений вы не найдете ни одной строчки, ни одного слова, которое свидетельствовало бы о том, что Добролюбов не революционер, что он либерал.

Плеханов называл Добролюбова типичным просветителем и причесывал его под либерала в то время, когда Плеханов уже окончательно изменил революции, когда он стал сторонником «мирной революции». Естественно, что Плеханов был политически заинтересован в том, чтобы причесать Добролюбова под мирного культуртрегера. И не только Плеханов. Об этом старались и другие меньшевики. Это типичная меньшевистская точка зрения на Добролюбова. Вот что писал Ленин в 1912 г. в связи с брошенной Н. Рожковым фразой о том, что «не надо делать себе иллюзий: готовится торжество весьма умеренного буржуазного прогрессизма»:

«Объективный смысл этого крылатого слова: революция — иллюзии, поддержка «прогрессистов» — реальность. Ну неужели же не видит теперь всякий, кто не закрывает нарочно глаза, что именно это говорят чуточку иными словами Даны и Мартовы, когда бросают лозунг: «вырывание Думы (четвертой Думы, помещичьей Думы) из рук реакции»?... когда удовлетворяются на деле легальной платформой, легальными покушениями на организацию? когда создают ликвидаторские «инициативные группы», разрывая с революционной РСДРП? Неужели не ясно, что ту же песенку

поют и Левицкие, философски углубляющие либеральные идеи о борьбе за право, и Неведомские с их новым «пересмотром» идей Добролюбова задом наперед, от демократизма к либерализму»... (Собр. соч., 2-е изд., т. XV, стр. 459).

Нет надобности повторять здесь, что Ленин рассматривал демократизм Добролюбова как революционный демократизм. Важно здесь то, что Ленин совершенно правильно ставит в связь ликвидаторскую политику меньшевиков с «пересмотром» идей Добролюбова задом наперед. Следовательно это дело не простой ошибки, это— политическая оценка. Меньшевикам нужно было рассматривать Добролюбова применительно к либерализму. Не ясно ли теперь, откуда выросла оценка Плехановым Добролюбова?

В другом месте, уже в 1918 г., Ленин снова подчеркивает революционность Добролюбова:

«Современным «социал-демократам» оттенка Шейдемана или, что почти одно и то же, Мартова так же претят Советы, их так же тянет к благопристойному буржуазному парламенту, или к учредительному собранию, как Тургенева 60 лет тому назад тянуло к умеренно-монархической дворянской конституции, как ему претил мужицкий демократизм Добролюбова и Чернышевского» (Собр. соч., т. XXII, стр. 467).

Здесь очень интересна аналогия, проводимая Лениным: Мартов относится к большевикам, к советам, как Тургенев относился к Добролюбову, к Чернышевскому. Политический момент в оценке Добролюбова подчеркнут со всей определенностью. Разве не понятно теперь, почему меньшевики, и прежде всего Плеханов, старались задним числом обелить Добролюбова, сделать его своим, т. е. показать как типичного просветителя, точно такого же, как просветители XVIII века?

Указывая на просветительство Добролюбова, мы ни в коем случае не должны забывать, что просветительство-то ведь бывает разное. К типичным буржуазным просветителям Добролюбова и Чернышевского никак не отнесешь. Самым характерным для них является их революционный «мужицкий демократизм». Эту их черту всячески подчеркивал Ленин.

Типичным просветителем Ленин называет буржуазного писателя 60-х годов Скалдина, который полагал, что государственная власть может «постепенно и неослабно» устранять причины, мешающие развитию крестьянского хозяйства. «Если, —писал Скалдин,— закон не будет стеснять у нас естественного распределения рабочих сил, то в России действительными пролетариями могут быть только люди, нищенствующие по ремеслу, или неисправимо порочные и пьянствующие». Ленин замечает по этому поводу: «Типичная точка зрения экономистов и «просветителей» XVIII века», добавляя при этом, что Скалдин конечно буржуа так же, как вожаками буржуазии были и просветители XVIII века (Собр. соч., т. II, стр. 313).

Но разве буржуа Скалдин и революционный разночинец, мужицкий демократ Добролюбов это одно и то же? Стоит только поставить этот вопрос и нелепость его становится ясной. Но вместе с тем ясным также становится, что Плеханов неправильно, по-меньшевистски оценивал Добролюбова.

Ленин неоднократно противопоставлял революционность Добролюбова реформизму меньшевиков. Так 1 января 1917 г. Ленин, издеваясь над легальным реформизмом Каутского и компании, писал: «...Даже в крепостной России Добролюбов и Чернышевский умели говорить правду то молчанием о манифесте 19 февраля 1861 г., то высмеиванием и шельмованием тогдашних либералов, говоривших точь в точь такие речи, как Туратти и Каутский» (Собр. соч., т. XIX, стр. 371).

Разве это случайное противопоставление Добролюбова меньшевизму? Неужели это неясно даже ребенку? Право же стыдно объяснять «теоретикам» такие элементарные вещи!

Огромный интерес для правильного понимания развития умонастроений Добролюбова и классового характера этих умонастроений представляют его дневники. Вот что он записывает в дневнике в начале 1855 г.:

«Нужно ясно поставить свое положение. Что я такое? Бедный студент, которого все достояние заключается в 30 рубл. серебром, находящихся в долгах у разных лиц,

да в голове и руках, которые он еще не знает куда деть... Как средство — опять только я, но я без средств... что же тут делать?»

Естественно поэтому, что «наша родная Русь более всего занимает нас своим великим будущим, для которого хотим мы трудиться неутомимо, бескорыстно, горячо». «К несчастью я очень ясно вижу и свое настоящее положение, и положение русского народа в эту минуту». «Я как будто нарочно призван судьбой к великому делу переворота!.. Сын священника, воспитанный в строгих правилах христианской веры и нравственности, родившийся в центре России, проводит первые годы жизни в тесном соприкосновении с простым и средним классом общества. Наконец, вырвавшись на свет божий, увидел все, что в нем возмутительно пошло и несправедливо».

Эта блестящая самохарактеристика дает ключ к пониманию того, как сложилось мировоззрение Добролюбова. Уже в это время, т. е. 19 лет отроду, он отдает себе отчет в том, что он «призван к великому делу переворота», хотя в это время он еще не отделался окончательно от глубокой религиозности, которая была внушена ему с детства. Дневники показывают, что избавление от религиозного дурмана у Добролюбова шло одновременно с формированием революционного сознания.

Можно было бы проследить по многочисленным выпискам из дневника Добролюбова, как формировался его революционный характер, как наивно-добродушные записи в духе христианской любви к ближнему превращались с годами в сарказмы и издевки по адресу либералов и пошляков. Ограничимся небольшими примерами.

В дневнике 1857 г. уже появляются такие характеристики людей: «я ему сказал, конечно, обиняками, что он дурак и мерзавец, но он понял меня только наполовину, да и то, конечно, не поверил мне». А вот другой либерал за сытным обедом, придя от бифштексов в кровожадное расположение, «выразил свое убеждение, что нужно убить всех дураков. Мне ужасно хотелось,— добавляет Добролюбов,— сказать ему, что в таком случае следовало начать с самоубийства, но к счастью я вспомнил во-время, что это будет грубость, и удержался».

Эти желчность и сарказм отнюдь не были плодом случайной или болезненной раздражительности. С друзьями, с единомышленниками, с людьми из народа Добролюбов был трогательно добродушным человеком до конца своих дней. Суть лишь в том, что он по-разному стал относиться к людям разных классов. Интересно при этом отметить, что он сознательно воспитывал в себе ненависть и желчность. Избавляясь от религиозного дурмана, он требовал от самого себя непримиримости к «образованному обществу», т. е. к врагам народа. В том же 1857 г. он делает такую запись в свой дневник: «Вчера ни с того ни с сего вдруг мне пришла охота учиться танцовать... Чорт знает что такое... Как бы то ни было, а это означает во мне начало примирения с обществом... Но я надеюсь, что не поддамся такому настроению. Я должен заставить себя не делать уступок обществу, а напротив держаться от него подальше, питать желчь свою...»

Так рос и развивался «литературный Робеспьер» —Добролюбов.

Лебедев-Полянский в предисловии к дневникам пытается «смягчить» характер религиозности раннего Добролюбова. Ему очевидно кажется, что религиозность в юные годы компрометирует Добролюбова. Поэтому, видите ли, «встает большой вопрос о том, какого характера были религиозность и благочестие юноши. Был ли он приверженец церкви как строгий защитник ее догматов и обрядов, или же его благочестие носило характер моральный».

Поставив этот большой — очень большой и важный, не правда ли,— вопрос, Лебедев-Полянский отвечает: «Анализ всей жизни Добролюбова вскрывает, что религиозность юноши была нравственного порядка».

Во-первых, это не верно — Добролюбов в юные годы был именно защитником церковных обрядов, религиозных догматов. Об этом красноречиво говорят сами дневники. Во-вторых, такая ли уж это большая разница?

Нет никакой надобности подкрашивать Добролюбова под революционера со дня рождения, так же как нет никакой надобности причесывать его под типичного либерального просветителя; и то и другое не верно и политически вредно.

* * *

Повесть «Провинциальная холера» написана Добролюбовым в 1855 г., в тот период, когда он все дальше и дальше отходил от религиозности своих юных лет, хотя еще окончательно с нею не расстался. Религиозный порыв, правда, порыв уже сомневающегося в религии человека, мы встречаем у Добролюбова еще и год спустя. На повести однако ни в малейшей степени не сказались остатки религиозных настроений автора. Наоборот. Он издевается в ней над предрассудками, свойственными религиозным людям, и несомненно бывшими в свое время и у самого автора. Местами он прямо высмеивает известные религиозные положения, например надежду, которая дает спасение. А по поводу известного евангельского изречения «ищите и обрящете» Добролюбов не без издевки замечает: «это изречение, в других случаях приложимое всегда наоборот, на этот раз оправдалось совершенно».

Своего рода юмор, переходящий в сатиру по отношению к ходячей мудрости, вообще характерен для этой повести. «Сколько ни твердите, что от малых причин бывают великие следствия, но на деле гораздо чаще бывает наоборот, т. е. великие предприятия и приготовления оканчиваются действиями весьма не гигантских размеров».

В этих замечаниях, разбросанных по всей повести, выражается внутренний рост автора, который начинал по-иному смотреть на мир, автора, начавшего критически пересматривать свое отношение к окружающей его действительности.

В этой биографической значимости основная ценность повести, представляющей с точки зрения художественной незначительный интерес.

Содержанием повести является несколько расширенный анекдот из провинциальной жизни. Острие содержания повести направлено против общественных предрассудков, о чем свидетельствует и эпиграф к ней. Автор разоблачает пошляка Тропова и «мирное житие» определенных социальных кругов провинции. В этой повести Добролюбов еще не поднялся ни до сколько-нибудь серьезных идейных обобщений, ни до художественного анализа. Может быть не следует так уж сильно укорять Панаева за то, что он забраковал эту повесть.

Нельзя не отметить также некоторую общность стиля этой повести со стилем романа «Что делать?» Чернышевского, хотя конечно последний нельзя сравнить с «Провинциальной холерой» в художественном отношении — настолько он выше. Укажу лишь на одно место.

«Не буду я описывать вам, мой воображаемый читатель, сцену, которая произошла между молодой девушкой и молодым человеком, не буду описывать ее потому, что надоели уже и мне самому все подобные сцены, тысячу тысяч раз повторенные с незначительными изменениями во всех повестях и романах. Естественно желая угодить моим читателям, я решился предоставить каждому из них право обратиться для воссоздания этой сцены или к своим собственным воспоминаниям, или к первой попавшейся под руку повести».

Кто читал роман «Что делать?», тот легко сравнит это место с публицистическими отступлениями Чернышевского, с тем, как он запросто, прерывая нить повествования, обращается к своему читателю. У Добролюбова это не было подражанием. Роман «Что делать?» был написан только в 1863 г. Ясно также, что это не было случайной манерой писателя. Это был элемент стиля, характерный для этой социальной группы. Здесь не место подробно разбирать характер и корни этого стиля. Мы хотели здесь только отметить, что Добролюбов и Чернышевский были единомышленниками не случайно. Это сказалось и в их художественной продукции.

О Добролюбове уже написано очень много и книг, и статей. Несмотря на это, а вернее именно поэтому потребность в хорошей большевистской книге о Добролюбове еще остается неудовлетворенной насущной потребностью. Меньшевики пытались «пересмотреть» идеи Добролюбова задом наперед, применительно к своей меньшевистской подлости. Нам надо воссоздать правдивый образ Добролюбова, этого «литературного Робеспьера», из которого мог бы выйти Робеспьер не только литературный.

Б. Резников

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА

Страшась какой-то силы тайной,
Живут, склонившись под ярмом,
И дело глупости случайной
Чтут часто божиим судом...

[I]

Медленно и задумчиво шел молодой чиновник Павел Гаврилович Изломов по одной из улиц города N. Вероятно, его занимали мысли слишком серьезные и мрачные, потому что он не примечал, казалось, ни яркого света теплого майского солнца, который падал прямо ему на лицо, ни даже того, что из окон некоторых домов посматривали на него хорошенькие глазки. В самом деле, в это время было над чем призадуматься каждому жителю N: в городе свирепствовала холера, и уже не мало своих друзей и знакомых проводил Изломов на тот свет. Теперь он подумал о том, что если вдруг его скрутит холерою!.. И при этой мысли он сделал весьма жалкую физиономию... Вдруг позади его раздался голос, который называл его по имени. Павел Гаврилович обернулся, несколько времени всматривался в наружность молодого человека, стоявшего перед ним, и наконец вскричал с удивлением:

— А-а-а!.. Иван Васильевич!.. Какими судьбами?..

И он готов уже был засыпать его сотнею вопросов, но вдруг вспомнил, что Иван Васильевич Тропов, стоящий перед ним, человек петербургский и, чего доброго, еще вздумает осмеять его провинциальное любопытство. Поэтому он удержал свои любознательные стремления, очень хладнокровно выслушал ответ Тропова, что он прямо из Петербурга, и употребил всю силу своей воли, чтоб не разразиться расспросами: почему, для чего, на долго ли и пр.

Они пошли вместе. Изломов ни о чем не спрашивал более и начал перекидываться с своим приятелем обыкновенными пустыми фразами, стараясь не высказывать ни к чему ни сочувствия, ни увлечения. В этом выражался, по его мнению, bon ton высшего сорта.

— Однако у вас здесь настоящее царство ужаса, — сказал наконец Тропов, наскучивши подобным разговором.

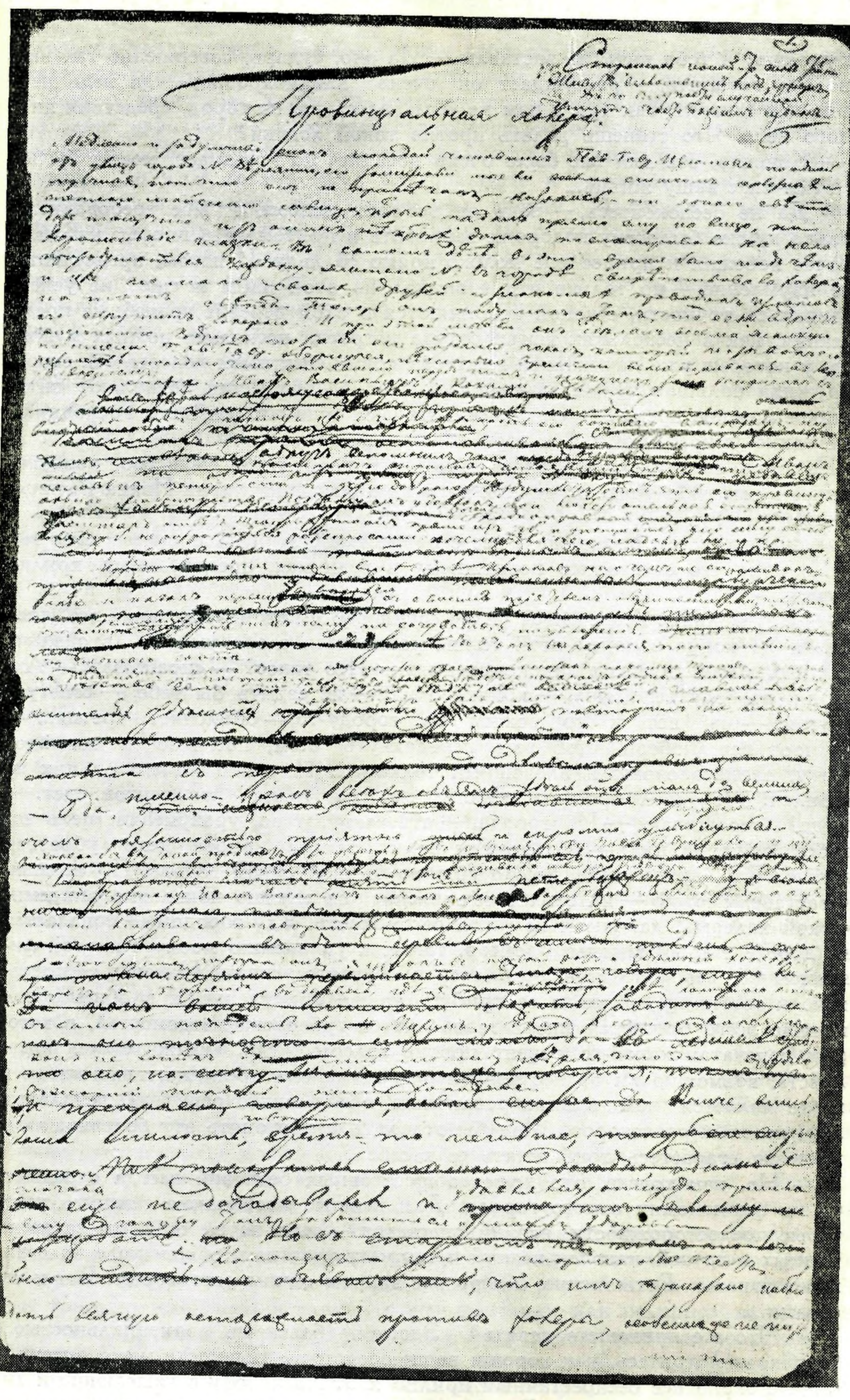
— Да, ужасное бедствие поражает бедных жителей, — отвечал Павел Гаврилович, теряя на минуту свое спокойствие.

— Бедствие само по себе: это беда не великая, а главное — во всех жителях здешних царствует ужас, самовластно и неограниченно, — повторил Иван Васильевич.

— О, да, именно — ужас всех объял здесь от мала до велика,— ответил Изломов и счел обязанностью приятно и скромно улыбнуться.

Холера была такой предмет, что увлекла бы в те времена и не Павла Гавриловича, и потому не нужно удивляться, что она оживила разговор двух приятелей. Притом Иван Васильевич начал рассказывать свои наблюдения,— а он-таки любил поговорить.

— Вообразите,— говорит он,— я узнал в первый раз о здешней холере верст за 15 отсюда в деревне, где я спросил себе холодного молока в самый полдень... Мужик, у которого я остановился, никак не хотел дать мне молока, уверяя, что это вредно — в жаркий полдень пить холодное... Нынче, вишь, ваша милость, говорит, время-то негодное. Я сначала еще не догадывался и удивлялся, откуда пришло ему в голову так заботиться о моем здоровьи... Наконец узнаю: старик объявляет, что им приказано наблюдать всякую осторожность против холеры, особенно же не пить в жаркий день холодного. Да тебе что ж до меня-то за дело?— спрашиваю его.— Ведь не



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ ПОВЕСТИ ДОБРОЛЮБОВА «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА»

С подлинника, принадлежащего К. М. Федорову

ты умрешь; я тебя пить не заставлю.— Да оно, сударь, совершенно так вы изволите говорить, — рассуждает он очень хладнокровно, — да ведь неравно как схватит, так тут и нам не уйти, здесь же не город, средствия никакого нет... Что станешь делать против такой логики?

— Конечно, это для вас было очень досадно; но кто знает, может быть, он этим спас вашу жизнь...

— Да не беспокойтесь, — ведь он все-таки исполнил мое требование... Только нужно было ему подороже заплатить и притом дать вперед деньги... Тотчас побежал и принес мне молоко прямо со льду. И потом, представьте мое изумление,— но только что я выехал из этой избы и еще не успел подивиться точности, с какой исполняются в этой деревне врачебные предписания, как в нескольких шагах оттуда встретил несколько пьяных мужиков, у которых уже начинались кажется первые симптомы холеры. Их скоро окружила большая толпа. Спрашиваю, как же это у вас позволяют пить в такое опасное время? — Э, барин, отвечают мужики, уж воля Господня!.. Все едино умирать-то!... А с горя как не выпить....

Изломов засмеялся, стараясь примирить неприятное чувство, возбужденное в нем по случаю неудачной догадки о спасении жизни Ивана Васильевича.

А он между тем продолжал, все с возрастающим одушевлением, хотя голос и руки его оставались попрежнему в границах, предписанных приличием:

— Еду дальше: встречается целая сотня баб с котомками, такие все унылые, и из конца в конец этой толпы разносится слово умереть в различных его грамматических видоизменениях.— Что такое? — спрашиваю.— Ах, барин, на беду ты едешь, — кричит одна; — не ездить бы тебе, — советует другая; — мы вот и то бежим из городу-то,— объясняет третья... — Э, чорт вас побери, чтоб вам передохнуть всем, посылаю я им вдогонку, раздосадованный зловещими толками... И ровно ничего от них не добился. Не успел проехать версты, смотрю, толпа извозчиков едет. — Куда? спрашиваю. — Из города, — отвечает тотчас, уразумевши цель вопроса, один из них; — больно там валит, так за доброе дело убраться лучше... Ну, думаю себе, весело должно быть в самом городе. Подъезжаю к заставе, смотрю — на столбе объявление: по случаю появления эпидемической холеры... дальше я не успел рассмотреть. Еду городом — попадается на дороге старый знакомец-доктор, также к удивлению моему с кислой физиономией, вероятно приспособляясь к обстоятельствам. Наконец — приезжаю к гостинице, у входа ее прибито то же объявление, а в общей зале прежде всего бросается мне в глаза листок губернских ведомостей, в которых напечатан какой-то рецепт против холеры. Ну, скажите же, пожалуйста, возможно ли от нее избавиться, когда она преследует вас всюду и везде является вам в виде различных объявлений, рецептов, печальных лиц, нелепых разговоров... Чем бы отдалять и прогонять эту болезнь, а вы всячески стараетесь приближать ее к себе...

— Но, как хотите, это время общественных бедствий всегда отражается на физиономии самого города. Для всякого необходимо принять некоторые предосторожности, всякий опасается — если не за себя, то за своих родных и друзей, наконец всякий принимает участие в общем ходе болезни, хочет узнать... Естественно, теперь все заняты одним разговором. Вот и мы с вами.....

— Что же прикажете делать? Здесь не блеснешь оригинальностью... Однако всмотритесь, как хороши ваши средства... Вы идете мимо аптеки и видите около нее беспрестанный прилив и отлив народу с ужасающими лицами и толками о холере. Вы и сами начинаете сильно трусить и думаете, что в городе умирает несколько сот человек в день. А между тем эти люди

хлопочут только еще о предохранении себя от болезни... умирающих всего двадцать-тридцать человек... Вы встречаете доктора, который, подъехав к бирже, берет без торгу на неопределенное время первого попавшегося на глаза извозчика и отпускает своих лошадей потому, что те уже больше не бегут... Вы делаете печальные заключения о силе болезни, но вы не знаете, что этот доктор имел благоразумие в здоровое время прикомандироваться к четырем присутственным местам, обязавшись лечить всех чиновников с их чадами и домочадцами. В обыкновенное время он ездит в каждую палату раз в месяц для получения жалованья, но теперь должен показать всю свою деятельность, потому что всякий, напуганный холерой, платит все, что только может. (Это, кажется не имеет отношения к... [последние два слова неразборчивы; фраза не окончена.— *Ред.*].

— Зайдите ко мне,— перебил Ивана Васильевича его приятель, остановившись у ворот одного довольно красивенького и новенького домика.—Там мы можем поговорить свободнее.

— Да у вас тоже скляночки да баночки, и все комнаты, я думаю, надушены мятой, а на окнах предохранительные средства.

— Вы видите, на окнах у меня цветы, правда не душистые...

— А это даже хорошо; я вообще не цветовод, а душистых цветов терпеть не могу... Так, пожалуй, пойдемте...

И они пошли.

Если предполагаемого читателя утомил этот разговор, то ему предоставляется возможность отдохнуть, занявшись некоторыми частными сведениями об этих приятелях, так пространно рассуждающих об одном из неприятнейших предметов на свете.

Один из них, Тропов, молодой человек лет 25 или 26, живет в Петербурге и, разумеется, чем-то служит там, а потому и считает себя петербуржцем, хотя по рождению и даже частью по воспитанию он тоже провинциал и именно из этого самого города N. Происходил он от высокоблагородных и не бедных родителей, учился в губернской гимназии и потом в университете, а затем поступил было на службу в N. Но Петербург, заманчивый предмет сладких мечтаний для всех провинциальных юношей с каким-нибудь образованием, увлек и нашего Ивана Васильевича. Он уехал и через три года воротился оттуда таким дэнди, таким образцом светскости, таким знатоком итальянского языка и с таким злым или, лучше,— вострым языком, что в него не замедлила влюбиться одна слабонервная, сантиментальная барышня, имевшая хорошенькое добродушное личико, 200 [нрзб] душ приданого и образование, достаточное для того, чтобы не удивляться никакому ученому вопросу. Тропов скоро заметил это и, как он сам, несмотря на видимую свою холодность и насмешливость, имел доброе и чувствительное сердце и притом порядочный запас легкомыслия, то скоро на него подействовала эта пылкая любовь, и он, не думая много, справился у верных людей о приданом и предложил свою руку и сердце плененной им особе, называвшейся — скажем кастати — Надеждой Семеновной. Родители Наденьки были непрочь от такого союза, потому что как бы то ни было жених служил в Петербурге и они знали за ним в былое время порядочное состояние. Ивану же Васильевичу это было очень кстати: от родительского наследия осталась у него деревня в десять дворов, да и ту бы он продал, если бы мог обойтись без того, чтобы не говорить своим приятелям, что ему прислали или не прислали денег из деревни. Таким образом все уладилось, но родители непременно хотели сыграть свадьбу (почему это) не раньше, как через полгода, и Иван Васильевич с новыми надеждами и мечтами снова отправился в Петербург с тем, чтобы через полгода возвратиться в N. Насладившись на досталях холостой жизнью и наделавши новых долгов, он приехал теперь сюда жениться и —

встретил холеру, которая препятствовала, конечно, всем свадебным веселостям. И вот причина его ужасной филиппики на уныние жителей и на внимательность их к такой ничтожной вещи, как эта негодная болезнь.

Что касается до Павла Гавриловича Изломова, другого приятеля, то это был собственно не приятель, а только старый знакомый Тропова, потому что они сидели некогда за одним столом в N-ской гражданской палате. Неученый, но жаждущий просвещения и не имеющий средств удовлетворить своему стремлению, он жадно слушал всех, кого считал выше себя по образованию, и потому был находкой для людей, которые ищут себе слушателей и (увы) часто не находят. Не имея своего убеждения, он жил убеждениями других, и, покорно выслушав ныне какое-нибудь новое мнение, на другой же день сообщал его всем своим знакомым как свое собственное; иногда при этом давал он заметить, что с его мыслями согласен и такой-то, известный ученостью или основательностью суждений. Если же его кто-нибудь оспаривал, то он, пожалуй, опять приходил к вам, которые высказали это мнение или поддерживали его, и начинал перед вами излагать свои возражения. Если вы опровергали возражения, он передавал от своего лица и опровержения по принадлежности и т. д. Случалось, что через посредство Павла Гавриловича долгое время производились очень интересные споры между лицами, совершенно незнакомыми друг с другом. И надобно ему отдать честь, он не ослаблял никогда силы доводов и вообще, уж если принимался говорить, то говорил, как по писанному. Бог его знает, где он приобрел себе такой высокий слог... Впрочем, в жизни и в обращении он был очень приличный молодой человек, хотя иногда это и дорого ему стоило.

Вот хоть бы теперь: как разгорелось его провинциальное любопытство, как ему хотелось засыпать Ивана Васильевича вопросами: и что, и как, и почему и т. д. Но bon ton, по его понятию, не позволял этого, и он молчал. Да и Ивану Васильевичу была не совсем приятна такая скромность: ему непременно хотелось высказаться. Если бы его спросили: зачем он приехал, он сказал бы очень небрежно, будто нехотя: да так, старые дела нужно кончить, и после долгих расспросов проговорил бы с комич[еской] напыщенностью: сорвать одну звезду с вашего небосклона... Но Изломов упорно молчал об этом предмете (мне кажется — Изломов должен был знать, зачем приехал Тропов) и, поболтавши с четверть часа о том, о сем, Тропов решился сам заговорить... Для этого он возобновил сначала забытый было разговор о холере, что было, конечно, очень не трудно.

— Нет, я серьезно думаю, — заговорил он, — что все эти предосторожности ваши не только ни к чему не поведут а напротив — еще повредят... Согласитесь, что все эти печальные физиономии, эти мрачные предосторожности, это постоянное опасение — очень неблагоприятно действуют на расположение вашего духа, и следовательно на самое здоровье. Докторами давно уже признано, что бодрость духа — это лучшее средство против холеры.

— Однако же вы не можете отвергать и того, — возразил Изломов, — что нельзя пренебрегать болезнью, которая производит повсюду такие опустошительные действия.

— Зачем же пренебрегать? Кто вам говорит об этом? Только я не понимаю, что же вы выигрываете, когда все ваши предосторожности приносят больше вреда, чем пользы... Положим, что даже вы таким образом избегнете холеры, но скажите мне, можно ли целое лето, прекрасное провинциальное лето, прожить так, как вы собираетесь жить? Посмотрите, ведь весь ваш город превратился в лазарет, и всякий порядочный человек, проживши

в нем два-три месяца — непременно умрет не от холеры, так от диэты и лекарств, или, что еще ужаснее, просто от скуки.

— Вы судите по себе,— отвечал Изломов,— стараясь придать своему голосу ironич[еское] выражение.— Конечно, я вас понимаю: человеку, который живет постоянно в столице, пользуется всеми удовольствиями петербургской жизни, трудно помириться с нашей провинциальной простотою и бедностью в увеселениях; ему, разумеется, скучно... Но мы, бедные провинциалы, так уже привыкли к этому, что нам кажется довольно сносным наш утомительно-однообразный, даже может быть на ваш взгляд пошлый быт...

— Полноте, пожалуйста, — отвечал Тропов, которому видимо не понравился ironич[еский] тон Павла Гавриловича.— Везде можно веселиться и наслаждаться жизнью, где только есть люди и где эти люди умеют здраво судить и сильно чувствовать...

— Да, но таких людей редко можно найти. И я сомневаюсь, чтобы здесь вы встретили кого-нибудь с суждениями и чувствами, которые бы соответствовали вашим.

— А я в этом не сомневаюсь, по крайней мере, в отношении к чувствам,— восторженно воскликнул Иван Васильевич и с торжествующим видом посмотрел на своего приятеля.

Этот был неприятно поражен его словами, которые он принял за хвастовство и потому отвечал довольно важно, хотя с некоторою робостью:

— Я понимаю под чувством не вечное, большое увлечение, но сильную, глубокую, искреннюю привязанность, основанную на взаимной симпатии, на известном отношении характеров... А такая привязанность едва ли может быть приобретена вдруг одними внешными достоинствами.

— Да с чего ж вы взяли, что я рассчитываю пленять ваших красавиц на здешних балах, которых, разумеется, никогда у вас не будет... Я вам говорю, может быть, о глубокой, давнишней привязанности, о любви, которой я пламенею уже несколько лет...

— В таком случае, это совсем другое дело, — отвечал озадаченный Павел Гаврилыч и, после минутного молчания, прибавил: — и можно узнать предмет этой страсти?

— Нет-с, уж я и то был с вами очень откровенен. Нельзя-с, нельзя-с, — шутливо повторял Тропов, потом встал, прошелся по комнате и, вынув изо рта сигару, громко запел:

Есть тайна у меня. Глубоко
запала в душу мне она...

Следующих стихов он не знал и потому тотчас же сел снова и начал с особенной живостью и необыкновенно веселым тоном:

— Вы видите теперь причину моего ожесточения против печальных предосторожностей и опасений, которые нашел я в вашем городе. Так как я уже проболтался вам каким-то образом, то лучше рассказать всю правду. Вы знаете Наденьку Быстрицкую?

— Знаю очень хорошо.

— Итак, честь имею вам представить ее жениха.

— Как? Вы...

— Я собственной особою нарочно взял отпуск, прискакал сюда из Петербурга, чтобы увенчать счастливым концом мою долголетнюю любовь; препятствий никаких нет, все шло прекрасно,— и как назло вмешалась тут эта несносная холера...

— Каким же образом она может служить препятствием вашему счастию?

— Конечно, может, потому что отец не хочет выдать за меня Наденьку, пока не прекратится холера.

— Отчего это?

— Он говорит, что не время думать о свадьбе, когда каждый день видим перед собою смерть. К несчастью, еще живет он на Кладбищенской улице,— так что каждого мертвого проносят мимо их дома... Он сам-то часто и не видит этого, так зато мать всегда сидит под окошками и горько плачет о чужих покойниках. Как ни придешь к ним, всегда рассказы о чьей-нибудь смерти или болезни, — просто тоску нагонят. Ну, и за себя опасаются, пьют разные предохранительные, морят себя диэтой... Какая же тут свадьба?

— Да, точно. Я знаю Варвару Николаевну. Она чрезвычайно любит своего мужа и дочь и боится за них еще больше, чем за себя. Ее самое это очень изнуряет...

— Да, правда, войдите к ним в дом, — вы непременно подумаете, что кто-нибудь из семьи умер или умирает. Столько тут разных скляночек, бутылочек, сигнатурок аптекарских, такой горестный вид у хозяйки... Решительно ни на что не похоже.

И он с досадою выбросил в раскрытое окно окурок сигары, посмотрел на часы и сказал, вставая:

— А все-таки надобно отправиться к ним. Я бы давно уже там был, если бы не встретился с вами и не заговорился так долго...

— Вы мне сделали большое удовольствие, посетивши меня. Позвольте надеяться, что это не будет в последний раз. Не забывайте же старых знакомых.

— Тем более, что их у меня очень немного здесь, — отвечал Тропов, пожимая руку приятеля.

Приятели остались очень довольны друг другом. Павел Гаврилович [был] поражен совершенно новыми мыслями, высказанными гостем, с которыми он, по натуре своей, не мог не согласиться; притом он благоговел перед столичностью своего приятеля, хоть и старался скрывать это. Тропов тоже [был] рад, — и тому, что так удачно у[мел] высказаться, и тому, что нашел в самом деле старого знакомого, и тому, наконец, что заметил, как жадно слушал его и как легко соглашался с ним старый знакомый.

II

Дом Быстрицких был на самом краю Кладбищенской улицы, так что одна сторона его была обращена к городу, а другая выходила уже на поле, и из окон можно было видеть ряд могил, которыми начиналось N-ское кладбище. Город был необширен, и потому грех было бы сказать, что дом Семена Андреича Быстрицкого был слишком удален от средоточия городской жизни. Однако же сам хозяин говорил это, и во всем N не нашлось бы ни одного человека, который бы стал противоречить такой неоспоримой истине. Шутка ли, отсюда до Кремля, например, где находятся и присутственные места, будет с версту, а иные говорят, что даже больше; до Гостиного двора — тоже чуть не верста, до ближайшей аптеки — полверсты, до церкви тоже очень далеко!.. Тропов, привыкший к петербургским размерам, вздумал было уверять всех, что это чрезвычайно близко, что это — рукой подать, но ему никто не хотел верить, а некоторые даже [на]поминали ему, как сам он [жа]ловался, бывало, на то, что [да]леко ходить из Новой [улицы] в гражд[анскую палату]... и [все-таки] Семен Андреич рассказывал ему, как о великом подвиге, о том, что он вчера ходил пешком и в палату, и из палаты домой, почему и считает себя в праве сегодня совсем уже не ходить в должность. Подобную вольность позволял

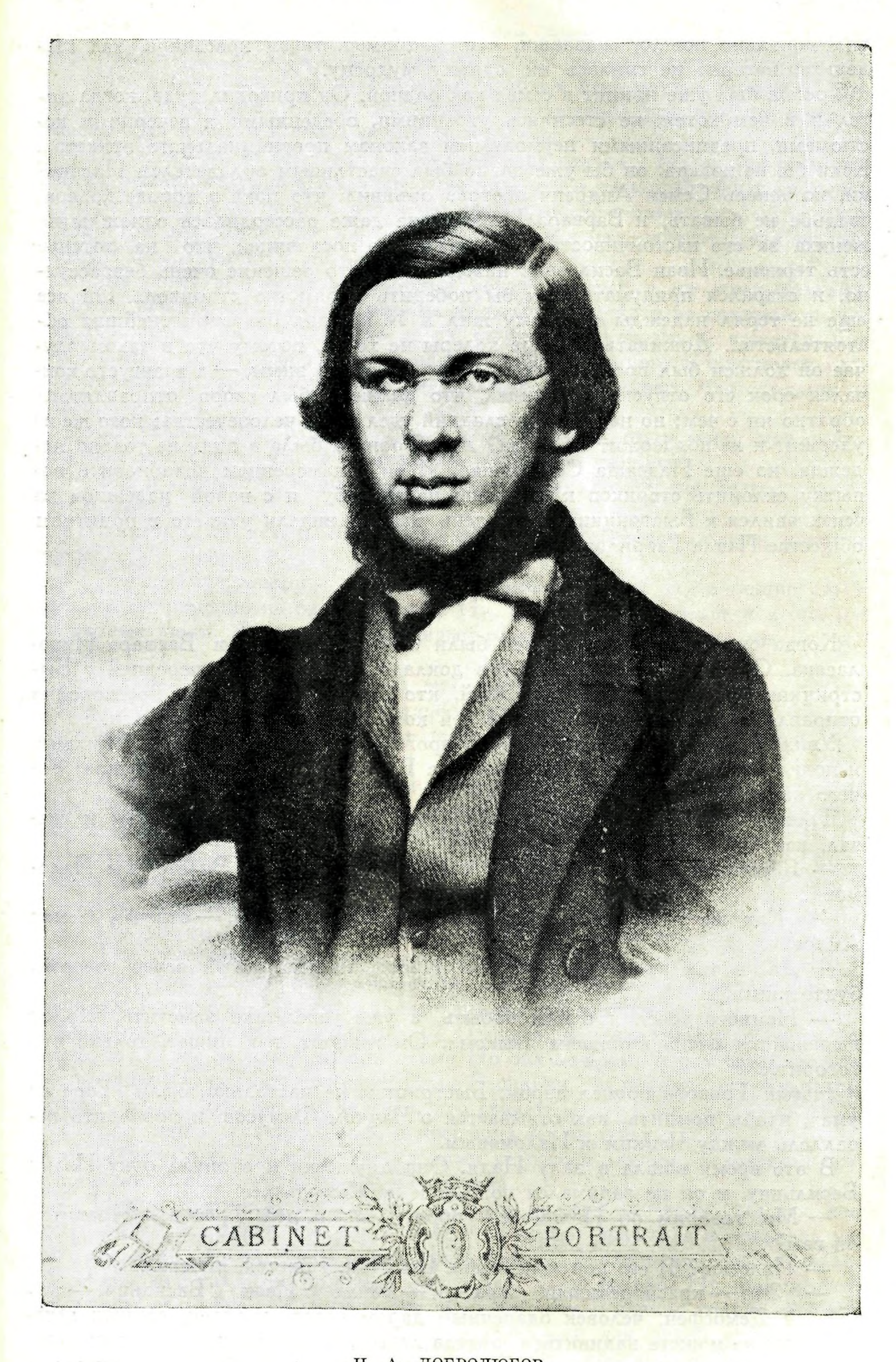
иногда себе Быстрицкий как человек, уж достигший степеней известных и приобретший отличную репутацию делового и надежного служаки. Не отличаясь особенными талантами, Семен Андреич был зато в молодости очень трудолюбив, честен и обладал хорошим житейским тактом, который не всегда-то дается и блестящим талантам. Обративши на себя внимание начальников, дошедши до порядочного жалованья, он умел составить себе во всех отношениях очень выгодную партию и теперь наслаждался семейными радостями почти невозмутимо...

Говорю п о ч т и потому, что иногда тихое счастье его нарушалось супружескими размолвками. Но и в этих случаях Семен Андреич страдал очень мало, потому что чувствовал себя всегда правым во глубине души своей и, может быть вследствие этого убеждения, весьма мало обращал внимания на увещания, просьбы, упреки и даже слезы Варвары Николаевны. Притом и причины ссор были всегда такого рода, что не могли возбудить сильной и продолжительной бури. Сколько ни твердите, что от малых причин бывают великие следствия, но на деле гораздо чаще бывает наоборот,— т. е. великие предприятия и приготовления оканчиваются действиями весьма не гигантских размеров. Натура же Варвары Николаевны совсем неспособна была к глубоким потрясениям. Рожденная с добрым, даже немножко чересчур добрым сердцем, она была воспитана любящею матерью, без всяких посторонних нянек и учителей. Мать ее учила, разумеется, очень не многому, но учила как мать... Варвара Николаевна выросла очень доброю девушкой, хорошей хозяйкой, но, кто бы подумал? — она сделалась вместе с тем романтической, сентиментальной барышней. Как это случилось — ни мать, ни отец понять не могли. Но дело было очень просто. У Варвары Николаевны был брат, годами десятью старше ее, только что кончивший курс в университете и приехавший служить на родину в то самое время, как сестра его стала бегло читать и списывать чувствительные стишки. Витая постоянно в высших сферах и потому плохо служа и живя, — он вдруг вздумал произвести радикальную реформацию в образовании своей сестры. Он начал сообщать ей свои высшие взгляды и давать читать романы Жанлис, Дюкре Дюмениля и славной Анны Радклифф... Идей его девочка не слушала и не понимала, но романы читала с жадностью... Ужасы и рыцарство, удары судьбы и неожиданные защитники, замки и подземелья этих романов так противоречили ежедневным хлопотам на кухне, закупкам провизии, шитью и вязанью, к которым постоянно старалась приучить ее мать, что у бедной девочки совершенно закружилась голова, и она нешутя сочла себя страдалицею на сем свете... Она часто задумывалась и плакала без причины, полюбила уединение, и в 15—16 лет в ней развилось, в ужасающих размерах, сочувствие с природою... Она взывала к луне, говорила с волнами и даже чувствовала трав прозябанье... Была в те годы и любовь, страстная и пылкая, но неглубокая, как и все страсти Варвары Николаевны, и скоро уступившая требованиям родителей, решивших выдать ее за Быстрицкого... Сначала невеста, считая себя жертвою рока, рыдала и терзалась, но потом не могла противиться соблазнительной веселости всех окружающих, увлеклась, и свадьба совершилась очень радостно... Скоро хозяйство, дети заняли внимание молодой женщины, и она было совсем вылечилась от своей идиллической настроенности, — но неожиданное обстоятельство испортило все дело... Какая-то знахарка, погадав по руке всегда склонной к мистицизму Быстрицкой, предсказала ей, что она будет, будет счастлива, только вокруг нее будет неладно, и вскоре после того умерли один за другим трое детей ее... Снова романтизм, жалобы на судьбу, неутешные слезы... Муж, сам чувствуя всю тяжесть потери, не мог ее успокоить, участие родных еще более раздражало ее горесть, и на этот раз с каким-то ожесточением Варвара Николаевна признала себя героиней плачев-

ного романа и все как будто ждала, что явится нежданный добрый гений и возвестит, что ее дети живы, что все ее страдания были только мистификацией. В это время страшно развилось в ней суеверие, к которому она всегда была склонна по своему характеру. Оно доставляло ей какое-то невыразимое наслаждение тем, что объясняло для нее, как дважды два — четыре, такие вещи, которых она никак не могла понять по простым природным законам, сколько ни напрягала своих мыслительных способностей... Романтизм скоро снова исчез из сердца и головы Быстрицкой, когда у нее родилась дочь Наденька; но суеверие уже крепко засело в душе, и без него, как без воздуха, не могла жить Варвара Николаевна.

Как человек положительный Семен Андреич не поощрял сердечных увлечений своей супруги, и вот в чем заключалось яблоко раздора для этой мирной четы. Случалось, что из-за какой-нибудь просыпанной солонки или неудавшегося убийства паука возгоралась ссора, и доходило до того, что Семен Андреич совершенно неделикатно называл свою жену глупой бабой и греховодницей, а она честила его умником и вольтерьянцем. В этих ссорах доходило иногда до того, что Варвара Николаевна принималась даже жаловаться на свою судьбу и уверять, что рок ее преследует в лице мужа, как будто бы он был какая-нибудь яростная Евменида. Но эти жалобы выговаривал только язык, они были до того привычны и как-то стереотипны, что не находили сочувствия даже в сердце самой Варвары Николаевны. Что касается Семена Андреича, — его, степенного и положительного человека, никак уже не могли расстроить подобные предрассудки, как он называл заодно и мнения, и слезные жалобы своей жены. Да и она, правда,— тоже уверенная в своей справедливости и думая, что муж не способен чувствовать, как она, что он слишком близорук в своих суждениях и может верить только тому, что у него перед глазами,— тоже не обращала внимания на обидные прозвища, которыми он наделял ее. Отвечала она ему, и иногда довольно резко, только потому, что ведь нельзя же так совсем оставить без внимания его слова, не защитить ни словом своих понятий...

Под влиянием этих разнородных характеров выросла в родительском доме Наденька. Впрочем еще более испытала она влияний посторонних. У ней были няньки и мамки, ее учили разным наукам, она говорила и читала на французском языке: все это отдалило ее от родительской патриархальности, и старики во многих случаях даже не понимали ее, хотя она говорила по-русски. Частые споры между отцом и матерью ставили ее довольно в затруднительное положение: она п о н и м а л а основательность отца и ч у в с т в о в а л а правоту матери. Ей почему-то нравилось думать, что в самом деле кошки гостей замывают, что заяц, перебежавший дорогу, предостерегает перед несчастием, что красное яйцо, первое полученное при христосовании в светлое воскресение, потушит пожар, если его бросить в середину пламени... Правда, она никогда не видала подобных обстоятельств, — замечала часто, что ее ожидания, возбужденные приметами, не сбываются, но что-то поэтическое было в них для нее, и она не могла отвергнуть их... Удивляться этому нечего: разве Шиллер не жалел о богах Греции? Разве на каждом шагу не встречаем мы людей, которые держатся тех или других убеждений, ровно ничего не имея сказать в защиту их и очень хорошо чувствуя их несостоятельность перед голосом рассудка,— держатся потому только, что им не хочется расстаться с тем, что так мирно живет в них с самого детства, ладит со всеми противоречиями, напоминает счастливое, невинное время их ребячества?.. И Наденька не стыдилась своих суеверий: она всегда готова была сказать, что она сама знала, что все это вздор, но что этот вздор ее занимает. Однажды она сказала даже Тропову в ответ на его рассуждения: «Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — на что он отве-



Н. А. ДОБРОЛЮБОВ

С фотографии (50-х гг.), хранящейся в Государственном Музее Революции СССР

гил довольно пошло, сказавши, что, например, такая красавица, как Наденька, наверно не снилась ни одному мудрецу.

Тропов был уже принят в семье как родной. Он приходил туда, когда хотел и в чем хотел, не стесняясь утренними, обеденными и вечерними костюмами, предписанными неумолимым законом провинциального этикета... Если бы не холера, он бы уже давно был счастливым обладателем Наденьки, но теперь Семен Андреич наотрез объявил, что пока в городе холера, свадьбе не бывать, и Варвара Николаевна даже рассердилась однажды на жениха за его настойчивость и поразила его пословицей, что на хотенье есть терпенье. Иван Васильевич находил, что это решение очень безрассудно, и старался придумать, как бы победить упрямство стариков... Он все еще не терял надежды и потому жил в N и ждал благоприятнейших обстоятельств... Дожидаться конца холеры не хотел, потому что в таком случае он должен был прожить здесь может быть до зимы, — а в августе кончался срок его отпуска. Он видел, что должен был скоро отправляться обратно ни с чем; но надежда — сладкий удел всего человечества; кого же не удержит и не поддержит надежда? А у Тропова была в виду не только надежда, но еще Надежда Семеновна... И он с намерением возобновить попытку склонить стариков к согласию на свадьбу и с новой надеждой на успех явился к Быстрицким в тот день, как мы видели уже его в приятном обществе Павла Гавриловича.

III

Когда он вошел в залу, в ней были Семен Андреич и Варвара Николаевна. Он, по обычаю, вошел без доклада потому, что в передней у Быстрицких никого не было, и всякий, кто бывал уже в доме, преспокойно отправлялся из передней далее до той комнаты, где находил хозяев.

Увидав Тропова, Семен Андреич проговорил: а, вот и Иван Васильич, и подал ему руку, не вставая с места, а Варвара Николаевна спросила: отчего вы не приходили к нам обедать?

Тропов пожал руку Семену Андреичу, поцеловал руку хозяйки и сказал, как будто отвечая на вопрос ее:

— Я сегодня сошелся с одним старым знакомым... Знаете вы Изломова?

— Как же не знать... помилуйте... Славный малый, — отвечал Семен Андреич.

— Да, и так рассуждает хорошо. Право, иногда целый вечер говорит, будто книга.

— Немного успел я с ним побыть, а уже успел-таки заметить, что он выражается очень книжным языком... Он говорит, как пишет, только что говорит!..

Намек Тропова пропал даром. Быстрицкие не настолько знали «Горе от ума», чтобы помнить, как отзывается о Чацком Фамусов, и проводить параллель между Чацким и Изломовым.

В это время вошла в залу Надя. Она дружески протянула руку Ивану Васильичу, и он не задумался пожать и поцеловать ее.

— Мы говорим об Изломове,— обратился к ней Тропов.— Нравится он вам?

— Изломов? Я его почти не знаю. Впрочем, кажется, ничего...

— Это — красноречивый оратор, — начал Иван Васильич, — это N-ский Демосфен, человек одаренный даром слова, человек, слушая которого, вы не можете надивиться, откуда лезет вся эта книжная диссертация, и приходите наконец к печальному заключению, что он предварительно выучил ее наизусть.

— Этакая голова, — пробормотал Семен Андреич, оставляя сигару. — Ведь рад, что встретился с приятелем, и тотчас же начинает ругать его.

— Что вы, что вы, Семен Андреич? Чтобы я стал ругать приятеля! Никогда... А отчего же не пошутить, отчего не смеяться над тем, что кажется смешно? Да я ему и в глаза скажу то же самое.

В глаза ему этого бы Ивана Васильевич не сказал... Но он полагал, что иногда бывает недурно выставить свою прямоту и рыцарское без страха и упрека, хоть и говорят, что ныне рыцарство не в моде.

На этот раз однако же нареченный тесть вздумал поучить зятя житейскому благоразумию и потому заговорил:

— Не советую говорить подобных вещей ни ему и ни кому другому, от этого решительно никакой пользы не получите... Да и не понимаю я, что тут хорошего? Обидел человека за глаза и чтобы поправить, кажется, или уменьшить, что ли, свою вину — вдруг кидается на него и повторяет свое оскорбление в глаза ему! Я тут не нахожу ровно ничего благородного и благоразумного.

— Да скажите же, разве я обидел его? Я потому-то и могу повторить при нем мои слова, что не считаю их обидными для него.

— Вы не считаете, а он может счесть... Можете ли вы знать, как он это примет?

— Конечно, примет, как и всякий порядочный человек должен принять шутку.

— Что вы мне говорите о порядочных людях? Разве все хорошие люди сделаны непременно на одну колодку. Ну, смотрите, ведь и вы, и я оба мы не дурные люди. А какая между нами разница!.. Как часто мы не сходимся!..

— Ну, мы с вами, Семен Андреич, разошлись далеко только в одном случае. Касательно вопроса о свадьбах во время холеры.

— Да уж об этом и толковать нечего, — возразил строго Семен Андреич.

— А я именно еще хотел сегодня поговорить с вами об этом. Право, не знаю, что вы делаете... Хоть бы холера взяла меня поскорее, тогда, выздоровевши, я бы уже не имел препятствий.

— Ах, Господи, что это вы говорите! — воскликнула Варвара Николаевна и плюнула в сторону.

— Ну, матушка, отплюнься, — пробормотал Быстрицкий.

— Ну, уж ты... И думает хорошо, что ничему не верит...

— Так, по-твоему, в плеваньи, что ли, вера-то?

— Вот, вот, всегда так, — жалостно говорила Варвара Николаевна, относясь к Тропову. — Ну, вот, скажите вы, умный человек...

Она хотела сказать, — приятно ли слышать, как накликают на себя болезнь, и как же не плюнуть при этом? Но она во-время вспомнила, что эти неприятные слова сказал сам же Иван Васильич, и потому остановилась, несколько сконфуженная и не зная, что сказать...

Тропов понял ее затруднение и поспешил на выручку.

— Однако я показал себя перед вами не совсем умным человеком, сказавши такую вещь, которая вас расстроила...

— Нет, я не то, — отвечала она. — А вот видите, он ведь все так, как будто он уж все знает. Не верит тому, что я сама испытала и доказала уж ему, доказала. Да вот, чего ближе, Наденька... Маленькая она, бывало, часто хворала так, без причины, захворает, да и только. Ну, разумеется, уж значит сглазили... Я, бывало, ничем и не лечу, — слизну только ее с лобочка, да спрысну холодной водой с уголька — и как рукой снимет, — на другой же день — здоровехонька... Так нет ведь, все-таки не верит...

— Я удивляюсь еще, как вы, Иван Васильич, до сих пор не сглазили

Наденьку, — шутливо заговорил Быстрицкий, — верно вы не умеете смотреть как следует. Да, впрочем, погодите еще: чуть у Нади сделается насморк или бессонница появится, — тогда приходите полюбоваться, как она будет ее с л и з ы в а т ь.

И Семен Андреич весело захохотал, Наденька тоже рассмеялась, а Варвара Николаевна нахмурилась и еще раз плюнула в сторону.

— И где это он набрался таких понятий? — продолжала она. — Вот-то брат покойник, — и в университете учился, и в Москве жил сколько лет. Ведь уж, конечно, и правду сказать, нынче народ не прежде, — мало веры в людях стало... А никогда, бывало, не кощунствует этак. Разве только что объяснит там что-нибудь по-своему... Ну да ведь это можно. То-есть он там объясняет-то иначе, а оно все-таки так выходит.

— Да, я это очень хорошо понимаю, — отвечал Тропов, который, правда, не совсем понимал заключений Быстрицкой, — но если я вам сказал о холере, так это совсем по легкомыслию; я именно желаю, чтобы меня схватила легонькая холера, после которой вы, разумеется, дали бы нам свое благословение, потому что ведь холера бывает только один раз в жизни с человеком.

— Нет, извините, все-таки я бы еще не согласился, — возразил отец. — Конечно, вы были бы безопасны, но — сохрани бог, — от слова не придет, — если вдруг захворает Наденька, и вы останетесь молодым вдовцом... Что же, ведь вы тогда на нас будете богу жаловаться.

— Боже мой, какие мысли приходят в голову... Да посмотрите, может ли холодная рука смерти коснуться этого прекрасного, свежего, дивного организма?

И произнеся эти слова намеренно-напыщенным тоном, Тропов вскочил со стула, отступил шаг назад и стал перед Наденькой, как будто в благоговейном созерцании. Наденька смеялась, но ничего не сказала.

— Шутить этим нечего, — строго ответил отец... — Мало ли что бывает. Сделавши, дело уже не переделаешь, — а теперь все-таки вы еще не связаны, вольный казак. — И, как бы желая отделаться от неприятного разговора, он вдруг сказал, возвысив голос: — Что, Надежда Семеновна, не пора ли чаю нам дать?

— Да, уж давно семь, — отвечала Наденька и вышла из комнаты.

Но Тропов упрямо стоял на своем.

— Неужели же вы думает, — горячо возразил он, несмотря на перерыв старика, — что я могу позабыть это прелестное создание, что я легче перенесу разлуку с ним, если бы это несчастие случилось в настоящем нашем положении? Неужели, по-вашему, расчет или обязанность может действовать сильнее, нежели чистое, горячее, искреннее чувство любви в сердце молодого человека? Да назовите меня подлым, гадким человеком, если я когда-нибудь соединю судьбу свою с другим существом, кроме вашей дочери.

— Вы, кажется, не замечаете, что ее здесь нет, и следовательно некому оценить ваши восторги, — спокойно отвечал Быстрицкий.

Иван Васильич несколько смутился от этих слов, а старик продолжал со вздохом:

— Да все вы, молодые люди, так говорите, а случись, в самом деле, ну, — от слова не придет, умри наша Надя вскоре после свадьбы, — право, терзаться будете, что связали себя; да что говорить: и с чужа горько взглянуть на этакую беду.

— Да чего, — подхватила Варвара Николаевна, — вот завтра пойдем на похороны. Кузьма Максимыч умер; только всего два месяца, как женился, и ведь на какой девушке-то, если б вы знали.

— Уж, верно, не то, что ваша Надежда Семеновна. Зная ее, я ничего больше не хочу знать, — отвечал Иван Васильич, чтоб прекратить похорон-

ный рассказ, — и — поверьте, я уверен, я предчувствую, что нас с ней ожидает невозмутимое счастье... Вам ровно нечего бояться...

— Ах, нет, Иван Васильич, в этом случае уж Семен Андреич совершенно прав... Он вам доказал резонно... А правду сказать — у меня еще есть одна причина, Семен Андреич ей не верит, а для меня она дороже всего.

— Что же это такое? — спросил жених.

— Полно, вздор-то молоть, — заметил как будто про себя муж.

— Да для тебя это, разумеется, тарабарская грамота, а вы, Иван Васильич, умный и может быть и рассудите. Еще в прошлом году, когда об холере у нас и-и-и помину не было, — приходит ко мне одна старушка и просит, чтоб дала ей погадать. Я, чтоб испытать ее, знаете, спрашиваю сначала, — погадай о моем женихе — так, что вы думаете, ведь узнала... не могу, говорит, гадать, ты меня обманываешь. Ну, как могла она узнать это, скажите мне...

— Да, это довольно странно, — проговорил Иван Васильич так серьезно, что Андрей Семеныч не вытерпел и расхохотался.

— А вы бы не узнали? — спросил он Тропова...

— Ах ты, боже мой! — сердито посмотрела его супруга.— Двадцать раз ты мне этим надоедал... Старость, да старость... Да что же такое?.. Да разве не помнишь, шесть лет тому назад венчали старуху Воронину—57 лет. А мне еще всего-то 50... Не слушайте его, пожалуйства,— обратилась она к Тропову и продолжала рассказывать: — так вот эта старуха много, много мне рассказала, решительно все узнала. Спросила я ее и про Наденьку. Старуха задумалась что-то, потом и говорит: Да, говорит, она будет и счастлива и здорова будет, а захворает, когда все будут хворать, тогда, говорит, берегите ее... Я тогда-таки думала, что бы это значило... А вот теперь-то и поняла. Уж ясное дело, что Наденьке холеры не избежать... Только дай бог, чтоб полегче была. Я уж и то так боюсь, так боюсь за нее. До сих пор и не говорила ей, чтобы не напугать... Посудите же сами, на что глядя нам ее выдавать-то теперь...

— Маменька, здесь будем чай пить или в столовой? — раздался голос появившейся в дверях Наденьки.

— Я думаю, там лучше будет,— отвечала. — Здесь ведь вот сейчас солнышко прямо в окно ударит... Такая жара несусветимая.

— Так пойдемте туда. Отправимтесь, Иван Васильич, — сказал хозяин, вставая с своего дивана.

И отправились.

IV

Таким образом главною причиной всех неуспехов Тропова было предсказание какой-то старухи... Убеждения Семена Андреича, как и всякое живое, разумное убеждение, можно было изменить, представивши ясные и справедливые доводы. Но что прикажете делать против тупого безмыслия, против слепого суеверия, принимающего за непреложный закон слова какой-нибудь знахарки, нисколько не трудясь подумать об них и спросить себя, насколько в них есть здравого смысла и насколько чудовищной, химерически построенной фантазии?.. Тропов чувствовал, что старание переменить уверенность Варвары Николаевны весьма во многих отношениях напомнило бы камень Сизифа. Поэтому он счел за лучшее безмолвно согласиться с ней и во все время чая думал только, как бы надуть старуху. Чего ищешь, то находишь, — говорили мудрецы, — и это изречение, в других случаях приложимое всегда наоборот, на этот раз оправдалось совершенно. Счастливая мысль посетила голову молодого человека, он ухватился за нее, любовался ею, рассматривал ее со всех сторон и, повидимому, вполне остался доволен. Он развеселился, только поддакивал Варваре Николаевне, утверждавшей,

что мыши плодятся четыре раза в месяц, убеждал весьма комически Быстрицкого в том, что между добродетелью и достоинством неизмеримая разница, и наконец, прощаясь с хозяевами довольно уже поздно вечером, успел как-то шепнуть Наденьке, что он должен завтра поговорить с ней одной; она сказала ему: утром, и жених наш ушел самодовольный и счастливый...

Соображения его заключались вот в чем. По системе N-ских докторов, которой справедливость не подвержена сомнению и которой сама Варвара Николаевна не отвергает, — холера с одним и тем же человеком два раза не бывает. Доказательством этому служит наблюдение, показывающее, что с одного вола двух шкур не дерут, — и опыт, убеждающий, что по крайней мере о большинстве холерных больных можно смело сказать, что с ними не будет уже не только холеры, но и какой бы то ни было болезни и печали благодаря искусству докторов. Таким образом если бы жених и невеста выдержали хоть легонькую холеру, — разумеется, — они бы могли спокойно подать руку хоть самой холере, нимало не опасаясь заразиться. Если же холера не спешит ко мне притти, — думал Тропов, — а ждать ее я не хочу, так отчего бы не сказать, что был в холере, да и только. Всего-то пролежать день-два, — подергать ногами, подрожать, поохать... Вот и все... Для пущей важности можно даже принять рвотное. Чудная мысль... А потом, потом можно и Наденьке захворать таким же образом... Только нужно предупредить ее, и вообще с нею условиться...

Вследствие этой мысли Тропов просил у Наденьки позволения говорить с ней наедине и, получив его, считал уже все дело конченным.

Половину ночи придумывал он разные фразы и доводы, которыми бы мог повернее убедить Наденьку согласиться на его предложение. Поздно заснувши, он зато и встал поздно. Несмотря на то, он тщательнее, чем когда-нибудь, занялся своим туалетом и как-то странно, но очень мило взбил себе волосы, сделавши таким образом из своей прически что-то вроде à la чорт побери!.. Он хотел казаться интересным и вместе человеком отчаянным, на все готовым и отчасти вдохновенным.

В доме Быстрицких он, как и нужно было, застал только Наденьку. Отец и мать были на похоронах. С Наденькой сидела старушка няня, — нянчившая всех детей Семена Андреича и теперь уже едва таскавшая ноги. Она очень рада была гостю, по приходе которого в ту же минуту и отправилась к себе в каморку отдохнуть... Таким образом все устроилось благополучно.

Не буду я описывать вам, мой воображаемый читатель, сцену, которая произошла между молодой девушкой и молодым человеком, не буду описывать ее потому, что надоели уже и мне самому все подобные сцены, тысячу тысяч раз повторяемые, с незначительными изменениями, во всех повестях и романах. Естественно желая угодить моим читателям, я решился предоставить каждому из них право обратиться для воссоздания этой сцены или к своим собственным воспоминаниям или к первой попавшейся под руку повести. Может быть найдется какой-нибудь читатель — психолог, который желал бы проследить в этой сцене характер моих персонажей. Но с душевным прискорбием я должен известить его, что Тропов остался при этом таков же, как и был, и никакой новой крупной черты не обнаружил, — а Наденька — Наденька, увы, не выказала никакого характера: сначала она испугалась его предложения, хотя оно было прикрыто тончайшей сетью громких и нежных фраз и укреплено всеми доводами любовной софистики. Ей казалось как-то неловко обманывать мать и заставить плакать, беспокоиться и хлопотать около нее — попустому. Но Иван Васильич как дважды два—четыре доказал ей, что лучше же за один раз покончить Варваре Николаевне все свои беспокойства, нежели несколько месяцев дро-

жать за жизнь людей, милых ее сердцу. Тут он сообщил ей и предсказание, которое смущало старушку. Эти доводы победили Наденьку, но еще было препятствие: как притвориться, чтобы болезнь приняли за холеру. Тропов тут все устроил: Наденька должна была захворать в отсутствии отца, пожаловаться сначала на головную боль, потом показать вид, будто ноги и руки сводит судорогами... Варвара Николаевна так сильно и с такой верой ждала холеры для своей дочери, что тотчас должна была этому поверить. Для убеждения же доктора, за которым разумеется тотчас пошлют, можно взять легонький прием рвотного. Наденька долго отговаривалась, но наконец согласилась на все.

Во всем этом деле можно было опасаться только доктора, который мог обнаружить секрет. Для этого предположено было, что болезнь поразит сначала Ивана Васильича, он пригласит того доктора, который лечит всегда у Быстрицких, и произведет ему испытание. Если он откроет, что болезнь мнимая, то нужно будет закупить его; если же сойдет с рук, тогда смело можно рассчитывать на его искусство.

Кончивши все совещания, Тропов пошел приготовить все нужное. Нужным оказалось только рвотное, и он взял его в аптеке сам, половину оставил для себя, а половину передал Наденьке, явившись опять к Быстрицким обедать. За обедом он был бешено весел и все уверял, что холера не смеет взять его,— к великому ужасу Варвары Николаевны, которая даже не могла отплевываться, потому что рот ее — естественно — занят был в это время совсем другим делом.

V

Сказано — сделано... На другой день Быстрицкие узнали, что Тропов болен холерой. Семен Андреич покачал головой и начал ворчать что-то про себя, Варвара Николаевна охнула, упала в изнеможении на стул и залилась слезами и Наденька тоже заплакала — не знаю, — потому ли, что слезы для нее были очень дешевы, или потому, что она представила себе отчаяние матери во время другой предположенной болезни. Несколько минут прошло таким образом. Наконец Быстрицкий встал, в раздумьи прошелся по комнате и решил — надо сходить к нему.

Варвара Николаевна, хотя и верила заразительности холеры, как многие тогда еще верили, но не имела духа остановить своего мужа. Она могла только посоветовать ему, чтоб он был поосторожнее, чтоб не садился возле кровати больного, чтоб не дотрогивался до его тела и т. п.

Быстрицкий застал Тропова в постели, лежащего с диким взглядом и стонами, которые были слышны через две комнаты, больной не приметил его прихода и даже не повернул к нему головы. Человек его с печальной миной стоял перед ним с суконкой в руках. Через несколько минут по приходе Быстрицкого началась рвота. Тропов показался нареченному тестю страшно худ и бледен. Пробывши здесь еще несколько времени и не зная, чем помочь несчастному, Быстрицкий осведомился, был ли доктор, узнал, что был и прописал лекарства, спросил еще, рано ли началась болезнь, и лакей рассказал ему, что еще в ночь барин почувствовал судороги в ногах,— тотчас же сам встал и начал тереть себе ноги, долго возился, все хотел переломить себя и никого не будил. Наконец уж часу в седьмом разбудил человека и послал его за доктором. Тот приехал тотчас. При нем сделалась рвота. Доктор сам пробыл здесь с полчаса, спросил, оттирали ли ноги, и узнавши, что оттирали только сначала, велел было опять тереть. При нем минут пять и тер человек суконками ноги барина, да и то все тот его останавливал — то пить спросит, то одеть велит, то подушки поправить. А как доктор уехал, так и совсем не велел оттирать... Мне, говорит, это

всю внутренность перевертывает, а судороги слава богу кончились. Так вот и лежит, все охает и как будто в забытьи,— заключил лакей, шопотом рассказавши историю его болезни.

Быстрицкий еще с полчаса оставался у постели больного, хлопотал около него, принял от человека лекарство, принесенное из аптеки, и попробовал предложить больному принять его... Но Иван Васильич отвечал на это только диким, пронзительным стоном, и вдруг голова его бесчувственно покатилась по подушкам. Семен Андреич испугался и бросился тереть ему виски одеколоном... Больной очнулся, застонал снова и начал метаться по постели и ломать руки, не отвечая ни слова на заботливые предложения старика.

— Нужно опять сходить за доктором, — говорил Быстрицкий слуге, — беги, отыщи его где-нибудь, а я пока останусь с ним.

— Да где теперь доктора найдешь, сударь, — отвечал тот, — ведь вот оно, время-то здесь какое.

— Как же быть, братец, ведь умирает, какого-нибудь найди доктора.

— Ведь давеча тот сказал, что коли, говорит, опять будет сильная рвота или судороги, вот этого чтобы лекарства принять. Да они еще и его не принимали-с. Может, от него что и полегче будет.

— Да ведь как ему дашь! Иван Васильич, Иван Васильич, — продолжал старик, приступая к нему, — примите этой микстуры. Вам непременно нужно успокоиться... Как хотите, я налью,— решительно сказал он, увидев, что Тропов остановил на нем свой блуждающий взгляд...

И он налил и поднес ему ко рту ложку микстуры. Больной так мало разинул рот, что в него едва ли попала половина, а и ту он тотчас же вылил опять изо рта, поворотившись к стене и закрывшись одеялом... Несколько минут после этого он продолжал еще ломать руки и ворочаться по постели, наконец затих, и только слабые стоны изредка слышны были из-под одеяла, в которое закутался он с головою.

Семен Андреич, видя, что ему делать здесь нечего, отправился домой, обещавши прислать своего человека сидеть возле больного, потому что нельзя же одному хлопотать около него бессменно и день и ночь.

Дома Быстрицкий говорил Наденьке, что жених ее похвалился да и свалился, и не узнаешь теперь... Вчера был молодец молодцом а теперь такой мокрой курицей сделался.

— А ведь сердце мое вчера еще предчувствовало эту беду, право, — начала Варвара Николаевна.— Вот ты говоришь иногда, что вздор,— нет не вздор... Весь день вчера я была, как на иголках... и как он это скажет, что холеры не боится, — у меня так сердце и замрет, так и думаю: батюшки мои, накажет его Господь, поплатится он за эту удаль. Вот и пришло. И что это за охота человеку самому в петлю лезть!.. Зачем было накликать болезнь? Теперь уж вот и покается, да поздно...

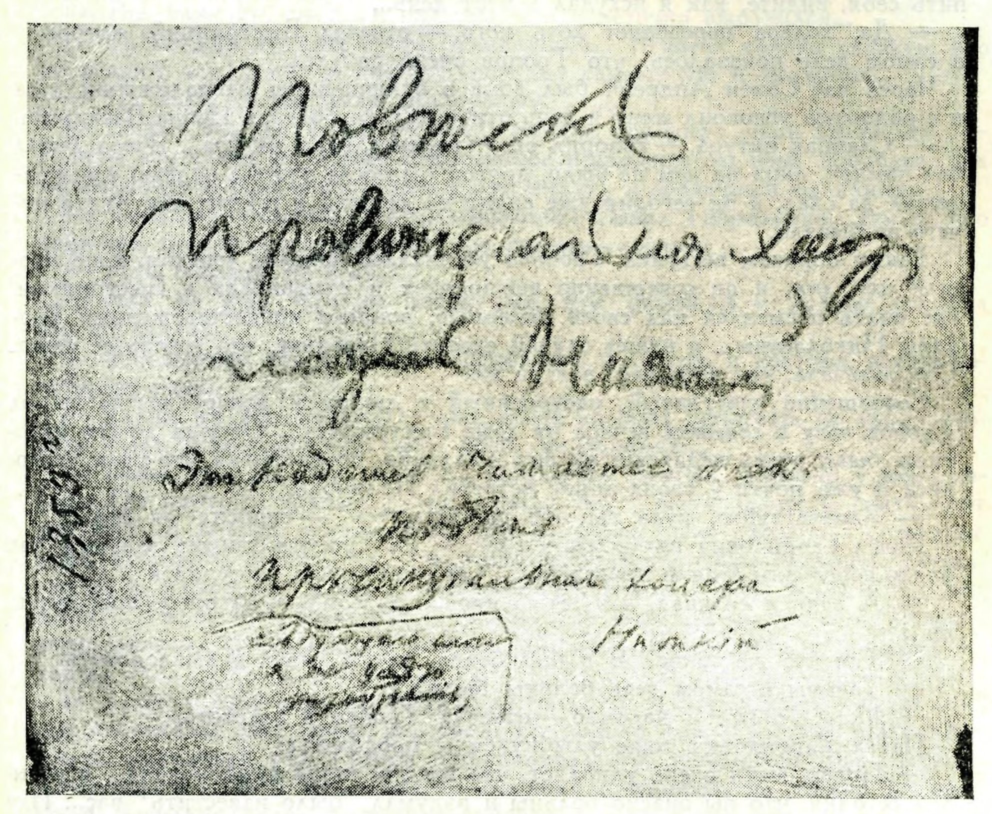
— Полно ты, все не от того... Мало ли кто болен был холерой — разве все сами накликали?

— Так уж то там уж сама болезнь пришла — нечего и говорить. А это сам напросился...

Быстрицкий был слишком встревожен болезнью Ивана Васильевича, чтоб пускаться в споры с своей супругой; он знал, что это поведет слишком далеко. У Варвары Николаевны всегда был в запасе целый арсенал примеров, сравнений, даже свидетельств каких-нибудь знахарок и юродивых, которым она приписывала безусловный авторитет, — и каждое возражение, каждое сомнение в истине ее убеждений по этой части она готова была отражать этим орудием. Правда, после длинного разговора сущность возражения оставалась все та же, но противник часто доведен был до того, что уже решительно не знал, что бы такое сказать Варваре Николаевне подходящее к ее понятиям, — и она добродушно считала себя победительницею.

Теперь, не встречая возражений, она и сама скоро оставила свои соображения о причине болезни Тропова и дала волю своему доброму сердцу. Она начала плакать. Сначала тихо, потом с прибавкою изредка слов, изъявляющих ее сожаление, потом пустилась вдруг в горькие размышления, что кто бы мог это подумать, наконец принялась за подробное исчисление достоинств Ивана Васильича.

Наденька знала, что все это была только фальшивая тревога, но ей почему-то было тоже грустно. Безмолвно сидела она у окна и, казалось,



НАДПИСЬ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ РУКОПИСИ ПОВЕСТИ ДОБРОЛЮБОВА «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА»

С подлинника, принадлежащегося К. М. Федорову

о чем-то все думала. Думала, думала и вдруг залилась слезами. Скоро тихий плач ее перешел в громкое рыдание, и Варвара Николаевна бросилась утешать ее, утверждая, что бог милостлив, что еще можно надеяться на выздоровление Ивана Васильича и пр.

Весь тот день проведен был семейством Быстрицких особенно мрачно и уныло. Наутро, только что вставши, Семен Андреич опять отправился навестить больного...

Он застал его в постели за чашкой кофе... Иван Васильич очень весело принял его, благодарил за вчерашнее посещение, уверял, что вчера он сам был твердо убежден, что больше не жилец на белом свете, но что сегодня он, напротив, чувствует себя очень хорошо и чрезвычайно удивился такому быстрому излечению... — Вероятно, оттого, что сильные потрясения не могут быть продолжительными, — говорил он, — холера моя как внезапно началась, так же внезапно и кончилась. Зато вчерашний день уж досталось мне. Если бы мне предложили вчера пролежать год во всякой другой

болезни, с тем чтобы избавиться от вчерашних страданий, я, нисколько не думая, согласился бы.

— Однако вы теперь, мне кажется, слишком неосторожны, — говорил Быстрицкий.— Как можно так много говорить после болезни, и особенно этот кофей...

— Помилуйте, да холера после себя не оставляет ровно никаких следов; я доктора спрашивал, он мне сказал, что все, что только может укрепить меня, в теперешнем положении мне полезно... Мне очень нужно подкрепить себя, видите, как я исхудал в этот день...

— Да, холера перевернет хоть кого, — отвечал Быстрицкий, которому в самом деле показалось, что Тропов очень похудел.

Через час Семен Андреич был дома в отличнейшем расположении духа и с радостью успокоил жену и дочь относительно болезни Ивана Васильича.

— Славная натура, — говорил он, — переносливая натура... Вчера лежал без памяти, лица на нем не было, другой бы после этого с неделю еще пролежал да охал, а он сегодня уже сидит на постели и шутит, как будто ничего не бывало.

Таким образом выдумка Тропова увенчалась полным успехом. Еще прошли два дня, и он совершенно выздоровел и отправился к Быстрицким, где опять посмеялся над своей болезнью, вопреки предостережениям Варвары Николаевны... и нашел случай сказать Наденьке, что теперь ее черед. Она отвечала, что захворает завтра же.

Совершенно счастливый, настроенный к любви и доверенности, вышел Тропов часу в седьмом вечера из дома Быстрицких... Отсюда до его квартиры было очень недалеко; он шел медленно, посвистывая что-то в полголоса и уже почти у своих ворот встретил Изломова.

— Здравствуйте, куда вы это пробираетесь? — спросил он его...

Павел Гаврилович изумился и смотрел на Тропова такими глазами, как будто перед ним стояло приведение... Он решительно растерялся...

— А ведь я слышал, что вы больны... холерой, — наконец проговорил он...

— Так что же такое? Я и был болен, да уж успел и выздороветь.

— Так вы в самом деле больны были?

— Может быть, и нарочно,— отвечал Тропов и захохотал.

Павел Гаврилович тоже улыбнулся и продолжал:

— Право, меня очень удивляет, что вы так скоро выздоровели... я услыхал сегодня, что вы опасно больны и вздумал было навестить вас... Иду и думаю... еще в каком положении застану человека, может быть и войти мне нельзя будет и вдруг встречаю вас.

— Так вы ко мне,— гостеприимно воскликнул Иван Васильевич.— Пойдемте же, пожалуйста... Ведь вот моя квартира.

Изломов пошел к нему и нашел здесь все в страшном беспорядке... Иван Васильич дома почти не жил и поручил свои комнаты в полное заведывание Василья, своего человека... А этот, напуганный болезнью барина, поднял весь дом вверх дном и ни одной вещи, кажется, не оставил тогда на своем месте,— после выздоровления праздновал по русскому обычаю и потому не мог еще привести всего в первобытный порядок... Таким образом, войдя в залу, Изломов увидел здесь посреди комнаты стол с разными тряпками, бумажками, стаканами в самом лирическом беспорядке... Около стола группировалось несколько стульев, один боком к нему, другие — спинками, третьи совсем опрокинутые... На диване валялось несколько сюртуков и жилетов... В гостиной под столом стояли сапоги, а за зеркалом было заткнуто полотенце.

— Этакое животное, этот Василий, — проворчал Тропов, входя в комнату. — Извините, пожалуйста, — обратился он к гостю, — вы видите у ме-

ня совершенную мерзость запустения; это все случилось в то время, когда я был в челюстях смерти...

— Помилуйте, что за извинения. Разве скоро придешь в себя после такого потрясения. Однако вы необыкновенно скоро поправились. Даже следов нет, следов нет... Встретивши вас, никто бы не подумал, что вы не далее как третьего дня лежали в постели.

— Да и я сегодня лежал в постели, и вы, верно, тоже... Однако же мы здоровы...

— Вы, кажется, смеетесь над тем, что я неточно выразился...

— О, нет, не думайте этого, пожалуйста... Я хотел только сказать, что не всякий, кто лежит в постели, поэтому самому уж и нездоров...

— Да ведь вы же были нездоровы?

— Бывал, как не бывать,— весело смеясь, говорил Иван Васильич...— У него вертелось на языке откровенное признание во всей проделке. Он необыкновенно был расположен в эту минуту к сердечным излияниям.

— То-есть — недавно были,— повторил Павел Гаврилович, думая, что приятель просто мистифицирует его своими словами.

— Нет, недавно не был...

— Как же это? Что же значат все эти рассказы о холере, которая вас поразила?..

— Это значит, что я захотел подурачить и холеру, и доктора, и еще некоторых особ...

— Каким же это образом? — жалостно возопил приятель, на лице которого было ясно написано: хоть убей, не понимаю...

— Боже мой, да очень просто... Призываю доктора, говорю: у меня холера. Он смотрит, щупает пульс, между тем у меня делается рвота — от рвотного, и доктор, убежденный, что в самом деле холера, бежит от меня, второпях прописывает лекарство, спешит к другим больным, рассказывает в нескольких домах о моей болезни, и вот Тропов болен... Ах, как жалко!.. Переживет ли он эту ночь! Есть ли надежда спасти его?.. Опасен, очень опасен,— говорит всем доктор... А ведь, признайтесь, опасный я человек? А...

И Тропов ребячески захохотал, радуясь своей проделке, как будто бы она доставляла ему целое царство... Несколько раз Изломов хотел уйти домой, и каждый раз Тропов останавливал его, упрашивая еще посидеть и поговорить... В 8 часов явился Василий и спросил, не угодно ли чаю. Иван Васильич велел поставить самовар к ним в комнату, и целый час они сидели за чаем, пили, курили, смеялись... Тропов был вне себя от радости, и никакое темное предчувствие не возмутило его отрадного вечера...

VI

Другого рода сцены происходили на другой день после этого в доме Быстрицких. В 11 часов Семен Андреич по заведенному порядку, напившись чаю и закусивши, отправился в должность. Наденька была что-то бледна и угрюма все утро и тотчас после его ухода стала жаловаться на головную боль и озноб. Мать тотчас уложила ее в постель и пошла приказать, чтоб опять поставили самовар и заварили для Наденьки мяты... В это время Наденька приняла рвотное... Через несколько минут, когда мать опять вошла в комнату, она стала жаловаться на тошноту и вдруг начала передергивать ногами, как будто их сводили судорги... Потом началась рвота... Сама мнимая больная напугалась, побледнела и очень не рада была этому действию... Что же касается Варвары Николаевны она была поражена, как громом... Вот оно послание-то божеское, — подумала она и в порыве отчаяния, высунув голову из дверей Наденькиной спальни, кри-

чала: Варя, Варя, Катя, Варя, Катя..! Скорее! Скорее! Ах, батюшки... скорее со щетками, оттирать... Наденька... холера....

Прибежавшие на зов девушки, испуганные не менее барыни, бросились тотчас за щетками и суконками, нарочно заранее приготовленными для этого предусмотрительной Варварой Николаевной, и, прибежав впопыхах в спальню Наденьки, начали вдруг изо всей силы растирать ее нежные ножки. Наденька, изнуренная рвотой, сначала не чувствовала ничего и лежала спокойно, но через несколько секунд жестокое растирание произвело в ней мучительные ощущения нестерпимой боли, и она начала кричать и рвать ноги из-под рук усердных девушек. Но мать, считая это новым припадком судорог, велела тереть сильнее и выбежала из комнаты, чтобы послать за доктором и кстати захватить с собой какого-то противохолерного средства. Когда она снова вошла в комнату, Наденька страшно металась на постели, употребляя неистовые усилия освободиться от мучительного растирания, которое давно уже содрало кожу с ее нежных ножек... Она кричала, говорила, что она больна совсем не холерой, что ее мучат, тиранят, но девушки не хотели слушать ее убеждений и почтительно уверяли ее, что это необходимо, что ведь без этого умрешь непременно. Когда Варвара Николаевна подала Наденьке свое лекарство и для этого велела прекратить на минуту растиранье ног, — Наденька жадно бросилась на него и выпила вдруг... После этого Варвара Николаевна поставила дочери горчичник к груди и снова велела тереть ей ноги, несмотря на все ее мольбы и слезы. Снова начала метаться и пронзительно стонать и кричать бедная Наденька, снова мать залилась слезами и бросилась на колени перед иконой, прося бога пощадить ее милую, драгоценную, единственную Наденьку. И как будто по ее молитве, в самом деле Наденька успокоилась, забылась... Ее бросило в сильный жар, дыхание ее было тяжело и прерывисто, и она уже не кричала и не противилась... С ней можно было делать, что угодно...

Скоро приехал доктор. Выслушав подробный, преувеличенный рассказ Варвары Николаевны об ужасах болезни и узнав о средствах, ею принятых, он похвалил ее за предусмотрительность, посмотрел на Наденьку и удивился, нашедши в ней сильный жар. Он не знал, что ему делать. Но размышлять слишком долго было некогда... У него было много практики. Мать уверяет, что холера, чего же еще... и он прописал рецепт против холеры и уехал, обещавшись явиться еще раз к вечеру.

Принесли лекарство, прописанное доктором. Наденька должна была выпить и его... Но только в первый раз могла она сама для этого приподнять голову. После этого приема она так ослабела, что во второй раз Варвара Николаевна должна была влить ей в рот лекарство насильно. Больная лежала бесчувственно, тяжело и редко дышала и бредила. Через несколько часов страшная горячка развилась в этом нежном организме.

Даже мать, заметив страшную перемену в своей дочери, подумала, что может быть болезнь ее какая-нибудь другая. Опять послали за доктором. Это уже было часа в два... Приехал доктор и сгоряча стал уверять, что у больной все прошло, что она в испарине, — это значит, что болезнь принимает благоприятный оборот. Но когда он почувствовал пульс бедной Наденьки, когда вслушался в ее горячее, тяжелое дыхание, когда услышал бред ее, — тогда и доктор призадумался... Он решил наконец, что у нее воспаление, но где — этот вопрос чрезвычайно затруднял его... А горькая мать стояла перед ним с умоляющим взглядом и с слезами повторяла: доктор, спасите!

Доктор, может, и действительно что-нибудь выдумал бы, но в это самое время прибежал вдруг человек от вицегубернатора и объявил, что его превосходительству очень дурно и что требуют скорее доктора. Думать долго

было нечего. Доктор сел и написал на авось рецепт, первый пришедший ему в голову и не направленный собственно ни против какой болезни.

Между тем Семен Андреич спокойно возвращался домой из должности. День был превосходный, и Быстрицкий решился пройтиться пешком до своего дома. Он тихо шел, помахивая своей тросточкой с золотой уткой наверху, и разговаривал с Изломовым, который, служа не под его начальством, был с ним хотя весьма почтителен, но вместе с тем и довольно свободен... Они говорили — сначала о погоде, потом о здоровьи, потом о болезнях вообще, потом о холере в частности, наконец перешли к болезни Тропова в особенности...

— Да, напугал он меня, признаюсь,— говорил старик Быстрицкий.— Такую штуку выкинул, проказник... Вздумал было ноги протянуть,— очень нужно...

— Неужели же он и вас не предуведомил, Семен Андреич? — наивно спросил Изломов.

— О болезни-то предуведомить,— со смехом повторил старик.— Нет, батюшка, так у нас не водится...

— Но, сколько я знаю, он с вами в таких близких отношениях, что мог бы рассказать вам свою шутку наперед, чтоб вы не испугались...

— О какой шутке вы говорите?..

— О том, что вздумал сказаться больным...

— Сказаться?.. Как сказаться? А он не был болен?..

— Он мне вчера сам все рассказал, Семен Андреич. Это дело скрывать нечего-с... Вы можете мне доверить.

— Да, боже мой,— я сам ничего не знаю... Расскажите, пожалуйста, что за история? Скажите же, ради бога, когда я вас прошу,— настойчиво повторил старик, видя, что Павел Гаврилович колеблется.

Изломов, начавши говорить, предполагал, что все дело известно Быстрицкому, потому что Иван Васильевич не сказал ему настоящей цели своей проделки... Первые слова Семена Андреича подтвердили его предположение, и он стал говорить с ним, нисколько не опасаясь проболтаться... Теперь он был уже сам не рад, что заговорил, но было поздно... Впрочем, он не давал Тропову слова молчать и потому решился рассказать откровенно все дело, как слышал сам... Быстрицкий остался не совсем доволен.

Расставшись на дороге с Изломовым и продолжая один свой путь, он все думал, что бы за причина такая была Ивану Васильичу дурачиться... Темное подозрение запало ему в голову, что-то тяготило его при размышлении об этом предмете, но он сам не мог дать себе отчета, что тут именно ему не нравилось. С такими мыслями вошел он в свой дом и в дверях столкнулся с доктором.

— Что такое, Иван Аполлонович? — спросил он доктора с едва приметным оттенком беспокойства в голосе.

— Ничего особенного, — отвечал торопливо доктор, — с вашей дочерью случился какой-то припадок. Варвара Николаевна уверяет, что холера, но, право, я не знаю, что и подумать. Нет ни озноба, ни поноса, ни окоченения в оконечностях, а между тем рвота и судорога. Вероятно, это новый вид холеры: я только второй раз и вижу этакий род болезни, у этого, как его, петербургского... Тропова и вот у вашей дочери. Впрочем я прописал микстуру.

Семен Андреич стоял перед доктором, как окаменелый, не помня себя, не думая об опасности дочери, соображая только легкомысленный заговор молодых людей и видя ясно, что Наденька так же притворяется, как притворялся Иван Васильич... Доктор, воспользовавшись его замешательством, поспешно вышел, сказавши: извините, я спешу.

Пришедши в себя, Быстрицкий пошел прямо в спальню дочери, стараясь думать, что опасности нет никакой... Но когда он подошел к кровати, услышал стоны бедной дочери, ее дыхание, похожее на всхлипывание, когда на нежный зов его она отвечала безумным бредом и начала метаться по постели, несчастный отец был поражен выше сил своих. В изнеможении опустился он на кресло подле кровати и вскрикнул, с отчаянием обращаясь к жене своей:

— Уморила, ты уморила дочь-то... Дура ты этакая! — И больше ничего не мог он выговорить.

Варвара Николаевна тоже не могла сказать слова от внутреннего волнения и отвечала мужу только глухим стоном, в котором выразилась вся ее горесть и гнев, — и продолжала рыдать.

Семен Андреич сидел, закрыв лицо руками, и тоже, кажется, плакал. Первым движением его было открыть жене все и горькими упреками осыпать ее невежество и суеверия, которые заставили ее тотчас принять болезнь Наденьки за холеру... Но потом ему стало жаль ее. К чему, думал он, стану я тиранить ее? Что за польза, если она узнает, что была убийцею своей дочери?.. Только ей мученье на весь век. И решился Семен Андреич молчать во всю жизнь о страшном и горестном деле.

Все попечения, все средства, все знания N-ских докторов, которых созывали к Наденьке чуть не семь раз на консилиум, не помогли. Быстро развилась нервическая горячка, и не мог выдержать ее этот слабый, воздушный организм. Через неделю ужасной агонии не стало на божьем свете еще одного прелестного создания.

Поразительна была эта кончина, и много грусти навевала она даже на душу постороннего зрителя. Перед смертию возвратилась к Наденьке вся ясность ума ее, вся сила ее чувств и воспоминаний. Кроме отца с матерью, у постели умирающей был и жених — бледный, дрожащий, заплаканный, не смея поднять глаз ни на невесту, ни на ее родителей.

Тихо и торжественно простилась она с отцом, который благословил ее и обнял — крепко, крепко... Когда он отнял лицо свое, оно было орошено слезами... Молча, с какой-то сосредоточенной грустью стал он у изголовья больной. Жарки были объятия матери. Крепко прильнуло воспламененное, исхудалое личико больной к сморщенному лицу старушки; долго сжимали ее шею костенеющие руки, долго не могли оторваться от сухих губ ее распаленные губки умирающей.

— Маменька, маменька, простите, я сама во всем виновата, — шептала она.

— Полно, душечка, милая моя... бог милостив, — говорила мать, не зная сама, что говорит.

— Нет, простите меня, маменька, я вас обманула.

— Прости ты меня, моя ненаглядная, дорогая, милая моя, — лепетала старушка, прерывая рыданиями свои слова.

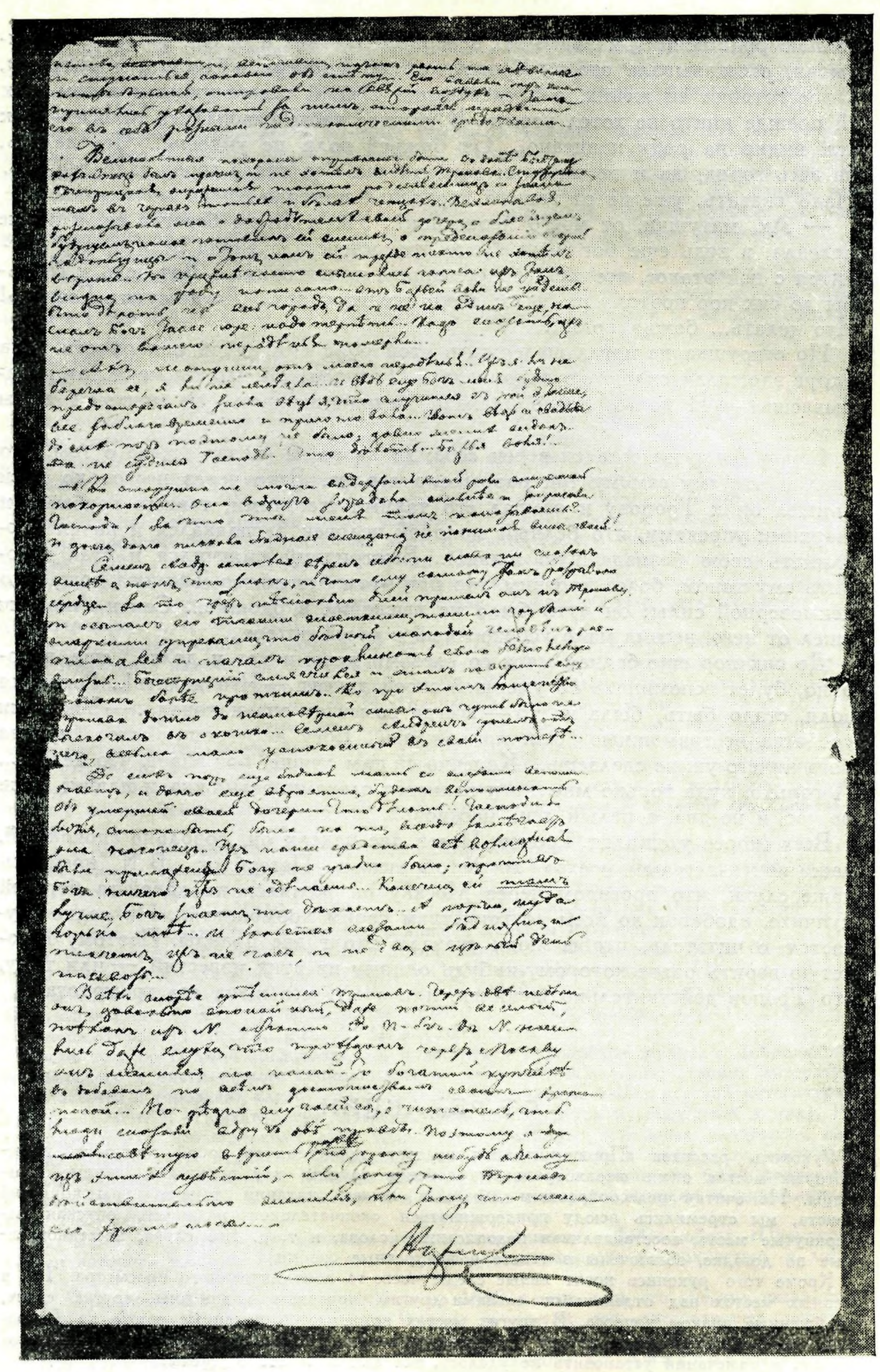
В другом роде было прощание жениха. Он подошел к невесте, будто преступник, осужденный на казнь, и вдруг, упав на колени перед ее постелью, закричал, залившись слезами:

— Простишь ли ты меня? Можно ли простить такое зверство?

— Я сама во всем виновата, — едва слышно шептала умирающая...

— Нет, я сам себя не прощу, — вскричал он неистово и, вскочивши, начал рвать на себе волосы и стукаться головою об стену. Его вывели из комнаты больной, отправили на свежий воздух — там принялись ухаживать за ним, стараясь привести его в себя разными гидропатическими средствами.

Великолепные похороны справлены были в доме Быстрицких. Отец был мрачен и не хотел видеть Тропова. Старушка Быстрицкая, окруженная



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РУКОПИСИ ПОВЕСТИ ДОБРОЛЮБОВА «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХОЛЕРА»

С подлинника, принадлежащего К. М. Федорову

толпою родственниц и знакомых в черных платьях и белых чепцах... Всхлипывая, рассказывала она о добродетелях своей дочери, о блестящем будущем, какое готовил ей жених, о предсказании старой гадальщицы и о том, как ей прежде никто не хотел верить. В кружке часто слышались голоса:— Уж так видно на роду написано... От божьей воли не уйдешь... Что делать, на весь город, да и не на один еще, наслал бог такое горе: надо терпеть. Надо сказать, уже не от вашего нераденья померла...

— Ах, матушки, от моего нераденья!.. Уж я ли не берегла ее, я ли не лелеяла, и ведь еще бог меня будто предостерегал: знала ведь я, что случится с ней этакое, все заблаговременно и приготовила... Вот ведь и свадьбы до сих пор поэтому не было; давно жених сидел... Да не судил Господь! Что делать... божья воля!..

Но старушка не могла выдержать этой роли смиренной покорности. Она вдруг зарыдала сильнее и закричала: — Господи! За что ты меня так наказываешь? — И долго, долго плакала бедная женщина, не понимая вины своей...

Семен Андреич остался верен себе: ни слова не сказал жене о том, что знал и что ему самому так разрывало сердце. Зато через несколько дней пришел он к Тропову и осыпал его такими жесткими, такими грубыми и жаркими упреками, что бедный молодой человек расплакался и начал проклинать свою безнадежную жизнь... Быстрицкий смягчился и стал говорить ему тоном, более кротким. Но при этом бешенство Тропова дошло до неимоверной силы: он чуть было не выскочил в окошко... Семен Андреич ушел от него, весьма мало успокоенный в своей потере...

До сих пор еще бедная мать со слезами вспоминает и долго еще, вероятно, будет вспоминать об умершей своей дочери.— Что делать!.. Господня воля, стало быть, была на то — всегда замечает она наконец... — Уж нами средства всевозможные были приложены... Богу не угодно было; против бога ничего уж не сделаешь... Конечно ей там лучше; бог знает, что делает... А горько, куда горько мне...— и зальется слезами бедняжка и плачет уже не час, и не два, а целый день насквозь...

Всех скорее утешился Тропов. Через две недели он, довольно спокойный, даже почти веселый, поехал из N обратно в Петербург. В N носились даже слухи, что проездом через Москву он женился на какой-то богатой купчихе, вдобавок ко всем достоинствам своим хромоногой... Но редко случается, о читатель, чтобы люди сказали вдруг две правды. Поэтому я советую верить разве которому-нибудь одному из этих известий, — или тому, что Тропов действительно женился, или тому, что жена его хромонога...

ОТ РЕДАКЦИИ

Рукопись рассказа «Провинциальная холера» представляет собой черновик, в некоторых местах очень неразборчивый; особенно трудны для прочтения первые страницы. Не считая целесообразным давать в нашем издании точную транскрипцию текста, мы стремились всюду придерживаться окончательной редакции, опуская зачеркнутые места, восстанавливая недописанные слова, и т. д. Все слова, восстановленные по догадке, заключены в тексте в квадратные скобки.

Кроме того рукопись носит явные следы чьего-то дополнительного просмотра. Так в разных местах над отдельными словами другим почерком надписаны другие слова, снабженные знаком вопроса. В других местах встречаются писанные также не Добролюбовым обращенные к автору вопросы и советы. Поскольку авторство этих поправок и замечаний установить не удалось, все они в тексте опущены.

КОММЕНТАРИИ

Материалы для биографии Н. А. Добролюбова были собраны Н. Г. Чернышевским еще в 1861 г., вскоре после смерти Добролюбова. Некоторая часть их тогда же была использована им в его статье о Добролюбове, помещенной в январской книжке «Современника» за 1862 г. (стр. 262—264, 275—282).

Последовавший вскоре арест и затем ссылка в Сибирь прервали эту его работу, и лишь только в 1883 г. после перевода из Сибири на жительство в Астрахань Чернышевский получил возможность снова пересмотреть собранные им материалы; биография Добролюбова должна была стать одной из его ближайших работ. Но раньше чем приступить к этому труду, он решил разработать материалы, которые, помимо его личных воспоминаний о Добролюбове, дали бы главную основу для этой биографии.

К этой работе был привлечен Чернышевский и я[1].

По составленному им в 1887 г. плану, сначала в Астрахани, а потом в Саратове я приводил в систематический порядок и переписывал письма, которые должны были войти в I том «Материалов для биографии Добролюбова», а также и тот литературный материал, который предполагалось поместить во II томе. Большая часть этого материала, как то: стихотворения, повести, заметки и т. п. были скопированы в двух экземплярах. Работа эта была очень интересная, но в то же время и кропотливая. Многие заметки и статьи Добролюбова, в особенности относящиеся к периоду 1850—1853 гг., были написаны на бумаге весьма плохого качества, очень грубой, шероховатой, так называемой серой бумаге. Чернила, которыми писал Добролюбов, были тоже какие-то бледнорыжие и в некоторых местах рукописей от времени до того выцветшие и бледные, что едва были заметны при первом взгляде. Встречались целые страницы, на которых нельзя было прочесть ни одной строчки, не всматриваясь в них с большим вниманием. В особенности много времени было потрачено Чернышевским и мною на просмотр реестров прочитанных Добролюбовым книг и некоторых его юношеских литературных произведений, о чем свидетельствует и сам Чернышевский: «Некоторые из бледных прочтены К. М. Федоровым, не жалевшим утомлять свое превосходное зрение над делом, которое он полюбил, умея ценить значение Добролюбова в русской литературе» («Материалы», т. I, стр. 670).

Смерть Чернышевского (в ночь с 29 на 30 октября 1889 г. в Саратове) помешала ему осуществить намеченный план издания «Материалов для биографии Добролюбова», обработанный и прочитанный им в корректуре (27 печатных листов; остальные листы были потом прокорректированы А. Н. Пыпиным). Первый том был издан в 1890 г. издательством К. Т. Солдатенкова в Москве. Этот том, заключающий в себе чрезвычайно обстоятельный обзор всех писем (1850—1857 гг.) и бумаг нижегородского времени (1844—1853 гг.) с примечаниями Чернышевского, доказывает, с какой внимательностью он относился к своему труду и с какою любовью сохранял малейшие подробности о жизни безвременно погибшего писателя, бывшего самой сильной его привязанностью.

Для II тома «Материалов для биографии Добролюбова» Чернышевским были предназначены помимо его личных воспоминаний о Добролюбове воспоминания родных и знакомых, дневник Добролюбова 1852—1853 гг. и все неизданные его юношеские литературные опыты за время 1850—1853 гг., при чем некоторые из них Чернышевский предполагал дать не полностью, а поместить лишь в кратком изложении.

Из неизданных юношеских стихотворений Добролюбова должны были быть помещены в II томе следующие: «Двумужница» (1850 г.), «Предчувствие» (1850 г.), «К неразрезанному журналу» (1850 г.), «Надежды» (1850 г.), «Желание славы» (1850 г.), «Импровизация» (1850 г.), «Насмешка» (1850 г.), «Стремление вперед» (1850 г.), «Весеннее утро» (1850 г.), «Ф. А. Щ.» (1851 г.)[2].

Кроме того во II томе предполагалось поместить и рукописные журналы Добролюбова семинарского и институтского периода, как то: «Слухи», «Сплетни», сборник литературных новостей и городских слухов под названием «Закулисные тайны русской литературы» (1855—1856 гг.), «Психаториум» (Перечисление своих грехов и сокрушение в них). Из «Психаториума» Чернышевский взял только три страницы, остальные уничтожил, сделав на первом листе надпись: «Остальные листы этого вздора я бросил как ненужные. Довольно и этого образца!» Впервые извлечения из «Психаториума» были приведены в статье Чернышевского о Добролюбове в 1862 г. в январской книжке «Современника» (стр. 262—264).

Для этого II тома предназначалась и неизданная повесть Добролюбова «Провинциальная холера», которую Чернышевский предполагал поместить не полностью, а лишь

[1] У Чернышевского я работал с 1885 г. по 1889 г.— по день его смерти; писал под диктовку перевод «Всемирной истории Вебера» и другие его литературные работы, исполняя в то же время секретарские обязанности.

[2] Эти стихотворения были впоследствии использованы С. Абакумовым в его статье «Юношеские стихотворения Н. А. Добролюбова» (по неизданным материалам). Статья эта была помещена в «Казанском Библиофиле» 1923 г., № 4, стр. 11—17.

в кратком ее изложении. О времени ее написания Добролюбовым Чернышевский не был твердо уверен, и потому после прочтения ее он сделал на последней странице пометку: «1853 г.», поставив рядом с цифрами знак вопроса. «Возможно, — говорил он мне, — что повесть эта, написанная Добролюбовым в 1853 году в Нижнем Новгороде, была впоследствии переделана в ту самую повесть, которую Добролюбов прислал в редакцию «Современника» в 1855 г. Не одобренная ни Некрасовым, ни Панаевым, она была возвращена Добролюбову обратно. Преподанный при этом совсем неуместный Панаевым совет Добролюбову: «Лучше прилежнее готовить свои уроки, чем тратить время на сочинение негодных повестей» очень огорчил тогда Добролюбова».

По смерти Чернышевского весь подготовленный, но не обработанный материал II тома был вывезен из Саратова сыном Чернышевского Михаилом Николаевичем в Петербург. Продолжать этот труд взял на себя А. Н. Пыпин, но выполнить его он не смог, как говорят, за неимением свободного времени; кроме того против этого издания, подготовленного Чернышевским, был брат Н. А. Добролюбова В. А. Добролюбов, и потому все подлинные материалы были М. Н. Чернышевским переданы Литературному Фонду, за исключением рукописи «Провинциальная холера», которая осталась случайно у меня с некоторыми другими бумагами Чернышевского.

Рассчитывая получить разрешение на печатание этой повести от наследников Н. А. Добролюбова, я в 1895 г. поместил в издаваемой мною газете — «Закаспийском Обозрении» — следующее объявление:

«От редакции. В течение 1896 г. в нашей газете будет помещена еще нигде не напечатанная до сих пор повесть известного писателя Н. А. Добролюбова под названием «Провинциальная холера». Повесть эта, как имеющая интерес при составлении биографии покойного, несомненно составит ценный вклад в сокровищницу нашей русской литературы. Всем подписчикам «Закаспийского Обозрения» будет разослано факсимиле одной из страниц этой повести».

После появления этого объявления мною 14 ноября 1895 г. была получена от В. А. Добролюбова следующая телеграмма:

«Асхабад. Издателю «Закаспийского Обозрения» Федорову. Будучи единственным наследником Николая Александровича Добролюбова, печатание его произведений воспрещаю. Иначе прибегну суду. Добролюбов. Подпись удостоверена нотариусом».

А днем раньше в канцелярии начальника Закаспийской области была получена от В. А. Добролюбова телеграмма на имя начальника Закаспийской области генерала Куропаткина такого содержания:

«Будучи единственным наследником Николая Александровича Добролюбова, покорнейше прошу защитить мои права воспрещением издателю «Закаспийского Обозрения» печатать произведения моего брата. Добролюбов. Подпись удостоверена нотариусом».

В результате я получил через цензора отношение, где сообщалось, что «его превосходительство командующий войсками просит, во избежание могущих возникнуть недоразумений, воздержаться от печатания повести «Провинциальная холера».

Разумеется, повесть не была напечатана.

Через 7 лет после этого — в конце 1903 г. — я получил от В. А. Добролюбова письмо с просьбой передать повесть для напечатания в выпускаемом тогда книгоиздательством П. П. Сойкина собрании сочинений Добролюбова.

Но в то время подлинной рукописи на руках у меня не было, так как я оставил ее у знакомых в Астрахани при отъезде оттуда. Я запросил их, но ответа не получил. Оказалось, что они ликвидировали все свои издательские дела и выехали из Астрахани неизвестно куда. И только в 1914 г. я узнал, что оставленные мною рукописи Чернышевского были проданы М. Н. Чернышевскому, а повесть «Провинциальная холера» — И. Лысенко, от которого я и приобрел ее вторично (в номере «Закаспийского Обозрения» от 17 ноября 1911 г. я все-таки напечатал факсимиле первой страницы повести).

Но издать «Провинциальную холеру», равно как и подыскать подходящего издателя, мне не удалось. Редактируемая мною в Ташкенте газета «Туркестан» благодаря беспрерывным штрафам и административным взысканиям должна была прекратить свое существование, а сам я не имел средств, чтобы издать ее самостоятельно.

Будучи в 1917 г. в Москве, я, не имея возможности долго оставаться в ней, поручил моему сыну А. Федорову подыскать или в Ленинграде или в Москве подходящего издателя.

Гражданская война и интервенция с ее многочисленными фронтами надолго разъединили меня с сыном: я жил в Ташкенте. И лишь только в 1923 г. я получил возможность восстановить связь с ним. Несмотря на беспрерывные его переезды с одного края СССР на другой, рукопись повести «Провинциальная холера» уцелела и теперь впервые появляется в свет.

К. Федоров

В. А. СЛЕПЦОВ
«СЦЕНЫ В ПОЛИЦИИ»

М. Горький. «О Василии Слепцове»
К. Чуковский. «Жизнь и работа Слепцова»

О ВАСИЛИИ СЛЕПЦОВЕ

Крупный, оригинальный талант Слепцова некоторыми чертами сроден чудесному таланту А. П. Чехова; хотя Слепцов совершенно не владел вдумчивой, грустной лирикой, чутьем природы и мягким однако точным языком Антона Чехова, но острота наблюдений, независимость мысли и скептическое отношение к русской действительности очень сближают этих писателей, далеких друг другу в общем.

Очерки Слепцова появились в те годы, когда в русской литературе особенно громко начали раздаваться голоса «кающихся дворян», зазвучала чувствительная исповедь потомков о грехах предков — исповедь весьма многословная, не всегда сердечная и едва ли уместная, ибо то, что называлось «грехом предков» («отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Иеремия 31, 29), было исторической неизбежностью, обязательным для всех народов этапом культурного развития и требовало не словесного раскаяния потомков, а их упорной борьбы с окаменелостями прошлого в мысли и деле, в быте и чувстве. Тогда разыгрывалось в русской литературе и под ее влиянием в обществе второе действие странной романтической драмы, героями которой являлись, с одной стороны, влюбленная интеллигенция, с другой — бесчувственный народ, при чем за подлинный народ принималось только большинство населения — крестьянство, другие же классы, например рабочий, как бы не существовали и не замечались литературой[1]. О народе литература говорила, как и надлежит влюбленной, повышенным тоном, стараясь подчеркнуть прежде всего положительные начала его психики и быта невольно преувеличивая их, но в общем стремясь пробудить гуманное отношение к мужику, действительное внимание к деревне, что и было достигнуто литературой.

В это время Слепцов заговорил тоном спокойного наблюдателя о нелепой жизни мещанского городка Осташкова, — городка, который чудесным каким-то образом весь принадлежит купцу Савину, а купец, всесторонне грабя его, в то же время односторонне украшает ершами, весьма искусно вырезанными из дерева. Смысл этой исторически верной картинки развития внешней культуры, творимой русским хищником, который в течение столетия не мог избавить страну от ежегодных эпидемий тифа, но создал лучший в мире балет, — смысл этого умного очерка остался не понят публицистами и журналистами эпохи. Их сердечное внимание было направлено в сторону тысяч деревень, а сотни уездных городов русских — эти фабрики очень мелкой и скудоумной буржуазии, тупого, мертвого консерватизма, устои коего ушли глубоко в недра каменного невежества, — эти города остались вне поля зрения либеральной и радикальной мысли, в стороне от благотворного влияния интеллектуальной силы.

После, — в 80-х, в 1905—6 годах — уездные гнезда российской косности очень тяжко показали устойчивость своего быта, — социально-политическое значение этой устойчи-

---

[1] Хотя в то время уже вышла книга Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России». — *Ред.*

вости остается недостаточно понятым и в дни «великих реформ», принятых многими подобно трусу, мору, потопу и вообще стихийным катастрофам.

Далее, в очерке «Владимирка и Клязьма», Слепцов рассказывает, как французы строят железнодорожный мост, как они ссорятся со своими инженерами и немножко издеваются над русскими; как рабочий француз говорит начальнику своему: «Я вас уважаю, но — не боюсь», а тринадцатилетний мальчуган, попав на Суздальскую Клязьму с французской Луары, говорит о Святой Руси — «Это край варваров».

Русак рассказывает Слепцову, как машинист француз пускает «в рыло» главного приказчика строителей моста струю горячего пара, рассказчик безобидно смеется над шуткой француза, а в это время другой русачок выманивает у иноземца несколько медных копеек — нищенскую сдачу с тех пудов русского золота, которые французы увезут на свою родину.

«Работают французы,— описывает Слепцов,— народ все крупный, такой основательный, надежный, все с такими густыми, черными бородами, в теплых мерлушковых шапках, в дубленых рукавицах. Прошел какой-то начальник в енотовой шубе,— никто и ухом не повел, никому до него и дела нет, всякий занят своим, прилаживают гайки, и все это так просто, свободно, без криков и понуканий, покуривая сигарку, распевая песенки о своей прекрасной Франции. А там, внизу, под мостом, копошится народ: человек тридцать каких-то нищих всех возрастов, начиная с 15 и до 70 лет, усиленно дергали измочаленный канат и тянули песню прекрасной России:

Черная галка,
Чистая полянка,
Жена Марусенько,
Черноброва —
Чего не ночуешь дома?
— Ух!

Человек десять ковырялись во льду, таская из воды обмерзлые бревна. И так-то вяло, как будто нехотя. Поковыряют, поковыряют, да почешутся или примутся зевать и вытягиваться и до той поры зевают, потягиваются, пока не увидит их десятник и не закричит:

— Эй, вы! Шмони вы эдакие, право — шмони. Ну, что стали? Эх, палки на вас нет!»

Все это нарисовано очень живо, ловкой, твердой рукой и настолько внушительно, что из краткого, спешного очерка приемов работы, навыков жизни, отношений двух племен как будто возникает некая жуткая и густая тень, возникает и падает далеко вперед на будущее нелепой русской земли.

Слепцов вообще брал темы новые, не тронутые до него; он писал о фабричных рабочих, об уличной жизни Петербурга; его очерки полны намеков, вероятно бессознательных, на судьбу отдаленного будущего страны, полны живого смысла, не уловленного в свое время, но его темы тотчас были подхвачены Глебом Успенским в книге «Нравы Растеряевой улицы», Левитовым и Вороновым в их славной книжке «Жизнь московских закоулков» и затем целой группой менее видных, забытых теперь писателей, сотрудников «Современника», «Отечественных Записок», «Дела» и «Слова».

Отношение Слепцова к деревне заметно разнилось с общим повышенным отношением к ней. В сценах «Мертвое тело», в рассказах «Свиньи», «Питомка», «Ночлег» и пр. у Слепцова чувствуется печальная усмешка человека, который сомневается во всем, что в ту пору было принято думать и говорить о деревне. Он изображает мужика неумным, равнодушным к ближнему и своей судьбе, притерпевшимися ко всем несчастьям, почти безропотно подчиненным чужой воле даже тогда, когда ему ясно, что ее цели и глупы, и вредны его интересам. Этот мужик спокойно ходит в волость «пороться» и терпеливо ждет, когда начальство удосужится выпороть его.

Историк русской литературы С. А. Венгеров говорит, что Слепцов изображал мужика «настоящим головотяпом»; критик Скабичевский упрекал его в поверхностно-скептическом отношении к деревне, есть и еще мнения, не лестные для Слепцова. И



В. А. СЛЕПЦОВ

С фотографии (60-х гг.), хранящейся в Государственном Театральном Музее им. Бахрушина

хотя все признавали оригинальность таланта нового писателя, хвалили его за простоту и убедительность рассказов, однако его расхождение с установленным эпохой литературным каноном видимо отодвигало его в сторону от литературных кружков, оставляя человеком без друзей. Думать так позволяет то обстоятельство, что о Слепцове почти нет воспоминаний, кроме рассказа о нем Панаевой-Головачевой, подруги и сотрудницы Н. А. Некрасова. В 60-х годах «женский вопрос» рассматривался как вопрос первостепенной социальной важности,— Слепцов был одним из первых, кто искренне увлекся вопросом и посвятил ему не мало энергии, всячески пытаясь облегчить женщинам путь к знанию и самообразованию.

Уже в 63-м году он затевает ряд популярно-научных лекций для женщин, которые в то время десятками съезжались из провинции в Петербург, стремясь к знанию и свободе, что было законно и естественно в стране малограмотной. Это движение решительно и злобно порицалось консерваторами, они кричали о разрушении семьи и опасностях, вытекающих отсюда для нации, они дали учащимся женщинам едкое прозвище «горизонталок», приписывая им все грехи и пороки.

Но лекции Слепцова посещались такими женщинами, как Н. П. Суслова, дочь крестьянина, первая русская женщина, получившая в Швейцарии звание доктора медицинских наук и потом практиковавшая в Петербурге, в Н.-Новгороде, автор нескольких ценных сочинений по медицине; Бокова, которая тоже впоследствии получила диплом доктора в Германии и стала известным в Лондоне оператором по болезням глаз; была знакома со Слепцовым и Софья Ковалевская, знаменитая как профессор математики в Стокгольме.

Но эти лекции не имели успеха,— подбор лекторов оказался недостаточно удачным, женщин, которые искренне желали учиться, было меньше, чем тех, которые мнимо желали этого, и, наконец, как это само собой разумеется, вокруг честного дела неизбежно возникли грязные сплетни. Это не обескуражило Слепцова, он устроил нечто вроде «коммун» — общую квартиру для тружениц науки, пытался устроить для них переплетную и белошвейные мастерские, открыть контору для переписки деловых бумаг, организовал переводы с иностранных языков, устраивал публичные лекции, спектакли, литературные вечера в пользу своих «коммунисток», делал все, что позволяли условия времени и стойкое сопротивление русского быта; эти его затеи еще более усилили грязные сплетни и наконец привлекли внимание полиции. Обыватели стали говорить, что Слепцов основал новую секту, нечто вроде «корабля» хлыстов, что в секте царит дикая распущенность, и полиция, подозревая нечто иное, арестовала Слепцова и посадила его в «каталашку» Александро-Невской части, откуда он через семь недель вышел больным.

Жажда непосредственной близости к жизни, деятельное участие в ней несомненно мешали кропотливому труду писателя, и Слепцов писал немного, тратя силы и время на путешествия пешком по дорогам российским, на «женский вопрос» и вообще — на жизнь.

Самое крупное и наиболее зрелое произведение Слепцова — повесть «Трудное время», превосходно изображает одну из бесчисленных драм эпохи, и хотя порою эта драма переходит в комедию, но это вполне типично для русских драм, в которых всегда слишком много нудной словесности и так мало подлинной страсти. Щетинин, его жена, Рязанов — типичные герои того трудного времени. Слепцов написал их мастерски, как настоящий художник. Жена Щетинина — это одна из тех женщин, которые, увлекаемые тревогой эпохи, смело рвали тяжкие узы русского семейного быта и, являясь в Петербург, или погибали в нем, или ехали за огнем знания дальше — в Швейцарию, или же шли «в народ», а потом — в ссылку, в тюрьмы, в каторгу. Щетинина может быть одна из женщин, которые слушали лекции Слепцова, жили в его «коммуне» и несомненно погибли в борьбе за свободу своей страны.

А Рязанов — один из тех интеллигентов, которые, сознавая, что они непонятны, не нужны и чужды «народу», а всем другим классам враждебно их критическое отношение к «устоям» русской жизни, отдавали себя духу «отрицанья и сомненья» и с гордостью приняли кличку нигилистов. По натуре своей Рязанов — родной брат нигилисту База-

рову из книги Тургенева «Отцы и дети», но он — человек более естественный и лучше знающий жизнь, чем знал ее герой Тургенева.

«Это и не жизнь,— говорит он Марии Щетининой, — а чорт знает что, дребедень такая же, как и все прочее». «Есть такая точка зрения, с которой самое любопытное дело кажется столь простым и ясным, что на него скучно смотреть». «Но обыкновенно люди, как нарочно, выбирают такие дела, в которых чорт ногу переломит, потому что хотя толку от этого бывает мало, зато на каждом шагу можно удивляться, радоваться и ужасаться. Ну, время-то и проходит, и кажется, что как будто в самом деле живешь».

«— Но что же тогда? — спрашивает Щетинина. — Что же остается делать человеку, который потерял возможность жить так, как все живут?..

— Остается, — Рязанов посмотрел кругом, — остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор...

Он махнул рукой».

Это очень безнадежно, но такие мысли и настроения должны были мучить наиболее наблюдательных людей «трудного времени», людей, которым «некуда» итти. Базаровы и Рязановы созданы русской жизнью как бы нарочито для безудержного осуждения ею же самой себя. Эту роль они исполнили самоотверженно, разбив себе лбы и сердца, погибнув в отрицании, но по трупам их в жизнь вошли люди революционного дела, сотни героев, имена которых почтительно вписаны на страницы истории борьбы за свободу и культуру.

М. Горький

ОТ РЕДАКЦИИ

Публикуемая статья М. Горького была написана в качестве вступительного очерка к повести «Трудное время» В. А. Слепцова, вышедшей в Берлине в издательстве Гржебина в 1923 г. К сожалению, кто-то счел нужным внести в нее такие «исправления», которые во многих местах затемнили ее подлинный смысл.

Восстановить статью в ее первоначальном виде теперь не представляется возможным, так как местонахождение оригинала неизвестно. Поэтому здесь мы отмечаем лишь те искажения, которые указаны самим Алексеем Максимовичем в письме в редакцию «Литературного Наследства» от 30 марта с. г.

«После первого абзаца,— сообщает А. М.,— были приведены образцы приемов Слепцова, которыми он пользовался для изображения пейзажа и жанра. Для пейзажа было взято несколько строк начала повести «Трудное время», а для жанра — сцена съезда мировых посредников из той же повести».

В некоторых случаях «правка» явно искажает смысл отдельных высказываний. Так был искажен смысл 4-го абзаца («После,— в 80-х, в 1905—6 годах»... и т. д.). «Речь шла,— указывает А. М.,— не только о наших днях, а главным образом об «эпохе великих реформ». Дальше неведомый редактор вычеркнул выдержку из «Губернских очерков» Салтыкова, кусок из «Нравов Растеряевой улицы» и ссылку на провинциальные корреспонденции «Искры» Курочкиных. Вследствие этого в гржебинском тексте получилось так, что характеристика «эпохи великих реформ» была отнесена к нашим дням.

Наконец «выпало место, где я сравнивал Слепцова как наблюдателя с Якушкиным, противопоставляя их Рыбникову, Киреевскому, Сахарову и др., которые собирали материал фольклора — песни,— от помещичьих хоров, т. е. материал, цензурованный помещиками, искаженный. Якушкин «черпал» его непосредственно, «из уст народа», на сельских ярмарках, на базарах. Н. Е. Каронин-Петропавловский говорил Короленко и мне, что у Слепцова были «толстущие тетради» записей его бесед с сектантами, анекдотов, песен, рассказов о попах».

Разумеется, все это не дает еще полного представления о том, какой вид имела статья до гржебинской «правки». Думаем однако, что и эти восстановленные места ясно свидетельствуют об ее истинной ценности.

[СЦЕНЫ В ПОЛИЦИИ]

Дежурная комната в частном доме: стены выкрашены желтою краскою, прямо против зрителя дверь, направо дырявый провалившийся диван; перед диваном стол, на котором разбросаны бумаги; налево у стены скамья, на которой стоит сундук и лежат разные отобранные вещи, как то: полушубок, шина от колеса, связка сухих грибов, сапоги, какой-то узел, тут же стоит поднос с чайным прибором из трактира и косушка водки. Стены облуплены и заплеваны; в углу закоптелая железная печь. На диване сидит вестовой. Тут же в комнате прохаживается и разминает прозябшие ноги рассыльный из управы благочиния.

Рассыльный *(прохаживаясь)*. Ах, долго! Где он там у вас, дежурный-то?

Вестовой. В канцелярию пошел, сейчас придет.

Рассыльный. Долго, долго!

Вестовой. Посидите, погрейтесь.

Рассыльный. Что сидеть! Мне еще в три места бежать.

Вестовой *(зевая)*. Поспеете.

Рассыльный. Да, утро-то, шутка, братец мой, верст десять обегаешь, да все с успехом, все поспеваешь.

Вестовой. По привычке...

Рассыльный. Оно конечно... Который человек возьмет привычку ходить, тому сидеть хуже.

Вестовой. Хуже. Это ваша правда.

Рассыльный. Это все по человеку — как кому: другой не может, а другому ничего.

Вестовой. Другому ничего. Это так.

Рассыльный. Я по себе знаю: да я теперь ни в свет не соглашусь вот эдак, как вы. Мне не усидеть ни за что.

Вестовой. Да, без привычки трудно.

Рассыльный. То-то и есть. А главная вещь вот сапоги пуще всего, чтобы крепкие.

Вестовой. Это действительно вам нельзя, потому все в ходьбе.

Рассыльный. Все в ходьбе... Никак невозможно. Вот они! дай-не-дай полтора целковых, как хочешь.

Вестовой *(качая головой)*. Н-да.

Рассыльный. Что делать! Вот ты и думай. Никак это дежурный идет?

(Входит дежурный с бумагою в руке и садится за стол. Вестовой отходит к печке).

Дежурный *(рассыльному)*. Это что?

Рассыльный *(подает пакет)*. Из управы благочиния, вашбродь.

Дежурный *(берет пакет и расписывается в книге. Вестовому)*. Прохоров!

Вестовой. Чего изволите, вашбродь?

Дежурный. Что, давешняя женщина не приходила?

Вестовой. Никак нет.

Дежурный. Когда придет — посылай ее сюда.

(Отдает рассыльному книгу).

Рассыльный. Мне, значит, итить, вашбродь?

Дежурный. С богом.

Рассыльный. Больше ничего не будет?

Дежурный. Больше ничего. Ступай.

Рассыльный. Счастливо оставаться, вашбродь.

(Дежурный роется в бумагах. Входит арестант с конвойным солдатом. Конвойный солдат молча подает дежурному книгу, в которой лежит бумага; дежурный развертывает ее и читает вполголоса).

Дежурный (*читает*). «Препровождая при сем... для спроса... со взломом... женского платья... проживающий в доме купца... на чердак... «Гм! «По сломании замка... ударил его бывшею при нем палкою... на крик прибежали... затем... при дознании показал... нанесены побои, отобраны вещи... претензии не имеет». Чудесно! (*Арестанту*): Что, брат, попался опять?

Арестант. Никак нет-с.

Дежурный (*показывая на бумагу*). А это что?

Арестант. Что ж. Пожалуй. Написать все можно.

Дежурный. Да как это тебя на чердак нелегкая занесла? а?

Арестант. По ошибке-с. Впотьмах, не видать, заблудился.

Дежурный. Заблудился. Гм! Ну, а насчет женского платья-то как же? Тоже, надо полагать, по ошибке захватил?

Арестант. Это неправда-с. Я господину следователю докладывал, как было дело, по чистой совести.

Дежурный. Что же он?

Арестант. Не верют.

Дежурный. Чудак! Да кто ж тебе поверит? Тут прямо сказано: «со взломом».

Арестант. Хм! Чудно! Со взломом! Это так только говорится, что со взломом, а вы извольте спросить, какой взлом. Тоже ведь это нужно понять, или нет-с? Ежели бы у них замки были как следует, в порядке, — ну, тогда точно, а то ведь что. Сами изволите знать, какой у бабы может быть запор: так, веревочкой это замотано, ткнул ее пальцем, она и летит. Взлом! Хм! Было бы что ломать. А то...

Дежурный. Как же тебя поймали-то?

Арестант. Как поймали? конечно они дуры, сейчас ах, ах, батюшки, караул... Хозяин услыхал, — выскочил.

Дежурный. Тут, стало быть, он тебя и смазал?

Арестант. Точно так, в это самое место.

Дежурный. Чем же это он?

Арестант. А такая жердь у него в руках была, голубей гоняют, длинная такая. Голуби там на чердаке у него. Ну, он этою самою жердью, значит, меня, то-есть, благословил.

Дежурный. За что ж он тебя?

Арестант. А я не могу знать, вашбродь. Когда зачали они меня это бить, я в те поры их спросил: по какому случаю, говорю, вы меня бьете? «Ты, говорит, вор». Ежели я вор, то ведите меня в часть, а драться, говорю, вы не можете, потому прав таких нонче нет, чтобы, значит, то-есть, по морде. Ведь это и справедливо, вашбродь, потому следует по закону.

Дежурный. Так, так.

Арестант. А то что ж это будет, ежели всякий тебя в зубы?

Дежурный. Это верно. Ну, а он что?

Арестант. А они говорят: «Эти права, говорят, мы после разберем», а сами сейчас, значить, это кликнули молодцов, — «валяй». Меня, то-есть Сняли меня с чердака и зачали, и зачали лудить.

Дежурный. Ну, а ты что?

Арестант. Что же я могу против них? В эфтим случае я должен молчать.

Дежурный. Ну, и ловко они тебя обработали?

Арестант. Так ловко, что даже всю печенку отбили.

Дежурный. Гм! За дело.

Арестант. За что ж, помилуйте, за дело?

Дежурный. Не попадайся.

Арестант. Где же я попадался? Ежели бы они меня видели, как я воровал, ну, тогда...

Дежурный. Значит, напрасно это все на тебя?

Арестант. Напрасно-с. Это все одна ихняя выдумка из головы.

Дежурный. По злобе?

Арестант. Именно, по злобе-с.

Дежурный *(смеется.)* Ах, чучело! Да в который это ты раз? а?

Арестант. Так что ж такое-с? По подозрению. Это всякого можно подвести, кого угодно. Нешто это порок? Не пойман — не вор.

Дежурный. Так, так. Стало быть, прав во всех статьях?

Арестант. Кто? Я то-с? Да я никогда виноват не буду.

Дежурный. О?

Арестант. Это будьте покойны.

Дежурный. Полно, так ли?

Арестант. Сейчас подписку даю.

Дежурный. Ну, смотри же!

Арестант. Насмотрелся я довольно, слава богу *(помолчав)*. Так теперь куда же меня, вашбродь?

Дежурный. В острог, брат, в острог. Что, небось, не нравится?

Арестант *(встряхивает волосами)*. Ничего. Что ж такое-с? У нас там тоже такие ли други-приятели есть, отцов не надо.

Дежурный. Ну, так и с богом *(конвойному)*. Веди его! Ступай!

Арестант. Счастливо оставаться, вашбродь.

(Уходит с конвойным).

Дежурный *(потягиваясь)*. А-ах, грехи! *(Задумчиво осматривает комнату)*. Ишь ты, ведь как натоптали, сволочь? Свиной зал настоящий. Прохоров, ты хоть бы подмел здесь, что ли.

Вестовой *(стоя в дверях)*. Как его подметешь?

Дежурный. Дурак! Обыкновенно: взял метлу, да и подмел.

Вестовой. Это, вашбродь, как вам угодно, здесь нельзя чистоту наблюдать, потому место такое.

Дежурный. А ежели пристав взойдет, тогда что?

Вестовой. Никак нет, они сюда не ходют.

Дежурный. А ты почем знаешь?

Вестовой. Это верно, вашбродь, потому здесь худо пахнет.

Дежурный. Мгм! Это так... *(Задумывается)*.

(Входит извозчик).

Вестовой. Тебе чего надо?

Извозчик. Пьяного привез.

Вестовой. Ну, погоди.

Извозчик. Ох, некогда мне годить-то: к лошадям надо бежать.

Вестовой. Не уйдет.

(В дверях показывается старуха).

Дежурный. Что там еще?

Вестовой. Пьяный, вашбродь.

Дежурный. Давай его сюда.

(Извозчик уходит).

Дежурный *(заметив старуху)*. Ты опять пришла?

Старуха *(кланяется)*. Батюшка, ваше благородие!

Дежурный. Ведь тебе сказано. Чего ж тебе еще?

Старуха. Сделайте такую божескую милость!

Дежурный. Ступай!

Старуха *(помолчав)*. Будьте столь добры!

Дежурный. Ступай, ступай, ступай!

Старуха. Отец!

Дежурный *(привстав)*. Ах, ты, старая! Прохоров, выведи ее!

(Старуха уходит и в дверях сталкивается с пьяным, которого извозчик и городской страж ведут под руки).

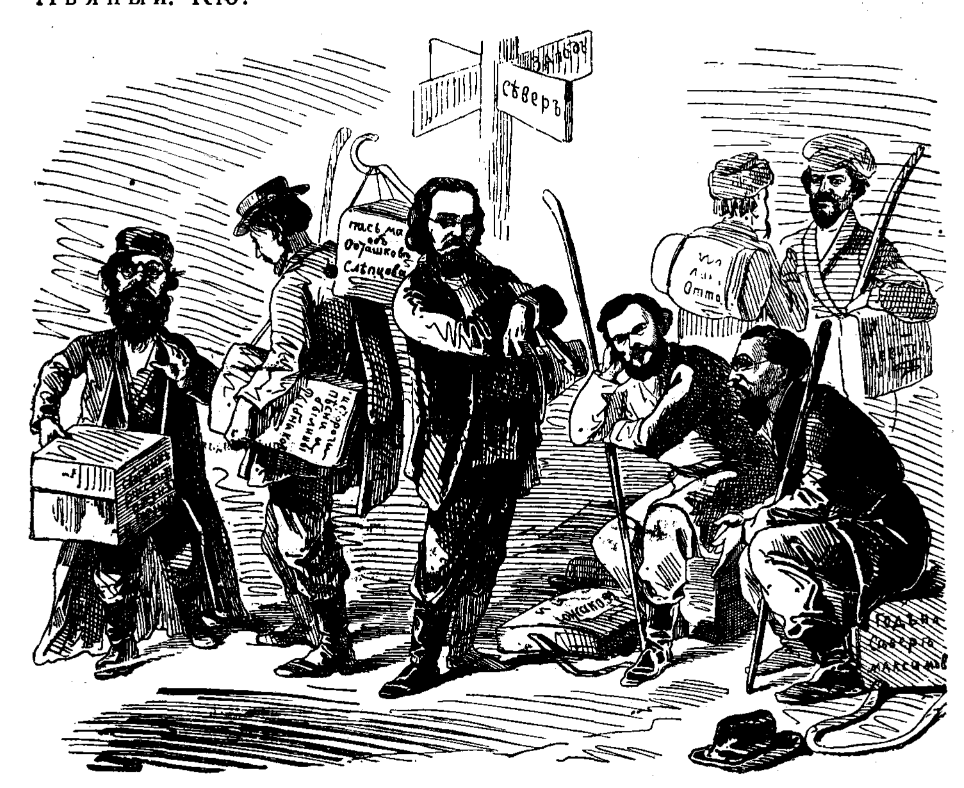
Пьяный. Постой, постой! Пгди-пгди-пгди! Старуш...ах, старушку задавили было совсем! Задавили... Старушка-то, она божья ведь... старушка. На что ее давить. *(Городскому стражу.)* Ты меня, кавалер, пусти, я сам. *(Прислоняется к перегородке.)* Ничего... небось... не упаду. Я так, у стеночки. Не опасайся!

Дежурный *(к городскому стражу)*. Где ты его взял?

Городской страж. На панели, вашбродь.

Дежурный *(пьяному)*. Ты что же это валяешься? а?

Пьяный. Кто?



«КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ»
Участники этнографических экспедиций конца 50-х и начала 60-х гг.
На переднем плане: П. И. Якушкин, П. Н. Рыбников, В. А. Слепцов, И. И. Южаков, С. В. Максимов
На заднем плане: И. Л. Отто и А. И. Левитов
Карикатура в «Искре» 1864 г., № 9

Дежурный. Ты. Кто ж еще?

Пьяный. Никогда. Валяться не могу... потому, нам нельзя валяться. У нас за это знаешь как... стрррого. Вот что. А впрочем, что ж такое?

Дежурный. Ты что за человек?

Пьяный. Я человек.

Городской страж. Дурак-чорт! Какого звания? Есть у тебя звание какое-нибудь?

Пьяный. Звание? есть. У меня званьев много. Первое звание...

Дежурный. Ну, это мы завтра разберем твои звания. *(Извозчику.)* Показывай номер!

(Извозчик показывает номер, дежурный записывает).

Пьяный. Вашбродь! а вашбродь!

Дежурный. Чего тебе?

Пьяный. Что я вас хочу просить.

Дежурный. Ну?

Пьяный. Прикажите меня наказать.

Дежурный. Погоди, не торопись! *(Извозчику.)* Где стоишь?

Извозчик. В Ямской.

Пьяный. За мою глупость, что я так глупо говорю.

Дежурный *(извозчику)*. У какого хозяина?

Извозчик. У Жилина, у купца.

Пьяный. Вашбродь!

Дежурный *(пишет)*. Не мешай!

Пьяный. Милый барин! Вы меня извольте спросить, я вам все расскажу.

Городской страж *(пьяному)*. Молчи!

Пьяный. Ладно. Я молчу. Вашблродь!

Дежурный. Ну?

Пьяный. Я молчу.

Дежурный *(городскому стражу)*. Показывай номер!

(Городской страж показывает номер, в это время пьяный шатаясь, подходит к столу; городской страж его не пускает).

Пьяный. Постой, кавалер, погоди! Ах, братец мой! Чудак ты, порядку не знаешь. Ты видишь, я с барином говорить хочу. Вашблродь!

Дежурный. Ну, что еще?

Пьяный. Вашблродь, позвольте мне встать на коленочки. Я виноват. Простите меня, христаради! Виноват.

Дежурный *(вестовому)*. Раздевай его!

(Вестовой берет его за рукав).

Пьяный. Нет, погоди! Вашблродь! Вы сперва меня извольте спросить, отчего я пьян. «Мужик дурак, по какому случаю ты пьян? Можешь ты мне отвечать, или нет?» Не могу. «А, ты не можешь? Ну, значит, молчи. Молчи, невежа, не разговаривай!» Я молчу. Потому рассудку настоящего во мне нет, и слов таких подобрать не могу! «Ты?» — Я. «Мужик — дурак, бесчувственная скотина и больше ничего. Как ты мог господина беспокоить? За это ты выходишь свинья». Вашбродь, прикажите меня наказать! Может, я очувствуюсь хоть сколько-нибудь... хошь сколько-нибудь.

Дежурный. Эко животное! *(Вестовому)*. Обыщи его!

(Вестовой снимает с пьяного кафтан и, пошарив в кармане, вынимает раздавленное печеное яйцо).

Дежурный. Что у него там?

Вестовой *(рассматривая)*. Закуска, вашбродь.

Дежурный. Ага, запаслив. А денег нет?

Вестовой *(открывает кошелек)*. Никак нет.

(Вынимает из кошелька пуговицу и орех).

Дежурный. Это что?

Вестовой. Пуговица, вашбродь, да орех-двойчатка.

Дежурный *(пьяному)*. Это на счастье у тебя, чтобы деньги водились?

Пьяный *(кивает головой)*. На счастье. Это верно.

Дежурный. А деньги-то где ж?

Пьяный. Деньги? *(Вздыхает)*. Там они... в хорошем месте.

Дежурный. В кабаке, небось, оставил?

Пьяный. Известно дело — в кабаке; а то где ж еще?

Дежурный. Пропил все?

Пьяный. Обнаковенно пропил. Рожна ли тут разговаривать. Пропил все, значит, ну и... в жилу раз!.. кубарем с лестницы... Поди к чорту!

Дежурный (*вестовому*). Отведи его!

(Вестовой берет пьяного под руку).

Пьяный. Куда?

Вестовой. Ну, ну, иди! Чего тут еще!

(Пьяный упирается. В это время входит солдат с мальчиком).

Пьяный. Вашбродь, вы смотрите, как бы того...

Дежурный. Чего?

Пьяный. Опосля не вышло бы чего. Греха бы не вышло.

Дежурный. Не беспокойся. Не выйдет! Ступай!

Пьяный. То-то. Смотрите.

(Уходит).

Дежурный (*солдату*). Это откуда? из тюрьмы?

Солдат. Из тюрьмы, вашбродь.

Дежурный. Препровождается?

Солдат. Так точно, вашбродь, препровождается.

Дежурный (*прочитав бумагу, мальчику*). Ты за что судишься?

Мальчик. За воровство.

Дежурный. У хозяина живешь?

Мальчик. У хозяина.

Дежурный. А много ли тебе годов?

Мальчик. Мне годов немного.

Дежурный. А воровать умеешь?

(Мальчик молчит).

Дежурный. Молодец! Что ж ты украл?

Мальчик. Сапоги.

Дежурный. На что ж они тебе, сапоги?

Мальчик. Продал.

Дежурный. А деньги где?

Мальчик. Прогулял с ребятами.

Дежурный. Это значит — с товарищами?

Мальчик. Да, с товарищами... с своими.

Дежурный. С приятелями. Так. Ну, а водку пьешь?

Мальчик. Какую водку?

Дежурный. Обыкновенно какую — горькую?

Мальчик. Нет, я не пью.

Дежурный. Так ты какую же употребляешь?

Мальчик. Крымскую.

Дежурный. А, это хорошо. Ну, ступай!

Мальчик (*дергает солдата за рукав*). Пойдем.

(Уходят).

Дежурный (*перебирает бумаги на столе*). Куда он делся, шут его возьми? Ах, ты!.. (*Ищет*). Прохоров!

Вестовой. Чего изволите?

Дежурный. Кто отсюда со стола ножик унес?

Вестовой. Не могу знать, вашбродь.

Дежурный. Кто же знает, чучело?

Вестовой. Это писаря хватают.

Дежурный. Писаря! А ты чего глядишь?

Вестовой. Я им не приказываю, да что ж с ними станешь делать!

Дежурный. Не давай, вот и все.

Вестовой. Они говорят, вы велели.

Дежурный. Когда я велел?

Вестовой. Они говорят.

Дежурный. Врут они. Поди спроси! Постой! (*Вполголоса*). Что энта женщина не была еще?

Вестовой. Никак нет.

Дежурный. Да ты ей что сказал?

Вестовой. Я ничего не говорил.

Дежурный. Отчего же ты не говорил?

Вестовой. Да ведь вы не приказывали.

Дежурный. Как не приказывал?

Вестовой. А в тот раз, как я за обедом ходил.

Дежурный. Да она была тут?

Вестовой. Точно так.

Дежурный. Что ж она говорила?

Вестовой. Она говорила, как ежели прикажут, я приду.

Дежурный. Так что ж ты ей сказал?

Вестовой Да ведь вы не приказывали.

Дежурный. Кому я не приказывал?

Вестовой. Да мне.

Дежурный. Болван! Я тебе сколько раз говорил!

Вестовой. Вы говорили, как в случае придет.

Дежурный. Ну, да. Да ведь она пришла?

Вестовой. Никак нет. Она только сказала: как ежели прикажут...

Дежурный. Да что ж ты ей сказал?

Вестовой. Я сказал, что вы не приказывали.

Дежурный. Кому не приказывал? Чорт!

Вестовой. Да ей.

Дежурный. Когда же я не приказывал?

Вестовой. А в тот раз.

Дежурный. А что ж я тебе не приказывал?

Вестовой. Ничего не приказывали.

Дежурный. Чортова ты бестолочь! Так что ж, что я тот раз не приказывал! Ну, так что ж?

Вестовой. Я не могу знать, вашбродь.

Дежурный. Тьфу, ты! Пошел вон!

(В это время входят две бабы и три мужика с котомками на плечах. Бороды у мужиков в снегу, тут же с ними девочка лет семи, позади виден высокий худой старик с седою бородой. Все они входят молча и становятся на колени).

КАРТИНА

Дежурный. Это что такое! *(Мужики и бабы кланяются.)* Чего вам нужно!

Все *(вместе)*. Батюшка-кормилец! *(Опять кланяются)*.

Дежурный. Что вы за люди?

Все *(вместе)*. Мы дальние... Погорелые... Калуцкие...

Старик. Калуцкой губернии.

Дежурный. Зачем вы пришли?

(Старик подает дежурному бумагу и опять становится на колени, бабы вздыхают, один мужик становит девочку тоже на колени. Дежурный читает бумагу про себя).

Дежурный (*возвращая бумагу*). Это в казенную палату, а не сюда. Ступайте!

Все. Отец родной! Кормилец-батюшка!

(Кланяются).

Старик. Пяты сутки ходим.

Дежурный. Да что вы, очумели, что ли? Говорят вам — не сюда.

(Одна баба шепчет что-то старику, старик, стоя на коленях, торопливо вынимает из-за пазухи кошелек, который висит у него на шее, и достает оттуда деньги. Другая баба подает опять дежурному бумагу).

Баба. Прочитай ты, касатик, прочитай!

Дежурный. Нечего читать. Ступайте вон!

Баба. Да ты хошь одним-то глазком... Пяты сутки...

Дежурный. Прохоров!

(В дверях является вестовой).

Дежурный. Покажи им дорогу в Казенную палату!

(Вестовой берет одного мужика за шиворот, другого за рукав. Бабы охают).

СЛЕПЦОВ ПОСЛЕ АРЕСТА

Отрывок из неизданного письма В. А. Слепцова к В. З. Ворониной

С подлинника, хранящегося в собрании К. И. Чуковского

(Между мужиками пробирается портной Соболев. Одет он пестро, в енотовой шубе внакидку).

Соболев *(кланяясь)*. Егор Иванычу-с!

Дежурный. А, господин Соболев! Какими судьбами?

Соболев. Шел мимо, да зашел-с.

Дежурный. Похвально. Садись, брат, садись. Ну, как живешь-можешь?

Соболев. Благодарю вас покорно-с. Вы как, Егор Иваныч-с?

Дежурный. Как я? Обыкновенно. Наше дело известное.

Соболев. Трудно-с.

Дежурный. Что делать, брат, — служба.

Соболев. Это справедливо-с. Нда-с, трудновато. Всем нынче трудно.

Дежурный. Тебе-то какой труд?

Соболев. Да как же-с?

Дежурный. Все за долгами, небось, ходишь — маклеруешь. Ведь ты маклер; я тебя знаю.

Соболев. Что делать, Егор Иваныч! Никто не платит. Сами изволите знать, нынче время такое. Верите богу, рубля в доме нет-с.

Дежурный. Рассказывай! Поверю я тебе! У эдакого жидомора, да чтобы денег не было! Ишь ты шубу себе какую сварганил! да чтобы денег не было! *(Соболев улыбается)*. А ты вот что, благодетель: халат-то когда ж ты мне? а?

Соболев. Халат совсем почти что готов-с.

Дежурный. Полно?

Соболев. Единственно остановка тепериче за отделкой. Сам я без вас не посмел. Как вы прикажете?

Дежурный. Это что?

Соболев. То-есть насчет отделки, как вам угодно будет: кан́том обложить или например, как прочие желают, — тесьмой вышить можно.

Дежурный. Да уж это ты сам.

Соболев. Для меня это все равно-с, я всячески могу: только я собственно к тому говорю, что как тепериче некоторые господа, например, заказывают вещь; а наконец того, в случае ежели не потрафишь, они в последствие времени обижаются.

Дежурный. Ну, вот еще! Как знаешь, так и делай.

Соболев. Это я понимаю-с.

Дежурный. Натурально, чтобы пофорсистее.

Соболев. Позвольте, Егор Иваныч, не в том расчет-с. Сейчас вы на меня располагаетесь, я сделаю, и впрочем, вам не понравится; через эсто я должон, извините меня, оказать себя перед вами свиньей; а я, напротив того, желаю вам угодить.

Дежурный. Да чего тут! Валяй по журналу, по последней моде; вот-те и весь расчет.

Соболев. Слушаю-с. Стало быть прикажете грудь, например, эти места, также подол и прочее, бочка тесьмой вышить?

Дежурный. Это вензелями? Да прилично ли это будет нашему званию? а?

Соболев. Даже очень не дурно-с.

Дежурный. О? Ну! смотри же!

Соболев. И еще позвольте вам сказать: между прочим на рукавах, с эстих мест допускается вышивка.

Дежурный. Да уж это ты там пригоняй, чтобы все соответственно.

Соболев. В таком случае позвольте и на спинке-с.

Дежурный. И на спинке вензеля?

Соболев. Да-с. А впрочем, как вам угодно.

Дежурный. Да в журнале-то сказано?

Соболев. Журналы совершенно одобряют-с.

Дежурный. Ну, коли одобряют, так что ж; стало быть так и следует.

Соболев. Слушаюсь. Так, значит, сообразно и будем делать.

Дежурный. Так и делай; а главное, вот что ты мне скажи сообразно: когда же он будет готов? Я уж вот другой месяц жду.

Соболев. Извините, Егор Иваныч! Душевно рады бы вам угодить, да что станешь делать! Дела так круто подошли, даже хошь совсем хозяйство бросать.

Дежурный. Все ты врешь.

Соболев. Верьте богу, Егор Иваныч, часу времени нет; не то что работа, например, — побриться не дадут: то тот, то другой. А главная вещь — народом сбился совсем; так сбился, так сбился, просто смерть-с.

Дежурный. Что ж такое?

Соболев. Народу нет-с; совсем нет народу-с! Вот вы не поверите: на триста целковых работа лежит, — не могу взяться по той причине, что некому работать. Что ж, рассудите сами, не разорваться же мне на всех.

Дежурный. А мастера-то что же?

Соболев. Хм! С эстими с мастерами, я вам скажу, вот как: сейчас скидавай сюртук, оставайся нагишом, больше ничего-с. Ах, такую я себе неприятность с ними получил, даже я через эсто нездоров сделался.

Дежурный. Пьянствуют?

Соболев. Беда-с! Так слаб нынче стал народ, так слаб насчет этого,— ничего не сделаешь!

Дежурный. Это так.

Соболев. Главная вещь набалованы уж очень.

Дежурный. Страху нет.

Соболев. Эта ваша правда-с. Совершенно никакого страху не имеет, хозяин ему наплевать, винище это он жрет без памяти, работать не хочет; а как чуть что стал ему говорить, подавай расчет—и весь разговор. Даже, верите, иной раз глядеть, так ужас берет. Настоящий как оглашенный какой: сам себя не помнит, так его и кидает из стороны в сторону. Просто жалости подобно.

Дежурный. Ишь ты, жалостливый какой!

Соболев. Что ж, Егор Иваныч, конечно, рассуждаешь это будто как...

Дежурный. Так жалко стало быть? А?

Соболев. По человечеству-с.

Дежурный. Так, так. Это следует... по человечеству... всегда. Это ты — по человечеству!!! Маклер ты, вот что! Все ты не дело говоришь, все ты это маклеруешь... по человечеству.

Соболев. Что ж, Егор Иваныч, помилуйте; кто ж себе добра не желает?

Дежурный. Так ты и говори, так мы и запишем; а политику эту свою маклерскую брось. Ну ее к чорту.

Соболев. Как вам угодно-с, а я к тому собственно это упомянул, что как, то-есть, трудно по нонешнему времени с рабочим народом...

Дежурный. Понимаю я это все, понимаю.

Соболев. Да вот-с хошь бы, к примеру, есть у меня мастер один, первый, можно сказать, мастер.

Дежурный. Ну, и что же он?

Соболев. Он намедни в баню отпросился, и наместо того в часть попал; теперече здесь у вас третьи сутки сидит: на улице подняли в бесчувствии — пьян-с. А мне без него просто хошь караул кричи: работа валяется, некому шить. Одного прогнал, на других расположиться невозможно: чуть отвернулся, сейчас в кабак. Того и гляди, работу пропьют. *(Помолчав.)* Я уж вас, Егор Иваныч, хочу покорнейше просить: сделайте такое одолжение...

Дежурный. Какое одолжение?

Соболев. Да нельзя ли выпустить мастера-то моего? Я без него, как без рук. Будьте столь добры! Я уж вам повремени заслужу как-нибудь.

Дежурный. А вот мы посмотрим. Как его звать-то? *(Развертывает книгу).*

Соболев. Ефимом. Ефим Петров.

Дежурный. Это можно.

Соболев. Чувствительно вам благодарен. Так стало быть я могу его получить-с?

Дежурный. Стало быть можешь и получить. Прохоров, сходи в общую арестантскую, приведи сюда Ефима Петрова. Слышишь?

Вестовой. Слушаю-с. *(Уходит).*

Соболев. Кстати, Егор Иваныч, я еще хочу вас просить: будьте столь добры... Теперече приведут его сюда-с...

Дежурный. Ну?

Соболев. Так уж вы, Егор Иваныч, сделайте ему внушение от себя. Насчет то-есть....

Дежурный. Насчет чего?

Соболев. Да, словом сказать, как теперь должон, например, это он об себе понимать...

Дежурный. Да.

Соболев. Ну, и хозяину стараться уважение делать во всем. Обыкновенно, ежели в случае что заставлю, так чтобы одним словом без разговору. Потому, знаете, у них эта глупость в голове есть — об себе понятие: кто я, да что я, да хозяин без меня ничего не значит, да что он может сделать и прочее.

Дежурный. Это точно; это есть у них.

Соболев. Так уж следственно я, Егор Иваныч, буду в надежде, что вы не оставите; а насчет ежели халата, или что прочее, брюки, это вы будьте покойны.

Дежурный. Ладно, ладно.

(Входит Ефим Петров и молча кланяется).

Дежурный. Ну что, хмель прошел?

Ефим. *(тихо).* Прошел.

Дежурный. Выспался? (*Ефим не отвечает*). Выспался, что ли, а?

Ефим. Выспался.

Дежурный. Ну, а снег разметал?

Ефим. Разметал.

Дежурный. Потрудился, значит. Это хорошо. Бог труды любит. Ты какого звания?

Ефим. Здешний мещанин.

Дежурный. Ну-с, так как же вы теперь, господин здешний мещанин, об себе рассуждаете: что нам с вами делать?

Ефим. На то ваша воля.

Дежурный. Ты что говоришь, Ефим?

Ефим. Я говорю, это как вам угодно!

Дежурный. Об этом что же!.. Я тебя спрашиваю, сам-то ты как полагаешь... пустить тебя или еще денька три у нас погостишь? А? *(Ефим молчит).* Вот хозяин твой просит отпустить тебя к нему на поруки, да я сомневаюсь; так уж ты мне скажи, надеешься ли ты на себя? *(Ефим молчит).* А то еще посиди. Что ж, мы тебя не гоним. Посиди — подумай! *(Молчание).* Так как же, братец, а? Вот господин Соболев отзывается об тебе, что человек ты не глупый, и дело свое знаешь; а между прочим эдакими ты пустяками занимаешься: пьянством. А? Что ж ты ничего не говоришь?

Ефим. А что ж мне говорить?

Дежурный. Да как же это ты, братец, а?

Ефим. Как? Обыкновенно... Что ж!..

Дежурный. Как же ты воздержать себя не можешь? Разве это хорошо?

Соболев. Да уж это, кажется, стыдно бы тебе, Ефим. Кому другому простительно, а тебе стыдно.

Ефим. Все пьют — ничего, а я должен стыдиться! Почему ж это так?

Соболев. Это ты, Ефим, неправильно говоришь. Пей, да не пропивайся.

Ефим. А что ж я такое у вас пропил?

Соболев. Ты не у меня, а у себя пропиваешь.

Ефим. А что кому до этого за дело!

Соболев. Да ты посмотри на себя!

Ефим. Мне смотреть нечего. Я себя *довольно хорошо знаю:* что есть на мне, — все мое собственное, трудовое. И пропил — мое, и не пропил — мое. А у вас, кажется, я даром нитки не брал никогда. Какова есть нитка — не возьму.

Соболев. Постой, погоди! Не в том сила. Я к тому собственно говорю...

Ефим *(перебивает)*. Да не к чему и говорить-то совсем, потому как это до вас не касается, и следственно все это одни пустые слова.

Дежурный. Как же ты смеешь, братец, так хозяину отвечать?

Ефим. А очень просто-с: они говорят и я говорю.

Дежурный. Ты помни, что он есть твой хозяин.

Ефим. Это я очень помню. Я так с ними и разговариваю.

Дежурный. Да разве так говорят?

Ефим. Я на ихние слова отвечаю. А впрочем мне все равно, и, пожалуй, я ничего не стану говорить.

Дежурный. Однако это ты так, братец мой, нехорошо. А ты должен чувствовать, что господин Соболев тебе благодеяние делает.

Ефим. Это же какое такое-с благодеяние?

Дежурный. Да вот он тебя принимает на свою ответственность. Это ты не понимаешь?

Ефим. Как не понимать! Тоже не маленький. Даже очень прекрасно понимаю-с, что дело к празднику подходит. Только это они напрасно беспокоятся, потому нам ихнии благодеяния не нужны; мы их об этом не просили.

Дежурный. А вот я тебя за эти самые разговоры сейчас в арестантскую отправлю, и будешь ты у меня еще целую неделю дрова таскать. Вот ты тогда у меня и узнаешь!

Ефим. Это как вам будет угодно-с.

Дежурный. Ты у меня тогда не так запоешь!

Ефим. На то воля ваша.

Дежурный. Молчать! *(Встает с дивана и ходит по комнате)*. Животное!.. *(Несколько минут молчания)*.

Соболев *(встает)*. Да вы это напрасно, Егор Иваныч, изволите себя тревожить. Ежели он теперича такой бесчувственный человек, то может ли он сколько-нибудь понимать в своей душе, что есть благодарность. Конечно, который человек с понятием, тот может всегда рассудить, что касается; а впрочем бог с ним, я ему худа не желаю, ну только... *(К Ефиму)* Ефим! Эй, Ефим, подумай!

Ефим. Я уж обдумал... давно... все.

Соболев. Ефим. Попомни бога сколько-нибудь!

Ефим. Ваше благородие, прикажите меня обратно в арестантскую отвести. *(Дежурный смотрит на него в недоумении)*. Потому я к ним *(указывает на Соболева)* итти не желаю.

Дежурный. Это что же такое? Почему, Ефим?

Ефим. Да так-с; не желаю, больше ничего, что не желаю.

Дежурный. А! Бунтовать! Хорошо же! Эй, Прохоров, отведи его в арестантскую. *(Соболев отводит дежурного в сторону и шепчет что-то. К Ефиму.)* Слушай, ты: по просьбе господина Соболева на этот раз тебе прощается; ну, только помни же это! Слышишь? Можешь убираться!

Ефим. Куда-с?

Дежурный. Куда хочешь, хоть к чорту на рога.

(Ефим молча уходит).

Дежурный. Эдакой поганый народишка! Как набалованы!

Соболев. Что же-с! Сами лезут в омут головой. Мое вам почтение! *(Кланяется).*

Дежурный. Прощай. А ты, брат, насчет халатика не забудь!

Соболев. Это будьте покойны-с. До приятного свидания! *(Уходит).*

(Занавес опускается)

КОММЕНТАРИИ

Тотчас после каракозовского выстрела Слепцов был арестован по приказу Муравьева-вешателя и отведен в полицию, в Александро-Невскую часть. «Помещение Васи было ужасно грязное, — вспоминала потом его мать. — Комната в три аршина, вся оплеванная, кровать полна клопов, мешок набит сенной трухой, и на пищу давалось лишь десять копеек в сутки: на ночь ставили в комнату ушат под названием «парашка», а в окна валил смрад пыльной копоти».

Муравьев продержал Слепцова семь недель и отдал его матери на поруки больного, с опухшими ногами, сильно исхудалого.

Выйдя из-под ареста, Слепцов тотчас же изложил свои наблюдения в форме драматической пьесы, где не только обличал продажность и жестокость тогдашней полиции, но главным образом наглядно показывал, какими крепкими узами связаны полицейские власти с эксплоататорами трудящихся: недаром главный герой этой пьесы — разбогатевший хозяйчик, пользующийся содействием полиции для закабаления своих подмастерьев.

Рукопись пьесы первоначально была озаглавлена «Сцены в полиции», но так как цензурные строгости после каракозовских дней были еще не изжиты, пьесу пришлось напечатать под малозаметным и неверным заглавием: «Пролог к неоконченной драме», сильно смягчив те места, где полиция, по выражению Слепцова, выступает в качестве «неприятельской армии, ведущей войну с мужиком».

Сцены прошли незамеченными. В «полном» собрании сочинений Слепцова их нет. Они даже не значатся ни в одном из библиографических справочников, и ни современные, ни позднейшие критики, писавшие о творчестве Слепцова, ни разу не упоминают о них.

Между тем они напечатаны в пятой книге журнала «Дело» за 1867 г. Существует неизданное письмо Слепцова, определяющее подлинный заголовок этой драматической пьесы. Письмо адресовано к Вере Захаровне Ворониной, сотруднице «Искры» и «Отечественных Записок». Привожу отрывок, относящийся к «Сценам в полиции»:

«...Мало ли что может меня раздражать. Во-первых, софистика известного вам господина, во-вторых, магическое превращение известных вам «Сцен в полиции» в «Эпилог (sic) к неоконченной драме». По-вашему, я равнодушен даже к тем метаморфозам, которые произвел в этой вещи известный вам А. М. Ш., но клянусь вам, что если бы этот субъект попался мне в то воскресенье, я в настоящее время снова был бы водворен в участок».

Об этих же «Сценах в полиции» упоминала впоследствии мать Слепцова (Жозефина Адамовна) в своих неизданных записках о сыне. Записки хранятся теперь у меня. В них между прочим сказано:

«В. А. просидел в душной, смрадной, 3-аршинной комнате в Александровской части семь недель, здесь окончательно потерял свое здоровье, исхудал, ноги распухли, и когда он вышел на божий свет, работать ему было трудно, но все-таки он написал недоконченную драму и главу «Хорошего человека»...

Мне кажется, что болезнь Слепцова, вынесенная им из тюрьмы, сильно отразилась на этих «сценах». Они гораздо слабее его предыдущих писаний. Их нельзя и сравнивать со «Спевкой», «Питомкой», «Ночлегом». Чувствуется, что их писал усталый человек. Но они чрезвычайно важны для определения социальных симпатий Слепцова, так как в них эти симпатии сказались яснее, чем в более совершенных рассказах и «сценах», относящихся к первому периоду его литературной работы.

К. Чуковский

ЖИЗНЬ И РАБОТА СЛЕПЦОВА

I

Слепцов родился в Воронеже в 1836 г. и рос в старинном дворянском гнезде в Саратовской губернии. На пятнадцатом году он был отдан родителями в Пензенский дворянский институт, где вначале зарекомендовал себя примерным воспитанником, но вдруг по неизвестной причине совершил неслыханно-дерзкий поступок, поразивший всех окружающих.

Во время обедни в переполненной институтской церкви, когда пели «верую во единого бога», он вышел на амвон и заявил:

— А я не верую!

И можно себе представить, как были ошеломлены таким кощунством священник, директор института, педагоги, студенты, молящиеся.

Преступника схватили, увели, наказали и, в виде особой милости, исключили из института, не предавая суду.

К сожалению, мы не располагаем сведениями о тех ранних влияниях, которые способствовали его отрыву от дворянской среды.

Из института он был исключен в 1853 г. во время русско-турецкой войны. Родные захотели определить его в действующую армию. Поначалу он как будто и сам был непрочь поступить в офицеры, чтобы уйти на войну, но вскоре изменил свое намерение и поступил на медицинский факультет.

Через год он охладел к медицине, страстно увлекся театром и к великому огорчению родных поступил на сцену в ярославский театр в качестве первого комика, но почему-то не прослужил и сезона, бросил сцену и вернулся в Москву.

Частая перемена профессий и мест — характерная черта его личности. «Он был непостоянен в своих увлечениях и всякий раз менял свои занятия, — вспоминает о нем его брат. — Эта неустойчивость и постоянное искание чего-нибудь нового рельефно выразились в его вечных скитаниях с одного места на другое, от одного занятия к другому».

Конечно эта непоседливость характеризовала не только Слепцова, но всю вообще плеяду писателей шестидесятых годов: такими же неприкаянными, бездомными были и Николай Успенский, и Левитов, и Орфанов и много других.

Мы не знаем, с какого времени он начал усваивать ту идеологию боевых разночинцев, которая впоследствии сказалась в его сочинениях, но в 1860 г. мы видим его в «якобинском» салоне графини Салиас де Турнемир, отличавшейся левизной убеждений.

Он близко сходится с ее сыном Евгением, оппозиционно настроенным юношей, который через год, как известно, принял участие в московском студенческом «бунте». Товарищи Салиаса (Кельсиев, Аргиропуло, Гижицкий) были горячие головы, и в их кругу двадцатичетырехлетний Слепцов всецело отдался «новым идеям». Конечно, якобинство московской графини было наносное. Впоследствии, сделавшись писателем, Слепцов показал, как ненавистен ему этот фразистый либерализм дворянской формации. Сам он к тому времени уже «ушел в разночинцы». Это не могло не отразиться на первых же его произведениях. Они показали с необыкновенной отчетливостью, как сильно захватила его эпоха 60-х годов.

Осенью 1860 г. он по поручению Общества любителей российской словесности отправился пешком в деревенскую глушь собирать народные пословицы, песни и сказки, чтобы потом напечатать их в специальном издании. К этому поощрял его Даль, знаменитый исследователь великорусского живого языка. Но после первых же дорожных впечатлений Слепцов и думать забыл обо всяких песнях и сказках и с величайшей страстью принялся изучать экономическое положение крестьян и рабочих.

В первой же деревне он отправился прямо к попу, разбудил его и скороговоркой спросил, как живется рабочим на соседних ивановских фабриках. Тот долго спросонья безмолвствовал, а когда заговорил, то лишь затем, чтобы выпроводить дикого гостя за дверь.

Гость не обиделся и, вежливо поклонившись священнику, отправился на ближайшую фабрику, где с такой же прелестной учтивостью спросил у ее хозяина, как велика прибавочная стоимость, которую тот выжимает у рабочих. Хозяин фабрики, по примеру священника, немедленно выставил молодого человека за дверь, но молодой человек не обиделся, а пошел к другим фабрикантам и всюду задавал один и тот же вопрос. Ответ конечно получался везде одинаковый.

«Ты мне, голубчик, легарий-то этих не читай! — кричала ему например одна владелица текстильной фабрики. — Что ты дурочку-то строишь из меня! Я и так не умна! Не на такую напал. Мы, голубчик, всяких видали!»

Он поклонился ей с преувеличенной вежливостью, взвалил на себя все свои ранцы и зашагал по дороге, размышляя о том, что должно быть деятельность этих почтенных господ не отличается кристальной чистотой, если они предпочитают вести свои дела бесконтрольно и на пушечный выстрел не допускают посторонних людей к изучению их производственных тайн.

Это был для него как бы первый урок политграмоты.

Пробираясь пешком от деревни к деревне, он наконец дошел до тех мест, где производилась постройка Московско-Нижегородской железной дороги. Здесь он окончательно отказался от собирания песен и сказок и, как въедливый следователь, принялся собирать материалы для обвинительного акта против организаторов и руководителей этой постройки, разоблачая ту систему узаконенных подлостей, при помощи которой они эксплоатируют закабаленных ими крестьян и рабочих, и установил очень четко, что дело здесь не в отдельных грабителях, но во всем государственном строе.

Так создались его очерки «Владимирка и Клязьма», которые он напечатал в 1861 г. в малозаметном либеральном журнальчике «Русская Речь», издававшемся графиней Салиас де Турнемир,— в том самом, о котором Д. Минаев писал:

Статьями, что тискает «Русская Речь»,
Удобно растапливать русскую печь.

В них при всем своем обличительном пафосе он почти не прибегает к публицистике, а пользуется главным образом словесною живописью и вместо всяких рассуждений дает артистические зарисовки с натуры. Тон у него почти везде благодушный и даже веселый, к людям он относится с юмором и виртуозно воспроизводит их забавно-нелепые речи, а между тем в результате у него получилась грозная картина чудовищного разорения, голода, холода, рабства, болезней, насилий, обид, выпавших на долю рабочих. В этих дорожных письмах Слепцов показал себя одним из величайших мастеров того литературного рода, который в настоящее время называется очерком.

Очевидно этот жанр пришелся ему по душе, так как через год он снова отправился в провинциальную глушь, — на этот раз в город Осташков, который в то время гремел своей несравненной культурностью: банком, библиотекой, театром, женской гимназией, детскими яслями. Слепцов поселился в Осташкове, внимательно изучил его быт и пришел к убеждению, что вся культура этого хваленого города есть создание нескольких темных дельцов, которые прикрывают свою кровососную деятельность дешевой и показной филантропией.

«Письма об Осташкове» появились в некрасовском «Современнике», в нескольких книжках (1862—1863), и были замечены всеми: строгий анализ экономических и социальных явлений сочетался в них с изящною живописью, с простодушным, но очень язвительным юмором.

Беллетристическое дарование Слепцова обнаружилось здесь во всей полноте. Многих, в том числе и Некрасова, очаровало искусство, с которым он воспроизводит народную речь. Когда же около этого времени в петербургских журналах появились его лучшие рассказы — «Спевка», «Свинья», «Питомка», «Ночлег», — он сразу выдвинулся в первые ряды молодых беллетристов.

1863 год, когда он поселился в Петербурге, был самой кипучей и шумной порой его жизни. Молодой писатель, красавец, обаятельный собеседник и вдобавок певец, музыкант, он сделался одной из самых популярных фигур — особенно среди молодежи. Студенты нарасхват приглашали его к себе на вечера и вечеринки, где он отлично играл на гармонике, пел народные песни и с несравненным искусством читал свою «Питомку» и «Спевку», — в сущности не читал, а разыгрывал в лицах, так как обладал незаурядным театральным талантом.

Времена тогда стояли трудные. Правительство Александра II открыто перешло на путь реакции и, воспользовавшись польским восстанием, разгромило радикальную интеллигенцию. Разночинцы первого призыва быстро сходили со сцены: Добролюбов умер, Чернышевский был арестован, Михайлова сослали в Сибирь. Оппозиционному лагерю требовались свежие силы, и когда явился Слепцов, его встретили как одного из представителей «смены». Он близко сошелся с Некрасовым, Ткачевым, Салтыковым-Щедриным, Елисеевым и на первых порах вполне оправдал те надежды, которые возлагали на него эти люди. Он сделался сотрудником обличительной «Искры» и газеты Елисеева «Очерки» — единственной радикальной газеты того времени. Вскоре новая страсть захватила его: борьба за раскрепощение женщин, которая для него была неотделима от борьбы за раскрепощение трудящихся. Он читал женщинам научно-популярные лекции, устраивал для них мастерские, где сам же обучал их переплетному делу, создал для них фонд взаимопомощи, в пользу которого постоянно устраивал концерты, литературные вечера и спектакли.

Женский вопрос был в то время вопрос боевой. Разночинная молодежь, перестраивавшая тогда на свой лад все формы общественной жизни, выдвинула множество женщин, экономическое положение которых понуждало их выступить в качестве самостоятельных тружениц, не зависящих от поддержки мужчин. Ими был наполнен

тогда Петербург, и конечно в реакционных кругах к ним отнеслись с жестокой ненавистью. Они приехали из дальних захолустий с неопределенным стремлением: «работать, учиться», но у них не было ни опыта, ни знаний, ни трудовой дисциплины. Охранители старорусских устоев издевались над их неумелостью, и «новые люди» были кровно заинтересованы в том, чтобы, приобщив этих женщин к работе, доказать маловерам, что есть не мало профессий, где женщина может сравняться с мужчиной.

Слепцов встал во главе всего «женского дела». Каждый день у него были новые планы: основать бюро приискания работы для женщин, открыть для них контору переписки бумаг, основать артель типографских наборщиц и т. д. и т. д. Осенью того же года он под влиянием романа «Что делать?», который только что появился в печати, устроил на Знаменской улице общежитие для кружка молодежи (главным образом женской), вскоре получившее известность под именем Слепцовской коммуны. Таких коммун было много в то время, особенно в Москве и Петербурге.

На первых порах он придавал этой коммуне большое значение и, выполняя завет Чернышевского, намеревался ввести в нее производственный труд, чтобы таким образом мало-помалу превратить ее в нечто вроде социалистического фаланстера Фурье.

Но коммуна не удалась. Ее жильцы принадлежали к различным социальным слоям: наряду с подлинными нигилистами там поселились нигилисты «поддельные» из зажиточных помещичьих кругов, вследствие чего между ними начались нелады, и к концу сезона коммуна распалась (в 1864 г.).

Во всех ее неудачах обвинили Слепцова — его будто бы аристократические замашки и вкусы, его донжуанское отношение к женщинам. То была клевета его партийных врагов, но и друзьям его сделалось ясно после этой истории с коммуной, что он мало пригоден для практической деятельности, ибо, горячо отдаваясь всякому новому делу, скоро охладевает к нему и кроме того страшно разбрасывается, берется сразу за десятки дел, изобретает множество проектов и не доводит до конца ни одного.

Другие затеи Слепцова испытали ту же участь, что и коммуна: его женские ассоциации, мастерские, артели не просуществовали и нескольких месяцев. А между тем эта самоотверженная, хлопотливая деятельность сильно отвлекала его от литературной работы. Теперь, после краха коммуны, он наконец-то мог приняться за писание давно задуманной повести.

Эта повесть называется «Трудное время». В ней он обличает дворян-либералов, показывая, что даже честнейший из них есть на самом деле замаскированный хищник.

Он сталкивает типичного нигилиста 60-х годов, петербургского писателя Рязанова, с либеральнейшим помещиком Щетининым и, изображая в целом ряде картин хозяйственную деятельность этого доброго барина, посрамляет его.

Даже такие, казалось бы, благодетельные помещичьи начинания, как деревенская школа и устройство лечебной помощи крестьянам, подвергаются в романе жестоким насмешкам, так как Рязанова не удовлетворишь этой грошевой филантропией: он жаждет революционного взрыва, который приведет к переустройству всей жизни на совершенно иных основаниях, а микроскопические щедроты помещика, по его мнению, отвратительны тем, что затемняют истинную сущность кровавой войны, которая ведется между двумя сторонами.

Так как по цензурным условиям Слепцов не мог высказать эту мысль со всею отчетливостью, его роман был многими понят превратно. Многим почудилось, будто он — мракобес, восстающий против школ для крестьянских детей и врачебной помощи деревенскому люду.

Особенно возмущались Слепцовым журналы либерального лагеря. В «Отечественных Записках», которые были в ту пору органом либералов-постепенновцев, объявили Щетинина евангельским праведником, а Рязанова — циником, смеющимся над гуманнейшими стремлениями благородного, высоко просвещенного деятеля.

Но радикалы без труда разглядели скрытый смысл повести Слепцова. Писарев увидел в ней апофеоз разночинца, «мыслящего реалиста», представителя «новых людей».

Вскоре после напечатания «Трудного времени» произошло покушение Каракозова на Александра II (апрель 1866 г.). Диктатором России стал Муравьев-вешатель, усмиритель польского восстания, и начался белый террор. Слепцов был арестован Муравьевым в числе многих других литераторов, участвовавших в радикальных изданиях, при чем ему вменялось в вину главным образом основание коммуны. Полиция вообще считала его опасным крамольником. До нас дошел отзыв о нем канцелярии с.-петербургского обер-полицмейстера, относящийся к этому времени:

«Крайний социалист. Сочувствует всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах».

Арестованного продержали семь недель в полицейской части, в заплеванной грязной камере, которая кишела клопами; кормили его скудной и отвратительной пищей; он заболел, исхудал, у него опухли ноги, началось кровохарканье, и после долгих хлопот его матери его отдали ей на поруки. «Арест и свел его в преждевременную могилу», говорит в своих воспоминаниях его мать.

Выйдя из-под ареста и немного оправившись, Слепцов принял живое участие в организации журнала «Женский Вестник», но через два-три месяца из-за издательских дрязг прекратил связи с журналом и вскоре почти охладел к так называемому женскому вопросу.

Началась новая полоса русской общественной жизни, и в ней Слепцов как писатель уже не нашел себе места. Его дарование как будто поблекло, и те немногие вещи, которые он написал после «Трудного времени», далеко не так блестящи, как прежние.

Впрочем он почти отошел от писательства. Некрасов, который очень любил его, предоставил ему место секретаря «Отечественных Записок», и здесь он обрел свою тихую пристань: читал чужие рукописи, вел переговоры с сотрудниками, но сам почти ничего не печатал. Так что все его произведения, которые характерны для его писательской личности, созданы им в самое короткое время, в какие-нибудь три-четыре года, не больше, а то, что написано им после этого времени, носит отпечаток усталости.

Правда, замыслы были у него обширные. Отказавшись от картинок и сценок, он затеял монументальный роман, в центре которого поставил типическую для новой эпохи фигуру «кающегося дворянина», богатого барина, искупающего всевозможными жертвами свою вековую вину перед народом. Этот роман он писал несколько лет (с 1866) и возлагал на него большие надежды, но написал только первоначальные главы, которые были напечатаны в 1871 г. и не имели успеха. Критика называла их вымученными.

Главное, вместо диалогов и зарисовок с натуры, которые так удавались ему, он ударился в психологический анализ. В нем появилась новая черта: склонность к вялому и мелочному резонерству, и это особенно сказалось в его очерках «Записки метафизика», которые он изредка печатал в журнале.

Впрочем скоро ему пришлось уйти из «Отечественных Записок», потому что он тяжело заболел и уехал на Кавказ лечиться. Болезнь то отпускала его, то возобновлялась, он не находил себе места, метался из Таганрога в Тифлис, из Саратова в Винницу, из Петербурга в Москву, беспрестанно меняя врачей и лекарства.

За ним самозабвенно ухаживала Лидия Филипповна Ломовская, дочь директора Петровско-Разумовской академии, молодая писательница, которой он внушил такое глубокое чувство, что она порвала с семьей и вся отдалась заботам о нем.

Никто не знал, в чем его болезнь, мнения врачей разошлись, предполагали рак.

Все его денежные средства поглотило лечение, он жил в бедности на скудные пособия Литературного фонда и, переехав к матери в Сердобск, скончался 23 марта 1878 г.

Смерть его прошла почти незамеченной, и так как у его близких не хватило денег, чтобы выкупить из ломбарда принадлежавшие ему вещи, в том числе и сундук с его рукописями, его литературное наследие погибло.

II

Слепцов умер полузабытым писателем.

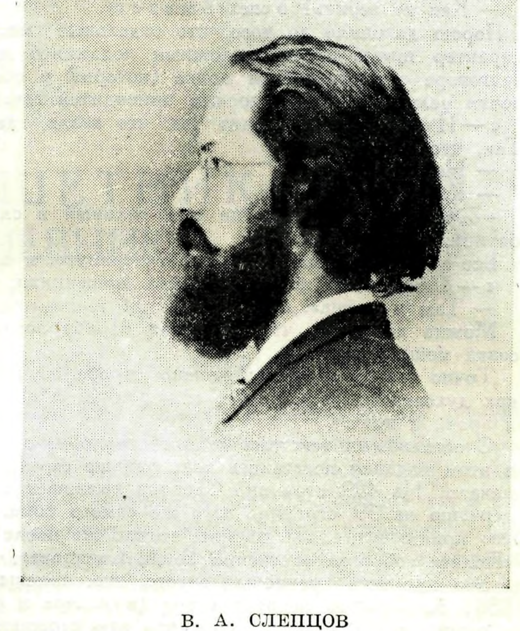
Первое издание его сочинений к тому времени уже давно разошлось, а второе издание так и не могло появиться в печати. При той чисто партийной неприязни, которую питала к писателям-демократам либеральная интеллигенция, беллетристика Слепцова, Левитова, Николая Успенского, Воронова была пренебрежена и забыта. Считалось, что она имела чисто злободневный характер и теперь уже никому не нужна.

Если в последующие десятилетия и переиздавались порою сочинения этих нелюбимых писателей, их печатали спустя рукава, без надлежащей заботы о наиболее точном и полном воспроизведении их текстов. В конце концов эти книги попадали к темным маклакам, которые, скупив их по дешевке, издавали их наравне с сонниками и прочею рухлядью. Эти издатели были меньше всего заинтересованы в том, чтобы дать читателям научно-проверенный текст, свободный от цензурных и всяких иных искажений.

При таких обстоятельствах второе издание сочинений Слепцова могло появиться в печати лишь через 22 года после появления первого (1888). Издал их апраксинский книгопродавец Губинский в виде плюгавой, неряшливой книжки, и хотя в эту книжку не вошли наиболее характерные произведения писателя, на ее обложке было сказано, что это — «Полное собрание сочинений В. А. Слепцова».

Цензура со своей стороны сделала все возможное, чтобы исказить эту книгу.

Об отношении тогдашней цензуры к Слепцову свидетельствуют те мытарства, которые около этого времени испытал его рассказ «Питомка». Рассказ, как известно, очень полюбился Льву Толстому (который кажется познакомился с ним именно в этом издании). Горячо расхваливая этот рассказ, Толстой посоветовал своему другу Черткову издать его отдельною книжкою в народной серии издательства «Посредник». Чертков немедленно представил «Питомку» в петербургскую цензуру, которая наотрез отказалась разрешить перепечатку «Питомки» для широких читательских масс. Очевидно цензуру смущало не столько содержание рассказа, сколько самое имя писателя, потому



В. А. СЛЕПЦОВ

С фотографии (70-х гг.), хранящейся в Институте Русской Литературы

что, когда Чертков направил «Питомку» на цензурный просмотр в Москву и скрыл от московского цензора, что это — рассказ Слепцова, а поставил только буквы «В. С.», рассказ благополучно прошел, хотя цензура и сделала в нем несколько нелепых купюр [1].

Значит даже в 1890 г. имя Слепцова считалось таким опасным в официальных кругах, что его приходилось скрывать от цензуры.

Третье и последнее издание сочинений Слепцова вышло через 37 лет после первого. Современные читатели знают Слепцова именно по этому изданию (1903). Между тем оно является безобразной халтурой, совершенно искажающей облик писателя.

Начать с того, что вступительный очерк, наскоро склеенный из разнородных статеек, посвященных Слепцову, содержит в себе много заведомой лжи. В нем например говорится, будто Слепцов благополучно окончил Пензенский дворянский институт, хотя на самом деле его исключили оттуда за «непристойное и кощунственное поведение во время святой литургии».

Статья заметно стремится придать биографии Слепцова аристократический лоск. В ней даже не упоминается о том, что одно время Слепцов был профессиональным актером, что он жил и умер в бедности; зато перечислены все его именитые родственники и чрезвычайно выдвинут тот многознаменательный факт, что его дочь (которая была ему, кстати сказать, совершенно чужда) вышла после его смерти за генерала Иосифа Гурко!

В конце статьи Слепцову высказывается строгое порицание за то, что он был не только художником, но и революционным бойцом. При помощи цитаты из черносотенного «Нового Времени» автор выражает сожаление, что Слепцов загубил свои душевные силы порывами в область политики и «праздной игрой в агитацию».

Естественно, что при таком враждебном отношении к революционной идеологии Слепцова руководители издания считали весьма нежелательными какие бы то ни было попытки восстановить в его книгах те «зловредные» строки, которые были выброшены давнишней цензурой из первопечатного текста. Эти старые цензурные вымарки были бережно сохраняемы в обоих изданиях. Особенно пострадало от них «Трудное время». Сравнивая позднейший текст этой повести с изданием 1866 г., мы находим целые десятки весьма существенных цензурных купюр.

Иные из них были очень обширны, занимали несколько страниц: например, весь эпизод с Аграфеной или пьяные речи попа. Иные ограничивались одним или двумя-тремя словами, но слова эти были такие, что без них вконец уничтожалось агитационное значение данного текста. Например, в начале пятой главы в эпизоде с солдатом выброшено было слово б а ц. Слово коротенькое, а между тем именно в нем сосредоточен весь смысл отрывка, так как оно означало, что пьяный офицер не только ругал солдат, но и бил их со всего размаха по лицу.

А в начале одиннадцатой главы слово м а р с е л ь е з а было заменено словом м а р ш, отчего вся страница, посвященная этому «маршу», сделалась совершенно бессмысленной. В той же главе в разговоре о боге слово и к о н к а было заменено словом к а р т и н к а, а слово б о г о т е ц — словом с т а р и к.

В конце повести выброшен смелый намек на только что погибших революционных бойцов, при чем в первоначальном тексте автору удалось протащить сквозь цензуру такой разговор о дальнейшем успехе революционной борьбы:

« — Разве вы не верите в успех этого дела?

— Как не верить? Нельзя не верить. Успех-то будет несомненно».

Между тем как в позднейших изданиях под давлением цензуры это четкое и бодрое исповедание веры сменилось каким-то мямлением:

---

[1] Сообщено мне К. С. Шохор-Троцким, исследовавшим архивные материалы «Посредника».

« — Разве вы не верите в успех к а к о г о-л и б о дела?

— Как не верить? Успех б ы в а е т».

Порою доходило до того, что отдельные места слепцовской повести приобретали характер прямо противоположный подлинной идее Слепцова. Например в знаменитом разговоре о партизанской войне (который в обоих последних изданиях был выброшен почти целиком) между прочим приводится такой диалог:

« — И по-твоему, выходит так, что везде, где только есть мошенники, там и война. Так, что ли?

— Не совсем так.

— Как же?

— А вот как: везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник, там и война».

Все это место было цензурой зачеркнуто, и взамен были напечатаны такие строки:

« — Стало быть, везде, где есть мошенники, там и война?

— Там и война».

Можно подумать, что классовая борьба воспринимается автором как взаимная потасовка мошенников.

Точно так же были выброшены строки об избиении крестьянина посредником, о взятках духовенства, о Саваофе, сидящем на яйцах, о конституции и проституции и проч., и проч., и проч.

С остальными текстами дело обстояло не лучше. Например «Владимирка и Клязьма» в этом издании печаталась так: раньше середина, потом окончание, а в самом конце — начало! На 499 странице Слепцов выезжает в деревню Ундол, а приезжает он в эту деревню на 39 странице того же самого тома. Если же вас заинтересуют дальнейшие его приключения, вы должны тотчас же после 46 страницы обратиться к 390-й! (См. «Полное собрание сочинений В. А. Слепцова», П., 1903.)

Эта путаница произошла оттого, что, помещая «Владимирку и Клязьму» в журналах 1861 г., Слепцов первоначально (в январе и апреле) напечатал два пробных отрывка, а потом, когда обнаружилось, что эти отрывки имеют успех, начал с августа печатать всю серию очерков. Издатели же, не вникая в содержание публикуемых текстов, так и напечатали их в виде отдельных клочков, вследствие чего в литературе сложилась легенда, будто конец «Владимирки и Клязьмы» утерян. По этому поводу биографы Слепцова указывали, что он вообще относился к своим рукописям очень небрежно, постоянно теряя их и пр. Все это — сущий вздор. Уже то, с каким великим усердием Слепцов переделывал свои сочинения, подготовляя их ко второму изданию, свидетельствует, как бережно он к ним относился.

Не его вина, что до настоящего времени мы были так постыдно невнимательны к литературному наследию писателей 60-х годов.

Как бы для того, чтобы окончательно выказать свое пренебрежение к слепцовскому тексту, составители этого тома включили туда целый ряд опечаток самого чудовищного свойства: п о л ь с к о е восстание оказалось у них п о л н ы м восстанием, известный писатель Потехин превратился в Потемкина, «помещик» — в «посредника», а «посредник» — в «помещика» и т. д. и т. д.

Однако не следует думать, что только один Слепцов печатался с таким вопиющим неряшеством. Сочинения Некрасова, Николая Успенского и других представителей той бурной эпохи издавались еще неряшливее. То была не случайность, а система.

К. Ч у к о в с к и й

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ
ДНЕВНИК

Предисловие и примечания И. Векслера

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ И ЕГО ДНЕВНИК

В литературе о Ф. М. Решетникове есть ряд указаний и ссылок на его дневник. О дневнике говорили биографы Ф. М., частично им пользовавшиеся, его друзья и знакомые: Гл. Успенский [1], М. А. Протопопов [2], П. И. Вейнберг (в интервью с сотрудником «Новостей») [3], Н. Новокрещенных [4]; говорит о дневнике, в записях дневника же, и сам Ф. М. Но к изданию дневника или к широкому его использованию встречались серьезные препятствия, пока живы были люди, с которыми Ф. М. находился в общении и о которых он писал в дневнике. «По обстоятельствам, зависящим не от нас, пользоваться дневником мы не можем», заявлял Гл. Успенский. Читатель, ознакомившийся с печатаемыми нами ниже отрывками из дневника Ф. М., поймет, почему Гл. Успенский мог использовать лишь записи, относящиеся к екатеринбургскому и пермскому периодам жизни Ф. М., а Протопопов — только некоторые нейтральные, общие места. С одной стороны, уж в очень непривлекательных чертах рисовалась в дневнике та литературная среда, с которой Решетников был связан, и опубликовать дневник — значило подтвердить упреки левому крылу литературы, раздававшиеся после смерти Решетникова, упреки в том, что близкие Решетникову писатели ничего не сделали, чтобы поднять и развить этот оригинальный талант; во всяком случае опубликование дневника потребовало бы немалого числа разъяснений и оправданий. С другой стороны, дневник беспощадно разоблачает ту мещанско-чиновничью среду, которая Решетникова окружала и с которой он был родственно связан. «Дневник решительно неудобен к печати», говорили о дневинке не раз разные лица, имевшие случай с ним ознакомиться. Естественно, что ни Гл. Успенский, ни Протопопов, ни кто-либо другой не могли в должной степени и широко дневник использовать После же работы Протопопова дневник вообще исчез из литературного оборота, и печатаемые нами отрывки взяты из небольшой его сравнительно части, совсем недавно поступившей в государственное архивохранилище.

Но и в той его части, которая находится в нашем распоряжении, дневник Ф. М. дает огромный материал для характеристики личности самого писателя и его среды. Условия места не позволяют нам дать достаточно полный анализ дневника, и мы ограничимся только некоторыми, наиболее существенными моментами.

---

[1] «В бумагах, оставшихся после его смерти, нашелся огромный дневник, веденный им более десятка лет и весьма важный для понимания характера и таланта Ф. М.» Гл. Успенский, Ф. М. Решетников, «Отечественные Записки» 1871, № 4, стр. 420.

[2] «В нашем распоряжении имеется собственноручный дневник Решетникова... дневник чрезвычайно замечательный, во-первых, по общему своему основному тону и, во-вторых, по некоторым частностям, там и сям вкрапленным среди огромного «вороха мелочей». Дневник — незаменимый и бесценный материал для характеристики Решетникова и как человека и как писателя» (М. А. Протопопов, Решетников как писатель и как человек. Вступ. статья к собр. соч. Р—ва, 1890 г., том I, стр. 2—3).

[3] «Новости и биржевая газета» 1902, № 351, «Встречи с Некрасовым».

[4] Н. Н. Новокрещенных, Воспоминания о Ф. М. Решетникове, «Екатеринбургская неделя» 1891, № 11.

Часть дневника, из которой печатаются здесь отрывки, охватывает время реакции и эпоху правительственного террора второй половины 60-х гг., с одной стороны, и с другой — время обостренной классовой борьбы в левом лагере русской литературы накануне окончательного сформирования «старого» революционного народничества. И то и другое отразилось в дневнике, и то и другое вызывало отклики и замечания автора дневника. Совершенно очевидно, что по этим откликам и замечаниям можно говорить о настроениях самого Ф. М., о его политических убеждениях, об уровне его общественного сознания.

Мы указывали в первой нашей статье[1], что, судя по материалам дневника, Ф. М. неясен был смысл борьбы между «Русским Словом» и «Современником». Он мыслит себя в рядах то одной партии, то другой, в зависимости от того, как складывались у него отношения с тем или другим журналом. В «Современнике» забраковали ряд произведений Решетникова: угроза не попасть на страницы журнала повисла над этнографическим очерком «Горнорабочие» («Осиновцы»), которым Решетников особенно дорожил; к литературным неудачам в «Современнике» прибавился ряд тяжелых настроений от небрежного и может быть несколько высокомерного отношения к нему некоторых сотрудников и членов редакции, — последнее воспринималось мнительным и самолюбивым писателем особенно болезненно[2].

«...Натянутость в редакции («Современник». — *И. В.*), — записывает он 9 мая 1865 г., — мне не нравится, и я хочу перейти в «Русское Слово».

И Решетников уходит в «Русское Слово». А когда та же история случилась и в редакции «Русского Слова», он вновь переходит в «Современник», совершенно искренне считая, что оба журнала ведут одну и ту же политическую линию.

В 1866 г. Писарев берет под свою защиту базаровщину; разгорается полемика. Обеим сторонам совершенно ясно, на каких позициях и за что они борются. «Искра», союзник «Современника», помещает на Благосветлова карикатуру. Решетников пишет в дневнике:

«Кажется журнал либеральный, считает себя одних убеждений с «Современником» и «Русским Словом», а делает гадости своим товарищам. И из-за чего? Все это из-за денег и из-за статьи «Нерешенный вопрос», которая очень не нравится Антоновичу вероятно потому, что ему завидно, что в «Русском Слове» хорошие люди пишут».

Далек также Ф. М. и от понимания смысла революционных выступлений против самодержавия. Некоторые страницы дневника (от 13 апреля 1866 г. и 7 января того же года) недвусмысленно показывают, что Решетников был настроен против революционного движения. Конечно самые формулировки решетниковских записей не всегда выражают в полной мере настроения Решетникова. Чтобы понять значение этих формулировок, надо учесть те условия, при которых записи вносились в дневник. Ответными на выстрел Каракозова репрессиями правительства Решетников был очень напуган, как и многие другие из литературной среды; и он ожидал обыска и ареста, каким подверглись виднейшие представители левой литературы.

«...С открытием верховной комиссии с Муравьевым во главе, — рассказывает А. М. Скабичевский, — началась паника во всем либеральном лагере... Паника эта еще более обострилась, когда Муравьев не ограничился арестами одних прикосновенных к делу лиц, а начал арестовывать поголовно всех писателей радикального лагеря, сотрудников и «Современника», и «Русского Слова», и «Искры». Началась повсеместная очистка квартир от всего нелегального; всюду пылали письма, прокламации, номера «Колокола», брошюры и книги, изданные за границей и с риском привезенные на родину»[3].

Готовился конечно ко всяким неожиданностям и Ф. М., и мы считаем не подлежащим сомнению, что запись от 13 апреля 1866 г. была средактирована специально для му-

---

[1] См. «Литературное Наследство» № 1.

[2] Передают, что среди некоторых работников редакции кличка «Сысойка» была твердо установлена за Решетниковым (см. Н. Новокрещенных, Воспоминания о Ф. М. Решетникове, «Пермский край» 1901 г., №№ 54 и 55).

[3] А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, ЗИФ, М.-Л., 1928.

равьевских жандармов. Решетников в ожидании обыска видимо тщательно просматривал свой дневник в поисках собственной крамолы, и следы этих поисков мы например находим в записях от 1 января и 29 мая 1865 г.[1]. Словом, Ф. М. делал то же, что делали многие.

И тем не менее мы не имеем никаких оснований предполагать сочувствие Решетникова революционным выступлениям. Не говоря уже о дневнике, таких оснований не дает и художественный материал Решетникова, хотя бы в той степени, в какой дает материал Кущевского или Омулевского[2].

Ясно это и по переписке Решетникова. Двоюродный брат его Е. П. Алалыкин отвечал на недошедшее до нас письмо Ф. М.: «Читал и жалобы твои на притеснение цензуры; да, скверно, чорт возьми, и все это виноват полоумный К[аракозов]».

Но вместе с тем дневник говорит, — и это отмечалось нами в первой статье, — о ярко выраженной ориентации Решетникова на левую литературу. Ф. М. горд званием сотрудника «Современника», не в пример другим своим собратиям из разночинского лагеря (Кокореву, Левитову) считает бесчестным сотрудничать даже в либеральных изданиях и почти нигде не печатается кроме совершенно определенных в политическом отношении изданий: «Современник», «Отечественные Записки» (некрасовские), «Искра», «Неделя», «Русское Слово» и «Дело».

Несомненен также и демократизм Решетникова. Его дневник — отличный комментарий к его художественному творчеству, проникнутому горячим сочувствием к трудовому рабочему народу. В нашей статье о Решетникове мы упоминали о записи, касающейся Конона Дорофеича, мужа кормилицы, служившей у Решетниковых; ниже читатель найдет эти строчки — записи от 28 и 29 ноября 1866 г. Знаменательно также в этом отношении то место в записи дневника за 1868 г., где речь идет о рабочем театре. Нам представляется замечательным высокий уровень, на который Решетников ставит проблему рабочего театра в то отдаленное время; здесь и вопрос о приближении театра к рабочему, и об информации рабочего населения о спектаклях, и о распределении билетов, и наконец об освобождении рабочего театра от полицейской опеки: «Да и какие это народные театры, если с первого же раза для порядка заведут везде полицию?» Решетников решительно отводит либерально-лицемерные жалобы на непосещение рабочими театра, горячо становится на сторону рабочих:

«Мужики иногда стояли на подъезде; внутрь их не пускали сторожа из опасения, чтобы они не обокрали; иной бы и хотел быть в театре, да боится пробраться до кассы; его еще и не допустят до кассы. Поэтому нечего говорить о том, что наш народ — мужичье, не ходит в театр».

На фоне отношения Решетникова к «рабочему человеку» особого внимания заслуживает нетерпимое отношение его к барству, к чиновничьему высокомерию. Человек, приемлемый для него, лишь тот, кто «говорит просто с бедными людьми». Отсюда его подозрительное отношение к «аристократизму», как он понимал этот аристократизм, к «барству-лакейству», где бы они ни проявлялись: в литературном ли круге, в круге ли его родственников по жене — чиновников и чиновниц, врачей и инженеров.

Вопрос о взаимоотношении с литераторами и редакторами нами был специально рассмотрен в предыдущей статье. Мы указывали там, что в литературном кругу Решетников был человеком почти всем чужим и всех чуждавшимся. Об этой отчужденности говорит почти каждая строчка дневника, в которой речь идет о писателях. Только в отношении к Некрасову у Решетникова нет того отчуждения, какое он чувствовал к другим своим редакторам и товарищам по перу. Правда, и Некрасову Ф. М. не прощает ни одной барской ноты, ни одной черты «директора департамента»; правда, и Некрасов не всегда был чуток к этому человеку — такому скромному и незлобивому на вид и так

---

[1] В записи от 29 мая упоминается о переезде царского двора в Петергоф и о готовившейся встрече. «Но я уеду и не буду чувствовать наслаждения, потому что встрече я не сочувствую», записал Ф. М.; а в 1866 г. старательно вымарал «встрече я не сочувствую» и вписал «буду в Пермской губернии».

[2] См. например роман Омулевского «Шаг за шагом», ч. 2, гл. VIII.

глубоко переживавшему каждую нетактичность в отношении к себе, каждую несправедливость, такому наконец болезненно мнительному и самолюбивому. Но к Некрасову Решетникова что-то тянуло; с ним он откровенен, как ни с кем, — и тем больнее переживает он барскую небрежность Некрасова.

М. Протопопов указывает на «кучу мелочей», переполняющих дневник. Нет никакого сомнения, что в творческом процессе Решетникова дневник играл виднейшую роль. Дневник давал материал для той массы деталей, которыми переполнены романы, повести и рассказы Решетникова. Мы склонны думать, что содержание дневника давало Решетникову материал к незаконченному или не увидевшему света роману «Чужой хлеб», — сохранившиеся фрагменты романа весьма убедительно об этом говорят. При таком предположении ясно назначение всех мелочей дневника, зарисовок, вставок и т. п., обильно рассыпанных по дневнику. Дневник Решетникова — его этюдный альбом, его записная книжка, откуда он черпал материал в творческом своем процессе. В тексте дневника читатель найдет прямые указания Ф. М. на связь ряда его произведений с записями в дневнике.

В юности Ф. М. писал о себе с библейским пафосом: «Бедняка никто не видит, а он, с точки невидимой, видит в мире все видимое и поверхностное, как будто смотрит в огромную зрительную трубу с высоты, никем незамеченный; и бедняк в толпе мира человеческого живет, как судья над ним».

Действительно что-то общее с этим образом «бедняка-судьи» есть у Ф. М., когда он говорит в своем дневнике о людях, его окружающих. Откуда-то из своего мира через какие-то увеличительные стекла смотрит он на окружающую среду писателей, чиновников, родных, — и нет у него другого слова для нее, кроме слова осуждения. Но чужой и осуждающий по отношению к этой среде и чуждый для нее, он легко и свободно чувствует себя с «простыми бедными людьми». Таков же он и в своем творчестве. Мир Яковлевых, Тележниковых («Свой хлеб»), мир Поповых («Ставленник»), мир многочисленных чиновников и чиновниц из рассказов и повестей Решетникова — чужой и враждебный ему мир; здесь он — судья, обличитель, даже сатирик. Но мир Токменцевых, Глумовых, Горюновых, мир Конон Дорофеичей с их бедностью, болью — мир свой, близкий и родной; здесь Решетников — адвокат, защитник.

Дневник Ф. М. находился в распоряжении С. С. Решетниковой. Поступил ли он вместе со всеми рукописями в распоряжение Сибирякова, забравшего у С. С. по договору все рукописное решетниковское наследие, или он оставался на руках С. С. — нам неизвестно. Очевидно одно, что дневник распался на отдельные части, и одна из них, несомненно та, которая была в распоряжении Протопопова, не полностью дошла до нас. Рукопись, использованная нами для публикации отрывков из дневника Ф. М. Решетникова, хранится в рукописном отделении Института Русской Литературы Академии Наук СССР, куда поступила в 1926 г. вместе с другими рукописями юдинского собрания от Иркутского Государственного Музея. Дошедшие до нас листки дневника содержат часть записей за вторую половину 1864 г., большинство записей за 1865 г. (отсутствуют записи от начала года до мая и от 3 декабря до конца года), все записи за 1866 и 1867 гг. и единственная сделанная Ф. М. запись за 1868 г. Нет никаких сведений о судьбе ранних записей дневника — до 1864 г., — широко использованных Гл. Успенским и составлявших повидимому большую часть «огромного» дневника. Ничего не знаем о записях 1869, 1870 и 1871 гг., если Ф. М. продолжал свой дневник и после 1868 г.

Рукопись, с которой печатаются отрывки дневника, представляет пачку в 12 полулистов большого формата писчей бумаги, исписанных мелким убористым почерком Ф. М. В рукописи ясны следы «цензуры». Вымарки сделаны в большинстве случаев С. С. Решетниковой, частично самим Ф. М. при обстоятельствах, о которых сказано выше.

И. Векслер

[ДНЕВНИК]

...Некрасов приехал барином и со мною обошелся не очень ласково. Причина этому та, что вследствие статьи Салтыкова завязалась полемика с «Эпохой» и борьба с журналами [1], почему Некрасов даже сам взялся читать рукописи. Салтыков, говорят, уехал председ[ателем] каз[енной] палаты. Я отдавал два действия драмы «Не помнящий родства», но Некрасов передал мне ответ, что она никуда не годится [2]. Отдавал я туда и рассказы «Между людьми» [3], но и их не приняли. Теперь я отдал «Воспоминания детства» «Русскому Слову», где уже и напечатано в октябрьской и будет продолжено в ноябрьской книжке. Благовещенский [4] сам был у меня с Комаровым [5] и просил меня продолжать работу для «Русского Слова».

Здесь жил у меня некто Потапов, уволенный из горного ведомства. Его я видел еще в Екатеринбурге у Кабанова [6]. Там он вел себя гордо и вполне считал себя за сочинителя. Его знакомые тоже называли его сочинителем, но сочинений ему не привелось напечатать, так же как и мне. Он, так же как и я, посылал сочинения в редакции, но их не печатали, а возвращали назад. С ним мне не привелось там разговаривать, да и он не считал нужным знакомиться со мной. Это я еще там объяснял так, что он считал себя за служащего в канцелярии главного начальника, а я служил в суде. Цель его сочинений, как мне говорил Кабанов, была та, чтобы ему получить из-за них хорошую должность, денег много иметь; и ему хотелось славы точно так же, как и я мечтал о себе. Сочинения его там мне не привелось читать; Кабанов говорил, что он пишет драмы и комедии и пишет очень верно, [с] юмором. Я тогда досадовал, что он будет мне оппонент [конкурент?], будет печатать то же самое, что и я сочиняю. С своей стороны, и он тоже ненавидел вообще всех сочинителей и о литературе рассуждал вообще так, что все сочинители врут, что они — люди богатые, дворяне, и поэтому их сочинения печатают, а он — бедный человек.

То же самое думал и я прежде. Но теперь я убедился, что это неправда. Нужно прежде посылки сочинения в какую-либо редакцию понять направление этого журнала, с самого начала заинтересовать сочинением редакторов. Так по крайней мере я насмотрелся в редакциях «Современника» и «Русского Слова», куда почти каждый присылает статьи из провинции — статьи различного сорта и различного склада. Сколько мне привелось читать эти статьи, они или написаны безграмотно, без всякого направления, без складу, или уже различные идеи пересолены ужасно. Все это литераторы доморощенные, которых понять очень трудно. Они — люди бедные, в них есть страсть сочинять, они думают, что они гении, но они еще только что начали развиваться, и им еще много надо читать и учиться многому. Это уж счастье, если какое-нибудь сочинение напечатают. Зато, как я думаю, они и гордятся своим талантом. Таких людей, я думаю, боятся там, в провинции, и они действительно пользуются уважением молодежи.

Мои «Подлиповцы» вскружили голову не одному Потапову. Меня знали там многие, и потому, когда увидели мою фамилию в печати, да еще в «Современнике», обо мне, т. е. о моей жизни, узнали многие, почти весь читающий люд. А в казенной палате, я думаю, что и говорить стали: «Экой, дескать, счастливчик!» Ну, да к чорту их! Я не мечтаю о славе, а мне нужно дело.

Потапову завидно стало. Он сообразил, что, дескать, я поеду в Петербург, попрошу Р[ешетникова] помочь мне напечатать что-нибудь. Так как и я уехал в Петербург для сочинительства и воображал, что я — гений, и если я буду в Петербурге, то добьюсь-таки толку, то подобное думал и он. Но у меня, кроме сочинительства, была служба в департаменте, и я все-таки на первых порах имел деньги и мог жить не богато, не бедно, не го-

лодно и не холодно, — так, как я и прежде жил: и не холодно и не голодно, питаясь чаем, молоком, булками. Потапов же рассчитал так, что если он приедет в Петербург, то тотчас же попадет сотрудником в «Современник». Поэтому он вышел в отставку и приехал в Петербург, приготовив несколько комедий. Через два дня по приезде он отыскал меня, расхвалил, сказав, что он удивляется, каким это образом я попал в «Современник», и высказал свое мнение, что он очень легко сможет попасть в сотрудники этого журнала. Я прочитал два хваленых сочинения, по моему понятию, они оказались слишком растянутыми, разговоры мало характеризуют людей, и вообще по этим разговорам непонятно, чего нужно говорящим людям. Все они сетуют на свою судьбу, на начальство. Пустые фразы написаны языком горнорабочих, так что этого языка в Петербурге и в половине образованной России никто не поймет; да и изложение очень обыкновенное, давно избитое, нового слова нет. Впрочем, по моему мнению, эти сочинения можно бы напечатать как оригинальные из жизни горнорабочих.

Одну комедию я снес в редакцию «Современника», там прочитали и сказали, что они не могут напечатать, потому что каждое слово нужно оговаривать, а нужно бы было, чтобы Потапов написал очерк, что будет очень интересно. Потапов очерк писать не согласился, а сказал, что комедии писать ему ничего не стоит, а очерки ему не нравятся, и он очерки писать не умеет. Комедии и драмы — его страсть, и пишет он их с той целью, чтобы ему поставить их на театре, так как на театре дается чорт знает что. С этим согласен и я, и это было моим намерением еще в Екатеринбурге: сидишь бывало в парадизе и думаешь: «Ах, как бы приняли мою комедию! Удивил бы я народ; уж такую бы я комедию поставил, что все бы меня похвалили, и написал бы я такую, какой никто еще не писывал».

С целью, что я как-нибудь помогу Потапову поместить его сочинение в «Современнике», он перешел на квартиру ко мне. Переделанную комедию его в редакции не приняли, не приняли и другую, отговорившись тем, что они не хороши и редакция не печатает комедий и вообще театральных произведений на том основании, что их никто не читает. Я сам говорил в редакции, что я хочу писать драму, мне не советовали.

Неделю он жил в ладу с нами, но потом стал капризничать. Он ел много, пил чаю и кофе тоже много, любил тепло; Каргополова* подсмеивалась над его физиономией и передразнивала его. Это ему не понравилось, не понравилось ему еще и то, что я как будто бы не хочу, чтобы приняли его сочинения. Он стал говорить, что ему холодно, что у него нет денег, и переехал на квартиру дружески. Когда приехал Некрасов, он послал ему очерк «Пасынок» и комедию. Я попросил Некрасова прочитать. Некрасов сказал, что ни очерк, ни комедия не годятся для «Современника». Но Потапов, посылая очерк, написал Некрасову письмо такого рода, что он человек бедный, служить не может, хочет и может заниматься только одной литературой и желает быть постоянным сотрудником журнала, потому Некрасов может заключить с ним контракт с тем, чтобы он дал ему теперь 300 руб. Некрасов сказал мне, что Потапов — нелепый господин. Потапов написал ему невежливое письмо, стараясь как-нибудь получить хоть сколько-нибудь денег, но Некрасов ответил ему, что денег ему никаких не может дать. Потапов рассердился на меня и на редакцию, обругав Некрасова, Головачева[7], Пыпина[8] и Антоновича[9]. Снес он очерк в «Русское Слово» — там тоже не приняли. Снес он редактору «Русской Сцены» две комедии — и тот не принял. Везде, куда он носил свои сочинения, он просил наперед деньги, и за это его прозвали помешанным.

Все-таки положение Потапова очень незавидное; он говорил, что ему не на что жить; он бы и назад поехал — нет денег, пешком итти — холодно.

* Серафима Семеновна — впоследствии жена Ф. М. Решетникова.

[illegible] на „заработки" исключительно в „Искре" Курочкин, выдававший 2 р. 12 к., а Елисеев, бывший тогда злой и холодно поздоровавшийся со мной, откровенно заметил, что выходя за работой больше [illegible].
Зашел в контору „Совр."; там мне предложили за сочинения только 150 р.
Сходил к Базунову, откровенно:
— Вам, говорят, В. покупает издание соч. Р.
— Я его уже два месяца не вижу. А вы лучше уходите.
— Мне бы хотелось продать свои соч. Ф. Р.
— Я все [illegible]. Пусть В. поговорит.
Через неделю я опять сходил безуспешно, послал в К. жену и та узнала от В., что Базунов обещался подумать до осени.
За „Глухие места" я получил деньги, а [illegible] судьбою просил В. передать в „Искру", но прошло месяц и она не [illegible] даны. Теперь В. обещает напечатать [illegible] и обещает [illegible] три недели, наконец уведомил меня через писаря, что [illegible] по очереди(?)...
При таком положении дел литературы, я вывожу такое заключение, что у нас г.г. издатели и редакторы отдают предпочтение своим приятелям и людям состоятельным, так например, огромные статьи [illegible], богатого человека, печатают в будущем декабре [illegible] без перерывов в трех нум., а мои „Глухие места" были прерваны на два месяца, потому, что сказал В. [illegible] по [illegible]. Воронов, под покровительством [illegible], печатает почти в каждой кн. и иногда даже по две статьи. [illegible] сочинения [illegible] тоже [illegible] по две статьи [illegible] я никому допроситься чтобы Кур. поторопился прочесть мои статьи.
Я несколько раз просил В. уволить меня от статей и обещаний соч., но он и не думает отвечать, а желает чтобы я сам [illegible] в Интендантство, где я должен буду унижаться перед сторожами.
Теперь уже август месяц, а в ½ сент. я должен буду непременно [illegible] из Петербурга. Нужно отдать [illegible] 13 р., В. Карганову 25. [illegible] шубу за 48 р., да [illegible] нужно отдать 15 р. [illegible] чего стоит? И всего этого редакторы не хотят и знать, а [illegible] говорить об этом, они [illegible]: [illegible] надо было!" Ну разве они не[illegible] этого.
Кроме этого я писал своему воспитателю письмо, чтобы он [redacted], но дядя пишет мне письмо с упреками, смысл коих тот, что я [illegible] из Перми и мог бы теперь служить в Перми. [illegible] что дядя и писать мне больше не будет и письма моих не будет принимать. Теперь ему дали 3 р. 50 к. в месяц; [illegible] только 300 р., а дом в Перми стоит 700 р.
Вот тут и подумаешь как жить. И я вполне уверен, что кроме моей жены ни кто не сочувствует моему положению теперь. Будь я каким нибудь образом вдруг богат, все эти господа редакторы будут заискивать моей дружбы, будут печатать статьи, а [illegible] мое положение и речи не будет. Такова уж наша литература. [illegible] советовали мне некоторые господа отдать роман в Отечественные записки. Это тоже довольно хорошая штука с одной стороны. [illegible] что я нахожусь в [illegible]. Тогда я думаю [illegible] бы [illegible] меня. Всё едино.
Думаешь думаешь — ничего не можешь придумать. И черт знает до чего меня доведет эта [illegible] г.г. редакторов [illegible] будет продолжаться долго... Уж я [illegible] невыносимо.
5 августа 1866, канун моего приезда из Перми в прошлом году. [illegible] прибавился год страданий.

СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА С ВЫМАРКАМИ, ПРОИЗВЕДЕННЫМИ С. С. РЕШЕТНИКОВОЙ

С подлинника, хранящегося в Институте Русской Литературы

С каждым днем положение его становилось хуже и хуже: на службу его нигде не принимали, денег нет, хорошо еще, что он нашел на Гороховой немца, который взял его жить с хлебами за десять рублей и верил в долг. Проклиная все редакции, всех сочинителей, он все-таки не унывает и все пишет, но читать хорошие ученые книги, кроме беллетристики, не хочет,— потому-де я все знаю и если чего не знаю, так мне не для чего ломать голову.

Теперь он поступил в горный д[епартамен]т.

28 декабря [1864 г.]

В «Русском Слове» напечатаны за октябрь и ноябрь мои «Воспоминания детства». Я думаю, дядя ужасно рассердится [10]. Писал я не со злобы, но чтобы показать, как развиваются люди в провинции при дрянном воспитании [11]. Теперь я отдал продолжение, и мне ужасно как неловко писать свое прошлое; как-то не хочется задевать живые личности. А гадости в каждом лице очень много.

В «Современнике» на меня косятся, вероятно, за то, что я печатаю еще в «Русском Слове», с которым «Современник» начал полемику за то, что Писарев в «Нерешенном вопросе» [12] обругал Антоновича и «Современник». Антонович — неглупый человек, но напрасно тратит свои дарования на полемику, которой он портит журнал, и выхваляет себя, что он — единственный умный в России человек, так как он первый критик в «Современнике». Придешь в редакцию, поздороваешься, с тобой никто ничего не говорит, и если говорят насчет дел редакции, то говорят шопотом, или говорят: «после поговорим, теперь нельзя». Еще в декабре я отдал статью «Горнорабочие» [13]. Пыпин велел переделать. Теперь хотя ее и пропустила цензура, но ее читает еще теперь Некрасов. Такая натянутость в редакции мне очень не нравится, и я хочу перейти на сторону «Русского Слова»... *

В редакции «Современника» лежала моя статья «Горнорабочие. 1-й этногр[афический] очерк». Редакторы все говорили, что они ее не поместят в мартовскую, апрельскую книжку, потому что материалов хороших много. Значит, они высказывали, что моя статья дрянь. Но зачем они не скажут мне это в глаза, зачем шесть месяцев держат ее? Пыпин сказал, что она у Некрасова. Пришел Некрасов, поклонился мне, а за руку не поздоровался и стал разговаривать с двумя просителями. Через полтора часа после его прихода Пыпин сказал ему шопотом: «Что мы станем делать с Решетниковым? Я ему сказал, что статья у Некрасова, и я сказал ему, что у нас теперь много материалов и ваша статья в апрельскую книжку не пойдет».

— Да, надо развязаться с ним, — сказал Некрасов и немного погодя подошел ко мне.

— Вы извините меня, г. Р[ешетников], что мы так долго вашу статью держим. Ее нельзя напечатать. Если вы будете писать все в таком роде, как вы теперь пишете и торопитесь писать, без соображения, то вы, с вашим талантом, допишетесь до того, что вас будет жалко. Если вы что-нибудь хорошее напишете, мы с удовольствием примем. Но если вы будете писать так, то в плохом журнале, конечно, будут печатать.

Я простился с ними пожатием руки, но пожатие было просто из вежливости, особенно чувствовал при этом неловкость Антонович. Головачева нет, его должность оправляет Слепцов [14], но он меня не знает. В редакцию я пришел без очков и увидел все незнакомых. Слепцов обратился ко мне: «Что нужно?» Я ничего не сказал и пошел в угол, на диване увидал Пы-

---

* Окончание записи, из которой приведен этот отрывок, очевидно, отсутствует, отсутствует и дата. Запись относится к концу декабря 1864 г., или к первым числам января 1865 г.

пина. Надо ходить с очками. А еще говорят, что я очки ношу для прикрасы.

Не знаю, что делать с «Горнорабочими»? Повезу к горнорабочим и прочитаю с Фотеевым...[15]

В «Искре» помещены две карикатуры на Благосветлова[16]. Для нас, знающих хорошо положение Благосветлова, такие карикатуры кажутся нелепостью, а для незнающих, в чем дело, оно очень невыгодно для редакции и репутации «Русского Слова». Разве Бл[агосветлов] виноват, что ему не платят деньги? Разве он не имеет права защищаться? Как же ему поступать в таких случаях, когда ему не дают ходу противники, считая его за защитника нигилистов и называя его бессмысленной башкой? Карикатуры довольно нелепые, так и видно, что «Искра» не знает, чем осрамить человека, особенно невинного Зайцева[17]. Кажется, журнал либеральный, считает себя одних убеждений с «Совр[еменником]» и «Р[усским] С[ловом]», а делает гадости своим товарищам. И из-за чего? Все дело из-за денег и из-за статьи «Нерешенный вопрос», которая очень не нравится Антоновичу вероятно потому, что ему завидно, что в «Р. С.» хорошие люди пишут.

9 мая [1865 г.]

...переход со старой квартиры в эту кажется довольно резким. Там мы занимали пять комнат, сами имели хозяйство, были полными хозяевами, потому что сами имели квартир[антов], а здесь живем в углу за два рубля в месяц и берем кушанье из кухмистерской, довольно несытное, на двоих — за пятнадцать рублей в месяц четыре блюда в сутки.

...Петергоф хотя и город, но походит на сад или на дачу. Куда ни повернись, все сады и пруды, но все это сделано искусственно и очень неприятно слышать, что на поправки, сады и фонтаны выходит в год не одна сотня денег. 10 июня приедет государь с царской фамилией, и тогда будет музыка, но я уеду и не буду чувствовать наслаждения, потому что встрече я не сочувствую.

... Потапов спился совсем, рассорился со мной и ничего не сочиняет. Он проклинает товарищей на казенной квартире, которые будто бы приучают его к пьянству. Он сделался злой, капризный, ругает прислугу и всех и улизнул с квартиры, так что через три дня его уже разыскивали. Потом в д[епартамен]те получили от него записку, что он в Обуховской больнице и нездоров воспалением легких. Говорят, что он три дня жил где-то на квартире и заводил скандалы, драки и поэтому думают, что его порядочно исколотили.

29 мая [1865 г.]

Сегодня я именинник и сижу без копейки. Сидеть без копейки после приезда из Пермской губ. мне приходится чуть ли не в шестой раз. Все это произошло по милости редакции «Р[усского] С[лова]». Перед отъездом из Петербурга я отдал туда окончание «Между людьми», или третью часть, сделав в ней такое заключение, что герой явится впоследствии, когда разовьется. Благовещенский через неделю сказал мне, что написано много лишних вещей и если я дозволю ему, он займется выправкой. Я дозволил; через несколько дней я спросил Благов[ещенского], могу ли я ехать и получу ли деньги в Соликамске. Меня обнадежили, и я поехал с 40 рублями. Прожил я в Соликамске три недели, в Перми полторы — ни писем, ни денег нет. Наконец жена заложила вещи, выслала мне 50 руб., и на эти деньги я съездил в Екатеринбург. Приезжаю оттуда, получаю письмо от Благовещ[енского] с штемпелем редакции «Р[усского] С[лова]». Он пишет — окончание они решили не печатать вовсе (подлинные слова), потому что оно недокончено[18]. Приезжаю в Петерб[ург], прошу статью и ее через месяц получаю от Комарова всю исчерченную. По

приезде я отдал в редакцию две фельетонные статьи о Пермской губ. — не взяли[19]. Просил [у] Благосветлова денег, он оттягивал целый месяц, говоря, что денег нет, и наконец написал такое письмо, чтобы я не думал о надежде получить денег в долг. Пришлось закладывать вещи. Хотел я отдать туда свой роман, но говорят, что они будут его читать тогда, когда я напишу весь[20]. Я отдал первую часть романа в редакцию «Современника»,— та же история: велели обратиться к Некрасову. Некрасов принял меня любезно, но сказал, что он поместит роман не раньше как в ноябре и декабре на том основании, что у меня роман не окончен. Впрочем, он согласился прочитать со мною начало романа и обещал поговорить Звонареву насчет издания «Подлиповцев»[21].

В редакции «Современника» рассуждают, что «Р[усское] С[лово]»—журнал дрянной и против него даже не стоило бы писать что-нибудь, а в «Р[усском] С[лове]» говорят, что «Современник» устарел, там ничего нет хорошего. По моему мнению, некоторые статьи «Русского Слова» очень дельные, но что касается до статьи Соколова[22], то он ввертывает невозможные и нелепые мысли, а Писарев и Зайцев очень зазнаются и провираются. Антонович же говорит толком, но тоже, не сдерживаясь, провирается. Мне нравится, что Пыпин не ввязывается в ихнее дело, молчит Некрасов, а в «Русском Слове», по настоянию Благосветлова, почти все, кроме разве Благовещенского, идут против «Современника» и, считая себя умниками, хочут закидать грязью «Современник», в котором они следят, кажется, только за полемикой.

Благосветлов оказывается мазуриком. Он согласился издать соч[инения] Помяловского таким образом: когда он выручит затраченные на издание деньги, тогда остальные деньги пойдут в пользу семейства Помяловского. Письменных условий заключено не было, потому что считали Благосветлова за честного человека. Он издержал на издание 1450 руб., конечно за хлопоты вычел себе рублей 500. Но выручивши 1450 р., он из остальных денег за остальные экземпляры стал давать Помяловским половину, говоря, что он прежде так условливался. Теперь Помяловским приходится получить около 1800 р., а они получают только 900 руб. Вот она, честность-то. Вот и реалисты!

19 сентября [1865 г.]

Очень бы я желал, чтобы мой дневник или мои заметки после смерти моей напечатали.

Теперь я очень хорошо понял, что те, которые ратуют за свободу, — или богачи, или такие люди, которые пользуются особенным почетом тех, которые давят человечество. Настоящей свободы человеку нет: человек всегда будет подчиняться другому и будет находиться в зависимости от людей богатых. Бедному человеку с ничтожным званием нечего и думать о свободе.

Пример этому я — отставной канц[елярский] служитель.

Уже 19 числа сентября я записал свое положение, теперь оно еще хуже. Я переделал «Между людьми» и назвал статью «Похождения бедного провинциала в столице». Благовещенский назвал ее великолепной, только не захотел ее напечатать, потому что тут дело идет о литераторе. В сентябре я прочитал ее Некрасову, он хотел напечатать ее в октябрьской книжке, а когда я решительно не знал, что делать, он написал мне письмо, что она в нынешнем году непременно будет напечатана, и выдал мне в счет ее 65 руб., которые я в один же день издержал, и все-таки у меня осталось долгов рублей 200. Из первой части романа я прочитал Некрасову половину и потом получил от него письмо, что ему слушать меня некогда[23]. С этого времени прошло полтора месяца. Раз я прихожу в редакцию. Некрасов говорит:

— Я отдал переписывать первую часть.

— Н[иколай] А[лексеевич], у меня денег почти нет, сами знаете.

— Я на свой счет. Приглашать мне вас — у меня утром и вечером нет времени, а читать ваш почерк я не могу. Пыпин тоже отказывается.

А о том, что я просил его, не похлопочет ли он мне о частных занятиях, он не сказал ни слова.

Сегодня же сказал:

— Вы напрасно ходите в редакцию. Вы тогда узнаете решение своей участи, когда я весь роман до последней строчки прочитаю. Вы думаете жить на счет романа; я вам скажу, что у нас времени так мало, что он, может быть, прочитается через полгода, через год.

Он думал, что я хожу к нему просить денег. Когда я ему сказал, что я бы с августа месяца мог прочитать весь роман и переписать его, он сказал, что ему слушать меня некогда, а ему нужно читать писарской почерк.

Взять роман назад я не могу, потому что я должен Некрасову 65 р., а заплатить эти деньги я не могу, да и за шубу жены уже требуют долгу 50 р.

В «Р[усском] С[лове»] то же. Там напоминают мне о романе, который я в мае обещал им отдать, и обижаются, что я отдал его в «Совр[еменник]». Пока не печатают другие статьи тоже. В «Искре» цензор исчеркал «Путевые письма» [24], и ничего не вышло.

Не знаю, что и делать.

А тут жена 7 ноября родила девочку и до сих пор лежит, не вставая, в клинике. Положение ее мучительное, и доктора своим искусством производят над ней пытку... Девочка Маша находится в воспитательном, потому что она испортила груди жены и от молока стала худа.

Положение мое очень ужасное. Еще кое-как поддерживаюсь «Искрой», где Курочкин должен мне около 30 р. с.

3 декабря 1865 г.

Помнится, что у меня в дневнике за какой-то год написаны мысли на новый год. Пересматривать мне дневник не хочется, да и тетрадь слишком большая, а времени у меня очень мало. Правда, я мало работаю. Роман («Горнорабочие»), или окончание 3-й части, с ноября месяца не пишется. Причины тому — мое гадкое положение, доводящее меня часто до слез. Нужно итти в клинику, потом в воспитательный к дочке и унижаться перед умною сволочью (докторами) и надзирательницами, чтобы дочку не отправили в деревню...

Потом нужно бегать в редакции «Искры» и «Будильника» [25]. Нынче не стоило делать отчета, лучше в новом году писать отчет.

В «Искре» очень мало денег, и мне уже совестно просить Курочкина каждое воскресенье. Он дает, но совестно просить. Положим, я получал по 10 и 5 р. в воскресенье, но все эти деньги шли на расплату долгов. В редакции «Искры» теперь у меня четыре статьи; две прочитаны, и Курочкин обещал поместить их в январе месяце. Ему нужен юмор, как он мне говорит, и я написал юмор такой, что бедный человек смеясь рассказывал о своем горе, а Курочкин говорит, что в статьях мало юмору, между тем в «Искре» зачастую печатаются пустые рассказы.

Дмитриев, ред[актор] «Будильника», когда я послал ему небольшую статейку, написал мне сахарное письмо [26], что он очень будет рад, если я буду участвовать в «Будильнике», и просил написать статью для юмористического сборника или принести статью, не пропущенную цензурой. Я написал и принес «Путевые письма», но он сказал, что «Путевые письма» имеют местный характер, а статья «Приезд генерала» [27] будет читаться при собрании известных литераторов и он дожидается художника Слепцова, т. е. его статьи [28]. Странно не печатать статьи, имеющие мест-

ный характер. Я очень хорошо понимаю, что я верно описал сцены, мною замеченные, и жизнь в «Забиенных местах» [29].

В этих двух редакциях участвуют те же сотрудники, но странно, — в каждой редакции толкуют против другой редакции. Здесь ненавистные литераторы осмеиваются, как только можно. Я еще ни с кем не познакомился, я молча сижу на стуле и слушаю вздоры литераторов. На меня никто не обращает внимания, да и мне наплевать на них.

Перед рождеством я получил милостыню, и милостыню хорошую. В начале декабря я написал Некрасову довольно резкое письмо [30], что я хожу к нему не за деньгами; если бы я был богат, не стал бы кланяться, а напечатал бы роман особой книгой, не отдавал [бы] его ни в какой журнал, и в заключение написал, что я к нему больше боюсь ходить и не отдаст ли он мне роман назад. Деньги же, 65 р., он дал мне в счет статьи «Похождения бедного провинциала в столице», которую хотел поместить сперва в октябрьской, а потом отложил до ноябрьской или декабрьской книжек. Недели через две с половиной после этого я получил из конторы «Современника» письмо, что я могу застать дома Некрасова между 12-м и 2-м часом. В письме, написанном чиновничьим тоном, тоном канцелярии директора, не было написано, для чего оно ко мне послано. Однако догадываясь, что я могу явиться к Некрасову, — пошел.

Некрасов мне сказал:

— Вы напрасно обижаетесь. Вы не поняли моих слов. Я вам сказал, что я не могу теперь скоро прочитать вашего романа, потому что дела мои в таком положении, что времени нет, особенно с этими предостережениями [31]. Ваш роман так велик, что я не могу его сразу прочитить, а прочитавши первую часть, я не могу печатать, потому что не знаю, каково будет продолжение. Я понимаю ваше положение, и я говорил вам, что я раньше декабря не могу дать вам большого количества денег. Теперь я могу дать, а когда я прочитаю весь роман, тогда дам еще больше.

— Мне не хотелось бы брать денег вперед.

— Это ничего. Я могу вам дать сто рублей. Если в случае чего-нибудь, — вы напишете другую статью.

Что я против этого должен был сказать, когда у меня в кармане не было ни копейки денег? Ну, я и мигал глазами, и не хотелось мне брать денег, но он сказал:

— По началу, которое вы читали, я сужу, что роман годится для «Современника», и я, как перепишут его, постараюсь поскорее прочитать его.

А между тем сколько мук я принял с этим романом. Не раз мне доводилось плакать за Елену Токменцеву, за отца ее, мать, Корчагина и прочих угнетенных и угнетаемых людей.

— Но я вас должен предупредить, что теперь я плачу понемногу. Если я по первым книжкам увижу, что журнал пойдет в 1867 г., то буду вам платить по 40 р. за лист, а если нет, то 30 р.

Он хотел запугать меня; ему хотелось тешиться надо мной. Он понимает, что мне, при настоящем положении, можно назначить и 10 р. за лист. Вот и надейся на литературу. А он еще поддразнивает меня:

— Вы бы искали службы.

От этого человека я не ожидал этого, да он и знает, что я не чиновник и меня никто не примет на службу.

Он показал мне, для очистки своей совести, переписку романа. Первая часть переписана только на четверть. Писарь захворал.

Жена, слава богу, поправляется, и 9 января я ее привезу домой. Измучилась она, бедная. Дочь также привезу домой..:

Завтра год моей семейной жизни, а это для меня дорого.

Завтра для меня новый год. Каков-то он будет?

7 января 1866 г.

Да! Я много хочу написать в дневник, да забываю. Например, я видел много нигилисток. Это глупые люди. Мальчик, вбивший себе в голову, что он нигилист, т. е. не верует в бога, не признает правительство, носит длинные волосы, очки, говорит вздор и подличает; в церкви он ужасно гадок, ужасно гадок на Невском, в пассаже, где делает пакости девушкам, женщинам. Спросите вы его, что такое нигилизм, он никак не объяснит вам. Люди, считающие себя нигилистами и попавши на должность или имея деньги, о нигилизме толкуют девицам, корчат из себя умных, а в сущности такие подлые люди, что с ними и толковать не стоит. Они никак не хотят не только заступиться за мужика, но не хотят сознательно, чистосердечно назвать его гражданином — и всегда ближнему сделают пакость. Нигилизм — модная фраза, не объясняющая. Старики правы, что ненавидят молокососов. Отчего меня полюбил дядя, когда я был у него? А уж я ли не описал его? Впрочем, я [может быть] * не нигилист. Женщины и преимущественно девицы ходят без кринолинов, с обрезанными волосами, с книжками: это нигилистки. И за ними волочатся очкастые, длинноволосые нигилисты... Эти особы говорят по-ученому, но ничего не понимают, их можно резать с книжкой, но она будет хвастаться, а не объяснять; то, что скажет ей нигилист,— будет говорить и она.



СЕМЬЯ Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

С фотографии, предоставленной дочерью писателя М. Ф. Евстратовой

Как-то к старой хозяйке Дороговой пришла 12-летняя сестра Писарева [32] за кушаньем. Хозяйка заметила, что у нее плохо растут волосы.

— Я — нигилистка,— сказала девочка.

— Что же это такое?

— Я в бога не верую, ничего не признаю...

Шел я из крепости. По льду около крепости катались на коньках нигилист и нигилистка. Нигилистка держала в левой руке книгу и постоянно падала, при чем книга выпадала, и нигилист ловил книгу. Шедший народ останавливался и с любопытством смотрел на эту комедию.

Катанье на коньках в Петербурге нынешней зимой сильно развито, то и дело видишь аристократок, чиновников, нигилистов и нигилисток и зевающую толпу народа, который мимоходом рад чем-нибудь развлечься.

7 января 1866 г.

Январь и февраль я провел спокойно, потому что в 11 и 12 № «Современника» за прошлый год напечатали «Похождения бедного провинциала в столице», а в 1-м и 2-м № за 1866 г. 1-ю часть романа «Горнорабочие» **. Но первая часть много потерпела сокращений в редакции: Некра-

* «Может быть» вычеркнуто Решетниковым.

** Роман «Горнорабочие» (1-я часть) напечатан в I и II книгах «Современника» за 1866 г.

сов говорил, что написано резко, но Пыпин говорил, что много нелепостей и вовсе ненужных вещей. Так, рассуждения общества о поступке Елены, ходьба соседки Елены с Еленой к письмоводителю и управляющему, наказание Елены отцом в бане—целые две главы выкинули, и вместо них я написал одну главу в одну страничку [33]. Теперь Некрасов как будто недоволен мной, потому будто, что вторая часть ему не нравится. Но он еще не читал ее, а будто бы Пыпин говорил ему, что в романе есть такие вещи, по которым нельзя печатать романа. Третьего дня я прочитал Некрасову ту главу, в которой Онисья Кириловна представилась к главному начальнику, и ему не понравилось описание главного начальника: «Это так безграмотно, что так не напишет последний подьячий». Когда я сказал ему, что я могу это изменить, то он отдал мне всю 2-ю часть и велел перечитать ее снова [34]. Я перечитал и поправил снова. Сегодня он сказал мне, что прочтет первую главу, и все-таки обещается не откладывать печатаньем. А мне так и кажется, что он отложит до апрельской книжки.

Я и сам сознаю, что надо бы заняться романом хорошенько, но в настоящее время я решительно не имею возможности, потому что нет денег.

Теперь я думаю, что, живя в Петербурге, на литературу нечего рассчитывать. В редакции «Современника» смотрят на меня с пренебрежением, как на недоучку, человека неразвитого, которого можно запугать и обойтись так, что ты человек нам не парный. Я очень хорошо понимаю, что если они и печатают роман, так только ради христа... Это мне обидно. Но что я сделаю? Курочкин говорит, что я получаю много денег, и этим как будто старается намекнуть, что я могу и подождать со своими статьями. А я, между тем, сижу без копейки да должен ред[акции] «Совр[еменника]» около 50 р. Кроме этого меня мучит долг капитану парохода «Кавказ и М[еркурий]» Козлову. Все они, вероятно, не живали так бедно, как я, потому так и судят. Кроме Козлова я расплатился со всеми, т. е. выплатил долгу рублей триста, а жить-то чем?

Вот теперь литературные чтения, а я не имею возможности попасть туда, потому что нет денег, да и я все еще ни с одним литератором не знаком, и если редакторы «Искры» и «Будильника» рекомендуют меня которому-нибудь, так те эту рекомендацию считают одной формой. Впрочем, это меня не огорчает, да и я сам веду себя так, что никто со мною не разговаривает. А познакомиться с хорошими людьми не мешало бы.

Некрасов в отношении ко мне сделался все равно, что директор д[епартамен]та к помощн[ику] столоначальника.

Поэтому я хочу уехать в провинцию с женой, которая возьмет там место бабки [35]. Но раньше этого мне нужно запастись материалом для романа «Петербургские рабочие», и этот роман я буду писать в провинции [36]. Кроме этого мне опротивело жить с родными жены—ее братом и сестрой...

«Русское Слово» приостановлено на 5 месяцев [37]. Благовещенский рад этому, потому что начало его второй части вышло глупое, бессмысленное и до невероятности натянутое... [38]

С Дмитриевым, ред[актором] «Будильника», вышел какой-то скандал. Когда я был в редакции, то целый час слушал литераторов — ничего не мог понять. Кажется, известный Мих. Воронов сочинил какую-то статью на кого-то, и издатель «Будильника» напечатал ее в «Будильнике» без согласия Дмитриева, и Дмитриев хочет отказаться от редакции [39].

11 марта 1866 г.

Записываю эти строки в тяжелое для нашего брата — литератора время. Весь Петербург только и занят тем, что покушением на жизнь государя. Самое главное — не знают, кто злодей. «Московские Ведомости» говорят — он поляк, «Петерб[ургский] Лист[ок]» — нигилист, а он врет [40].

Вот поэтому-то, говорят, и хватают всяких подозрительных людей. А от этих слухов наша-то братья и трусит. Положим, я ни с кем не знаком из литераторов и имею о них два понятия: одни — пьяницы, другие — баре. Пьяницы болтают все, что придет им в голову, а баре помалчивают. Но какие отношения бар к пьяницам — я не знаю. Наплевать! Знакомых у меня очень мало, потому, что я не люблю заводить знакомство: сам ходишь, к себе води. Ну их к... Однако я хотя и против всего того, что эти какие-то господа замышляют по глупости своей, все-таки беспокоюсь: вдруг ночью придут, разбудят мою дочь. Они, конечно, не знают, или им дела нет до того, что дочь от испуга может на всю жизнь оглупеть, кормилица молоко потерять. Положим, должно подозрительных людей обыскивать, но я-то чувствую, знаю, что я тут ровно не при чем, и мне обидно за дочь. Все эти мысли лезут в голову потому, что будто Курочкина и Минаева [41] обыскивали, а может и других. Уже хоть бы скорее обыскали!

В «Будильнике» что-то долго не печатают ничего моего. После завтра надо итти к Степанову. Пойду и к Некрасову с 3-й ч[астью] романа. Не хочется, а надо узнат, будут или нет печатать в апреле 2-ю [часть]. Если не будут, не знаю, что и делать.

— Время теперь такое... Опасно, — скажет Некрасов.

Да мне-то что за дело! Всякий видит, что тут рабочие притесняются начальством. Неужели правительство так глупо, что оно и в этом романе видит что-то другое? Я бы ему посоветовал самому потолковать с мастеровым или урочнорабочим. Но я знаю, что тут кроется со стороны Некрасова что-то. Будь я богатый человек, не то бы было; а то я должен теперь ему 70 р., и он как будто считает меня за какую-то пройдоху. Обидно.

Да, много есть страданий у человека. В страдании Сысойки и Пилы («Подлипо[вцы]») я страдал, теперь я страдаю в Корчагине. Но все эти лица живые. Подите вы на Каму, в Пермь теперь, подите в любой горный завод,— стонет бедный народ и стонет от начальников: приказчиков, мастеров, штейгеров. То же и здесь с фабричными и другими рабочими.

13 апреля [1866 г.].

В «Русском Вестнике» я прочитал статью Безобразова «Начало пугачевщины» [42]. Объясняется, что народ страдал и был вызван страданием к бунту. Пугачев имел девиз: земля ваша, свобода. Конец свертывается к тому, что Екатерину II окружили дворяне. К чему эта штука?

Роман мой теперь не печатается.

Времена теперь тяжелые: Елисеев, Слепцов, Минаев, Вас. и Ник. Курочкины взяты [43].

Некрасов сказал стихи Муравьеву...

Мур[авьев] хотел вызывать Чернышевского, но император умнее Муравьева, не дозволил: двух смертей человеку не бывает [44].

6 мая 1866 г.

В настоящее время я переживаю ужасные и самые тяжелые дни. Я писал раньше, что, вероятно, вследствие того, что самых известных литераторов засадили в крепость и части, Некрасов сказал стихи Муравьеву. В это время я еще был спокоен, потому что Некрасов обещался поместить 2-ю часть романа «Горнораб[очие]» в майской книжке и хотя потом отложил до июньской, но все-таки уверил и выдал мне 50 р. Кроме этого брат Курочкина Владимир просил меня не оставлять редакцию «Искры» своими статьями. Вейнберг, редактор «Будильника», меня лелеял, печатал статьи и просил тоже писать [45]. По всей вероятности и Курочкин, и Вейнберг думали, что засаженных литераторов сошлют, и мы, дескать, будем довольствоваться и этим. Только гг. Пыпин, Антонович и прочие не обращали

на меня внимания и, бывало, когда придешь в редакцию «Современника», боятся даже поздороваться с тобой, а разговаривали больше в другой комнате.

Говорили, что будто Пыпин и Антонович разошлись с Некрасовым после его стихов М[уравьеву], но однако я их видел у Некрасова.

Некрасов уехал в поместье, а через две недели или раньше запретили «Соврем[енник]» и «[Русское] С[лово]» [46].

Я стал продавать Звонареву свои сочинения за 500 р. Он давал 200 или 300. Я попросил Вейнберга, тот хотел поговорить Базунову, даже настоять на том, чтобы он купил их за 300 р. Звонарев обещался сказать ответ через неделю. Вероятно ждал Некрасова.

В это время я уже жил в Петергофе у той же Пермяковой. Нанял я на лето комнату за 25 р. Об ней я писал в статье «Город в садах», о которой я буду говорить ниже.

Приезжаю я в город за получением из «Искры» денег. По моему счету на Василье Кур[очкине] было старого долгу за «Внучкина» 13 р., да за статью «Женщины Никольского рынка» [47], которая была мною названа «На Никольском рынке», мне приходилось руб[лей] 18, так как я получаю по 6 к. за строчку, да за окончание «Внучкина» 9 р. А надо заметить, раньше я от Влад[имира] К[урочкина] получил в течение 1½ мес. 15 р., а потом он говорил всем, как Усов [48], что у него денег нет.

В книж[ном] маг[азине] «Совр[еменника]» я узнал, что Некрасов приехал. Я же не имел ни копейки и написал Н[екрасову] письмо: что он будет делать с романом, так как я ему должен в счет его 100 р.; если он будет издавать какой-нибудь журнал, то нельзя ли его продолжать под другим названием, или не купит ли он его у меня за 150 р. Я просил его уведомить меня [49]. В этот же день я узнал, что Н[екрасов] хочет рассчитать подписчиков Шекспиром. А Вл. К[урочкин], выдав мне 5 р., сказал, что он не будет платить долги брата. Корков, приказчик, заведывавший делами «Современника» и сотрудник «Будильника», сказал мне, что Пыпин своего адреса в конторе не оставил и никого не хочет принимать к себе. Звонарев сказал, что он насчет моих сочинений подумает до осени, т. е. до октября месяца.

Между тем в «Будильнике», т. е. у Вейнберга, засели статьи «Аккуратные люди» — три очерка [50], «Белуга», которую он хотел печатать, «Квартира № 25», которую он нашел «избитой фразой». Я написал статью-письма «Город в садах» — два письма [51]. В «Искре» исчезли статьи: «Яков Петрович» [52] и «Дедушка Онисим», о которых я ни от кого не мог добиться вести, даже не знаю, у кого они.

Некрасов через 4 дня уехал. Я ходил к Пыпину, живущему в Петергофе, три раза и не заставал дома. Он послал мне письмо, что о планах Н[екрасова] ничего не знает и рукописи все сдал в контору.

В «Будильнике» между тем захрясли мои статьи «Глухие места» и «Белуга», которые В[ейнберг] хотел печатать в первом же номере. Я остался без денег, занял у здешнего суд[ебного] пристава В. два рубля и поехал в Петер[бург]. Вейнберга в интендантстве, где он служит стол[оначальником] и куда хотел определить меня, потому что он в родне с Устряловым, [53] я не застал и отправился к Вас. Курочкину, которого вместе с прочими литераторами около этого времени выпустили. Там я застал Вейнберга. Он сказал, что «Белугу» и второе письмо «Город в с[адах]» — о мировом судье — цензор перечеркнул, так что нельзя печатать, а «Глух[ие] места» он пустит в следу[ющий] номер.

А надо еще то заметить: «Будильник» выходит в пятницу, а г-жа Степанова, заведывающая хозяйственною частью журнала, потому что муж ее — какая-то размазня и больше курения соломенных папирос ни на что не способен, изволит приезжать в город через неделю, в четверг.

За статью «На заработки», напечатанную в «Искре», Курочкин выдал мне 21 р. 12 к., а Дмитриев, бывший тут же и холодно поздоровавшийся со мной, ядовито заметил, что автор за рабочих деньги получил.

Зашел в книжный маг[азин] «Сов[ременника]», так мне предлагают за сочинения только 150 р.

Сходил к Базунову. Спрашиваю:

— Вам говорил В[ейнберг] насчет издания соч[инений] Р[ешетникова]?

— Я его уже два месяца не вижу. А вам что угодно?

— Мне бы хотелось продать свои соч[инения]. Я — Р[ешетников].

— Я вас не знаю. Пусть В[ейнберг] поговорит.

Через неделю опять сидел без денег. Послал в П[етербург] жену, и та узнала от В[ейнберга], что Базунов обещался подумать до осени.

За «Глухие места» я получил деньги, а «Белуту» и петергоф[ского] мирового судью просил В[ейнберга] передать в «Искру», но прошел месяц — и они не переданы. Теперь В[ейнберг] обещался напечатать «Ильин день»[54] и обещался уже три недели, наконец известил мне через писаря, что эта статья сошла с очереди(?)*.

При таком положении дел литературы я вывожу такое предположение, что у нас гг. издатели и редакторы отдают предпочтение своим приятелям и людям состоятельным; так например, огромные статьи купца Стахеева[55], богатого человека, печатают в «Будильнике» или целиком или печатают без перерыва в трех ну[мерах], а мои «Глухие места» были прерваны на два месяца потому, как сказал В[ейнберг],— надо же и другим дать хлеб. Воронов под подписью Хохотов печатает почти в каждом № «Будильника» иногда даже по две статьи. В «Искре» какой-то Веселый сочинитель[56] и Минаев тоже катают по две статьи, тогда как я не могу допроситься, чтобы Кур[очкин] потрудился прочитать мои статьи.

Я несколько раз просил В[ейнберга] уведомить меня о статьях и об издании соч[инений], но он и не думает отвечать, а желает, чтобы я сам приехал в интендантство, где я должен буду унижаться перед сторожами.

Теперь уже август месяц, а в половине сент[ября] я должен буду непременно уезжать из Петергофа. Нужно отдать хозяйке 13 р., Ф. Корголову** 25, жена заложила шубу за 48 р., да кормилице нужно отдать 15 р. А содержание чего стоит? И всего этого редакторы не хочут и знать, а станешь им говорить об этом, они замечают: «жениться бы не надо было». Ну разве они не скоты после этого!..

Вот тут и подумаешь, как жить... Будь я каким-нибудь образом вдруг богат, все эти господа редакторы будут заискивать моей дружбы, будут печатать статьи, а про настоящее мое положение и речи не будет. Такова уже наша литература. Тоже советовали мне некоторые господа отдать роман в «Отечественные Записки». Это тоже довольнво хорошая штука с их-ней стороны. Или им досадно, что я не сидел в крепости? Тогда, я думаю, не так бы смотрели на меня? Но, едва ли.

Думаешь-думаешь, — ничего не можешь придумать...

5 августа 1866 — канун моего приезда из Перми в прошлом году. Еще, значит, прибавился год страданий.

Муравьев умер, но дела литературные и после его смерти не улучшились и, кажется, будут итти все хуже и хуже. Причин искать нечего: главные литературные деятели, как надо полагать, заподозрены в дурных направлениях, и, как они выражаются своим сотрудникам, правительство

---

* Знак вопроса авторский.

** Шурин Ф. М. Решетникова.

их давит так, что они полагают, что литературу убьют, а если и останется литература, то казенная. Это, конечно, несправедливо, потому что у нас и до сих пор газеты уверяют иностранцев, что у нас свобода печати существует на прочных основаниях; да и у нас и в самом деле существует закон о печати, только мы понимаем свободу слова по-своему, а начальство — по-своему: например, редакторы говорят нам, что цензора вычеркивают слова «чиновник», «помещик и т. д. Курочкин даже говорит, что некоторые цензоры берут взятки. Это, конечно, очень вежливо и прогрессивно, и мы переживаем теперь тяжелое время, — тяжелое потому, что говорить дело нельзя, а ложь, фантазию писать не хочется. В слове «мы» я подразумеваю таких людей, как я, и пишу эту заметку для того, чтобы люди будущего времени видели, как бедными и неучеными людьми пренебрегают передовые люди, несмотря на ихнюю популярность. Читал я сочинения Дружинина, его критику на прежних английских писателей [57], и нахожу, что русские далеко перещеголяли англичан в плутнях. В настоящее время издателям и книгопродавцам — славное время; потому что ловкий и крепкий человек из них может надувательствами теперь нажить много денег и все-таки и после смерти своей будет популярен и главное честен.

Я нахожу, что все наши редакторы, издатели и книгопродавцы — плуты, и вот почему я нахожу — и со мною, я думаю, согласятся их дети, если будут немножко почестнее родителей: издателю журнала или газеты нужно только о п е р и т ь с я. До тех пор, пока у него не накопится тысяч 5 барыша, он будет ханжить, что у него мало подписчиков, переманивать лучших литераторов, рассчитывать их понемногу, а как оперится, тогда, как Некрасов, будет убавлять им цены,— если чует какое-нибудь горе с его журналом, доказывая им, что он терпит большой убыток. Но вот такие времена, как теперь,— это клад. Возьмем Курочкина. Я не знаю, как у них идет дело,— все ли три брата издают «Искру», или один который-нибудь из них,— только, судя по справедливости, они или хотя Вас. Курочкин должен бы был рассчитывать сотрудников как следует. Однако выходит то же, что делал со мною Усов. Они говорят, что нет денег,— и только. Посидишь, послушаешь разные сплетни и уйдешь или с 3 рублями, или ни с чем. Он даже раз сказал мне, что если «Искру» закроют, он долгов никому не будет платить; когда откроет новый журнал, то он с удовольствием будет печатать мои статьи. Так он рассчитывает и других — и все-таки уверяет, что тот плут, тот не платит, хотя и богат. Но когда сидишь долго, то замечаешь, что приятелям своим он дает деньги в другой комнате: возьмет бумажник, уйдет, запрет ее — и слышно: «25 р., 35 р.»...

То, что Курочкин мог бы рассчитываться с сотрудниками исправно, доказывается тем, что он живет на Невском, имеет хорошую квартиру,— такую, что швейцар не пустит к ней человека в грязных сапогах, как это было со мной в январе нынешнего года или раньше — не помню, имеет лакея и т. п. людей, принимает только по воскресеньям с 12 часов, ездит в театры и т. п. Хотя же он и говорит кому-нибудь не из его приятелей: приходите в среду — вам скажут: «Нет дома». Раз мне жена его, женщина важная, заметила, чтобы я не бросал пепел с папироски на пол, и когда я сижу один с Вас[илием] Кур[очкиным], она говорит: «Ах, как накурено! голова просто болит».

В течение года Вас[илий] Кур[очкин] даже не запомнил моего имени и отечества, и я всегда прихожу туда, как в такое место, где с тобой и знаться не хотят: они ведь печатают мои статьи и знают, что я не учен и пришел за деньгами, и заключают так: «Он пишет из-за интереса и поэтому раб наш». Как-то Кур[очкин] высказал Стопановскому [58] неудовольствие, зачем он писал в «Будильнике», когда он враг Степанову.

Тот сказал, что тут нет ничего худого. Кур[очкин] заметил, что ему не нравится, что сотрудники «Искры» перебегают в «Будильник».

В «Будильнике» важности еще больше. Там даже Вейнберг стал считать сотрудников за подчиненных себе. Это значит, что он уже накопил 5 т[ысяч] и думает открыть свой журнал. По приезде из Петергофа я два раза был у него и не заставал дома в такое время, когда он дома. Этот человек удирал со мною такого рода штуки: скажет — статья у цензора; через две недели скажет: послана к цензору; через неделю скажет: я читал корректуру, надо изменить, потому цензор не пропустит. Обругать его — хуже; придется ждать полгода, потому что ни на квартиру, ни в интендантство, где он служит столоначальником, не пустят; письма редакторы не пишут сотрудникам, а если встретишь его где-нибудь — наврет.

Теперь редакторы все дело сваливают на цензоров: не по вкусу статья — цензор не пропустит; длинная статья — много таких вещей, которые не пропустит цензор, а между тем приятели редакторов растягивают вздор по три и четыре номера сряду.

Наконец, даже я не могу получить №№ «Искры» и «Будильника» с 1 сентября.

А впереди опять ловушка предвидится. Некрасова я сочел за большого барина на том основании, что все нынешние редакторы и издатели от него надувательствам научились. Прихожу я раз в книжный маг[азин] Звонарева. Зв[онарев] и говорит мне: «Некрасов писал мне, чтобы я выдал вам 25 р.». Я думал-думал: за что мне такая милостынька? Сначала было не брал, а потом взял, думая, что вместо романа «Горнорабочие» я напишу роман «Петербургские рабочие». Но вот ловушка в чем состоит: могу ли я продать роман «Горнорабочие»?

Я отдал Благосветлову начало романа «Глумовы», предполагая содержание передать из «Горнорабочих», но ладно, что я медлил; этот роман выйдет совсем другого рода, но лучше «Горнорабочих», хотя в нем не будет ни генералов, ни помещиков.

Благосветлов что-то юлит около меня и дал мне 25 р. Он даже обещался издать мои сочинения этак через месяц, на моих условиях — 300 р.; 150 р. вперед, остальные по напечатании; но после всех тех историй, какие я про него слышал, он меня едва ли надует.

Благовещенский перешел в «Женский Вестник» редактором с Михайловым (автором «Гнилых болот»)[59] за 100 р. в месяц и переманил к себе своих приятелей. Дело, говорят, дрянь: хлопотал Стопановский; Стопановского надули Мессарош так, что ему пришлось удалиться (не знаю, кто из [них] — С[топановский] или М[ессарош] — врет); говорят (говор[ил] С[топановский]), что у М[ессарош] денег нет (а у Стопановского есть 7 т[ысяч], вероятно, выиграл в лотерею или в карты), и литераторы будут писать в кредит.

12 сентября 1866 г.

Некрасов приехал, и я был у него по поводу предложения Н. Курочкина напечатать «Горнорабочих» в «Невском Сборнике»[60]. Курочкин дает мне за «Горн[орабочих]» 700 р., но 350 р. обещается отдать тогда, когда выйдет первая книжка. Некрасов принял меня вежливо. В его приемной или [бывшей] редакционной комнате заметно отсутствие редакции, и сам он говорит, что не только не будет ничего издавать, но даже старается избежать всяких литературных дел. Роман велит печатать хоть где, о деньгах сказал, что я их могу отдать, когда совсем поправляюсь, и даже дал мне 10 р. (милостыньку).

Вас. Курочкин нынче такие шутки выделывает со мной и, вероятно, с другими также: дал мне записку в магазин «Искры», чтобы та вы-

дала мне 20 р. (старый летний долг, осталось еще за ним, кроме сцен «В деревню», 15 р.). Прихожу, Вл. Курочкин говорит — денег нет, и назначил мне притти во вторник в 6 час. вечера. Приезжаю — говорят Вл. К[урочкин] бывает в магазине только до 3 часов. Разве это не плутни?

Благосветлова жмут: вот уже больше месяца цензор держит корректуры, в том числе и начало моего романа «Глумовы». Некрасов говорит, что сами цензоры поставлены в такое положение, что не знают, что делать. Говорят, редакции газет и журналов получили предписание: не печатать объявлений от студентов, что они ищут учительские места. Распоряжение отличное!

9 ноября [1866 г.].

Наконец-таки я продал «Подлиповцев» Звонареву за 61 р. 25 к. Но и тут Звонарев хитрит, т. е. говорит, что если бы он читал их до покупки, то не купил бы: цензуры боится.

Вас. Курочкин денег не платит, так что я решился ничего не давать ему и не хочу отдавать Н. Курочкину «Горнорабочих» еще и потому, что цензор хорошо пропустил начало «Глумовых», и Благосветлов торопит меня окончанием [61].

Вейнберг не хочет печатать больше рассказов судебного пристава [62] и отдал мне назад для переделки «Якова Перевалова». В тоне его голоса и манерах замечается чиновничество, и он даже говорит мне, зачем я не чиновник.

Чорт знает что такое! Никак я не могу поправиться. Вот уже третья неделя, как я пью с утра и пропиваю каждый день по 25 к. И все это оттого: не печатают ни в «Искре», ни в «Будильнике» статей; потом у жены заболели зубы, должна была стряпать кормилица, а я возиться с Манькой; потом у кормилицы захворал муж тифом, она ходила в больницу, наконец муж ее 24 ноября помер.

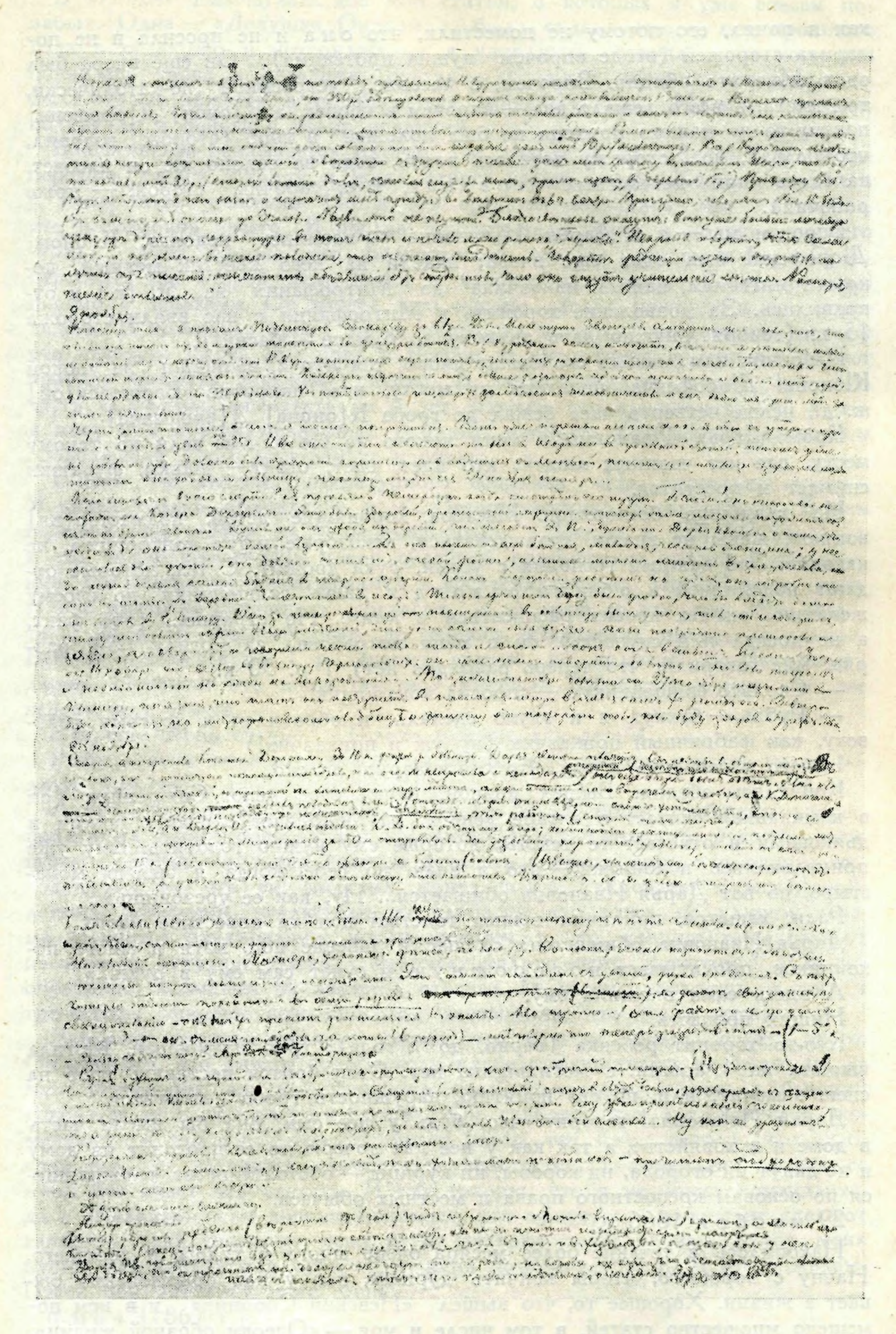
Кто виноват в его смерти? Я проклял Петербург, когда смотрел его труп. Господи! Он нисколько не похож на Конона Дорофеича... Это был здоровый краснощекий мужчина, а теперь даже лицо его походит совсем на другого человека. Думал ли он, уходя из деревни, что умрет в Петербурге? Думала ли Дарья Ивановна о том, что, уходя в Петербург, она воротится домой вдовою?.. Да, она плачет теперь, бедная молодая честная женщина. У нее осталось двое детей, она должна жить под опекой родни. А что ее может ожидать в замужестве, когда ихняя деревня самая бедная в Тверской губернии?

Конон Дорофеич работал на судах; он подробно описан в статье «В деревню», напечатанной в «Искре». Только уж так богу было угодно, чтобы вместо дома он попал в больницу. Он за четыре дня до поступления в больницу был у нас, пил чай и говорил, что у него болит горло. Надо заметить, что у него сапоги были худые, ноги постоянно промокали и зябли, а о квартире и говорить нечего: только тогда и спокой, и сон, когда выпьешь водки. В среду 14 ноября его свезли в больницу чернорабочих: он уже не мог говорить. Болезнь его назвали тифом — и не было никакой надежды на выздоровление...

По значительности болезни его 27 ноября назначили в клинику, но я, зная, что там он поступит в препаровочную, взялся сам хоронить его. Завтра буду хоронить на Митрофаньевском кладбище и запишу эти похороны особо, если буду здоров и трезв. Едва ли.

28 ноября [1868 г.].

Сегодня я похоронил Конона Дорофеича. За 10 к. доехал до больницы. Дарья Ивановна плачет. Он лежит в общем месте. В часовню,



СТРАНИЦА ИЗ ДНЕВНИКА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА С ЗАПИСЬЮ О СМЕРТИ РАБОЧЕГО КОНОНА ДОРОФЕИЧА

С подлинника, хранящегося в Институте Русской Литературы

как я понял, его потому не поместили, что она и не просила и не подарила сторожей (везде впрочем нужна протекция). Он еще вчера был одет. Мне это обидно. Впрочем, в часовне, устроенной по-католически, три места, а всего лежало два — впрочем в гробах, а К[онон] Д[орофеич] почему-то до нашего прихода не был положен в гроб (сторож говорил, что нельзя, но... сторожу хотелось взять, ведь не солоно же он хлебает, находясь при несчастных червяках, т. е. рабочих, сторож — тоже рабочий).

Впрочем мы — я и Дарья И[вановна] — возились недолго: К[онон] Д[орофеич] был одет еще вчера; надели на него крестик медный, покрыли миткалем, наняли извозчика до Митрофания за 50 [к.] и отправились. За дозволение хоронить у Митрофания с нас взяли сторожа 15 к. (говорят, нужно дать дьякону за бумаги — басни!).

Извозчик или лошадь его бежит скоро, так что я, выпивши за упокой К[онона] Д[орофеича] недалеко от мосту, что напротив Варшавск[ой] ж. д., целые четверть часа бежал до гроба К[онона] Д[орофеича].

Кроме Дарьи Ивановны и меня никого не было. Мы шли по такому месту, где нет чванных людей: кто идет, едет, стоит — шапки, фуражки снимает и крестится.

На кладбище беспорядок. Мастера, хоронящие детей, подмастер[ья] вопиют, жены не знают, куда деваться, некоторые ищут конторщика, не находят. Это важный господин с усами, рука дрожит. С тех, которые отдают покойников в общий разряд и дают священнику по своему желанию, он тех просит расписаться в книге. Но странно... (это факт, а не досада или скупость) он с меня потребовал за могилу (6-й разряд, мне говорили, что теперь разрядов нет) 1 р. 50 к.

— Сколько священнику? — спросил конторщик.

— Рубль,— бухнул я и глупо сделал... и обратился к другому человеку, как фабричный приказчик (ну уж и приказчик!)

Нечего и говорить о том, что 6-й р[азряд] далеко.

Кончилась обедня. Вышел дьякон, начал свое дело. Священник (он в камилавке) считает в алтаре деньги, разговаривает с священниками и дьяконами и отвечает те тексты, которые ему нужно говорить. Ему уже примелькались покойники,— это я знаю по себе, когда я был в монастыре, но вот Дарья Ивановна обижается... Ну, как ее урезонишь?..

Ради, кажется, приличия вышел толстый поп на известное место.

Дарья Ивановна обижается: «У нас в деревне поп, хотя и много покойников, прочитывает подорожную и сунет сам ему в руки...»

А здесь сама вложила ему.

Нищих пропасть.

Кто-то хоронит ребенка (верно, до 1 года); гроб изукрашен. Могила вырыта на 1 аршин, а могильщика нет. Отец боится поставить гроб на снег: замочит, или, по его понятию, наружность гроба испортится.

Дарья Ив[ановна] говорит, что, будь у нее сын, она бы имела часть в доме и в хозяйстве, а так как у нее две дочери, то ее прогонят из дому и не дадут ни огорода, ни коровы, ни курицы — обстоятельства, сложившиеся по основам крепостного права и местных обычаев.

29 ноября 1866 г.

Накопилось в течение более месяца очень много и худого и хорошего. Начну с хорошего, чтобы кончить дурным, как у нас обыкновенно бывает в жизни. Хорошее то, что вышел «Невский Сборник» и в нем помещено множество статей, в том числе и моя — «Очерки обозной жизни». Эта несчастная статья почти с осени 1865 г. валялась в разных редакциях и не печаталась потому, что редакторы самый предмет находили, кажется, избитым, да и не читали очерка. Однако я еще не видал сборника.

В «Искре» напечатаны две мои статьи, о которых я уже совсем позабыл. Одна — «Дедушка Онисим» — была отдана еще в мае прошлого года в редакцию и потерялась, и я удивляюсь, откуда и от кого она появилась снова в редакции, другая — «Сутки в казенной квартире» — была отдана, кажется, в октябре тоже прошлого года. Не знаю только, получу ли я деньги с обеих редакций.

Благосветлов оказывается плутом. По выходе 4 кн. «Дела» [63] я просил передать деньги шурину и ждал ответа целый месяц. Хорошо еще, что у жены была практика. Но и эти средства оказались так ничтожны, что и говорить нечего. Я послал шурину телеграмму и получил от него через 5 суток письмо, что Благосветлов отослал деньги в Барч-Оренбургский. На второй день пасхи я наконец получаю от Благосв[етлова] письмо с деньгами. Он пишет, что письмо заслал почтамт и оно воротилось. В нынешнее время такая отговорка кажется невероятною, потому что никакого Барча еще пока в России не существует, и почтамт не мог поэтому принять денежное письмо. В заключение он пишет, что 3-ю часть «Глумовых» печатать не будет потому, что слишком много, и что я могу при других цензурных условиях написать под другим названием продолжение. Итак, моя работа пропала.

Вышел 1-й выпуск литературного сборника «На несколько часов». Я видел только объявление в «С.-Петерб[ургских] Ведом[остях]». В нем перепечатаны статьи из «Современ[ника]», «Искры» и «Буд[ильника]» и в том числе моя — «Из новой судебной практики». Сказано в объявлении, что статьи перепечатываются с согласия авторов. Но [у] меня решительно никто не спрашивал согласия, я не знаю до сих пор, кто издатель, да и об этом сборнике до первого объявления ничего не слыхал. Выпуск продается по 1 р. Значит, статью не должны перепечатывать даром. Неужели это шарлатанство? Написал Вейнбергу и вот уже две недели жду ответа.

В Бресте очень скучно *. Только и живу для детей...

Рыбу ловить тоже неприятно: на речках еще нельзя, с валов не дозволяют инженеры.

А тут еще другая неприятность. В 14 № «Искры» сообщена корреспонденция такого рода, что в кр[епости] Брест-Литовской, в клубе, женщины при входе мужчин должны вставать с своих мест; что одного господина за то, что он получил приглашение танцовать с женщ[иной] легкого поведения, исключили из клуба, и что здесь по улицам ночами слышатся раздирающие вопли женщин, и что женщин даже сажают на ночь в кутузку. «Искру» получает только один Заварзин [64]. Он, не обративши внимания на заметку, отослал № своему товарищу, и часа в три-четыре офицеры всполошились: заговорили, что это я писал.

Заварзин призвал меня; я сказал, что я и не думал писать этого. Он говорит, что ничего подобного в клубе с женщинами не было; но на него указывают, как на сплетника, что он хорошо знаком с бывшим сотрудником «Современника». Он говорит, что это известно коменданту и что мне, пожалуй, будет плохо, тем более потому, что здесь край все еще находится на военном положении, и комендант может со мной бог знает что сделать. Я ему говорю, что я не боюсь коменданта, да и З[аварзин] сам хорошо понимает, что офицеры и комендант сделают глупость, если призовут меня и, не поверив моим словам, будут меня пугать чем-нибудь или отберут от меня подписку и т. п. Я этого желаю. Пусть они затронут меня лично...

6 мая [1867 г.].

---

* В Бресте Ф. М. жил с 9 января 1867 г.

Больше года, как я не принимался за свой дневник. Сознаю, что если бы в течение этого времени я вел свой дневник хотя раз в месяц, то написал бы много страниц, и все, что со мной случилось, вышло бы гораздо полнее, яснее. Так, например, хотя я и теперь помню очень хорошо все, что происходило со мной в белой горячке 15, 16, 17 и 18 чисел июля нынешнего года, но я не хочу этого записывать, потому что теперь уже поздно, да и мне самому делается тяжело, как я начинаю припоминать все представления, видения и свои действия. В этом дневнике я упомяну об них вкратце. О другой будто бы белой горячке, бывшей 31 октября, 1, 2 и 3 ноября прошлого года, я писать не буду, потому что, во-первых, я написал маленький рассказ «Трудно поверить» для «Искры», в которой впрочем Курочкин его не напечатал[65], назвав его «белой горячкой», а во-вторых, я еще сомневаюсь, действительно ли это белая горячка, потому что я не пил двое суток перед ее началом. Когда я уходил из квартиры, мне ничего не представлялось, и я хорошо сделал, что тогда переехал на другую квартиру, где я и без водки заснул рано и спокойно. Я думаю, что если бы вскоре по начале галлюцинаций 15 июля я хотя бы переехал в город, я бы от них избавился, и они не развивались бы так быстро и в такой сильной степени, что мне, по словам здешних лекарей, грозили или смерть или сумасшествие.

Настоящий дневник я пишу на случай. Кто знает, что будет вперед? И если мне придется умереть в Бресте, прежде отъезда в Петербург, то те, которые интересуются мною, могут достать сведения очень неверные, так как, во-первых, я никуда не хожу, во-вторых, в Петербурге лично со мной знакомы человека два-три, которые все-таки не знают самой сути, и в-третьих, здесь все стараются сказать про меня что-нибудь дурное, чтобы осрамить меня и оказать презрение к моей жене...

. . . .

Я нанял комнату около Вознесенского моста, и жена уехала 5 октября в Брест.

По водворении на квартиру я написал: «Полтора сутки на Варшавской железной дороге» для «Будильника», «Ярмарка в еврейском городе» и начал «Будни и праздник Янкеля Дворкина». Жил я на деньги, должные мне Благосветловым, который выплачивал через две недели по 15 и 10 р. В. Курочкин мне и теперь еще не заплатил долга за 1866 и 1867 гг. — рублей 50, Владимир — за статью в «Невском Сборнике» и теперь должен 50 р. Они, кажется, вовсе не хочут платить.

В это время Некрасов стал советовать мне писать для Краевского роман[66]. Я сперва не согласился, но он убедил меня тем, что я в своем романе могу не изменять своих убеждений и направления, и что Краевский платит хорошо, и что Краевский прогнал Соловьева и Авенариуса[67]. Краевский меня принял любезно. Это аристократ, который редко и официально видит бедных литераторов. Я ему отдал «Николу Знаменского» и «Тетушку Опарину». Оба рассказа он хотел напечатать. Первый напечатал, но тут Некр[асов] стал сбивать К[раевского] передать ему «О[течественные] З[аписки]» и просил меня написать роман. Я начал «Где лучше?» — продолжение «Глумовых».

Дело Н[екрасова] с К[раевским] тянулось месяца два, и в это время я был в затруднении, потому что нуждался в деньгах, посылая часть заработка жене, которая писала, что она нездорова, простудилась, говорит шопотом и ее доктора не выпускают из квартиры. Раз даже Благосв[етлов] сам заходил ко мне и просил у меня роман, но я стал просить у него 75 р. за лист, он не согласился. Наконец, дело Н[екрасова] с «О[течественными] З[аписками]» состоялось, и я стал прилежно работать с

романом, получая от Некрасова в долг по 50 р. в месяц. «Очерк об евреях» Некрасову не понравился. Я его переделал. Он хотел напечатать, где будет свободное место, но потом в апреле я его взял, и он теперь у меня.

В январе я перешел на Обводный канал по совету Комарова, у которого там был кабак [68]. Там я запил и попал в часть,— это обстоятельство описано подробно в нигде ненапечатанной рукописи «Филармонический вечер» [69]. На этой квартире я только в половине февраля принялся за вторую часть романа...

На набережной Обводного канала мне впервые пришлось познакомиться ближе, чем кому-нибудь, с петербургскими рабочими. Это — народ забитый, не могущий заявить своего протеста, потому что между рабочими нет единства и существует забитость исстари. Для рабочего человека в Петербурге нет никаких развлечений, и поэтому они должны все свободное время употреблять в кабаках. Нынче в газетах печатали, что для рабочих на Царицыном лугу основаны народные праздники без водки, но я там не бывал и думаю, что эти официальные праздники, начальством устраиваемые, привлекают массу портных, сапожников и других мастеровых, живущих вблизи Царицина луга. Но [когда] я спрашивал живущих на Обводном канале, то они говорили, что не были; большинство говорили, что они работали и если бы знали, то не пошли бы. У нас в газетах существует мнение, что для рабочих непременно нужно основать народные театры. Вещь хорошая, но если их устроят за две-три версты, то туда будут ходить живущие вблизи. Да и какие это народные театры, если с первого же раза для порядка заведут везде полицию? На что я уж имел деньги больше рабочих и пользовался временем, как мне угодно,— и то мне не хотелось ехать в театр, потому что я бы мог издержать напрасно деньги на извозчика и не достать билета. Не получая газет, я бы мог попасть на дрянное предствление. Еще в 1864 г. я узнал, каково человеку, не знающему театральных условий, человеку, редко бывающему в театре, попадать в театр. Когда моему хозяину хотелось итти в театр, он не знал, что играется сегодня, и вечером мы шли в театр, но там доставали — в Александринке — или ложу против люстры или за 20 коп. место в самом верху, где, кроме спин и голов зрителей, не видели даже не только что сцены, но и большей части партера; а так как вокруг нас говорили, то мы на сцене ничего не слыхали. Что касается до Мариинского и Большого театра, то туда нужно за билетами итти заблаговременно, да и там кассиры смотрят на личности. Там около кассы постоянно толпится народ, и кассир отдает предпочтение человеку, хорошо одетому и назойливому. Я несколько раз испытывал поражения и у кассы не видал ни одного мужика. Мужики иногда стояли на подъезде; внутрь их не пускали сторожа из опасения, чтобы они не обокрали; иной бы и хотел быть в театре, да боится пробраться до кассы; его еще и не допустят до кассы. Поэтому нечего говорить о том, что наш народ— мужичье, не ходит в театр. Сколько раз я ни бывал в театре, я только и видел там торговцев, немножко самостоятельно работающих портных, кузнецов и наемщиков в рекрута с кабатчиками.

Квартира моя была холодная до того, что я должен был согреваться водкой, а потому и неудивительно, что я никуда не выходил из нее и даже считал за благо ездить в Царское к шурину, но и там мне надоедало. Хорошо еще, что я с шурином ездил по деревням и даже помогал ему продавать имение * Демидова в Сиверцах; но сам себе не купил ничего.

* Имущество.

К пасхе я романа не кончил и решил окончить его в Бресте. Некрасов обещался начать печатать его в июне, а об евреях [70] поместить в апрельской книжке.

Я поехал в Брест. В Петербурге и до Пскова были грязь и снег. В Варшаве зелень. В Бресте тепло, и после Пасхи через неделю я уже ловил рыбу...

[31 октября 1868 г.] *.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Разумеется полемика между «Современником» и «Русским Словом», с одной стороны, и между «Современником» и «Эпохой» Достоевского — с другой. Памятниками этой борьбы, тянувшейся в течение 1864—1865 гг., являются статьи Писарева и Зайцева («Цветы невинного юмора» и «Глуповцы», попавшие в «Современник»), ряд статей Достоевского (перепечатаны в XIII изд. ГИЗ), сатиры и статьи Салтыкова («Стрижи», статьи в обзорах — «Литературные мелочи» и др.), статья Антоновича («Современная эстетическая теория), его же обзоры, подписанные псевдонимом «Посторонний сатирик», и пр.

² Рукопись пьесы «Не помнящий родства» неизвестна.

³ Речь идет о первых двух частях повести «Между людьми». Первая часть — «Воспоминания детства» — напечатана в «Русском Слове» за 1864 г. (№№ 10 и 11), вторая — «Между людьми» — там же в 1865 г. (№№ 1, 2 и 3).

⁴ Н. А. Благовещенский (1837—1889) — публицист, критик и беллетрист. Окончил Петербургскую семинарию вместе с Н. Г. Помяловским. Работал в «Русском Слове» с 1863 г., с 1864 по 1866 г. редактировал беллетристический отдел журнала.

⁵ Владимир Герасимович Комаров — сводный брат Н. Г. Помяловского. С ним первым из сослуживцев по департаменту внешней торговли Ф. М. сдружился, по его совету снес «Подлиповцев» Некрасову. Дружеские отношения с Комаровым не прекращались у Ф. М. до самой смерти последнего. По смерти Решетникова Комаров с инженером Н. Н. Новокрещенных, земляком и приятелем Решетникова, уехал в Сибирь, занимал различные технические должности на заводах, которыми управлял Новокрещенных. «Влад. Герас. служит лабазником, мука, овес, соль, мясо, крупа и пр. — его специальность. Живет один — и из петербургского чиновника скоро выработается злейшим лобазником... Доволен и местом, и службой, и положением... Все всматривается в нравы здешних людей и на этом поприще помешан» (Собр. Ленингр. Госуд. Публ. Библ., письмо Новокрещенных С. С. Решетниковой). После двух лет службы возвратился в Петербург и умер в первой половине 70-х гг.

⁶ П. Кабанов — знакомый (или родня) Решетникова по Екатеринбургу. В собрании Госуд. Публ. Библ. имеется два его письма к Решетникову — одно в Пермь, другое в Петербург.

⁷ А. Ф. Головачев (ум. в 1877 г.) — публицист и критик, сотрудник редакции «Современника».

⁸ А. Н. Пыпин работал в «Современнике» в качестве члена редакции с 1863 г., с 1865 г. был ответственным редактором; после разгрома радикальной и революционной прессы в 1866 г. ушел в буржуазный лагерь литературы, сделавшись членом редакции «Вестника Европы». Умер в 1904 г.

⁹ М. А. Антонович (1835—1918) — публицист и критик 60-х гг. Начал работать в «Современнике» в 1859 г. под руководством Добролюбова. После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского вел в «Современнике» критический отдел, возглавлял полемику «Современника» с «Эпохой» и с «Русским Словом». После разрыва с Некрасовым работал в журналистике эпизодически: писал по вопросам литературы, философии, естествознания и т. д. и много переводил по самым различным областям знания (история, философия, педагогика, физика, геология и т. д.).

¹⁰ Факты жестокости воспитателей Кузьмина, героя повести «Между людьми», о которых рассказывается в повести, не могут быть целиком отнесены к условиям воспитания самого Ф. М. Переписка Василия Васильевича и Марии Алексеевны Решетниковых с племянником-воспитанником говорит о большой любви и о заботливости к нему. О том же рассказывает в своих воспоминаниях о Ф. М. и Н. Н. Новокрещенных («Пермский край» 1901, № 55). Тот же автор сообщает, что В. В. Решетников крайне был обижен «Воспоминаниями детства». Даже в 1866 г., напоминая племяннику об обидах, полученных от него, он вспоминает и этот рассказ.

---

* В этой записи (годовой — за 1868 г.) дата проставлена, в отличие от предыдущих записей, в начале записи; перенесена нами в конец для сохранения графического единства текста.

[11] К проблеме «дрянного воспитания» Ф. М. не раз возвращался в своих романах и повестях. В «Горнозаводских людях», в «Осиновцах», «Где лучше?», «Свой хлеб» и в др. много страниц посвящено воспитанию горнозаводских, мещанских и чиновничьих детей. Вопрос о воспитании характерен для проблематики Решетникова, как и для целого ряда разночинцев-шестидесятников — беллетристов и публицистов, начиная с Чернышевского (см. статьи Добролюбова, повести и рассказы Помяловского и др.).

[12] Статья Д. И. Писарева «Нерешенный вопрос» (в «Собрании соч.», т. IV,— «Реалисты») посвящена апологии Базарова и базаровщины, в то время как роман Тургенева «Отцы и дети» вызвал резкую оценку «Современника» (М. Антонович, «Асмодей нашего времени»,— «Современник» 1862, № 2), считавшего, совершенно правильно, роман Тургенева выпадом дворянского либерализма против революционного разночиния. Взявши под свою защиту Базарова и «реалистов», Писарев ратует за мирную пропаганду и мирную культурную работу; базаровский тип для этих целей, по мнению Писарева,— наиболее подходящая фигура; с Базаровым Писарев солидаризируется, его провозглашает истинным представителем молодого поколения, независимо от отношения к нему Тургенева. Классовый смысл борьбы «Русского Слова» и «Современника» по этому конкретному вопросу, об отношении к Базарову и роману Тургенева, для Решетникова очевидно был неясен.

[13] «Горнорабочие», «1-й этнографический очерк», при жизни Ф. М. Решетникова напечатаны не были. Под заглавием «Горнорабочие» в конце 1865 г. Ф. М. начал роман. Очерк был напечатан после смерти писателя под названием «Осиновцы».

[14] В. А. Слепцов (1836—1878) — беллетрист-шестидесятник, автор рассказов из народного быта и романа «Трудное время», направленного против помещичье-буржуазного либерализма.

[15] И. М. Фотеев — мастеровой Екатеринбургского монетного двора. На основании бывшей у него в руках части дневника Ф. М. Гл. Успенский сообщает: «Сильное влияние относительно укрепления в Ф. М.... потребности и необходимости делать пользу бедному человеку имел один мастеровой Екатеринбургского монетного двора. Он очень любил Ф. М., знакомил его с бытом рабочего человека, советовал ему жить честно, не якшаться с пьянчужками и взяточниками» (Собр. соч. Ф. М. Р—ва, 1874, т. I, стр. 25). «Это был квалифицированный рабочий монетного двора или механической фабрики,— рассказывает о Фотееве Н. Новокрещенных,— один из получивших выучку в Петербурге, в мастерских Технологического института. Там они общались со студенчеством горной школы и института, главным образом земляками. Установилась связь, воспитанники снабжали рабочих книгами, спорили о прочитанном, и рабочие постепенно поднимались в своем развитии» («Пермский край» 1901, № 55).

[16] Г. Е. Благосветлов (1824—1880) — публицист и редактор журнала «Русское Слово», а затем «Дело». Карикатура «Искры» (1865, № 50)— отзвук борьбы двух журналов — «Русского Слова» и «Современника» (см. примеч. 1-е).

[17] В. А. Зайцев (1842—1881)— соратник Писарева по «Русскому Слову», критик, публицист, переводчик (Лассаля, Шлоссера и др.)

[18] Речь идет о третьей части повести «Между людьми», напечатанной в том же 1865 г. в «Современнике» под заглавием «Приключения бедного провинциала в столице».

[19] Фельетонные статьи о Пермской губернии не разысканы. Сохранившийся в рукописи незаконченный очерк «Из провинции» — повидимому первоначальный набросок этих статей.

[20] Речь идет о романе «Горнорабочие», начатом Решетниковым после приезда с Урала.

[21] С. В. Звонарев заведывал книжным магазином «Современника». Издание «Подлиповцев» осуществилось позже, в конце 1867 г.

[22] Н. В. Соколов (1832—1889) — публицист, сотрудник «Русского Слова» по экономическим вопросам, в 70-х гг. — эмигрант-бакунист. Речь идет повидимому о печатавшихся в 1865 г. в «Русском Слове» статьях Соколова «О капитале (по поводу Милля)». Эти статьи (а равно и рецензии Соколова на «Основы политической экономики») послужили предметом полемического нападения «Современника» (см. «Современник» 1865 г., № 8 — анонимная статья «Милль перевранный «Русским Словом» и «Русское Слово» 1865, № 9 — соколовский «Вызов редакции «Современника»).

[23] Письмо Некрасова от 13 октября 1865 г. См. Собр. соч. Некрасова, т. V, ГИЗ, 1930, стр. 404.

[24] «Путевые письма» неизвестны; видимо представляли собою переработку «Фельетонных статей о Пермской губернии».

[25] «Будильник» — сатирический журнал, основан в 1865 г. после раскола редакции «Искры» умеренной ее частью во главе с Н. А. Степановым. В «Будильнике» печатались рассказы и очерки Ф. М. в 1866 г. и посмертный очерк в 1875 г. «Искрой» руководили братья Курочкины — Вас. С. и Н. С.; непосредственное участие в делах «Искры» принимал третий из братьев Курочкиных и тоже литератор—Вл. С. Курочкин.

[26] И. И. Дмитриев (1840—1867)— литератор, сотрудник «Искры», «Современника», «Русского Слова»; с 1864 по 1866 г. редактор «Будильника». Письмо Дмитриева сохранилось в бумагах Ф. М. (собрание ЛГПБ). «Статейка» — рассказ «Прокопьевна», напечатанный в № 28 «Будильника» за 1866 г.

[27] Рассказ неизвестен.

[28] Статья не установлена.

[29] Повидимому подзаголовок одного из «Путевых писем».

[30] Письмо неизвестно.

[31] В конце 1865 г. «Современник» получил два предостережения: 10 ноября и 4 декабря. Последнее предостережение вызвано между прочим и стихотворением Некрасова «Железная дорога».

[32] Младшая сестра Писарева — Екатерина Ивановна, по мужу Гребницкая, участница революционного движения 70-х гг. В 1875 г. покончила с собой.

[33] В архиве Ф. М. сохранилось письмо Некрасова, требовавшего этих сокращений. См. «Соч. Некрасова», т. V, ГИЗ, стр. 416.

[34] Рукопись второй и упоминающейся ниже третьей частей романа «Горнорабочие» не разыскана.

[35] Указания на практические шаги в осуществление этого намерения содержатся в письме П. С. Каргополова к Ф. М. от 13 января 1866 г. (Бумаги Ф. М. Решетникова. ЛГПБ): «При Вашем труде, который довольно ценный и независимый, я считаю [что] перемещение из столицы для Вас не только неудобно, но даже невыгодно». Доводы П. С., приводимые дальше, показывают, что Ф. М. мечтал для себя о частной службе на золотых приисках, а для С. С. — о месте акушерки в Башкирии. Намерение осуществилось иначе: С. С. Решетникова в конце 1866 г. получила место акушерки в Брест-Литовском военном госпитале.

[36] Роман «Петербургские рабочие» не осуществился, хотя материалы Ф. М. собирал в течение ряда лет. Указание на намерение автора написать такой роман находим и в заключительных строках романа «Где лучше?»: *«Здесь я прошу у читателей позволения* остановиться с своим повествованием, которое в непродолжительном времени я буду продолжать под другим названием».

[37] «Русское Слово» было приостановлено на 5 месяцев после 1-й книжки 1866 г. и больше не возобновлялось, так как в июне последовало постановление о закрытии журнала навсегда одновременно с «Современником».

[38] «Перед рассветом» — незаконченный роман Благовещенского; начал печататься в январской 1865 г. книжке «Русского Слова». Отрывки впоследствии перепечатаны в «Повестях и рассказах» («На погосте», «Невинные забавы»).

[39] М. А. Воронов (1840—1883) — беллетрист-разночинец, автор ряда произведений из жизни столичной бедноты. Сотрудничал в «Искре» и «Будильнике». Речь идет вероятно о его статье «Еще легчайший способ расчета с подписчиками» («Будильник» № 15 от 1 марта 1866 г.), подписанной буквами К. Х., инициалами псевдонима Воронова (Кузьма Хохотов). Статья направлена против тогдашних издателей, изыскивавших различные средства удовлетворить подписчиков вследствие закрытия или временного приостановления их изданий правительством.

[40] 4 апреля 1866 г. член революционного кружка (Ишутина) Д. В. Каракозов (1840—1866) стрелял в Александра II. Первая попытка террористического акта вызвала свирепые репрессии правительства. Диктаторские полномочия были вручены Муравьеву-вешателю. Правительственный террор был поддержан дворянско-буржуазной прессой, без устали славившей «милость божью к помазаннику» и носившейся со «спасителем» царя — Комиссаровым. Сведения о Каракозове, сначала не называвшем себя на следствии, были опубликованы лишь 14 апреля. До этого времени пресса строила разные догадки. Ф. М. разумеет передовую статью «Петербургского Листка» (№ 51 от 9 апреля), в которой между прочим говорилось: «Из разговоров видно, что он («злоумышленник») получил известной степени образование, которому знаменитый наш романист-художник дал меткое название нигилизма». «Московские Ведомости» из номера в номер внушали своим читателям, что покушение произведено «не русским». В № 72 от 7 апреля газета упорно утверждала, что «злоумышленник» — не кто иной, как поляк, или — если русский, то действовавший под польским влиянием.

[41] Д. Д. Минаев (1835—1889) — поэт сатирик и переводчик, в 60-х гг. деятельно сотрудничал в «Искре» и «Современнике». В «Современнике» в описываемый Решетниковым период печатались стихи Манаева и переводы, в том числе «Дон Жуан» Байрона.

[42] Напечатанная в «Русском Вестнике» (1865 г., №№ 4 и 5) статья «Начало и конец пугачевщины» принадлежит П. Шабельскому.

[43] Г. З. Елисеев (1821—1871) публицист-народник, член редакции «Современника» и впоследствии некрасовских «Отечественных Записок». В «Современнике» вел отдел «Внутреннее обозрение», пользовавшийся большим успехом. Кроме названных Ф. М. лиц были также арестованы: Г. Е. Благосветлов, В. А. Зайцев и др.

[44] Очевидно Ф. М. передает один из ходивших по Петербургу слухов. Официальные материалы об этом обстоятельстве неизвестны.

[45] П. И. Вейнберг (1831—1908) — поэт и переводчик Гейне и др. немецких поэтов, деятельный сотрудник «Современника» и др. левых изданий. В архиве Ф. М. (ЛГПБ)

сохранилось письмо Вейнберга от 18 апреля 1866 г. о помещении в «Будильнике» рассказов Ф. М.

46 «Современник» был запрещен на 5-й книжке: постановление правительства о запрещении «Современника» и «Русского Слова» было опубликовано 1 июня 1866 г.

47 Напечатано в «Искре» 1866, № 20 без подписи. В издания сочинений Решетникова не включалось.

48 П. С. Усов—редактор и издатель многочисленных реакционных изданий. С ним Ф. М. Решетников имел дело во время сотрудничества своего в «Северной Пчеле» в 1863—1864 гг., которую Усов редактировал после Булгарина и Греча (с 1860 г.). Переписка Решетникова с Усовым опубликована — «Красный архив», 1925, т. VIII.

49 Письмо неизвестно.

50 Очерки неизвестны.

51 Рассказ неизвестен.

52 Рассказ неизвестен. О рассказе «Яшка беспутный», уничтоженном по требованию приятелей, рассказывает В. Новокрещенных («Пермский край» 1901, № 55).

53 Н. Ф. Устрялов — журналист и драматург, сотрудник «Будильника», редактор «Нового Времени» (с 1871 по 1872 г.).

54 Рассказ неизвестен.

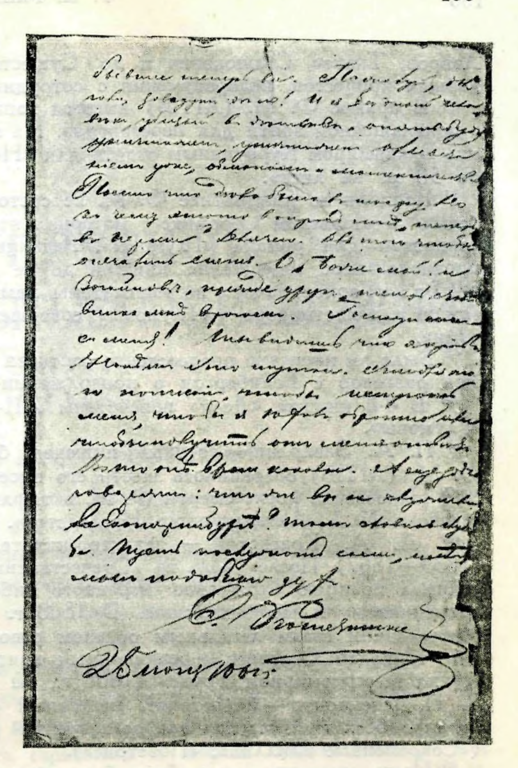
55 Д. И. Стахеев — беллетрист, сын богатого купца. С отцом порвал в начале литературной карьеры. В 1867 г. был учителем гимназии, жил в тяжелых материальных условиях. Начал литературную работу в радикальной прессе, впоследствии работал в «Вестнике Европы», «Русском Вестнике» и редактировал «Ниву».

56 Псевдоним И. И. Дмитриева.

57 Этюды Дружинина по английской литературе о Джонсоне, Босвелло («Картина британских литературных нравов ко второй половине восемнадцатого века»), Шеридане, Краббе, Вальтер Скотте печатались в «Библиотеке для чтения», в «Современнике», «Отечественных Записках» с 1851 г. по 1855 г.

58 М. М. Стопановский—беллетрист 60-х гг. (ум. в 1877 г.). Наиболее значительное произведение — роман «Обличители». Вел в «Искре» в 60-х гг. провинциальный отдел «Нам пишут», пользовавшийся большим успехом.

59 А. К. Шеллер (А. Михайлов) (1838—1904) — беллетрист, поэт и публицист, сотрудничал в «Современнике» и «Русском Слове», впоследствии в «Деле». В «Современнике печатал стихи и поместил романы «Гнилые болота», «Жизнь Шупова».— «Женский Вестник, ежемесячный журнал, посвященный защите прав женщины, выходил в 1866—1868 гг. Издательница — Анна Мессарош, редактором подписывался Н. Мессарош, фактическими редакторами были Н. А. Благовещенский и А. К. Шеллер-Михайлов. После запрещения «Современника» и «Русского Слова» в «Женском Вестнике» нашли приют литераторы обоих журналов. В нем печатались, кроме Благовещенского и Шеллера-Михайлова, Омуловский, Д. Михаловский, Гл. Успенский,



ОБОРОТ НАДПИСИ Ф. М. РЕШЕТНИКОВА НА ПИСЬМЕ ЕГО СОСЛУЖИВЦА ПО ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ УЕЗДНОМУ СУДУ П. ЗАГАЙНОВА (В ПИСЬМЕ — ЗАПРОС «БЫЛО ЛИ ПЕРЕДАНО ВАМИ МНЕ ДЕЛО О НАРУБЛЕННЫХ ДРОВАХ МАСТЕРОВЫМ БЕРЕЗОВСКОГО ЗАВОДА»)

Текст надписи следующий:

«Это удивительно. Такой вопрос, при окончательной сдаче дел по описям, со всею точностью и в исправности, совершенно глуп. Да и что я скажу (боже мой!) тогда, когда я сдал все исправно и есть в описи его расписка? Что я могу ответить правильно, забывши теперь все? Пожалуй—долго ли?—заведут дело! И я, бедный человек, убитый в детстве, опять буду уничтожен, — уничтожен оклеветанием уже, обманом и мошенничеством. Помню, что дело было в шкафу. Но к чему этот вопрос мне теперь, в Перми? Для чего? Для того, чтобы опечалить меня? О, боже мой! И Загайнов, прежде друг, теперь становится мне врагом. Господи, спаси меня! Ты видишь, что я прав. Но нет: это шутка Это для того написано, чтобы испугать меня, чтобы я ехал обратно, или чтобы получить от меня ответ. Вот они, враги, каковы. А еще здесь говорят: «Что же вы не служили в Екатеринбурге? Там славная служба». Пусть послужат сами, имея мне подобный дух.

Ф. Решетников.

25 июля 1861 г.».

С подлинника, хранящегося в Институте Русской Литературы

Лавров, Ткачев, Станюкович и др. Существование журнала ознаменовалось рядом судебных процессов, недоразумений с сотрудниками и т. п.

[60] В архиве Ф. М. (ЛГПБ) имеется записка Вл. Курочкина от 9 сентября 1866 г. с приглашением зайти для переговоров. На записке пометка Ф. М.: «Сделано предложение Владимиром Курочкиным отдать для «Невского Сборника» «Горнорабочие» с платою по 50 р. за лист».

[61] Вряд ли по инициативе Ф. М. не состоялось печатание 2-й и 3-й частей «Горнорабочих» в «Невском Сборнике»; материал этих частей к тому времени им уже был использован для романа «Глумовы». Редакция «Невского Сборника», анонсировавшая предполагаемое содержание книжки до ее выхода, сообщила по выходе сборника в 1867 г.: «Горнорабочие» не напечатаны нами потому, что в «Деле» печатается другой роман г. Решетникова — «Глумовы» совершенно одинакового содержания с «Горнорабочими».

[62] Было ли написано продолжение рассказа «Из новой судебной практики» или у Ф. М. был разговор с Вейнбергом о продолжении — нами неустановлено.

[63] В 4-й книжке «Дела» напечатаны XII—XVII главы первой части романа Ф. М. «Глумовы».

[64] П. А. Заварзин — военный инженер, брест-литовский знакомый Ф. М. В архиве Ф. М. (ЛГПБ) сохранилось шесть его писем.

[65] Напечатано после смерти Ф. М. в тифлисской газете «Новое Обозрение», воспроизведено в № 1 «Литературного Наследства».

[66] А. А. Краевский — редактор-издатель журнала «Отечественные Записки» (1839—1867). После ухода из «Отечественных Записок» Белинского журнал Краевского занимал позицию буржуазно-умеренного либерализма, вел ожесточенную борьбу с «Современником» и Чернышевским. В 1868 г. «Отечественные Записки» перешли в руки Некрасова и стали легальным органом революционного народничества.

[67] Николай Соловьев — реакционный критик и публицист. Против Решетникова выступил во «Всемирном Труде» (1868 г., № 2 — «Русская журналистика в 1867 г.»). — В. П. Авенариус — беллетрист, известный составитель юношеской и детской литературы; в 60-х гг. выступал как реакционный романист, обличитель «молодого поколения» («Современные идиллии», «Поветрие»).

[68] Из-за отсутствия подробных биографических сведений о В. Г. Комарове трудно расшифровать это место дневника Ф. М.: являлся ли В. Г. владельцем «питейного» предприятия, или у него там был излюбленный уголок. Точка зрения на профессию кабатчика у Ф. М. и его круга была более чем терпимая (см. соответствующие страницы «Где лучше?»).

[69] Напечатано после смерти Ф. М. в тифлисском «Новом Обозрении» 1884 г., № 47 от 18 февраля. В собрания сочинений Ф. М. рассказ не включался; воспроизведен в № 1 «Литературного Наследства» 1931 г.

[70] «Будни и праздники Янкеля Дворкина и его семейства». Упоминавшийся выше очерк об евреях — то же произведение.

КОЗЬМА ПРУТКОВ
НЕИЗДАННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Предисловие Д. Заславского
Комментарии П. Беркова

КОЗЬМА ПРУТКОВ И ЕГО РОДИТЕЛИ

Литературным родителям Козьмы Пруткова не раз приходилось доказывать авторские права на свое детище. Происходило это отчасти от недостаточного фамильного сходства. Ярко сатирический облик большинства произведений, выходивших под именем Козьмы Пруткова, беспощадное и злое высмеивание признанных в художественной литературе авторитетов не мирились с расплывчато-либеральным обликом А. М. Жемчужникова, с реакционно-идеалистическим обликом А. К. Толстого. К тому же вымышленный Козьма Прутков решительно оттеснил, заслонил собой подлинных авторов. То, что они писали всерьез, оказалось в значительной степени позабытым, сложено в архиве литературы. А то, чем они погрешили для шутки, для забавы, не придавая этому большого значения, оказалось серьезным и живым произведением. Более того: сатирическая пародия обернулась острием своим против них же самих. Ни А. К. Толстой, ни Жемчужниковы никогда не решились признаться в том, что посмеялись они в сущности над самими же собой. В злых пародиях на поэзию либеральной гражданской скорби, на поэзию чистого искусства и дворянских традиций могли узнать себя и Жемчужников, и Толстой позднейшего времени.

Авторское свое право на Козьму Пруткова А. М. Жемчужников от имени всего авторского коллектива доказал. Об этом рассказано в «Полном собрании сочинений Козьмы Пруткова», вышедшем в 1927 г. Дело относится к 1883 г. В журнале «Век» некто М. А. Филиппов подписывал свои произведения именем Козьмы Пруткова. А. М. Жемчужников протестовал против такого посягательства на чужую собственность и писал, что псевдоним принадлежит братьям Жемчужниковым и А. К. Толстому. Филиппов возражал:

«Псевдоним этот, — писал он, — не принадлежит ни Вам, ни брату Вашему, ни покойному графу Толстому, а журнал («Современник») сочинил коллективный псевдоним собственно для своего фельетона и не предоставил каждому отдельному лицу самостоятельно пользоваться им... Статья же «С.-Петербургских Ведомостей» 1874 г. и «Русский Календарь», указавший на Ваше участие в этом коллективном псевдониме, не дают Вам ровно никаких юридических прав. К тому же мне положительно известно, что под этим псевдонимом работали еще Панаев, Добролюбов и иные сатирики».

В пространной статье А. М. Жемчужников доказал тогда, что ни Панаев, ни Добролюбов, ни иные сатирики, кроме поименованных Жемчужниковым, в коллективном творчестве Козьмы Пруткова не участвовали. Юридические права Жемчужниковых и Толстого на Козьму Пруткова после этого больше не оспаривались. В этой инстанции процесс официальными родителями окончательно выигран. Но этим еще не решается вопрос о литературном участии Добролюбова в создании сатирического облика Козьмы Пруткова, хотя бы перо Добролюбова непосредственно в этом создании и не участвовало.

Козьма Прутков родился не в «Свистке», но только в «Свистке» он вырос и получил то сатирическое оформление, которое принесло ему затем славу и популярность.

И если говорить о правах литературных родителей на псевдоним, то возникает законное сомнение, обладали ли эти родители правами — не юридическими конечно — присваивать имя Козьмы Пруткова таким произведениям своим, которые были написаны не для «Свистка». Возьмем, к примеру, известную шутку-комедию «Фантазия». Она была написана без всякого сатирического умысла, — разве лишь с намерением дать пародию на пустые и ничтожные водевили императорских театров николаевской эпохи. Она и была не сатирой, а шуткой, шалостью великосветских талантливых забавников. Подписана она была первоначально инициалами Игрек и Зет, заслуженно провалилась на сцене, заслуженно была бы предана забвению, если бы уже впоследствии авторы не приписали ее Козьме Пруткову и не включили в собрание его сочинений. На каком основании? Только по безграничной отцовской власти патриархальных времен. Ни сцена императорского театра, ни даже «Ералаш» либерального «Современника» не были связаны непосредственно с радикально-демократическим, литературно-революционным «Свистком». Шутка «Фантазия» так и остается шуткой, талантливым зубоскальством среди других, остро отточенных и злых, сатирически направленных произведений Козьмы Пруткова. То же относится и к другим шалостям пера Жемчужниковых и Толстого, — в значительной мере к пародиям на слог и стиль XVIII в. Эти пародии были тогда в моде. В них упражнялись и другие. Но свои «цветы невинного юмора» Жемчужниковы прицепили к сатирическому циклу Козьмы Пруткова без достаточного к тому основания.

Что же придало сатирическую соль творчеству авторов, по литературной своей натуре людей замечательно пресных? Ответ на это может быть один: их временное и для них довольно случайное пребывание в «Свистке». Вне «Свистка» Козьма Прутков непонятен. Попытки истолковать его вне связи со «Свистком» приводили неизбежно к ложным заключениям. Наиболее распространенное из них говорит о том, что Козьма Прутков — это тупой и самодовольный бюрократ, претенциозный и бездарный, а поэтому все его сочинения — это сатира на бюрократию. Даже в предисловии к вышедшему в 1927 г. «Собранию сочинений Козьмы Пруткова» сказано: «Козьма Прутков — вымышленный писатель, в своем творчестве как бы воплощавший тупость, косность и бюрократизм господствовавших в России дворянских и чиновнических кругов». Но разве добролюбовский «Свисток», в котором подвизался Козьма Прутков, освистывал только тупость, косность и бюрократизм дворянских и чиновничьих кругов? И как бы сохранил до наших дней свою сатирическую свежесть Козьма Прутков, если бы он воплощал только тупость, косность и бюрократизм дворянских и чиновничьих кругов?

«Свисток» — это родное и любимое детище Добролюбова. Добролюбов был создателем, редактором, вдохновителем «Свистка». К сожалению исследователи литературной личности Козьмы Пруткова, установившие, кому из коллективных авторов какое принадлежит произведение, не выяснили вопроса об отношениях между этими авторами и Добролюбовым. А в том, что со стороны Добролюбова сильнейшее было влияние на авторов Козьмы Пруткова, сомневаться не приходится. Об этом убедительно говорит творчество Конрада Лилиеншвагера и Якова Хама, — поэтов, родившихся вместе с Козьмой Прутковым. За этими псевдонимами скрывался Добролюбов.

Достаточно прочитать написанное Добролюбовым вступление к «Свистку», чтобы найти источники литературно-сатирического творчества Козьмы Пруткова. Вот как заканчивается это вступление:

«Итак, читателю да будет известно, что мы свистим не по злобе или негодованию, не для хулы и осмеяния, а единственно от избытка чувств; от сознания красоты и благоустройства всего существующего, от совершеннейшего довольства всем на свете. Наш свист есть соловьиная трель радости, любви и тихого восторга, юношеская песнь мира, спокойствия и светлого наслаждения всем прекрасным и возвышенным.

Итак, наша задача состоит в том, чтобы отвечать кротким и умиленным свистом на все прекрасное, являющееся в жизни и в нас, так как ее современные деятели представляют в своих произведениях неисчерпаемое море прекрасного и благородного. Они водворяют, так сказать, вечную весну в нашей читающей публике, и мы можем безопасно, сидя на ветке общественных вопросов, наслаждаться красотами их творений.

И первый благодарный свист наш да раздастся в честь поэтов, прославляющих ныне русскую землю, то свищет недавно прославленный, исполненный благородства поэт Конрад Лилиеншвагер».

Хорошо известно, какое действие произвел добролюбовский свист в современной литературе. Обозлились и встали надыбы не только тупые, косные и бюрократиче-



КОЗЬМА ПРУТКОВ

Рисунок А. А. Лабуца в «Стрекозе» 1900 г., № 10.

ские дворянские и чиновничьи круги. Пришли в величайшее раздражение, почувствовали себя кровно задетыми столпы *либеральной* литературы. Обиделся Тургенев. В негодование пришли все «продолжатели» пушкинской поэзии. Свист «Современника» донесся до Лондона, и оттуда Герцен послал «свистунам» свое предостерегающее «Очень опасно!» Не тупую и косную бюрократию вызывал Добролюбов

своим свистом на бой. Напротив, он ядовито освистывал тех либеральных поэтов и писателей, которые целиком растрачивали скудные запасы своего обличительного остроумия на бюрократию и ее грехи, не замечая глубочайших противоречий общественного строя. «Свисток» был легким, оттого не менее серьезным оружием в арсенале тех литературных средств, с которыми русские демократы-революционеры, воинствующие материалисты-фейербахианцы выступили против всей идеалистической литературы, всей идеалистический философии своего времени. Добролюбов освистывал претенциозность, пустое «глубокомыслие», поповщину, сентиментализм, гнилую романтику, лживость этой литературы, поэзии и философии. Этот свист не был конечно ни шуткой, ни забавой.

Добролюбов писал от имени «Свистка»:

«И ныне являюсь я к читателю снова;
Хочу наградить его за терпенье,
Хочу я принесть ему свежее слово,—
Насколько возможно в моем положеньи...
А, впрочем, читатель ко мне благосклонен
И в сердце моем он прекрасно читает:
Он знает, к какому я роду наклонен
И лучше ученых мой свист понимает.
Он знает: плясать бы заставил я дубы
И жалких затворников высвистнул б к воле,
Когда б на морозе не трескались губы,
И свист мой порою не стоил мне боли».

Добролюбову, Чернышевскому и Некрасову — руководителям «Современника» — сатирический свист «стоил порою боли». Этого не испытывали конечно либеральные авторы Козьмы Пруткова. Но они попали в боевую компанию демократов-материалистов, они приняли участие в освистывании идеалистической литературы во всех ее оттенках, они писали пародии на Фета, Майкова, на эпигонов пушкинской поэзии. Они высмеивали «чистое искусство», издевались в компании с Добролюбовым над пустомыслием философов-идеалистов, над преклонением перед античным миром, над всей реакционной трухой, которой украшали себя представители дворянской, идеалистической, «гуманной» литературы. Конечно у Жемчужниковых это выходило несравненно мягче, чем у Добролюбова. Но сатирические ноты врывались в их юмор, и это придало такую заостренность созданному ими образу Козьмы Пруткова.

Именно поэтому Козьма Прутков и не пережил «Свистка». Сатирическое творчество авторов иссякло. Остался безобидный юмор. Граф А. К. Толстой впоследствии писал сатирические пародии на «нигилистов». Им не хватало как раз сатирического яда. Они были плоским реакционным издевательством над демократически-материалистической литературой. Козьма Прутков не мог воскреснуть в позднейшей литературе. Он был случайным эпизодом в литературной биографии Жемчужниковых и Толстого. Они пожалуй охотно отреклись бы от него как от греха своей молодости, если бы не соблазняла огромная популярность созданного ими невзначай образа. Скромные либералы, связанные с идеалистическими традициями дворянской литературы и среды, они засветились ярким сатирическим светом, попав в орбиту материалистического и боевого «Свистка».

Козьма Прутков мог бы к самому себе применить свою «Эпиграмму № II».

«Раз архитектор с птичницей спознался....
И что ж? — в их детище смешались две натуры.
Сын архитектора, он строить покушался;
Сын птичницы, он строил только куры».

Две натуры смешались и во всем творчестве Кузьмы Пруткова. Сын умеренных либералов, дворян-идеалистов, он способен был только на беззубый юмор, на талантливую шутку, на чистый смех ради смеха. Сын добролюбовского «Свистка» — он дал яркую сатиру, не потерявшую силы до наших дней, на претенциозное пустомыслие,

лживость, фальшь идеалистической литературы, поэзии и философии, сатиру на вычурность мысли и слова, надутость, притворство, на то, что сохранилось и в наши дни даже в нашей литературе под именем и в виде идеалистической схоластики, талмудизма в философии, аллилуйщины и пр. в литературе и поэзии.

Из печатаемых ниже произведений Козьмы Пруткова «Проект о введении единомыслия» был написан в 1863 г. и напечатан в апрельской книжке «Современника», в последнем номере «Свистка». Добролюбова не было уже в живых. Сатирические краски Козьмы Пруткова в обновленном «Свистке» пожалуй не поблекли, но поражает язык, не совсем привычный для нашего автора. Козьма Прутков заговорил явно языком героев Салтыкова. Это в особенности заметно, если сравнить печатаемый ныне оригинал «Проекта» с текстом, напечатанным в «Свистке». Если бы под этим текстом не стояло подписи «Козьма Прутков», можно было бы поставить, без риска впасть в ошибку, «Н. Щедрин».



АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ И А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ В УСАДЬБЕ «ПУСТЫНЬКА» В 1851 г.

С акварели, хранящейся в Институте Русской Литературы

Эта странная, на первый взгляд, перемена в характере, слоге, стиле Козьмы Пруткова не покажется нам удивительной, если принять во внимание, что в конце 1862 г. Салтыков вошел в состав редакции «Современника», что именно он занялся восстановлением «Свистка», что ему принадлежит редактирование «Свистка» и две трети напечатанных в нем материалов.

В конце декабря 1862 г. Салтыков писал Некрасову: «Слепцов обещал привести ко мне завтра некоторого остроумца с материалами для «Свистка»; если материалы не дурны, то можно и еще кое-что набрать: у Жемчужникова и у другого молодого человека, живущего в Москве, г. Буренина, который уже печатался в «Искре» (М. Салтыков-Щедрин, Письма, ГИЗ, 1925, стр. 35).

Так из встречи Салтыкова с Жемчужниковым и родился «Проект о введении единомыслия», лишний раз подтверждающий указанную выше двойственность натуры Козьмы Пруткова.

Фельетон «С того света», высмеивающий спиритизм, появился значительно позже — в 1876 г., в «либеральных» «С.-Петербургских Ведомостях». В этой газете, где подвизались Суворин, Буренин и другие будущие нововременцы, Козьма Прутков мог дать только то, что вложили в него Жемчужниковы. Не было возле Козьмы Пруткова ни Добролюбова, ни Салтыкова. В благодушном фельетоне сохранилось остроумие, но нет уже сатирического яда. Либеральный автор подтрунивает над своими же либеральными друзьями, увлекшимися столоверчением. Этот Прутков суворинского газетного заведения мало общего имеет с Прутковым добролюбовского «Свистка».

Д. Заславский

I

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

Я знаю, читатель, что тебе хочется знать, почему я так долго молчал. Мне понятно твое любопытство. Послушай и вникни: я буду говорить с тобой, как отец с сыном.

В обществе заговорили о каких-то новых потребностях, о каких-то новых вопросах... Я — враг всех так называемых вопросов! Я негодовал в душе — и готовился!.. Я готовился поразить современное общество ударом, но гг. Григорий Бланк, Николай Безобразов и пр. предупредил меня... Хвала им, — они спасли меня от посрамления!

Наученный их опытом, я решился итти за обществом. Сознаюсь, читатель: я даже повторял чужие слова против убежденья!.. Так прошло более трех лет. Время показало мне, что я боялся напрасно. Общество наше оклеветано: оно изменилось только по наружности... Мудрый смотрит в корень; я посмотрел в корень... Там все попрежнему: там много неоконченного (d'inachevé)!.. Это успокоило меня. Я благословил судьбу и вновь взялся за лиру!.. Читатель, ты понял меня! До свиданья!

24 октября 1859 г. (annus,i).

Твой доброжелатель Козьма Прутков.

II

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАПИСОК МОЕГО ДЕДА

ВИДНО, ЧТО И В ДРЕВНОСТИ НЕ МАЛУЮ К ПИСАНИЮ СКЛОННОСТЬ ИМЕЛИ И В ПЛУТОВАТОСТИ ПОЧАСТУ УПРАЖНЯЛИСЬ

Некогда великий Александр, ирой Македонский, осведомясь, что жители Лампсакийские от него изменнически отстали и персидской стороны держаться зачали, толико ожесточен стал сею их поступкою, что всех до одного истребить пригрозил и с не малым для того войском к мятежным Лампсакийцам неотложно выступил. То однажды, в сем походе пребывая и на пути в одном из славных дворцов своих замешкав, царь сей Македонский, от небреженья здоровья своего, нарочитый насморк себе приобрел, и по предписанию знатного, при нем бывшего, Сиракузского врача, Менекратом именуемого, единожды сальную свечу от гофмейстера своего спросил, дабы оною нос свой от той неотвязной болезни накрепко вымазать. То лукавые дворца его смотрители и после отъезда Александрова через долгое время каждодневно по сальной свечи в расход вписывали, не малую от того для себя прибыль имея, и для порядка законно по делу сему особую тетрадь завели, таковой на оной заголовок искусно надписав: «Дело об отпуске сальных свеч для смазывания августейшего носа». Однако премудрый ирой Македонский, нисколько на то не взирая, а напротив того опосля про таковую хитрость их узнав, примерному наказанию оных изменщиков публично подверг, и для страха всю ту гисторию на мраморной в наилучшем из дворцов своих доске крупными литерами изобразить повелел, ни мало имен тех прежних любимцев своих скрывать не желая.

III

ПРОЕКТ

О ВВЕДЕНИИ ЕДИНОМЫСЛИЯ В РОССИИ

Этот черновой проект, написанный Козьмою Прутковым в 1859 году, был напечатан в журнале «Современник» лишь по смерти К. Пруткова, в 1863 году, книга IV. В подлиннике, вверху его, находится надпись:

«Подать, в один из торжественных дней, на усмотрение».

Приступ: Наставить публику. Занеслась. — Молодость; науки; незрелость!.. Вздор!.. Убеждения. Неуважение мнения старших. Безначалие.

НАЧАЛО НЕОПУБЛИКОВАННОГО ПРУТКОВСКОГО АНЕКДОТА «ВИДНО, ЧТО И В ДРЕВНОСТИ...»

Почерк В. М. Жемчужникова

С подлинника, хранящегося в архиве А. М. Жемчужникова (ленинградское отделение Центрархива)

«Собственное» мнение!.. Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверием начальства?! Откуда оно возьмется? На чем основано? — Если бы писатели знали что-либо, их призвали бы к службе.

Кто не служит, значит недостоин, стало быть и слушать его нечего. — С этой стороны еще никто не колебал авторитета наших писателей; — я первый. (Напереть на то, что я — первый. Это может помочь карьере. Далее развить то же, но в других выражениях, сильнее и подробнее.)

Трактат: Очевидный вред различия во взглядах и убеждениях. Вред несогласия во мнениях. «Аще царство на ся разделится» и пр. Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибаться; но, чтоб удовлетворить это желание, надо иметь материал для мнения. Где же этот материал? — Единственным материалом может быть мнение начальства. Иначе нет ручательства, что мнение безошибочно. Но как узнать мнение начальства? Нам скажут: оно видно из принимаемых мер. Это правда... Гм! нет! это неправда! Правительство нередко таит свои цели из-за высших, государственных соображений, недоступных пониманию большинства. Оно нередко достигает результата рядом косвенных мер, которые могут, повидимому, противоречить одна другой, будто бы не иметь связи между собою. Но это лишь кажется! Они всегда взаимно соединены секретными шолнерами единой государственной идеи, единого государственного плана; и план этот поражает ум своею громадностью и своими последствиями! Он открывается в неотвратимых результатах истории. — Как же подданному знать мнение правительства, пока не наступила история? Как ему обсуждать правительственные мероприятия, не владея ключом их взаимной связи? — «Не по частям водочерпательницы, но по совокупности ее частей суди об ее достоинствах». Это я сказал еще в 1842 г. и доселе уверен в справедливости этого замечания. Где подданному уразуметь все эти причины, поводы, соображения; разные виды, с одной стороны, и усмотрения с другой?!.. Никогда не понять ему их, если само правительство не даст ему благодетельных указаний. В этом мы убеждаемся ежедневно, ежечасно, скажу, ежеминутно. Вот почему иные люди, даже вполне благонадежные, сбиваются иногда злонамеренными толкованиями; — у них нет сведений: какое мнение справедливо? Они не знают: какого мнения надо держаться? Не могу пройти молчанием... (Какое славное выражение! Надо чаще употреблять его; оно как бы доказывает обдуманность и даже что-то вроде великодушия.) — Не могу пройти молчанием, что многие признаны, оказывается, злонамеренными единственно потому, что им не было известно: какое мнение угодно высшему начальству? Положение этих людей невыразимо тягостное, даже смело скажу: невыносимое!

Заключение: На основании всего вышеизложенного, и принимая во внимание: с одной стороны, необходимость, особенно в нашем пространном отечестве, установления единообразной точки зрения на все общественные потребности и мероприятия правительства; с другой же стороны, невозможность достижения сей цели без дарования подданным надежного руководства к составлению мнений; — не скрою... (опять отличное выражение! Непременно буду его употреблять чаще) — не скрою, что целесообразнейшим для сего средством было бы учреждение такого официального повременного издания, которое давало бы руководительные взгляды на каждый предмет. Этот правительственный орган, будучи поддержан достаточным, полицейским и административным, содействием властей, был бы для общественного мнения необходимою и надежною звездою, маяком, вехою. Пагубная наклонность человеческого разума обсуждать все происходящее на земном круге была бы обуздана и направлена к исключительному служению указанным целям и видам. Установилось бы одно господствующее мнение по всем событиям и вопросам. Можно бы даже противодействовать развивающейся наклонности возбуждать «вопросы» по делам общей и государственной

жизни, ибо: к чему они ведут? [1] Истинный патриот должен быть враг всех так называемых «вопросов»!

С учреждением такого руководительного правительственного издания, даже злонамеренные люди, если бы они дерзнули быть иногда несогласными с указанным «господствующим» мнением, естественно [2] будут остерегаться противоречить оному, дабы не подпасть подозрению за инакомыслие, и можно даже ручаться, что каждый, желая спокойствия своим детям и родственникам, будет и им внушать уважение к «господствующему» мнению, и таким образом благодетельные последствия предлагаемой меры отразятся не только на современном, но даже на самом отдаленном потомстве.

Зная сердце человеческое и коренные свойства русской народности, могу с полным основанием поручиться [3] за справедливость всех моих выводов, но, тем не менее, скажу откровенно, что, для обеспечения успеха проектируемой меры, необходимо заблаговременно озаботиться приглашением лица, которое... [4]

Редактором должен быть человек достойный во всех отношениях, известный своим усердием и своею преданностью, пользующийся славою литератора, несмотря на свое нахождение на правительственной службе, и готовый для пользы правительства пренебречь общественным мнением и уважением, вследствие твердого убеждения в их полнейшей несостоятельности. Конечно, подобный человек заслуживал бы достаточное денежное вознаграждение и награды чинами и орденскими отличиями. Не смею предлагать себя для такой должности, по свойственной мне скромности. Но я готов жертвовать собою, до последнего издыхания, для бескорыстной службы нашему общему престол-отечеству, если только это будет согласно с предначертанием высшего начальства. Долговременная и беспорочная служба моя по министерству финансов, в Пробирной Палатке, дала бы мне, между прочим, возможность благоприятно разъяснять и разные финансовые вопросы, согласно с видами правительства. Разъяснения же эти бывают часто почти необходимы, в виду стеснительного положения финансов нашего дорогого [5] отечества.

Повергая сей недостойный труд мой на снисходительное усмотрение высшего начальства, дерзаю льстить себя надеждою, что он не поставится мне в вину, служа несомненным выражением усердного желания преданного человека: принести посильную услугу столь высоко уважаемой им благонамеренности.

1859 года (annus,i)

Примечание. В числе разных заметок на полях этого проекта находятся следующие, которые Козьма Прутков, вероятно, желал развить в особых проектах:

1) «Велеть всем редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только их повторение и развитие» и 2) «Вменить в обязанность всем начальникам отдельных частей управления: неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное учреждение списки всех лиц, служащих под их ведомством, с обозначением против каждого: какие получает журналы и газеты? И неполучающих официального органа, как не сочувствующих благодетельным указаниям начальства, отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины и не удостаивать ни наград, ни командировок».

Вообще в портфелях покойного Козьмы Пруткова, на которых отпечатано золотыми буквами: «Сборник неоконченного» (d'inachevé), содержится весьма много любопытных документов, относящихся к его литературной и государственной деятельности. Может быть из них еще будет что-либо извлечено для печати.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] После слов «к чему они ведут?» зачеркнуто: «Ибо частные люди не призваны к этому. Это дело правительства. Возбуждением «вопросов» нарушается уверенность в самостоятельной зоркости правительства. Нарушается спокойствие! Истинный дворянин и патриот всегда враг всех так называемых «вопросов».

[2] После слова «естественно» зачеркнуто: «остерегались бы противоречить, опасаясь за себя и за своих присных. А люди благонамеренные, напротив, знали бы, в чем противодействовать злонамеренным. Притом истинные христиане, желая спокойствия своим детям и родственникам, неминуемо старались бы внушить им уважение к тому «господствующему» мнению, и таким образом, вследствие сего благодетельные последствия предлагаемой меры отразились бы».

[3] После слова «поручиться» зачеркнуто: «за успех предлагаемой мной меры. Но самым важным условием успеха будет выбор редактора для такого правительственного органа».

[4] Фраза в подлиннике не закончена.

[5] После слова «дорогого» вычеркнуто: «престол».

IV

НЕИЗДАННЫЕ МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ

ПЛОДЫ РАЗДУМЬЯ

1.

Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.

2.

Новые сапоги всегда жмут.

3.

Если бы вся вселенная обратилась в одно государство, то можно бы повсюду установить одинаковые законы.

4.

Пруссия должна быть королевством.

5.

Если бы хоть одна настоящая звезда упала на заслуженную грудь, то не осталось бы ни того человека, ни даже самых отдаленных его единомышленников.

6.

Одно легкомыслие может восставать против какого-либо труда. Всякий труд полезен тем, что убивает время, которое, однако, нисколько от этого не уменьшается.

7.

У человека для того поставлена голова вверху, чтобы он не ходил вверх ногами.

8.

Пруссак есть один из наиболее назойливых насекомых.

9.

Очень многие подтверждают мою мысль, что ветер есть дыхание природы.

10.

Верующий не боится напастей, но при невзгоде судьбы не отчаивается.

11.

Никогда не следует принимать почетных лиц в халате, если не желаешь рисковать своею карьерою и даже всею будущностью.

12.

Однако, даже при усердии одного яйца два раза не высидишь.

156.

[illegible]

157.

[illegible]

158.

[illegible]

159.

[illegible]

ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ «ПЛОДОВ РАЗДУМЬЯ»

С подлинника, хранящегося в архиве А. М. Жемчужникова (ленинградское отделение Центрархива)

13.

Усеянное звездами небо всегда уподоблю груди заслуженного генерала; небосклон, покрытый плотными, но серыми облаками, смело сравню с шинелью рядового служивого.

14.

В спертом воздухе при всем старании не надышишься.

15.

Когда народы между собою дерутся, это называется войною.

ПРИМЕЧАНИЯ

15 публикуемых впервые афоризмов извлечены из черновых листов «Полного собрания сочинений» К. Пруткова, подготовленного В. Жемчужниковым. За исключением афоризмов 6 и 14, все прочие в рукописи зачеркнуты.

Афоризм 6 в «П. С. С.» принял такой вид: «Говорят, что труд убивает время; но сие последнее, нисколько от того не уменьшаяся, продолжает, с такою же полнотою, служить человечеству и всей вселенной».

Афоризм 11 в «Мыслях и Афоризмах», помещенных в «Искре» 1860, № 26, имел следующую редакцию: «Отнюдь не принимай почетных гостей в разорванном халате!»

Афоризм 12 идет в рукописи вслед за знаменитым «Усердие все превозмогает», которое, как известно, представляло девиз, включенный в герб графа Клейнмихеля, видного бюрократа николаевской эпохи (1793—1869).

Афоризм 13 в «П. С. С.» приведен в сокращенном виде (только первая часть) под № 113.

V

[С ТОГО СВЕТА]

Г. Редактор!

Уволенный в отставку с чином генерал-майора, я желал чем-либо занять свободное время, которого у меня было слишком много; и вот я принялся внимательно читать газеты, не ограничиваясь, как бывало прежде, чтением лишь о производствах и наградах.

Заинтересовавшись наиболее статьями о спиритизме, я возымел мысль собственным опытом исследовать явления, о которых читал и которые, сознаюсь, уму простому моему казались очень бестолковыми.

Я приступил к делу с полным недоверием, но каково же было мое изумление, когда после нескольких неудачных опытов обнаружилось, что я сам медиум! Не найду слов, чтоб изобразить вам, милостивый государь, радость, меня охватившую от одной мысли, что отныне мне, как медиуму, возможно беседовать с умными и великими людьми загробного мира.

Не будучи горазд в науках, но всегда пытаясь объяснить необъяснимое, я уже давно пришел к тому убеждению, что душа человека умершего, несомненно, пребывает в местности, куда особенно он стремился при жизни. На этом основании я пробовал вопрошать покойника Дибича, — находится ли он и в настоящее время за Балканами[1]? Не получая ответа на этот и многие другие вопросы, с которыми я обращался к разным сановным покойникам, я начинал конфузиться, приходить в отчаяние и даже задумывал бросить занятие спиритизмом, как вдруг внезапно раздавшийся стук под столом, за которым я сидел, заставил меня вздрогнуть, а затем и окончательно растеряться, когда над ушами моими чей-то голос очень ясно и отчетливо произнес: «не жалуйся!».

Первое впечатление страха вскоре заменилось полным удовольствием, ибо мне открылось, что дух, со мною беседующий, принадлежит поэту, глубокому мыслителю и государственному человеку, покойному действительному статскому советнику Козьме Петровичу Пруткову. С этого момента моим любимым занятием сделалось писать под диктант этого почтенного литератора.

Но так как, по воле знаменитого покойника, я не в праве держать в секрете то, что от него слышу, то предлагаю вам, милостивый государь, через посредство уважаемой газеты вашей знакомить публику со всем, что уже слышал и что впредь доведется мне услышать от покойного К. П. Пруткова. Примите уверение в совершенном почтении вашего покорного слуги.

NN, Генерал-майор в отставке и кавалер.

С ТОГО СВЕТА

I

Здравствуй, читатель! После долгого промежутка времени, я опять говорю с тобой. Ты, конечно, рад моему появлению. Хвалю. Но конечно, ты не мало и удивлен, потому что помнишь, что в 1865 г. (annus,i), в одной из книжек «Современника» (ныне упраздненного), было помещено известие о моей смерти[2].

Да, я, действительно, умер; скажу более, мундир, в котором меня похоронили, уже истлел; но, тем не менее, я вот-таки снова беседую с тобою. Благодари за это друга моего NN.

Ты, верно, уже догадался, что NN медиум? Хорошо. Вот именно через него-то я и могу говорить с тобою.

Мне давно хотелось поведать тебе о возможности для живущих сноситься с умершими, но не мог этого сделать ранее, потому что не было подходящего медиума.

Нельзя же было мне, умершему в чине действительного статского советника, являться по вызову медиумов, не имеющих чина, например, Юма, Бредифа и К°. Что бы подумали бывшие мои подчиненные, чиновники Пробирной Палатки, если б дух мой, вызванный кем-либо из упомянутых чужестранцев, стал бы под столом играть на гармонике или хватать присутствующих за коленки? Нет, я за гробом остался тем же гордящимся дворянином и чиновником!

Из сказанного, я думаю, ты уже догадался, что избранный мною медиум человек вполне солидный, и ежели я скрываю его под литерами NN, то не потому, чтоб он принадлежал к разряду разночинцев, а потому, что хотел избавить моего медиума, почтенного и опытом умудренного генерала, от зубоскальства современных либералов.



А. К. ТОЛСТОЙ В ЮНОСТИ
Деревянный бюст работы Н. Кузнецова, хранящийся в Институте Русской Литературы

Вступая снова с тобою в беседу, через посредство моего медиума, считаю нужным сообщить тебе следующее: ты ведь читал, и, вероятно, не один раз, некролог обо мне, а, следовательно, помнишь, что я был женат на девице Проклеветантовой. Один из ее родственников, губернский секретарь Илиодор Проклеветантов, служил под моим начальством в Пробирной Палатке.

Я всегда был начальник строгий, но справедливый, и в особенности не любил потакать вольнодумцам. Так случилось и с Проклеветантовым, которого, не взирая на родство, я уволил по 3-му пункту и, разумеется, нажил в нем себе врага.

Этот знаменитый родственник не только делал мне неприятности при жизни, но, и умерев, не оставляет меня в покое. Так, еще недавно, например, он хвалился между некоторыми сановными покойниками, что осрамит меня, рассказав через какого-либо медиума о том, что я являлся на сеансах Юма и под столом играл на гармонике!.. Сообщением сим Проклеветантов рассчитывает унизить меня, подорвать мою репутацию; но пусть лучше, ближе ознакомившись с делом, ты сам решишь, читатель: заслуживает ли порицания мой поступок? Да, однажды, действительно, по вызову Юма, я, в одном из его сеансов, не только под столом играл на гармонике, но и бросал колокольчик и даже хватал чужие коленки. Но, во-первых, это было в Париже, во дворце Наполеона, где ни одного из бывших моих подчиненных чиновников Пробирной Палатки не было, а, во-вторых, я это делал, желая отомстить Наполеону за сына моего Парфена, убитого под Севастополем!

После сего сеанса, вступив в непосредственные сношения с самим Наполеоном, я внушил ему мысль начать войну с Пруссией! Я руководил его

в Седане! Унизил ли я этим звание, которое носил? Отнюдь. Теперь, зная дело, как оно было, от степени твоей благонамеренности зависит верить сплетням Проклеветантова.

Но довольно об этом. Есть многое, более интересное, о чем хочу поговорить с тобою. Ты, ведь, помнишь, что я не любил праздности? Я и теперь не сижу, сложа руки, и постоянно думаю о благе и преуспеянии нашего отечества.

В бывшем соредакторе «Московских Ведомостей», Леонтьеве[3], недавно сюда переселившемся, я нашел себе большое утешение. Мы часто беседуем друг с другом, и еще не было случая, чтоб взгляды наши в чем-либо расходились. И это не мудрено: мы оба классики. Правда, моя любовь к классицизму всегда выражалась почти только словом annus, i, выставляемым на моих произведениях; но разве этого мало? Ведь в то время классицизм не был в таком почете, как теперь...

Примечание медиума. (Всем известно строго консервативное направление незабвенного К. П. Пруткова; его беспримерная нравственность и чистота даже сокровеннейших помыслов, конечно, не могут быть заподазриваемы; но, тем не менее, я должен был, по личным моим соображениям, выпустить кое-что из предлагаемого рассказа, усмотрев, что долголетнее пребывание покойника в качестве духа приучило его к некоторому свободомыслию, против которого он сам так горячо ратовал при жизни. Да простят же мне читатели, если, вследствие сделанных мною пропусков, продолжение сей беседы вышло несколько неясно.)

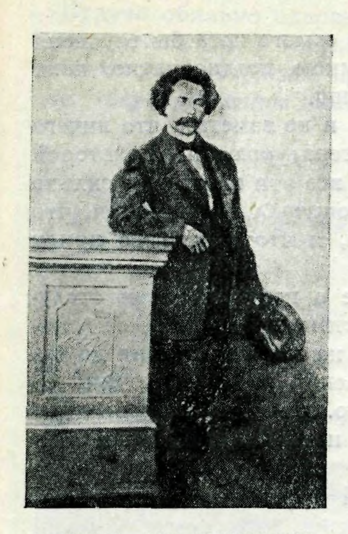
В защиту вышеизложенного есть тонкий, косвенный намек в известных моих афоризмах: «что скажут о тебе другие, если сам о себе ты ничего сказать не можешь?» или «поощрение так же необходимо художнику, как необходим канифоль для смычка виртуоза!»

Но, руководствуясь этими двумя мудрыми советами, основанными на практике жизни, помни и третье, очень умное, хотя и коротенькое, изречение — «Бди!». Это, повидимому, очень коротенькое, слово имеет значение весьма глубокое. Сознательно, или инстинктивно, но всякая тварь понимает смысл сего, слишком, быть может, коротенького слова. Быстролетная ласточка и сладострастный воробей укрываются под крышею здания правды. Налим, спокойно играющий в реке, мгновенно прячется в нору, заметив приближение дьякона, навострившегося ловить эту рыбу руками. Двуутробка забирает своих детенышей и устремляется на верхушку дерева, услыхав треск сучьев под ногами кровожадного леопарда. Матрос, у которого во время сильного шторма унесло в море его фуражку с ленточками, не бросается в волны спасать эту казенную вещь, потому что заметил уже хищную акулу, разинувшую свой гадкий рот с острыми зубами, чтоб проглотить и самого матроса и другие казенные вещи, на нем находящиеся.

Но природа, охраняющая каждого от грозящей ему опасности, не без умысла, как надо полагать, допустила возможность зверю и человеку забывать это коротенькое слово: «бди». Дознано, что ежели бы это слово никогда и никем не забывалось, то вскоре на всем земном шаре не отыскалось бы достаточно свободного места.

II

Мне мудрено, любезный друг NN, отвечать на все предлагаемые тобою вопросы. Ты слишком много от меня требуешь. Довольствуйся теми моими сообщениями о загробной жизни, которые я в праве передать тебе, и не пытайся проникать в глубь, долженствующую оставаться тайною для живущего. Возьми же карандаш и против каждого сделанного тобою вопроса записывай то, что буду говорить.



АЛЕКСЕЙ ЖЕМЧУЖНИКОВ

С фотографии (1859 г.), хранящейся в Институте Русской Литературы

Вопрос. Какое впечатление испытывает умерший в первые дни своего появления на том свете?

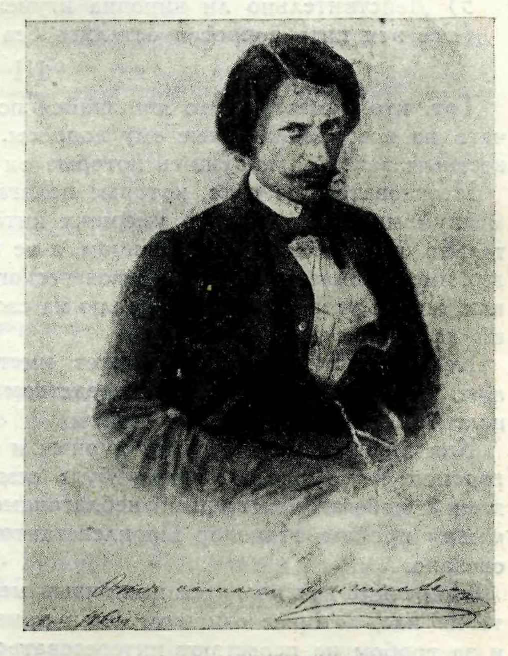
Ответ. Очень странное, хотя и различное для каждого. Оно находится в прямой зависимости от нашего образа жизни на земле и усвоенных нами привычек.

Расскажу лично о себе. Когда, после долгих болезненных страданий, дух мой освободился от тела, я почувствовал необыкновенную легкость и первое время не мог дать себе ясного отчета о том, что со мною происходит.

На пути полета моего в беспредельное пространство мне довелось повстречаться с некоторыми прежде меня умершими начальниками, и первою при этом у меня мыслью было застегнуть свой виц-мундир и поправить орденский знак на шее. Ощупывая и не находя ни ордена, ни гербовых пуговиц, я невольно оторопел. Мое смущение увеличилось еще более, когда, осмотревшись, я заметил, что вовсе не имею никакой на себе одежды. В ту же минуту в памяти моей воскресла давным-давно виденная мною картина, изображающая Адама и Еву после падения; оба они, устыдясь своей наготы, прячутся за дерево. Мне стало жутко от сознания, что и я много согрешил в жизни и что мундир мой, ордена и даже чин действительного статского советника уже не прикроют собою моей греховности. Я с беспокойством стал озираться вокруг себя, стараясь отыскать хотя бы маленькое облачко, за которое мог бы укрыться, но ничего не находил!

Взор мой, тоскливо блуждая, остановился на земле, где не без труда отыскал болотистую местность Петербурга, а на одной из его улиц заметил погребальное шествие. Это были собственные мои похороны! Внимательно всматриваясь в сопровождавших печальную колесницу, везшую мои бренные останки, я был неприятно поражен равнодушным выражением лиц у многих из моих подчиненных. В особенности же меня глубоко огорчила неуместная веселость моего секретаря Люсилина, егозившего около назначенного на мое место статского советника Венцельхозена.

Такая видимая неблагодарность в тех, кого более других я возвышал и награждал, вызвала на глазах моих слезы. Уже чувствовал, как они, катясь по обеим щекам, соединялись в одну крупную каплю на кончике моего носа, и хотел было утереться носовым платком, но остановился. Я понял, что это обман чувств. Я ведь дух, сле-



В. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ

С фотографии (1860 г.), хранящейся в Институте Русской Литературы

довательно, ни слез, ни капли на носу, ни даже самого носа быть у меня не могло. Подобный обман чувств повторялся со мною неоднократно, пока я не привык, наконец, к новому своему положению.

Под массою новых впечатлений, я в первый день и не заметил, что ничего не ел, не был в присутствии и не занимался литературою; но на второй и последующие дни невозможность удовлетворить все эти привычки сильно меня озадачила. Наибольшую же неловкость я ощущал, вспоминая, что завтра именины моего начальника и благодетеля, и что я уже не приду к нему с обычным поздравлением.

Затем мне пришла мысль сообщить моей вдове о необходимости отслужить в этот день (как то бывало при мне) молебствие о здравии моего начальника и его семьи, и продолжать расходоваться на эти молебствия до тех пор, пока она не получит официального уведомления о назначении ей единовременного пособия и пенсии за службу мою. Дело уладилось, однако, само собою; вдова моя, как умная женщина, исполнила сама все, без стороннего наставления.

Вопрос. Как правильнее сказать: желудовый кофей или желудковый кофей?

Ответ. На такие глупые вопросы не отвечаю.

Вопрос. Имел ли Наполеон III предчувствие, что скоро умрет?

Ответ. Всякий может отвечать только за себя, а потому спроси его, если уж так интересуешься этим. К тому же ты и сам можешь смекнуть, что, будучи его руководителем в последней войне, мне неловко встречаться с ним, а тем более вступать в разговоры.

Вопросы: 1) Какую форму или, лучше сказать, какой внешний вид получает душа умершего?

2) В чем состоит времяпровождение умерших?

3) Могут ли умершие открыть нам, живущим, то, что нас ожидает в жизни?

4) Виновен ли Овсянников в поджоге кокоревской мельницы?

5) Действительно ли виновна игуменья Митрофания? [1]

(Все эти пять вопросов остались без ответа).

III

Тот, кто думает, будто явившийся по призыву медиума дух может отвечать на все предлагаемые ему вопросы, забывает, что и дух подчинен известным законам, нарушить которые он не в праве.

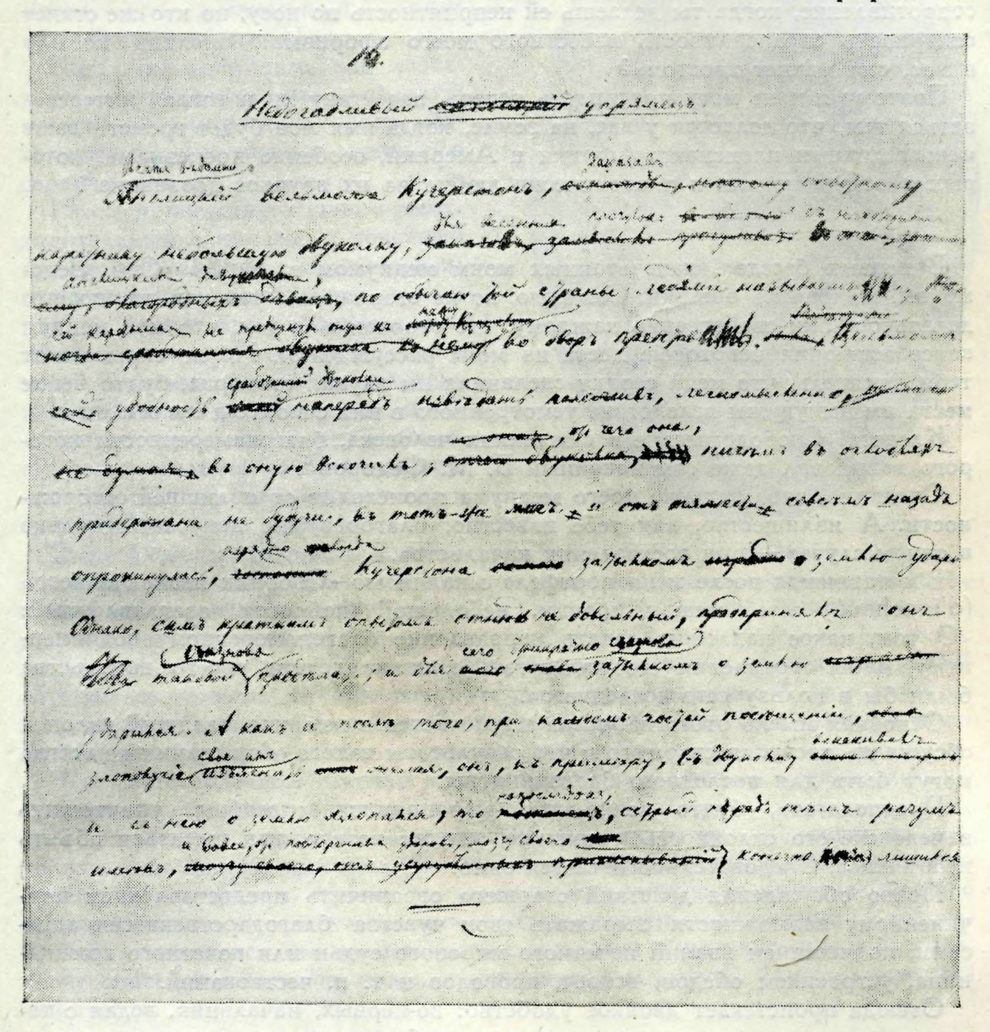
Неосновательны и те, которые полагают, что показываемые различными медиумами руки каких-то умерших китайских и индийских девиц действительно принадлежат сим девицам, а не шарлатанам-медиумам. Разве может дух иметь какие-либо члены человеческого тела? Вспомни мой рассказ о том, как, желая утереть слезы и каплю на своем носу, я не нашел у себя ни слез, ни капли, ни даже носа.

Если допустить, что дух может иметь руки, то почему же не предположить, что ветер движется посредством ног? И то, и другое одинаково нелепо.

Как люди разделяются на дурных и хороших, так точно и духи бывают хорошие и дурные. А потому будь осмотрителен в своих сношениях с духами и избегай между ними неблагонамеренных. К последним принадлежит, между прочим, Илиодор Проклеветантов, о котором мною уже выше было сказано.

Не всякий дух является на призыв медиума. Являются и отвечают только те из нас, которые слишком были привязаны ко всему земному, а потому и за гробом не перестают интересоваться всем, что у вас делается. К этой категории принадлежу и я, с моим неудовлетворенным честолюбием и жаждою славы.

Будучи обильно одарен природою талантом литературным, мне хотелось еще стяжать славу государственного человека. Поэтому я много тратил времени на составление проектов, которым, однако, не взирая на их серьезное, государственное значение, пришлось остаться в моем портфеле без


16.

Недогадливый упрямец

АВТОГРАФ ПРУТКОВСКОГО АНЕКДОТА «НЕДОГАДЛИВЫЙ УПРЯМЕЦ»

С подлинника, хранящегося в архиве А. М. Жемчужникова (ленинградское отделение Центрархива)

дальнейшего движения, частью потому, что всегда кто-либо успевал ранее меня представить свой проект, частью же потому, что многое в них было не окончено (d'inachevé).

Неизвестность этих моих, не вполне оконченных, проектов, а также и многих литературных трудов доселе не дает мне покоя. Долго ли буду я таким образом мучиться — не знаю; но думаю, что дух мой не успокоится, доколе не передаст всего, что приобрел бессонными ночами, долголетним опытом и практикою жизни. Может быть, это мне удастся, а может быть и нет.

Как часто человек, в высокомерном сознании своего ума и превосходства над другими тварями, замышляя что-либо, заранее уже решает, что резуль-

таты его предположений будут именно те, а не другие. Но разве всегда его ожидания сбываются? Отнюдь. Нередко получаются результаты самые неожиданные и даже совершенно противоположные.

Чего бы, казалось, естественнее встретить у лошади хотя бы попытку на сопротивление, когда ты делаешь ей неприятность по носу, но кто же станет оспаривать справедливость известного моего афоризма: «щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом»?

Поэтому я и не могу предвидеть теперь, перестану ли и тогда интересоваться тем, что делается у вас, на земле, когда имя мое будет греметь даже между дикими племенами Африки и Америки, особенно ирокезцами, которых я всегда издали и платонически любил за их звучное прозвание [5].

IV

В первых беседах, напечатанных моим медиумом в № 84 «Спб. Ведомостей», вкрались ошибки. Сожалею, но не огорчаюсь, так как помню, что делать ошибки свойственно каждому. Не огорчаюсь и тем, что мой медиум вовсе исключил некоторые места из моих рассуждений. Но не скрываю от тебя, читатель, что меня сердит сделанная им глупая оговорка, будто бы те места им выпущены вследствие усмотренного в них с в о б о д о м ы с л и я!

Клевета! Свободомыслие в суждениях человека, благонамеренности которого завидовал даже сам покойный Б. М. Федоров [6].

Очевидно, заблуждение моего медиума происходит от излишней осторожности. А излишество, как тебе известно, благоразумно допускать только в одном случае — при восхвалении начальства.

В оставшемся после меня портфеле с надписью «Сборник неоконченного» (d'inachevé) есть, между прочим, небольшой набросок, озаглавленный: «О том, какое надлежит давать направление благонамеренному подчиненному, дабы стремления его подвергать критике деяния своего начальства были бы в пользу сего последнего».

Основная мысль этого наброска заключается в том, что младший склонен обсуждать поступки старшего и что результаты такого обсуждения не всегда могут быть для последнего благоприятны.

Предполагать, будто какие-либо мероприятия способны уничтожить в человеке его склонность к критике, так же нелепо, как пытаться объять необъятное. Следовательно остается одно:

Право обсуждения действий старшего ограничить предоставлением подчиненному возможности выражать свои чувства благодарственными адресами, поднесением званий почетного мирового судьи или почетного гражданина, устроением обедов, встреч, проводов и т. п. чествований.

Отсюда проистекает двоякое удобство: во-первых, начальник, ведая о таковом праве подчиненных, поощряет добровольно высказываемые ими чувства и в то же время может судить о степени благонамеренности каждого. С другой стороны, польщено и самолюбие младших, сознающих за собою право разбирать действия старшего.

Кроме этого, сочинение адресов, изощряя воображение подчиненных, не мало способствует к усовершенствованию их слога.

Я поделился этими мыслями с одним из губернаторов и впоследствии получил от него благодарность, так что, применив их в своем управлении, он вскоре сделался почетным гражданином девяти подвластных ему городов, а слог его чиновников стал образцовым. Суди сам по следующему адресу, поданному ими начальнику по случаю нового года.

«Ваше превосходительство, отец, сияющий в небесной добродетели!

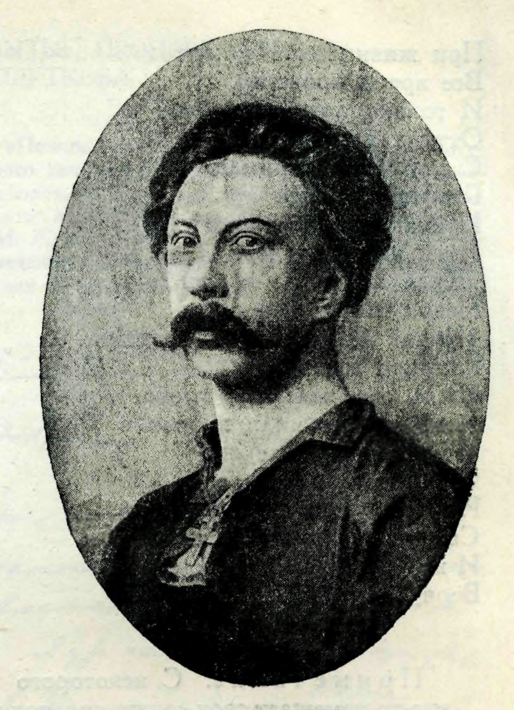
В новом годе, у всех и каждего, новые надежды и ожидания, новые затеи, предприятия, все новое. Неужели ж должны быть новые мысли и чувствования? Новый год не есть новый мир, новое время; первый не возрождался,

последнее невозвратимо. Следовательно: новый год есть только продолжение существования того же мира, новая категория жизни, новая эра воспоминаний всем важнейшим событиям!

Когда же приличнее, как не теперь, возобновить нам сладкую память о благодетеле своем, поселившемся на вечные времена в сердцах наших?

Итак, приветствуем вас, превосходительный сановник и почетный гражданин, в *этом новом летосчислении*, новым единодушным желанием нашим быть столько счастливым в полном значении этого мифа, сколько возможно человеку наслаждаться на земле в своей сфере; столько же быть любимому всеми милыми вашему сердцу, сколько мы вас любим, уважаем и чествуем!

Ваше благоденствие есть для нас милость божия, ваше спокойствие,— наша радость, ваша память о нас— высшая земная награда!



А. К. ТОЛСТОЙ
С акварели (1853 г.), хранящейся в Институте Русской Литературы

Живите же, доблестный муж, Мафусаилов век для блага потомства! Мужайтесь новыми силами патриота для блага народа. А нам остается молить сердцеведца о ниспослании вам сторицею всех этих благ со всею фамильною церковью вашею на многие лета!

Эти чистосердечные оттенки чувств посвящают вашему превосходительству благодарные подчиненные».

К сожалению, насколько мне известно, еще никто из сановников не воспользовался вполне советами, изложенными мною в вышеупомянутом наброске. А, между тем, строгое применение этих советов на практике не мало бы способствовало и к улучшению нравственности подчиненных. Следовательно, устранилась бы возможность повторения печальных происшествий, вроде описываемого мною ниже, случившегося в одном близком мне семействе.

Глафира спотыкнулась
На отчий несессер,
С испугом обернулась:
Пред нею офицер.
Глафира зрит улана,
Улан Глафиру зрит,
Вдруг — слышит — из чулана
Тень деда говорит:
«Воинственный потомок,
Храбрейший из людей,
Смелей, не будь же робок
С Глафирою моей.
Глафира! Из чулана
Приказываю я:
Люби сего улана,
Возьми его в мужья».
Схватив Глафиры руки,
Спросил ее улан:
«Чьи это, Глаша, штуки?
Кем занят сей чулан?»
Глафира от испугу
Бледнеет и дрожит
И ближе жмется к другу,
И другу говорит:
«Не помню я наверное,
Минуло сколько лет
Нас горе беспримерное
Постигло — умер дед.

При жизни он в чулане
Все время проводил
И только лишь для бани
Оттуда выходил».
С смущением внимает
Глафире офицер
И знаком приглашает
Итти на бельведер.
«Куда Глафира, лезешь?»
Незримый дед кричит.
«Куда? Кажись, ты бредишь?»
Глафира говорит:
«Ведь сам велел из гроба,
Чтоб мы вступили в брак?»
«Ну-да, зачем же оба
Стремитесь на чердак?
Идите в церковь, прежде
Свершится пусть обряд,
И в праздничной одежде
Вернувшися назад,
Быть всюду, коли любо,
Вы можете вдвоем».
Улан же молвил грубо:
«Нет, в церковь не пойдем,
Обычай басурманский
Везде теперь введен,
Меж нами брак гражданский
Быть может заключен».
Мгновенно и стремительно
Открылся весь чулан,
И в грудь толчок внушительный
Почувствовал улан.
Чуть-чуть он не свалился
По лестнице крутой
И что есть сил пустился
Стремглав бежать домой.
Сидит Глафира ночи,
Сидит Глафира дни,
Рыдает, что есть мочи,
Но в бельведер — ни-ни!

Примечание. С некоторого времени в «Петербургской Газете» кто-то помещает свои сочинения под именем К. Прутков младший [7].

Напоминаю тебе, читатель, что всех Прутковых, подвизавшихся на литературном поприще, было трое: мой дед, отец и я. Из моих же многочисленных потомков никто, к сожалению, не наследовал литературного таланта. Следовательно, я, по-настоящему, и должен бы именоваться «младшим». А потому, во избежание недоразумений, объявляю, что ничего не имею общего с автором статей, помещаемых в «Петербургской Газете»; он не только не родственник мне, но даже и не однофамилец.

К. П. Прутков

С подлинным верно. Медиум NN.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Дибич-Забалканский, Иван Иванович (1785—1831) — главнокомандующий русской армией во время турецкой кампании 1829 г., приведшей к занятию Андрианополя. Забалканский было прибавлено к фамилии Дибича «в награду» за эту кампанию.

[2] На самом деле некролог был помещен в кн. IV «Современника» за 1863 г.

[3] Леонтьев, Павел Михайлович (1822—1874) — профессор римской литературы, реакционный журналист. Ближайший сотрудник М. Н. Каткова по «Русскому Вестнику» и «Московским Ведомостям». Один из пропагандистов «классической системы образования».

[4] Большой шум и многочисленные отклики в газетной прессе 1875—1876 гг. вызвал процесс С. Т. Овсянникова, арендатора паровой мельницы, обвинявшегося в ее поджоге с корыстными целями, и процесс игуменьи Митрофании (баронессы Прасковии Григорьевны Розен), уличенной в выдаче фальшивых векселей (см. об этом подробнее А. Ф. Кони, «На жизненном пути», т. I).

[5] Здесь кончается первая половина фельетона, датированная 24 марта 1876 г. annus,i).

[6] Борис Михайлович Федоров — журналист, третьестепенный поэт и детский писатель. Служил в III Отделении. Известна эпиграмма С. А. Соболевского: «Федерова Борьки Мадригалы горьки, Эпиграммы сладки, А доносы гадки...».

[7] Под этим псевдонимом писал Д. Д. Минаев.

НЕИЗДАННЫЕ И ЗАБЫТЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОЗЬМЫ ПРУТКОВА

I

Вопреки общераспространенному мнению, «Полное собрание сочинений» Козьмы Пруткова явилось не результатом предварительного печатания отдельных стихотворений мнимого директора Пробирной Палатки, а, наоборот, журнальные публикации стали печататься вследствие невозможности осуществить задуманное издание полного собрания сочинений. В неопубликованном письме В. М. Жемчужникова к А. Н. Пыпину от 6 февраля 1883 г. сообщаются любопытные сведения о зарождении Пруткова. Упомянув о комедии «Фантазия» и о баснях «Незабудки и запятки», «Цапля и беговые дрожки»,

Выдержки из записок моего деда

(продолжение).

Читатель! прочти о сих записках в предисловии, напечатанном много в бывшие годы в „Ералаше" Современника. И теперь я печатаю только выдержки. Я уже сто раз предупреждал тебя, что материалов от деда осталось ~~много~~ бездна, но в них много неполного, неоконченного (détachées).

Твой доброжелатель

Козьма Прутков

11 Мая 1860 года [illegible]

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ КО ВТОРОЙ СЕРИИ «ВЫДЕРЖЕК ИЗ ЗАПИСОК МОЕГО ДЕДА», ПОМЕЩЕННОЕ В «ИСКРЕ» 1860 г., № 31

Почерк В. М. Жемчужникова стилизован под бюрократическую манеру воображаемого Пруткова

С подлинника, хранящегося в архиве А. М. Жемчужникова (ленинградское отделение Центрархива)

«Кондуктор и тарантул» и др., написанных Александром и Алексеем Жемчужниковыми летом 1851 г. в их орловском имении, Владимир Жемчужников продолжает: «Шутка эта повторялась и по возвращении нашем в СПБ и вскоре привела меня с братом Алексеем и гр. А. Толстым (брат Александр был в то время на службе в Оренбурге) к мысли писать от одного лица, способного во всех родах творчества. Эта мысль завлекла нас, и создался тип Козьмы Пруткова. К лету 1853 г., когда мы снова проживали в елецкой деревне, набралось уже очень достаточно таких произведений; а летом прибавилась к ним комедия «Блонды», написанная братом Александром при содействии брата Алексея и моем. Осенью, по соглашению с А. Толстым и братом моим Алексеем, я занялся окончательно редакциею всего подготовленного».

Тогда же, не позднее апреля 1854 г., был нарисован знаменитый портрет Пруткова, навлекший подозрения цензора и вызвавший запрещение опубликовать литографированные оттиски. Когда в связи с этим издание расстроилось, прутковские материалы были переданы редакции «Современника», с которой Жемчужниковы и А. Толстой были в дружеских отношениях. Специально для этих произведений был заведен особый отдел «Ералаш», в пяти тетрадях которого они были напечатаны. В конце 1854 г. в виду

отъезда Вл. Жемчужникова сперва на службу в Тобольск, а затем вместе с гр. Толстым, на театр военных действий, в Крым, печатание прутковских материалов прекратилось.

Вторичное выступление Пруткова началось с 1860 г., когда при близком участии Добролюбова в «Современнике» организовался более едкий и политически заостренный отдел «Свисток», ставивший себе уже не юмористические цели, как «Ералаш», а сознательно-сатирические. Редакционные предисловия к «Новым творениям» Пруткова, написанные, как устанавливается по рукописям, хранящимся в Институте Русской Литературы в Ленинграде (б. Пушкинский дом), Добролюбовым, давали разночинной аудитории журнала соответствующую установку для восприятия произведений автора «Желания быть испанцем». В качестве авторского предисловия к серии прутковских произведений, напечатанных в 1860 г., появилось вышеприведенное «Предуведомление», оно не вошло в собрание сочинений Пруткова, ни разу не извлекалось со страниц «Современника» и здесь переиздается впервые.

Это «Предуведомление» самого Пруткова, задевавшее реакционных публицистов Бланка и Безобразова, прославившихся яростной защитой крепостного права, придавало новой серии его произведений живой, злободневный характер.

В 1863 г. в «Современнике» был помещен «Некролог» и некоторые неизданные творения Пруткова, а затем надолго прекращено было печатание его произведений. Правда, популярность Пруткова повлекла злоупотребления его псевдонимом и вызвала ряд подделок, которые однако без особого труда поддаются определению.

Однако к безусловно прутковскому наследию должно отнести «спиритический» фельетон «С того света», затерянный в №№ 84 и 96 «Санкт-Петербургских Ведомостей» за 1876 г. и также здесь впервые переиздаваемый. Принадлежность его перу одного из «основателей» Пруткова документально подтверждена письмом Владимира Жемчужникова к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу: «Что же касается прутковского фельетона в прошлый четверг в СПБ Вед., то он написан братом моим Александром просто для шутки и заработка»[1].

Фельетон был помещен в двух номерах газеты; после опубликования первой части, в № 87 от 28 марта 1876 г., было помещено следующее письмо: «Г. Медиуму NN. Редакция «С.-Петербургских Ведомостей», напечатав в № 84 присланную вашим превосходительством беседу с покойным К. П. Прутковым, просит вас не сетовать на вкравшиеся в помянутой статье ошибки типографии, произошедшие вследствие неразборчивости вашего старческого почерка. Ошибки и пропуски могут быть по желанию вашему исправлены. Примите и проч.».

Увлечение спиритизмом в первую половину 70-х гг. было очень распространено в некоторых социальных группах на Западе и у нас, преимущественно в дворянски-бюрократических. К числу сторонников «медиумизма» присоединились русские профессора Н. П. Вагнер и А. М. Бутлеров, поместивший в «Русском Вестнике» (ноябрь 1875 г.) статью «Медиумические явления», вызвавшую оживленные отклики в печати. Фельетон в «Петербургских Ведомостях» (№ 8, 1876 г.), принадлежавший П. Д. Боборыкину, отмечает ряд противоречий в практике медиумов, например то, что бесплотный дух ощупывает под столом колени присутствующих, что брошенный под стол колокольчик не упал, а начал звонить, двигаясь в пространстве, в то время как за несколько минут до того державший этот колокольчик чувствовал прикосновение теплых детских пальчиков; наконец отмечалось, что кроме Юма, Бредифа и некоторых других иностранцев среди медиумов нет ни одного русского. Этот-то фельетон и дал повод и материал для появления «спиритического» фельетона Пруткова. Следует отметить, что помимо осмеяния модного увлечения образ Пруткова был использован для осторожной либерально-буржуазной сатиры на классицизм в деле народного образования, на бюрократическую «логику» и т. д. Вместе с тем кроме знакомого уже образа «поэта, глубокого мыслителя и государственного человека» в фельетоне создается новый образ — «генерал-майор и кавалер в отставке», ограниченный, «не гораздый в науках», чванный и удручающий своей типичностью. Этот новый образ характеризуется не только вступительной заметкой к фельетону «С того света», но и примечанием о свободомыслии и еще больше постановкой вопросов «духу» Козьмы Пруткова, их нелогичностью, бессвязностью и общим убожеством интересов вопрошавшего.

За «спиритическим» фельетоном последовал новый, заключавший «автобиографию» Пруткова и ряд неизданных афоризмов, стихотворений и других материалов. В связи с продолжавшимся злоупотреблением псевдонимом Пруткова братья Жемчужниковы неоднократно выступали в печати с письмами в редакции разных газет, опубликовывая иногда неизданные прутковские произведения.

Наконец в 1884 г. выходит первое «Полное собрание сочинений» К. Пруткова. Содержание этого сборника составляли произведения как коллективно написанные еще при жизни Ал. Толстого (ум. в 1875 г.), так и специально подготовленные братьями Жемчужниковыми для данного издания. В упомянутом выше неопубликованном письме В. М. Жемчужникова к А. Н. Пыпину перечислены те произведения, которые к тому времени (февраль 1883 г.) составляли наследие Пруткова. При сопоставлении этого

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники», т. IV, СПБ, 1912, стр. 312.

перечня с окончательным текстом «Полного собрания» устанавливается, что ряд произведений («Шея», «Катерина», «Новогреческая песнь», «Родное», «Блестки во тьме», «Перед морем житейским», «Предсмертное, с необходимым объяснением», мистерия «Сродство мировых сил» и некоторые другие) был повидимому написан для «полного» Пруткова.

Крупный успех нововышедшей книги вызвал скорое появление второго издания, отличавшегося самыми незначительными подробностями. Из писем В. М. Жемчужникова видно, что для второго издания подготовлялись дополнительные материалы. По ряду признаков можно предположить, что ко включению во второе издание предназначились так называемые «Военные афоризмы» Пруткова, опубликованные в отрывках и не совсем точно в «Русском Архиве» за 1884 г. (т. II, стр. 478—480) под названием «Церемониал погребения поручика Фаддея Кузьмина» и полностью Н. Л. Бродским в «Голосе минувшего» 1922 г. (№ 2, стр. 27—39). Почти одновременно с выходом второго издания «Полного собрания сочинений» Пруткова скончался Вл. Жемчужников, и дальнейшая работа над Прутковым прекратилась. Начиная с третьего издания, «Сочинения» Пруткова перепечатывались без изменений. Через двадцать лет появилось новое произведение Пруткова, не включенное, впрочем, в «Полное собрание сочинений».



А. К. ТОЛСТОЙ И ЕГО РЕАКЦИОННЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЗДНЕЙШИХ ЛЕТ
Слева направо: И. А. Гончаров, Каролина Павлова, А. К. Толстой, Б. М. Маркевич, С. А. Толстая (жена поэта) и В. А. Соллогуб
С фотографии (70-х гг.), хранящейся в Институте Русской Литературы

В ноябрьской книге «Вестника Европы» за 1907 г. было помещено «Посмертное произведение Козьмы Пруткова». Примечание редактора по цензурным условиям не могло полностью раскрыть причины появления «загробного» стихотворения, и приводимый там отрывок из письма А. Жемчужникова к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу вызывает у современного читателя только недоумение. Позднее это письмо было опубликовано в полном виде, благодаря чему социальная направленность «посмертного произведения» Пруткова приобрела отчетливость и ясность.

«12 октября 1907 г. Тамбов. Душевно уважаемый, дорогой Михаил Матвеевич, посылаю Вам только что написанное стихотворение... Оно д о л ж н о п о я в и т ь с я в м е с т е с о т к р ы т и е м т р е т ь е й Д у м ы. Русская неразбериха дошла до того, что кому-то пришла мысль обратиться за советом даже к Пруткову, и я, 86-летний старец, нахожу, что, хотя, без сомнения очень ограниченный, но вполне искренний член черной сотни былого времени должен отнестись к м а н и ф е с т у 17 о к т я б р я[1] именно так, как отнесся к нему вызванный спиритом почтенный К. Прутков... В стихотворении часто цитируются

[1] Слова, набранные разрядкой, и последняя фраза в примечании М. М. Стасюлевича в «Вестнике Европы» отсутствуют. Вместо «к манифесту 17 октября» поставлено в скобках «к актам нашего времени».

подлинные мысли и слова Пруткова. Так как его сочинения пользуются большою известностью, то это не пройдет незамеченным»[1].

Стихотворение это несомненно представляет интерес, как пример практики социального использования литературного образа, созданного в других общественно-политических условиях и приспособляемого к фактам и тенденциям нового времени и иной социальной среды.

Спирит мне держит речь под гробовую крышу:
«Мудрец и патриот! Пришла чреда твоя;
Наставь и помоги! Прутков! Ты слышишь?» — Слышу
Я!

Пером я ревностно служил родному краю,
Когда на свете жил... И, кажется, давно ль?
И вот, мертвец, я вновь в ее судьбах играю
Роль!

Я власти был слуга; но, страхом не смущенный,
Из тех, которые не клонят гибких спин;
И гордо я носил звезду и заслуженный
Чин.

Я, старый монархист, на новых негодую:
Скомпрометируют они — весьма боюсь —
И власть верховную, и вместе с ней святую
Русь.

Торжественный обет родил в стране надежду,
И с одобрением был встречен миром всем...
А исполнения его не видно между
Тем.

Уж черносотенцы к такой готовят сделке:
Когда на званый пир сберется сонм гостей —
Их чинно разместить и дать им по тарелке
Щей.

И роль правительства, по мне, не безопасна;
Есть что-то d'inachevé... Нет! Надо власть беречь,
Чтоб не была ее с поступком не согласна
Речь.

Я, верноподданный, так думаю об этом:
Раз властию самой надежда подана —
Пускай же просьба: — Дай! венчается ответом: —
На!

Я главное сказал; но, из любви к отчизне,
Охотно мысли те еще я передам,
Которым тщательно я следовал при жизни —
Сам.

Правитель! дни твои пусть праздно не проходят;
Хоть камушки бросай, коль есть на то досуг;
Но наблюдай: в воде какой они разводят
Круг?

Правитель! Избегай ходить по косогору:
Скользя, иль упадешь, иль стопчешь сапоги;
И в путь не выступай, коль нет в ночную пору
Зги.

Дав отдохнуть игре служебного фонтана,
За мнением страны попристальней следи;
И, чтобы жертвою не стать самообмана,—
Бди!

Напомню истину, которая поможет
Моим соотчичам в оплошность не попасть:
Что необъятное объять сама не может
Власть.

Учение мое, мне кажется, такое,
Что средь борьбы и смут иным помочь могло б...
Для всех же верное убежище покоя —
Гроб.

---

[1] «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. IV, СПБ, 1912, стр. 421.

В 1916 г. появилось 12-е неизмененное издание «Сочинений» Пруткова. После десятилетнего перерыва, в 1927 г., под редакцией Б. В. Томашевского и К. А. Халабаева вышло в Гизе «Полное собрание сочинений» Пруткова с исправлениями, дополнениями и комментарием. Сюда вошел ряд произведений Пруткова, не включенных в прошлые издания: драма «Любовь и Силин», «Проект введения единомыслия в России», несколько стихотворений, анекдоты из отдела «Исторические материалы» и «Афоризмы». Но тем не менее в этом издании не только отсутствовал ряд уже опубликованных произведений, но и в печатавшихся имелись некоторые погрешности. Так, неверно указание на то, что положенное в основу издание третье якобы вышло в 1887 г., фактически оно появилось в 1891 г. (впрочем может быть здесь имеет место опечатка), не исправлена грубая ошибка в 12-м стихе стихотворения «Предсмертное», где вместо

Уж я — погасшая лампадка
Иль опрокинутая лодка,

напечатано вопреки указанию в «Необходимом объяснении» и письму Алексея Жемчужникова («М. М. Стасюлевич и его современники», т. IV, СПБ, 1910, стр. 376) в следующем виде:

Уж я — погасшая лампадка,
Иль опрокинутая кадка.

Большим упущением в этом отношении является то, что тексты некоторых произведений, несмотря на наличие рукописных материалов, напечатаны здесь с прежних публикаций. Благодаря этому значительно теряется социальная заостренность комедии «Любовь и Силин», в свое время пощипанной цензурой. Комедия «Фантазия» напечатана с пропуском. Рукопись ее, по словам комментаторов гизовского издания Пруткова, не дошедшая до нас, на самом деле находится в Рукописном отделении Института Русской Литературы. Здесь имеется большой монолог Разорваки, до сих пор не появлявшийся в печати. К шестому явлению К. Прутковым сделано примечание: «Это явление немного сокращено противу рукописи», однако не в шестом, а в седьмом явлении находится сценка, не вошедшая в окончательный текст.

После слов Беспардонного: «Боже, если бы это было возможно» входит отсутствовавший до того момента Разорваки со следующим словами:

«Ничего нет необыкновенного. Это случилось очень, очень просто, я тут был».

Все:

Вы видели, как это случилось? Расскажите, расскажите!

Разорваки:

Слушайте! (поет)

Уж смеркалось, в гостиной старушка,
Сидевши, вязала чулок...
Под нею лежала подушка,
Собачка лежала у ног.
В подушке своей потонувши,
Она все вязала чулок,
Но вдруг, неприметно заснувши,
Из рук упустила клубок.
Скатился клубок по собачке,
Она завизжала — и вот —
Старуха, не дав ей потачки,
Ее же толкнула в живот.
Сама испугавшись в потемках
Вздрогнув закричала она.
Ей вдруг показалось впросонках,
Что лезет солдат из окна.
Дрожа перед мнимым служивым,
Велит она кликнуть людей,
И вместе пинком неучтивым
Толкает меня из дверей.
С солдатом готовясь на драку,
С людьми прихожу я назад,
Старуха кричит нам: собаку!
Собаку похитил солдат!
Собаку собаку, собаку,
Собаку похитил солдат!

НЕИЗДАННОЕ ПИСЬМО
А. К. ТОЛСТОГО К Н. М. ЛОНГИНОВУ
ОТ 7 ИЮЛЯ 1869 г.

С подлинника, хранящегося в Институте Русской Литературы

А совсем не солдат! Врет старуха! Просто сама убежала моська.

Кутило:

Я давно заметил в этой старухе склонность к жестокому обращению и неприятным приемам»:

И наконец комментаторы гизовского издания[1] не привлекли затерянные в газетах 90-х и 900-х гг. интервью с Алексеем Жемчужниковым, пролившие свет на некоторые моменты в истории создания Пруткова.

Отрывок из одного интервью нелишне привести.

В феврале 1896 г. в связи с 75-летием со дня рождения Алексея М. Жемчужникова некий Икс, пронырливый, малокультурный репортер бульварной «Петербургской Газеты», проник к юбиляру и в статье, помещенной в № 39 (от 10 февраля) обслуживаемого им органа, сообщил ряд любопытных штрихов, не утерявших значения и до сих пор. Неприятным в статье «У А. М. Жемчужникова» является ее тон, вызвавший даже протест со стороны юбиляра. Центральная часть интервью посвящена вопросу о возникновении у братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого идеи о совместном писании произведений и о причинах выбора в качестве псевдонима имени Козьмы Пруткова.

«Лицо А. М. Жемчужникова,— сообщает Икс,— просветлело — Ах, дорогой мой! Вы напоминаете мне о делах давно минувших дней, когда мы с братом были так молоды... Да, дорогой мой, невозвратное это время... Были мы тогда очень молоды, здоровы, веселы, забот у нас не было никаких, жилось нам, слава богу, хорошо, горя не было никакого. Вот мы и задумали, я и двоюродный брат мой, граф Алексей Толстой, написать вдвоем в шутливой форме пьеску под заглавием «Фантазия». Писали мы в одной комнате, на разных столах. Разделили мы пьесу на равное число сцен. Одну часть он взял себе, другую я взял себе писать. Когда мы работу окончили и соединили обе части, то оказалось, что у одного действующие лица уходят со сцены, у другого они приходят. Связи никакой... Хохотали мы над своим произведением доупаду. Тогда мы придумали середину. Вставили в пьесу грозу, бурю и пр. и дали уже другому моему брату, покойному Владимиру, дописать конец пьесы. Таким образом мы составили триумвират. Когда мы уже все написали, мы не знали, каким псевдонимом подписать эту общую нашу пьесу. Служил у нас тогда камердинер Кузьма Фролов, прекрасный старик, мы все его очень любили. Вот мы с братом Владимиром и говорим ему: «Знаешь что, Кузьма, мы написали книжку, а ты дай нам для этой книжки свое имя, как будто ты ее сочинил... А все, что мы выручим от продажи этой книжки, мы отдадим тебе». Он согласился. «Что ж, говорит, я, пожалуй, согласен, если вы так уж очинно желаете... А только, говорит, дозвольте вас, господа, спросить: книга-то умная, аль нет?» Мы все так и прыснули со смеха. «О, нет,— говорим,— книга глупая-преглупая». Смотрим, наш Кузьма нахмурился. «А коли, говорит, книга глупая, так я, говорит, не желаю, чтобы мое имя под ей было подписано. Не надо мне, говорит, и денег ваших»... А? Как вам это понравится? Когда брат Алексей (гр. А. Толстой) услышал этот ответ Кузьмы, так он чуть не умер от хохота и подарил ему 50 руб. «На, говорит, это тебе за остроумие». Ну, вот мы тогда втроем и порешили взять себе псевдоним не Кузьмы Фролова, а Кузьмы Пруткова. С тех пор мы и начали писать всякие шутки, стишки, афоризмы под одним общим псевдонимом Козьмы Пруткова. Вот вам и происхождение нашего псевдонима».

Как сказано, тон статьи показался неприятным юбиляру, и в № 7169 «Нового Времени» от 13 февраля А. Жемчужников поместил следующее письмо в редакцию:

«В № 39 «Петербургской Газеты» г. Икс описывает свою беседу со мною у меня на квартире 9 февраля. Г. Икс произвел на меня, как мой гость, очень приятное впечатление своею любезностью и добродушием; но эти качества помешали ему быть беспристрастным и, следовательно, точным репортером. Я, очевидно, успел заслужить его благорасположение, и он придал мне достоинства, которых я в себе не признаю. Я вовсе не такой словоохотливый, развязный и ласковый, каким выставляет меня г. Икс. Если бы он был точен в передаче нашей беседы, то я оказался бы, может быть, не таким привлекательным, каким представляюсь теперь, но зато его статья имела бы значение неприкрашенного рассказа о том, что г. Икс видел и слышал, когда я имел удовольствие принять его у себя. Теперь же вышло местами то, да не то, а местами и совсем не то. Не мой тон, не мои приемы в обращении, не мои обороты речи, не мною выраженные мысли, не мною переданные факты как обо мне самом, так и о брате моем Владимире и о графе А. К. Толстом».

Было бы однако неправильным заподозрить в неточности приведенную выше выдержку из беседы с А. М. Жемчужниковым. В справедливости сообщенных в ней фактов убеждает читателя второе интервью с последним из создателей Козьмы Пруткова, помещенное в № 8609 «Нового Времени» от 14 февраля 1900 г. в связи с 50-летием литературной деятельности А. М. Жемчужникова. Автор этого интервью Юрий Беляев писал следующее:

---

[1] До выхода в свет гизовского издания ряд забытых прутковских произведений был выпущен отдельным изданием под редакцией И. С. Зильберштейна (Козьма Прутков, Не всегда с точностью понимать должно, ЗИФ, 1925 г.).

«Главный почин Пруткова, первый шаг в развитии его литературной физиономии сделал наш поэт в сотрудничестве с гр. Толстым. Им пришло в голову написать с целью сатиры какую-нибудь драматическую вещь, поражавшую своей бессмыслицей и вместе с тем претендующую на внимание публики. Замысел был во вкусе тщеславных фантазий бессмертного председателя Пробирной Палатки».



В. М. ЖЕМЧУЖНИКОВ В СТАРОСТИ

С фотографии (1883 г.), хранящейся в Институте Русской Литературы

После некоторого размышления Толстой и Жемчужников придумали сюжет и начали писать. Явилась «Фантазия». Меня заинтересовал процесс написания этой пьесы и распределения творчества между двумя авторами. А. М. Жемчужников рассказал мне следующее:

«Обдумав сюжет, мы разделили всю пьесу на явления и распределили их между собой. Однако дело не обошлось без затруднений. Представьте, что во время считки два явления, из которых одно принадлежало Толстому, а другое — мне, оказались неудобными для постановки. Вы помните, конечно, в «Фантазии» «маленький антракт», когда сцена остается несколько времени пуста, набегают тучи, гроза, затем через сцену пробегает моська, буря утихает, и на сцену являются действующие лица. Антракт этот был сделан вследствие того, что у Толстого явление кончалось уходом всех действующих лиц, тогда как следующее затем мое явление начиналось появлением их снова всех вместе. Мы долго думали, как быть, и наконец придумали этот антракт. На первом представлении пьесы публика долгое время недоумевала, что это такое, и «Фантазию» немедленно сняли с репертуара».

В связи с этими материалами находится неопубликованная запись из дневника Алексея Жемчужникова (от 15 ноября 1883 г.):

«Государь Николай Павлович был на первом представлении «Фантазии», написанной Алексеем Толстым и мною. Эта пьеса шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены и на котором быть следовало. В театре были: мать Толстого и мой отец с моими братьями. Воротясь с бала и любопытствуя знать, как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика ошикала и что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу его снять ее с афиши и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с гр. Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ от Куликова был уже получен. Он был короток: «Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена вчера по Высочайшему повелению».

Публикуя «посмертные» прутковские «материалы», братья Жемчужниковы обычно прибавляли «извлечено из сафьянного портфеля с золоченой печатной надписью «сборник неоконченного (d'inachevé) № 1 или № 2». Как и все бытовые детали конструируемого литературного образа, ссылки на архив Пруткова — на его претенциозное оформление — не лишены забавности и остроумия; в особенности возбуждает улыбку самая мысль о существовании архива несуществовавшего К. Пруткова.

Между тем архив Козьмы Пруткова, как это ни странно, существует. Впрочем следует выразиться точнее. В составе архива Алексея Жемчужникова в ленинградском отделении Центрального Исторического Архива имеется дело № 93, представляющее черновые материалы по Пруткову [1]. Главная часть этого фонда состоит из списков прутковских публикаций в «Литературном Ералаше», «Свистке» и «Искре», приготовленных для обработки «Полного собрания сочинений» Пруткова. Но наряду с этим имеется большое коли-

[1] Некоторые материалы о Пруткове имеются и в других делах жемчужниковского архива.

чество черновиков произведений, вошедших в «Полное собрание сочинений», уже переработанных по сравнению с журнальными публикациями. Наименее значительный в количественном отношении раздел прутковского архива представляют разновременные черновики отдельных произведений директора Пробирной Палатки.

Наиболее старая—не целиком «прутковского» содержания—рукопись, писанная почерком Алексея Жемчужникова, представляет тетрадь с надписью: «Стихотворения, непропущеные цензурой, ненапечатанные по собственному моему усмотрению и ожидающие печати. Апрель 1855 г.» Среди помещенных в тетради стихотворений Алексея Жемчужникова находится ряд прутковских басен с некоторыми интересными подробностями. Во-первых, все басни имеют датировку; во-вторых, наличествуют кое-какие разночтения; впрочем только в заглавиях, а не в самом тексте.

Басни эти следующие:

1. Звезда и брюхо, 1854. С пометкой (с Гр. Ал. Толстым).
2. Помещик и садовник, 1855.
3. Служащий (чиновник и курица), 1855.
4. Помещик и трава, 1855.
5. Попадья и червяк (!), 1853.

При всех этих баснях есть пометка: «не отдано в печать», при четырех последних — «для Пруткова».

Далее среди черновиков имеется тетрадь без начала, открывающаяся оборванной половиной 14-й страницы, со средины стихотворения «Друзьям после женитьбы». На следующей странице идет басня «Стан и голос» с цифрой XIX, затем XIX «Мысли и афоризмы» (Плоды раздумья) в составе 75 афоризмов и т. д. Кончается рукопись «Выдержками из записок моего деда», после чего идет пометка: «Конец первой части». Не содержа никаких новых материалов и по тексту совпадая с окончательной редакцией сочинений Пруткова, настоящая тетрадь представляет интерес как одна из ранних попыток издания произведений автора «Досугов»: рукопись эта имеет цензурное разрешение надв. советника А. Ярославцева. Так как последний вышел в отставку в начале 60-х гг., то следовательно разрешенная им рукопись Пруткова восходит повидимому к 1861—1862 гг.

Особое место среди архивных прутковских материалов занимает полуобгоревшая тетрадь в лист, писанная рукою Вл. Жемчужникова и представляющая ряд афоризмов, значительная часть которых была опубликована в №№ 26 и 28 «Искры» за 1860 г., и анекдоты «Из записок моего деда» с предисловием, помещенные в №№ 31 и 32 «Искры» за тот же год. Эта рукопись содержит ряд неопубликованных афоризмов и один неопубликованный анекдот (см. о нем дальше).

Наконец среди прочих прутковских материалов имеются: а) рукопись комедии «Любовь и Силин»; б) черновики «Полного собрания сочинений» Пруткова 1884 г.; в) черновик «Посмертного произведения К. Пруткова» («Спирит мне держит речь») и некоторые письма, имеющие отношение к Пруткову.

В общем новых материалов прутковский архив содержит немного. Наиболее значительные документы следующие:

1) никогда неопубликованный анекдот из «Выдержек из записок моего деда» под названием «Видно, что и в древности не малую к писанию склонность имели и в плутовастости почасту упражнялись». Повидимому анекдот этот, представлявший обработку придворного скандала, известный из подлинных архивных материалов, был исключен либо цензурой, либо редакцией «Искры» из цензурных опасений (анекдот этот приведен выше);

2) неопубликованная редакция «Проекта о введении единомыслия в России», подготовленная, но не включенная в «Полное собрание сочинений» 1884 г. (приведена выше);

3) первый вариант предисловия к «Фантазии»;

4) первая редакция предисловия «от издателей» при «Полном собрании сочинений»;

5) исключенные строфы «Желания быть испанцем»;

6) первая редакция «Шеи»;

7) пятнадцать афоризмов (приведены выше).

Вот текст исключенных трех строф из «Желания быть испанцем»; они написаны карандашом рукой В. Жемчужникова и предшествуют последнему куплету стихотворения:

Дайте мне конфетки,
Хересу, малаги,
Персик, амулетки,
Кисточку для шпаги.
Дайте опахало,
Брошку иль вуаль...

Если же хоть мало
Этого вам жаль,
К вам я свой печальный
Обращаю лик:
Дайте нацьональный
Мне хоть воротник....

Вот текст первой редакции «Шеи»; оригинал писан рукой В. Жемчужникова:

Шея девы — наслажденье.
Шея — снег, змея, кристалл,
Шея — радость, удивленье,
Шея — моря пенный вал.
Шея — лебедь; шея — пава,

Шея — тонкий волосок,
Шея — прелесть, гордость, слава;
Шея — мрамора кусок...
Кто тебя, драгая шея,
Мощной дланью обоймет?

Кто тебя, дыханьем грея,
Поцелуем пропечет?
Кто тебя, крутая выя,
Станет холить и беречь,
В дни июня огневые
Будет с зоркостью беречь:
Чтоб от солнца, в зной палящий,
Не покрыл тебя загар;
Чтобы кожицы блестящей
Не пронзил злодей комар;
Чтоб от летней едкой пыли
Ты не сделалась черна;
Чтоб тебя не иссушили
Грусть и ветры, и весна.
Я тебя держал бы в холе
И берег бы, охранял;
Я б тебя, гуляя в поле,
Дымкой нежной прикрывал.
Я б врагов твоих, с раченьем,
Дланью собственной давил;
А тебя бы с восхищеньем
Все ласкал бы и любил.

Однако несмотря на сравнительную скудость прутковского архива в отношении неопубликованных материалов, он имеет в известном смысле исключительное значение. Именно на экземплярах произведений Пруткова, переписанных из журналов, в подавляющем большинстве случаев находятся пометки, принадлежащие, судя по почерку, В. М. Жемчужникову и устанавливающие авторов каждого отдельного творения Пруткова.

Наследие Пруткова распадается таким образом и почти без остатка на произведения отдельных авторов. Следует впрочем отметить: среди прутковских вещей есть несколько, представляющих результат подлинного коллективного творчества, но за всем тем остается совершенно ясным то, что каждым из участников вносилось в образ Пруткова нечто свое, нечто своеобразное и характерное. Для установления особенностей трактовки Пруткова каждым из участников необходимо ознакомиться с тем, что было написано отдельными «опекунами» Пруткова. Пометки В. М. Жемчужникова вместе с другими материалами (его письмо к А. Н. Пыпину от 6/18 февраля 1883 г., указания в «Биографических сведениях о К. Пруткове», примечания П. В. Быкова к сочинениям А. К. Толстого) дают возможность почти полностью распределить наследие Пруткова между его создателями. Таким образом принадлежит:

А. К. Толстому

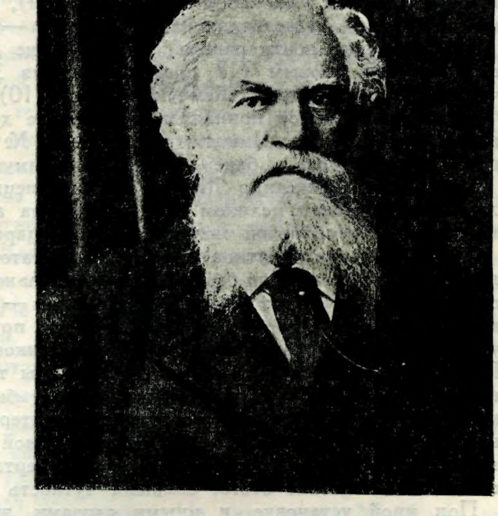
1. К моему портрету.
2. Из Гейне («Вянет лист...»).
3. Эпиграмма № 1.
4. Память прошлого.
5. Пластический грек.
6. Философ в бане.
7. Простуда.
8. ** («Я встал однажды рано утром»).

Алексею М. Жемчужникову:

1. Помещик и садовник.
2. Стан и голос.
3. Помещик и трава.
4. Чиновник и курица.
5. В альбом («Желанья вашего...»).
6. Древней греческой старухе.
7. Сродство мировых сил (Мистерия).
8. Посмертное произведение Пруткова.

Владимиру М. Жемчужникову:

1. Поездка в Кронштадт.
2. Возвращение из Кронштадта.
3. Мое вдохновение.
4. Разочарование.
5. Аквилон.
6. Желание поэта.
7. Урок внучатам.
8. ** (Романс) («На мягкой кровати...»).
9. Безвыходное положение.
10. В альбом красивой чужестранке.
11. Опрометчивость («Раз архитектор...»).
12. Шея.
13. Катерина.
14. Баллада («Барон фон Гривальдус»).
15. Осень (с персидского Из Ибн-Фета).
16. Родное.
17. Блестки во тьме.
18. Перед морем житейским.
19. Предсмертное.
20. Эпиграмма № 2.
21. К толпе.
22. Эпиграмма № 3.
23. Пятки некстати.
24. Предисловие к «Досугам».
25. От известного К. Пруткова к неизвестному фельетонисту.
26. Проект о введении единомыслия в России.



АЛЕКСАНДР ЖЕМЧУЖНИКОВ В СТАРОСТИ
С фотографии (90-х гг.), хранящейся в Институте Русской Литературы

Александру Жемчужникову:

1. Незабудки и запятки.
2. Азбука для детей К. Пруткова.
3. Выдержки из дневника.
4. С того света (фельетон).
5. Некоторые материалы для биографии К. П. Пруткова.

Алексею Толстому и Алексею Жемчужникову:

1. Фантазия. Комедия.
2. Осада Памбы.
3. Из Гейне № 2 («Франц Вагнер...»).
4. Звезда и брюхо.
5. Желание быть испанцем.

Алексею, Александру и Владимиру Жемчужниковым:

1. На взморье.
2. Кондуктор и тарантул.
3. Цапля и беговые дрожки.
4. Червяк и попадья.
5. Честолюбие.
6. Блонды.
7. Любовь и Силин.

Таким образом не установлено авторство басни «Пастух, молоко и читатель», «Новогреческой песни», «Путника», «Моего сна», «Сестру задев случайно шпорой», «Плодов раздумья», «Выдержек из записок моего деда» и «Спора греческих философов».

Можно надеяться, что дальнейшие находки в архиве Жемчужниковых (в Ленинграде имеется лишь незначительная часть его; так, переписки между Алексеем, Владимиром и Александром Жемчужниковыми в ЛОЦИА не сохранилось) помогут разобраться и в этих нерешенных пунктах. Пока же остается открытым вопрос не только о том, кем из толстовско-жемчужниковского кружка была написана та или иная из вещей, авторство которых не определено, но и о том, не принимали ли участия в составлении их и другие лица. В частности остаются в силе сомнения, вызванные в свое время словами писателя-юмориста П. В. Шумахера: «Братья Жемчужниковы нечестно поступили, умолчав об Александре Аммосове, который более Алексея Толстого участвовал в их кружке: «Запятки» (т. е. «Незабудки и запятки») и «Пастух и молоко» — не их, а Аммосова. Это знают многие, а будь жив граф Алексей, он, как человек честный, правдивый не допустил бы этой передержки» («Исторический Вестник» 1910 г. № 2, стр. 525—526).

Александр Николаевич Аммосов (1823—1866) — сын генерала Аммосова, изобретателя «аммосовских» печей, был в самом конце 50-х и начале 60-х гг. поэтом-юмористом, писал под псевдонимом «Последователь Козьмы Пруткова» и под инициалами «А. А.» Из последнего разряда произведений Аммосова особенной известностью пользовалась серенада «Город спит в дали туманной», помещенная в «Современнике» 1859, № X, «Свисток», тетрадь 3-я, стр. 539, непосредственно перед прутковской баснью «Пастух, молоко и читатель»; им же выпущена брошюра о дуэли Пушкина.

Уже сейчас можно определить характер деятельности в создании Пруткова каждого из участников кружка. Учет одного только количественного момента в прутковской продукции показывает, что центральной фигурой среди творцов Пруткова был Вл. М. Жемчужников. Из 59 произведений, авторы которых установлены, Владимир Жемчужников был либо полным творцом, либо соучастником в составлении 30 вещей. Вклад его в Пруткова двоякого рода: с одной стороны, имеется большое количество пародий (19 из всех 26 его произведений), с другой — «официальный» К. Прутков, автор «Писем», «Предисловий», «Проектов» — создание именно Вл. Жемчужникова.

Количественно почти равные, но далеко не равноценные вклады сделаны были Алексеем Жемчужниковым (17 произведений из 39), Алексеем Толстым (14 из того же числа) и Александром Жемчужниковым (10).

Алексею Толстому принадлежат наиболее художественные вещи Пруткова: «К моему портрету», «Юнкер Шмидт», «Эпиграмма № 1» («Вы любите ли сыр?..»), «Древнегреческий философ в бане», имеющие преимущественно пародический характер.

Алексей и Александр Жемчужниковы специализировались главным образом в области басен, почти целиком построенных на алогической игре, типичной для аполитичной высшей дворянской молодежи конца царствования Николая I.

Таким образом Прутков явился результатом сложной работы, ведшейся в двух направлениях: алогически-бесцельном, социально-ограниченном, с одной стороны, и заостренно-пародическом, социально-активном — с другой. Это разнообразие оттенков, действовавших в пределах одной и той же прутковской линии, признавалось и самими участниками Пруткова. Так, А. Жемчужников писал брату: «Достопочтенный Козьма Прутков — это ты, Толстой и я. Все мы тогда были молоды, и настроение кружка, при котором возникли творения Пруткова, было веселое, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и явлениям современной жизни. Хотя каждый из нас имел свой особый политический характер, но всех нас соединила плотно одна общая нам черта: полное отсутствие «казенности» в нас самих и, вследствие этого, большая чуткость ко всему «казенному».

При иной установке и иными словами это значило то же, к чему приводит и изучение материала: разнообразие тенденций при одной линии. Это создавало возможность различных интерпретаций и форм социального использования Пруткова.

П. Берков.

Л. Н. ТРЕФОЛЕВ
НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ И АВТОБИОГРАФИЯ

Предисловие и примечания А. Ефремина

О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ Л. Н. ТРЕФОЛЕВА

Литературное наследие поэтов революционной демократии в России 60-х, 70-х и первой половины 80-х годов должно подвергнуться переоценке в свете ленинского учения. Вновь открытые в архивах и в забытой старине произведения дают нам новый облик поэтов — идеологов и защитников «американского» пути развития.

Буржуазно-либеральная традиция (о реакционно-дворянской и говорить нечего) в течение десятилетий затирала и оттесняла поэтов крестьянской революции, противопоставляя им струю реакционной поэтической «музы», рядившейся в одежды «чистого искусства». А. Фет, Ф. Тютчев, К. Случевский почитались единственными мастерами. Они задавали тон. У них рекомендовалось учиться. Декаденты извлекли из архивной пыли поэта 30-х годов В. Г. Бенедиктова, которого гениальный Белинский иначе не звал, как пошляком, но который увлек декадентов пустым и внешним блеском. Буржуазно-дворянская традиция принимала все и всяческие меры, чтобы набросить тень забвения на поэтов крестьянской революции, и традиция эта не раз торжествовала победу. Даже Г. В. Плеханов, несвободный от буржуазных влияний, начинает свою статью о Н. А. Некрасове с признания его антиэстетических погрешностей.

Давно пора решительно и навсегда разделаться с влиянием дворянско-буржуазных традиций в литературе. Пора понять, что Некрасов достиг вершинных позиций на поэтическом поприще. И не только Некрасов: вся плеяда поэтов крестьянской революции составляет гигантской значимости историческое явление. «Дубинушка» и «Песня о камаринском мужике» Л. Трефолева получили горячее признание миллионных масс трудящихся. Стихотворные пародии и фельетоны В. Курочкина пользовались беспримерным успехом в революционных и радикальных кругах шестидесятников и семидесятников. «Царь Ахреян» А. П. Барыковой часто переиздавался за границей, и т. д.

Л. Н. Трефолев принадлежит к числу тех поэтов, наследие коих достойно серьезного изучения. Трефолев писал в течение полувека и опубликовал свыше трехсот стихотворений. Но многие из его произведений не могли быть напечатаны по цензурным условиям. К запретным пьесам Трефолева относятся (тематически) стихи, направленные против царей и царского дома, против Христа и попов, против всесильных временщиков (К. П. Победоносцев, М. Н. Катков и др.), против цензуры и т. п. Сюда же относятся произведения, тему которых составляет конституция: о ней нельзя было даже и заикнуться в легальной печати. Не мало стрел пускал Трефолев против охранительной прессы (кн. В. П. Мещерский, ред.-изд. «Гражданина»), против обскурантов из представителей «науки» (П. П. Цитович и др.) и т. п. Трефолев воевал против либералов. Он принадлежал к радикальному крылу поэтов, сражавшихся с представителями российского либерализма, хотя и сам не всегда был свободен от либерального культурничества. В его творчестве были сильны и объективно-реакционные тенденции позднего народничества (о колебаниях Трефолева см. предисловие к собранию стихотворений Л. Н. Трефолева, ГИХЛ, 1931, см. также «На лит. посту» № 23—24 за 1930 г.; статьи принадлежат автору этих строк). Вместе с тем в его творчестве дает себя знать и струя пролетарских мотивов.

Л. Н. Трефолев отстаивал гражданскую поэзию против поэзии безыдейной, снобистской. Он постоянно, в течение долгих лет боролся против поэтов — представителей «чистого эстетизма». Он стоял на-страже позиций социально-действенного творчества. Остроумная миниатюра «Балагур и Тимур» аллегорически повествует о том, как терроризованный и купленный тираном «свободный» поэт отрекся от гражданских мотивов и из глашатая общественных интересов обратился в «чистого эстета» и «стал воспевать... невинных дев и обольстительную розу». На черновике стихотворения «Балагур и Тимур» мы нашли заголовок совершенно откровенный: вместо названного — значилось: «Почему они поют о девах и розах?»

Кто это о н и?

О н и — это А. Фет, Л. Мей, К. Случевский, К. Павлова, Н. Щербина, А. Голенищев-Кутузов и др. Трефолев издевается над поэтами, лакействующими перед реакцией («Не может быть!»); он поет гимн политической поэзии, нераздельно связанной с классовой борьбой («Три поэта»); в зашифрованном произведении «Песня рабочих» Трефолев шлет пламенный привет парижским коммунарам, и т. д. В упомянутой книге стихов Трефолева опубликован ряд стихотворений, посвященных борьбе против «эстетов» и безыдейных рифмачей.

Трефолев жил и писал в десятилетия самого жестокого цензурного гнета. Десятки его стихотворений и статей возвращались к нему с грифом цензурного запрета. Их можно видеть и сейчас: они хранятся в архиве с гневной надписью рукой поэта: «Не разрешено цензурой-дурой». Но было не мало и таких стихотворений, которых и не мыслил поэт посылать в редакцию журналов. Трефолеву, который не выходил из состояния поднадзорного; Трефолеву, которому даже было запрещено публичное чтение своего стихотворения в ярославском артистическом кружке в 1896 г. в память 50-летия появления в свет «Бедных людей» Ф. М. Достоевского [1]; Трефолеву, за которым зорко следили власти,— надо было соблюдать сугубую осторожность. А между тем он писал антирелигиозные поэмы («Живой мертвец» [2] и «Семь глав об одной поповой шапке» [3]), противоправительственные сатиры, эпиграммы на царей и пр.

Вот почему литературная продукция, опубликованная при жизни поэта, в том числе и отдельно изданный сборник «Стихотворения Л. Н. Трефолева» (Москва, 1894 г., стр. 416. Ц. 2 руб.) дают нам извращенное представление о его творчестве, изуродованном царской цензурой. Л. Н. Трефолева, как и всякого прогрессивного писателя царских времен, нельзя и недостаточно изучать лишь по напечатанным в под-

---

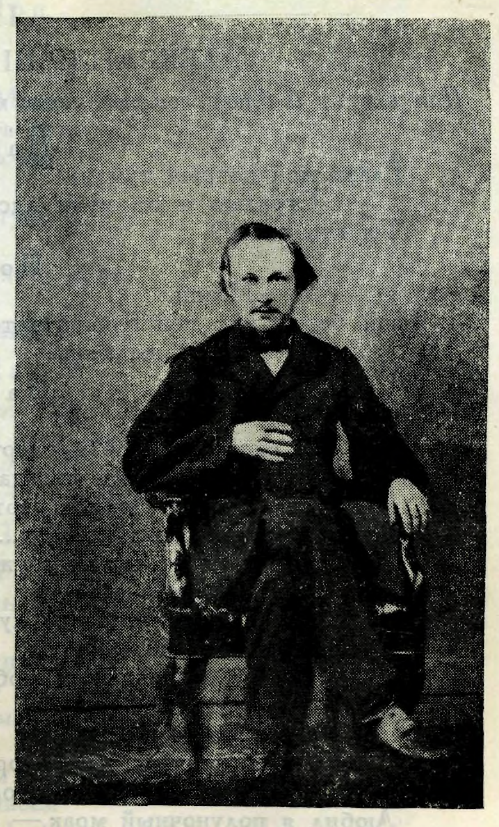
[1] См. об этом любопытном анекдотическом инциденте «Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского», «Издательство писателей в Ленинграде», 1930 г. стр. 315 и сл. Там же приведен еще более курьезный факт о том, при каких обстоятельствах произошло увольнение Л. Н. Трефолева от должности: он был уволен в 1870 г. за то, что, разговаривая с ярославским вицегубернатором, имел неосторожность вложить руку в карман брюк. «Прошу вас как следует стоять перед начальством, извольте, сударь, вынуть руку из кармана» — разразился вицегубернатор... Разумеется, это был лишь повод для придирки: причины лежали в ином.

[2] Поэма «Живой мертвец» в черновике первоначально озаглавлена «Христос». Нечего было и думать печатать подобную поэму с таким заголовком. Тогда автор стал всячески приспосабливать поэму для печати и придумал ей название «Живой мертвец»; относится она к 1858 г. Христос здесь представлен в образе казненного чиника, в вицмундире и с орденом на шее; однако и в этом виде напечатать ее Трефолеву не удалось.

[3] Поэма «Семь глав об одной поповой шапке» была напечатана впервые десять лет спустя после смерти Л. Трефолева, в 1915 г. в «Будильнике» № 52. Появилась она с подзаголовком: «Ненапечатанная поэма Трефолева». Эта противопоповская поэма была известна издавна. Она ходила в рукописных списках и приписывалась авторству то А. Жемчужникова, то А. Толстого и др. В редакцию «Будильника» стихотворение попало через третьи руки, а получено оно было от Сологуба (художника). При этом надо иметь в виду, что «Будильник» напечатал поэму не полностью: редакция выпустила из текста по цензурным причинам свыше 500 строк. Они имеются в нашем распоряжении. Однако поэма все же не включена в «Собрание стихотворений» 1931 г., и вот почему: у нас нет полной уверенности в том, что поэма действительно принадлежит Л. Н. Трефолеву. В архиве поэта н и к а к и х с л е д о в означенной поэмы не найдено.

цензурных условиях текстам. Они дают однобокий портрет. Поэт терпел беспрестанное ущемление цензурных тисков, протест его загонялся далеко внутрь и воплощался в подспудные художественные строки.

Трефолевское подпольное творчество, его песни, памфлеты и эпиграммы, изготовляемые в провинциальной глуши, не получили того широкого (относительно) распространения, какого достигла запретная лира столичных поэтов и известных революционеров. Его стихи не попали — насколько нам известно — в сборники запретных стихов, издаваемых за границей. Но все же, очевидно, у Трефолева был свой читатель: далекий провинциал глухих углов ярославского края. Сюда, в дремучее Пошехонье, вносил свой голос протеста поэт-демократ. Власти чуяли, что автор «Камаринского» и «Дубинушки» не так уж невинен, как он старается казаться. И власти не ошибались в нем. В секретных ящиках письменного стола Трефолева накапливались в течение десятилетий боевые гимны, жгучие эпиграммы, уничижительные памфлеты против столпов режима и против самого режима. Лишь пролетарская революция дала возможность опубликовать эти сокровенные помыслы поэта и тем самым обнаружить истинный облик Л. Н. Трефолева, сокрытый в течение полустолетия от взора широких трудящихся масс. В вышедшем недавно под редакцией пишущего эти строки новом «Собрании стихотворений» поэта (ГИХЛ, 1931) помимо произведений, помещенных в сборнике 1894 г., и произведений, печатавшихся в повременной прессе, но не вошедших в сборник, дано много стихотворений, никогда ранее не появлявшихся в печати. Они были извлечены из архива писателя. Здесь мы помещаем еще 9 неопубликованных стихотворений Трефолева. Одни из них направлены против царей (Александра II, Александра III, Николая II), другие имеют мишенью Иоанна Кронштадтского, К. П. Победоносцева, «великого князя» Сергея Александровича, попов, земских начальников, либералов и либерализм, наконец «чистого поэта» К. Случевского. Мы помещаем также в качестве дополнения автобиографию Л. Н. Трефолева, написанную им в третьем лице. Последняя строка автобиографии — о смерти Л. Н. Трефолева — написана дочерью поэта. Автобиография, так же как и стихи, появляется в печати впервые.



Л. Н. ТРЕФОЛЕВ
С фотографии (1867 г.), хранящейся в семейном архиве поэта в Ярославле

Приведенные ниже произведения Л. Н. Трефолева не везде одинаково хорошо завершены художественно. Некоторые даже не имеют конца («Александр III и поп Иван», «В себе не вижу духа злого»). Другие не совсем отделаны («Конституция»). Да это и естественно, поскольку стихи не имели ни малейшей надежды увидеть свет. Но зато именно подспудные строки дают вполне ощутимый, истинный облик поэта.

А. Ефремин

I

АЛЕКСАНДР III И ПОП ИВАН

Поп входит и благословляет царя, который целует у него руку

Царь

Глаза мои покрыл туман;
Страдаю я от муки адской...
Ты кто такой?

Поп

Я — Иоанн.
Твой богомолец, поп Кронштадтский[1].
Раскаяться желаешь?..

Царь

Да...
Я опасаюсь скорой смерти...
Ведь и с царями иногда
Невежливы бывают черти.
Боюсь, что в «жупел» попаду...
Спаси меня от чорта, друже!
Я не хочу сидеть в аду:
Он Гатчины гораздо хуже...
О, Гатчина, мой милый кров,
Приют спокойный и любезный!
Там без немецких докторов,
Владея силою железной,
Я был, как толстый бык, здоров,
Там под «особенной охраной»[2]
Любил я полуночный мрак,—
От света пятился, как рак,
И озарялся лишь... Дианой.

Поп

Луною, сиречь?

Царь

Точно так...
Я мифологии когда-то
Учился тоже, но потом
Все позабыл...

Поп

Умно и свято
Ты поступил...

Царь

Себя с кротом
Любил я сравнивать бывало...
Крот ненавидит светлый день,
Ему в норе приятна тень,
Ему до солнца дела мало!
Пускай на небесах оно
Горит и пышет, землю грея:
Кроту забавно и смешно...

[1] Иоанн Кронштадтский — кронштадтский поп Иван Сергиев, мракобес, лютый реакционер, черносотенец, член «Союза русского народа». Эксплоатируя народную темноту, проходимцы в рясах и мундирах распускали слухи о чудесах, якобы творимых упомянутым попом.

[2] Намек на «Положение о чрезвычайной охране», введенной при Александре III.

Поп

Замечу на сие одно
Тебе по долгу иерея:
Ты судишь здраво... Мы — попы,—
Псалтырь и святцы взявши в руки,
Давно решили: для толпы
И для царей — зачем науки? [1]
Тебе — царю, как пастуху,
Чтобы пасти народов стадо,
В руках иметь лишь плети надо,
А не науку — чепуху!
Она зловредна. Верь мне, чадо!

Царь

Да, правда: в оны дни, попович,
Профессер Константин Петрович
Премудро наставлял меня,
Что «ночь» гораздо лучше «дня»...

Поп

Сие похвально! Крестоносцев
Храбрей сей хитроумный муж:
Заботясь о спасеньи душ,
Воюет наш Победоносцев, [2]
Со «штундой» борется умно
В союзе с праведным монархом;
Его попы зовут давно
Святым «гражданским патриархом».
С Победоносцевым вдвоем
Ты воевал, как божий воин!
Ты рая светлого достоин,
И о бессмертии твоем
Молебен живо мы споем...

Царь

Нет, не поможет твой молебен!

Поп

Отчаянье — есть смертный грех.
Верь мне, властитель полумира,
Еще крепка твоя парфира...

Царь

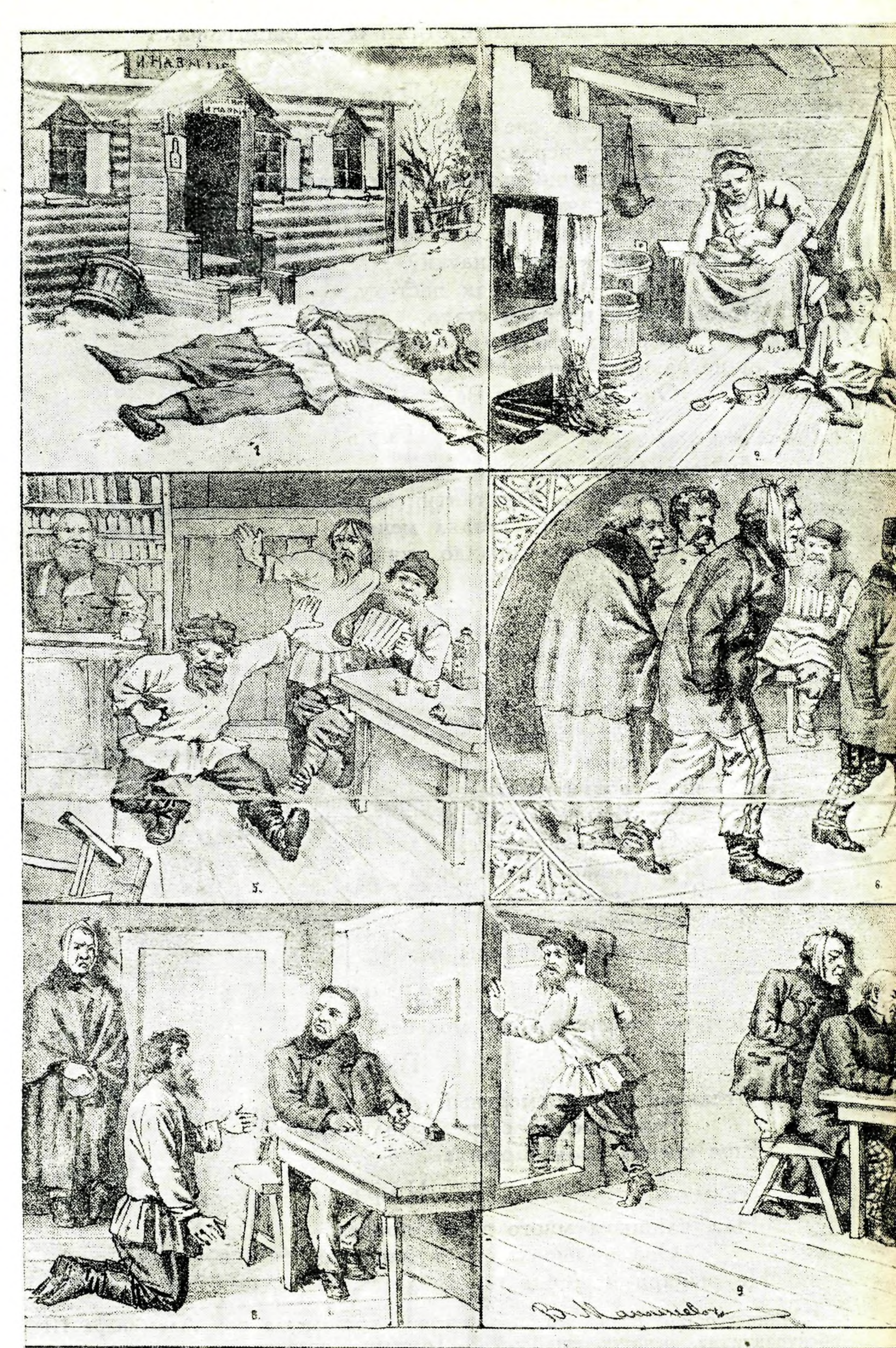
Нет, слишком много в ней прорех.
Она в дырах, она в заплатах,
Не рыцарь я в блестящих латах... [3]

---

[1] Министерство народного просвещения продолжало при Александре III политику обскурантизма, начатую еще гр. Д. Толстым, подчинивши низшую школу церкви, омертвив среднюю школу схоластикой, введя казарменную дисциплину и систему организованного шпионажа в высшей школе, и т. п. Сам Александр III был совершенно малограмотным тупым человеком, боявшимся просвещения. На докладе тобольского губернатора, жаловавшегося на малое распространение грамотности среди населения губернии, написал: «И слава богу!»

[2] К. Победоносцев — один из вдохновителей крепостнической реакции в 80-е и 90-е гг. и в начале нынешнего века. Имел огромное влияние на Александра III, которого в молодости обучал наукам, был ярым приверженцем казенной церкви и свирепо преследовал сектантов, униатов и др.

[3] Стихотворение не закончено.



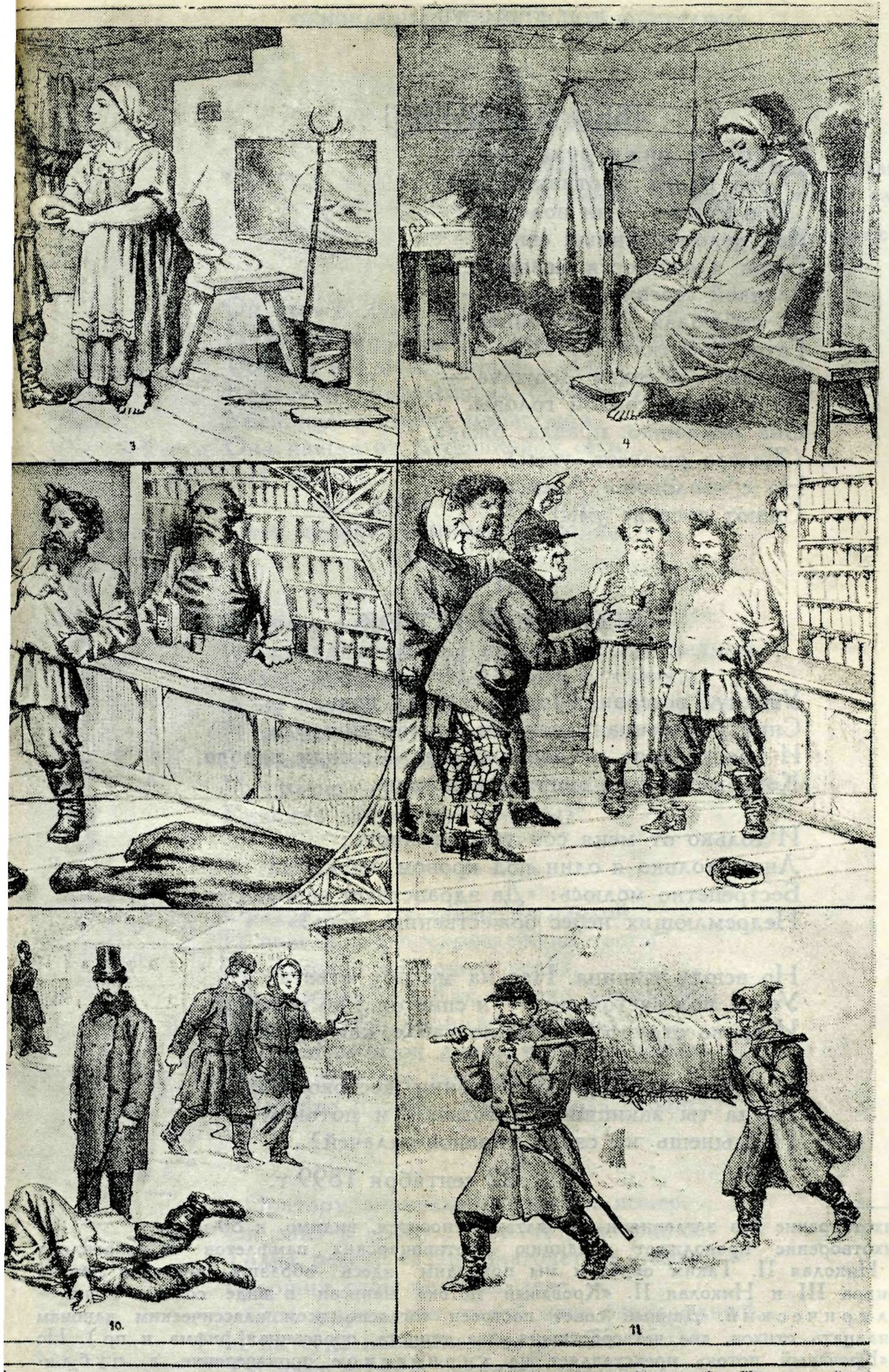
...щено Цензурою 12 Іюля 1878 г. Печ.

К А М А Р И Н С

1). Какъ на улицѣ Варваринской спитъ Касьянъ мужикъ Камаринской борода его всклокочена и дешевкою подмочена. с
девять дней бываетъ въ Февралѣ, въ день послѣдній спятъ Касьяны на землѣ. Въ этотъ день зеленое вино для нихъ ужъ особенн
ихъ родимыхъ дѣточекъ, близнецовъ двухъ малолѣточекъ.. 3). Заломивши лихо шапку на бекрень онъ отправился къ кумѣ своей
ною съ непонятною кручиною, дремлетъ спитъ жена Касьянова вспоминая мужа пьянаго— Пресвятая Богородица! Гдѣ злодѣй мой
вые сапоги. И руками и плечами шевелитъ а гармоника пилитъ, пилитъ пилитъ. 6). Продолжается видѣніе, вотъ приходятъ въ заве
четъ домъ, говорятъ Касьянъ скатившись за бока: а послушай ты, у меня звенятъ за пазухой гроши. награжу тебя плаши. плаши
смутный сонъ вотъ явился листъ бумаги; передъ нимъ Касьянъ въ испугѣ бьетъ челомъ, а обиженный куражится. кричитъ и прон
ко спитъ Касьянова жена видитъ баба въ вѣщій сонъ погружена, что мужикъ ея хоть пьянъ да не дуракъ. къ двери пятится с
цѣ Варваринской спитъ мертвецъ—мужикъ камаринской и идя изъ храма Божія, ухмыляются прохожіе но нашелся наконецъ—изъ
сточкой его, да уже онъ совсѣмъ того, того. 11). На носилки погребальные положили именинника.

ЛУБОЧНОЕ ИЗДАНИЕ (1878 г) «ПЕСНИ О КАМАРИНСК

Характерно, что издатель-лубочник изменил заго



на Никольской улицѣ въ Домѣ Шереметева въ Москв

Й МУЖИКЪ.

ия покрываютъ щеки пралыя. Ахъ ты милый другъ, голубчикъ мой Касьянъ, ты сегодня именинникъ значитъ пьянъ двадцать-
ала двадцать девятаго, цѣлый штофъ вина проклятаго влилъ Касьянъ въ утробу грѣшную, позабывъ жену сердечную и сво-
калачики пекла, баба добрая пригожа и бѣла испекла ему калачикъ горячо, и уважила еще, еще, 4). Въ это время залучи
снится, что въ веселомъ кабакѣ мужъ ся несется въ трепакѣ, то привскочетъ то согнется въ три дуги истопталъ свои сназ-
бразные, красноносые алтынники всѣ Касьяны именинники. Пуще прежняго разносится содомъ, такъ и кажется валиться хо-
оношеніе. на тебя подамъ прошеніе, накладу еще въ потылицу, цѣловальникъ дай чернилицу!. 8). Продолжается все тотъ же
строчитъ. Просятъ имя и фамилія... надо мной чинилъ насилія и притомъ дѣло свершивъ подлежитъ сіе подаянію. 9). Крѣп-
мѣчекный врагомъ и потомъ летитъ бѣгомъ бѣгомъ. 10). Снова грезы небо хмурится. вся покрыта снѣгомъ улица.. а на ули
н должно быть господинъ. на Касьяна сердобольно посмотрѣлъ чинъ налопался до чертиковъ встрѣлъ и потикалъ даже тре-

Л. Н. ТРЕФОЛЕВА С ИЗУРОДОВАННЫМ ТЕКСТОМ
нужным воспроизвести имя Л. Н. Трефолева

II

[БЕЗ ЗАГЛАВИЯ]

В себе не вижу духа злого[1]
(Хотя царит противный дух)...
...Я о России — ни полслова!
Как целомудренный евнух,
Готов я соблюсти невинность
Великой северной страны —
И, соблюдая «благочинность»,
Готов воскликнуть: «Кто на ны?»
Россия — крепкая держава —
Не склонит гордой головы.
Она немножко, правда, ржава,
(Железо ржавеет, увы!)
Но с «головою» Александра
Сияют русские умы!

III

КРОВАВЫЙ ПОТОК

(Сонет)

Утихнул ветерок. Молчит глухая ночь.
Спит утомленная дневным трудом природа,
И крепко спят в гробах борцы — вожди народа,
Которые ему не могут уж помочь.

И только от меня сон убегает прочь;
Лишь только я один под кровом небосвода
Бестрепетно молюсь: «Да здравствует свобода —
Недремлющих небес божественная дочь!»

Но всюду тишина. Нет на мольбу ответа.
Уснул под гнетом мир — и спит он... до рассвета,
И кровь струится в нем по капле, как ручей...

О кровь народная! В волнении жестоком
Когда ты закипишь свободно — и потоком
Нахлынешь на своих тиранов-палачей?..[2]

22 сентября 1899 г.

---

[1] Стихотворение без заглавия и без даты. Относится, видимо, к 80-м гг.

[2] Стихотворение продолжает традицию противоцарских памфлетов и направлено против Николая II. Таким образом мы приводим здесь образцы инвектив против Александра III и Николая II. «Кровавый поток» написан в виде сонета. Сонет — жанр лирический. Данный сонет построен согласно всем классическим канонам (четырнадцать стихов, два четверостишия, два терцета, опоясанная рифма и пр.). Но сонет «Кровавый поток» представляет не лирическое произведение, а публицистическое. Трефолев остается на протяжении всего творчества верен себе. Он «снижает» старые поэтические каноны, перевооружает поэтику, сообщает традиционным формам новую классовую сущность и тем поднимает их значение. Сообразно со своей идейной направленностью Трефолев заряжал стиховой ритм публицистическим содержанием, идя по руслу некрасовской стилистической революции. Приемы снижения пушкинского стиха мы встречаем в поэме «Красные руки». Лермонтовская строфа подвергается той же участи в стихотворном рассказе «Солдатский клад». В драматической сцене «Как волка ни корми» мы обнаруживаем нарочитые прозаизмы и вульгаризмы и т. д. Подобных примеров — множество (см. в предисловии и в комментариях, напечатанных в «Собрании стихотворений» поэта, ГИХЛ, 1931 г.).

IV

ДУША-ЧЕЛОВЕК [1]

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не делал в жизни зла...

Некрасов

1

Он был в душе прекрасен... если ночь,
Ночь темную, назвать прекрасной можно.
(Он на нее похож был)... Даже дочь-
Красавицу преследовал безбожно.
Убежище в стенах монастыря
Она нашла от батюшкиной сети...
...И умерла...
«О, дети! Наши дети!»
Отец стонал, поминки сотворя.

2

Он был добряк: менял на пятачки
По праздникам для нищих рублик медный.
Толпа пред ним рвала себя в клочки,
А он вздыхал: «Как добр народ наш бедный!»
И жарко он молился... (если вы
Считаете молитвою простою
И чистою — пред девой пресвятою
Кивание злодейской головы).

3

Оратор был он также не плохой
И возглашал прекраснейшие тосты
За жирною янтарною ухой:
«Брат-мужичок! Как высоко возрос ты!
Пью за тебя, кормилец и герой!»
...А про себя он думал в то же время:
«Проклятое все хамовское племя
С охотою прогнал бы я сквозь строй!»

4

...Оратору смертельный вышал номер.
Он спит в гробу... Звонят в колокола.
Толпа ревет: «Наш благодетель помер,
Свершив свои великие дела.
...Спи, мирно спи, герой наш благородный,
И на суде последнем не робей!
Ты чист и свят, невинней голубей!»
И к небесам несется глас народный:
«Он нищету любил и в год голодный
Пожертвовал... два пуда отрубей!»

23 июня 1891 г.

---

[1] Стихотворение «Душа-человек» представляет собой сатиру против либералов, щедрых на «свободолюбивые» слова и пышные разглагольствования. Сатира стоит в одном плане с последующим стихотворением «Конституция».

V

КОНСТИТУЦИЯ

«И в Стамбуле конституция![1]
Сидор Карпыч мне сказал,—
А у нас лишь — проституция!»
И на деву показал.

«И в Стамбуле бредят левою, —
Сидор Карпыч продолжал —
А у нас...» и вслед за девою,
Улыбаясь, побежал.

«Доложу без лицемерия:
Эта девушка мила,
Как респуб...» Вдруг жандармерия
К либералу подошла.

«Ваша речь — о конституции?
Не угодно ли в квартал?..»
«Нет, мы так... о проституции...»,
Сидор Карпыч лепетал.

Улыбнулся снисходительно
Светлосиний альгвазил[2]
И перстом весьма внушительно
Либералу погрозил.

Уподобясь мокрой курице,
Не желая сгнить в части,
С той поры мой Клим на улице[3]
Стал себя умней вести.

На девчонок тратит рублики,
Состоит у них в долгу,
Но не любит он республики,
О свободе — ни гу-гу!

Даже с Третьим отделением
Примирился Клим давно,
И твердит он с умилением
Громко правило одно:

«Разговоров политических
Опасайся на Руси!
Но о девах венерических
Без опасности проси!»

7 июля 1876 г.

---

[1] Стихотворение, очевидно, вызвано событиями в Турции, когда младо-туркам удалось свергнуть Абдул-Азиза и провозгласить конституцию.
[2] Альгвазил — зашифрованное ироническое название жандарма.
[3] Стихотворение представляет собой незаконченный черновик, чем вероятно и объясняется несовпадение имен.

VI

ЖАР-ПТИЦА

Раз вели переговоры
Об одной заморской птице
Благородные синьоры,
Штабы, оберы и вице.

Дубинушка.

По кремнистому берегу Волги рѣки,
Надрываясь, идутъ бурлаки;
Тяжело имъ — на каждомъ шагу устаютъ,
И дубинушку-пѣсню поютъ.
Хоть бы дождь оросилъ, хоть бы выпала тѣнь
Въ этотъ жаркiй, ~~безоблачный~~ мучительный день!
Все бы, кажется, легче ~~невольно~~ недаромъ терпѣть,
Все бы легче дубинушку пѣть.
«Ой, дубинушка, ухнемъ!» И ухаютъ вразъ...
Пусть ~~хоть~~ слезы струятся изъ глазъ
Пусть изныла вся грудь, лямка рѣжетъ плечо:
Надо ухать еще и еще.
Отъ Самары до Рыбинска пѣсня одна;
Не на радость она ~~сложена~~ создана
Въ ней звучитъ и тоска, подорожный плачь,
И бессильной страдающiй гнѣвъ.
Это праведный вопль на людскую-судьбу,
Что ~~[illegible]~~ [illegible] народу-рабу
~~Проливать~~ кровь ~~своего~~... [illegible] гроши,
Добывая другимъ барыши.
— «Ну, живѣе!» хозяинъ на баркѣ кричитъ
И костяшки на счетахъ стучитъ.
Сосчитай лучше ты, борода-грамотѣй,
Сколько сложено русскихъ костей
По кремнистому берегу Волги рѣки,
Нагружая твои сундуки!

13 февраля 1867 г.

(Народный Голосъ, 1867 г. N)

АВТОГРАФ СТИХОТВОРЕНИЯ Л. Н. ТРЕФОЛЕВА «ДУБИНУШКА»
С подлинника, хранящегося в семейном архиве поэта в Ярославле

На сужденья были тонки...
(Я сидел, нагнувши плечи,
И записывал в сторонке
Слово в слово эти речи).

Оживляясь понемногу,
Говорили так особы:
— Ну, уж птица!.. В ней, ей-богу,
Поселился демон злобы.

Рада с каждого холопа
Сбросить цепи, дать свободу;
Либеральная Европа
За нее в огонь и в воду,

Посвист птицы — молодецкий!
Собирали все усилья
Меттерних и граф Радецкий [1]
У нее подрезать крылья.

Чорта с два!.. По воле рока
Эта птица, феникс древний,
Распустила хвост широко
И над русскою деревней [2].

Клюв у ней ужасно тонкий,
Скажем мы не без досады,—
И свободный голос звонкий,
Полный неги и отрады.

Увлеклись молокососы,
Как сиреной, этим пеньем;
Мы же, истинные россы,
Не знакомы с увлеченьем.

Мы смекнули, что Жар-птица [3]
Для великого народа
Не годится, не годится,
Как опасная свобода!

Дело клонится к развязке,
И у нас одна забота:
Как Иван-царевич в сказке
Расставлять везде тенета.

Здесь нельзя без вероломства,
Хоть мы люди и не злые...
Сохраним же для потомства
Наши яблоки гнилые!

Затемним опять садочек
И отправим эту птицу,
При записке в десять строчек,
Под конвоем — за границу.

И в записке скажем, дружно
Европейцев всех ругая,
Что Жар-птицы нам не нужно,
А пришлите... попугая!

16 марта 1867 г.

---

[1] Меттерних (1773—1859) — австрийский политический деятель первой половины XIX в., вдохновитель европейской реакции. Радецкий (1766—1858) — австрийский фельдмаршал, крайний реакционер, боролся против революции 1848 г. в Милане.
[2] Поэт имеет в виду крестьянские волнения, охватившие в первой половине 60-х гг. (1861—1865) 90 губерний,— наибольшее количество волнений за весь XIX в.
[3] Жар-птица — конституция.



Л. Н. ТРЕФОЛЕВ
С фотографии (70-х гг.), хранящейся в семейном архиве поэта в Ярославле

VII

ПИИТА

Раз народнику-пиите
Так изрек урядник-ундер:
«Вы не пойте, погодите,
Иль возьму вас на цугундер!»

Отвечал с улыбкой робкой
Наш певец, потупя очи:
«Пусть я буду пешкой, пробкой,
Но без песен жить нет мочи.

Песня в воздухе несется,
Рассыпаясь, замирая,
С песней легче сердце бьется,
Песня — это звуки рая.

Песне сладкой все покорно,
И под твердью голубою
Песнь не явится позорно
Низкой, подлою рабою.

Песня — радость в день печальный,
С песней счастлив и несчастный...»
Вдруг — свисток. Бежит квартальный,
А за ним и пристав частный.

Отбирают показанья
Твердой, быстрою рукою.
«Усладили вы терзанья
Русской песней, но какою.

Вы поете о народе.
Это вредно. Пойте спроста:
«Во саду ли, в огороде...»,
«Возле речки, возле моста»...

Много чудных русских песен
Как пиите вам известно...
Мир поэзии не тесен,
Но в кутузке очень тесно».

Внявши мудрому совету,
Днесь пиита не лукавит:
Он теперь в минуту эту
Лишь Христа с дьячками славит.

21 декабря 1884 г.

VIII
[БЕЗ ЗАГЛАВИЯ]

В жизни осень наступила. Веет в серде холодок,
И озлобленно рычу я, как рассерженный бульдог:

«Да, меня не баловала и не тешила судьба.
Я родился в знатном чине... всероссийского раба,

И умру я в том же чине, и воскресну я рабом,
И явлюсь рабом пред богом в небе ясно-голубом.

И меня создатель спросит: «Что, голубчик Леонид
Николаевич? Как можешь? Как судьба тебя хранит?

Ты оставил, чай, наследство: пропасть злата-серебра?
Ты себе, чай, сделал славу силой честного пера?»

И отвечу я уныло: «Ой, ты, господи еси!
Неизвестен никому я, как писатель на Руси.

Из моих стихотворений вышел очень малый толк:
Выл я в них, как пес голодный, или словно дикий волк

Иногда в душе болящей был свирепый ураган,
Но, как шут, перед толпою открывал я балаган —

И смеялся в нем так глупо, неумело, неостро,
Что теперь я проклинаю бесполезное перо!

Никому не дам совета по моим итти стопам:
Лучше я строчил бы просьбы в консистории попам!

Погубил я ребятищек, погубил я и себя,
Музу-ведьму-лиходейку бескорыстно полюбя.

Мне она шептала страстно: «Я бедна, но я чиста.
Полюби меня безумно и сомкни со мной уста!»

Я спросил у незнакомки: «Как вас звать, мамзель? Pardon!
И зачем вас к Леониду привлекает купидон?

Леонид я не спартанский, и не очень я пригож,
И хожу в таком костюме... что чуть-чуть не из рогож,

И притом в моем кармане ветер свищет день и ночь,—
В силу этих обстоятельств удалитесь, дева, прочь!»

Так-то, господи! Я кончил, рассказал житье-бытье:
Где назначишь мне жилище вековечное мое?

Здесь — направо, в светлом рае, иль налево — у чертей
Должен жить твой бедный автор, стихоплет и грамотей?»

И ответил мне создатель: «Я с тебя, брат, не взыщу
И в раю хоть сверхкомплектным стихотворцем помещу!»

IX

МУЗА-ГЕНЕРАЛЬША[1]

(К. К. Случевскому)

Вы — художник, я — маляр;
Музе вашей я не вторю,
Ваших виршей экземпляр
Я купил... Нашел там: «К морю»,
«К музе», «К розе», «К соловью»
И так дальше, и так дальше...
Честь и славу отдаю
Вашей музе-генеральше!
Наша Муза — сирота,
Не имеющая чина,
Разевать не смеет рта,—
И близка ее кончина,
Но среди могильной тьмы
Твердо веруем, без фальши,
Что утонем в Лете мы
После... музы-генеральши!

14 июля 1884 г.

X

БИОГРАФИЯ Л. Н. ТРЕФОЛЕВА, НАПИСАННАЯ ИМ САМИМ

Леонид Николаевич Трефолев родился 9 сентября 1839 г. в г. Любиме, теперь село Ярославской губ., где отец его (Николай Дмитриевич, ум. в 1853), служивший в уездном суде, известен был как библиофил. Благодаря влиянию отца, и его единственный сын, Л. Н., с ранних лет также полюбил чтение. Первой учительницей его была мать (Клавдия Петровна, ум. в 1884 г.); ее ученик — сын, с шести лет посаженный за азбуку, читал без строгого выбора решительно все, что находилось в домаш-

[1] Имеются в виду высокие чины К. К. Случевского (1837—1904), который был гофмейстером, членом совета министерства внутренних дел, состоял прихлебателем при великих князьях и пр. Случевский — «писатель, но несравненно более — салонный кавалер и вдохновенный чиновник» («Наши знакомые» — фельетонный словарь), редактор «Правительственного Вестника» (1891—1902) и черносотенных «Сельского Вестника» и журнала «для народного чтения» «Бог помочь!» В виршах своих Случевский рисует идиллию крестьянского труда, вдохновляется патриотическими настроениями, отдает дань «чистой лирике» и эротическим мотивам.

«Великосветский шаркун» начал писать в конце 50-х гг. В 60-м году курочкинская «Искра» объявила войну поэтам «чистого искусства». Под обстрел были взяты А. Фет, Л. Мей, Н. Страхов и др. Досталось и Случевскому. Против него выступили главные силы «Искры» во главе с В. С. Курочкиным. В ответ на памфлеты шестидесятников Случевский выступил с беззубыми и клеветническими нападками на Чернышевского, Писарева и других, обвиняя радикальные и революционные круги в «нравственном юродстве» и пр. Но нападения на Случевского были столь сокрушительны, что он как поэт замолчал почти на двадцать лет. Только в конце 70-х гг. Случевский снова обращается к своей дворянски-реакционно настроенной «лире» (печатается в пресловутом «Новом Времени» и в катаковском «Русском Вестнике»), а в начале 80-х гг. выходят «книги стихов» Случевского. Это обстоятельство видимо и вызвало в 1884 г. сатиру Трефолева, вспомнившего славные традиции боевой «Искры».

Предвещания Трефолева (см. последние строки приведенного стихотворения) оказались знаменательными. Поэты типа Случевского обречены на забвение. Как ни старались декаденты «старшего поколения» канонизировать Случевского,— ничего из их попыток не получилось. Кто из современной молодежи читает Случевского? — Никто. Между тем интерес к наследию публицистической поэзии возрастает с каждым годом. Не о себе персонально говорит Трефолев «мы»: он имеет в виду всю плеяду гражданских поэтов, не сдававших позиций, не торговавших своей лирой.

ней библиотеке: и Пушкина с Лермонтовым, и Карамзина с Жуковским, и новиковские сатирические журналы XVIII ст., переходя от них к «Современнику», «Отечественным Запискам», «Библиотеке для чтения» и «Москвитянину». Особенно же нравился ему Гоголь («Вечера на хуторе близ Диканьки»). Чем содержание прочитанного было сказочнее, фантастичнее, тем более оно пленяло мальчика-читателя (например «Вий», или сцены в романе В. Р. Зотова «Старый дом», где является Калиостро), который лишь только научился читать, все свои карманные деньги расходовал на собственную свою, помимо отцовской, маленькую библиотеку; в со-

Благодаря своему отцу — страстному любителю чтения, Л—дъ Н—вичъ, еще съ детскихъ летъ, тоже пристрастился къ книгамъ. Читалъ онъ всё безъ строгаго выбора, всё что находилось въ домашней библiотеке: и Пушкина, и многотомную "Исторiю Государства Россiйскаго", и разрозненныя книжки "Библiотеки для чтенiя" съ "Отечественными Записками"... Рисовалъ онъ началъ съ двенадцатилетняго возраста, подражая Полонскому и Фету, — запоминалъ туго, а стихи, напротивъ, съ необычайной легкостью, изумляя этимъ мать (Клавдiю Петровну), которая въ маленькомъ уездномъ городе "первого дамою" охотницей до книгъ...

Детей у г. Трефолевыхъ было много, но все умирали въ младенческомъ возрасте, кроме единственнаго сына (Л—да Н—ча) и дочери (Надежды Николаевны), скончавшейся невестою. Въ своей молодой жизни...

ОТРЫВОК ИЗ ЧЕРНОВИКА АВТОБИОГРАФИИ Л. Н. ТРЕФОЛЕВА, НАПИСАННОЙ ПОЭТОМ В ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ

С подлинника, хранящегося в семейном архиве поэта в Ярославле

став ее разумеется входили и сказки в лубочных иллюстрированных изданиях. С русским сказочным миром познакомила его также добрейшая мать и нянюшка (Прасковия Ивановна).

Писать стихи Л. Н. начал лет с двенадцати и помещал их в своем еженедельном летнем журнале, носившем курьезное название: «Мои Отечественные Любимские Записки». Единственной подписчицей на этот «периодический» детский лепет, «выходивший в свет» тетрадками только в вакационное время, была мать Л-да Н-ча, платившая ему за каждый номер от гривенника до четвертака, «смотря по достоинству журнала». Конечно в нем есть перефразирование или прямо списывание каллиграфически стихотворений тогдашних любимых поэтов: Полонского, Мея, Фета, Щербины; у последнего впрочем заимствовалось немногое: античный мир вовсе не был понятен любимскому стихотворцу. За чтение, непременно с декламацией, он получал уже особый гонорар — от своего отца; последний сам мастерски читал и любил театр, куда, при нередких поездках в Ярославль, водил с собой Л-да Н-ча. Возвратясь домой, Л. Н. обязан был декламировать отрывки из раздирательных монологов перед родной семьей.

Для Л. Н. величайшим утешением служили частые поездки вместе со своим отцом в усадьбы состоятельных и образованных помещиков, которые имели хорошие библиотеки и разрешали ему пользоваться ими сколько душе угодно. Следует заметить, что между владельцами в одно и то же время и книг, и «душ» встречались личности как глубоко симпатичные, так и ярые крепостники, которые например на глазах у Л. Н. дозволяли себе разжалование грамотных «библиотекарш» в коровницы, после отстрижения «девичьей косы-красы»... Такие факты конечно возмущали чуткую и впечатлительную душу мальчика-поэта, имевшего возможность с раннего возраста познакомиться с народным бытом. Что касается городской жизни, то Л. Н. узнал ее в Ярославле, где, поступив в гимназию, он поселился у своих родственников, Б-ских, а затем у дяди Кон. Петр. М-ва; последний, будучи хорошим лингвистом и математиком, мог бы оказать своему племяннику существенную пользу в учебном деле, но математические науки, к сожалению, не принадлежали к числу любимых Л-дом Н-чем «предметов»; зато он страстно любил русскую литературу, историю и естественные науки... В 1856 г. Л. Н. Трефолев кончил курс гимназии, затем через два года он поступил на службу в Ярославское губернское правление помощником редактора «Ярославских Губернских Ведомостей», в которых он стал печатать с 1857 г. свои стихотворения как оригинальные, так и переводные (из Беранже и Гейне). Добрым задушевным приветом встретила их землячка молодого поэта, одна из замечательнейших писательниц 40—50-х годов, Юлия Валериановна Жадовская. Она требовала от него, чтобы он «простился поскорее с провинциальной ареной, переходил в столичную печать». Этот переход и совершился в начале 60-х гг. Л. Н. воспользовался также и другим советом Ю. В. Жад-й: «Кроме книжной, так сказать, идеальной любви к народу не мешает выражать ее и практически, хотя бы только при помощи одной книги, самой легкой и вместе с тем самой трудной: русского букваря...» И вот Л. Н. с жаром принялся за учительство в ярославской воскресной школе; там, по возможности сблизившись с детским миром, он вглядывался в его маленькие горя и радости, которым оставался не совсем чужд, много лет состоя секретарем общества для вспомоществования учащимся недостаточного состояния.

В 1864 г. Л. Н. перешел на службу в Ярославскую губернскую строительную и дорожную комиссию правителем ее канцелярии и секретарем общего ее присутствия. Там среди инженеров и техников было тогда несколько образованных лиц польского происхождения,— это случайное обстоятельство, в связи с давнишним стремлением Л. Н. изучить родственные славянские литературы (польскую и сербскую), значительно способствовало ему при переводах польских поэтов, особенно — Владислава Сырокомли (Людвика Кондратовича). Затем Трефолев после преобразования означенной комиссии снова перешел на службу в губернское правление — секретарем строительного отделения и в то же время (с 1866 г. по 1871 г.) был редактором неофициальной части «Ярославских Губернских Ведомостей». Под его редакцией, по отзывам некоторых компетентных изданий (например «Известий императорского русского географического общества») эта газета была одним из самых лучших однородных с нею по программе органов провинциальной печати; здесь Л. Н. помещал свои статьи, преимущественно по предметам этнографии и истории, пользуясь местными архивами. Принимал он также очень деятельное участие в редактировании «Трудов ярославского статистического комитета», в которых между прочим напечатал обширную монографию: «Странники. Эпизод из истории раскола». Статья эта, и до сих пор не утратившая своей важности, обратила на себя внимание такого глубокого знатока раскола, каким был И. С. Аксаков. Знаменитый писатель-славянофил впоследствии вел с



ШАРЖ НА Л. Н. ТРЕФОЛЕВА В «ОСКОЛКАХ» 1891 г., № 44

Л. Н. переписку, очень любопытную. Из других крупных деятелей печати, находившихся в переписке с Л. Н., упомянем здесь кстати о Некрасове, Плещееве, Чехове и др.

В начале 60-х гг. Трефолев стал помещать свои стихотворения в «Иллюстрированной газете» (выходившей под редакцией В. Р. Зотова), «Воскресном Досуге», «Дне» (Аксакова), «Грамоте» (Алябьина), «Искре» (Курочкина), «Развлечении» (Миллера) и пр. Его «Песня о камаринском мужике», напечатанная в последнем журнале, и «Дубинушка» сделались народными. Затем последовал тот «переход» в большие журналы, о котором пророчествовала Л. Н-чу поэтесса Жадовская. Стихотворения его печатали: «Отечественные Записки» (под редакцией Некрасова, а потом Салтыкова), «Женский Вестник», «Семья и школа», «Литературная Библиотека», «Дело», «Русское Богатство» (первой редакции), «Вестник Европы», «Наблюдатель», «Русская Мысль» и др. Из еженедельных иллюстрированных и сатирических изданий, в которых Л. Н. принимал особенно деятельное участие, упомянем о «Сиянии», «Будильнике» (под редакцией Кичеева и Курепина), «Осколках», «Живописном Обозрении» и т. д. Не раскрывая многих псевдонимов Л. Н-ча, назовем только один, довольно известный: «Уединенный Пошехонец». Псевдоним этот взят в память первого провинциального издания, выходившего под тем же названием в Ярославле (в 1786 г.).

Здесь уместно заметить, что в 1871 г. принужденный оставить государственную службу Л. Н. Треф-в обратился к земской деятельности. С 1872 г., более четверти столетия, он редактировал «Вестник Ярославского Земства».

Собрание стихотворений Л. Н. издано в Москве в 1894 г.

Прозой Л. Н. писал тоже довольно много, но большей частью под псевдонимами. Некоторые из статей его исторического содержания, например «Ярославские училища в XVIII столетии» и «Ярославль при императрице Елизавете Петровне» («Древняя и новая Россия» 1877 г.), были прочитаны автором на публичных лекциях, организованных некоторыми из профессоров Демидовского юридического лицея в пользу студентов и других учащихся недостаточного состояния. Как референт Л. Н. принимал также участие в VII Археологическом съезде в Ярославле в 1887 г. (Его реферат «Об угличском дворце царевича Дмитрия» не прошел бесследно для русской археологии: руины древнего дворца были поддержаны и реставрированы.) Известный ученый, профессор казанского университета Корсаков, очень лестно отозвался об исследованиях Л. Н. Т. по предмету местной истории. Ее, да еще поэзию страстно любил поэт. Большой домосед, он редко покидал свой родной город, «изменял» ему только ради «дружеской» Москвы. За границей (в Германии и Франции) Л. Н. был только один раз (в 1876 г.), а в 1884 г. совершил путешествие по Крыму и Закавказью.

Скончался Л. Н. в 1905 г. 28 ноября.[1]

---

[1] Приведенная автобиография, написанная по чьей-то просьбе, изготовлена в официальном духе. Здесь Л. Н. Трефолев захотел предстать в качестве легального поэта и историка-краеведа, о своей же общественной физиономии он совершенно умалчивает. Он не упоминает ни о том, что он почти всю жизнь находился под негласным и гласным надзором полиции, что его жестоко преследовала цензура, что его преследовало начальство, что «дружеская» Москва — это были поэты-суриковцы, с которыми он вел дружбу в течение всей своей жизни, а между тем ведь никто из видных писателей не хотел иметь дела с этими горемыками-поэтами. Не совсем надо верить и ссылкам на авторитеты, как например на авторитет Аксакова и других: в нашем распоряжении имеются эпиграммы — и притом довольно кусательные — на Аксакова. При случае они будут опубликованы. Приведенная автобиография интересна, хотя она слишком «официальна» и осторожна.

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»[1]

Имя Н. Г. Чернышевского неразрывно связано с замечательной эпохой в истории России, эпохой так называемых «шестидесятых годов» XIX в., когда происходил процесс бурного распада и кризиса старого феодально-крепостнического строя и возникновения в его недрах и на его развалинах новой общественно-экономической формации — промышленного капитализма.

Н. Г. Чернышевский был центральной фигурой этой эпохи, самым видным и крупным ее представителем, лучшим теоретиком и самым проницательным политиком. Трудно представить себе без Чернышевского эпоху 60-х гг. XIX века.

В его лице эпоха 60-х гг. имела «великого русского ученого и критика» (Маркс), гениального крестьянского политика-революционера, блестящего публициста, убежденного критика, самого выдающегося вождя и просветителя революционных элементов своего времени, родоначальника революционного народничества и вместе с тем одного из самых выдающихся предшественников российской социал-демократии.

«Чернышевский, — пишет Ленин, — был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».

Отмеченный в 1928 г. пролетарской общественностью столетний юбилей со дня рождения Н. Г. Чернышевского явился очень заметным толчком не только для более глубокого изучения и всестороннего исследования его научных взглядов, революционной деятельности и различных сторон жизни, но и в деле публикации того огромного и очень ценного литературного наследства Чернышевского, которое еще до сих пор не увидело света.

Известно, что произведения великого мыслителя и учителя многих поколений революционной молодежи долгое время, вплоть до революции 1905 г., находились под строжайшим запретом, а самое имя его не могло упоминаться в легальной печати. Только первая русская революция позволила сыну писателя М. Н. Чернышевскому выпустить десятитомное собрание сочинений своего отца. Но это издание не могло быть полным как по цензурным условиям, так и потому, что многое из написанного Н. Г. Чернышевским в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в сибирской ссылке и в Астрахани еще продолжало храниться в секретных правительственных архивах или попало к частным лицам и следовательно оставалось долгое время неразысканным.

---

[1] «Литературное наследие Н. Г. Чернышевского». Том I. Из автобиографии. Дневник 1848—1853 гг. под редакцией и с примечаниями Н. А. Алексеева, М. Н. Чернышевского и проф. С. Н. Чернова. ГИЗ, М.—Л., 1928 г., стр. 748.

Том II. Письма. Под редакцией и с примечаниями Н. А. Алексеева и проф. А. П. Скафтымова. ГИЗ. М.—Л., 1929 г., стр. 792.

Том III. Письма. С общим указателем имен и материалов ко всем томам. Составлен Н. А. Алексеевым и Н. М. Чернышевской-Быстровой. Под редакцией и с предисловием Л. Б. Каменева. ГИЗ, М.—Л., 1930 г., стр. 792.

Из всей обширной переписки, какую вел Чернышевский в течение многих десятилетий с родными и общественными деятелями, были опубликованы до сих пор только письма к родным из Сибири и то без многих писем, задержанных в свое время властями, и письма к Зеленому, Некрасову и Добролюбову.

К юбилею и за последние четыре года после него издано довольно много новых и переиздано старых важнейших произведений и материалов Чернышевского.

Но по праву займут одно из первых мест при дальнейшей исследовательской работе над Чернышевским изданные три тома «Литературного наследия», содержащие в себе исключительно важные и ценные материалы, проливающие яркий свет на различные стороны учения, жизни, деятельности, борьбы, лишений и страданий этого великого мыслителя и революционера.

Целью нашего обзора является попытка в сжатой форме, и по возможности словами самого Чернышевского, дать сгусток содержания этих трех томов (объемом более 2000 страниц), так как их изучение требует подготовки и времени, которыми не всегда располагает массовый читатель. Выбирая самое важное и оригинальное из этих томов, мы стремимся дать широким читательским массам по возможности цельный политический, научный и моральный профиль этого выдающегося писателя на самых различных этапах его великой и вместе с тем трагической жизни, того самого писателя, которого высоко ценили и уважали Маркс и Энгельс и которого очень любил Ленин, чувствуя к нему непосредственную близость.

В первый том «Литературного наследия» вошли два варианта автобиографии с тремя приложениями, написанные Чернышевским в Петропавловской крепости, и его «Дневник 1848—1853 гг.» с двумя приложениями («О том, какие книги должно давать читать детям» и «Матери невесты») [1].

По автобиографии, названной самим Чернышевским «Воспоминаниями слышанного о старине», современный читатель познакомится с чрезвычайно любопытной и в высшей степени интересной и занимательной картиной заброшенного провинциального захолустья 20—30-х гг. прошлого столетия, каким был Саратов и соседние с ним городишки типа Аткарска и Петровска, того самого Петровска, в котором по утверждению одного литератора, знакомого Чернышевского, происходило действие гоголевского «Ревизора». «Воспоминания слышанного о старине» являются не только незаменимым и интереснейшим документом для местных краеведческих научных организаций, но и ценным материалом для историка вообще, изучающего общественные отношения, быт, нравы и обычаи феодально-крепостной России первой половины XIX в.

О господствовавших среди различных слоев саратовского населения суевериях и предрассудках, мистицизме и фанатизме, бесчинствах и дневных уличных разбоях, иногда

---

[1] Как сообщает Н. А. Алексеев, автобиография Чернышевского — одно из многих произведений, написанных им в Петропавловской крепости, и должно было составить одну из глав большого беллетристического произведения Н. Г. «Повести в повести». Автобиография осталась незаконченной, так как Н. Г. вероятно скоро убедился в том, что по тогдашним цензурным условиям он не сможет опубликовать даже те части своей автобиографии, в которых предполагал говорить «о делах и людях своей бабушки», не говоря о людях своего поколения.

Дневник, по сообщению Н. А. Алексеева и М. Н. Чернышевского, писан особой скорописью, с применением целого ряда сокращений и обозначений.

Дневник писался Н. Г. для самого себя, а не для печати, «притом в обстановке, нерасполагающей к отделыванию слога и порою самой неожиданной: то под видом студенческой работы на глазах у домашних, то в университете на лекциях, то даже в алтаре во время церковной службы Не мудрено, что язык его далеко не отличается изяществом» (Алексеев). Любопытна следующая запись самого Чернышевского в его дневнике от 10 декабря 1848 г. на сей счет: «Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. Если умру, не перечитавши хорошенько и не переписавши на общечитаемый язык, то ведь все пропадает для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательный человек» (стр. 342).

Расшифровал дневник сын писателя — М. Н. Чернышевский.

Издательство Общества политкаторжан недавно выпустило в свет отдельное издание «Дневника» в двух выпусках.



Н Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

С фотографии (1859 г.), хранящейся в Государственном Музее Революции СССР

и при участии полиции, невежестве, жесткости и умственной ограниченности местных властей и интеллигенции Чернышевским рассказано не только подробно, чрезвычайно красочно, но и с определенным социальным «умыслом». Он стремился на конкретных примерах и фактах из недавней прошлой истории своей родины (в это «прошлое» очень во многом оставалось для современников Чернышевского еще и настоящим!) в замаскированной, в полухудожественной и в полупублицистической форме показать подлинное лицо царской России, вскрыть и обнажить неслыханные муки и страдания широких трудящихся масс и те грубые азиатские формы насилия, каким подвергались эти массы со стороны помещиков и самодержавия. Чернышевский ставил себе целью показать те гнилые устои и шаткие основания, на которых покоилась эта якобы на первый взгляд грозная империя, разоблачить перед всем цивилизованным миром те исключительные темноту и дикость, какие царили среди основных слоев населения и по сравнению с которыми (темнотой и дикостью) испанская инквизиция и суеверие индусов буквально меркли. И как бы в доказательство этой своей мысли Чернышевский рассказывает в «Автобиографии» следующий факт:

«Около 1830 года... явился в селе Копенах злодей, корчивший из себя спасителя душ. Убеждал, убеждал и убедил: семейств двадцать, если не больше, нагрузили все свои пожитки на телеги и поехали обозом. Приехали — где-то за селом к овину или к риге, — и началось спасение душ, приобретение венцов мученических: положена была плаха, — они за тем и ехали, — у плахи стал с топором злодей, несчастные подходили, один за другим, одна за другою, клали головы на плаху — наставник отрубал голову; следующие искатели спасения относили в сторону тела и головы и ложились в свою очередь для принятия венца мученического. Нескольким десяткам людей злодей дал венец мученический и уехал с телегами» (стр. 77).

Отметив, что этого не видывали ни Бенарес, ни Карфаген, Чернышевский делает такое заключение: «Население, в котором могло бы совершиться подобное событие, имеет право называться одним из суевернейших, фанатичнейших на земном шаре».

Подобными сообщениями и соответствующей их интерпретацией Чернышевский возбуждал общественное мнение против царской крепостной России и пригвождал ее к позорному столбу перед европейской цивилизацией.

Итак, под предлогом дать картину своего органического развития от «ребячества к совершенствованию», на основе перебирания впечатлений своего детства, под предлогом дать «детскую картину города Саратова» Чернышевский пытался выступить в качестве историка и публициста, разоблачителя существующего порядка и проповедника своих революционных идей.

«Детская история города Саратова» есть таким образом одно из важнейших политических произведений Чернышевского, который в невинных, на первый взгляд, рассказах о чертях и старушках, снах и кулачных боях на Волге, о дворовой собаке Орешко и пьянстве и т. д. и т. п. пытался разоблачить официальные каноны исторических школ, высмеять устаревшие, но еще господствующие псевдо-научные понятия и противопоставить существующим историческим воззрениям свои собственные, а с другой стороны, свести счеты со своими политическими противниками и высказать свой взгляд и свое отношение к русскому государственному строю, к существующим общественно-политическим порядкам.

Именно так нужно подходить к этой «Автобиографии». Да и сам Чернышевский не один раз подчеркивает перед читателем целевую установку этого документа. Так например, Чернышевский обращается к своему будущему читателю со словами:

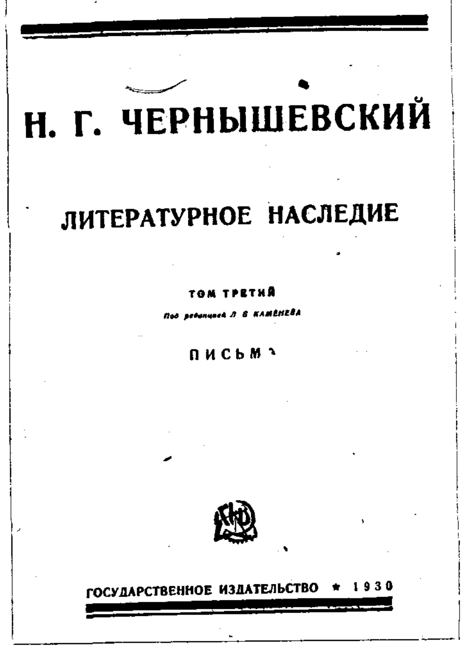
«Знаете ли, как вы должны смотреть на мои записки? Для других и для меня самого это произведение не важное, а для вас оно должно иметь такую цену, какую имел в свое время для всех трактат Коперника: для вас, значит, я открываю тайны мироздания, показываю вам, что жизнь движется вовсе не так, как вы полагали, а совершенно другим манером» (стр. 48—49. В данном случае, как и везде ниже, кроме особо оговоренных случаев, подчеркнуто нами. — *И. Ф.*).

Чернышевский заранее предвидит, что не сразу и не все поймут метод его писания, но иначе писать он не в состоянии, а потому он часто вынужден «возвращаться

назад и забегать вперед и больше всего делать экскурсии в стороны» (стр. 83, см. также стр. 98—99).

Чернышевский начнет рисовать нам картину своего детства, прибегая к различным сказкам, версиям, анекдотам и т. д., в которые он вкладывал глубочайший социальный и политический смысл. Приведем некоторые из них.

Рассказывая историю об одном странствующем нищем — Антоне Григорьевиче, о котором подавляющее большинство окружающих отзывались, как о «неглупом человеке, почтенном человеке, но занимающемся вздором», Чернышевский вдруг «делает экскурсию в сторону»:



ОБЛОЖКА ТРЕТЬЕГО ТОМА ИЗДАНИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

«Но соображая, что ведь я очень мог бы не говорить этого, и размышляя, какими красками мог бы я разрисовать Антона Григорьевича, я подумываю себе: не годился бы я быть историком—все эти ужасные деятели или идеальные подвижники, которые приводят в негодование и в умиление историков, все эти Торквемады, Томасы, Бекеты, Иннокентии III со своими предшественниками и наследниками явились бы у меня людьми столь же благонамеренными и достойными любви, но в сущности столь же ничтожными в серьезных делах своей эпохи, как Антон Григорьич в делах города Саратова. И вместо них важнейшими деятелями явились бы люди, которых историки третируют с высоты своего величия за людей маловажных — а многие пьедесталы так и остались бы порожними. Хорошо, что никто до меня не писал историю города Саратова — и притом «детскую историю города Саратова» — в ней еще могу я заслужить доверие, а всеобщая история уже так размалевана, что разве во сто лет успеют счистить фальшивые прикрасы, которыми закрыт истинный колорит» (стр. 148).

Разве этот «экскурс» не заключает в себе самой убийственной характеристики, какую только можно дать официальной исторической науке, которая только и занимается тем, что «размалевывает» всех этих Торквемадов, Томасов, Бекетов (а равно и русских царей и цариц: Иванов, Петров, Екатерин, Николаев и т. д.), третируя «с высоты своего величия» подлинных героев исторического процесса, классы и классовую борьбу— этот подлинный «истинный колорит» общественного развития? Нужно сорвать покровы с подобного рода исторической учености, нужно, по мнению Чернышевского, «счистить фальшивые прикрасы» о царях и министрах, дворцовых переворотах и придворных интригах, «которыми закрыт истинный колорит», т. е. деятельность широких масс, постоянная борьба угнетенных классов против классов угнетательских. В другом месте мы находим у Чернышевского не менее, а пожалуй еще более убийственную, буквально уничтожающую характеристику официальной исторической науки, по писаниям которой «вы видете перед собою не жизнь, какую вы знаете, а сцены итальянской оперы», слушая которую «вы поднимаетесь на воздушном шаре, несетесь так легко — нет на вашей дороге ни ухабов, ни неровностей мостовой, ни подпрыгивания вагона по рельсам, ни подергивания пароходов от ударов машины, — так и самые порывы плавны, — так гладко и однородно» (стр. 113; подробнее см. стр. 113—117).

Рассказывая со слов своей бабушки о богомольных похождениях и приключениях своего дальнего родственника Матвея Ивановича, Чернышевский как бы мимоходом

вставляет: «Вспомнился мне совершенно другой анекдот не из того времени, не из того быта, вовсе не к тому относящийся и слышанный мною уже, когда я жил в Петербурге совершенно в другом кругу, в 1856/57 г.». Его знакомый военный, не русский (вероятно С. Сераковский), сидя в казарме, стал вслушиваться, как солдат, готовясь к смотру, твердит «словесность».

Один из «пунктиков» этой словесности, служащий ответом на вопрос: «Что нужно солдату», гласил: «Солдату нужно немного: любить бога, царя и отечество». И вот знакомый Чернышевского слушает, как солдат все время твердит: «Солдату нужно — остановка — немного любить бога, царя и отечество». Все попытки знакомого Чернышевского поправить солдата, объяснить ему, как надо произносить эту фразу, кончились безрезультатно, так как солдат был тверд в своей правоте, «ссылаясь на то, что он учит так, как ему показывал его фельдфебель». Знакомый Чернышевского возбудил вопрос между своими товарищами, но оказалось, что все учат так, как первый солдат. Наконец оказалось, что и в списках «пунктиков» значилось: «Солдату нужно» — две точки — «немного любить» и пр. Тогда знакомый Чернышевского пошел по начальству вплоть до батальонного командира, и все ему отвечали в том же духе, как и первый солдат.

«Батальонный командир,— продолжает Чернышевский,— конечно также понял, что манера знакомого более идет к делу, чем та, которую он называет ошибочною. «Но позвольте, однако ж, надобно еще подумать», сказал он. Подумал несколько минут, и сказал: «Нет, написано так: ошибки нет».— «Как нет? Как же солдату учить, что ему нужно только немного, не сильно, а слабо любить бога, царя и отечество? Это против смысла». — «Нет, я теперь увидел, в этом-то и есть настоящий смысл. Вы не русский, так вам это и кажется не так; и точно, для вас не так, вам нужно много любить бога, царя и отечество, потому что если вы не будете любить их много, то вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить их уже довольно. Поняли теперь? Мы — русские, что нам много об этом заботиться? Это у нас само собою, врожденное, не то, что у вас, нам нечего об этом хлопотать». Так и осталось: «солдат должен» — две точки, пауза — «немного любить и пр.» (стр. 59—60).

И Чернышевский заканчивает свой «вовсе не к тому относящийся» анекдот следующим рассуждением, очень и очень относящимся к политическому настроению царской армии — этой одной из самых важнейших опор русского самодержавия:

«Я нахожу в этой истории — экстракт русской истории... Батальонный командир не был орел — и мы тоже не орлы, а люди; но он не был глуп, хоть и решил дело глупее дурака — нет, на это решение нужна была порядочная и порядочная тонкость ума, нужно было гораздо больше ума, чем было бы достаточно для здравого решения дела» (стр. 60).

А в другом месте, желая скомпрометировать в глазах своих читателей русскую полицию, Чернышевский опять рассказывает «анекдот»: однажды он с товарищем встретили заблудившуюся старушку, закоченевшую и настолько потерявшую рассудок от мороза, что не разберет, что идет по сугробу, не разберет, что все прохаживается взад и вперед в течение нескольких часов по одной улице. Как быть с нею? Чернышевский с товарищем ей говорят: «Мы тебя, бабушка, довезем до части, там обязаны дать тебе переночевать, да и пристава мы попросим, или кто там есть, хорошо приютят и покормят, а завтра поутру и пойдешь домой». «Батюшки мои, — взвыла старуха, — не губите моей души! Там меня убьют». Мы доказывали ей, что нет, не убьют, а дадут поужинать и уложат спать. Но никакие резоны не действовали: «Убьют! Там убьют! В части убьют! В части всегда убьют!» твердила старуха с таким убеждением, что мы подались и пошли на компромисс: вместо части предложили соседнюю будку — против будки старуха не имела такого твердого убеждения, была сбита нашею диалектикою, сказала наконец: «Ну, на будку, так и быть, подвезите, мои батюшки» (стр. 95).

И наш «рассказчик анекдотов» опять как бы с невинным видом заключает:

«Мнение старухи важно потому, что подано в обстоятельствах, при которых изливается из души чистейшая искренность без всякой возможности софистики, риторики или капризности, — а главное при которых слова человека уже не могут считаться проявлением индивидуальности, а должны быть принимаемы за квинтэссенцию

№ 2.

Дневникъ.

1849 годъ.

Январь

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ШИФРОВАННОГО ДНЕВНИКА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 1849 г.
Из архива Дома им. Чернышевского в Саратове

национальной мысли: у старухи все личное уже находилось в замороженности, глаза не разбирали дороги, рот с трудом разевался, рассудок перестал действовать, — и в этом состоянии человек уже бывает только эхом духа своей нации. Такая находка с ученой стороны всегда бывает психологическою драгоценностью» (стр. 95).

Но этим Чернышевский не ограничивается. Он идет в своих обобщениях дальше, мысли формулирует еще резче и решительнее:

«Да, старуха выразила сущность нашего саратовского воззрения на часть, представительницу организующего начала нашей национальной жизни в ее глазах. Но за шутку или не за шутку захотите вы принять такое значение, находимое мною в словах старухи, — не подумайте, что я виню нашу русскую полицию вообще или хочу выставить вам особенно дурною саратовскую полицию моего детства. Правда, я нахожу, что если в данном случае ожидание смерти себе от рук полиции было ошибочно со стороны старухи, то *признаю вполне основательным ее убеждение как общий принцип, из которого ее дело было исключением*, из которого множество дел, миллионы дел — пожалуй огромное большинство отдельных случаев — бывают исключением, *но который все-таки обнимает собой национальную жизн и жизнь каждого постоянно и всюду, без всяких исключений*. Несколько странновато кажется такое мое рассуждение, но все факты подходят под него без всяких исключений. Это ничего: читайте дальше, вы увидите, что я все-таки рассуждаю, что хотя 2 × 2 и составляют очень часто 4, но решительно всегда бывают 5, а не 4. Я собственно говорю с тем, чтобы рекомендовать вам такую логику» (стр. 95).

И чтобы помочь читателю овладеть ключом к его логике, Чернышевский рассказывает случай, имевший место в 1840 г., когда ему приходилось видеть из окна, как несколько сот здоровых, крепких, сильных мужчин отчаянно бегут, скрываясь от погони. Оказалось, что на Волге, когда кулачный бой был в полном разгаре, явился полицейский с несколькими будочниками — и сражающиеся ринулись от них бежать.

Рассказав это, Чернышевский продолжает:

«Что тут особенного? — скажете вы. — Так всегда бывает. И стоило ли это рассказывать?»

Всегда или почти всегда, и ничего особенного тут нет; но тем оно и важно, что ничего особенного тут нет. А рассказывать это стоило потому, что после такого рассказа вы обратите серьезное внимание на следующие мои дефиниции, а не отвергнете их с пренебрежением, как бессмыслицу. Что такое волк и медведь? — спрашиваю я себя и отвечаю:

Так называемый волк есть обыкновенная овца; что же касается медведя, то большинство их — телята, но некоторые из породы козлов.

Так учит жизнь. Она странно, странно колеблет незыблемость всякого рассуждения о свойствах вещей. Вы видите кусок воска — я вам говорю: не ручайтесь, что это не кусок железа, что он не может вдруг оказаться крепким и острым перочинным ножичком. Вы видите камень — я говорю: не ручайтесь, что это не булка, очень вкусная и питательная.

Эх, говорю я хитро, непонятно» (стр. 97).

Вот к каким хитросплетениям вынужден был прибегать идейный вождь разночинцев, чтобы показать, что масса, народ, коллектив, сам по себе «так называемый волк», при его примитивном сознании, при его разобщенности и забитости в условиях существующего строя оказывается еще «обыкновенной овцой». Но Чернышевский предупреждает, что рыхлая масса — воск — может быть куском железа, может оказаться «крепким и острым перочинным ножичком», которым в свое время будет проткнута, распорота и окончательно соскоблена с исторической сцены ненавистная самодержавно-крепостническая система.

Но наступит ли такой момент, когда масса из воска превратится в железо, из овцы в волка, из теленка в медведя? Настанет ли время, когда сотни крепких, отважных, темпераментных людей, руководимых вождями, не будут бегать от полицейских, как бегают зайцы от охотника? Чернышевский уверен, что такой момент настанет, и в доказательство опять рассказывает «анекдоты» про свою дворовую собаку Орешко и домашнего павлина, которые долгое время терпели издевательства и шалости, какие над ними проделывал в детстве Чернышевский. Но настал момент и их «бунта»: «вдруг Орешко хамкнул с громким стуком зубов в полувершке от моего носа», а павлин вдруг «усиленно прыгнул вперед, взмахнув крыльями... Подскочил и клевнул меня в голову; я так и присел на месте» (стр. 98).

Итак, масса, угнетенный народ — это Орешко, павлин, которые терпят над собою издевательства до поры до времени. Наступит конец и их терпению. И развернут они тогда свои мощные силы...

Вот в чем состояла суть его логики, вот где был ключ к истории в интерпретации Чернышевского.

Подчеркивание роли массы и революционеров дела и мыслей, с одной стороны, и разоблачение их заклятого врага — самодержавия с его полицией, армией, печатью и т. д. — с другой — постоянная тема для его «анекдотов», «сказок», «экскурсий».

Закончим обзор «экскурсий» нашего автора выводами о России вообще, скрытыми Чернышевским в его рассуждениях о «саратовской системе государств». В довольно длинных рассуждениях, занимающих несколько печатных страниц, Чернышевский рисует Саратов как страну, состоящую из 10 тысяч государств при самых разнообразных формах правления, а семейство Чернышевских, как Швейцарию, состоящую из 5 кантонов:

«Что такое есть Европа?» вопрошает Чернышевский читателя и отвечает:

«Это пространство земли, занимаемое очень многими государствами, из которых некоторые сильны, другие слабы, но из которых каждое имеет свою особенную верховную власть, свои особые законы, свои особые нравы, понятия и пользуется независимостью. Слабые государства ищут покровительства сильных, сильные, когда захотят, заставляют слабые исполнять их требования, берут у них, сколько могут взять, иногда покоряют их и пр. Просвещенному читателю известно, что такое Европа.

Саратов есть Европа в чрезвычайно увеличенном и усложненном размере. В мое детство число его жителей считали,— как случится, — от 30 до 50 тысяч человек. По этим цифрам надобно считать, что Саратов заключал в себе от 6 до 10 тысяч государств. Не подумайте, что я играю словами, — я прошу принимать термин «государство» в са-

мом строгом буквальном смысле, со всеми димпломатическими, юридическими и т. д. чертами, лежащими в понятии государства.

Как в Европе, так и в Саратове образ правления государств был чрезвычайно разнообразен. Были самодержавные монархии, конституционные монархии с парламентами, республики аристократические и демократические. Как и почему какое государство имело такой, а не иной образ правления — зависело от особенностей нации, составлявшей государство, и других обстоятельств, определяющих форму правления и в Европе» (стр. 99—100).

Представляя себе Саратов как систему государств с самыми разнообразными нравами, *обычаями, законодательствами и правлениями и подчеркивая, что «отношения* между этими разнообразиями были чисто международные, что это были разные государства с разными народами, бесчисленные государства с бесчисленными народами», Чернышевский намекал читателю, что Саратов — это колониальная русская империя, образовавшаяся на грубом захвате, насилии и грабеже и представлявшая собой целую систему многочисленных колоний и полуколоний с многосложными классовыми, национальными, религиозными и т. д. переплетами и противоречиями. Когда Чернышевский говорил о Саратове как о целой системе государства, он безусловно имел в виду не только свой Саратов, но и Великороссию, и Украину, и Польшу, и Финляндию, и Туркестан, и Кавказ, и Сибирь и т. д., имея в виду не только противоречия между колониями и метрополией, но и внутри этих колоний самые различные классовые, национальные и другие переплеты, которые в конечном счете взорвали в 1917 г. старую Русскую империю.

Но Чернышевский — мыслитель и проповедник д е й с т в е н н ы й. Он не ограничивается только простой констатацией фактов. Он всячески подчеркивал и напоминал прогрессивным слоям общества, что Россия находится на переломе, на грани двух эпох,

СТРАНИЦА ШИФРОВАННОГО ДНЕВНИКА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 1849 г.
С РАЗМЫШЛЕНИЯМИ О СВОЕЙ БУДУЩЕЙ СУДЬБЕ
Из архива Дома им. Чернышевского в Саратове

что исторический процесс привел ее к необходимости коренных преобразований, что история с неизбежной закономерностью выдвигает для этой цели определенных вождей и что он, Чернышевский,— не иначе, как «выдвинут» историей в вожди новой эпохи.

Но что это была за эпоха? Это был переломный момент в истории развития России. Феодально-крепостническая система хозяйства разлагалась под напором роста капиталистических элементов во всех секторах экономики и в результате все большего и большего включения русского народного хозяйства в систему мирового рынка.

Эти обстоятельства ставили перед Россией задачу приспособления к европейским методам хозяйствования и переводили основы русского хозяйства на рельсы буржуазного развития. Но рост капитализма в недрах феодальной системы натыкался на огромные препятствия со стороны старых феодально-крепостнических устоев, и прежде всего со стороны существовавшего крепостного права.

Нужда быстро растущего промышленного капитализма в дешевой и свободной рабочей силе, в росте емкости внутреннего рынка; проникновение как в крупные крепостные, так и в крестьянские хозяйства денежных отношений; целый шквал волнений угнетенного крестьянства, начавшийся еще задолго до манифеста 19 февраля 1861 г. против оков крепостничества, за свободный путь капиталистического развития,— все это ставило на очередь дня вопрос об отмене крепостного права.

Но глубокие изменения в социально-экономической обстановке страны вызвали конечно и глубокие изменения в борьбе различных направлений русской общественной мысли за ту или иную генеральную линию дальнейшего развития России. Основные идеологические центры главнейших классовых лагерей чувствовали, что страна стоит перед крупными внутренними изменениями и социальными преобразованиями.

Весь вопрос сводился к тому, кто должен стать во главе этих преобразований и какими путями должно пойти это преобразование.

А что Чернышевский еще с университетской скамьи подготовляется к роли вождя новой эпохи, показывает его дневник, к разбору и анализу которого мы и переходим.

* * *

Дневник Чернышевского развертывает перед читателем по своему содержанию, а также по своей откровенности и искренности замечательную и на редкость поучительную картину процесса формирования не только благородного характера, светлой и высокой нравственной личности, но и — что особенно важно — исключительно интересного, зигзагообразного и сложного хода развития его философских, исторических, литературных и особенно социально-политических взглядов.

Еще из автобиографии читатель узнает от самого Чернышевского, что он «сделался библиофагом, пожирателем книг очень рано».

Вот почему нас совершенно не должно удивлять то обстоятельство, что, поступив 18-летним юношей в Петербургский университет, Чернышевский не только выделялся среди своих сотоварищей начитанностью и образованностью, но и мог большую часть своего времени отдавать кроме занятий по университетской программе (которая для него была слишком примитивна и скучна) еще на знакомство с передовыми выдающимися писателями России и особенно Западной Европы, произведения которых оказали на формирование его идеологии исключительное влияние. Этой усиленной умственной работе над собою способствовало знакомство Чернышевского с некоторыми революционно настроенными студентами (М. Михайловым, В. Лободовским, А. Ханыковым), имевшими на него сильное влияние самостоятельностью своих мыслей, резкостью своих суждений и некоторыми чертами своего характера.

Содержание дневника дает нам право утверждать, что мировоззрение Чернышевского складывалось и оформлялось под сильнейшим влиянием следующих факторов: во-первых, под впечатлением русских условий, т. е. под впечатлением мрачной, феодально-самодержавной социально-политической обстановки, во-вторых, под влиянием революционных событий 1848 г. в Европе, и в-третьих, в результате изучения тех мыслителей, на трудах которых воспитывался например Маркс. Этот идейный рост виден по тем записям, в которых изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год студент Чернышев-

2

Я должен сказать, что Ваши произведения, собранные теперь, выигрывают более относительного достоинства, нежели произведения Пушкина, Лермонтова и Кольцова. Но этим, конечно, нельзя удовольствоваться. Надобно сделать гораздо больше — надобно сделать, чтобы мы были принуждены забыть для Вас о Пушкине, Лермонтове, Кольцове, как для Кольцова забыли о Цыганове и Мерзлякове, как для Лермонтова забыли об Огареве и т. д., как для Гоголя забыли о прежних романах.

Вы имеете все силы, нужные для этого. Только одно может воспрепятствовать Вам быть в поэзии создателем совершенно нового периода — если Вы будете мельчить Ваши силы и время тратить на безотрадные и совершенно неосновательные сомнения о себе. То в произведениях Ваших не все было раскрыто благоприятным образом для развития Ваших сил, если Вы предадитесь мысли, что в самом деле не имеете силы быть выше, чем было назначено Вам натурою Вашею, если Вы будете довольствоваться в сочинениях и стихотворениях. Конечно, каждому из нас естественно быть недовольным собою, своими произведениями, думаю, я мог бы быть гораздо лучше, нежели каков я теперь и т. д. Всякий может, Вы имеете на это несколько более права, нежели многие другие — но что же из этого? Как Вы ни думаете о себе, а все таки Вы в настоящем имеете великие силы, и предаваться унынию — только вредить для Вас.

Вы говорите:

Блаженный муж иль глупо изуродованный!
Я звал тебя, теперь уж не зову,
Той будущей я не хочу быть...
Которую ты можешь испытать...
Что сердце не научит любить,
Которое устало ненавидеть

Можно мне это слушать очень симпатично, — я знаю, что необходимы в жизни минутные досады — но не все ли равно основании оставаться в унынии, или в отчаянии, если хочешь более громкого слова, — как в законной разработке духа и Вы не имеете этого права — в чем Вы оправдываете, что имеете право унывать и отчаиваться?

Организм Ваш еще крепок — как Вы ни думаете о своем здоровье, а Вам суждено еще быть здорову и крепку сильным телом, само на разрушение

ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО К Н. А. НЕКРАСОВУ ОТ 5 НОЯБРЯ 1856 г.

Из архива Института Русской Литературы

ский заносит в свой дневник свои впечатления от знакомства с произведениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Белинского, Гете, Шиллера, Руссо, Мишле, Канта, Гегеля, Фурье, Фейербаха, Бланки, Жорж Занд, Диккенса, Беранже, Гизо, Луи Блана и т. д. и т. п. О большинстве перечисленных писателей он отзывался так: «Эти люди — мои друзья, т. е. я им преданный друг».

Ко многим из перечисленных писателей он сохранил большую любовь, граничащую с благоговением, до самого конца своей жизни. Когда Терсинский (один из его родственников) позволил однажды выразиться в споре с Чернышевским, что «всякий великий писатель — фигляр», Чернышевский резко обрушивается на него, а на следующий день в своей записи опять возвращается к спору с Терсинским и негодует:

«Писатели — фигляры, великий писатель — великий фигляр» — это больно, как богохульство, осквернение того, что есть возвышенного в жизни и деятельности человека, и больно видеть вблизи себя такого человека... они наши спасители, эти писатели, как Лермонтов и Гоголь, а мы называем их фиглярами — жалкая, оскорбительная неблагодарность, близорукость, пошлость! Это несколько волновало, и я был недоволен» (стр. 217).

Но значит ли это, что при таком высоком уважении к этим знаменитым писателям Чернышевский некритически относился к их произведениям, механически воспринимал их теории и учения? Отнюдь нет. Даже наоборот. Судя по записям в дневнике, Чернышевский всячески борется например против влияния на него Фейербаха, долго и упорно размышляет над возможностью примирения учения Фейербаха с каким-то идеалистическим христианством. А в 1850 г. Чернышевский окончательно переходит на точку зрения фейербаховского учения, записывая 15 сентября в дневник: «Скептицизм в деле религии развился у меня до того, что я почти решительно от души предан учению Фейербаха» (стр. 530). Потом, вплоть до самого конца своей жизни, Чернышевский считал себя учеником этого писателя и оставался верным его учению.

Подчеркивание связи теоретических взглядов с жизнью, с практикой, с политической деятельностью проходит красной нитью во всех рассуждениях Чернышевского. Вся его умственная деятельность, весь процесс выработки миросозерцания проходили под знаком интереса к политике, под знаком увязки теоретической деятельности с требованиями практической политики. Чернышевский весь свой студенческий период жизни посвятил по существу подготовке из себя политического деятеля, политического вождя. 17 мая 1850 г. Чернышевский в дневнике отмечает, что «в этом обществе говорят против религии, и меня это заставляет говорить против нее, поддакивая, между тем я занят не этими вопросами, а п о л и т и ч е с к и м и, с о ц и а л ь н ы м и».

В центре его духовных интересов в 1848—1849 гг. стояли политические события, происходившие во Франции, Италии, Германии, Австрии, Венгрии и т. д. Чувствуется, что европейские события произвели на студента Чернышевского огромное впечатление. С затаенным дыханием, с волнением и большими внутренними переживаниями следит он по «Débats» за ходом революции, испытывая огромный подъем при ее победах и горькое разочарование при ее поражениях. Его дневник наполнен многими страницами восхищения перед Луи Бланом, Ледрю Ролленом, Коссидьером, когда они, — как ему тогда казалось, судя по буржуазным газетам и журналам, — были мужественными и решительными вождями французской революции 1848 г. По его мнению эти люди «тверды духом и чисты совестью и сильны словом» (стр. 266). Известно, что впоследствии Чернышевский резко изменил свое мнение об этих деятелях, подвергая резкой критике их политические действия, поведение и т. д.

Все симпатии Чернышевского на стороне восставших, на стороне взбунтовавшихся трудящихся масс. В дневнике много мест, подтверждающих его сочувствие революции: «Я защищал социалистов, Францию и ее вечные волнения», записывает он 29 августа 1848 г. «Я террорист и последователь красной республики» (запись от 2 сентября 1848 г.).

Чернышевский прекрасно отдает себе отчет в том, вокруг чего и между кем идет борьба на Западе. Он негодует на Кавеньяка, «который думает, что глупостями можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол».

«Эх, господа, — продолжает Чернышевский, — вы думаете, дело в том, чтобы было

слово республика, да власть у вас,— не в том, а в том, *чтобы избавить низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей... Чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться — мужчины трусами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не вводят в жизнь, что уничтожают тексты, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором* $^9/_{10}$ *— орда, рабы, пролетарии; не в том дело будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого*» (стр. 266).

Итак, Чернышевский — за угнетенные массы. Он возмущается тем пренебрежительным отношением, какое в Западной Европе имеется со стороны буржуазии к низшему классу. «Какое пренебрежние к низшему классу! — записывает он 11 сентября 1848 г.— Теперь буржуазия, как я увидел, решительно снова берет верх, но и то хорошо, что она берет верх, как хищница, а не как раньше — по закону: конечно хищение легче разрушить, чем закон» (стр. 270—271).

А 18 сентября 1848 г. Чернышевский определяет свою позицию еще резче и определеннее: «*Мне кажется, что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов и крайних республиканцев*». Он возмущается тем, что в наше время открытой борьбы, когда противоречия обострились и борьба приняла исключительно острые формы, могут быть люди, считающие себя аполитичными, внепартийными людьми. «Как мне противно,— пишет он,— когда кто-то настаивает на том, что он решительно беспристрастен, не принадлежит ни к какой партии — *да как же можно не принадлежать ни к какой партии, ни к какой школе?*» (стр. 401).

Иногда его негодование против врагов революции доходит до наивысших пределов. Образчиком подобного негодования может служить запись от 14 ноября 1848 г. о расстреле члена Франкфуртского собрания Роберта Блюма: «Расстрел члена собрания без его ведома. Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует... На виселицу Виндишгреца и всех» (стр. 323). Следует отметить, что примерно через 2 месяца, 11 января 1849 г., Чернышевский снова возвращается к мысли о Блюме: «А Роберт Блюм все нейдет у меня из головы, и все меня беспокоит мысль, что это убийство должно остаться без отмщения» (стр. 370).

А отомстить было некому, ибо Франкфуртское собрание было только говорильней, а не действенным революционным учреждением. Чернышевский это видел и откликнулся в дневнике следующей тирадой против него: «Бездействие и нерешительность Франкфуртского собрания мне не нравятся — кажется оно должно было бы понять, что произойдя из воли народа, против воли правительства, оно и должно, если не хочет осудить себя на смерть, стоять с народами против правительства» (стр. 333).

Но Франкфуртское собрание распущено. Это послужило примером для роспуска Национального собрания и в Австрии. 8 марта 1849 г. Чернышевский записывает: «Из Университета заходил к Вольфу, где узнал о том, что в Австрии также распущено Национальное собрание и дана Конституция императором — итак, вот как ободрил пример Пруссии. Хорошо! Хорошо! *Будет и на нашей улице праздник и скорее, чем вы думаете*» (стр. 399).

Нам кажется, что приведенных выдержек из дневника вполне достаточно, чтобы сделать заключение, что 20-летний скромный и застенчивый студент, всего только два года назад попавший из провинции в столицу, не только объявляет себя сторонником вооруженного восстания западноевропейского трудящегося люда и приверженцем массового террора, но и по буржуазным заграничным газетам сумел разглядеть сущность и значение классовой борьбы, происходившей на Западе. Освещение этих событий в дневнике с точки зрения глубины и остроты их анализа по своему значению и

по своей ценности уступали в то время во всей международной социалистической и революционной литературе только Марксу и Энгельсу и никому больше. И в то время как например Герцен в результате поражения революции в Западной Европе пришел к пессимистическим выводам относительно дальнейшего развития Европы, Чернышевский, как мы видели, не унывал, будучи глубоко уверен, что «будет и на нашей улице праздник».

События в Западной Европе привели Чернышевского к размышлению над положением дел в царской России и заставили решить для себя ряд важнейших политических вопросов, связанных с коренным изменением общественных отношений, вплоть до свержения старого порядка.

Первую систематизированную характеристику своих умонастроений, правда, пока еще не совсем развернутую и окончательную, Чернышевский дает в записи от 2 августа 1848 г. под рубрикой: «Обзор моих понятий». Там мы читаем: «История — вера в прогресс. Политика — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети... Кажется я принадлежу к крайней партии, ультра... Литература: Гоголь и Лермонтов кажутся недосягаемыми, великими, за которых я готов отдать жизнь и честь. Защитники старого, например «Библиотека для чтения» и «Иллюстрация», пошлы и смешны до крайности, глупы до невозможности, тупы непостижимо» (стр. 225).

В записи от 23 сентября того же года, Чернышевский, как бы продолжая мысли, изложенные в записи от 2 августа, еще резче и определеннее формулирует свои мысли о себе и о своей будущей роли:

«Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, не знаю, ведь это странно — мне кажется, что мне суждено может быть быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть человечество по дороге несколько новой... Итак, я должен сказать, что я довольно твердо считаю себя человеком не совершенно дюжинным, а в душе которого есть семена, которые если разовьются, то могут несколько двинуть вперед человечество в деле воззрения на жизнь, и если я хочу думать о себе честно, то конечно я не придаю себе бог знает какого величия, но просто считают себя одним из таких людей, как например Гримм, Гизо и пр., или Гумбольды, но если спросите мое самолюбие, то я могу отвечать себе — я бог знает что, может быть из меня выйдет что-нибудь вроде Гегеля или Платона, или Коперника, одним словом человек, который придаст решительно новое направление, которое никогда не погибнет, который один открывает столько, что нужны сотни талантов, или гениев, чтобы идеи, высказанные этим великим человеком, переложить на все, к чему могут быть они приложены, в котором высказывается цивилизация нескольких предшествующих веков как огромная посылка, из которой он извлекает умозаключения, который задаст работы целым векам, составит начала нового направления человечества» (стр. 282—283).

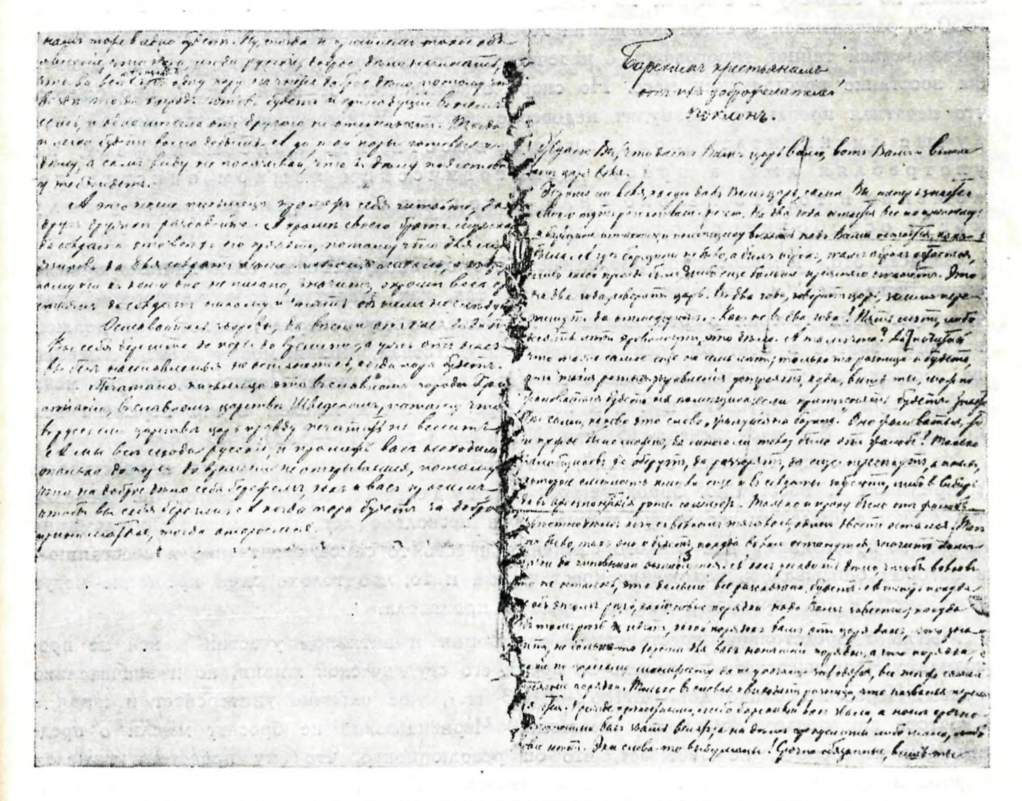
Примерно через год, в записи от 11 июля 1849 г., Чернышевский опять возвращается все к той же постоянной мысли о себе, своих мнениях, связанных со своим политическим настроением и со своею политическою будущностью:

«Политика: а) Теория — красных республиканцев и социалистов... если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян, распустил бы более половины войска, если не сейчас, то весьма скоро, ограничил бы как можно более власть, административную и вообще правительственную... как можно более просвещения, учения, школ. Едва ли бы не постарался дать политические права женщинам.

б) Практика — друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы самим собою пожертвовать... Итак, надежды и желание... в) через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны» (стр. 441—442).

Мысль — особенно на фоне разраставшихся крестьянских волнений по всей России и величайших революционных событий в Западной Европе — о предстоящей народной революции в России, против существующего строя и о безусловном активном личном

участии в ней встречается в дневнике Чернышевского довольно часто. Чаще всего Чернышевский ведет разговоры на эту тему с В. П. Лободовским и А. Ханыковым. В записи от 3 августа 1848 г., передавая свой разговор с Лободовским, Чернышевский сообщает, что «он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию. и не шутя думает об этом: «Элементы, говорит, есть — ведь подымаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию: ...мысль о восстании для предводительства у него уже давно» (стр. 225—226). Вероятно эта же тема была предметом и их другого разговора, когда они «сидели с за-


Барскимъ крестьянамъ
отъ ихъ доброжелателей
поклонъ.

ПРОКЛАМАЦИЯ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО «БАРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ»

С оригинала, переписанного М. И. Михайловым и хранящегося в делах I Отделения 6-го Департамента Правительствующего Сената (ныне в Архиве Революции и Внешней политики в Москве)

творенными дверями и говорили весьма тихо, так что ничего нельзя было слышать, поэтому откровенно, решительно».

А когда Ханыков как участник кружка Петрашевского был арестован, Чернышевский с возмущением, с большим негодованием записывает: «разговаривал о том, как взяла полиция тайная Ханыкова, Петрашевского, Дебу, Плещеева, Достоевских и т. д.— ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д., Орлова и Дуббельта и т. д., должны были бы быть повешены. Как легко попасть в историю,— я например никогда не усумнился бы вмешаться в их общество и со временем конечно вмешался бы» (стр. 419).

Будучи занят мыслями о предстоящем перевороте в России, Чернышевский, насколько ему позволяла студенческая жизнь, пытался непосредственно выяснить настроения трудящихся низов и по мере возможности внушать им свои мысли. Так например, в одной из записей в феврале 1850 г. мы читаем: «...Извозчик на Неве сказал, что за пяточок свезет; я сел и говорил с ним об их положении, как притесняют, только вообще говорил, что должно стараться от этого освободиться... А когда оттуда ехал,

и говорил уже с извозчиками весьма ясно, что (надо) силою, что требовать добром нельзя дождаться» (стр. 502). Примерно такая же запись в другом месте: «Пошел новою дорогою... переходя тут ручеек, нагнулся пить и потерял наконечник ножен шпаги, воротился искать, мужик поднял. Я сказал ему, чтобы он пошел со мной до города, где я разменяю свой целковый... Пошли, стал говорить я, стал вливать в него революционные понятия, расспрашивал, как они живут» (стр. 435).

Но Чернышевский этим не удовлетворяется. У 22-летнего студента возникает более смелая по замыслу и сильная по своему воздействию мысль. В записи от 15 мая 1850 г., рассказывая о своем посещении Лободовского, Чернышевский задумывается над организацией тайной типографии, о напечатании подложного документа, который вызвал бы восстание крестьянских масс. Но скоро отказывается от этой мысли, ибо боится, что печатная пропаганда возбудит недоверие народа. У него зарождается мысль: «не лучше ли написать воззвание к восстанию, а не манифест, не употребляя лжи, а просто демагогическим языком описать положение и то, что только сила, и только они сами через эту силу могут освободиться от этого».

Записав это, Чернышевский продолжает, что он «почувствовал себя личным врагом, почувствовал себя в измененном положении так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренно теперь почувствовал, что я может быть способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные. Посмотрю, что из меня выйдет при моей трусости и таком характере. Этот ток мыслей и эта перемена вся произошла в 8-м часу вечера 15 мая 1850 г.» (стр. 511—512).

Не может быть никаких сомнений, что мысль о написании воззвания к крестьянам с призывом к восстанию, зародившаяся у студента Чернышевского, не исчезла бесследно, а была им же осуществлена через несколько лет. Знаменитая прокламация «Барским крестьянам» вне всякого сомнения и есть то самое «воззвание к восстанию», в котором описывалось положение крестьянства и то, что только сами крестьяне могут освободиться от барского гнета и царского произвола.

Мысль о предстоящей крестьянской революции и активном участии в ней не проходила у Чернышевского не только во время его студенческой жизни, но и значительно позже. Через несколько лет (в 1852—1853 гг.), уже окончив университет и живя в Саратове как педагог местной гимназии, Чернышевский не бросает мысли о предстоящем перевороте, не забывает, что он революционер, что ему предстоит тяжелая борьба в будущем, что он может быть заточен в Петропавловскую крепость. В дневнике мы находим такой записанный Чернышевским разговор со своей невестой:

«Итак, я должен ехать в Петербург. Приехавши туда, я должен буду много хлопотать, много работать, чтобы устроить свои дела. Я не буду иметь ничего по приезде туда; как же я могу явиться туда женатым? С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободою. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени. Я делаю здесь такие вещи, которые пахнут каторгою — я такие вещи говорю в классе».

«Да, я слышала это».

«И я не могу отказаться от этого образа мыслей — может быть с летами я несколько поохладею, но едва ли».

«Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?»

«Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. Теперь я не знаю, охладею ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов как благочестивый схимник каждую минуту ждет трубы страшного суда.

Кроме того у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем...»

«Каким же это образом?»

«Вы об этом мало думали или вовсе не думали?»

«Вовсе не думала».

«Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного кружка, враждебных против настоящего порядка вещей. Готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение одно — когда это вспыхнет? Может быть лет через десять, но я думаю, скорее. А *если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму* участие».

«Вместе с Костомаровым?»

«Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня».

«Не испугает и меня». (О, боже мой! Если бы эти слова были сказаны с сознанием их значения!)

«А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей» (стр. 556—557).

В другом месте, опять объясняясь с невестой, Чернышевский говорит ей: «Меня каждый день могут взять. Какая тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости» (стр. 603).

Почти каждое из этих последних слов оказалось буквально пророческим в дальнейшей судьбе Чернышевского.

Итак, еще в студенческие годы Чернышевский относит себя в лагерь непримиримых и постоянных врагов русского самодержавия, в лагерь борцов против монархического образа правления. Он считает, что монархия — орудие дурное, «прививающее зло к добру», и что ее должна заменить республика, ибо последняя «есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление». Но, как мы видели выше, он стоит за такую республику, которая обеспечивала бы действительное равенство людей, за такую республику, в которой бы «один класс не сосал кровь другого».

Справедливость требует все же отметить, что по вопросу о монархической форме правления Чернышевский около года находился в наивном заблуждении. Находясь под огромным влиянием Гизо, считая его «человеком гениальным», молодой студент увлекся его идеей о социальной надклассовой монархии, которая должна стоять выше всех классов и должна видеть свое назначение в поддержке угнетаемых, в защите интересов широких народных масс. «Итак, я думаю,— записывает он 18 сентября 1848 г.,— что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимала бы свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы и работники, и поэтому монархия должна искренне стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов. И это должно делать от души, по убеждению, и должно конечно знать, что ее роль временная». (стр. 276). Неограниченный монархизм, по мнению Чернышевского, должен развить в русском народе демократический дух, поднять низшие слои населения по умственному развитию и по средствам жизни до высших сословий и потом постепенно сам себя ликвидировать, уступив место народному правлению.

Через год Чернышевский сам понял всю утопичность и несерьезность своих надежд, возлагавшихся на абсолютизм.

«С год должно быть тому назад,— записывает Чернышевский 20 января 1850 г.,— или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа, так что, как скоро начнется народное правление, прав-

ление de jure и de facto перейдет в руки самого низшего и многочисленнейшего класса: земледельцы + поденщики + рабочие, так, чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии, а теперь я решительно убежден в противном — монарх, а тем более абсолютный монарх, только завершение аристократической иерархии, духом и телом принадлежащий к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии». Теперь он посылает абсолютизму проклятие: «погибни, чем скорее, тем лучше, пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться потому, что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах; низшим, которые ты представил на решительное угнетение, на решительное иссосание средних, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают, что они угнетены при настоящем порядке вещей, но что может быть другой порядок вещей, при котором они не будут угнетены; поймут, что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, потому что между угнетающими их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променяет свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас и стал бы искренне, с убеждением, без своекорыстной цели. Вот мой образ мысли о России, ожидание близкой революции и моя надежда ее, хотя я и знаю, что долго, может быть весьма долго, из этого ничего не выйдет... Пусть будут со мною конвульсии,— я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории. Разве и кровь в человеке двигается не конвульсивно. Биение сердца разве не конвульсия. Разве человек идет, не шатаясь. Нет, с каждым шагом он наклоняется и путь его — цепь таких наклонений; глупо думать, что человечество может итти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало» (стр. 496—497).

Следовательно, мысль о перевороте, об участии в нем, вплоть до своей собственной гибели — вот главное содержание мыслей, чувств, переживаний молодого студента. Вот почему по различным поводам, в разных вариантах он повторял одну и ту же мысль:

«Я нисколько не подорожу жизнью,— пишет он 10 декабря 1848 г.,— для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будеть умереть, а не горько, если только в этом буду убежден» (стр. 343).

А его мечты, его убеждения, его теоретические верования сводились к борьбе за такой строй, при котором не должно быть частной собственности на средства производства, не должно быть эксплоатации человека человеком, за строй, именуемый социализмом [1].

«Иду отдохнуть от чувств,— гласит одна из его записей,— спокойных, но слишком сильных. Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и отрадной жизни людей — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии, это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове, это вечная сладостная весна Хиоса» (стр. 637).

---

[1] Напоминаем читателю, что социализм в представлении Чернышевского, о котором он мечтал, был социализмом утопическим, крестьянским, народническим. — *И. Ф.*

11 августа 1858

После Вашего рассказа, мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг Николай Александрович. В Вас я вижу alter ego своего брата, — разница только в том, что та сторона характера, которая [illegible] Вас [illegible] в Вас слишком [illegible] тельно принимать Вам огорчения, связывая Вас в отношения тяжелые и неоправданные, — [illegible] во мне еще сильнее развиться не [illegible] в Вас. Таким образом я, если должен быть Вашим судьей, могу чувствовать только одно: все другие что сделали Вы, сделал бы я [illegible] и все подобное, — зато на многое хорошее, которое тут Вы сделали, недостало бы у меня характера. Я могу только сказать, что каковы бы ни были Вы, Вы все-таки гораздо лучше меня. И если, когда Вам говорят [illegible] уважений, а все-таки [illegible] считать основательным Ваше самопрезрение. Это временный порыв чувства, которое [illegible] в Вас более справедливости к Вашим нравственным достоинствам.

[illegible] Вас, только теперь знаю Вас, [illegible] благородства или безрассудства, а что это такое, гораздо больше нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которых выше натуральной силы человека, становимся аскетами, [illegible] и т. д. разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы безпрерывно сбиваемся в них и опять [illegible] — точно по [illegible], которой [illegible] считать высокую арию — то берет он ноту, не [illegible] по звуку, что. Кроме того [illegible] в результате выходит, что он поет фальшиво, — [illegible] над фальшиво [illegible] — но не забывайте, что он [illegible] берет и других, которые замучивают аккомпаниаторов.

ПИСЬМО Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО К Н. А. ДОБРОЛЮБОВУ ОТ 11 АВГУСТА 1858 г.
Из архива Института Русской Литературы

Таково краткое, очень краткое содержание мыслей, записанных Чернышевским в дневнике, таких мыслей, которые как нельзя точнее определяют слова Ленина, что «от его сочинения веет духом классовой борьбы».

* * *

Второй том «Литературного наследия» состоит из пяти разделов: 1) письма Николая Гавриловича к родным за период с 1846 по 1862 г. (при чем одно письмо относится к 1838 г.); 2) письма к разным лицам за этот же период; 3) письма Чернышевского из Петропавловской крепости; 4) материалы к делу Чернышевского и его заявления властям из Петропавловской крепости за 1861—1862 гг. и 5) задержанные письма из Сибири (1864—1882 гг.) с приложением ряда документов, рисующих обстановку и условия жизни Чернышевского в Вилюйске и то неослабное внимание и всевозможные мелочные придирки, которые проявляли местные власти к заключенному.

В мае 1846 г. Чернышевский выехал из Саратова в Петербург для поступления в университет. С этого времени начинается его регулярная переписка со своими родителями, двоюродным братом А. Н. Пыпиным и др.

В письмах сын аккуратнейшим образом, вплоть до мельчайших деталей, сообщает отцу о ходе вступительных экзаменов и о своих впечатлениях, полученных им от университета и от первых занятий, дает характеристику своим профессорам, товарищам и т. д. Особо бросается в глаза тот факт, что научный мир Петербурга и прежде всего университет — этот «храм науки» — не вызвали в молодом Чернышевском какого-либо особенного восторга или преклонения. Ни метод занятий, ни те ученые премудрости, какими пичкались головы студентов, не могли в какой-либо мере удовлетворить Чернышевского, имевшего, как мы видели, не только исключительно большую и солидную доуниверситетскую подготовку, но и совсем иные умственные запросы. Вот почему не редко в письмах к отцу сын с горечью пишет, что «в университете, кроме вершков ничего не нахватаемся» (стр. 111).

Исключительный интерес к книгам, к библиотекам, к книжным магазинам проходит красной нитью во всей этой переписке. Просветительские черты, любовь к просвещенному Западу, ненависть к суеверной, безграмотной, некультурной России заметна и здесь, хотя, правда, мысли эти формулируются более «мягко» и «осторожно», поскольку была опасность их просмотра цензурою. Но иногда и здесь негодование прорывается наружу. «В самом деле, Саша,— пишет Чернышевский Пыпину,— посмотри, кто до сих пор из России является гением науки? Кончил курс и бросил, а любви к науке для науки, а не для аттестата ни в ком почти нет... Что до сих пор внесли русские своего в науку? Увы, ничего. Что внесла наука в жизнь русских? Тоже ничего; она еще молода-с, всего полтора века-с. Да ведь в XVII в. жили уже Декарт, Ньютон и Лейбниц, а это тоже было только через полтора же-с века-с по восстановлении наук... А? А мы-то что? Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1 500 000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захочем? Таково ли наше назначение? В таком случае лучше родиться гунном, Атиллою, Чингисханом, Тамерланом...» (стр. 43—44). И Чернышевский призывает брата отдать свою жизнь служению науки: «Решимся твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей, чтобы они перестали быть чужим кафтаном, печальным безличьем обезьянства для нас» (стр. 44).

Многие письма содержат в себе политические новости, сообщавшиеся сыном отцу из столицы, касавшиеся перемен в правительственных сферах, мероприятий правительства в области внешней политики, особенно в связи с подготовкой, началом и концом Крымской войны, о предстоящем «освобождении» крестьян и т. д.

Много места в письмах уделяется размышлениям о своей дальнейшей судьбе по окончании университета. Николай Гаврилович всерьез намеревался посвятить себя научной карьере. В связи с этим любопытны письма, в которых рассказывается о мытарствах с подготовкой и защитой им своей магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности». В письме от 21 сентября 1853 г. сын сообщает отцу: «Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через универ-

ситет в настоящем своем виде, то будет оригинальна между прочим в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, всего только одна ссылка. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и потому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общеизвестному образу мыслей об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще у нас очень затмились понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею» (Намек на эпоху Герцена и Белинского.— *И. Ф.).*

В другом месте Чернышевский пишет: «Во внешнем отношении она (диссертация.— *И. Ф.)* имеет ту особенность, что нет в ней ни одной цитаты наперекор общей замашке шарлатанить этой дешевой ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она написана мною набело, случай, едва ли бывавший с кем-нибудь» (стр. 252).

История с защитой диссертации затянулась на целых полтора года. Всякий интерес к ней у автора пропал. И когда наконец состоялся диспут, где диссертация была защищена хорошо и с успехом, Чернышевский сообщает отцу об этом без всякого внутреннего душевного подъема. «Закончился он (диспут.— *И. Ф.*) обыкновенным концом, т. е. поздравлениями, потому что диспут — чистая форма. Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке... Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживленным, но в сущности был пуст, как я впрочем и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени» (стр. 256).

Но Чернышевский скоро от перспектив ученой карьеры должен был отказаться. Он уже вплотную занялся литературно-публицистической и политической деятельностью, став довольно быстро фактическим вождем и руководителем прогрессивной части журналистики, возглавляемой «Современником». Следует отметить, что в этих письмах к родным Николай Гаврилович почти совершенно не упоминает об этой своей литературно-политической деятельности, как и вообще мало распространяется о своих политических настроениях. Любопытно подчеркнуть следующий факт. По дневнику мы видели, как относился Чернышевский к аресту кружка Петрашевского. А в ответе к отцу, интересовавшемуся этим делом, сын в тоне полного безразличия сообщает, что о деле петрашевцев «никто почти не знает и того, было ли действительно что-нибудь, в чем бы можно было участвовать — большая часть думает, что кроме того, что собирались молодые люди, неосторожные на язык и напитанные чтением французских книг, и толковали о политике, едва ли что было... Вообще здесь об этом деле очень мало говорили, т. е. кроме тех, у кого были тут замешаны знакомые, никто и не говорил и не думал, потому что считали это все слишком пустым шумом».

Ясно, что Чернышевский оберегал покой своего отца, к которому, как ярко бросается в глаза в письмах, он питал исключительную любовь (см. например письмо от 9 ноября 1854 г., стр. 232). Желанием сохранить покой своего отца продиктованы и последние два письма Николая Гавриловича, написанные им накануне смерти отца. Рассказывая в письме от 3 октября 1861 г. о Петербурге, встревоженном разными слухами по поводу введения новых правил в университетах, когда «молва, по обыкновению щедрая на выдумки, приплела множество имен, совершенно посторонних делу», Чернышевский предупреждением утешает отца: «Подобные вздорные толки могут доходить и до Саратова. Я не упомянул бы о них, если бы не считал нужным предупредить Вас, чтобы Вы не беспокоились понапрасну... Нет надобности прибавлять, что я держал и держу себя совершенно в стороне от всяких столкновений, потому между прочим, что у меня нет свободного времени для траты на пустяки. Словом сказать, не тревожьтесь слухами о здешних происшествиях, будьте уверены, что до меня они нимало не касаются» (стр. 310—311).

Через несколько недель отец умер, а 7 июля 1862 г. Николай Гаврилович был взят в царский плен на 27 лет (включая сюда и жизнь в Астрахани, которая ведь тоже была ссылкой!), будучи навсегда изъят с общественно-политической арены...

Во втором разделе, состоящем из писем к разным лицам, особо заслуживают внимания своим содержанием и общественным значением письма к Зеленому, Некрасову и Добролюбову.

В пяти письмах к Зеленому, либерально настроенному псковскому помещику, живо интересовавшемуся крестьянским вопросом и горячо сочувствовавшему «Современнику», Чернышевский сообщает политические новости столицы, дает мимоходом характеристики знаменитостям литературного мира (Белинскому, Надеждину, Тургеневу, Островскому и т. д.), давая между прочим убийственный отзыв о славянофилах, которые, по словам Чернышевского, об ином «говорят так, что одна фраза кажется заимствованной из Прудона, а другая, за нею непосредственно следующая, из жития Симеона Столпника, а о другом так — что одна мысль из Белинского, а другая из Булгарина... Славянофил без чепухи жить не может» (стр. 330). Чернышевский убеждает Зеленого включиться в знаменитую в то время полемику об общинном землевладении, начатую Чернышевским со страниц «Современника». «У меня,— пишет Чернышевский,— тут есть разные цели — между прочим и те, которыми заняты Вы. Прямо говорить нельзя, будем говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеею о преобразовании сельских отношений» (стр. 330). Чернышевский просит Зеленого выступить против выдвигаемых им положений, не щадя его мыслей и не стесняясь в выражениях, ибо «тут дело вовсе не в том, безошибочен ли я — я человек, не слишком много думающий о своих познаниях — мы все учились на медные деньги,— пусть я буду совершенно неправ и ничего не смыслю в этом деле — Россия от этого нимало не потеряет. Но скажите, неужели невозможно сохранять принцип: «каждый земледелец должен быть землевладельцем, а не батраком, должен сам на себя, а не на арендатора или помещика работать» (стр. 333).

Из семи писем Чернышевского к Некрасову и пяти писем Некрасова к Чернышевскому мы не только узнаем роль Чернышевского в «Современнике» как настоящего руководителя журнала, но и его отношение к ряду знаменитостей тогдашнего литературного мира (Толстой, Щедрин, Фет, Григорович и др.) и прежде всего к поэзии самого Некрасова. Ленин в 1912 г. в статье «Еще один поход на демократию» писал, что «Некрасов колебался, будучи сам лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского». Письма Чернышевского к Некрасову от 26 сентября и 5 ноября 1856 г. служат яркой иллюстрацией морального воздействия и дружеского убеждения со стороны Чернышевского на Некрасова, безусловно оказавших свое влияние в дальнейшей творческой эволюции Некрасова и в основном вероятно предопределивших поворот Некрасова именно к Чернышевскому, а не к либералам.

Чернышевский в течение всей своей жизни высоко ценил поэтический талант Некрасова:

«Такого поэта, как Вы,— пишет Чернышевский Некрасову,— у нас еще не было. Пушкин, Лермонтов, Кольцов как лирики не могут итти в сравнение с Вами... Не думайте, что я увлекаюсь в этом суждении Вашею тенденциею,— тенденция может быть хороша, а талант слаб, я это знаю не хуже других,— притом же я вовсе не исключительный поклонник тенденции,— это так кажется только потому, что я человек крайних мнений и нахожу иногда нужным защищать их против людей, не имеющих ровно никакого образа мыслей. Но я сам по опыту знаю, что убеждения не составляют еще всего в жизни — потребности сердца существуют, и в жизни сердца истинное горе или истинная радость для каждого из нас. Это и я знаю по опыту, знаю лучше других. Убеждения занимают наш ум только тогда, когда отдыхает сердце от своего горя или радости. Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы — не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами,— я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли,— лично для меня первая привлекательнее

последней, и потому например лично на меня Ваши пьесы без тенденции производят сильнейшее впечатление, нежели пьесы с тенденцией.

«Когда из мрака заблуждения... Давно отвергнутый тобою... Я посетил твое кладбище... Ах, ты, страсть роковая, бесплодная...» и т. п. буквально заставляют меня рыдать, чего не в состоянии сделать никакая тенденция. Я пустился в откровенности, но только затем, чтобы сказать Вам, что я смотрю (лично я) на поэзию вовсе не исключительно с политической точки зрения. Напротив,— политика только насильно врывается в мое сердце, которое живет вовсе не ею или, по крайней мере, хотело бы жить не ею» (стр. 341).

Такой теплый и восторженный отзыв о поэзии Некрасова отчасти может быть объяснялся со стороны Чернышевского продолжительной хандрой Некрасова, теми ипохондрическими настроениями, тем душевным разладом, которыми был заражен поэт в то время[1]. Но, повторяем, и позже в письмах из ссылки и в воспоминаниях, написанных Пыпину из Астрахани, Чернышевский всегда очень высоко ценил поэзию Некрасова.

Два письма к Тургеневу очень интересны как документы, характеризующие отношение Чернышевского к этому писателю в первый период их знакомства, т. е. еще до разрыва Тургенева с кружком «Современника», до перехода Тургенева в лагерь *Дружинина и К°*. Еще в *письме к Некрасову Чернышевский пишет, что «оскорблен»* обидою Тургенева, нанесенною последнему Катковым, более, нежели обидою, которая была бы нанесена ему самому: «Пусть бранят, кого хотят, но как осмелиться оскорблять Тургенева, который лучше всех нас и, каковы бы ни были его слабости (его излишняя доброта есть слабость), все-таки честнейший и благороднейший человек между всеми литераторами!» (стр. 348).

Чернышевский в авторе «Записок охотника», «Муму», «Двух приятелей», «Затишья» видит пока союзника против Катковых, Дружининых и всячески хочет оторвать его от людей, мнениями которых Тургенев очень дорожил, т. е. от всех этих Дружининых, Дудышкиных, Боткиных с братиею, которые может быть и «прекрасные люди, но в делах искусства или в другом чем-нибудь подобном не смыслят... Ум этих людей быть может очень грациозен и тонок, но он слишком мелок» (стр. 358). Повторяем, Чернышевский в это время еще не разгадал в лице Тургенева скрытого противника, единомышленника Дружинина, представителя либерально-дворянского крыла русской литературы. Впоследствии, и довольно скоро, Чернышевский резко переменил свой взгляд на Тургенева как на писателя и как на человека.

Тридцать писем Чернышевского к Добролюбову и шесть писем последнего к первому дают яркое представление о той страстной взаимной дружбе, какая существовала между этими самыми великими и замечательными людьми 60-х гг. Чернышевский не один раз писал, что он относился к Добролюбову, как к сыну или брату. Из всех опубликованных писем Чернышевского самое сильное впечатление производит письмо от 11 августа 1858 г., посланное Добролюбову за границу. В нем Николай Гаврилович между прочим писал:

«После Вашего рассказа мне остается только удивляться сходству основных черт в наших характерах, милый друг, Николай Александрович. В Вас я вижу как будто своего брата,— разница только в том, что те стороны характера, которые кажутся Вам дурными в Вас и которые действительно приносят Вам огорчения, ввязывая Вас в отношения тяжелые и неопределенные, — эти стороны во мне

[1] Впрочем и сам Чернышевский писал это письмо в очень подавленном состоянии, вызванном большими семейными неприятностями, переживаемыми им в это время. Именно отсюда его мимолетные рассуждения о том, что для него его личные дела «имеют более значения, нежели все мировые вопросы», что «политика только насильно врывается в его сердце» и т. д., — рассуждения, опровергаемые решительно всей его деятельностью.

Слова же Чернышевского о том, что в художественной литературе он вовсе «не исключительный поклонник тенденции», что он смотрит на поэзию «вовсе не исключительно с политической точки зрения» только лишний раз подтверждают всю беспочвенность легенды буржуазной историографии об его голом просветительстве и примитивном утилитаризме.

еще сильнее развиты, нежели в Вас. Таким образом я, если должен быть Вашим судьею, могу чувствовать только одно: все дурное, что сделали Вы, сделал бы я и постоянно делаю нечто подобное,— зато на многое хорошее, которое тут же Вы делали, недостало бы у меня характера. Я могу только сказать, что каковы бы ни были Вы, Вы все-таки гораздо лучше меня. А если, как я Вам говорил, я не лишен некоторого уважения к себе, то тем менее могу считать основательным Ваше самопрезрение; это временный порыв чувств, которое уступит место в Вас более справедливому мнению о Вашем нравственном достоинстве.

Мы с Вами, сколько теперь знаю Вас, люди, в которых великодушия или благородства или героизма или чего-то такого гораздо больше, нежели требует натура. Потому мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, становимся ангелами, христами и т. д. Разумеется, что ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспрестанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх,— точно певец, который запел слишком высокую арию,— то берет он ноты, недостижимые для других певцов, то хрипит, пищит, в результате выходит, что он поет фальшиво,— смейтесь над фальшивыми нотами, но не забывайте, что он вместе с ними берет и другие, которые заслуживают аплодисментов.

Если бы я хотел Вам исповедываться, я рассказал бы Вам о себе подвиги более гнусные, нежели все то, что Вы рассказываете о себе. Поверьте мне на слово,— или прочтите Confessions Руссо, там рассказывается многое из моей жизни, но далеко не все. А все-таки, повторяю, я человек хороший,— а Вы лучше меня, в этом убежден, как 2×2=4. Чорт с ними, с подлостями,— мы люди, мы не можем быть, подобно мифическим существам наших Четь-Миней, без слабостей. А все-таки мы очень хорошие люди. Будем принимать себя такими, как мы есть,— поверьте, мы все-таки лучше 99 из ста людей. О чем же горевать? «Зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай», по пословице иначе сказать: мы всегда с Вами хотим поступать хорошо — удалось поступить хорошо в самом деле — ну, благодари себя за это, не удалось — я утешаюсь тем, что в сущности хотел хорошего,— вышла гадость, ну, чорт с нею, я не хочу и помнить о ней» (стр. 363—364).

Заслуживает не меньшего внимания и интереса письмо Чернышевского к Добролюбову, написанное во время его поездки в Лондон (в июне 1859 г.) к Герцену с целью объяснения с последним по поводу напечатания им статьи в «Колоколе» с инсинуациями по адресу «Современника» (т. е. по адресу прежде всего Чернышевского и Добролюбова).

«Оставаться здесь долее было бы скучно. Разумеется, я ездил не понапрасну, но если бы знал, что это дело так скучно, не взялся бы за него... Но боже мой, по делу надобно вести какие разговоры. Не хочу писать... Но если хотите вперед узнать мое впечатление, попросите Николая Алексеевича (Некрасова.— *И. Ф.*), чтобы он откровенно высказал свое мнение о моих теперешних собеседниках (Герцен, Огарев. — *И. Ф.*) и поверьте тому, что он скажет. Он ошибается разве в одном: скажет все-таки что-нибудь лучшее, нежели сказал бы я об этом предмете. Кавелин в квадрате — вот Вам все» (стр. 365—366).

Через 29 лет, живя уже в Астрахани, совершенно по другому поводу, в письме к К. Т. Солдатенкову, Чернышевский бросает фразу, имеющую непосредственное отношение к поездке в Лондон. «Вы знаете, какой у меня характер на самом деле? Я мягок, деликатен, уступчив — пока мне нравится забавляться этим. Но женщине ли держать меня в руках? Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра. Я медведь. Я ломал людей, ломавших все и всех, до чего и до кого дотронутся. Я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова, и он вертелся передо мной, как школьник); я ломал Некрасова, который был много покрепче Герцена» (т. III, стр. 349).

Преждевременная смерть Добролюбова потрясла Чернышевского. 10 февраля 1862 г. Чернышевский, сообщая близкой знакомой Добролюбова Т. К. Гринвальд о его смерти, прибавляет: «Когда увидимся с Вами, поцелуемся и поплачем вместе о нашем друге... Вот уже редкий день проходит у меня без слез... Я тоже полезный человек, но лучше бы я умер, чем он... Лучшего своего защитника потерял в нем русский народ» (стр. 395).

В конце этого раздела, в «Приложении», помещено замечательное письмо «русского человека», которое было послано Герцену и опубликовано последним в «Колоколе» в марте 1860 г. А. Слепцов, видный член тайного общества первой «Земли и Воли», категорически свидетельствует в своих воспоминаниях: «Писано Н. Г. Чернышевским и прочитано мне до отправления к Герцену». Большинство современных исследователей Чернышевского сходится также на мысли, что это письмо написано Чернышевским. И по образу мыслей, и по стилю, и по занимаемой Чернышевским позиции во время так называемых «крестьянских реформ» видно, что это письмо принадлежит перу именно Чернышевского, и только одна редакция тома как-то невразумительно оспаривает это. В этом письме, издеваясь над всеми,— в том числе и над собою,— что «после издания рескриптов (Александра II об отмене крепостного права.— *И. Ф.*) все очутились в чаду, как будто дело кончено, крестьяне свободны и с землей... забывши, что дело крестьян вручено помещикам»; беспощадно бичуя либералов за то, что в момент, когда крестьян «помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением» и «крестьяне готовы взяться за топоры», «либералы проповедуют в эту пору умеренность и исторический постепенный прогресс», Чернышевский заканчивает письмо призывом к Герцену:

«Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и т о л ь к о т о п о р м о ж е т н а с и з б а в и т ь, и н и ч т о, к р о м е т о п о р а, н е п о м о ж е т! Эту мысль вам кажется высказывали, и оно удивительно верно,— д р у г о г о с п а с е н и я н е т. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит набат! К т о п о р у з о в и т е Р у с ь.— Прощайте и помните, что сотни лет уже губит Русь вера в добрые намерения царей. Не вам ее поддерживать» (стр. 408. Подчеркнуто автором.— *И. Ф.*).

Из третьего раздела, включающего письма Чернышевского из Петропавловской крепости, особо выделяется знаменитое письмо от 5 октября 1862 г., к содержанию и тону которого придиралась следственная комиссия, обвиняя Чернышевского в самомнении и самовозвеличении. В этом письме Чернышевский успокаивает свою жену, умоляет ее не унывать, не тосковать, быть спокойной и сохранить твердость характера.

«Скажу тебе одно,— пишет он,— наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, *и наши имена все еще будут милы людям;* и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» (стр. 411).

Дальше он излагает перед женой перспективы своей научной деятельности по выходе из крепости. Согласно этого плана, Чернышевский собирался приняться за многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», а затем за многотомный «критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории, и ряд других серьезных работ, предназначенных для широких масс всего мира. «Чепуха в голове у людей, потому они и бедны, и жалки, злы и несчастны; надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано еще никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» (стр. 412). Прося жену держать этот его план пока в секрете, он оговаривается, что сообщил ей все это для того, чтобы она видела, *«как далек я от всякого уныния,— о, нет, мой друг, редко когда бывал я так спокоен и доволен, как в это время»* (стр. 412).

Должно быть отмечено также письмо к жене от 7 июля 1862 г., в котором, успокаивая жену относительно своей судьбы, заверяя ее, что против него улик не было, нет и не будет, что он арестован совершенно напрасно и потому скоро будет освобожден на волю, Чернышевский издевается над политической полицией, не умеющей, по его мнению, чисто и аккуратно исполнять своих прямых обязанностей. Веря ложным слухам и всяким вздорам, политическая полиция арест-то его произвела, а конкретных обвинений не оказалось. Теперь полиция непрочь была бы извиниться перед ним и выпустить его, но боится, что Чернышевский не примет извинений и в свою очередь предъявит ей важное обвинение, поставив ее в положение обвиняемой перед правительством. Любопытно, что в деле Чернышевского сохранилась следующая характ-

дашная записка начальника III Отделения Потапова: «Копия с довольно любопытного письма Чернышевского к его жене, удержанного комиссией, но он ошибается: извиняться никому не придется» (стр. 416).

Известно, что потребовался примерно годичный срок на фабрикацию фальшивок, чтобы на основании их сослать Чернышевского на каторгу.

Из четвертого раздела, состоящего из материалов к делу Чернышевского и его заявлений властям из Петропавловской крепости, в первую очередь должны быть упомянуты анонимное письмо к Чернышевскому, относящееся к концу 1861 г., и два анонимных письма с донесением на него же начальнику III Отделения.

В анонимном письме самому Чернышевскому писалось: «Неужели мы не видим Вас с ножом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление Вашего журнала нам понятно, да и «Великорусс» — Ваше произведение), которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с маратовским восторгом принесут в жертву, для осуществления своих бредней, наши имущества, нас самих, наши семейства? Вы думаете, что мы настолько просты, что будем жертвовать собой ради социализма, признанного наукой несчастным произведением больного ума... Кого вы презираете? Лучшее сословие в России, дворянство. На кого Вы надеетесь? На полудикое сословие, мужиков, людей, религия которых заключается в одной еде и гимнастических упражнениях. Вы хотите безусловной демократии... Кого же Вы пугаете?! Ха, ха, ха!.. Мы люди благородные и потому бесстрашно встретим смерть, защищая права законные, несомненные... Нас много... Теперь мы настороже, и, поверьте, не станем с Вами нежничать... Считаем не лишним заметить Вам, господин Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем Вас... или кого-нибудь из Вашего семейства, и, вероятно, Вы не успеете запастись телохранителем» (стр. 432—434).

А другой автор в июне 1862 г., за несколько недель до ареста Чернышевского, писал начальнику царской тайной полиции:

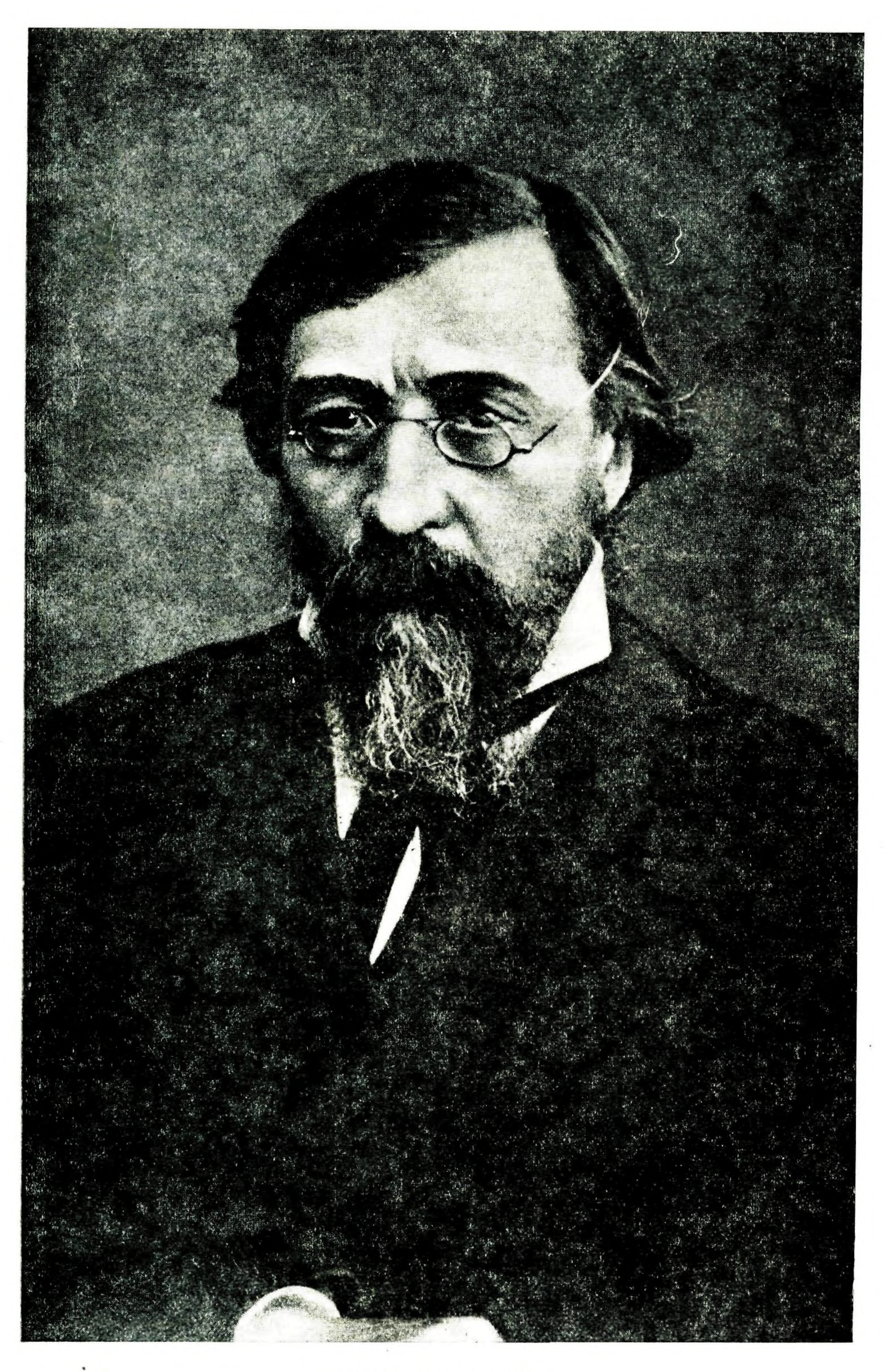
«Благонамеренной литературе давайте ход. Не тесните: это хуже, но Чернышевского с братиею, с «Современником» уничтожьте. Не по чувству личной вражды — я его не знаю, а по чувству самосохранения твержу вам: избавьте нас от Чернышевского и его учения. Это враг общества, и враг опасный — опаснее Герцена. От домашнего вора не упасешься, так и с ним: он осторожен, хитер и зол. Прислушайтесь к толкам ученого кружка, все того мнения, что я говорю, что я вынес из бесед с учеными, где верчусь иногда» (стр. 434).

А ровно через неделю после ареста Чернышевского тот же адресат писал тому же начальнику тайной полиции: «Спасибо вам... что засадили Чернышевского. Спасибо от многих. Только не выпускайте лисицу, пошлите его в Солигалич, Яренск, что-нибудь в этом роде. Это опасный господин, много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием» (стр. 436).

Эти три письма свидетельствуют не только о классовой сознательности врагов Чернышевского, не только о напряженности классовой борьбы во время реформ, но и служат показателем того, насколько господствующая клика понимала роль и значение Чернышевского как идеолога и вождя народной крестьянской революции.

В пятом разделе, содержащем задержанные письма из Сибири, заслуживают особого внимания письма к сыновьям, в которых отец излагает основные вопросы человеческого знания и ставит вопрос о применении философии к естествознанию, исходя из своих философских воззрений. Чернышевский в на редкость резкой, язвительной форме разносит идеалистическую философию, оказывавшую отрицательное влияние на развитие точных наук. Особенно он обрушивается на представителей нового направления в математике и астрономии, которые слишком пусто и в то же время самонадеянно «философствуют», не имея абсолютно никакого понятия о самой философии или заимствуя свою аргументацию из философии Канта.

Со всей беспощадностью, свойственной большому логическому и страстному уму, Чернышевский вскрывает и разоблачает идеалистические корни кантовской философии, издеваясь над идеей непознаваемости «вещи в себе» и нереальности объективного мира.



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
С фотографии (1882 г.), хранящейся в Государственном Музее Революции СССР

«Система Канта,— пишет он,— галиматья; галиматья, слепленная гениальным человеком громадной силы; галиматья гениальная, но совершенно вздорная галиматья... Система Канта — мелкотравчатая, трусливая система» (стр. 482—483). Давая такую резкую оценку философской системе Канта, он одновременно защищает эту систему от тех извращений и фальсификаций, каким она подвергалась со стороны ученых типа Гельмгольца. Как бы ведя диалог с последним, Чернышевский в письме от 18 марта 1878 г. пишет:

«Душенька, ни математику, ни вообще натуралисту непозволительно «смотреть» ни на что «вместе с Кантом». Кант отрицает все естествознание, отрицает и реальность чистой математики. Душенька, Кант плюет на все, чем ты занимаешься, и на тебя. Не компаньон тебе Кант. И уж был ты прихлопнут им, прежде чем вспомнил о нем. Это он вбил в твою деревянную голову то, с чего ты начал свою песнь победы,— *он вбил в твою голову это отрицание самобытной научной истины в аксиомах геометрии.* И тебе ли, простофиле, толковать о «трансцедентально данных формах интуиции» — это идеи, непостижимые с твоей деревенской точки зрения. Эти формы придуманы Кантом для того, чтобы отстоять свободу воли, бессмертие души, существование бога, промысл божий о благе людей на земле и о вечном блаженстве их в будущей жизни, — чтобы отстоять эти дорогие сердцу его убеждения от кого? — собственно от Дидро и его друзей; вот о чем думал Кант. И для этого он изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями. Дидро опирался на естествознание, на математику,— у Канта не дрогнула рука разбить вдребезги все естествознание, разбить впрах все формулы математики: — не дрогнула у него рука на это, хоть сам он был натуралист получше тебя, милашка, и математик получше твоего Гауса» (стр. 499—500).

Так разделываясь с философской доктриной Канта и современным ему эпигонством, Чернышевский противопоставляет им свою точку зрения, исходя из основ философии Фейербаха: «Моя точка зрения на это? — точка зрения Лаланда и Лапласа,— точка зрения Людвига Фейербаха» (стр. 500).

Недаром Ленин считал, что «Чернышевский — единственный действительно великий русский писатель, который сумел с 50-х гг. вплоть до 1888 г. остаться на уровне цельного философского материализма и отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путаников. Но Чернышевский не сумел, вернее не мог, в силу отсталости русской жизни, подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса».

Таково краткое содержание второго тома.

Переходим к третьему тому.

* * *

1 марта 1881 г. бомбой народовольца Гриневицкого был убит Александр II. Придворная клика, желая, чтобы акт восшествия на престол Александра III прошел благополучно, вступила в переговоры с руководством «Народной Воли», от террористической деятельности которой черносотенцы приходили в ужас и ожидали в дни коронации всяческих неприятностей. Исполнительный комитет народовольцев в числе требований, предъявленных господствующей камарилье, выставил и требование о возвращении из Сибири Чернышевского. Хотя соглашения и не состоялось, но, поскольку коронация прошла благополучно, самодержавное правительство решило «расщедриться» и по ходатайству сыновей Чернышевского позволило последнему возвратиться из Сибири, разрешив поселиться не в столице и даже не в родном Саратове, а только в Астрахани, т. е. фактически в замаскированной форме одно место ссылки было заменено другим.

В основу третьего тома и легло собрание писем Чернышевского за этот период его жизни. Кроме 518 писем самого Чернышевского в этот том включены также письма к нему его жены, А. Н. Пыпина, Захарьина, Солдатенкова, Барышева-Мясницкого, Короленко, Гольцева, Панаевой, Маркович, Антоновича и других, рисующие не только историческую и бытовую обстановку деятельности и жизни Чернышевского, но и имеющие самостоятельный культурно-исторический интерес.

Понятно, для нас наиболее интересен и важен первый отдел тома, состоящий из писем самого Н. Г. Чернышевского.

По переписке Чернышевского в астраханский период его жизни современный читатель может отчетливо представить себе ту потрясающую картину утонченных нравственных пыток, каким подвергался наш величайший мыслитель и революционер не только со стороны царского правительства, но и со стороны псевдо-прогрессивных, либеральных и либерально-народнических журналов, газет и издательств вроде «Вестника Европы», «Русских Ведомостей» и «Русской Мысли», возглавляемых всеми этими Стасюлевичами, Гольцевыми, Чупровыми и т. д. и т. п.

За последнее время некоторые исследователи правильно заостряют вопрос на том, что историкам-марксистам надо разоблачить существовавшую и пока еще существующую легенду, что будто бы Чернышевский возвратился из ссылки разбитым человеком, с психическим надломом, умственно ослабленным и отставшим, совершенно будто бы не способным к серьезной теоретической и литературно-публицистической деятельности. Эта подлая легенда, созданная либеральным народничеством и буржуазным либерализмом 80-х гг., понадобилась последним для того, чтобы, с одной стороны, прикрыть и оправдать собственное политическое и моральное ничтожество, а с другой — преградить Чернышевскому дорогу к научно-литературной работе в своих журналах и газетах, которые по своему идейно-политическому уровню, по сравнению с уровнем мировоззрения Чернышевского, были очень низкими, действуя «применительно к подлости». Чернышевский и после возвращения из ссылки был энциклопедистом своего времени, на несколько голов по своим умственным способностям и знаниям превосходящим своих современников.

Все письма Чернышевского, вошедшие в этот том, почти от первого до последнего, служат ярким опровержением этой возмутительной легенды. В первом же письме к А. Н. Пыпину, на другой день по приезде из Сибири в Астрахань, от 22 октября 1883 г., написанном очень неровным дрожащим почерком, указывающим на сильную взволнованность Николая Гавриловича, последний уведомляет брата: «Что буду писать, уведомлю после. Знай только, что я еще сохранил способность по целым месяцам работать изо дня в день, с утра до ночи, не утомляясь. Вообще я физически сохранился очень хорошо и не замечаю в себе никакой важной умственной и нравственной перемены с той давней поры, как ты видывал меня лично» (стр. 3). На все советы Пыпина отдохнуть, не торопиться работать, успокоить свои нервы, Чернышевский отвечал: «Ты думаешь, что мое здоровье хило, что я должен жить в праздности, потому что работа убьет меня: мой друг, это лишь напрасные опасения, внушаемые тебе любовью ко мне. Я желал бы, чтобы твое здоровье было хоть наполовину столько прочно, как мое» (стр. 82). А в письме к тому же Пыпину от 19 ноября 1883 г., еще раз со всею резкостью подчеркивая, что он себя чувствует здоровым и работоспособным, продолжает: «...Работаю, мой милый. Но недоволен тем, что работаю менее быстро, чем следовало бы. Так это и будет, пока получу сведения, которых жду» (стр. 10—11).

А «сведения», которых он ждал, касались вопроса о возможности для него литературной деятельности, разрешения от правительства печататься в легальных органах.

Большое стремление к литературной деятельности вызывалось не только тем, что Чернышевский приехал с большим, еще в Петропавловской крепости и в Сибири продуманным планом своей научной деятельности, но и большой материальной нуждой, которую ему и его семейству приходилось испытывать. Больной сам, больная жена, психически больной сын, большие долги Пыпину и другим, накопившиеся за двадцатилетний период пребывания его в крепости, на каторге и в ссылке,—все эти обстоятельства требовали денег, денег и еще раз денег.

А деньги могли быть только от его литературной деятельности. Но первые же его попытки начать эту деятельность натолкнулись на сообщение, что запрет на его литературную деятельность, действовавший со времени его отправки в Сибирь, еще не снят. Его жена, Ольга Сократовна, сообщает, что Николай Гаврилович — этот человек с канатными нервами, несгибаемой волей и стальным сердцем — буквально плакал, когда узнал об этом известии. Жажда кипучей деятельности после двадцати-

летней безработицы (выражение самого Чернышевского) и невозможность ее проявления, нищенское состояние семьи, полная бесперспективность в смысле выхода из этого состояния — вот картина первого этапа астраханской жизни Чернышевского. Эта картина дополнялась той средой мелочных, пустых, невежественных обывателей, которая ежедневно окружала Чернышевского. Рыбопромышленники и монашки, мелкие астраханские чиновники и продавцы бакалейных товаров, домохозяйки и всякий обывательский сброд были постоянным его окружением. «Я житель того самого острова, — пишет он Пыпину, — на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо со своим другом Пятницей. Я не лишен нежных приятностей дружбы. Но все здешние друзья мои — Пятницы... мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии, уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов» (стр. 295).

Поэтому будет неудивительным встретить иногда в письмах жены Чернышевского такие строки: «Наш Н. Г. сильно хандрит (иногда замечаю, что и плачет). Работы никакой нет!» «Слава богу! — пишет в другом письме она же.— Саша приехал к нам, и теперь отцу его не так будет скучно. А то, глядя на него, у меня вся душа изныла. И какой он стал нервный, раздражительный — страх!» (стр. 37). В письме к сыну Николай Гаврилович со своей стороны просит «тех, кому случается думать обо мне с расположением... выбросить из головы заботы о моих расстроенных нервах и моей дряхлости и т. д. Все эти фантазии очень милы. Но благодаря им я целые два месяца оставался без работы, и пока они не будут отброшены Вами, мои друзья, я буду оставаться нищим» (стр. 45).

Но вот наступает период в жизни Чернышевского, когда в результате хлопот его близких друзей, особенно Захарьина, запрет на литературную деятельность был «снят». Но это снятие произошло на таких условиях, которые на деле не давали возможности вести какую-нибудь серьезную научно-литературную работу. «Вопрос о праве Ваших занятий в печати,— пишет Захарьин Чернышевскому,— вчера выяснился. Работать можете, присылая все написанное ко мне на мое имя, а я уж от себя буду представлять присланное в цензуру. Статьи Ваши будут появляться под псевдонимом, а под каким — сейчас сказать не могу, боясь, что настоящее письмо может как-нибудь затеряться и быть прочтено посторонним лицом, не склонным к молчанию... Главным условием поставлено, чтобы появление Ваших статей не было встречено какими-нибудь неразумными писателями излишней болтовней или овациями и чтобы псевдоним не был разоблачен. Хотя последнее и трудно, но будем стараться о молчании и предупреждать о сем других» (стр. 573).

Ясно, что при таких драконовских ограничениях Чернышевскому не приходилось надеяться на выполнение своих больших научно-литературных замыслов. Но поскольку иного выхода не предвиделось, ему ничего не оставалось делать, как пробовать писать отдельные статьи научного, а также и беллетристического содержания, в то же время резко заявляя всякому, кому следовало знать, что он не намерен продавать свои принципы, не расположен приспосабливаться к существующим порядкам, не намерен к концу своей жизни терять свое политическое лицо. Когда ему однажды намекнули, что хотели бы заполучить его рецензию на книжку одного автора (Роменса), при чем, заранее, по заказу, панегирического характера, Чернышевский коротко, но ясно и недвусмысленно заявляет: «Писать панегирик по заказу — это не совсем сообразно с моим характером; потому я для этого не гожусь» (стр. 55).

В письме к Захарьину от 19 февраля 1885 г. Чернышевский пишет: «Из Вашего письма вижу, что мои философские статьи не годятся для «Вестника Европы». Я нимало не в претензии. Я не принадлежу к школе, в духе которой пишет философ «Вестника Европы» Кавелин: быть может в моей статейке, принять которую отказался Стасюлевич, есть что-нибудь слишком ясно несообразное с какими-нибудь мыслями Кавелина (статьи которого никогда не были читаемы мной)» (стр. 106—107).

Такой образ мыслей и такой метод поведения не могли импонировать трусливой, своекорыстной, приспособленческой либеральной и народнической журналистике. Делая вид, что они возмущены учиненной расправой правительства над Чернышевским,

руководители этих органов печати со своей стороны не только не предоставляли страниц своих органов для Чернышевского, но даже наоборот: делали все возможное, чтобы или не дать ему работы или очернить даже ту, какую он проделывал независимо от них. 26 декабря 1888 г. в письме к К. Т. Солдатенкову Чернышевский писал: «Издатель и редактор «Вестника Европы» Стасюлевич принадлежит к числу людей, считающих меня простым крикуном, не вполне честным. Когда я, возвратившись из отдаления в Россию и не имея никаких средств к жизни, просил у него работы, он отказал мне».

Любопытно и другое письмо Чернышевского, по которому видно, с каким заслуженным высокомерным презрением относился он ко всей этой журнальной братии. Мы имеем в виду письма к В. А. Гольцеву и к В. М. Лаврову. Чернышевский посылает свою статью «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» в редакцию «Русской Мысли», редактируемой Гольцевым. Сначала в редакции были колебания, поместить ли ее. Потом все же статья была опубликована с редакционным примечанием, которое вызвало со стороны Чернышевского не только, по его выражению, «досаду», но и предъявление ультиматума: «Я не могу допустить, чтобы журнал, в который я посылаю статьи, брал на себя суд о их содержании» (стр. 302). А в письме к издателю «Русской Мысли» В. М. Лаврову Чернышевский, также напоминая об этом редакционном примечании, еще резче ставит вопрос: «Вам показалось, что я такой сотрудник, как другие, которые представляют свои произведения на оценку редакции. Вы взялись судить, следует ли или не следует напечатать статью, присланную мною. Этого я допустить не могу. Никакого и ничьего кроме цензурного посредничества между мною и типографией я не допускаю... Но если вы не считаете возможным отправить, не читая сами... в типографию присылаемое мною, то мое сотрудничество невозможно. Да или нет — я прошу Вас сказать просто: «да» или «нет». Никаких оговорок я не допускаю» (стр. 359—360).

В самом деле, как же назвать поведение либеральной и народнической журналистики, как не соучастием в политическом и физическом умерщвлении Чернышевского, когда перед гигантом мысли они закрыли двери своих газет, журналов и издательств?![1].

Большую часть своего времени за последние шесть лет своей жизни Чернышевский провел за переводами Шрадера, Спенсера, «Всеобщей истории» Вебера и т. д. Особенно много трудов Николай Гаврилович потратил на последний перевод: всего с 1885 г. по 1889 г. Чернышевским было переведено 11½ томов. Из писем Чернышевского видно, что он лично смотрел на предпринятое Солдатенковым издание этой веберовской «Истории» лишь как на форму замаскированной материальной помощи ему, переводчику. Чернышевский все время мучился, что получаемый им гонорар есть замаскированная благотворительность со стороны Солдатенкова, ибо, по мнению Чернышевского, «История» Вебера настолько имела низкий научный уровень, что переведенные им тома Вебера будут обречены заполнять подвалы книжных складов Солдатенкова. «Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне; я теряю время на переводческую работу (по 10—15 часов в сутки в течение 4 лет.— *И. Ф.)*, неприличную для человека моей учености — скажу без ложной скромности — умственных сил... Книга Вебера — добросовестная компиляция, составленная человеком, не знающим того, что он переписывает — из монографий. С ученой точки зрения книга Вебера — дрянь» (стр. 333, 400).

---

[1] За пределами этой журналистики существовала только пресса Сувориных и Катковых. А как он относился к этой прессе, лучше всего видно по ответу, какой он дал на вопрос, знаком ли он с ней. «Не читал (газету Суворина. — *И. Ф.*) и не имею желания пополнить этот пробел моих литературных впечатлений, держась того же правила, каким руководился Чацкий, кажется:

Я глупостей не чтец,
А пуще образцовых.

Если ты скажешь, что в этой цитате слово «глупостей» надобно заменить словом «мерзостей», не противоречу... Какое же нам дело до пошлостей Суворина, или хотя бы тех трактирщиков, половыми у которых служат Суворины и компания?» (стр. 295).

Правда, у Чернышевского, когда он приступал к переводу, кроме материальной заинтересованности была и другая цель:

«Книга Вебера — дрянь... Мне хотелось бы, пользуясь именем Вебера для устранения с обертки моего непригодного к печати имени, написать новый мой рассказ о всеобщей истории» (стр. 400). «Я не имею права выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить прикрытием для трактата о всеобщей истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский языки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций» (стр. 333).

Но этим замыслам переводчика не удалось осуществиться, ибо издатель не мог не считаться с либеральным общественным мнением, которое в лице того же «Вестника Европы» упрекало переводчика в непочтительной попытке «очистить» Вебера.

Отношение к переводным работам других авторов было еще отрицательнее. Так например, окончив перевод книг Карпентера и Шрадера, Чернышевский в письме к Ю. П. Пыпиной пишет: «Прошу лишь о двух вещах: 1) ни на книжке Карпентера, ни на книжке Шрадера не выставлять моего имени; 2) прошу Сашеньку сказать издателю, что я не желаю иметь экземпляров этих переводов, мне совестно и думать об этих моих работах, особенно о второй, о работе над Шрадером, которую сделал я лишь по праву нищего получить деньги задаром, в убыток дающему их благотворителю. Разумеется, когда я буду иметь возможность, возвращу издателю деньги и выражу ему мою благодарность за то, что он подавал милостыню нищему» (стр. 52).

Чернышевский с исключительным вниманием следил за иностранной литературой. В письме Пыпину Николай Гаврилович пишет: «Ты спрашиваешь, получаю ли я иностранные журналы. Получаю (идет перечисление трех журналов.— *И. Ф.*)... Читаю их от первого объявления до последнего, все, все сплошь» (стр. 101—102). Следя за иностранной жизнью и научной мыслью Запада, всячески интересуясь ею, Чернышевский одновременно, даже при огромных материальных лишениях, избегал писать о русских делах, о русской науке и литературе. В письме к Пыпину от 19 декабря 1884 г. он пишет:

«Захочу ли я написать об Островском? И согласны ль мои мысли о нем с уважением журналистов к нему? Согласны. Об Островском я думаю с большим уважением, но — я не имел бы особенной охоты писать о чем бы то ни было из русской жизни. Я предпочитал бы писать о вопросах или чисто научных, или по крайней мере не имеющих отношения к специально русским житейским вещам. Признаться ли? Собственно русская жизнь довольно мало интересует меня. И рассуждать о русской литературе мне скучно» (стр. 89).

Из других писем Чернышевского отметим его письмо к Пыпину от 9 декабря 1883 г. Пыпин сделал предложение Чернышевскому написать ему воспоминания о знаменитостях 60-х гг., с какими приходилось сталкиваться Чернышевскому, с присовокуплением просьбы: писать это, когда будут складываться воспоминания спокойные, нимало не волнуя и не раздражая Чернышевского. Последний на это отвечает:

«Мой милый, я не считаю возможным, чтобы воспоминания о Тургеневе и остальной компании заключали в себе что-нибудь способное навевать на меня какое-нибудь настроение духа, кроме склонности задремать. А, по-твоему, они могут «волновать» или «раздражать» меня. Что-нибудь одно: или ты имеешь очень фантастические представления обо мне, или я совершенно ошибаюсь в своих понятиях о том, чем я интересуюсь и чем вовсе не интересуюсь. Те люди были просто-напросто не интересны мне, и в воспоминаниях моих об этих — впрочем или милейших или очень почтенных людях — нет ровно ничего интересующего меня... Попросив меня не волноваться и не раздражаться, ты продолжаешь, что «был бы рад, если бы это» - мои воспоминания о Тургеневе и всей компании — «писалось в духе простого добродушия». Увы, мой друг, едва ли я доставлю тебе радость находить, что я пишу в духе добродушия. Писать я буду в духе скучающего, писать о том, что нимало не интересует его. А дух скуки, я полагаю, очень близок к духу добродушия, и если разнится от него чем, то разве тем, что уж чрезмерно кроток; это ультрадобродушие, или, пользуясь

гоголевским термином, это — «добродушие-матрадура, то-есть двойное добродушие». На деле это, кроме шуток, будет совершенно добродушно» (стр. 28—29).

Второй отдел тома и содержит литературно-политические воспоминания Чернышевского о Некрасове, воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым, воспоминания о начале знакомства с Н. А. Добролюбовым, заметки по поводу «Автобиографии Н. И. Костомарова», воспоминания о свиданиях с Достоевским и др. Из воспоминаний о Некрасове интересно сообщение Чернышевского о том, как первый воспринял манифест 19 февраля 1861 г. (стр. 490).

В воспоминаниях о Тургеневе, в которых, кстати сказать, нарисованный Чернышевским портрет Тургенева как человека во многом совпадает с характеристикой, данной ему Панаевой в своих «Воспоминаниях», очень интересны сведения о процессе создания Тургеневым «Рудина» (стр. 478—489).

ИЗ ПИСЬМА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО К К. М. СОЛДАТЕНКОВУ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1888 г.
Из архива Дома им. Чернышевского в Саратове

Не менее интересны сведения и соображения Чернышевского о том, как Тургенев безуспешно пытался в «Отцах и детях» изобразить Добролюбова в злостной карикатуре Базарова (стр. 447, 480).

В заключение остановимся на том любовном отношении, какое питал Добролюбов к Чернышевскому. В письме своему товарищу Турчанинову от 1 августа 1856 г. Добролюбов пишет:

«С Ник. Гавр. я сближаюсь все более и все более научаюсь ценить его. Я готов бы был исписать несколько листов похвалами ему, если бы не знал, что ты столько же, как и я (более нельзя), уважаешь его достоинства, зная их конечно еще лучше моего. Я нарочно начинаю говорить о нем в конце письма, потому что знал, что если бы я с него начал, то уже в письме ничему, кроме него, не нашлось бы места. Знаешь ли, этот один человек может помирить с человечеством людей самых ожесточенных житейскими мерзостями. Столько благородной любви к человеку, столько возвышенности в стремлениях и высказанной просто, без фразерства, столько ума строго последовательного, проникнутого любовью к истине, — я не только не находил, но не предполагал найти...

...С Н. Г. толкуем не только о литературе, но и по философии, и я вспоминаю при этом, как Станкевич, Герцен учили Белинского, Белинский — Некрасова, Грановский — Забелина и т. п. Для меня конечно сравнение было бы слишком лестно, если бы я хотел тут себя сравнивать с кем-нибудь; но в моем смысле вся честь сравнения относится к Н. Г.» (стр. 509—510).

Таково краткое содержание писем и других материалов самого Чернышевского, вошедших во все три тома его «Литературного наследия».

Мы не исчерпали и десятой доли тех богатейших и драгоценнейших мыслей Чернышевского, которые содержатся в этих трех томах. Задача исследователей и популяризаторов идей Чернышевского состоит в том, чтобы с максимальной возможностью и исчерпывающей полнотой использовать в своих работах это идейное богатство, вскрывая и сильные, и слабые стороны мировоззрения этого очень близкого нам писателя, отбирая и подчеркивая все ценное, подлинно революционное, что ставит его в ряды наших славных предшественников, вскрывая и отбрасывая его утопические воззрения, идеалистические взгляды при истолковании общественных явлений и т. д.

Работа над глубоким и всесторонним изучением жизни, революционной деятельности и научных взглядов Чернышевского ни в каком случае не может считаться законченной. Основной руководящей нитью при изучении идейных основ и революционой деятельности Чернышевского должны служить многочисленнейшие и глубочайшие по своему идейному содержанию высказывания Ленина о Чернышевском, ибо они — единственный и драгоценнейший ключ к разработке самых различных сторон жизни и деятельности этого многогранного писателя, а также к критике всех антимарксистских работ о Чернышевском и высказываний о нем.

В заключение отметим, что научная марксистская мысль с нетерпением ждет выхода в свет других, еще неопубликованных произведений и документов, принадлежащих перу этого величайшего мыслителя, писателя и революционера. Кроме того не мешало бы ускорить издание пятитомного собрания «Избранных сочинений» Чернышевского, предпринятого Комакадемией по заданию комиссии ЦИК СССР по ознаменованию столетия со дня рождения Н. Г. Чернышевского [1].

И. Фролов

ОТ РЕДАКЦИИ

В настоящем обзоре автор не уделил внимания эдиционной и текстологической критике издания (несовершенное расположение материала, не всегда правильно прочитанные тексты и небрежная их подача, не доведенное до конца раскрытие имен и т. д.). Редакция надеется дать эту критику в одном из ближайших номеров «Литературного Наследства», в связи с общей постановкой вопроса об академическом издании сочинений Н. Г. Чернышевского.

---

[1] Вышли в свет только т. I (исторические работы) и т. IV (литературно-критические произведения). Том второй должен содержать в себе экономические работы, третий — философские и пятый — беллетристические произведения.

От более ранних публикаций помещенные в I томе «Избранных сочинений Н. Г. Чернышевского» тексты работ отличаются тем, что в них впервые восстановлен по рукописям и корректурам полный текст без цензурных изъятий.

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Сатира как острое и верное оружие классовой борьбы привлекает все большее внимание как практиков, так и теоретиков пролетарской литературы.

Сатирические жанры все шире и глубже используются в деле выполнения громадных задач, стоящих перед пролетарским литературным движением. Следует однако признать, что за отдельными исключениями (Демьян Бедный, М. Кольцов, А. Безыменский и некоторые другие) наши писатели не овладели еще этим трудным и ответственным жанром.

Понятен поэтому интерес к наследию крупнейшего русского сатирика — Салтыкова-Щедрина. Это обстоятельство диктует необходимость быстрейшей мобилизации нашего литературоведения на борьбу за марксистское изучение и пропаганду творчества Щедрина. Серьезное исследование сильно затрудняется однако отсутствием в нашей литературе специального справочника по этому писателю. И если критическая литература о нем более или менее зарегистрирована (в известных общих указателях[1]), то сколько-нибудь полная сводка текстов самого Щедрина отсутствует совершенно. Читатель и исследователь, пожелавшие серьезно ознакомиться или заняться Щедриным, вынуждены тратить много времени на предварительные розыски всяких материалов и публикаций, при чем в области изучения многочисленных текстов Щедрина они не гарантированы при данном положении от «открытия» давно «открытых Америк». Наш обзор в этом отношении может, нам кажется, принести известную пользу. Он имеет своей основной задачей познакомить читателя с характерной судьбой литературного наследства Салтыкова-Щедрина, главным образом с той его частью, которая до сих пор либо не была выявлена совсем, либо забыта и рассеяна по различным периодическим изданиям.

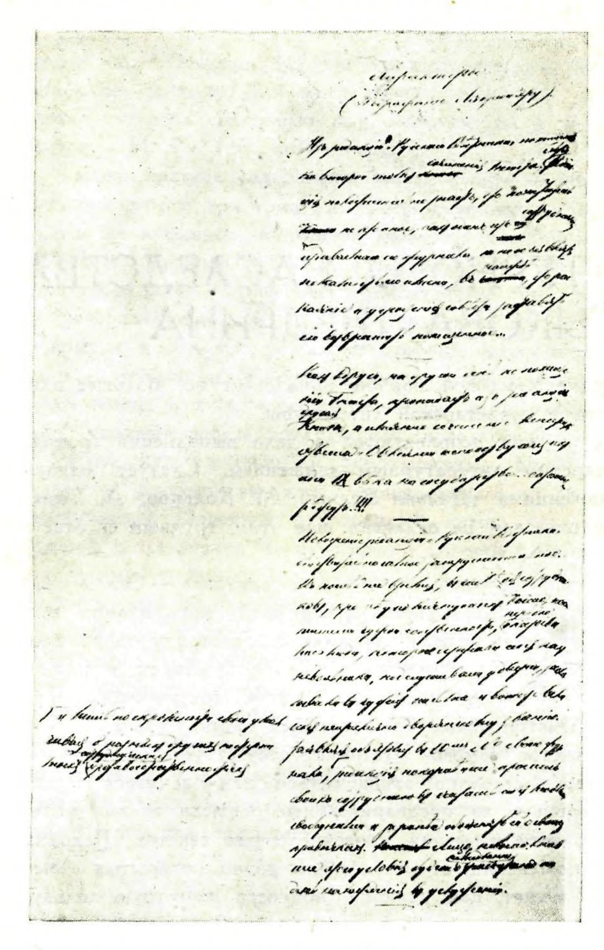
Среди больших русских писателей нет, пожалуй, фигуры, менее изученной, чем Салтыков-Щедрин. Это и не удивительно. Мы уже давно знаем, что за ширмами литературной науки стоят классы и политика. Лучше всего это бесспорное положение можно было бы показать на обзоре критической литературы о Щедрине различных направлений. Но то же подтверждает и библиографический обзор публикаций самих текстов Салтыкова. Его так называемые «Полные собрания сочинений» ни в какой мере не являются действительно полными. В них отсутствует много ценных художественных произведений и огромное количество публицистических статей и рецензий, разбросанных и забытых в старых журналах. Почти совсем не включались до сих пор в собрания сочинений материалы из рукописного наследия Салтыкова. По этим разделам мы и расположим наш обзор.

Каково было отношение к Щедрину в дореволюционной литературе?

Печать охранительного лагеря естественно воспринимала Щедрина как своего непримиримого и крайне опасного врага. Реакционная пресса уже на другой день после смерти Салтыкова определила его роль для русской современности, а тем самым и свое отношение к нему следующими словами: «В тяжелое смутное (читай революционное.— *С. М.)* время конца 70-х и начала 80-х гг. сатиры Щедрина были

---

[1] Журнальные и газетные статьи о Салтыкове, появившиеся до 1906 г., довольно полно учтены в библиографическом обзоре А. А. Шилова, помещенном в книге — К. Арсеньев, Салтыков-Щедрин, СПБ, 1906, стр. 268—278.



СТРАНИЦА РУКОПИСИ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ХАРАКТЕРЫ (ПОДРАЖАНИЕ ЛЯБРЮЙЭРУ»

Впервые напечатано в «Искре» 1860 г. за подписью «Стыдливый библиограф»

Из архива М. М. Стасюлевича, хранящегося в Институте Русской Литературы

таким же развращающим и разрушающим орудием в руках наших террористов, как и их подпольные листки, заграничные брошюры и динамитные бомбы... Террористы того времени делились на нелегальных и легальных деятелей. Щедрин был несомненно самым ярким и самым даровитым представителем последней категории... Не сочинениями ли Щедрина зачитывалась и зачитывается, к сожалению, значительная часть нашей молодежи? Не на Щедрине ли поэтому лежит тяжкая доля ответственности за тех несчастных юношей, которые были отданы на съедение революционным теориям?» (Из некролога, посвященного Щедрину «Московскими Ведомостями»).

Характеристика очень меткая.

Вопросы, здесь поставленные, давно получили утвердительные ответы. Они были даны уже в тех проявлениях недоверия, ненависти, злобы и прямых карательных мер в виде ареста, ссылки и постоянных цензурных репрессий, с которыми всегда относились в официальной России к деятельности и имени Щедрина все «лица на заставах команду имеющие», начиная от публицистов охранительно-рептильной прессы и кончая «самим» Николаем первым.

Они даны, далее, в тех чувствах глубочайшего уважения и сочувственного внимания, которые проявляли к Щедрину сами революционеры, начиная от современных ему народовольцев, вплоть до вождей и идеологов пролетарской революционной борьбы — Маркса, Ленина, Сталина.

Далекий, если говорить о его личном поведении, от подлинно активных революционных кругов русской интеллигенции, Щедрин не учил, в прямом смысле этого слова, социализму, практике борьбы за него. Но объективно, путем злой и умной насмешки, через великий гнев своего обличения, через огромный пафос негодования и отрицания — он революционизировал сознание молодежи, заражал ее идеями революции, идеями социализма. И не случайно Ленин, давая указания «Правде», рекомендовал большевикам изучать Щедрина: «Хорошо бы, — писал он, — вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей старой народнической демократии». Эту революционную направленность Салтыкова хорошо сознавали разумеется не только охранители (в «правительственном сообщении» по поводу закрытия «Отечественных Записок» Салтыкову и его журналу прямо инкриминировалась «близость к подпольным революционным кругам»), но и сами революционеры. Помимо многочисленных мемуарных указаний мы имеем и такие тому свидетельства, как например статья в подпольном органе народовольцев

«Народная Воля» (1884, № 10), где о писателе говорится как об единомышленнике и соратнике в борьбе, как нелегально распространявшееся обращение к писателю общестуденческого союза (революционная организация молодежи 80-х гг.) и др.

Фельетонист «Московских Ведомостей» — органа дворянской реакции — имел таким образом все основания расценивать литературную деятельность Щедрина как революционную, а его самого как «легального террориста». В дальнейшем черносотенная печать, затратившая много сил на борьбу с Щедриным при его жизни, вообще подвергла писателя остракизму. И это разумеется было лишь новым проявлением все той же борьбы, теперь уже с идейным наследием врага.

Впрочем отдельные статьи вроде фельетонов Буренина, Сухонина, высказываний Розанова и др., где о Салтыкове говорится как о «самооплевателе земли русской», писателе, «раздутом еврейскими перьями в первоклассную знаменитость», наконец «уродстве русской литературы», появлялись и позднее.

Появляются они и поныне в белоэмигрантской печати, где идет сейчас «переоценка» былых «симпатий» русской интеллигенции к сатирику.

Сложнее было отношение к Щедрину со стороны буржуазной, так называемой либеральной публицистики и критики.

Буржуазии выгодно было сделать Щедрина своим, выгодно было, опираясь лишь на некоторые элементы его сатиры, использовать его в своей борьбе за лозунги чисто буржуазного либерализма: конституционализм, различные «свободы» и т. п. Конечно Щедрин энергично и успешно боролся с произволом царской бюрократии, ненавидел крепостное право и весь строй самодержавного «Глупова» с его «острожной цивилизацией». Но вместе с тем его сатирическое оружие поражало цели гораздо более значительные и удаленные и било сильнее.

Революционная сатира Щедрина отрицала, ненавидела и разрушала весь окружающий общественный строй, всю совокупность феодально-капиталистических отношений, как они сложились на русской почве. Она обнажала всю гнилость и социальную предрешенность великих фетишей буржуазной культуры—государства, семьи, собственности[1]. Поэтому Салтыков не уставал издеваться над шествием «отечественного прогресса», который ему представлялся не иначе, как «в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника, сопровождаемых непрерывно идущими гадами»[2]. Но особенно беспощадным становился сатирик при изображении верных слуг этого прогресса: «либералов» и всей «нейтральной», им сочувствующей русской буржуазно-дворянской интеллигенции.

В этой области Щедрин создал, пожалуй, свои наиболее замечательные образы и формулировки, с которыми российские «пенкосниматели» так и дожили вплоть до революции.

Либеральная печать всегда боялась Щедрина и при жизни писателя редко отваживалась на активные действия против него. Зато позднее, когда Салтыков уже не мог ответить противникам своим ядовитым словом, начался процесс «освоения» Щедрина либеральной мыслью в направлении, о котором говорилось выше. Воинствующую, всю насквозь проникнутую политическим содержанием сатиру Щедрина хотели подвергнуть процессам нейтрализации, стерилизации и приспособления к своим знаменам. В его творчестве стали усиленно и односторонне подчеркивать элементы «идеализма», «гуманности», «свободолюбия» и другие не менее безвредные, но милые сердцу либерала качества[3].

---

[1] «Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются» (письмо к Утину от 2/I 1881 г.). Е. И. Утин, «Из литературы и жизни», т. I, СПБ, 1886. Стр. 175.

[2] Письмо к Н. П. Орлову от 5 июля 1883 г. («Красное знамя», Париж, 1906, № 2).

[3] Особенно ярким тому примером служит народническая легенда о Щедрине, созданная Михайловским, поддержанная Скабичевским и Черновым и распространяемая в наши дни Ивановым-Разумником. Исчерпывающего разоблачения этой легенды в свете марксистско-ленинского метода изучения идеологии еще не существует.

Ср. анализ известной работы Пыпина с Салтыкове, данный Н. Глаголевым в статье «К критике историко-культурной школы». «Русский язык в советской школе», 1931 г., кн. 4.

Однако эта борьба за «нейтрального» и «благовоспитанного» Щедрина (контрабандой она ведется кое-кем и сейчас) была трудна и явно неблагодарна. Чересчур сильно было сопротивление самого материала, которое нельзя было преодолеть ни в каком «общечеловеческом», этическом или религиозно-философском плане.

Поэтому о Щедрине и было так мало написано, им стали интересоваться все меньше и меньше. Его не удалось канонизировать, вокруг него не создавали ореола, не ставили памятников, не издавали юбилейных сборников, но его и не пропагандировали. И его почти не изучали. Таким он достался в наследство нам.

Что сделало советское литературоведение в отношении изучения и пропаганды Щедрина? Кое-что сделало, но все еще очень мало.

Создание марксистского щедриноведения — дело будущего. Мы могли бы перечислить здесь ряд глубоко интересных и актуальных проблем в этой области, но это предмет особой статьи. Здесь же мы попытаемся, как было указано выше, информировать читателя об одной лишь, впрочем весьма существенной, проблеме — проблеме литературного наследства Щедрина.

СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ САЛТЫКОВА

Первое собрание сочинений Салтыкова появилось много позже, чем такие же издания его литературных современников: Тургенева, Некрасова, Толстого, Гончарова, Достоевского. Даже писатели более молодого поколения, как например Глеб Успенский и Михайловский, раньше его выпустили собрания своих сочинений. Атмосфера ненависти вокруг имени Щедрина со стороны правительственных и влиятельных общественных кругов и трусливой осторожности со стороны широкого читателя, превратившегося в обстановке реакции 80-х гг. из «читателя-друга» в «читателя-подлеца», сыграли свою роль в истории издания «Собрания сочинений Салтыкова».

Насколько можно судить по опубликованным до сих пор материалам, вопрос о нем был поднят впервые книгоиздателем М. О. Вольфом [1]. Предпринимая в 1880 г. издание собрания сочинений ряда русских и иностранных писателей, Вольф обратился и к Щедрину с предложением уступить ему право на издание его сочинений. Салтыков ответил на предложение характерным письмом. Указывая на наличие в книжных магазинах большого числа нераспроданных своих сочинений, выходивших отдельными изданиями, Салтыков писал: «Судите сами, возможно ли теперь полное собрание сочинений? Мне кажется, прежде всего нужно установить известный срок, в продолжение которого старые издания понемногу истощатся, а от новых я воздержусь. Я непрочь вступить с Вами в переговоры, но не вижу возможности для иных оснований» [2].

Салтыков явно сомневался в своевременности и успехе издания. Однако переговоры с Вольфом он все же начал, тогда же наметив порядок распределения материала по 11 предполагавшимся томам (формата in 8⁰) и запросив у издателя проект контракта.

Условия, предложенные Вольфом, оказались для Салтыкова «неудовлетворительными как с точки зрения вознаграждения [3], так и с точки зрения сложности». «Поэтому,— писал Салтыков Вольфу,— я предпочитаю издавать на будущее время отдельные томы, как издавал до сих пор».

Возобновленные через два года (в 1882 г.) переговоры эти приближались уже к окончательному результату, но внезапная болезнь Вольфа и отъезд его за границу прекратили их совсем.

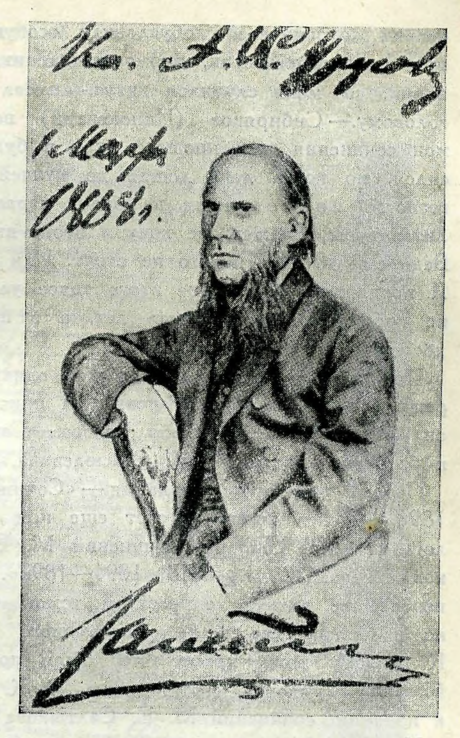
---

[1] Еще точнее было бы считать таким инициатором М. М. Стасюлевича, издавшего в своей «Русской библиотеке» (вып. VIII, СПБ, 1878) целый ряд произведений Салтыкова (выборки из циклов: «Губернские очерки», «История одного города», «Господа ташкентцы», «Благонамеренные речи», «Помпадуры и помпадурши», «Сатиры в прозе», «Признаки времени», «В среде умеренности и аккуратности»).

[2] С. Ф. Либрович, На книжном посту. П.-М., 1916, стр. 191.

[3] В проекте этом цифра гонорара, предложенного Вольфом, составляла сумму 33 000 рублей; сам же Салтыков оценивал право на издание собрания своих сочинений в 40 000 рублей.

Начиная с 1885 г., Салтыков непрерывно и озабоченно ищет себе «подходящего издателя» в Петербурге и Москве (переговоры с Саблиным, Сибиряковым, Салаевыми, Солдатенковым, Павленковым). Желание материально обеспечить семью и «сверх того... спасти свои сочинения от надругательства, что при малолетстве детей весьма возможно» [1] и оградить «не только свое право быть изданным, но и право публики читать изданное» [2] — объясняют нам беспокойство и тревогу, явно различаемые во всех относящихся сюда письмах [3].



М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ЩЕДРИН)
С фотографии (1868 г.), хранящейся в Институте Русской Литературы

Кроме того издатели в своих переговорах не стеснялись порою прибегать к таким способам и предъявлять такие своеобразные условия, которые не могли не причинить много неприятностей и волнений больному писателю. «Со мной происходит нечто вроде нелепого сновидения, — писал Салтыков В. М. Соболевскому [4]. — «Русские Ведомости» объявили, что фирма Салаевых вступила со мной в переговоры относительно права собственности на мои сочинения и что переговоры эти приходят к удовлетворительному концу. Откуда получила газета это известие, не знаю, но действительно ко мне вслед за тем явился доверенный фирмы и повел разговор. Всякие шли тут разговоры относительно суммы и срока платежей и пр. Наконец, когда вопросы эти почти уладились, со стороны г. Думнова посыпались разные совершенно необыкновенные запросы. Во-первых, требование, чтобы я представил все мои сочинения на просмотр предварительной цензуры [5], а когда это требование было мною отвергнуто, то пришло другое: чтобы я представил гарантию, что издание полного собрания сочинения пройдет беспрепятственно. И это, конечно, я отвергнул. За сим дело, кажется, остановилось, и во всяком случае впереди не обещает ничего доброго... Переговоры эти глубоко меня изнурили, и я больнее, нежели когда-либо». Постоянные проявления недоброжелательства и подлинная травля со стороны вся-

---

[1] М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма 1845—1889 гг. Под ред. Н. В. Яковлева. Труды Пушкинского дома при Российской академии наук, Л., 1925 г., № 248. В дальнейшем всюду — «Письма». Письмо от 4 сентября 1885 г.

[2] Письмо к В. И. Лихачеву от 17 декабря 1887 г. — «Письма» (№ 289).

[3] Письма: Л. Ф. Пантелееву 4 февр. 1889 (№ 301), В. И. Лихачеву 17 декабря 1887, (№ 289); Л. Ф. Пантелееву 17 ноября 1887 (№ 288); ему же 30 марта 1887 (№ 273); Н. К. Михайловскому 4 сентября 1885 (№ 248); см. также письма к В. М. Соболевскому в ст. Владимира Розенберга — «Щедрин — сотрудник «Русских Ведомостей», в сборнике «Русские Ведомости» 1863—1913, М., 1913 г., стр. 187—215 (вошло в книгу того же автора «Журналисты безвременья», М., 1917, стр. 134—188) и письма к Н. К. Михайловскому и Н. А. Белоголовому в газ. «Русские Ведомости» 1914 г., № 97.

[4] Редактор «Русских Ведомостей».

[5] Напомним, что произведения, о которых шла речь, все в свое время прошли через различные периодические издания и сверх того были неоднократно перепечатаны в отдельных сборниках Салтыкова. Нелепое само по себе требование предварительной цензуры по отношению к этим произведениям свидетельствует вместе с тем о мерах предосторожности, которые принимались издателями в целях ограждения себя от возможных последствий издания сочинений «вредного писателя».

ческих «охранителей» обусловили особую мнительность Салтыкова, проявленную им при этих переговорах, тормозившую их, но не всегда лишенную достаточных оснований. «У меня случился казус,— писал Салтыков 18 декабря 1887 г. Н. А. Белоголовому.— Сибиряков (Иннокентий) восхотел приобрести право собственности на мои сочинения как прошлые, так и будущие. Предложил 50 тыс., и я было согласился, но когда дело дошло до купчей, то меня взяло раздумье: а что если этот господин совсем меня не будет издавать и, так сказать, исключит на 50 лет из литературы. Скажет: не хочу я этого писателя, чтобы о нем в литературе значилось! Ведь ему 50 тыс. ничего не стоят. Или призовут его и скажут: «Не сметь издавать!» Я предложил вследствие этого такое условие: издание полного собрания обязательно не позже как через шесть лет, а в противном случае сочинения делаются общим достоянием. Но он отказался».

Подходящего издателя Салтыков однако не нашел и незадолго до своей смерти решил издать «Собрание» сам. «Я приступил к изданию моих сочинений, — известил он 12 марта В. М. Соболевского.— Сам я не занимаюсь этим делом, а обратился к благосклонности М. М. Стасюлевича, который и взял его на себя».

Первый том этого издания — «Сочинения. Изд. автора. 9 томов, СПБ, 1889—1890» — успел выйти в свет еще при жизни Салтыкова. После его смерти появилось «Полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). Изд. наследников автора. 12 тт., СПБ, 1891—1892». Это второе по счету издание отличалось от первого не только количеством томов и несколько иным распределением материала, но и включением в него небольшого рассказа «Брусин», относящегося к 1849 г. К первому тому кроме того были приложены ценные «Материалы для биографии М. Е. Салтыкова», составленные К. К. Арсеньевым, и «Хронологический указатель к изданию сочинений М. Е. Салтыкова в 12 томах».

Издание было повторено еще раз (в качестве третьего) в 1894—1895 гг. Затем все права на литературную собственность М. Салтыкова были проданы наследниками автора издательству А. Маркса, которое и переиздало «Собрание» еще два раза: в 1900/01 г. самостоятельным изданием (4-е изд.) и в 1905/06 г. в качестве приложения к журналу «Нива» (5-е изд.). В нивское издание были дополнительно включены следующие произведения: комедия «Смерть Пазухина» и сказки «Медведь на воеводстве» (Топтыгин 1-й, 2-й и 3-й), «Мала рыбка, а лучше большого таракана» («Вяленая вобла») и «Орел-меценат»; распределение материала по томам было сделано заново.

В 1918 г. это издание было перепечатано Литературно-издательским отделом Наркомпроса (6-е по счету изд.) [1].

Следует отметить, что из всех этих «Собраний» единственным более или менее удовлетворительным по тексту является первое (изд. автора); при последующих перепечатках текст неизменно искажался.

Наконец после революции появилось «Собрание сочинений М. Е. Салтыкова (Щедрина) в 6 томах. М.—Л., 1926—1928». Оно заключает в себе 12 главных циклов сатирика, т. е. примерно две трети материала прежних так называемых «полных собраний», и является таким образом по существу собранием избранных произведений. Текст здесь проверен и редактирован К. Халабаевым и Б. Эйхенбаумом и снабжен обширными примечаниями Р. В. Иванова-Разумника.

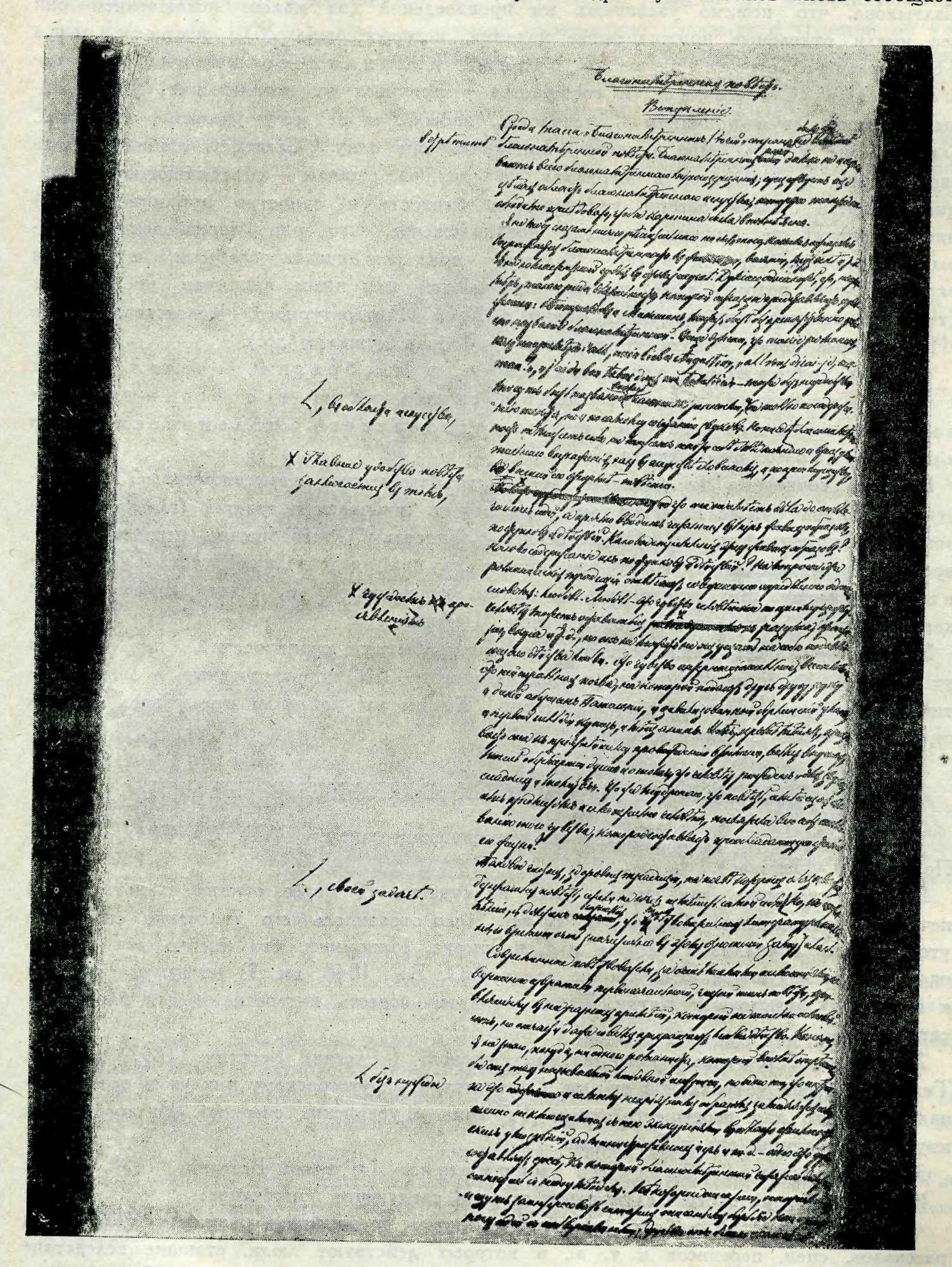
Специалисты-литературоведы знают, что все перечисленные выше «Собрания», в том числе и так называемые «полные», являются по существу далеко не полными. И это несмотря на то, а вернее благодаря тому, что сам Салтыков в основном определил план и канон этого издания.

В официальном письме-завещании 1887 г., адресованном Л. Ф. Пантелееву, Салтыков, подробно перечислив, что именно он хотел бы видеть напечатанным в собрании сочинений, и указав распределение материала по томам (13), в конце делает следующую приписку: «Хотя кроме этих сочинений и имеется еще достаточно

---

[1] Хотя нельзя не отметить отсутствия «Мелочей жизни».

рассеянных в разных изданиях, но они отчуждению не подлежат, и я положительно воспрещаю их когда-либо перепечатывать» (см. «Письма», № 273; ср. № 248). В более позднем письме к тому же адресату Салтыков вновь сообщает



СТРАНИЦА РУКОПИСИ НЕОКОНЧЕННОГО РОМАНА-ПАРОДИИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА НА «АННУ КАРЕНИНУ» — «БЛАГОНАМЕРЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

Из архива Государственного Музея Революции СССР

план издания (несколько более расширенный) и затем пишет: «Хотя кроме выше поименованных имеются еще не напечатанные (имеется в виду — в отдельных изданиях. — *С. М.)* мои сочинения, но отчасти я сам забыл о них и не могу указать,

отчасти же они так слабы, что я не желал бы перепечатки их после смерти. Поэтому «Полным собранием моих сочинений» прошу считать исчисленное выше («Письма», № 288). Таким образом устанавливается, прежде всего со слов самого Салтыкова, что помимо указанных им произведений (за малым исключением они все имели отдельные прижизненные издания, которых было 26) «имеется еще достаточно рассеянных в разных изданиях сочинений, не вошедших в «Собрание», и сообщается о причинах их невключения. К указанным автором двум причинам — «отчасти... забыл... и не могу указать», «отчасти... слабы» — мы можем, мне думается, прибавить еще одну. Салтыков любил сводить свои очерки, печатавшиеся в журналах, в крупные циклы — объединяющими принципами здесь бывали обычно тематическая близость и единство публицистической идеи. Поэтому не лишено вероятия предположение, что ряд произведений, которые даже очень строгий к себе Салтыков вряд ли считал слабыми, не был им включен лишь потому, что они остались по тем или иным причинам вне циклов (таковы например опубликованная нами в № 1 «Литературного Наследства» сатира «Испорченные дети», очерки «Годовщина», «Добрая душа» и др.).

Таким образом невключенным в «Собрание» оказался ряд художественных произведений сатирика и все его журнальные и газетные статьи публицистического, полемического и критического характера.

Все эти сочинения (в большинстве своем безыменные и псевдонимные), похороненные в продолжение десятков лет в различных журналах и газетах (главным образом в «Современнике» и «Отечественных Записках»[1]), совершенно неизвестны современному читателю, а между тем многие из них представляют исключительный интерес. Без знакомства с ними невозможна во всяком случае полная характеристика и исчерпывающее изучение Щедрина.

Мы назовем здесь лишь основные из этих забытых произведений, при чем для удобства разобьем наш перечень на две категории — на художественные, а затем критические и публицистические произведения[2]. К ним мы добавили еще раздел о рукописном наследии Салтыкова.

НЕСОБРАННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) «Противоречия. Повесть из повседневной жизни» («О. З» 1847, кн. 11. Подпись М. Непанов).

Повесть интересна как первое (если не считать 10 более ранних стихотворений) печатное произведение Салтыкова. В ней ярко отразилось его увлечение системами утопического социализма Фурье и Сен-Симона. Напомним, что именно эта повесть наряду с последующей «Запутанное дело» («О. З.» 1848, кн. 3) послужила поводом к высылке Салтыкова в Вятку. Таким образом повесть интересна и для биографии сатирика.

2) «Жених. Картина провинциальных нравов» («Русский Вестник» 1857, кн. 10). Типичный очерк натуральной школы. Относится к «крутогорскому циклу» и предназначался автором для неосуществленного IV тома «Губернских очерков». Интересен для изучения эволюции стиля Салтыкова.

3) Два отрывка из «Книги об умирающих» («Русский Вестник» 1858, кн. 3). К журнальному тексту Салтыковым сделано следующее примечание:

«Под названием «Книга об умирающих» автор предположил написать целый ряд рассказов, сцен, переписок и т. д., в которых действуют люди, ставшие вследствие известных причин в разлад с общим строем воззрений и убеждений. Здесь предлагаются два отрывка, представляющие крайние границы этой галереи: начало и конец ее». Таким образом это было начало большого, не доведенного до конца

[1] В дальнейшем всюду «О. З.».

[2] Такое деление для Щедрина разумеется крайне условно. Пользуюсь им лишь как техническим средством для более удобной систематизации материала.

цикла[1]. Законченные сами по себе фрагменты эти имеют большое значение для уяснения мировоззрения писателя в эти годы.

4) «Я ш е н ь к а» («Сборник литературных статей, посвященных русскими литераторами памяти А. Ф. Смирдина», т. VI, СПБ, 1859). Повесть эту, написанную в манере Гоголя (в 1857 г.), Иванов-Разумник справедливо сближает с «Книгой об умирающих». Большой интерес представляет она для изучения творческой истории «Господ Головлевых»[2].

5) «Г о р о д» («Складчина», литературный сборник, СПБ, 1874).

Очерк представляет собой первую главу большой и не совсем законченной повести Салтыкова «Тихое пристанище». При жизни автора повесть не была напе-



«УЖАСНЫЙ ВИД!... ОНИ СРАЗИЛИСЬ!»...

Карикатура из № 2 «Занозы» 1865 г.

Карикатура является откликом на известную полемику, разгоревшуюся в 1864—1865 гг. между двумя журналами — «Современником» и «Русским Словом» (статьи Зайцева и Писарева)

чатана и была опубликована лишь в 1910 г. («Вестник Европы», кн. 3—4). Очерк, как и вся повесть, датируется приблизительно концом 50-х гг.

6—7) «Х а р а к т е р ы. Подражание Лябрюйэру» («Искра» 1860, №№ 25 и 28, подпись — «Стыдливый библиограф») и «П о х в а л а л е г к о м ы с л и ю» (там же, 1870, №№ 6, 8 и 11, подпись — «Посторонний наблюдатель»).

Принадлежность этих статей Салтыкову была установлена совсем недавно В. Гиппиусом, разрешившим тем самым интересную проблему сотрудничества Салтыкова в «Искре»[3].

---

[1] История его подробно прослежена в первой части монографии Иванова-Разумника «М. Е. Салтыков-Щедрин», М., 1930, гл. VII.

[2] Оценку повести самим Салтыковым см. в его письме к П. В. Анненкову от 3 февраля 1859 г. («Письма», № 8).

[3] В а с. Г и п п и у с, Литературное окружение М. Е. Салтыкова («Русский язык в школе», 1927, № 2); о н ж е, М. Е. Салтыков — сотрудник «Искры» («Ученые записки Пермского университета», т. I, вып. 1-й, Пермь, 1929). Следует отметить, что тематический и стилистический анализ обоих произведений, позволивший исследователю

8) Статьи, юморески, заметки и стихи в номере 9 «Свистка» («Современник» 1863, кн. 1—2), почти целиком написанном Салтыковым: «Цензор впопыхах. Лесть в виде грубости» (юмореска, подпись: Михаил Змиев-Младенцев); «Письма отца к сыну» (публицистическая статья на тему о материализме и идеализме, без подписи); «Московские песни об искушениях и невинности» (4 стихотворных пародии, подпись: Мих. Змиев-Младенцев); «Неблаговонный анекдот о г. Юркевиче или искание розы без шипов» (полемическая статья с философом-идеалистом, без подписи); «Секретное занятие. Комедия в 4-х сценах» (без подписи); «Песнь московского дервиша» (стихи, подпись: Мих. Змиев-Младенцев); «Сопелковцы» (юмореска, без подписи) и «Программа следующих №№ «Свистка» (без подписи).

9) «Как кому угодно. Рассказы, сцены, размышления и афоризмы («Современник» 1863, кн. 8).

Произведение состоит из трех частей, озаглавленных «Слово к читателю», «Семейное счастье» и «Размышление». Очерк «Семейное счастье» был включен Салтыковым позднее в цикл «Благонамеренных речей», тематическая близость с которым всего произведения несомненна (тема об основных общественных идеалах — семье, собственности, государстве и их распаде).

10) «Годовщина» («О. З.» 1869, кн. 2).

Очерк этот, посвященный воспоминаниям Салтыкова о вятской ссылке, представляет большой автобиографический интерес. То же следует сказать и о следующем очерке.

11) «Добрая душа» («О. З.» 1869, кн. 3), где между прочим дан крайне редкий в творчестве Салтыкова положительный женский образ. Оба очерка (вместе с тремя сказками и рассказом «Испорченные дети») в журнальном тексте были объединены заглавием «Для детей».

12) «Испорченные дети» («О. З.» 1869, № 9) — см. о них специальный комментарий в № 1 «Литературного Наследства».

13) «В больнице для умалишенных» («О. З.» 1873, № 2—4) — весьма острая и интересно задуманная социальная сатира на новый для творчества Салтыкова объект — гвардейскую военщину. Сатира эта, вся пересыпанная злободневными намеками, трудна для понимания современного читателя и нуждается в обширных комментариях. Из «Воспоминаний» Л. Ф. Пантелеева известно, что очерк вызвал цензурный инцидент. Председатель цензурного комитета решил, что в лице главного героя — штаб-ротмистра Поцелуева — Салтыков «вывел» личность великого князя Константина Николаевича. Потребовалось вмешательство Главного управления, чтобы выпустить задержанную книгу[1]. Очерк «В больнице для умалишенных» в журнальном тексте помечен Салтыковым как продолжение «Дневника провинциала в Петербурге», печатавшегося в «О. З.» за 1872 г. Но, по существу говоря, это было все же начало нового и также неоконченного (быть может по соображениям цензурного порядка) цикла. В бумагах Салтыкова сохранилась между прочим и еще одна, третья по счету, глава этого цикла, лишь недавно опубликованная. Первоначально сам Салтыков предполагал включить эти главы в свое «Собрание сочинений» (см. письмо его к Л. Ф. Пантелееву от 17 ноября 1887 г., где произведение названо «В сумасшедшем доме» — «Письма», № 288). Почему это не было осуществлено — нам не удалось выяснить.

14) «Смерть Пазухина», комедия в 4 действиях («Русский Вестник» 1857, октябрь, кн. 2). Единственное произведение этого раздела, известное читателю благодаря театральным постановкам (главным образом Художественного театра). Кроме

раскрыть новые псевдонимы как салтыковские, находит себе в отношении первого из этих произведений и бесспорное документальное подтверждение. В бумагах Салтыкова, хранящихся в Институте Русской Литературы, сохранился автограф «Характеров». Таким образом известное сомнение, имевшееся у В. Гиппиуса («Характеры» при всех стилистических и текстуальных совпадениях могут быть все-таки приписаны Салтыкову как единоличному автору не с полной уверенностью»), отпадает.

[1] Л. Ф. Пантелеев, «Из воспоминаний прошлого», т. II, СПБ, 1908, стр. 155.

того комедия была издана М. М. Стасюлевичем в 1894 г. отдельно и включена в собрания сочинений 1905 и 1918 гг.

Ныне ряд произведений этой категории («Глуповское распутство», «Каплуны», «Годовщина», «Добрая душа», «Испорченные дети», «В больнице для умалишенных») вместе с иными забытыми произведениями, рассеянными в разных журналах («Стрижи», «Чужую беду руками разведу», «Сказка о ретивом начальнике, как он своими действиями в изумление был приведен», «Последние пошехонцам»), собраны Ивановым-Разумником в книгу под названием «Неизданный Щедрин» (она вышла в Издательстве писателей в Ленинграде в феврале 1932 г.). Следует указать, что название, данное сборнику (кем? — редактором, издательством?) может лишь ввести читателя в заблуждение. Все вышепоименованные десять произведений, вошедшие в книгу, были уже напечатаны: семь — полностью, три — в главных отрывках. Таким образом на долю действительно неизданного Щедрина остается лишь начало третьей главы *«В больнице для умалишенных»* да несколько страничек из «Послания пошехонцам» и «Сказки о ретивом начальнике», неиспользованных первыми издателями этих текстов В. П. Кранихфельдом и В. В. Гиппиусом [1].

НЕСОБРАННЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Эта категория забытых статей Салтыкова особенно многочисленна. Она вместе с тем представляет для исследователя особенные трудности и особенный интерес.

В своих незаконченных воспоминаниях о Салтыкове Г. З. Елисеев, хорошо знавший литературную деятельность сатирика, писал: «Русская публика знает М. Е. Салтыкова как талантливого сатирика... Но она не знает того, что он был вместе с тем человек замечательно сильной мысли, что когда нужно было по обстоятельствам написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию... он брался за это, и все подобные статьи, которых не мало наберется в «Современнике» и «Отечественных Записках» и которые до сих пор остаются неизвестны публике, были в своем роде шедевры, сообразно с теми щекотливыми обстоятельствами, по которым они писались» [2]. С тех пор как были опубликованы эти строки, прошло почти 40 лет, а для «публики», теперь уже пролетарской, советской, облик Салтыкова—журналиста, публициста и критика, все так же неясен.

А между тем эта блестящая сторона деятельности Салтыкова заслуживает самого пристального внимания и не только исследователей, но и самых широких кругов литературной общественности. Злой, желчной и темпераментной журналистике Салтыкова был в высшей степени присущ дух партийности. Салтыков умел бороться со своим идейным врагом, доводя эту борьбу до полного разгрома противника. Противником же для него была реакция во всех ее проявлениях, но главным образом в литературе и журналистике.

Разумеется не марксист, но обладавший большим умом социолога Салтыков был способен различать подлинную, классовую сущность отдельных общественных деятелей, явлений и социальных групп, он умел необычайно остро определять их социальную роль, сводя эти явления к общественным факторам, их породившим. Недаром же его так ценил Ленин, а Маркс знакомился по нему с интересовавшими его процессами русской общественной жизни.

---

[1] Не имея возможности по условиям места и характера статьи дать здесь оценку сборника в целом, ограничимся еще лишь одним замечанием. Большим недостатком сборника, переходящим в политическую ошибку, является отсутствие в книге руководящей сопроводительной к текстам статьи критического характера. А такая статья, построенная на марксистско-ленинских определениях щедринской сатиры, прямо необходима в отношении собранных в книге публикаций, среди которых есть произведения исключительного значения в деле уяснения классовой природы Щедрина (например очерк «Чужую беду руками разведу»). Историко-литературный комментарий Иванова-Разумника, прослеживающий «биографию» каждого произведения и дающий его тематическую характеристику, является явно недостаточным.

[2] «Некрасов и Салтыков» (Из посмертных бумаг Г. З. Елисеева), «Русское Богатство» 1893, кн. 9, стр. 59.

Многие сотни страниц занимает «журналистика» Салтыкова, но все это еще далеко не учтено, не собрано, а потому и неизвестно даже узкому кругу специалистов.

Трудности исследовательской работы на этом первом этапе — собирания — очевидны. Дело в том, что если свои художественные произведения Салтыков всегда подписывал одним из своих псевдонимов[1], то, наоборот, свои публицистические статьи часто, а рецензии всегда он печатал анонимно. Изучение сохранившихся бумаг Салтыкова (по крайней мере по архивам б. Пушкинского дома) здесь также почти ничего не дает; очевидно эти рукописи автором не сохранялись. Таким образом исследователю остается применять здесь не всегда надежный метод стилистического анализа и тематических сближений, подкрепляемый впрочем иногда документально как письмами самого Салтыкова, так и его современников. Этот метод позволил известным исследователям творчества сатирика — С. Борщевскому, В. В. Гиппиусу, В. Е. Евгеньеву-Максимову, Р. В. Иванову-Разумнику и Н. В. Яковлеву — установить за последние годы в качестве бесспорно салтыковских довольно большое количество статей. Но он же определил и обширность (как ни у кого в русской литературе) категории салтыковских dubia. За всем тем с несомненностью можно утверждать, что остается еще ряд произведений сатирика вообще еще не «открытых» и не зарегистрированных. Таким образом тема «Салтыков-критик» еще ждет своего исследователя[2]; она нуждается в кропотливой и сложной предварительной работе, направленной к возможно более точному и полному выяснению самого объекта исследования.

Мы не имеем здесь возможности познакомить читателя подробно со списком забытых журнальных статей и заметок Салтыкова в виду обширности этого списка. Назовем поэтому лишь наиболее интересные произведения этой категории, об остальном же упомянем попутно, объединив подлежащий сюда материал в две группы.

А. Интенсивная журнальная деятельность молодого Салтыкова была учтена еще А. Н. Пыпиным, составившим довольно обширный «Список статей Салтыкова, помещенных в «Современнике» (и в «Свистке».— С. *М.)* за 1863—1864 гг.[3].

Уже в наши дни список был дополнен В. Е. Евгеньевым-Максимовым на основании данных, извлеченных им из конторских книг «Современника»[4], и Р. В. Ивановым-Разумником, давшим в своей монографии[5] сводку и общий обзор всех этих статей (всего 50 названий). Иванов-Разумник обследовал также более ранний период деятельности Салтыкова в «Современнике» и «Отечественных Записках» за годы 1847—1848, тем самым значительно уточнив и дополнив (им установлено 11 бесспорных рецензий Салтыкова за этот период) имевшиеся и раньше указания К. К. Арсеньева[6] и более поздний — газетные политические статьи Салтыкова за 1861 г. (всего 6).

Весь этот громадный материал представляет исключительный интерес для выяснения вопроса об идеологии и художественном методе молодого Салтыкова и о тех влияниях, под которыми они формировались.

---

[1] Таких твердо теперь установленных псевдонимов шестнадцать: Н. Щедрин, М. Непанов, Т—н, Стыдливый библиограф, Посторонний наблюдатель, Мих. Змиев-Младенцев. К. Гурин, Н. Гурин, М. М., Молодой человек. Dixi, М. С., Nemo, С. С. — в, Н. Г., а также может быть Посторонний сатирик (совместно с М. Антоновичем).

[2] Кое-что впрочем здесь уже сделано. См. работу В. Е. Евгеньева-Максимова, Салтыков-Щедрин и реакционная беллетристика 60-х гг. («Звезда» 1929, кн. 11, стр. 191—203); вошло в его книгу «Из прошлого русской журналистики» (Л., 1930).

[3] А. Н. Пыпин, М. Е. Салтыков, СПБ, 1899, стр. 235—238.

[4] В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, стр. 133, а также в более ранних журнальных статьях («Народное Слово» 1917, № 66—67 и «Страна» 1918, № 31).

[5] Р. В. Иванов-Разумник, М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Часть первая: 1826—1868, М., 1930.

[6] К. К. Арсеньев, Материалы для биографии М. Е. Салтыкова в I томе Полного собрания соч. М. Е. Салтыкова, 4-е изд., П., 1900.

СТРАНИЦА ИЗ III ГЛАВЫ РУКОПИСИ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «В БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ»

Из архива М. М. Стасюлевича, хранящегося в Институте Русской Литературы

Особо примечательной в этом отношении является его обширная (из 10 очерков) художественно-публицистическая хроника «Наша общественная жизнь» («Современник» за 1863 и 1864 гг.), остро полемическая и напряженная, вся пронизанная актуальными темами этой взволнованной и возбужденной эпохи.

Для историков литературы «хроника» интересна и тем, что здесь Салтыков, уже целиком отказавшись от «физиологической» манеры «Губернских очерков», как бы окончательно нашел и закрепил свой стиль и форму письма, здесь же впервые сформулировал он и многие темы своих будущих сатир.

Следует указать, что четырьмя главами «хроники» («Современник» 1863, №№ 1—2, 3 и 5, 1864, № 1) Салтыков несколько позднее воспользовался, включив их в цикл «Признаков времени» при отдельном издании его («Признаки времени и Письма о провинции». СПБ, типография Э. Праца, 1869). Однако для третьего[1] издания цикла (СПБ, типогр. А. Красовского 1882) Салтыков изъял оттуда очерки «Новогодние размышления» и «Картонные копья — картонные речи» (отрывок). В «Признаках времени» таким образом остались и вошли впоследствии в «Собрание сочинений» лишь две главы «хроники»: знаменитый «Сеничкин яд» и «Русские гулящие люди за границей».

Важными документами для истории нашей журналистики и критики являются также полемические статьи Салтыкова против «Времени» — журнала Достовских[2] — и критические очерки «Драматурги-паразиты во Франции» («Современник» 1863, кн. 1—2[3], «Московские письма» I и II («Современник» 1863, кн. 1—2 и 3, подпись — К. Гурин). и «Петербургские театры» («Современник» 1863, кн. 1—2 и 11).

Наконец нельзя не упомянуть особо об анонимном «летнем фельетоне» Салтыкова «В деревне» («Современник» 1863, кн. 8), посвященном вопросу о крестьянском труде и помещике. Очерк этот, обобщающий отчасти наблюдения Салтыкова над своим собственным хозяйством (в подмосковном имении «Витенево»), тематически предваряет будущее «Убежище Монрепо». Мысль о социально-исторической неизбежности разложения и гибели помещичьего землевладения в «реформированной» России высказано здесь уже вполне отчетливо.

Б. В меньшей степени учтены и особенно изучены анонимные статьи и рецензии Салтыкова в «Отечественных Записках» 1868—1884 гг. Эта интересная проблема нуждается в дальнейшем углубленном исследовании.

Изучение писем Салтыкова позволило издателю последних Н. В. Яковлеву документально установить принадлежность Салтыкову рецензий на произведения Н. С. Лескова-Стебницкого (Повести, очерки и рассказы — «О. З.» 1869, кн. 7) и Д. Д. Минаева («В сумерках» — «О. З.» 1868, кн. 5—6)[4].

В опубликованных в 1927 г. В. Е. Евгеньевым-Максимовым письмах Салтыкова к Некрасову[5] содержатся бесспорные указания на следующие статьи и рецензии: 1) «Бродящие силы» В. Авенариуса — разбор двух повестей («О. З.» 1868, кн. 4).

---

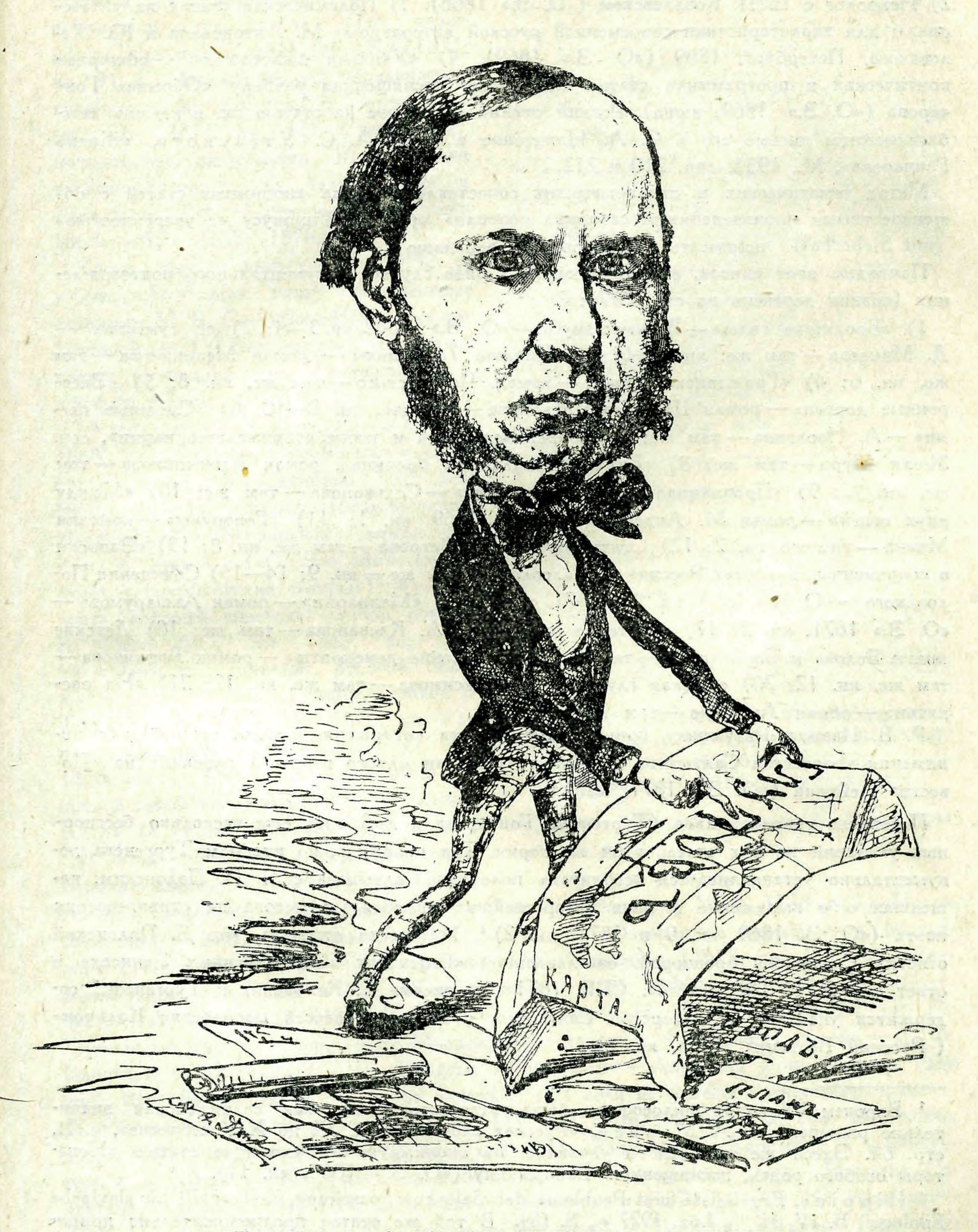
[1] На титульном листе этого издания обозначено: издание второе. Эта явная ошибка или опечатка перешла и во все библиографические указатели. Второе издание «Признаков времени», вполне тождественное с первым, появилось уж в 1872 г. (изд. книгопродавца С. В. Звонарева); оно имеет 408 страниц. Третье издание, 1882 г., значительно отличается от первых двух как своим содержанием, так и внешностью; при большем формате оно имеет 356 стр.

[2] В этой полемике Салтыков принял участие четырьмя статьями, помещенными в «Современнике»: 1) «Литературная подпись», 1863, кн. 1—2; 2) «Тревоги «Времени», 1863, кн. 3; 3) «Литературные мелочи. Стрижи», 1864, кн. 5; 4) «Гг. «Семейству М. М. Достоевского», издающим журнал «Эпоха» (было опубликовано лишь в 1908 г. в январском номере журнала «Минувшие Годы», стр. 77—83). См. также «Несколько полемических предложений. Из письма в редакцию». «Современник», 1863, кн. 3.

[3] См. указание В. Е. Евгеньева-Максимова в его книге «В тисках реакции», стр. 133.

[4] Н. В. Яковлев, «Письма Щедрина», жур. «Борьба классов» 1924, кн. 1—2 (вошло в качестве предисловия в издание «Писем»). Отметим, что высказанное здесь же предположение об авторстве Салтыкова в статье «Крестьянин о современных событиях. (Заметка по поводу еврейских погромов)» ошибочна. Статья принадлежит Глебу Успенскому.

[5] «Печать и Революция» 1927, кн. 3, стр. 47—62.



КАРИКАТУРА НА САЛТЫКОВА ХУДОЖНИКА А. ДОЛОТОВА

Из издания «Галерея русских деятелей» 1869 г.

Щедринский образ города Глупова был сразу же правильно понят современниками как сатирическое иносказание для обозначения всей крепостнической, помещичьей и чиновничьей России. Карикатура, изображающая Салтыкова с географической картой Глупова, наглядно иллюстрирует это

2) Некролог о Е. П. Ковалевском («О. З.» 1868). 3) Полемическая статья на «Материалы для характеристики современной русской литературы» М. Антоновича и Ю. Жуковского, Петербург, 1869 («О. З.» 1869). 4) «Уличная философия»[1] — обширная критическая и программная статья Салтыкова, посвященная разбору «Обрыва» Гончарова («О. З.» 1869, июнь). Резкий отклик Гончарова на статью см. в недавно опубликованном письме его к С. А. Никитенко в книге Л. С. Утевского, «Жизнь Гончарова», М., 1931, стр. 210 и 212.

Метод тематических и стилистических сопоставлений ряда анонимных статей с общеизвестными произведениями сатирика позволил проф. В. Гиппиусу «с уверенностью» (mit Sicherhet) приписать Салтыкову 21 рецензию[2].

Приводим этот список, еще требующий в ряде случаев документального подтверждения (сравни перечень на стр. 297):

1) «Бродящие силы» — В. Авенариуса — «О. З.» 1868, кн. 3—4; 2) «В сумерках» — Д. Минаева — там же, кн. 5—6; 3) «Княжна Тараканова» — роман Мельникова — там же, кн. 6; 4) «Гражданский брак» — комед. Чернявского — там же, кн. 8; 5) «Засоренные дороги» — роман Шеллера-Михайлова — там же, кн. 9—10; 6) «Смешные песни» — А. Иволгина — там же; 7) «Задельная плата и кооперативные ассоциации», соч. Жюля Муро — там же; 8) «Внучка панцырного боярина», роман Лажечникова — там же, кн. 12; 9) «Провинциальные воспоминания» — Селиванова — там же; 10) «Между двух огней» — роман М. Авдеева — «О. З.» 1869, кн. 1; 11) «Говоруны» — комедия Манна — там же, кн. 2; 12) Стихотворения Н. Петрова — там же, кн. 8; 13) «Записки о современных вопросах России» Г. Палеолога — там же — кн. 9; 14—15) Сочинения Полонского — «О. З.» 1869, кн. 9 и 1871, кн. 2; 16) «Мандарин» — роман Ахшарумова — «О. З.» 1871, кн. 2; 17) «Путевые заметки» — А. Клеванова — там же; 18) Детские книги Белова и Бороздиной — там же; 19) «Русские демократы» — роман Витнякова — там же, кн. 12; 20) «Лесная глушь» — С. Максимова — там же, кн. 12; 21) «На распутьи» — роман Авсеенко — там же.

Р. В. Иванову-Разумнику принадлежит заслуга «открытия» весьма важной для понимания творчества Салтыкова (особенно «Истории одного города») рецензии на «Повести» Лейкина («О. З.» 1871, май)[3].

Переписка современников (Тургенева, Гончарова и др.) дает еще несколько бесспорных указаний на ряд статей этой категории. Так например, по письмам Тургенева документально устанавливается «сердитая» полемика Салтыкова с Я. П. Полонским, нашедшая себе выражение в двух интереснейших отзывах Салтыкова на стихотворения поэта («О. З. 1869, кн. 9 и 1871, кн. 2)[4]. Интересно отметить, что Я. Полонский ответил Салтыкову брошюрой, озаглавленной «Рецензент «Отечественных Записок» и ответ ему Я. П. Полонского», СПБ, 1871[5]. В письме Е. Колбасина к Тургеневу[6] содержится указание на авторство Салтыкова в статье «Алексей Васильевич Кольцов» («Русский Вестник» 1856, кн. 6).

---

[1] Впрочем «Уличная философия» была зарегистрирована как салтыковская значительно раньше. См. А. Мезиер, «Русская словесность с XI по XIX столетие», ч. II, стр. 64. Здесь же имеется и указание на анонимную салтыковскую статью «Новаторы особого рода», посвященную Боборыкину («О. З.» 1868, кн. 11).

[2] Hippius, Ergebnisse und Probleme der Saltykow Forschung, Zeitschrift für slavische Filologie, B. IV, H. $1/2$ Lpz, 1927 г., S. 184. В той же статье предположительно приписаны Салтыкову статья «Насущные потребности литературы» («О. З.» 1869, кн. 10) и рецензии на «Путешествия и рассказы» Г. Тишанского («О. З.» 1878, кн. 4) и «Надю» Чаева (там же).

[3] См. № 1 журнала «Былое» за 1926 г., стр. 48—54.

[4] И. С. Тургенев, Первое собрание писем, СПБ, 1885. Письмо Тургенева к Полонскому от 24 апреля 1871 г.; сб. «Некрасов», изд. Сабашникова, 1922, стр. 282—283; письмо Салтыкова к Некрасову; см. также статью В. Евгеньева в журнале «Современник» 1915, кн. 3.

[5] Брошюра эта — библиографическая редкость.

[6] Письмо от 2 декабря 1856 г. См. «Тургенев и круг «Современника», изд. «Academia» 1930, ред. Н. В. Измайлова, стр. 303.

Здесь же нужно указать на большие публицистические статьи: «Так называемое Нечаевское дело» («О. З.» 1871, кн. 9) и «Первая русская передвижная художественная выставка в Петербурге» («О. З.» 1871, кн. 12). Статьи эти, подписанные инициалами *М. М.*, были зарегистрированы как салтыковские в «Указателе к «Отечественным Запискам» 1868—1877», СПБ, 1878.

Кроме того в вышедшей в 1932 г. в изд. «Academia» книге «Неизвестные страницы М. Е. Салтыкова-Щедрина» редактором ее С. Борщевским устанавливается принадлежность Салтыкову следующих статей:

1) «Напрасные опасения» («О. З.» 1868, кн. 10); 2) «Перемелется — мука будет», комед. И. Самарина («О. З.» 1868, кн. 11, отдел «Петербургские театры»); 3) «Мещанская семья», комед. М. Авдеева («О. З.» 1869, кн. 2, отдел «Петербургские театры»); 4) «Человек, который смеется», разбор романа В. Гюго («О. З.» 1869, кн. 12); 5) «Один из деятелей русской мысли» — незаконченная обширная статья о Т. Грановском («О. З.» 1870, кн. 1); 6) «Наши бури и непогоды» («О. З.» 1870, кн. 2). Очерк, имеющий своей основной темой «гражданский испуг обывателей» (в связи с арестом Нечаева).

СТРАНИЦА ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА К А. Л. БОРОВИКОВСКОМУ ОТ 31 ЯНВАРЯ 1883 г. (ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ «ОТЕЧ. ЗАП.» ВТОРОГО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ)

Из архива Института Русской Литературы

В этой же книге устанавливается принадлежность Салтыкову следующих отзывов (рецензий), извлеченных из «Отечественных Записок» 1868—1878 гг.: 1) «Новые сочинения» — Г. П. Данилевского (1868, кн. 8); 2) «Засоренные дороги» — А. Михайлова (1868, кн. 9); 3) «А. Большаков» — И. Кошкарова (1868, кн. 10); 4) «Движение законодательства в России» — Григория Бланка (1869, кн. 10); 5) «Вразброд» — А. Михайлова (1870, кн. 2); 6) «Нерон» — Н. П. Жандра (1870, кн. 7); 7) «Новые русские люди» — Д. Мордовцева (там же); 8) «Своим путем» — Л. А. Ожигиной (1875, кн. 9); 9) «Повести и рассказы» — Анатолия Брянчанинова (там же); 10) «Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права» — А. Романовича-Славатинского (1870, кн. 11); 11) «Слияние сословий, или дворянство, другие состояния и земство» — *** (там же); 12) «Записки» Е. Хвостовой и «Прошедшее и настоящее» — Ю. Голицына (1871, кн. 1); 13) «Суета сует» — Николая Соловьева (там же); 14) «Шаг за шагом» — Омулевского (1871, кн. 4); 15) «Цыгане» — В. Клюшникова (1871, кн. 9); 16) «Темное дело» — Дмитрия Лобанова (там же); 17) «Заметки в поездку во Францию, Италию, Бельгию и Голландию» — Н. И. Тарасенко-Отрешкова (1871, кн. 10); 18) «Беспечальное житье» — А. Михайлова (1878, кн. 8); 19) «Энциклопедия ума или словарь избранных мыслей авторов всех народов и всех веков» — Н. Макарова (1878, кн. 12).

Лейтмотивом этого обширного «несобранного собрания» критических статей Салтыкова является неизменная борьба с реакционной, порнографической и просто безыдейной литературой и публицистикой того времени, при чем реакционными произведениями считал Салтыков не только злобные памфлеты на шестидесятников, выходившие из-под пера Лескова, Писемского, Клюшникова и Всеволода Крестовского, но и такие

произведения, как «Обрыв» Гончарова, «Отцы и дети» и «Новь»[1] Тургенева, даже «Анну Каренину» Л. Толстого.

Много внимания уделяет Салтыков и таким, вполне актуальным и для нас проблемам, как «партийность в литературе», «отставание литературы от жизни», значение литературы как особой формы пропаганды общественных идей и т. д. и т. п.[2].

Суровая и страстная непримиримость к идейному врагу, острота, напряженность и единство мысли, ядовитая насмешка, неизменная общественная актуальность — вот характерные черты щедринской публицистической критики. Она оформлена к тому же с исключительным блеском литературного мастерства. Богатое разнообразие критических жанров — критика в форме повести, пародии, гротеска, драматизированного диалога и т. п., своеобразие полемических приемов, наряду с другими вышеотмеченными признаками, выдвигают Салтыкова в первые ряды русской литературной критики. Однако — констатируем еще раз,— несмотря на богатство и обилие уже приведенного в известность материала, тема о Салтыкове-критике не только еще не разрешена, но даже во всем ее объеме и не поставлена в научной литературе, к ней до сих пор не привлечено достаточно внимания читателя и исследователя[3].

РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ САЛТЫКОВА

Рукописное богатство Салтыкова сохранилось главным образом в архиве М. М. Стасюлевича, ныне находящемся в Институте Русской Литературы Всесоюзной Академии Наук (б. Пушкинский дом) в Ленинграде. В своем письме 1910 г. в редакцию «Вестника Европы» Стасюлевич писал: «Вскоре после кончины (28 апреля 1889 г.) Михаила Евграфовича Салтыкова вдова его, Елизавета Аполлоновна, пригласила меня для разбора вместе с нею бумаг и рукописей, находившихся в кабинете покойного. При этом пришлось отложить в сторону как черновики, писанные им собственноручно, так и бумаги, переписанные, но очевидно прочтенные автором внимательно, так как в них встречаются поправки и дополнения, сделанные его рукой. Все эти бумаги были

---

[1] Мало кто знает из читателей Тургенева, что Салтыков, раздраженный изображением «новых людей» (т. е. революционеров), которое дал Тургенев в «Нови», написал, по существу говоря, большую и в высшей степени интересную рецензию на роман, но уже в форме художественного рассказа под названием «Чужую беду руками разведу». Цензура однако не пропустила рассказ, часть его Салтыков использовал в 1877 г. в тексте «Дворянских мелодий» («О. З.» 1877, кн. 11), а весь рассказ, в «сокращенном и затуманенном ради цензуры виде» опубликовал в № 12 «О. З.» за 1880 г. под названием «Чужой толк». Полностью, но неисправно рассказ «Чужую беду руками разведу» был напечатан в зарубежном издательстве — у Элпидина в Женеве (2-е изд. 1890 г.). Ныне он вошел в сборник «Неизданный Щедрин». Автокомментарии Салтыкова см. в его письмах (№№ 124, 125, 126).

[2] Авторство Салтыкова С. Борщевский устанавливает весьма кропотливым, но вместе с тем и «единственно надежным» методом текстовых параллелей. Нельзя не отдать должное ценности проделанной редактором работы и убедительности его аргументаций. По отношению к ряду статей такая подробная аргументация является, нам кажется, даже излишней. Это касается например такой статьи, как «Первая русская передвижная выставка», подписанной бесспорным салтыковским псевдонимом М. М., статьи «Один из деятелей русской мысли», о которой есть указание в письмах самого Салтыкова, и некоторых других.

[3] Эту задачу к сожалению не разрешает и упомянутый выше специальный сборник критических статей Салтыкова «Неизвестные страницы». Редактор его чрезмерно увлекся чисто исследовательской лабораторной работой по установлению «неизвестных страниц» Щедрина (хотя в первом разделе книги многие статьи уже давно были отмечены в литературе как салтыковские) и тем самым «академизировал» сборник. Бесспорно, было бы правильнее сделать книгу избранных наиболее важных и ярких публицистических и критических статей Щедрина, которые неизвестны широкому читателю ровно в такой же мере, как и новооткрытые страницы. Результаты же своих ценных изысканий по установлению новых текстов редактор мог бы изложить в порядке комментария. Без знакомства с такими центральными произведениями Салтыкова-критика, как например статья «Уличная философия» (быть может лучший разбор гончаровского «Обрыва»), нельзя составить себе достаточно полного и правильного представления о критической деятельности сатирика.

отданы Елизаветой Аполлоновной в мое полное распоряжение...»[1] Таким образом в руки Стасюлевича попали почти все рукописи, хранившиеся у самого Салтыкова. Это колоссальное богатство лежало однако у Стасюлевича мертвым кладом в течение 20 с лишним лет[2].

Только в 1910 г. были впервые напечатаны три рукописи собрания (см. об этом ниже), и эти публикации и положили начало изучению рукописного наследства Салтыкова.

До революции впрочем более или менее серьезно и систематически работал над архивом Щедрина лишь один В. П. Кранихфельд, извлекший из него для своих работ ряд ценных вариантов.

Он оставил между прочим характеристику архива, с которой мы считаем не лишним познакомить читателя. «Главная ценность архива,— пишет Кранихфельд,— заключается в том, что он дает картину **всей** или почти всей литературной деятельности сатирика во **все** периоды его жизни. Здесь находятся рукописи его юношеских произведений: здесь же хранятся и рукописи последних лет его жизни, вплоть до «Пошехонской старины». Правда, многих, очень многих рукописей даже известных произведений Щедрина нет в архиве; многие рукописи сохранились в случайных обрывках без начала и без конца. Но зато каждая из сохранившихся рукописей дает интересный и поучительный материал для изучения творчества сатирика в его интимной лаборатории. Можно сказать, что в **архиве Щедрина, за немногим исключением, нет рукописи, которая бы с точностью воспроизводила известный читателю печатный текст его произведения.** Сатирик добросовестно и много работал над своими произведениями, и каждая его рукопись представляет собой не установившийся текст, а новый **ва-**

СТРАНИЦА ПИСЬМА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА К А. Л. БОРОВИКОВСКОМУ ОТ 17 МАЯ 1884 г. (О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ЗАПРЕЩЕНИИ «ОТЕЧ. ЗАП.»)

Из архива Института Русской Литературы

---

[1] «Вестник Европы» 1910, кн. 3, стр. 133.

[2] Как это ни странно, но создается впечатленине, что Стасюлевич просто забыл о нем. Записка Стасюлевича, приложенная к изданию «Тихого пристанища» («Вестник Европы» 1910, кн. 3, стр. 133) позволяет думать, что он сам вспомнил и решил опубликовать... переданные ему рукописи. Однако такое впечатление не соответствует истине. Газетная хроникерская заметка 1910 г. позволяет нам восстановить ее. Вот что там написано: «Газеты сообщают о **находке** (! — *С. М.*) новых произведений Щедрина. После перехода в прошлом году «Вестника Европы» от М. М. Стасюлевича к М. М. Ковалевскому секретарь нового «Вестника Европы» М. А. Славинский занялся разборкой рукописей и бумаг в кабинете Стасюлевича, и ему удалось открыть рукописи никогда не появлявшихся произведений Щедрина, объемом приблизительно в 40 печ. листов. В том числе неоконченный роман... Открытые богатства этим не исчерпываются. Найдены два новых «Губернских очерка», несколько новых «Сказок» («СПБ Ведомости» 1910, № 7910). Таким образом произведения великого сатирика пришлось еще раз открывать в кабинете «регистратора» Стасюлевича. И это «открытие» было столь неожиданным, что произвело в литературной среде, по свидетельству Чешихина-Ветринского, «подлинную сенсацию» («О произведениях М. Е. Салтыкова», «Русские Ведомости» 1910 г., № 11, стр. 2).

риант. Почти каждое свое произведение он перерабатывал по нескольку раз, и среди рукописей Щедрина не в редкость встретить одно и то же произведение в шести, семи и даже восьми вариантах, сильно отличающихся друг от друга[1].

Добавим, что детальное изучение этой огромной работы Щедрина над рукописью представляет для нас особый интерес по сравнению с аналогичным изучением рукописи какого-либо другого писателя. Далеко не всегда эта работа преследовала задачи чисто художественного и стилистического характера. Часто исправления автора носят на себе печать иных целей — стремление сказать «недозволенное» «дозволенными» по форме словами. Они вводят нас в сложную лабораторию «рабьего», «эзопова» языка.

После революции началось более планомерное и интенсивное изучение рукописного наследия Салтыкова, в том числе и эпистолярного, рядом исследователей, но главным образом Н. В. Яковлевым.

Оно позволило открыть ряд новых, доселе неизвестных страниц великого сатирика и выяснить интересные варианты его ранее напечатанных сочинений. Приводим составленный нами свод этих публикаций.

А. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) «Глуповское распутство» («Нива» 1910, № 9, стр. 162—174 и «Русское Слово» 1910, № 47).

2) «Каплуны» («Нива» 1910 г., № 13, стр. 250—254). Оба очерка принадлежат к «глуповскому циклу». Они предназначались для «Современника» 1862 г.

«Глуповское распутство» было запрещено цензурой (вернее влиятельным придворным — графом С. Г. Строгановым, так как первоначальное разрешение Цензурного комитета имелось). Второй очерк «Каплуны» не был напечатан по иной причине.

Из позднейшего письма Салтыкова к Пыпину известно, что рассказ вызвал возражение Н. Г. Чернышевского, который «по этому случаю» писал Салтыкову, «оспаривал» его и «убедил взять очерк назад». Можно предположить (письмо не сохранилось), что именно оспаривал Чернышевский в «Каплунах». Салтыков, поставив здесь «жгучий вопрос эпохи: итти ли на сделку с установившимися формами жизни... или откровенно взглянуть на них, как на старый хлам...» — разрешал его политически и тактически недостаточно четко, что могло дать повод для упреков в пропаганде политики компромиссов. Оба очерка были впервые опубликованы в «Ниве» с двух корректурных оттисков, сохранившихся в архиве М. М. Стасюлевича. С исправлениями по рукописи они перепечатаны еще раз Ивановым-Разумником в книге «Неизданный Щедрин» (Л. 1932).

3) «Тихое пристанище» («Вестник Европы» 1910, кн. 3 и 4, стр. 133—167 и 3—74). Неоконченная повесть в 7 главах: Город, Веригин, Меценат, Первые знакомства, Клочьевы, Услуга, Обыск. См. об этой повести выше на стр. 89(5).

4) «Тени» («Заветы» 1914, кн. 4, стр. 11—91) — драма в 4 действиях. Опубликована Р. В. Ивановым-Разумником. В том же 1914 г. драма была поставлена в Мариинском театре в Петербурге в спектакле Литературного фонда и вызвала резкий протест черносотенной печати. См. об этом статьи в газете «День» 1914, №№ 97, 110, 114.

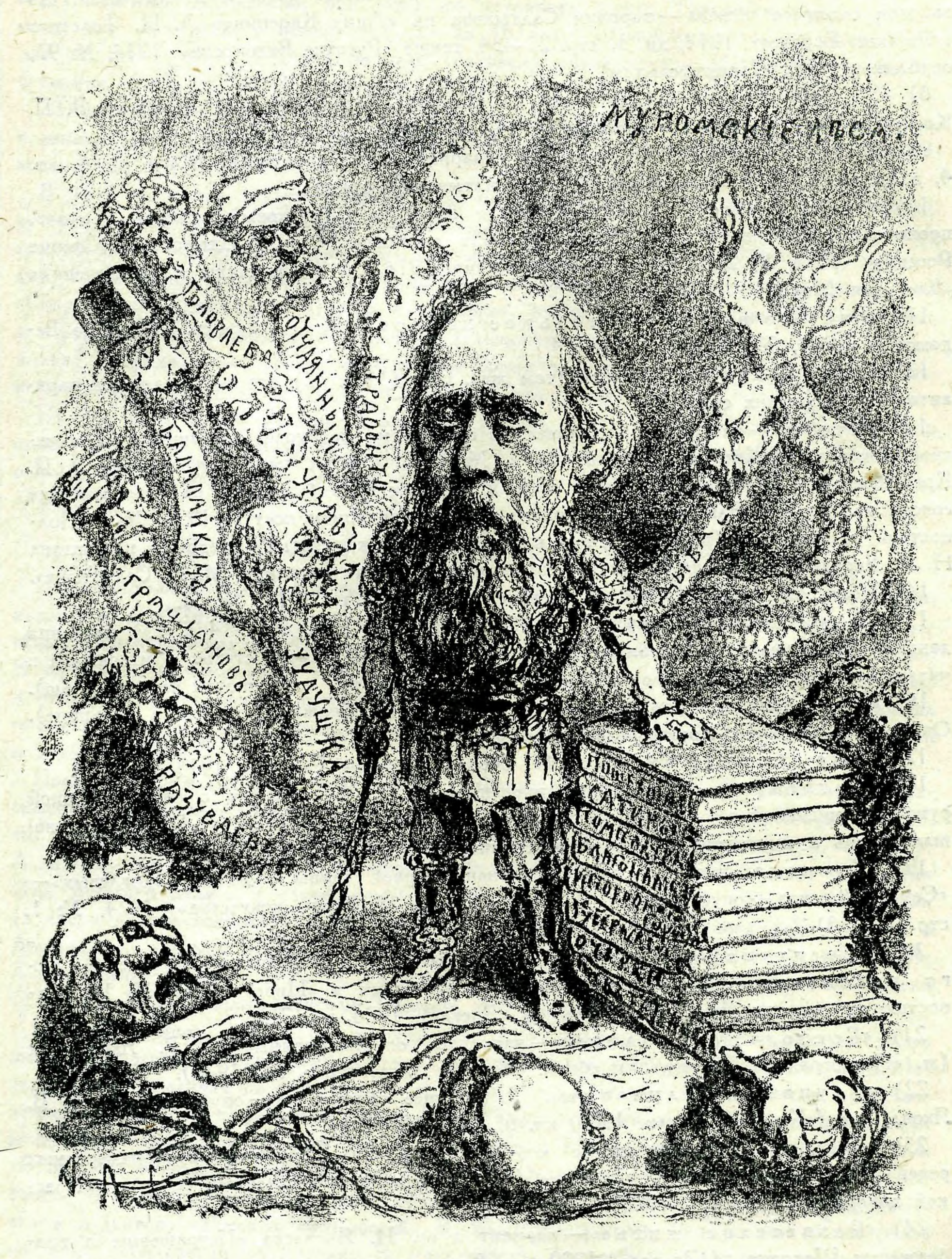
5) «Бедный волк» — вариант сказки (газ. «Киевская Мысль» 1914, № 116, в статье В. П. Кранихфельда «Обновленная сатира Щедрина»).

6) I. «Господа ташкентцы (Из воспоминаний одного просветителя)» и II. «Ташкентцы приготовительного класса. Параллель пятая и последняя». Новые страницы и варианты («Вестник Европы» 1914, № 5, стр. 6—25 и «Голос Минувшего» 1914, кн. 5; кроме того в отрывках в газете «Речь» 1914, № 116. Исправлено по рукописи, опубликовано еще раз Н. В. Яковлевым в «Звезде» 1916 г., кн. 1)[2].

---

[1] В. П. Кранихфельд. Обновленная сатира Щедрина (газета «Киевская Мысль» 1914, № 116).

[2] «Господа ташкенцы» (6), «Предчувствия, гадания...» (20) и «Глупов и глуповцы» (22) были переизданы И. С. Зильберштейном в книжке «М. Е. Салтыков-Щедрин. Несобранные произведения». М., 1930.



ИЗ БЫЛИНЫ «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И ЗМЕЙ»

«ГОЙ ТЫ, СТАРЫЙ КАЗАК, ДА ИЛЬЯ МУРОМЕЦ,
ТЕБЕ ГДЕ ЖЕ ПОБИТЬ ТУЮ СИЛУ ВЕЛИКУЮ?»

Карикатура А. И. Лебедева из издания: [В. Михневич] «Наши знакомые». Фельетонный словарь современников. П., 1884.

Картина изображает одетого в «русский» костюм Щедрина, стоящего около стопы из книг своих сочинений. В правой руке он держит треххвостную плеть. За ним видна многоголовая извивающаяся гидра, на длинных и тонких шеях которой имеются надписи, обозначающие щедринских «героев»: Разуваев, Грацианов, Балалайкин, Иудушка, Головлева, Удав, Дыба, Отчаянный и Твердоонто. Гидра, три головы которой отсечены и валяются на земле, ползет из «Муромских лесов», символизирующих реакцию

7) «Благонамеренная повесть. (Мои любовные радости и страдания. Из записок солощего быка)» — пародия Салтыкова на «Анну Каренину» Л. Н. Толстого («Вестник Европы» 1914, кн. 5, стр. 25—34, также «Русские Ведомости» 1914, № 97, опубликована В. Кранихфельдом).

8) «У пристани» — новая глава из «Господ Головлевых». Опубликована В. П. Кранихфельдом («Русское Богатство» 1914, кн. 4, стр. 52—64).

9) «История одного города» — варианты («Современный Мир» 1914, кн. 4, в статье В. П. Кранихфельда «М. Е. Салтыков-Щедрин»).

10) «Губернские очерки» — начало изъятого Салтыковым очерка «Скука», произвольно названное здесь издателем «Из дневника М. Е. Салтыкова» («Солнце России» 1914, № 219, «Русские Ведомости» 1914, № 97, а также в извлечениях «Киевская Мысль» 1914, № 116).

11) «Так это ваше решительное намерение...» — отрывок («Русские Ведомости» 1914, № 97).

12) «Мельхиседек», отрывок (там же). Оба (11 и 12) отрывка являются вариантами «Губернских очерков».

13) «Итоги» — глава V, запрещенная в свое время цензурой, посвященная Парижской коммуне[1] («Киевская Мысль» 1914, № 116). Статья была опубликована В. П. Кранихфельдом в крайне урезанном виде и в таком виде была еще раз перепечатана совсем недавно Ж. Эльсбергом в журнале «На литературном посту» 1931, № 8. Полностью и исправно (по рукописи и в двух вариантах) статья впервые напечатана Н. В. Яковлевым в вышеупомянутой книге «Неизвестные страницы М. Е. Салтыкова».

14) Неотправленное «Письмо к тетеньке» («Утро Юга» 1914, № 5).

15) «О русском литераторе» («Утро Юга» 1914, № 97); оба (14 и 15) названия даны В. Кранихфельдом, опубликовавшим эти фрагменты в своей статье «Литераторы и читатели» (второй отрывок, относящийся к началу 60-х гг., опубликован не полностью).

16) «В больнице для умалишенных» — варианты (изображающие бунт в больнице). Опубликованы В. П. Кранихфельдом («Утро Юга» 1914, №№ 97 и 101).

17) «Еще скрежет зубовный», очерк («Вестник Европы» 1915, кн. 9)[2].

18) «Богатырь» — сказка, опубликованная А. Е. Грузинским с авторизованной рукописи, писанной рукою жены сатирика («Красный архив» 1922, т. II). Сказка вошла теперь в шеститомное «Собрание сочинений» изд. 1926—1928 гг.

19) «Господа Головлевы» — вариант первой главы «Господ Головлевых» — «Семейный суд» — опубликовано Н. В. Яковлевым («Жизнь искусства» 1924, № 1, стр. 12—13).

20) «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» — опубликовано дважды (с купюрами в «Ниве» 1914, № 17, полностью по рукописи Н. В. Яковлевым в «Звезде» 1926, кн. 2).

21) «Господа Молчалины» — варианты, опубликованные Н. В. Яковлевым (ж. «Петроград» 1923, кн. 5 и сборн. «Язык и литература», Л., 1926).

22) «Глупов и Глуповцы». 1. «Общее обозрение» — опубликовано Н. В. Яковлевым («Красная Новь» 1926, кн. 5, стр. 112—121).

23) «Письмо к маменьке об адвокатах». Вариант «Благонамеренных речей». Опубликовано Н. Пенчковским («Литературно-художественный сборник «Красной панорамы», сентябрь, 1928).

24) «Развеселое житье» — вариант в ст. Н. Яковлева «Петрашевцы в изображении Щедрина» («Звезда» 1929, кн. 8).

25) «История одного города» — вариант «Описи градоначальникам». Опубликовано Н. Пенчковским («Звезда» 1929, кн. 7).

26) «Приятное семейство» — к вопросу о «Благонамеренных речах». Опубликовано Н. В. Яковлевым («Новый Мир» 1931, кн. 7).

---

[1] См. об этом письмо Салтыкова к А. М. Жемчужникову от 31 августа 1871 г. («Русская Мысль» 1913, кн. 4).

[2] См. редакционные примечания к очерку, а также ст. Вс. Суходрева, «Неизданные произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина» в газ. «Новое Время» 1910, № 12155 от 13 января.

27) «В больнице для умалишенных» — незаконченная, третья по счету, глава начатого Салтыковым под этим же названием цикла. Предназначалась повидимому для октябрьского номера «О. З.» за 1873 г. Сохранилось семь рукописных редакций этого отрывка. Одна из них (беловая) опубликована Ивановым-Разумником (сборник «Неизданный Щедрин», Л., 1932).

28) «Послание пошехонцам» — набросок, близко примыкающий к неосуществленному циклу «Дополнительных писем к тетеньке» (см. также выше, № 14). Опубликовано там же.

В этой же связи следует сказать и о тех неизвестных вариантах и разночтениях, которые использованы Ивановым-Разумником в его ценных комментариях к гизовскому шеститомному «Собранию сочинений» Салтыкова-Щедрина (М.-Л., 1926—1928) и в цитированной выше монографии, а также об исключительно острых новых страницах из «Современной идиллии» и «Писем к тетеньке», изученных по рукописи В. Гиппиусом, и в отрывках, приведенных им в печати (главные варианты «Сказки о ретивом начальнике»[1] и продолжения вырезанного в свое время цензурой третьего «Письма к тетеньке», посвященного разоблачениям «Священной дружины»)[2].

Им же опубликован и использован ряд мелких вариантов и разночтений «Истории одного города» в комментариях к критическому изданию этого произведения («История одного города». Вступ. ст. Леонида Гроссмана, ред. Владимира Гиппиуса. ГИЗ, М.-Л., 1926).

Б. ПИСЬМА И БИОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Первое собрание писем Салтыкова-Щедрина было осуществлено Н. В. Яковлевым, издавшим в 1924/25 г. «Письма Салтыкова», извлеченные составителем из ряда частных архивов и архива Литературного фонда, хранящихся в б. Пушкинском доме. К собранию, включающему в себя 301 письмо Салтыкова за период 1845—1889 гг. и ряд ценных документов, приложена библиографическая справка о ранее напечатанных письмах, составленная издателем совместно с Б. Л. Модзалевским (справка нуждается в дополнениях).

После выхода в свет этого тома были опубликованы письма: В. Е. Евгеньевым-Максимовым (7 писем и 6 записок Салтыкова к Некрасову, «Печать и революция» 1929, кн. 3, стр. 47—62 и 9 писем к Некрасову, «Новый мир» 1929, кн. 5, стр. 178—188); А. М. Путинцевым (письма Салтыкова к беллетристу Г. П. Недетовскому, «Известия Отд. русского языка и словесности» РАН, XXXI, 1927); Д. И. Абрамовичем (5 писем и одна записка к А. С. Суворину — сборник Госуд. Публичной Библиотеки в Ленинграде, «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927 стр. 168—172); Л. Бухгеймом (5 писем к Л. Н. Толстому — юбилейный сборник Публичной библотеки СССР им. В. И. Ленина «Письма Толстого и к Толстому», М., 1928) и др.

Наконец в июне 1932 г. в издательстве «Academia» вышла в свет вторая книга писем Салтыкова («Неизданные письма») в обработке Н. Яковлева, Е. Дубова и Е. Макаровой, составленная по тому же плану, что и первая. Чтобы дать читателю представление о характере и ценности публикуемого здесь материала, приводим в выдержках автореферат книги, написанный для «Литературного Наследства» Н. В. Яковлевым. «В отличие от первой книги вторая беднее в литературном отношении и богаче в бытовом. В отношении истории ряда произведений Салтыкова здесь важен фонд писем его к редактору «Русских Ведомостей» В. М. Соболевскому (эти письма были ранее частично использованы в статьях В. Розенберга). Литературный интерес представляют письма к различным писателям по поводу их произведений, сотрудничества в «Отечественных Записках» и других журналах, а также и литературной работы самого Салтыкова. Таковы письма к поэтам и беллетристам — П. Вейнбергу, А. Винницкой-Будзианик, В. Гаршину, И. Гончарову, Н. Некрасову (проверенные письма из села Карабиха),

[1] Сохранилось пять рукописных редакций этой сказки. Самая обширная и «нецензурная» из них («Сказка о ретивом начальнике, как он своими действиями в изумление был приведен») воспроизведена в сборнике «Неизданный Щедрин» (Л., 1932).

[2] В. Гиппиус. М. Е. Салтыков-Щедрин и реакция 80-х гг. Сборник О-ва истории., философ. и соц. наук при Пермском университете, вып. III, Пермь, 1929 г.

А. Плещееву, Я. Полонскому, И. Салову, В. Слепцову, К. Случевскому, И. Ясинскому; критикам и публицистам — П. Анненкову, В. Гаевскому, В. Зотову, А. Краевскому, В. Лаврову, Н. Михайловскому, А. Скабичевскому, М. Стасюлевичу, В. Тимирязеву; научным и общественным деятелям — М. Ковалевскому, С. Максимову, А. Пыпину, Г. Репинскому, М. Трубниковой, Б. Утину. Здесь характерны советы начинающему автору, ищущему руководства, читать Белинского, Добролюбова, Писарева (письмо к В. Винницкой). Характерен взгляд на самого себя как на «изгоя» в литературе (письмо Гончарову), как на «человека партии» (письмо В. Гаевскому).

Но если не количественно, то качественно в книге преобладает бытовой материал. Даются замечательные сатирические характеристики родных, своих и жениных, а также и самой жены, Елизаветы Аполлоновны, урожденной Болтиной, как самой по себе, так вместе с женой Г. З. Елисеева, Екатериной Павловной (письма к А. Боровиковскому).

На первое место среди адресатов выдвигаются личные друзья Салтыкова, члены того интимного кружка, который сгруппировался вокруг него с конца 70-х гг.: А. М. Унковский, А. Н. Ераков, В. И. Лихачев, А. Л. Боровиковский и др. участники семейно-карточных вечеров. Здесь имеются также письма к В. П. Гаевскому, А. Плещееву, наконец графу М. Лорис-Меликову, с которым Салтыковы были «знакомы домами».

Члены этой «компании мушкатеров» (к которым ближайшим образом Салтыков относит Унковского, Еракова, Лихачева, Боровиковского), «всеми любимые», всюду вхожие, являлись для больного Щедрина незаменимыми поставщиками всевозможных новостей, анкдотов, сплетен из области государственно-бюрократической, общественно-политической, литературно-художественно-театральной, журнально цензурной, судебно-адвокатской, инженерно-технической, земско-городской и пр. и т. п.

Дружеское общение несомненно укрепляло нравственные силы сатирика как раз в эти годы, когда он лишался одного за другим своих товарищей по редакции «Отечественных Записок» (болезнь Елисеева, высылка Михайловского, арест Кривенко), когда ему самому грозил обыск жандармов и стали ходить слухи о предстоящей высылке в провинцию, когда наконец журнал был закрыт и Салтыков оказался перед угрозой безработицы или необходимости «перейти» в какой-нибудь из других журналов вроде московского «нужника» — «Русской Мысли» или петербургского «окрашенного гроба» — «Вестника Европы».

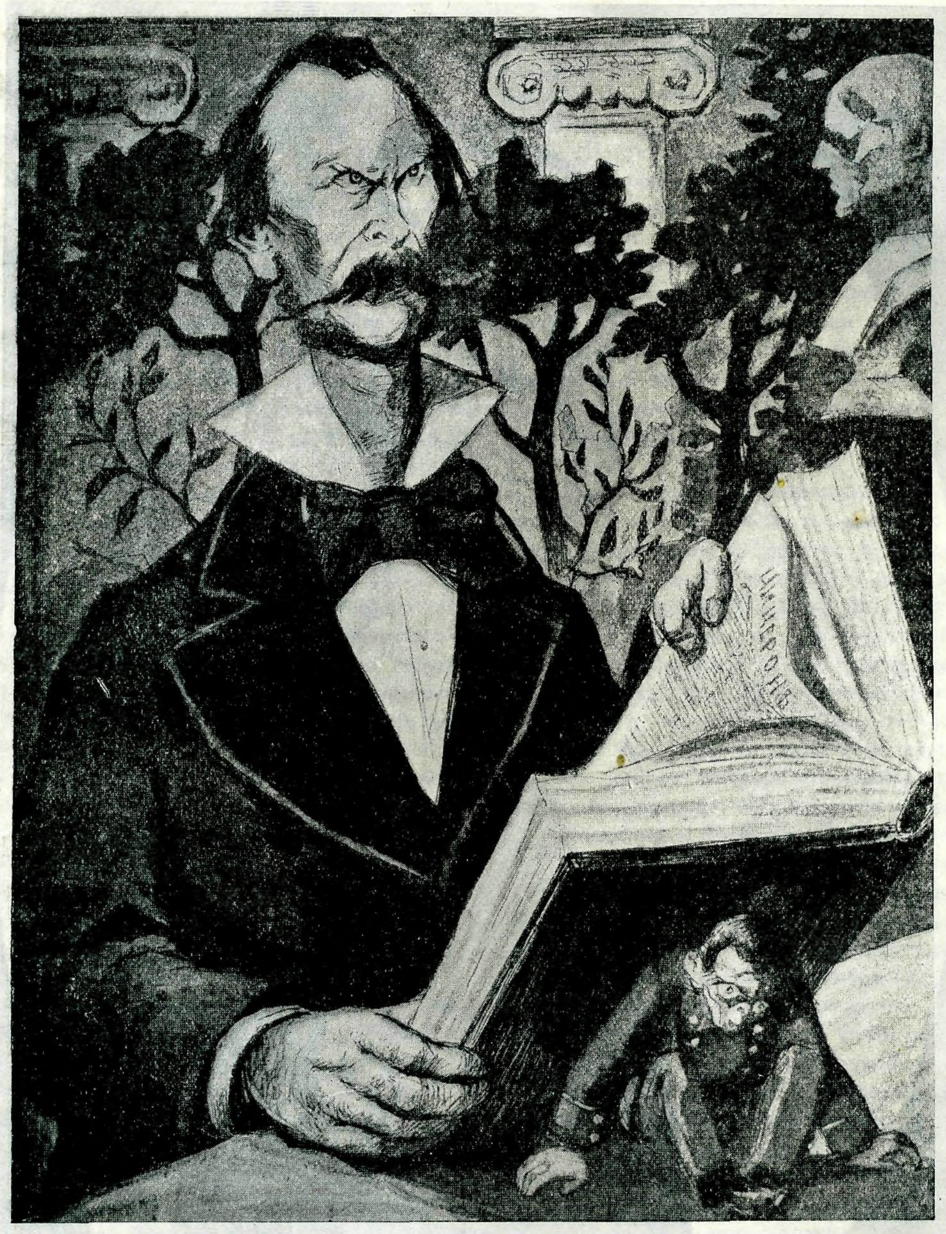
Эта дружеская среда давала выход особого рода бесцензурному творчеству Салтыкова, особенно ярко выраженному у него в письмах к Боровиковскому. Здесь мы находим ряд анекдотов совершенно исключительного свойства прежде всего о самих членах нашей «компании мушкатеров», а затем и ряде других лиц вроде: Е. Утина, Герарда, Спасовича и даже К. П. Победоносцева с митрополитом Аникой. В обстановке спада революционной волны и расцвета шкурнических настроений среди интеллигенции Салтыков допускал, как известно, довольно непристойные места в своих «Пошехонских рассказах», поставив к ним эпиграф: «По Сеньке и шапка». Поэтому и в письмах он культивирует этот жанр непристойных анекдотов, сравнений, метафор, с изумительным искусством избегая вместе с тем так называемого «сала» настоящей порнографии.

Второе собрание средактировано по плану первого, т. е. кроме писем (общее количество их 313 номеров) и краткого комментария к ним даются в приложениях письма других лиц, документы, библиографические списки заграничных изданий произведений Щедрина и публикаций его писем дополнительно к данному к первой книге» (Яковлев).

В том же издательстве вышел том «Неизданных писем» русских писателей[1], в котором впервые появилось в печати 36 писем Салтыкова к драматургу А. Н. Островскому. Письма охватывают период с 1863 по 1884 г. и посвящены главным образом деловым вопросам, связанным с сотрудничеством Островского в «Отечественных Записках» (Салтыков имел обыкновение начинать первую книжку журнала за новый год комедией или драмой Островского). Тем не менее в них как и в большинстве писем Салтыкова к литераторам, разбросано множество блестящих характеристик и замечаний, имеющих большую общественную ценность и дорисовывающих

---

[1] «Неизданные письма». Из архива А. Н. Островского. По материалам Государственного театрального музея имени А. Бахрушина. Подготовили к печати М. Д. Прыгунов, Ю. А. Бахрушин, Н. Л. Бродский, изд. «Academia», М.-Л., 1932.



«ГР. А. Д. ТОЛСТОЙ, БЫВШИЙ АРХИСТРОЙК ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО, ДОВОЛЬСТВОВАВШИЙСЯ СКРОМНЫМ ТИТУЛОМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ; СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ, ЧТОБЫ РАСШАТАТЬ СТАРУЮ РОССИЮ, ЕЕ УСТОИ И ПОРЯДКИ, ЗАСТАВИВ ОБЩЕСТВО И УЧАЩИХСЯ ВОЗНЕНАВИДЕТЬ ШКОЛУ; ПОВСЕМЕСТНО ВВЕЛ ШТЫК-ЮНКЕРСКУЮ ЮСТИЦИЮ ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ, ПОДЧИНИЛ ДУХОВЕНСТВО ДЕЙСТВИЮ УСТАВА ДЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ БАТАЛЬОНОВ, ЗАКРЫЛ СОРОК СОРОКОВ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ И БЫЛ ВЗЯТ НА НЕБО ДВУМЯ МИТРОПОЛИТАМИ И ЧЕТЫРЬМЯ ЖАНДАРМСКИМИ ГЕНЕРАЛАМИ»

Рисунок А. Радакова из альбома: «Портретная Галерея Градоначальников в разное время в город Глупов от высшего начальства поставленных (1731—1826 по Щедрину и 1826—1907 не по Щедрину)», П., 1907 г.

Интересно задуманный альбом этот (художники: Баян, Радаков, Ре-Ми и А. Яковлев) был изуродован царской цензурой. Половина рисунков была из него вырезана, в том числе и воспроизводимый здесь (из собрания О. Л. Дор) «портрет» гр. Д. Толстого, матерого реакционера, министра внутренних дел, затем министра народного просвещения и одновременно обер-прокурора св. Синода

В сатире Щедрина Толстой нашел свое место в образе «Графа Твэрдоонто» («За рубежом»)



«БАКЛАН, ИВАН МАТВЕЕВИЧ, БРИГАДИР. БЫЛ РОСТА ТРЕХ АРШИН И ТРЕХ ВЕРШКОВ И КИЧИЛСЯ ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ПО ПРЯМОЙ ЛИНИИ ОТ ИВАНА-ВЕЛИКОГО (ИЗВЕСТНАЯ В МОСКВЕ КОЛОКОЛЬНЯ). ПЕРЕЛОМЛЕН ПОПОЛАМ ВО ВРЕМЯ БУРИ, СВИРЕПСТВОВАВШЕЙ В 1761 ГОДУ»

Иллюстрация художника Баяна из того же издания

политический портрет Салтыкова (в письмах он высказывался разумеется откровеннее, чем в печати).

Приведем несколько таких характеристик. Жалуясь на жестокие физические страдания, делавшие по временам невозможной для него всякую литературную работу, и на неистовства цензуры, Салтыков пишет: «Очевидно журнал разваливается сам собой, как разваливается само собой III Отделение, которое все делало: и слезы утирало, и шпионов содержало, но одного не совершило: безопасности не достигло» (письмо от 29 февраля 1880 (?) г.). А вот замечательно меткая и язвительная характеристика известных юбилейных речей Тургенева и Достоевского на пушкинских торжествах 1880 г. в Москве: «Пушкинский праздник произвел во мне некоторое недоумение. Повидимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с ее пьедесталом возникли два суднышка, на которых сидят два человека из публики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели вы, как они целовали у меня руки? И по свидетельству Тургенева (в Петербурге подагрой страдающего, но, кажется, сегодня уезжающего за границу) будто бы прибавляет: а если б они знали, что я этими руками перед тем делал».

Салтыков, неоднократно заявлявший, что он считает себя «человеком партии», требовал ясности и определенности не только во взглядах, но и в личном поведении. Всякую фальшь и манерность, где бы и как бы они ни проявлялись, он умел прекрасно выявлять и осмеивать. Вот например замечательнейшая характерастика, данная им Тургеневу, а попутно и Достоевскому: «Видел в Париже Тургенева и хотел писать статью под названием: «Кто истинно счастливый человек», но больно уж коротко выходит: Тургенев. Соблюдает все правила общежития, как то: встречаясь с незнакомой женщиной (разумеется, дамой) на лестнице, поклонится (не бойся! не... у!), встречаясь с знакомой дамой на улице, не поклонится (может быть, она к любовнику идет и не желает, чтоб ее узнали) и т. д. Слегка пописывает, слегка по...вает, ездит в посольство, но непрочь поддерживать сношения и с рефюжье. Одним словом, умирать не надо. И Вы увидите, всех он переживет, и когда Виардо последние деньги из него высосет, то примет звание Наставника при будущем наследнике престола. Вот-то озлится Достоевский» (письмо от 22 октября 1880 г.).

О пресловутой «диктатуре сердца» он пишет тогда же: «Лорис-Меликов показал мудрость истинного змия библейского: представьте себе, ничего об нем не слыхать, и мы начинаем даже мнить себя в безопасности»; усиление реакции вызывает следующие строки: «Я все письма получаю с упреками, зачем стал мрачно писать. Это меня радует, что начинают чувствовать. А кабы разодрало с верхнего конца до нижнего — и того было бы лучше. Настоящее бы теперь время такую трагедию написать, чтобы после первого акта у зрителей аневризм сделался, а по окончании пьесы все сердца бы лопнули. Истинно вам говорю: несчастные люди мы, дожившие до этой страшной эпохи».

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, насколько идейно содержательно и художественно значительно эпистолярное наследие Салтыкова.

Еще очень много интересного хранит в себе собрание Института Русской Литературы Всесоюзной Академии Наук, недавно пополненное материалами, переданными из Рукописного отделения Академии. Кое-что имеется и в таких столичных хранилищах Союза, как архивные фонды Центрархива, как рукописные отделения Публичной Библиотеки и библиотеки Академии Наук в Ленинграде, Ленинская библиотека (в фонде архива Пошехонова — здесь хранится 100 писем Салтыкова к Г. З. Елисееву; лишь 30 из них, да и то в отрывках, были опубликованы), Исторический музей и Театральный музей им. Бахрушина в Москве. Из провинциальных архивов, насколько нам известно, автографы Салтыкова имеются в Нижнем-Новгороде, в Воронеже (Музей им. Никитина), Саратове (Музей им. Чернышевского и библиотека Саратовского университета), Казани (Университетская библиотека) и Одессе. Кроме того Талдомскому музею местного края (близ Твери) удалось за последние годы собрать ряд ценных документов по феодально-крепостному быту, связанных непосредственно с родом Салтыковых, владевших в этом уезде родовой усадьбой Спас-Угол. Документы относятся к началу XIX в. и представляют собой переписку владельцев с приказчиками салтыковских деревень, принадле-

жавших родителям М. Е. Салтыкова-Щедрина (эти материалы важны при изучении «Пошехонской старины»). Среди документов родового архива Салтыковых более десяти изображений генеалогического древа, большое количество писем самого Салтыкова к родным, рукописи на французском языке, в том числе переписка, и др. Кроме того заведующей музеем Е. Сосенковой собраны и записаны воспоминания крестьян-старожилов о М. Е. Салтыкове.

Опубликованный материал уже дает основу для будущего полного собрания писем Салтыкова. Такое собрание, пополненное большим количеством сохранившихся, но еще неизданных писем Салтыкова к родным (детские и юношеские годы, вятская ссылка, период казенной службы), явилось бы вместе с тем и основой для отсутствующей документальной биографии сатирика, ряд подготовительных работ к которой уже имеется. Указываем наиболее существенные из них, появившиеся после революции (по алфавиту):

Анатольев, К истории закрытия журнала «Отечественные Записки» («Каторга и ссылка» 1929, кн. 8—9, стр. 169—202); Вершинский, А. Н., Салтыковская вотчина в XIX веке, Тверь, 1929 (брошюра, представляющая этюд по истории крепостного хозяйства родителей Салтыкова); Герасимов, А. Н., Щедрин и студенчество (из прошлого) «Молодая гвардия», 1926, кн. 3. стр. 204—212); Колпенский, В. М., Е. *Салтыков-Щедрин и общестуденческий союз* (начало 80-х годов) («Русское прошлое» 1923, кн. 6); Оксман, Ю. Г., Несостоявшийся журнал М. Е. Салтыкова-Щедрина «Русская Правда» («Красный архив» 1923, апрель, стр. 393—398); *Никишин, П., Салтыков в Пензе* («Правда» от 29 января 1926) и др.

Ряд новых биографических данных использован в упомянутой монографии Иванова-Разумника, где однако обширный и сам по себе ценный фактический материал дан *автором в откровенно-идеалистической, народнической трактовке*. Кое-что новое можно найти и в обширной мемуарной литературе последних лет. Наконец имеется составленная Е. Дубовым и находящаяся в рукописи канва биографии Салтыкова.

Следует также указать на интересные своим фактическим материалом статьи, появившиеся в заграничной и белоэмигрантской печати: Бурцев, В., К биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина («На чужой стороне» 1925, кн. 10, стр. 121—134, Берлин; о *Салтыкове и революционном движении* 70—80-х гг.); Лясковский А., М. Е. Салтыков в ссылке («Историк и современник» 1922, кн. 3, стр. 249—278, Берлин); его же, Новое о Салтыкове («Беседа» 1924, кн. 5, стр. 245—264) — обе статьи, написанные на основании данных, извлеченных из Вятского губернского архива, посвящены служебной деятельности Салтыкова в Вятке, в частности его борьбе с раскольниками; Z, **Щедрин и Маковский («На чужой стороне» 1925, кн. 10, стр. 133—134)** и др.

Приведенные выше публикации вместе с *названными новыми* материалами, еще не вышедшими в свет, далеко еще не исчерпывают богатое рукописное наследие Салтыкова.

Плохо обследованы и изучены местные архивы тех городов, где протекала служебная деятельность писателя: *Вятки, Твери, Рязани, Пензы и Тулы*. Нахождение здесь не только деловых бумаг, но и художественных произведений вполне вероятно. Автографы Салтыкова имеются и в некоторых частных собраниях.

Наш далеко не полный очерк тем не менее может дать представление читателю об огромности и ценности литературного наследства Салтыкова. Долгом советской литературной науки перед памятью большого революционного писателя является скорейшее включение этого наследия в *наш литературно-общественный оборот*.

Для этого нам необходимо прежде всего действительно полное и научное собрание сочинений Щедрина, чтобы на основе его широко развернуть марксистско-ленинское изучение и пропаганду творчества великого сатирика. Такое издание (наряду с изданием сокращенного «собрания избранных произведений» в 8 томах) ныне осуществляется под общей редакцией М. С. Ольминского; оно будет состоять из 20 томов и включит в себя все художественные и *публицистические произведения Щедрина*, а также и его письма. Редактирование отдельных томов поручено авторитетным литераторам — марксистам-коммунистам. В целях помощи изданию и создания научного марксистско-ленинского центра по изучению Щедрина создается по инициативе М. С. Ольминского при Обществе старых большевиков «Общество по изучению Щедрина».

С. Макашин

СУДЬБА ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

I

Сочинения Ф. М. Решетникова издавались неоднократно и в собраниях, и отдельными произведениями. Первое двухтомное собрание сочинений, задуманное писателем в 1866 г., осуществилось лишь в 1869 г. и им самим было подготовлено к печати [1]. В архиве Решетникова, хранящемся в Рукописном отделении Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки, имеется несколько писем к Ф. М. его издателя — К. Н. Плотникова. Интерес представляет письмо Плотникова от 12 мая 1869 г. к Решетникову, проживавшему в то время в Брест-Литовске:

«В «Вестнике Европы» отозвались очень лестно о Вас; в «Отечественных Записках» и «С.-Петербургских Ведомостях» тоже. Нельзя ли на основании этих отзывов составить (от издателя) рекламу к сочинениям Вашим для публикации, чтобы помочь к ускорению продажи, что, я думаю, Вам было бы приятно?»

Повидимому Плотников имел в виду тургеневские «Воспоминания о Белинском», которые печатались тогда в «Вестнике Европы» и в которых упомянуто о «трезвой правде Решетникова» в весьма лестном для Ф. М. контексте [2], анонимную рецензию в «Отечественных Записках» на роман «Где лучше?» (1869 г., № 4) и несколько фельетонов Z. (В. Буренина) в «С.-Петербургских Ведомостях» (в конце 1869 г.). Здесь же, на письме Плотникова, Решетников сделал набросок «рекламы», появившейся вскоре в объявлениях о новых книгах [3]. «Реклама», составленная Решетниковым, имеет историко-литературный интерес и заслуживает того, чтобы на ней остановиться.

К моменту выхода первого собрания сочинений Решетникова дискуссия о его творчестве в русской критике только еще развертывалась, однако к этому времени уже успели высказаться «Отечественные Записки» (статья Скабичевского — «Живая струя». 1868, № 4, и анонимная, принадлежащая Салтыкову-Щедрину, статья «Напрасные опасения», 1868, № 10), «Дело» (статья Ткачева «Разбитые иллюзии», 1868, №№ 11 и 12), «С.-Петербургские Ведомости» (ряд фельетонов В. Буренина) и ряд рецензий. В высказываниях этих было много приятного для Решетникова (реакционная пресса еще не выступила к тому времени), но Ф. М. ограничивается в «рекламе» простым указанием, что «о произведениях этого автора было напечатано в разное время в журналах и газетах несколько хвалебных отзывов». Даже блестящее имя Тургенева не прельстило писателя-разночинца. Только из статьи о романе «Где лучше?», помещенной в «Отечественных Записках», он делает длинную выписку, считая повидимому оценку своего творчества в этой рецензии наиболее удачной.

«Нет драмы в жизни русского мужика, так, казалось, говорили русские беллетристы, — читаем в отрывке, взятом Решетниковым для «рекламы»: — нет драмы, а

---

[1] Сочинения Ф. Решетникова, СПБ, 1869. Том первый — повести; том второй — очерки, рассказы и сцены.

[2] «Как бы порадовался он (Белинский) поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова». (Цитируется по собр. соч. Тургенева, 1913, т. X, стр. 57—58).

[3] См. например отдел объявлений в № 10 «Отечественных Записок» за 1869 г.

есть только курьезные случаи... А между тем драма есть, и т. Решетникову бесспорно первому принадлежит честь открытия этого факта. Эта драма очень большая и называется борьбой за существование. Это в одно и то же время и драма, в которой фаталистически вращается существование русского простолюдина, и действительный стимул всех его движений и действий...»

Первое собрание сочинений Ф. М. Решетникова заключало далеко не все, напечатанное им к тому времени: ни «Подлиповцы», ни «Глумовцы», ни «Где лучше?» в «Собрание» не вошли; «Подлиповцы» и «Где лучше?» имелись в отдельных изданиях Звонарева; «Горнорабочие» были осколком разбитого редакцией романа «из горнорабочей жизни»[1]; «Глумовы» повидимому казались Решетникову произведением, изуродованным, незаконченным благодаря издательским соображениям Г. Е. Благосветлова, и при жизни своей он кажется ни разу не поднимал вопроса об отдельном издании этого романа. Не включил Решетников в это собрание и ряд других своих произведений: серию рассказов, печатавшихся в 1863—1864 гг. в усовской «Северной Пчеле», некоторых очерков, печатавшихся в «Искре» («Старые и новые знакомые», «На заработки», «На большой дороге», «Женщины Никольского рынка»)[2], в «Будильнике» («Прокопьевна» и «Былые чудеса»), в «Развлечении» («Квартира № 25») и некоторые другие. В то же время Ф. М. произвел и реорганизацию некоторых своих произведений. Так цикл «Между людьми», печатавшийся в «Русском Слове» и «Современнике» («Воспоминания детства», «Между людьми» и «Похождения бедного провинциала в столице») и также претерпевший не мало злоключений в редакции благосветловского «Русского Слова»[3], Решетников свел в одну повесть.

Последним при жизни Решетникова печатался в отдельном издании (Плотникова) его роман «Свой хлеб» (СПБ, 1871).

Недовольство российской буржуазии сказалось весьма своеобразно в литературно-издательской и меценатской деятельности таких столпов капитализма, как К. Т. Солдатенков и И. М. Сибиряков. Первый издавал сочинения народников, издал Решетникова, издавал впоследствии Левитова, Каронина-Петропавловского, Нефедова, Сурикова, печатал работы возвращенного из Сибири Чернышевского, пытался издать Елисеева; второй покровительствовал писателям радикального лагеря, поддерживал радикальное издательство Ф. Ф. Павленкова, журнал «Русское Богатство» (докороленковского периода) и т. д. Литературное наследие Ф. М. Решетникова попало в руки сначала первого из них, а затем второго.

В 1873 г., два года спустя после смерти Решетникова, вдова писателя заключила договор с Солдатенковым на издание нового собрания сочинений Ф. М. Редактирование сочинений Решетникова издатель поручил Гл. Успенскому. Лучшее из всех изданий Решетникова, если не по полноте, то по оформлению и по вводной статье редактора[4] — издание Солдатенкова; оно однако страдает весьма существенными недостатками, которые не были исправлены ни одним из последующих редакторов Решетникова — ни М. А. Протопоповым, ни А. М. Скабичевским. Мы имеем в виду те произвольные изменения, которые Гл. Успенский ввел в тексты произведений Решетникова. Не имея возможности, по ограниченности места, остановиться на редакторской работе Гл. Успенского, укажем здесь лишь на факт снятия им заголовков к частям и главам решетниковских романов. Вместо немых римских цифр, обозначающих главы романов в тексте, редактированном Гл. Успенским, у Решетникова стояли оглавления в манере Диккенса, часто весьма колоритные, иногда насыщенные социальным содержанием, — оглавления, которых не тронул в свое время ни один из придирчивых и строгих редакторов Решетникова: «Пелагея Прохоровна

---

[1] Роман начался печатанием в «Современнике» в 1866 г. и прекратился вместе с «Современником», закрытым правительством, — о нем см. ниже.

[2] Последний рассказ и впоследствии не попал ни в одно собрание сочинений Решетникова и ни в один библиографический указатель.

[3] Письмо Н. А. Благовещенского от 8 июля 1865 г. (Архив Ф. М. Р-ва в ЛГПБ).

[4] Переработка некролога Ф. М. Решетникова, написанного Гл. Успенским в 1871 г. («Отечественные Записки» 1871 г., № 4).

попадает туда, где денег за житье не берут...»[1] («Где лучше?», ч. II, гл. IX); «Наконец Пелагея Прохоровна стала свободным человеком и едва не умирает в этой свободе»[2] («Где лучше?», ч. II, гл. X); «В которой столичные рабочие разъясняют вопрос, где лучше?» («Где лучше?», ч. II, гл. XV) — и ряд других. Все заголовки в романах «Глумовы», «Где лучше?», «Свой хлеб» Гл. Успенский почему-то снял, оставив их только в «незаконченном» романе «Горнорабочие», напечатанном в качестве приложения к «Собранию». В том немом виде, который придал им Гл. Успенский, романы Решетникова воспроизводились и во всех последующих изданиях, включая и последнее «полное» издание 1904 г.

И в солдатенковском издании отсутствовал почти весь цикл рассказов 1863—1864 гг., также выпала большая группа рассказов, печатавшихся в «Искре» (6 рассказов), в «Будильнике» (2 рассказа), в «Развлечении» («Квартира № 25»), в «Отечественных Записках» («Будни и праздник Янкеля Дворкина и его семейства»); не вошли в него так называемые посмертные «Основцы», не говоря уже о значительном количестве ненапечатанных произведений, часть которых была большой художественной ценности, несмотря на то, что архив Решетникова находился в распоряжении Гл. Успенского и что вдова писателя на известных условиях конечно разрешила бы его использовать. После выхода в свет собрания 1874 г. в повременной печати появляются публикации неизданных произведений Решетникова; в 1875 г. появился очерк «Полторы сутки на Варшавской железной дороге» («Будильник», №№ 13 и 14); в 1884 г. в отдаленном тифлисском «Новом Обозрении» печатается «Филармонический концерт»; в 1885 г. там же — «Трудно поверить» («Новое Обозрение» 1884 г., № 47 и 1885 г., № 548). Как видно из примечаний редакции «Нового Обозрения» к публикациям, названные рассказы были доставлены вдовой писателя — первый «при любезном содействии и посредничестве Гл. И. Успенского», второй — «при любезном посредничестве Н. Я. Николадзе». О причинах, загнавших так далеко на юг эти рассказы Решетникова, можно только гадать. Затерянные на столбцах газеты, не имевшей широкого распространения, оба рассказа оставались неизвестными ни библиографам Решетникова (Быков, Венгеров, Мезьер), ни его редакторам[3].

ПОДЛИПОВЦЫ.

ЭТНОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

(ИЗЪ ЖИЗНИ БУРЛАКОВЪ)

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ

Ѳ. РѢШЕТНИКОВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе Книгопродавца С. В. Звонарева.

1867.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО ОТДЕЛЬНОГО ИЗДАНИЯ «ПОДЛИПОВЦЕВ»

Одновременно на книжном рынке появляются новые издания отдельных сочинений Решетникова,— мы имеем в виду сборник, изданный Оболенским в 1878 г. «Знакомые портреты» («Былые чудеса», «Никола Знаменский», «Зуботычин», «Внучки») и тузовские издания «Подлиповцев» и романов «Глумовы» и «Свой хлеб»[4].

---

[1] Про полицейскую каталажку. Подчеркнуто здесь и далее нами. — *И. В.*

[2] Освобождение героини после ареста при полиции.

[3] Рассказы эти по указанию Г. Туманова («Новости» 1903, № 330) воспроизведены нами в № 1 «Литературного Наследства».

[4] Право напечатания этих трех произведений купцом Тузовым было приобретено у вдовы писателя за 500 р., как видно из договора, хранящегося в Рукописном отд.

К началу 80-х гг. относятся попытки С. С. Решетниковой издать сочинения Ф. М., неизданные Тузовым. В архиве Решетникова (ЛГПБ) хранится подлинник или копия ее письма об этом к кому-то из издателей. Предложение видимо принято не было, и в 1887 г. состоялся генеральный договор С. С. Решетниковой и ее детей с упомянутым выше И. М. Сибиряковым, приобретавшим у семьи писателя все права на напечатанные и ненапечатанные сочинения Решетникова.

Договор Сибирякова с Решетниковыми находится в архивохранилище Института Русской Литературы при Академии Наук СССР и содержит весьма любопытные штрихи для характеристики сделки; Сибиряков приобретал у Решетниковых «в полную и неотъемлемую его собственность» «права на все сочинения Ф. М. Решетникова как уже где-либо до сего времени напечатанные, так и содержащиеся в рукописях, где бы таковые ни оказались и под каким бы то ни было названием или заглавием, или без таковых — как в прозе, так и в стихах»; приобретал «исключительное право [на] издание портрета и биографии покойного Решетникова» и т. д.; «при этом присовокупляется,— гласит акт в другом месте,— что мы, Решетниковы, сим актом предоставляем г. Сибирякову право требования и получения, откуда бы то ни было, всяких рукописей и корректурных листов сочинений покойного Решетникова, которыми г. Сибиряков в праве распоряжаться по своему усмотрению».

За все это, т. е. за 150 с лишним листов опубликованных произведений и повидимому очень значительный по объему архив ненапечатанных материалов, меценат-купец выплатил вдове и детям всего-навсего 4 тыс. руб.

Как результат покупки Сибирякова в № 5—6 «Русского Богатства» за 1887 г., руководившегося тогда Л. Е. Оболенским, появилась юношеская пьеса Решетникова «Заседатель» под произвольным, принадлежащим редакции названием «В омуте». В предисловии Л. Оболенского к пьесе кроме не совсем умеренных похвал этому незрелому еще произведению Решетникова имеется и ценное указание: Сибиряков оказывается передал рукописи в редакцию «Русского Богатства» и тем самым, по словам автора, «дал... возможность познакомить общество с этим прекрасным произведением, а может быть и еще с несколькими... по разборе нами рукописей, если это окажется возможным»[1]. Но к сожалению никакой публикации после этого не последовало; вышло лишь два отдельных издания той же пьесы — «В омуте». «Русское Богатство» в редакции Л. Е. Оболенского прекратило свое существование в 1891 г., а новая редакция Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко никакого архива, по нашим сведениям, от своего предшественника не унаследовала. Какая судьба постигла решетниковское собрание, бывшее в руках Л. Е. Оболенского, нам неизвестно[2].

Благодаря каким-то обстоятельствам денежного порядка право на издание опубликованных сочинений Решетникова переходит от И. М. Сибирякова к Ф. Ф. Павленкову, и в 1890 г. Павленков выпустил новое (третье) собрание сочинений Решетникова в двух томах со вступительной статьей М. Протопопова и повидимому под его редакцией. В 1896 г. это издание повторено. Павленковское издание, за исключением статьи редактора, не дало ничего нового по сравнению с солдатенковским. Наоборот, очень значительное количество произведений (16 рассказов и очерков и пьеса «Прогресс в уездном городе») в нем было опущено.

Вплоть до 1904 г. никаких новых публикаций произведений Решетникова не появлялось, если не считать двух переделок для детского и народного чтения «Подлиповцев». Решетникова как будто стали забывать. Но тридцатилетняя годовщина его смерти (1901 г.) в связи с общим повышением тона общественно-политической

Инст. Русск. Литер. при Академии Наук СССР. Переговоры велись и о романе «Где лучше?», но по каким-то обстоятельствам, скорее всего цензурным, роман этот Тузовым издан не был (см. «Российская библиография» 1880, №№ 55 и 58).

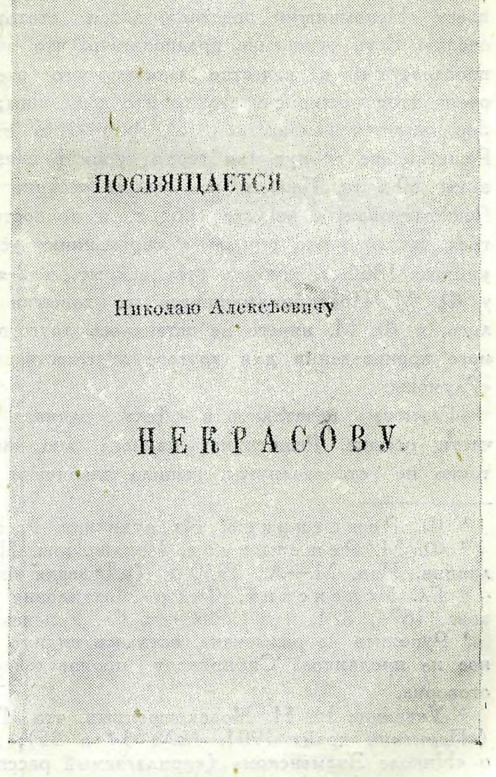
[1] «Русское Богатство» 1887, № 5—6, стр. 2—3. Разрядка наша. — *И. В.*

[2] Может быть эти строки о судьбах наследства Ф. М. Решетникова, ближайшего к нам художника 60-х гг., первого бытописателя рабочего класса, побудят лиц и учреждения, знающих что-либо о судьбе его архива, взятого у семьи писателя Сибиряковым и переданного в распоряжение «Русского Богатства» (Л. Е. Оболенского), сообщить, что они знают, на страницах «Литературного Наследства».

жизни в начале 900-х гг. вызвала оживление в журнальной и газетной прессе вокруг имени Решетникова. На решетниковские дни отозвался почти весь спектр русской журналистики — от статьи Шулятикова в «Курьере» до «Нового Времени» и «Пермских губернских ведомостей» включительно: решетниковские же дни вызвали и новое издание сочинений писателя, осуществившееся в конце 1903 г. под редакцией А. М. Скабичевского, с его же вступительной статьей и при участии П. В. Быкова, давшего библиографию сочинений Решетникова и критической литературы о нем. Новое издание названо было «первым полным» (Полное собрание сочинений Ф. М. Решетникова в двух томах. Первое полное издание под редакцией А. М. Скабичевского. Изд. кн. маг. П. Луковникова, СПБ., 1904).

Однако издание 1904 г. нельзя считать полным, хотя оно и значительно превосходило по полноте предыдущие; не была полной и библиография П. Быкова: и в собрании, и в библиографии уже тогда были обнаружены существенные пропуски. Так Г. Туманов письмом в редакцию «Новостей» указал на отсутствие в собрании (и в библиографии) двух рассказов, напечатанных в «Новом Обозрении», о которых речь шла выше; не оказалось первых печатных произведений Решетникова — его статей 1861 и 1863 гг., напечатанных в «Пермских губернских ведомостях»; отсутствует рассказ «Женщины Никольского рынка» («Искра» 1866, № 20) и некоторые другие, а главное — и в новом издании совершенно не оказалось новых публикаций; ни одна из неопубликованных рукописей Решетникова не нашла себе места в «полном» собрании его сочинений, ни одно из его писем. Возможно конечно, что два различных акта Сибирякова — передача рукописей «Русскому Богатству» и деловая уступка напечатанных произведений Ф. Ф. Павленкову — послужили для Скабичевского юридическим препятствием ко включению в редактированное им собрание неопубликованных произведений Ф. М.

Последовавшие за 1905 г. периоды реакции и войны служили естественным препятствием к новым публикациям сочинений Решетникова; только после Февральской революции 1917 г. начинают вновь издаваться его сочинения. В 1917 г. публикуются фрагменты юношеской драмы Решетникова «Раскольник», в свое время подготовленные к печати Гл. Успенским, запрещенные тогда же цензурой, погребенные в ее архивах, отысканные в 1913 г. и отвергнутые В. И. Семевским к напечатанию в «Голосе Минувшего»: «Сцены из драмы Решетникова были у нас в редакции, но мы нашли для нас неподходящими», писал 13 марта 1915 г. В. И. Семевский Б. Л. Модзалевскому.



СТРАНИЦА ИЗ ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ «ПОДЛИПОВЦЕВ» С ПОСВЯЩЕНИЕМ Н. А. НЕКРАСОВУ

После Октябрьской революции печатались главным образом «Подлиповцы» и некоторые другие рассказы деревенской тематики Решетникова («Никола Знаменский», «Тетушка Опарина»), выходившие в полном и сокращенном виде до 10 раз. Произведениям горнозаводского цикла и вообще произведениям городской тематики Решетникова не повезло и у нас: в 1919 г.

в серии «Народные библиотеки» вышел лишь рассказ «Яшка» да в 1926 г. отрывок из «Горнорабочих» в издании ВЦСПС [1].

Нет надобности отмечать, что все три посмертные собрания сочинений Решетникова оформлялись с точки зрения народнической о нем легенды. По этому пути в известной мере шли и советские издательские организации; даже в школьном издании «Подлиповцев» [2] Решетников показан довольно тщательно сделанным под народника по завету покойного М. А. Протопопова.

II

Первый биограф Решетникова Гл. Успенский называет целый ряд его юношеских произведений, большинство из которых было в его руках и им изучено. Вот список этих произведений по указаниям Успенского [3]: «Приговор», поэма в трех частях (1860 г.), «Паныч», драма в 6 действиях в стихах (1860 г.), «Черное озеро» (1861 г.), «Скрипач», повесть (1861 г.), «Деловые люди», или «Судейкин», или «Заседатель» — возможно, что эти три названия означают одно произведение — драма (1861 г.), «Раскольник», драма в 5 действиях (1862 г.), «Два барина» (год написания Успенский не указывает). Из произведений этого списка до нас дошло три: «Заседатель» («В омуте»), повесть «Скрипач» (до сих пор не была опубликована) и фрагменты драмы «Раскольник» [4]. С указанным Г. Успенским, а возможно и с значительно большим запасом своих произведений Решетников приехал в 1863 г. в Петербург [5].

К этому запасу ненапечатанных произведений Решетникова скоро присоединился новый. Период работы Решетникова над горнозаводским циклом ознаменовался рядом литературных неудач, скопивших в его портфеле ряд рукописей. Сначала это были неудачи чисто творческого порядка: Решетникову возвратили из «Современника» пьесу «Непомнящий родства», затем статью «Горнорабочие, 1-й этнографический очерк». Есть основание предполагать, что очерк «Горнорабочие» и есть напечатанные впоследствии в качестве «посмертного очерка» «Осиновцы» [6], и в таком случае очерк этот можно считать до нас дошедшим; пьеса же «Непомнящий родства» до сих пор остается неизвестной. В 1866—1867 гг. значительные, основные произведения Решетникова гибнут или терпят урон в связи с политической реакцией второй половины 60-х гг. Первым под удары реакции попадает роман «Горнорабочие», начатый Решетниковым в августе 1865 г. и полностью законченный к февралю 1866 г. Из трех частей этого романа «Современник» успел напечатать только первую. На 5-й книжке 1866 г. журнал был закрыт, и 2-я и 3-я части романа остались на руках у Ф. М. Предпринимавшиеся им попытки напечатать продолжение романа не удались, и Ф. М. ничего не оставалось другого, как использовать материал ненапечатанного произведения для другого художественного замысла, что он и сделал в романе «Глумовы».

«Глумовы» печатались в «Деле», начиная с конца 1866 г. В журнале прошли две части романа. Решетников написал 3-ю часть, но редакция журнала по причинам, точно не установленным, решила закончить роман на 2-й части На руках у Ф. М.

[1] Ф. Решетников, На рудниках. Рассказ.

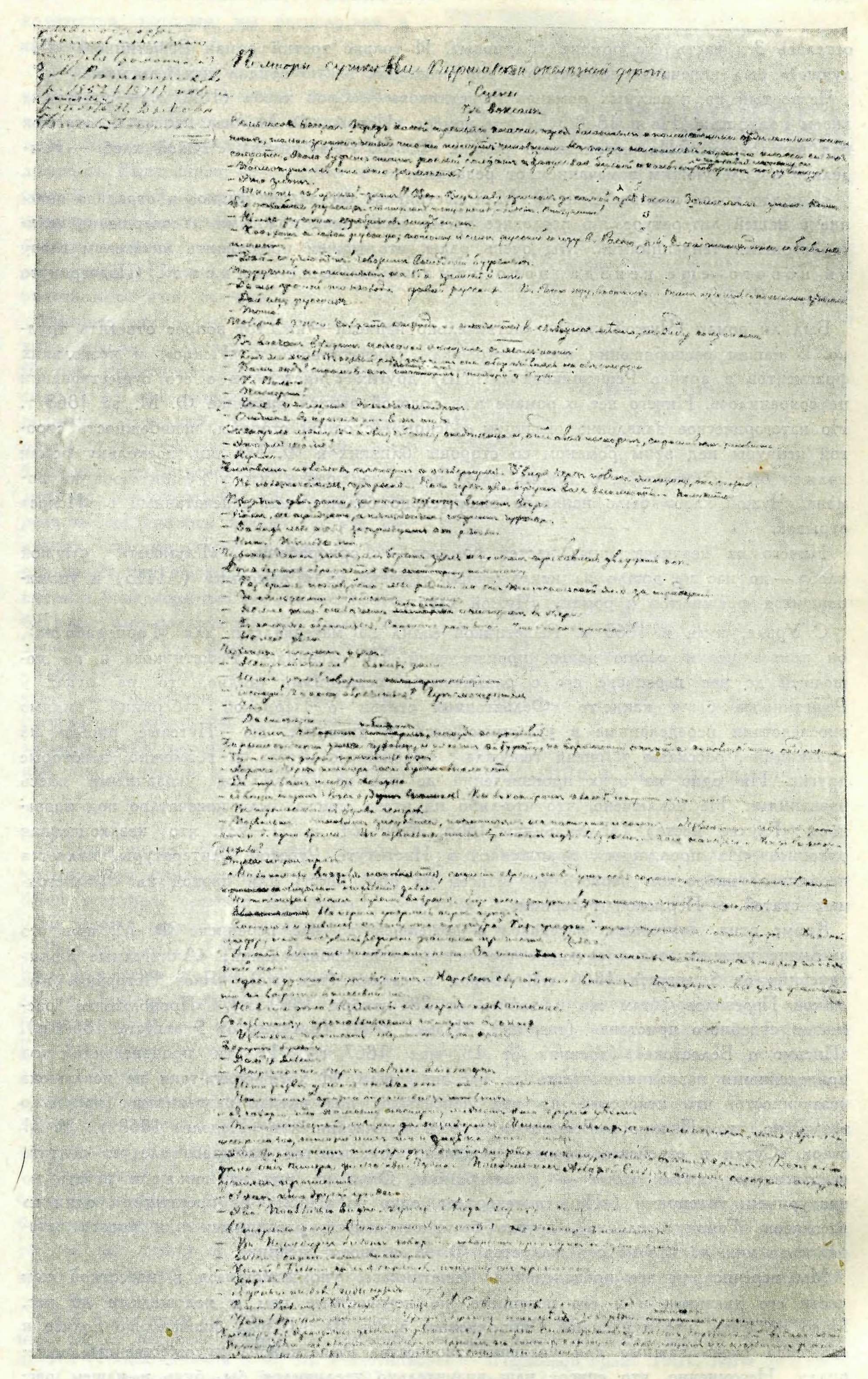
[2] Ф. М. Решетников, Подлиповцы. Пояснительная статья и примечания В. Белавина. Изд. М.—Л., 1930 г. («Дешевая библиотека классиков. Школьная серия»).

[3] Гл. Успенский, Федор Михайлович Решетников. Собр. соч. Ф. М. Решетникова. 1874, т. I, или Собр. соч. Гл. Успенского, 1908, т. VI).

[4] Рукопись не разыскана, осталась видимо на руках у Гл. Успенского как единственное не проданное Сибирякову произведение, о чем сделана в договоре специальная оговорка.

[5] Указание Н. Н. Новокрещенных, что «Подлиповцы» были известны еще в Перми («Пермский край» 1901, №№ 54 и 55); письмо Ф. М. Решетникова к Некрасову о «Николе Знаменском» («прилагаемый рассказ есть первые попытки писать в прозе») и другие факты говорят за то, что запас произведений, написанных Решетниковым до переезда в Петербург, превосходил список Гл. Успенского.

[6] Впервые догадку об идентичности этих произведений высказал Л. Шептаев (см. его ст. «Повести и романы Ф. М. Решетникова» — «Зап. Пермского Гос. У-та» 1929, № 1).



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ОЧЕРКА Ф. М. РЕШЕТНИКОВА «ПОЛТОРЫ СУТКИ НА ВАРШАВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ»

С подлинника, хранящегося в Центральном Литературном Музее в Москве

осталась 3-я часть его романа «Глумовы». И только третий роман Решетникова «Где лучше?» был напечатан полностью в той редакции, какую придал ему Салтыков.

Четвертый из известных романов Решетникова — «Свой хлеб» (1870 г.) — мы также знаем полностью. Но в 1868 г. в 5-м номере «Искры» Ф. М. был напечатан отрывок под заголовком: «Из неизданного романа Ф. М. Решетникова «Чужой хлеб» — «Сиделка» со следующим замечанием от редакции:

«Каждое новое произведение Ф. М. Решетникова составляет видное и отрадное явление в нашей литературе..., в последнее время засоренной ложными и совершенно нелитературными тенденциями... Мы очень рады, что можем предложить читателям главу из нового, еще неизданного романа г. Решетникова». (Подчеркнуто нами. — *И. В.)*

Был ли роман «Чужой хлеб» действительно написан — на этот вопрос ответить трудно. В нашем распоряжении кроме отрывка, напечатанного в «Искре», и нескольких фрагментов в архиве Решетникова (ЛГПБ) других свидетельств о его существовании не сохранилось. Ничего нет о романе и в годовой записи дневника Ф. М. за 1868 г. Но категорическое заявление редакции «Искры», с одной стороны, неизбежность строгой цензуры над этим романом со стороны близких к Ф. М. лиц, поскольку роман должен был их касаться, с другой, дают право заключить, что у Решетникова из романа «Чужой хлеб» было написано значительно больше, чем напечатанный в «Искре» отрывок.

Ничего из ненапечатанных частей романов — «Горнорабочие», «Глумовы», «Чужой хлеб» — до нас не дошло за исключением отрывка из «Глумовых» (ЛГПБ) и упоминавшихся фрагментов к роману «Чужой хлеб».

С Урала, куда в 1865 г. Решетников ездил за материалами для «Горнорабочих», он привез целую серию новых произведений. По дневникам Решетникова и по дошедшей до нас переписке его с различными редакциями видно, что на руках у Решетникова были какие-то «Фельетонные статьи о Пермской губернии», видимо впоследствии переделанные в упоминающиеся в дневнике же «Путевые письма из провинции», рассказы «Приезд генерала», «Забиенные места» и, возможно, некоторые другие. Ни одно из этих произведений до нас не дошло под указанными здесь названиями. Не исключено, что что-либо из этого списка было напечатано под названием «Глухие места» («Будильник» 1866, №№ 24 и 51—52), что незаконченная рукопись «Из провинции», хранящаяся в Институте Русской Литературы, является первичным наброском первого из «Писем из провинции» или первой из «Фельетонных статей о Пермской губернии».

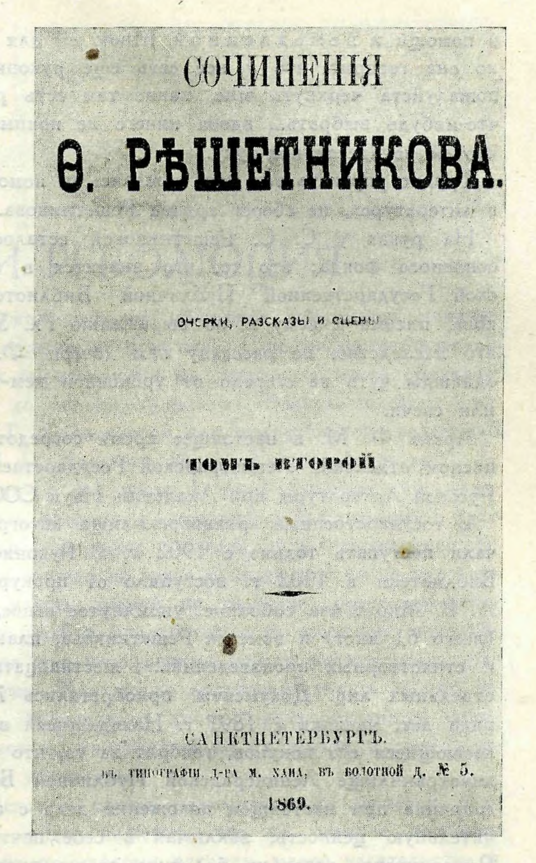
Кроме этих «путевых» рассказов в дошедшей до нас переписке Ф. М. и в его дневнике упоминаются следующие его неизвестные произведения: «Аккуратные люди» (дневник от 5 августа 1866 г.), «Город в садах» (там же), «Яков Петрович» или «Яков Перевалов» (там же и запись от 28 ноября 1869 г.), «Продолжение рассказов судебного пристава» (там же), «Ильин день» (дневник от 5 августа 1866 г.), «Письмо о Белостоке» (дневник от 18 мая 1867 г.). И эти произведения под приведенными названиями также до нас не дошли. И хотя опять-таки не исключена возможность, что некоторые из них напечатаны под иными названиями (например возможно, что «Письмо о Белостоке» и есть напечатанный в «Неделе» 1868 г., № 21 очерк «Сутки в еврейском городке»), однако большинство рассказов следует считать неизвестными, а некоторые — и погибшими. Одни из них не попали в печать по цензурными условиями («Приезд генерала», одно из «Писем из провинции», один из рассказов «Город в садах»), другие были отвергнуты редакциями или просто затерялись в них, на что не раз жалуется Ф. М. в своем дневнике.

Мы перечислили все произведения Решетникова, упоминающиеся в известной нам части его дневника и в его переписке, но неизвестные нам и недошедшие до нас. Надо полагать, что купленный Сибиряковым архив Ф. М. был значительно полнее и содержал очень важные для уяснения творчества Решетникова художественные материалы. Несомненно, что список наш значительно увеличился бы, будь в нашем распоряжении эпистолярных или мемуарных решетниковских материалов больше, чем то

количество, которым мы располагаем в настоящее время[1].

О фундаментальности дневника Решетникова мы говорили в нашей вступительной статье к публикуемым в этом сборнике отрывкам из дневника, но кроме дневника Решетников вел записи в огромной тетради, с которой он, по сообщениям Г. Десятова и других лиц, близко знавших писателя, никогда не расставался. Никаких следов не сохранилось и от этой тетради.

Наконец последнее, что следует отметить, говоря о литературном наследии Ф. М. Решетникова, — это его переписка. Ф. М. вел оживленную переписку с родными, друзьями, знакомыми, редакциями и редакторами, с более или менее близкими ему литераторами. Можно положительно утверждать, что из этой переписки сохранилось только то, что сохранил сам писатель: письма к нему различных лиц, копии с некоторых своих писем и возвращенные ему по его просьбе некоторые подлинники его писем. Но дошедшие до нас письма Решетникова составляют лишь самую ничтожную часть его переписки. Остальное либо рассеяно по различным неописанным еще архивам, либо находится на руках частных лиц, а многое и бесследно пропало.


СОЧИНЕНІЯ
Ѳ. РѢШЕТНИКОВА.
ОЧЕРКИ, РАЗСКАЗЫ И СЦЕНЫ
ТОМЪ ВТОРОЙ
САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ ТИПОГРАФІИ Д-РА М. ХАНА, ВЪ БОЛОТНОЙ Д. № 5.
1869.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПЕРВОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Ф. М. РЕШЕТНИКОВА

III

История архива Решетникова типична не для одного только его, а для всего демократического крыла литературного разночиния. Вероятно такова же история, если не более грустная, архивов Кущевского, Воронова и многих других. Никто не собирал и не хранил строчек, написанных ими, их писем и даже их рукописей.

Тревога о судьбе архива Решетникова была высказана в день смерти писателя. Вас. Курочкин писал шурину Решетникова Ф. С. Каргополову: «С разбором рукописей, в виду их интереса, следовало бы поторопиться». Была ли произведена разборка архива, была ли составлена опись, мы не знаем: до нас никакого списка не дошло. Намерение Гл. Успенского издать оставшиеся после смерти Ф. М. произведения не осуществилось[2]. Рукописи Решетникова остались на руках людей, далеких от историко-литературных интересов, нуждавшихся в куске насущного хлеба для себя и для своих детей. Вот выписка из письма Н. С. Лескова Гл. Успенскому от 8 марта 1865 г., хранящегося в архиве последнего (Институт Русской Литературы):

«Уважаемый Гл. Иванович! Сегодня посетила меня коротенькая дама, называющая себя вдовой покойного Решетникова, и принесла рукописи пьесы «Заседатель» с просьбой пристроить эту вещь, — Вам будто известной. Я пробежал рукопись и возвратил ее, так как сюжет ее устарел, и притом крайне плохо обработан. В нынешнем виде никуда не годится, а переделать из него нечего. Вдова говорит, что она нуждается

[1] Не о рассказе ли «Яков Петрович» — «Яков Перевалов» сообщает Н. Новокрещенных как о рассказе «Яшка Беспутный», сожженном Решетниковым по требованию друзей («Воспоминания о Ф. М. Решетникове» — «Пермский край» 1901, №№ 54 и 55).

[2] См. «Отечественные Записки» 1871, № 4, стр. 433.

в помощи и немедленной. Мною ей для этого могло быть сделано очень немного, но она говорит, что у нее есть еще рукописи, более известные. Не откажите пожалуйста черкнуть мне, какие там есть рукописи и можно ли надеяться из них что-нибудь выбрать... вдова ничего не понимает в литературе, конечно будет таскать, что ей попадется под-руку...»

Трудно упрекать тех, кто, нуждаясь «в помощи немедленной», кто, «ничего не понимая в литературе», не сберег архива Решетникова...

На руках у С. С. Решетниковой осталось немногое после передачи Сибирякову основного фонда: это то, что значится в описи Рукописного отделения Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки, — письма и копии писем Решетникова, письма к нему и, по выражению Гл. Успенского, «записочки и лоскутки». Да и это наследство, по рассказу нам дочери Ф. М. — М. Ф. Решетниковой-Евстратовой, однажды чуть не сгорело от уроненной кем-то в шкаф, где оно хранилось, спички, или свечи.

Архив Ф. М. в настоящее время сосредоточен в двух архивохранилищах: в Рукописном отделении Ленинградской Государственной Публичной Библиотеки и Институте Русской Литературы при Академии Наук СССР.

В государственные архивохранилища автографы Ф. М. и документы его архива начали поступать только с 1902 г. В Рукописное отделение Ленинградской Публичной Библиотеки в 1902 г. поступило от прокурора Виленского военно-окружного суда А. В. Жиркевича собрание, упомянутое выше, — пачка «отдельных листков и обрывков (всего 61 лист) и заметок Решетникова, планы его статей, черновики его прозаических и стихотворных произведений...», шестнадцать писем Решетникова, 147 писем к нему отдельных лиц. Документы приобретались Жиркевичем у дочери Ф. М. в течение ряда лет, начиная с 1893 г. Находящиеся в нашем распоряжении письма Жиркевича, касающиеся его покупок, говорят за то, что не все приобретенное им поступило в архивохранилище Ленинградской Публичной Библиотеки; тем не менее это рукописное собрание при настоящем положении дела с архивом Решетникова представляет исключительную ценность, заключая в себе почти все собрание известных писем самого Решетникова, довольно большую серию писем к нему различных лиц, в том числе Благовещенского, Благосветлова, Вейнберга, Водовозова, Деммерта, Вас. и Вл. Курочкиных, Некрасова, Пыпина, а также его родных и знакомых; там же и ряд весьма ценных автографов — материалов к заводским романам Решетникова, к романам «Свой хлеб», «Чужой хлеб», отрывков и фрагментов из этих романов и из других произведений, вариантов записей и пр.

Но Жиркевичем был приобретен не весь архив Решетникова. Большое количество писем к Ф. М. родных, главным образом за юношеский период его жизни, тщательно им собранных, сшитых и пронумерованных, оставалось на руках у М. Ф. Решетниковой-Евстратовой. Эти остатки архива ею были переданы бывш. Пушкинскому Дому — ныне Институту Русской Литературы при Академии Наук СССР. Так организовался второй центр, начавший собирать решетниковские материалы; сюда в разное время и от разных лиц и организаций поступили и другие материалы, в том числе рукопись повести «Скрипач», отрывки из дневника, автограф незаконченного очерка «Из провинции», автограф отрывка из повести «Между людьми», копия фрагментов из драмы «Раскольник», подготовленная к печати Гл. Успенским, гранки некоторых рассказов, печатавшихся в «Современнике», и некоторые другие материалы.

Но не малая часть решетниковских рукописных материалов еще находится очевидно в частных руках. Так в самое последнее время Р. М. Плеханова приобрела в Париже для Центрального Литературного Музея в Москве рукопись Ф. М. «Полторы сутки на Варшавской железной дороге». Судя по пометке, рукопись была в свое время получена от известного библиографа П. В. Быкова.

Как и собрание ЛГПБ, собрание ИРЛИ при АН СССР чрезвычайно ценно, но оба собрания — только ничтожная часть того, что остается еще несобранным, неразысканным, неизвестным. Исследователям творчества Решетникова еще предстоит не мало труда, чтобы разыскать и собрать это неизвестное.

И. Векслер

ПИСАТЕЛИ И РЕВОЛЮЦИЯ

С 1927 г. в Издательстве политкаторжан выходит обширное справочное издание «Деятели русского революционного движения в России» (Био-библиографический словарь). Хронологические рамки словаря определяются на титульном листе обозначением «От предшественников декабристов до падения царизма». Вышедшие тома словаря составлены А. А. Шиловым и М. Г. Карнауховой под коллективной редакцией ряда лиц (Ф. Я. Кон, В. И. Невский, Б. П. Козьмин, И. А. Теодорович и др.).

Составители словаря (см. «План издания» в 1-й части I тома) полагают, что задача составления полного библиографического словаря с детально разработанными биографиями революционеров, как вождей, так и рядовых деятелей, с исчерпывающей характеристикой их деятельности может быть выполнена лишь в более или менее отдаленном будущем. При данном положении наших знаний по истории революционного движения, в особенности при чрезвычайно слабой разработанности архивных материалов составление подобного полного словаря еще невозможно; можно делать лишь подготовительную работу к такому предприятию. Как такую подготовительную работу составители и рассматривают свой словарь, являющийся лишь «предварительным списком» революционеров с краткими фактическими сведениями об их жизни и деятельности и с важнейшими библиографическими указаниями.

Важный вопрос о том, кого нужно вносить в список революционных деятелей, разрешается в словаре следующим образом: «Нам кажется, что не следует особенно бояться внесения лиц, хотя бы и имевших, по первому взгляду, малое касательство к революционному движению. Не говоря о лицах, привлеченных к суду, но оправданных, не говоря о лицах, привлекавшихся только к дознанию, мы вносили также лиц, хотя бы только арестованных и скоро освобожденных за недостатком улик, вносили лиц, только заподозренных в принадлежности к революционной группе». Составители исходили из того соображения, что история революционного движения еще только начинает изучаться и что новые материалы, новые воспоминания, новые партийные документы могут совершенно по-новому осветить личность, остававшуюся до сих пор в тени. По большей части лица, арестованные повидимому совсем случайно, оказывались все-таки, хотя бы и в малой степени, прикосновенными к движению: давали адреса или деньги, оказывали денежную помощь, устраивали явки и т. п. Внесение в справочник и таких только «сочувствующих» лиц способствует большей полноте наших представлений о революционном движении в целом. «Нам казалось, что отбор лиц, необходимый для разработанного биографического словаря, не в такой степени необходим для п р е д в а р и т е л ь н о г о био-библиографического справочника. Можно с уверенностью сказать, что по крайней мере треть приведенных в списке имен не будет разработана в большом словаре по недостатку о них данных, и предварительный справочник должен быть тем единственным изданием, в которое будут занесены все лица, имевшие то или иное отношение к русскому революционному движению».

По существу возражать против такой максимальности в составлении списка не приходится. Учесть по возможности всю ту массу лиц, которые хотя бы в минимальной степени оказывали какую-нибудь помощь настоящим революционерам, очень полезно. Нужно следовательно только иметь в виду, что наименование «деятели революционного движения» в заголовке словаря до известной степени условно. Однако подчас составители, полагавшие очевидно, что лучше передать, чем недодать, все-таки выходили в этом стремлении за предел допустимого. Вот примеры, взятые из первой части I тома: «Раевский Василий, отставной поручик. Предан суду в 1832 г. за сделанный им лож-



ОБЛОЖКА «БИО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ДЕЯТЕЛЕЙ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ»

ный донос о существовании заговора против правительства; лишен чинов и дворянства и сослан в Сибирь в работу с 1836 г. в Иркутский завод. В 1843 г. разрешено поступить на службу в Восточную Сибирь». Или: «Убри, коллежский асессор, помещик Дризенского уезда, Витебской губ., в 1832 г. по избрании в уездные предводители дворянства произнес речь о том, что дворянство должно составить оппозицию против чиновников, за что объявлен выговор». Как ни распространительно толковать термин «деятели революционного движения», — ни ложный политический донос, ни выражение дворянских антибюрократических настроений не дают права на причисление к таким деятелям, и внесение названных лиц в словарь неуместно. Примеры подобного рода можно было бы умножить.

Обширный материал словаря расположен по эпохам, с отдельным алфавитом для каждой. Часть первая первого тома обнимает первую половину XIX в. — до 50-х гг. (точнее, до 1855 г.). Вторая часть этого тома посвящена 60-м гг. Второй том, заключающий в себе революционеров-семидесятников, делится на 4 выпуска, уже вышедших в свет.

По намеченному плану содержание третьего тома будут составлять 80-е гг., четвертого — 90-е. Пятый том посвящен социал-демократам, деятельность которых началась до 1905 г. Словарь социал-демократов составляется Ш. М. Левиным и Э. А. Корольчук под редакцией В. И. Невского. Этот том делится на много выпусков, из которых пока вышел 1-й (буквы А и Б). В настоящем обзоре мы оставляем этот выпуск в стороне, ограничиваясь домарксистской эпохой.

Для истории нашего революционного движения характерны цифры участников этого движения по эпохам, — они дают возможность судить о его количественном развитии. В то время как 1-я часть I тома, охватывающая эпоху более чем в полвека, заключает в себе только 996 лиц, во второй части, посвященной 60-м гг. (хронологические рамки 1855—1869), помещены сведения о 1710 лицах. «Семидесятые годы», как они определяются в словаре (1870—1879), составляют только десятилетие, однако в 1-м выпуске II тома находится 1797 лиц, во 2-м — 1693, в 3-м — 1816, в 4-м — 1962.

Относительно каждого помещенного в словаре лица даются краткие сведения, касающиеся его личности вообще и особенно его роли в революционном движении, и библиографические указания на источники для его биографии. В этих указаниях важно между прочим то, что помимо печатной литературы отмечаются и архивные источники.

Словарь снабжен значительным количеством портретов. В 1-й части I тома имеется 108 портретов, в «шестидесятых годах» — 144, в четырех вышедших выпусках II тома (70-е гг.) — 471. Многие портреты появляются впервые.

Словарь, охватывающий такую продолжительную эпоху и дающий такое большое количество лиц, представляет значительный интерес не только для истории революционного движения в строгом смысле слова. В частности он является ценным справочником для литературоведов, поскольку среди входящих в него лиц, так или иначе причастных к революционному движению, находится большое количество писателей — беллетристов, поэтов, драматургов, критиков, историков литературы, фольклористов,

публицистов и переводчиков. Одни из них приняли участие в революционном движении, уже будучи более или менее сложившимися писателями, другие стали писателями уже в следующий период своей жизни. Как писатели, бывшие подлинными участниками революционного движения, так и имевшие к нему лишь косвенное отношение, одинаково попадают в словарь. Поэтому для широких кругов читателей может оказаться неожиданным наличие в словаре некоторых литературных деятелей — тех, которые, отдавши дань «увлечениям молодости», отходили совсем от революции, а иногда и прямо попадали в лагерь реакции.



А. В. ДОЛГУШИН
Из иллюстраций к «Словарю революционеров»

Писатели, помещенные в 1-й части I тома (первая половина XIX в.), естественно группируются главным образом около двух политических дел: декабристов и петрашевцев. Имена писателей-декабристов — К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева (Марлинского), А. И. Одоевского, В. К. Кюхельбекера — общеизвестны. Кроме них по причастности к декабристскому движению в словаре помещены: Н. А. Бестужев, Вл. Ф. Раевский (поэт), А. С. Грибоедов (привезенный с Кавказа в Петербург, подвергшийся допросу и потом освобожденный без последствий), поэты Ф. Н. Глинка, С. Е. Раич и Я. Н. Толстой (впоследствии бывший агентом русского правительства за границей), драматург П. А. Катенин и др. Любопытной чертой является то, что два выдающихся публициста, прикосновенные к декабристскому движению,— П. Я. Чаадаев и Н. И. Тургенев, писали свои произведения по-французски.

Кружок петрашевцев отличается по своему социальному составу от кружка декабристов: в нем были слабее связи с поместным землевладением, и видное место занимали люди интеллигентных профессий: чиновники, педагоги, литераторы. Среди лиц, причастных к этому делу, процент писателей исключительно велик: он выше, чем в каком бы то ни было другом политическом деле. Здесь мы видим братьев Достоевских, А. И. Пальма (впоследствии известного драматурга и романиста), поэтов: А. Н. Плещеева, С. Ф. Дурова, А. Н. Майкова, беллетристов: М. Е. Салтыкова, Г. П. Данилевского и Н. Д. Ашхарумова, историка литературы А. П. Милюкова, публициста Н. Я. Данилевского, переводчика В. В. Толбина и др.

К этим основным группам писателей 1-го выпуска нужно прибавить еще группу, связанную с «Кирилло-Мефодиевским обществом» (Т. Г. Шевченко, Н. И. Костомаров, бывший не только историком, но и беллетристом, П. А. Кулиш, украинский поэт А. А. Навроцкий), и нескольких писателей, связанных в 30-е гг. с Герценом и Огаревым и испытавших разные репрессии одновременно с ними (поэт В. И. Соколовский, поэт-переводчик Н. М. Сатин). Остается назвать еще А. Н. Радищева и Н. И. Новикова, первых русских писателей, испытавших правительственные кары за свою литературную деятельность, а также первых наших политических эмигрантов и основателей зарубежной прессы — А. И. Герцена, Н. П. Огарева, И. Г. Головина и П. В. Долгорукова.



А. А. ОЛЬХИН

60-е гг., время бурного выступления мелкобуржуазных демократов, «разночинцев», дают высокий процент писателей среди участников революционного движения; писательство было естественным прибежищем для разночинцев, принужденных самостоятельно пробивать себе дорогу в жиз-



Г. А. МАЧТЕТ

ни. Писателями-профессионалами были и великие идеологи революционной демократии 60-х гг.: Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов.

Причастность к революционному движению писателей-шестидесятников, которых можно отыскать в словаре,— самая разнообразная. Часть их была глубоко проникнута революционными настроениями, и их литературная деятельность находилась в соответствии с их общественно-политическими устремлениями. Вот некоторые из них. Талантливый поэт М. И. Михайлов, стихотворения которого проникнуты настоящим революционным пафосом, был первым по времени писателем-шестидесятником, понесшим жестокую правительственную кару: в 1861 г. он был приговорен к каторжным работам. Он пострадал как автор ярко революционной прокламации «К молодому поколению», хотя, как теперь известно, автором ее был собственно Н. В. Шелгунов, а сотрудничество Михайлова имело место лишь в незначительной степени. Другим выдающимся поэтом-разночинцем был безвременно погибший И. И. Гольц-Миллер [1], один из главных обвиняемых по делу революционного кружка Заичневского-Аргиропуло. Автор нескольких популярных книжек для народа, которыми долго пользовались пропагандисты в своей революционной практике, И. Н. Худяков был наиболее серьезным революционером среди всех лиц, привлеченных по каракозовскому делу. Он же с успехом занимался собиранием и изданием произведений устного народного творчества и научным изучением этого творчества. До конца остался верен своему радикализму публицист и критик В. А. Зайцев, эмигрант с 1869 г., участник зарубежной прессы и деятель Интернационала.

Революционная публицистика 60-х гг. была естественно связана главным образом с эмиграцией. Помимо Герцена и Огарева, роль которых общеизвестна, на поприще публицистики выступали например: Н. И. Жуковский, сотрудник «Колокола», «Народного Дела», «Работника» и «Общины» Л. И. Мечников, бывший не только публицистом, но и выдающимся социологом; руководитель «Общего Дела» А. Х. Христофоров; долговременный эмигрант-издатель М. К. Элпидин, к концу своей жизни окончательно опустившийся в общественном смысле. Сила знаменитого С. Г. Нечаева была в действии, а не словах, но и он являлся нередко публицистом. А. А. Серно-Соловьевич интересен как наиболее видный представитель молодой эмиграции, вступившей в резкое столкновение с Герценом (его брошюра «Наши домашние дела»). Был прикосновенен к публицистике и его брат Н. А. Серно-Соловьевич, один из замечательных деятелей 60-х гг. (не бывший в эмиграции).

Особенный интерес представляют те литературные деятели, которые стремились служить делу революции как авторы прокламаций или брошюр для широких народных масс. Кроме общеизвестных деятелей в этой области — П. Г. Заичневского (прокламация 1862 г. «Молодая Россия»), Н. В. Шелгунова («К молодому поколению», «К солдатам»), И. Н. Худякова (брошюра «Для истинных христиан» [2]) —следует назвать еще двух предполагаемых авторов: казанского студента Ив. Умнова, написавшего в 1862 г. прокламацию «Долго давили нас, братцы», и некоего Павла Холодковского-Цибульского, которому приписывается составление стихотворения «Долго вас помещики душили». Характерно, что Холодковский-Цибульский, привлекавшийся в 60-е гг. по

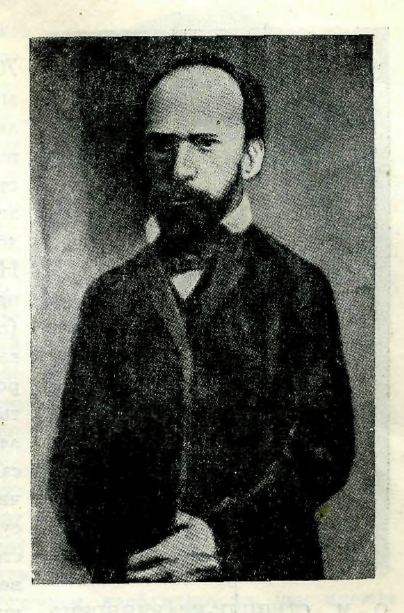
---

[1] См. книжку «Поэт-революционер И. И. Гольц-Миллер», составленную Б. Козьминым и Г. Лелевичем (1930 г., Изд. политкаторжан).

[2] В литературе было высказано мнение, что Худяков является автором прокламации «Друзьям-рабочим», распространявшейся Каракозовым. Мы считаем это мнение необоснованным.

делу «Земли и Воли» и сидевший в Петропавловке, в конце 70-х гг. был управляющим Волжско-Камского банка.

Среди писателей-шестидесятников, длинный ряд которых приведен в «Словаре», очень немногих можно назвать подлинными революционерами. У большей части их участие в революционном движении было лишь кратковременным эпизодом, не характерным для их деятельности в целом. Таковы, для примера, либеральный романист М. В. Авдеев, высланный в Пензу вследствие перлюстрации писем; беллетрист и публицист Д. К. Гирс, автор нашумевшего, оставшегося незаконченным романа «Старая и юная Россия», поплатившийся ссылкой в Вологду за речь на могиле Писарева; драматург Н. А. Потехин, подвергшийся аресту по делу о «сношениях с лондонскими пропагандистами»; будущий профессор литературы А. А. Котляревский, сидевший в Алексеевском равелине по тому же делу; Ил. Ив. Пальмин, участник студенческого движения 1861 г., впоследствии небезызвестный поэт, и многие другие. Отсутствие революционной стойкости, легкость перехода от некоторых революционных порывов в молодости к мирной обывательщине конечно мы найдем не у одних только писателей. Это явление замечалось среди мелкобуржуазной интеллигенции и в последующие эпохи, но в 60-х гг., в эпоху начала движения, оно было особенно сильно выражено.



В. Э. ЭНГЕЛЬСОН

Некоторые из писателей, о которых мы говорим, в своей эволюции доходили до реакционных и контрреволюционных позиций. Ренегатом был В. И. Кельсиев, эмигрант, сотрудник Герцена, известный публицист, а впоследствии отчасти и беллетрист (писал плохие исторические повести), Е. А. Салиас де Турнемир, видный участник студенческого движения 1861 г., впоследствии в своих исторических романах («Пугачевцы» и др.) проводил дворянско-реакционные тенденции. А. А. Комарова, проведшая несколько месяцев под арестом в 1866 г., во время правительственного террора после каракозовского выстрела (кстати, по этому признаку в «Словарь» попал целый ряд литературных деятелей), в начале 80-х гг. поместила в реакционном «Береге» роман «Одна из многих», где с ненавистью изобразила радикалов и революционеров 60-х гг. Поэт В. Д. Костомаров был злостным предателем Чернышевского и Михайлова.



А. Х. ХРИСТОФОРОВ

В 70-х гг. в социальном составе участников революционного движения происходит то изменение, что наряду с интеллигентами как дворянского, так и разночинного происхождения начинают занимать определенное место рабочие — и как участники массового рабочего движения, и в качестве отдельных выдающихся единиц. Конечно среди писателей, участвовавших в движении, эта перемена еще не отразилась: рабочие на первых порах могли подчас выступать как ярко талантливые ораторы, — вспомним речь Петра Алексеева, — но как литературные деятели они еще не проявили или почти не проявляли себя.



С. М. СТЕПНЯК-КРАВЧИНСКИЙ

Основным явлением в революционной жизни 70-х гг. было движение в народ, к крестьянским массам. Для этого движения были очень нужны литературные силы; многие революционеры занялись писанием прокламаций, популярных брошюр, боевых стихотворений, предназначенных для надобностей агитации. Первым из семидесятников вступил на эту дорогу бывший студент Технологического института Н. П. Гончаров, составивший, напечатавший и распространивший в 1871 г. прокламацию «Виселица» (см. о нем ст. в № 1 «Л. Н.»). Далее в этой роли выступил известный В. В. Берви (псевдоним Флеровский). Берви был вообще чрезвычайно плодовитым и разнообразным писателем. Его перу принадлежат научные трактаты («Положение рабочего класса в России», «Азбука социальных наук»), многочисленные статьи на разные темы; в том числе и суровая критическая статья о «Войне и мире» Толстого[1], ряд повестей и большой роман из жизни революционеров «На жизнь и смерть», не показывающий в авторе сколько-нибудь значительной изобразительной силы. По предложению кружка долгушинцев Берви написал в 1873 г. брошюру-прокламацию «О мученике Николае и как должен жить человек по закону правды и природы» (в переделанном виде: «Как надо жить по закону природы и правды»). Глава названного кружка, А. В. Долгушин, тоже занялся литературной работой и составил два воззвания: «К русскому народу» и «К интеллигенции», которые сам потом и печатал.

Один из самых выдающихся семидесятников, С. М. Кравчинский, был разносторонним писателем. Хорошо известен его «Андрей Кожухов» и другие талантливые беллетристические произведения на революционные темы. Специально для пропаганды в народе Кравчинским были написаны сказки «Мудрица Наумовна» и «Сказка о копейке» и брошюра «Слово на великой пяток». Для той же цели В. Е. Варзар, впоследствии известный статистик, составил популярную брошюру «Хитрая механика», пользовавшуюся большим успехом и переиздававшуюся вплоть до 1917 г. П. А. Кропоткин вместе со Львом Тихомировым (будущим ренегатом) принимал участие в составлении агитационной брошюры «Емелька Пугачев».

Среди революционных поэтов-семидесятников особенно нужно выделить С. С. Синегуба с его популярной «Думой ткача». Д. А. Клеменцу приписывается авторство известной тогда революционной песни «Барка» («Ой, ребята, плохо дело: наша барка на мель села»)[2]. Выступил еще в качестве революционного поэта адвокат А. А. Ольхин, чье стихотворение «У гроба» (на смерть Мезенцова) пользовалось исключительным успехом.

Из руководящих революционных публицистов 70-х гг. на первом месте конечно стоят М. А. Бакунин, П. Л. Лавров и П. Н. Ткачев. Из них Лавров пробовал свои силы и в качестве революционного поэта, а Ткачев был, как известно, очень продуктивным литературным критиком в легальных журналах (под разными псевдонимами)[3]. Из других публицистов выделялись С. М. Кравчинский, Д. А. Клеменц (писал в «Общине», «Земле и Воле», а также в легальных изданиях) и Л. Э. Шишко. Некоторые видные публицисты, писавшие в 70-х гг., по плану словаря входят в последующие томы — в 80-е гг. или словарь с.-д. (Н. А. Морозов, Л. А. Тихомиров, Г. В. Плеханов).

---

[1] «Дело» 1868, №№ 4—6.

[2] В «Словаре» о Клеменце сказано: «Автор пропагандистских стихотворений («Барка»), сказок». Следовало бы указать, какие именно сказки имеются здесь в виду.

[3] См. его «Избранные литературно-критические статьи» под ред. Б. П. Козьмина. Изд. «Земля и фабрика», 1928.

Небезынтересно отметить, что известный профессор литературы академик Д. Н. Овсянико-Куликовский в молодости отдал дань революционной публицистике: ему принадлежит брошюра 1877 г. (конечно заграничная) «Записки южно-русского социалиста».

Из писателей-художников, приобретших потом значительное имя в литературе, более тесно связаны с революционным движением 70-х гг. следующие: Г. А. Мачтет, высланный сначала в Архангельскую губ., а затем в Якутскую область; В. Г. Короленко, вятский и якутский ссыльный; Е. П. Карпов, известный драматург, побывавший в качестве ссыльного в Вологодской губ.; Н. Е. Петропавловский (Каронин), оправданный по процессу 193-х, а позже по другому делу отправленный в Западную Сибирь; В. Л. Серошевский, русско-польский писатель, живший в самых гиблых местах отдаленного Севера.



Д. А. КЛЕМЕНЦ

В последующем литературном творчестве названных беллетристов по большей части остался элемент народничества в различных степенях и с разными видоизменениями. Были разумеется среди семидесятников и такие, которые потом порвали со всяким народничеством и стали с ожесточением изобличать то, чем прежде увлекались. Таковы были, для примера, злобный беллетрист А. А. Дьяков («Незлобин», «Житель»); бывший эмигрант, а потом участник «Нового Времени» и автор реакционных романов в «Историческом Вестнике», И. Я. Павловский; критик [1], беллетрист и публицист Ю. Н. Говоруха-Отрок, подсудимый по процессу 193-х.

Названный нами ряд имен писателей 60-х и 70-х гг. разумеется представляет лишь часть того, что можно найти в словаре. Всякий писатель, у которого была хотя бы слабая связь с революционным движением, попадает в словарь. Поэтому во многих случаях и по различным поводам словарь может оказаться полезным для литературных справок.

В таком сложном деле, как словарь, неизбежны промахи и упущения. Отметим некоторые дефекты словаря в той его части, которая касается писателей.

Есть некоторые имена, отсутствие которых весьма удивляет. Так не упоминается Н. Вормс, поэт-разночинец 60-х гг., помещавший свои стихотворения в разных журналах [2], потом эмигрировавший и участвовавший в революционной зарубежной прессе (по всей вероятности ему принадлежит брошюра «Белый террор, или выстрел 4 апреля 1866 года»). Чрезвычайно странно отсутствие в словаре С. А. Подолинского, видного представителя революционных семидесятников, эмигранта, известного в свое время публициста. Нельзя думать, что он появится в следующем томе, потому что Подолинский целиком связан с 70-ти гг. Желательно было бы внести в словарь и Н. К. Гейнса (более известен под псевдонимом «Фрей»), публициста, «толстовца до Толстого», в молодости связанного с народническим движением и сотрудничавшего в зарубежной печати («Вперед»).

Касаясь распределения по этапам, укажем, что совершенно неправильно отнесен к 70-м гг. такой типичный и яркий представитель 60-х гг., как известный Н. В. Соколов, бывший полковник, публицист, автор книги «Отщепенцы», окончивший свои дни в эмиграции. Спорно отнесение к восьмидесятникам С. Я. Елпатьевского — по всем его революционным связям он гораздо более семидесятник. Какая-то неувязка произошла в словаре с хронологическим приурочением А. И. Герцена, Н. П. Огарева, П. В. Долгорукова и И. Г. Головина; заметки о них даны в 1-й части I тома, а затем в дополненном виде повторены и во 2-й части. Если первых трех деятелей правильнее действительно отнести к «60-м годам» (памятуя, что условное начало этих годов — 1855 г.), то Го-

---

[1] Под псевдонимом Ю. Николаева выпустил в 1893 г. критический этюд о В. Г. Короленко.
[2] «Русское Слово», «Современник», «Дело», «Женский Вестник».

ловина естественно было бы видеть именно в 1-й части: ведь его «Катехизис русского народа», являющийся первым революционным изданием на русском языке за границей, напечатан в 1849 г., а относительно 50-х гг. сами составители указывают, что в эту пору он отошел от революционного движения (к которому вообще имел малое отношение). В. А. Энгельсон, несколько связанный с петрашевцами, эмигрировавший в 1850 г. и умерший в 1857 г., отнесен почему-то к 60-м гг. Но ведь расцвет его литературной зарубежной деятельности, когда он сотрудничал с Герценом и написал свои революционные памфлеты «Письмо Емельяна Пугачева» и «Видение старца Кондратия», падает еще на эпоху Николая I, следовательно ему место в 1-м выпуске I тома.

Сообщения об отдельных лицах иногда отличаются неполнотой или бывают ошибочны. Биография Н. Н. Емельянова (70-е гг.) кончается тем, что он в 1883 г. вернулся в Европейскую Россию и жил в Ярославле. Но ведь он, вернувшись, стал ренегатом, много писал в «Московских Ведомостях», «Русском Обозрении» и других реакционных изданиях. Умер в 1912 г. Об этой его эволюции говорится между прочим и в книге И. П. Белоконского «Дань времени», которая указана составителем в библиографии Емельянова. О Екатерине Егоровне Бартеневой (неправильно названной Бартеньевой) говорится только то, что в 1877 г. она вследствие политической неблагонадежности была подчинена надзору полиции. А Бартенева имела связь с Интернационалом и была долголетней литературной работницей во многих петербургских изданиях. Правда, интересное исследование о ней И. С. Книжника-Ветрова появилось уже после напечатания соответственного тома словаря, но и до выхода этого тома о Бартеневой можно было найти указания в литературе. Неполны сведения об А. Н. Луканиной (60-е гг.), беллетристке, писавшей под псевдонимом «Паевская», хорошей знакомой И. С. Тургенева. Сообщение о ней кончается тем, что в 1878 г. она безрезультатно ходатайствовала о разрешении вернуться в Россию. Однако она в конце концов добилась этого разрешения и возвратилась на родину. Библиография о ней могла бы быть значительно пополнена. Неверна дата смерти Н. В. Гербеля — указано 3 марта 1883 г. вместо 8-го (это очевидно опечатка).

Из пропусков в библиографии отметим, что в литературе о В. И. Кельсиеве не упомянут дневник Н. А. Добролюбова (в «Сборнике Литературного Фонда») с интересным сообщением о Кельсиеве. Очень досадным пропуском является то, что забыта статья М. Горького о Петропавловском-Каронине «Писатель» («Современник» 1911 г., X). Там же пропущена известная книга «Галерея русских писателей». Это особенно странно в виду указания под портретом Петропавловского, что он взят из этой «Галереи». В литературе о Клеменце не названа книжка Элпидина «Библиографический каталог. Профили редакторов и сотрудников» и некролог Клеменца в журнале «Землеведение» 1914, I и II.

Из мелких ошибок разного рода следует указать, что прокламация Ив. Умнова «Долго давили вас, братцы» неправильно названа стихотворной прокламацией. Очевидно тут произошла путаница со стихотворением «Долго вас помещики душили...» В статье об Аполлоне Алекс. Жемчужникове (70-е гг.) известный журнал «Слово» назван газетой. Кстати, о Жемчужникове: нам кажется, что заметка об Аполлоне Аполлоновиче Жемчужникове есть результат какого-то недоразумения: почти нет сомнения, что это — одно и то же лицо.

Последнее замечание — об иконографии писателей. К статье о В. В. Чуйко (критике и переводчике, причастном к движению 60-х гг.) приложен не его портрет. Надо полагать, это портрет народовольца-карийца В. И. Чуйко (или Чуйкова). Портрет Н. Д. Ножина (он взят из Института Русской Литературы) вызывает сомнение вследствие малого его соответствия с тем описанием наружности Ножина, которое дал Н. К. Михайловский.

Как справочник био-библиографический словарь очень полезен для литературоведов, и мы хотели бы обратить на него внимание товарищей, которым он оставался неизвестен. Относительно многих литературных деятелей здесь можно найти новые и свежие материалы: в библиографии использована не только литература, но и архивные данные. Все это делает новое издание ценным пособием.

М. Клевенский

В ИНСТИТУТЕ МАРКСА—ЭНГЕЛЬСА—ЛЕНИНА

ЕДИНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ

После объединения Института Ленина с Институтом Маркса и Энгельса на архив ИМЭЛ ложится громаднейшая задача по собиранию, хранению и обработке ценнейшего литературного наследства Маркса, Энгельса и Ленина и партийно-исторических фондов. Помимо этого в архиве имеется ряд материалов, относящихся к Великой французской революции, революции 1848 г., Парижской коммуне и др.

Уже это простое перечисление говорит о том объеме работ, который выполняется коллективом работников архива ИМЭЛ.

В краткой заметке нельзя дать с исчерпывающей полнотой характеристику того исключительного богатства, каким обладает архив. Основное внимание сосредоточено на главнейших архивах, в которых в настоящее время и развернута работа по каталогизации (научной обработке) архивных документов.

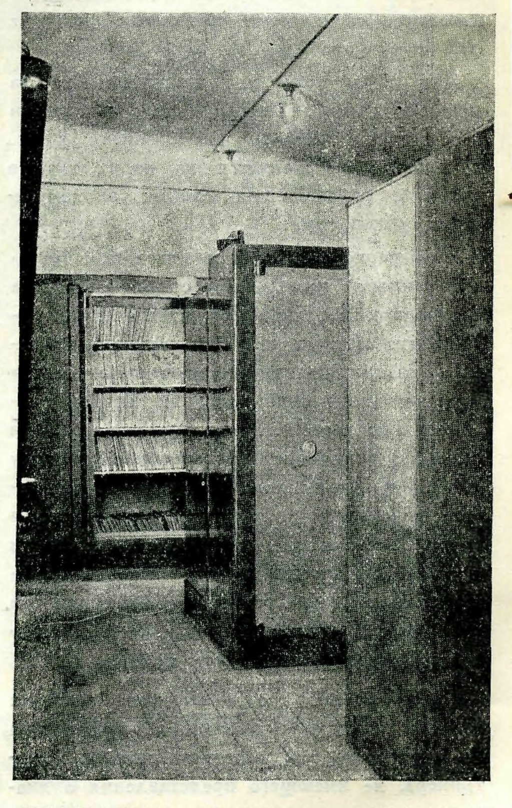
АРХИВ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА

После ликвидации «рязановщины» выяснилось, что хранение документов обстояло в б. Институте Маркса и Энгельса из рук вон плохо. Фактически рукописи Маркса и Энгельса находились вне архива. В основной массе они хранились в кабинете М. и Э., а также в других научно-исследовательских кабинетах Института; их находили в шкафах или даже в письменных столах отдельных сотрудников. Ни один из документов не имел инвентарного номера, контроля за хранением и выдачей их не было. Такая преступная небрежность повлекла за собой потерю некоторой части материалов. Часть документов, как например письма Энгельса к Бебелю и Каутскому, вообще не была учтена.

К данному времени все обнаруженные документы собраны, сконцентрированы в одном месте и заинвентаризированы.

Общее количество документов Маркса и Энгельса определяется цифрой 4 316, из них 131 книга с пометками Маркса. Основная часть документов представляет собой фотоотпечатки. Подлинных рукописей 437.

По своему содержанию архив Маркса и Энгельса разделяется на два отдела: 1) ру-



НЕСГОРАЕМАЯ КОМНАТА В ИНСТИТУТЕ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА, В КОТОРОЙ ХРАНЯТСЯ РУКОПИСИ ЛЕНИНА

копийные работы М. и Э., 2) переписка их между собой и третьими лицами.

Помимо этого имеется до 8 700 писем разных лиц на имя Маркса и Энгельса.

В первом отделе (около 700 документов) исключительной теоретической ценностью являются тетради Маркса с его работами над различными литературными источниками по философии, политической экономии, истории, естествознанию, математике, химии и другим научным дисциплинам. Таких объемистых по своему размеру тетрадей насчитывается 173. Кроме того имеется 20 тетрадей с рукописными работами Энгельса. Все это обрабатывается, расшифровывается и подготовляется к опубликованию.

Чрезвычайно сложная сама по себе обработка литературного наследства Маркса усугубляется еще его неразборчивым почерком. Достаточно сказать, что на расшифровку двух страниц текста Маркса уходит рабочий день одного сотрудника, несмотря на то, что фотолабораторией производится специальное увеличение фотографий с рукописей.

Для характеристики сложности текста можно указать на слова самого Маркса в его письме к Энгельсу от 13 февраля 1855 г., в котором он жалуется на порчу глаз в связи с работой над своими экономическими рукописями.

Из переписки Маркса и Энгельса с третьими лицами необходимо отметить письма Энгельса к Бебелю и Каутскому за 1873—1895 гг. Письма эти тщательно скрывались Рязановым, давшим «честное слово» Каутскому о неопубликовании их без разрешения последнего. В переписке содержится ценнейший материал, освещающий борьбу Маркса и Энгельса за революционную пролетарскую партию, против оппортунизма в рядах германской социал-демократии и II Интернационала. В переписке затрагивается очень много чисто теоретических тем по вопросам философии, политической экономии, исторической науке и т. д.

Среди отзывов о различных деятелях II Интернационала имеется характеристика К. Каутского как невежды, педанта, доктринера, не имеющего представления о диалектике.

Вся эта переписка публикуется в новом издании «Архива Маркса и Энгельса», первый номер которого выходит в ближайшее время [1].

Самостоятельной частью архива являются документы Прусского тайного государственного архива. Значительную часть из них составляют полицейские дела о Марксе, Энгельсе, Лассале, Либкнехте, Гейне, Бебеле, Беккере и других революционных деятелях.

В непосредственной связи с архивом М. и Э. находится архив I Интернационала. Наиболее ценный материал в нем — это протоколы Генерального совета за период 1864—1872 гг. В них мы находим записи многочисленных речей Маркса и Энгельса по вопросам международной политики, международному рабочему движению и внутренней борьбе в Интернационале. В протоколах Лондонской конференции 1871 г. (сентябрь) речи Маркса посвящены политической борьбе рабочего класса на основе уроков Парижской коммуны. Большую ценность представляют протоколы Гаагского конгресса 1872 г., освещающие раскол с бакунистами.

Все эти выступления Маркса и Энгельса до сих пор были неизвестны и впервые будут опубликованы в специальных изданиях Института.

Из других материалов нужно отметить наследство Гесса, Германа Юнга (акты английского и романского федеральных советов I Интернационала), протокольные книги и материалы американской, итальянской, испанской, швейцарской, бельгийской секций Интернационала и ряд других документов.

АРХИВ ЛЕНИНА

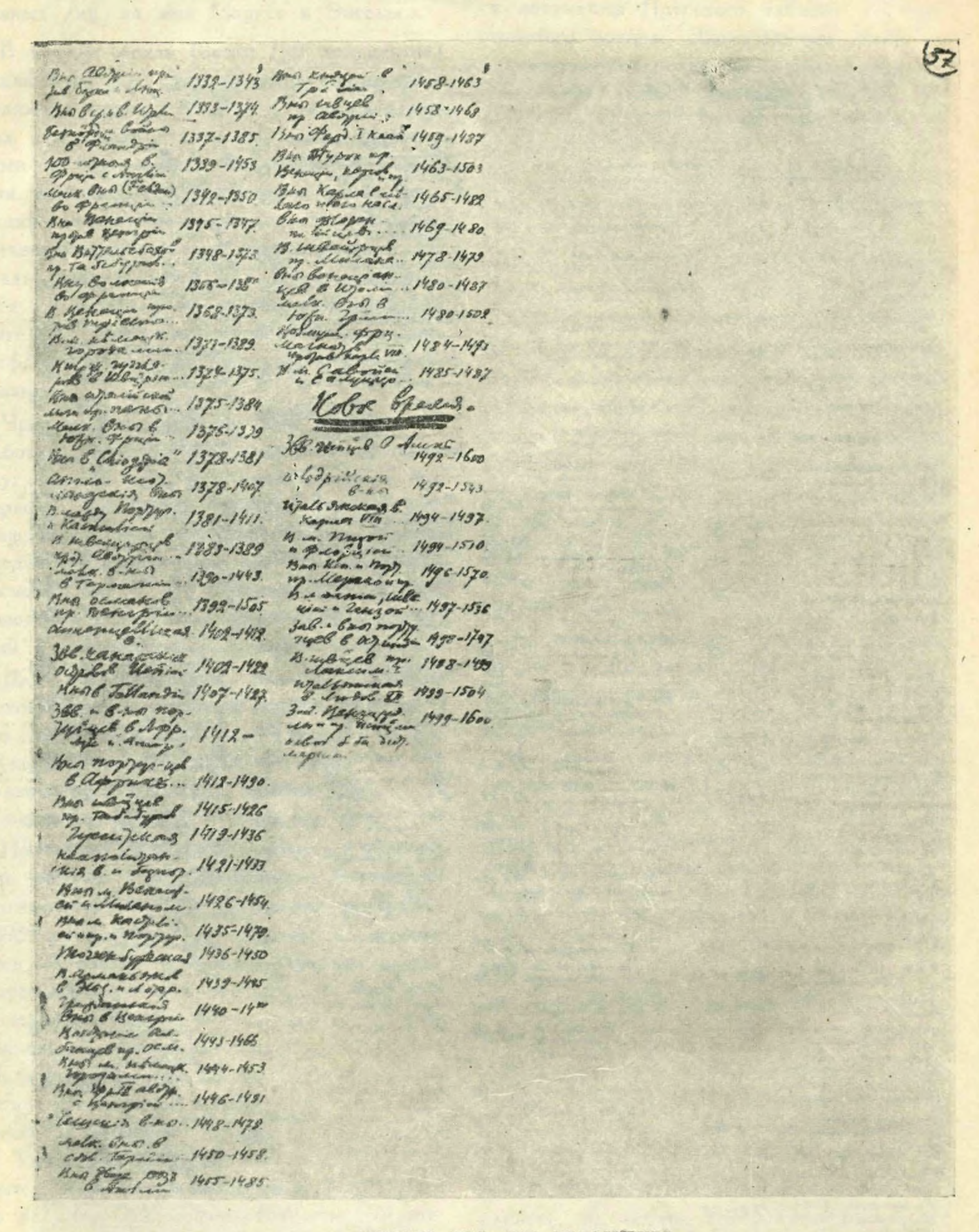
При организации архива в 1924 г. в его распоряжении насчитывалось не более 5 тыс. документов. К настоящему времени общее количество документов определяется цифрой в 25 тыс. архивных единиц.

Все документы подвергнуты научной обработке, на основе которой составлен исчерпывающий каталог (хронологический,

[1] Тот факт, что ИМЭЛ приступил к публикации указанной переписки Энгельса, привел Каутского в неистовое бешенство. В № 5 „Gesellschaft“ Каутский осыпает отборной бранью ИМЭЛ и его новых руководителей, считая публикацию писем Энгельса „нечистоплотным“ поступком, поскольку Рязанов дал ему „честное слово“ держать эти письма под сукном до его, Каутского, соизволения.

СТРАНИЦА ИЗ ТЕТРАДЕЙ ЛЕНИНА ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ И КОЛОНИАЛЬНОМУ ВОПРОСУ С ПЕРЕЧНЕМ ВОЙН, НАЧИНАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН

Из подготовляемого к печати Ленинского сборника, посвященного материалам эпохи империалистической войны



57

[illegible]	1339-1343
[illegible]	1353-1374
[illegible]	1337-1385
[illegible]	1339-1453
[illegible]	1342-1350
[illegible]	1345-1347
[illegible]	1348-1373
[illegible]	1365-1385
[illegible]	1368-1373
[illegible]	1377-1389
[illegible]	1374-1375
[illegible]	1375-1384
[illegible]	1375-1379
[illegible] „Chioggia"	1378-1381
[illegible]	1378-1407
[illegible]	1381-1411
[illegible]	1383-1389
[illegible]	1390-1443
[illegible]	1392-1505
[illegible]	1402-1412
[illegible]	1402-1422
[illegible]	1407-1427
[illegible]	1412-
[illegible]	1412-1490
[illegible]	1415-1426
[illegible]	1419-1436
[illegible]	1421-1433
[illegible]	1426-1454
[illegible]	1435-1479
[illegible]	1436-1450
[illegible]	1439-1445
[illegible]	1440-14..
[illegible]	1443-1466
[illegible]	1444-1453
[illegible]	1446-1491
[illegible]	1448-1479
[illegible]	1450-1458
[illegible]	1455-1485
[illegible]	1458-1463
[illegible]	1458-1469
[illegible]	1459-1487
[illegible]	1463-1503
[illegible]	1465-1482
[illegible]	1469-1480
[illegible]	1478-1479
[illegible]	1480-1487
[illegible]	1480-1502
[illegible]	1484-1493
[illegible]	1485-1487

Новое время.

[illegible]	1492-1600
[illegible]	1492-1543
[illegible]	1494-1497
[illegible]	1494-1510
[illegible]	1496-1570
[illegible]	1497-1536
[illegible]	1498-1747
[illegible]	1498-1499
[illegible]	1499-1504
[illegible]	1499-1600

ОБОРОТ ТОЙ ЖЕ СТРАНИЦЫ

инвентарный, авторский, адресатный и др.), позволяющий быстро ориентироваться в том громадном литературном наследстве, которое осталось после Ленина.

За последний год архив обогатился рядом документов, относящихся к периоду реакции, годам подъема и к эпохе империалистической войны.

Материалы по эпохе реакции, переданные из Дома им. Плеханова, содержат протоколы расширенной редакции «Пролетария» с записью выступлений Ленина и рядом его записок (часть протоколов от 23 июня 1909 г. опубликована в № 1 «Литературного Наследства»), письма Ленина к А. И. Рыкову (опубликованные в XVIII Ленинском сборнике) и ряд других документов.

Громадный интерес представляют документы эпохи империалистической войны. В них нашли свое отражение все узловые моменты беспощадной борьбы Ленина с социал-шовинизмом, центризмом, идейными шатаниями в среде большевиков (разногласия с группой Бухарина по национальному вопросу, о государстве и др.). Документы эти, объем которых доходит до 50 печатных листов, составят один из очередных Ленинских сборников.

Документы годов подъема освещают роль Ленина в руководстве латышской социал-демократией и частично относятся к его переписке с «Правдой».

В процессе работ сектора лениноведения сейчас ценнейшие теоретические исследования Левина по аграрному вопросу и империализму. Ряд предстоящих Ленинских сборников будет посвящен годам гражданской войны и советского строительства. На очереди документы Ленина, посвященные годам подъема, его переписка с редакцией «Правды». Объем еще неопубликованного литературного наследства Ленина настолько велик, что обеспечит выход в свет сверх уже опубликованных еще не менее 20 Ленинских сборников.

В текущем году архивом совместно с Центрархивом производится учет и собирание всей переписки Ленина и о Ленине, сохранившейся в фондах б. департамента полиции и жандармских управлений. Перехваченные различными охранками ленинские письма сохранились в виде перлюстрационной переписки. Таких документов (писем, лично принадлежащих Ленину) очевидно мы будем иметь не менее сотни и не менее 2 тыс. документов о Ленине. Наряду с этим выявлена и значительная переписка других лиц, имеющая большое партийно-историческое значение.

ПАРТИЙНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ

Основными фондами являются материалы, поступившие из б. Истпарта, относящиеся в основном к дореволюционному периоду. После слияния Института Ленина с Истпартом архив обогатился рядом новых фондов, а в настоящее время общее количество документов превышает 30 тыс.

Силами коллектива работников архива подготовлен специальный сборник документов, посвященный эпохе реакции, и заканчивается подготовкой сборник по 1905 г.

В первый сборник должны войти протоколы декабрьской (январской) конференции 1909 г. и январского пленума ЦК 1909 г., протоколы расширенной редакции «Пролетария» (июнь 1909 г.), переписка вокруг январского пленума ЦК 1910 г. и протоколы июньского совещания цекистов 1911 г.

Все эти документы являются ценнейшим вкладом в историю нашей партии.

В фонды партийного архива входят также материалы фракции ЦК союзов, а на местах — партийные архивы краевых, областных, районных партийных организаций. Единый партийный архив имеет 27 филиальных отделений, которыми за истекший год проделана значительная работа по концентрации архивных фондов. Основным тормозом в развертывании работы служит отсутствие помещений как в центре, так и на местах.

АРХИВНЫЕ ФОНДЫ ПО ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИЙ

Архив обладает большим количеством документов, относящихся к Великой французской революции, революции 1848 г., Парижской коммуне и II Интернационалу.

Наиболее ценными являются подлинные документы Гракха Бабефа. Этот фонд, в настоящее время обработанный, содержит до 1 000 рукописных документов Бабефа, среди которых ряд до сих пор неизвестных его произведений. В архиве Парижской коммуны насчитывается до 230 документов, относящихся к деятельности различных ко-

миссий Коммуны и Национальной гвардии. Весь фонд этот к данному времени обработан. Из других документов необходимо отметить архивы различных деятелей Коммуны (Луизы Мишель, Клюзере, Делеклюза, Ф. Пиа, Прото и др.) и коллекции материалов редакции «Père Duchêsne». Из фондов II Интернационала заслуживает внимания приобретенный в истекшем году архив Вильгельма Либкнехта, насчитывающий несколько тысяч документов.

ПРОЧИЕ АРХИВНЫЕ ФОНДЫ

Помимо перечисленных основных фондов в архиве сосредоточен ряд ценнейших материалов, имеющих непосредственное отношение к общей научно-исследовательской работе ИМЭЛ. Из таких фондов следует отметить: 1) архив Лаврова, собранный по частям из различных источников и насчитывающий свыше 6 тыс. документов (среди которых несколько писем Маркса и Энгельса); 2) архив Кричевского и ред. «Рабочего Дела» — до 1 000 документов, освещающих деятельность Заграничного союза русских социал-дамократов; из документов этого архива заслуживают внимания черновые протоколы совещания «Искры» и «Зари» с «Рабочим Делом» с записью выступлений Ленина; 3) архив Бунда, охватывающий его деятельность с момента его организации. Среди документов Бунда, как известно, была найдена редчайшая статья Ленина, посвященная критике «Profession de foi» «Киевского комитета», часть документов V съезда РСДРП и меньшевистского ЦК в первые годы после революции 1905 г. Помимо этого в распоряжении ИМЭЛ находятся архивы ЦК эсеров, ЦК меньшевиков, архив П. Б. Струве и «Освобождения», выявленные в фондах Академии Наук, и целый ряд других архивов (как например, архив «Поалей-Цион»).

Самостоятельной частью в архиве выделен Польский архив, насчитывающий около 12 тыс. документов с.-д. Польши и Литвы, Польбюро ЦК и др. Здесь находится переписка Розы Люксембург с Тышко, материалы литературного наследства Дзержинского, публикующиеся в специальном издании Института на польском языке «Z Pola Walki».

Помимо основной работы по каталогизации документов архив ведет дальнейшие розыски материалов Маркса, Энгельса и Ленина, находящихся как за границей, так и в СССР[1]. В настоящее время архив ведет переговоры о приобретении ценнейших коллекций *писем и документов* Ленина, которые очевидно удастся в ближайшее время получить.

Г. Тихомирнов

[1] Как на пример нахождения в частных руках материалов литературного наследства Маркса и Энгельса в СССР нужно указать на обнаружение сотрудниками редакции „Литературного Наследства" в одном частном архиве в Ленинграде письма Энгельса к русской революционерке Евгении Паприц от 26 июня 1884 г. (с отзывами о Добролюбове и Чернышевском), записки Маркса к П. Л. Лаврову от 21 апреля 1877 г., записки Элеоноры Маркс к П. Л. Лаврову от 15 марта 1883 г. (с сообщением о смерти отца), двух томов „Капитала" с надписями Энгельса Лаврову от 11 июля 1885 г. (на французском языке) и от 1 января 1895 г. (на русском языке).

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА, т. X

В июле текущего года выходит в свет следующий очередной том Сочинений Маркса — Энгельса — том X, в который вошли статьи и корреспонденции, написанные Марксом и Энгельсом за время 1854—1856 гг., печатавшиеся в различных органах европейской и американской прессы: «New-Jork Daily Tribune», «Neue Oder Zeitung», «People's Paper» и «Putnam Monthley».

Значительная часть этих статей впервые публикуется на русском языке.

Основная тема, которой посвящено большинство статей тома, — это Крымская война, которая велась «союзниками» — Англией, Францией, Сардинией и Турцией — против царской России. Придавая этой войне чрезвычайно большое значение, Маркс и Энгельс еще в статьях 1853—1854 гг. (см. IX том Сочинений) дали исчерпывающий анализ «Восточному вопросу» и наметили ту революционную перспективу, которая должна была иметь место в случае возникновения всеобщей европейской войны и поражения в результате ее оплота европейской реакции — русского царизма. Теперь в статьях 1854 и 1855 гг. Маркс и Энгельс пристально следят за развитием самих событий наступившей войны. Какие стороны обращали на

СТРАНИЦА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ЭНГЕЛЬСА
(ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПО «ЕВГЕНИЮ ОНЕГИНУ» ПУШКИНА)
С фотокопии, хранящейся в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

себя наибольшее их внимание? Во-первых, ими давалась полная военная история кампании. Энгельс систематически освещал все важнейшие события, происходившие на том или другом театре военных действий. В этом отношении X том представляет особенно большой интерес для военных читателей — командиров и политработников нашей Красной армии. Энгельс как военный писатель и теоретик военного дела выступает в томе в полном своем блеске. Мастерское применение им метода диалектического материализма к области военной истории и теории придает его статьям те конкретность и четкость (не раз отмечавшиеся Лениным), которые так характерны для его изложения, — дает ли он характеристику отдельных операций, критикует ли едко современную ему военную систему или формулирует требование тех качеств, которыми должны обладать подлинные бойцы и настоящие боевые армии. Многочисленные его замечания по вопросам военной тактики и стратегии сохраняют свое значение и для нашего времени.

Но Маркса и Энгельса интересовала не столько военная сторона вопроса, война сама по себе, сколько результаты ее, влияние на развитие классовой борьбы в Англии и других европейских странах. Что вскрывали они, анализируя события войны с этой точки зрения? Основная мысль, проводимая ими во всех статьях, была та, что европейские правительства как в лице английской аристократической олигархии, так и французского бонапартизма оказались неспособны вести настоящую решительную войну против царизма. Трусливая европейская дипломатия как до войны, так и во время войны фактически стремилась договориться с царизмом и заключить с ним компромиссное соглашение. Защита Турции на деле превращалась в оккупацию ее. Вместо оказания помощи союзнику английское и французское командования способствовали своими военными планами лишь новым поражениям турок. В статьях о падении Карса Маркс собрал большой и яркий документальный материал по этому вопросу. С другой стороны, во время войны обнаружилась вся гнилость и архаичность самого государственного порядка Англии. Энгельс с чрезвычайным остроумием и сарказмом вскрыл всю путаницу, многоначалие и неразбериху в английском военном управлении. Маркс, останавливаясь на деятельности парламента и министров, разоблачал противоречия хваленой британской конституции, анализируя непрерывный кризис английского кабинета и фактическое бессилие самого парламента. «Можно спросить, — заканчивал Маркс одну из своих статей, — для чего существует эта (парламентская) система? Вопросы внутренней политики нельзя поднимать, так как страна находится в состоянии войны. Но вследствие этого же нельзя касаться и военных вопросов. Для чего же тогда остается парламент? Старый Коббет (известный демократ начала XIX в.) раскрыл секрет: «чтобы быть предохранительным клапаном для кипящих в стране страстей» («New-Jork Daily Tribune» от 12 июня 1854 г.).

Режим олигархии, неспособность аристократического правительства вести удачную войну в конце концов вызвали в Англии широкое общественное движение. Снова выступил на сцену чартизм со своим лозунгом Народной хартии. Зашевелились реформисты из среды радикальной мелкой буржуазии. Парламентская и административная реформы были объявлены всеисцеляющим средством. Маркс и Энгельс в своих статьях чутко реагировали на эти сдвиги. Разоблачая стремление буржуазии использовать пробудившиеся рабочие массы, чтобы «пробраться на спине народа в Даунинг-стрит» (здание английского министерства), они подчеркивали задачу организации самостоятельного движения пролетариата и развития подлинной пролетарской революции, направленной против всего классового строя — как против аристократии, так и против буржуазии, предупреждая пролетариат против повторения опыта 1832 г. В настоящем году исполняется столетие знаменитой парламентской реформы 1832 г., когда буржуазии удалось при помощи масс («на спине народа») пробраться к власти. Опыт столетия с всей очевидностью показал, насколько правильно Маркс и Энгельс вскрывали существо «великой реформы», разоблачая весь обман господствующих классов.

Из других тем, трактуемых в томе, весьма интересными являются статьи Энгельса о панславизме. Вскрывая контрреволюционную роль панславизма, лившего воду на мельницу русского царизма, Энгельс в то же время дает весьма яркое освещение проблеме национального вопроса. По Энгельсу национальный вопрос правильно может быть разрешен лишь в связи с революцией и при посредстве революции.

Отдельную группу статей в томе составляют статьи об испанской революции. В них Маркс давал освещение современной ему испанской революции 1854 г., прослеживая развитие ее событий, начиная со свержения старого режима и кончая торжеством реакции. Но кроме этого в особой серии статей (восемь статей) он дал характеристику и предшествующих испанских революций—1808—1812 гг., 1819—1820 гг. и отчасти 1834—1843 гг. Своеобразное историческое развитие Испании, характеристика ее социально-экономического строя и в результате этого своеобразный характер испанских революций «сложных и длительных», которых «революционные циклы иногда растягиваются на целых девять лет», освещены Марксом не только с большой глубиной, но и в высшей степени образно, напоминая своим стилем и революционным сарказмом лучшие страницы «Восемнадцатого брюмера Луи-Бонапарта».

В настоящий момент, когда схлынула первая волна современной испанской революции и бурлят силы, свидетельствующие о новых грядущих революционных боях на полуострове, статьи Маркса приобретают особо актуальный характер, помогая испанскому и международному пролетариату острее и крепче ковать свое теоретическое оружие и правильнее, безошибочнее определять свою тактику по отношению к своим врагам и союзникам.

В. Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ЛЕНИНА, т. XXVIII

(Письма Ленина 1895—1910 гг.)

Вышел в свет XXVIII т. сочинений Ленина (В. И. Ленин, Сочинения, т. XXVIII. Письма 1895—1910 гг. Изд. Института Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б). Партиздат, 1932 г.).

Это — первый из двух томов писем Ленина, которыми вместе с дополнительным (XXX т.) завершается данное издание. Второй том писем (XXIX т. Сочинений) находится в печати. Настоящая заметка имеет своей задачей кратко ознакомить читателей с содержанием тома, дать беглую характеристику содержания собранных в томе писем.

Письма Ленина в составе всего его литературного наследства представляют особый интерес и занимают особое место. Прежде всего целый ряд писем, весьма значительная часть из них, вплоть до настоящего времени имеет в высокой степени актуальное и важное политическое значение. Далее, в письмах Ленина мы имеем один из важнейших первоисточников для научной разработки истории партии, истории трех наших революций и в особенности Октябрьской, истории первых лет первого советского государства и для научной разработки биографии Ленина. Помимо своего политического и научно-исторического значения письма представляют первоисточник исключительной ценности для непосредственного ознакомления широкого массового читателя с творческой личностью Ленина в действии, с Лениным как основателем партии, как вождем и теоретиком партии и пролетарской революции, как руководителем первого советского государства.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ПИСЬМА ЛЕНИНА К П. Б. АКСЕЛЬРОДУ ОТ НАЧАЛА НОЯБРЯ 1895 г.

Из иллюстраций к XXVIII т. Сочинений Ленина.

В этих двух томах (вышедшем XXVIII и выходящем из печати XXIX) собрано все политически наиболее существенное из писем Ленина, уже опубликованных ранее в других изданиях. Сюда не вошли а) письма, не имеющие принципиального значения, б) письма к родным, выпущенные ранее Институтом Ленина отдельным изданием, в) письма аналогичного характера и значения, как и письма данного тома, но помещенные в предшествующих томах настоящего издания Сочинений Ленина. В виду напечатания целого ряда писем в прочих томах данное собрание писем в двух томах неизбежно страдает некоторой неполнотой. Читатель без особых затруднений может восполнить этот недостаток попутным чтением писем, напечатанных в предыдущих томах Сочинений.

Рассматриваемый XXVIII т. содержит письма за время с ноября 1895 по ноябрь 1910 г., т. е. охватывает первую половину политической жизни и деятельности Ленина.

Основной порядок расположения писем в томе — хронологический. Письма разбиты на разделы по периодам жизни Ленина и по историческим эпохам. Внутри некоторых разделов письма сгруппированы еще по характеру адресатов, вследствие чего общая хронологическая нить в этих разделах разрывается на отдельные куски, группы однородных адресатов. Эти группы писем внутри разделов расположены в порядке хронологии первых писем каждой группы. Письма внутри каждой отдельной группы расположены в своем хронологическом порядке. Некоторая мозаичность расположения материала, получаемая в результате такой структуры, вызвана необходимостью систематизации для облегчения ориентировки в материале, сосредоточенном в одном томе за очень большой период времени.

Письма XXVIII тома разбиты на шесть разделов: 1) петербургский период жизни Ленина (письма имеются только за *один* 1895 г.); 2) период ссылки Ленина (1897—1899 гг.); 3) эпоха «Искры» и «Зари» (1900—1903 гг.); 4) эпоха II съезда и раскола партии (1903—1904 гг.); 5) эпоха революции (1905—1907 гг.); 6) эпоха реакции (1908—1910 гг.).

Из петербургского периода жизни и деятельности Ленина в XXVIII томе опубликованы только два письма Ленина к П. Аксельроду. Эти письма составляют часть переписки Ленина с Аксельродом, связь с которым как с одним из членов группы «Освобождение Труда» Ленин завязал во время своей поездки за границу летом 1895 г. Содержание этих двух писем, предельно насыщенных революционной практикой, свидетельствует о том, что Ленин осенью 1895 г. развивал кипучую деятельность по организации социал-демократического руководства рабочим движением в России.

За период ссылки Ленина в XXVIII томе напечатаны: одно письмо П. Аксельроду за 1897 г. и четыре письма к А. Потресову за 1898—1899 гг. В этих письмах (главным образом в письмах к Потресову) отразилась по преимуществу научная и литературно-публицистическая стороны деятельности Ленина в данный период.

Письма Ленина в эпоху «Искры» и «Зари» (с сентября 1900 по май 1903 г. включительно) представлены в томе наиболее обширно и полно по сравнению с письмами по другим периодам. Основное содержание писем за этот период составляют собирание и консолидация партийных сил и практическое строительство партии. Письма отражают борьбу с оппортунизмом в рабочем движении в рядах русских и заграничных организаций, показывают внутренний механизм конкретного руководства текущей работой искровской организации в России со стороны ее политического и организационного центра, редакции «Искры», и первенствующую роль Ленина в этом руководстве. Они освещают внутрипартийные отношения этого центра с заграничными группами и отдельными социал-демократическими партийными элементами за границей на основе повседневного разрешения основной задачи — собирания и сплочения революционных элементов российской социал-демократии. Они вскрывают, наконец, внутренние отношения между двумя составными частями редакции «Искры» — группой «Освобождение Труда» (Плеханов, Аксельрод, Засулич) и литературной группой «молодых» (Ленин, Мартов, Потресов) — и особенно между Плехановым и Лениным на почве принципиальных программных разногласий между ними. Само количество писем (102), помещенных в этом разделе XXVIII тома, и число адресатов (41) свидетельствуют об обилии связей и сношений, о масштабе и размахе политической деятельности Ленина в этот период

как редактора «Искры» и как руководителя русской организации «Искры», как собирателя и организатора партии.

Письма Ленина из эпохи II съезда и раскола партии (с сентября 1903 по декабрь 1904 г. включительно) представлены в XXVIII т. также довольно полно: общее количество писем 63 (из них 45 в Россию), число адресатов 33 (из них 25 российских адресатов). Все письма этого периода насыщены упорной, напряженной борьбой, которую Ленин, начиная со II съезда, в течение полутора лет ведет внутри партии против организационного оппортунизма меньшевиков, против их дезорганизаторской, подрывной работы, против захвата ими центральных партийных учреждений, против разложения, вносимого ими в работу местных организаций. На основе этой ожесточенной внутрипартийной борьбы, борьбы за партию, за партийное единство, через письма этого периода красной нитью проходит политическое и организационное руководство Ленина делом собирания и сплочения сил большинства и создания крепкого большевистского ядра.

Число писем, напечатанных в XXVIII томе за период революции 1905—1907 гг., довольно ограничено (27 писем), и почти все они относятся к 1905 г.: среди них совсем нет писем за 1906 г. и есть только одно письмо за 1907 г. Содержание большинства писем из эпохи революции 1905 г. составляют вопросы внутрипартийного положения. Третий съезд партии является рубежом, который разделяет содержание писем Ленина за этот период на две части: до съезда основной мотив писем составляют заключительные этапы борьбы за съезд и подготовка к его созыву, после же съезда основное содержание писем составляют уже вопросы организационного внутрипартийного строительства.



ПИСЬМО ЛЕНИНА К Г. В. ПЛЕХАНОВУ ОТ 29 МАРТА 1910 г.
Из иллюстраций к XXVIII т. Сочинений Ленина

Эпоха реакции (1908—1910 гг.) в собрании писем XXVIII тома представлена небольшим числом писем (33): из них 20 писем относится к 1908 г., 2 письма — к 1909 г. и 11 писем — к 1910 г. Все они, за исключением одного письма (В. Воровскому в Одессу от 1 июля 1908 г.), представляют переписку Ленина с российскими социал-демократами за границей. Среди писем Ленина из эпохи реакции самое большое место по количеству (12 писем) занимают и наибольший интерес представляют письма к Горькому. Письма Ленина к нему за первую половину 1908 г. одно за другим рисуют картину все большего обострения и углубления философских разногласий между Лениным и Богдановым, по мере то-

го как Ленин знакомился с первоисточниками философских взглядов Богданова и его группы из числа тогдашних большевиков (Базаров, Луначарский и другие), с философией Маха, Авенариуса и проч. и по мере того, как он писал свою критику («Материализм и эмпириокритицизм») на эту философию и на взгляды русских махистов. В письмах Ленина за 1910 г. на первый план выступает задача концентрации сил всех сторонников революционной нелегальной партии, задача блока большевиков с плехановцами (меньшевиками-партийцами) для совместной борьбы на два фронта: против ликвидаторов и их союзников «голосовцев» (группа меньшевистской газеты «Голос Социал-Демократа» во главе с Мартовым), с одной стороны, и против «левого» оппортунизма богдановской группы «Вперед» — с другой. Далее в письмах 1910 г. развертывается и шаг за шагом осуществляется план создания ряда большевистских органов с участием Плеханова — нелегального популярного органа «Рабочей Газеты» за границей и легальных — журнала «Мысль» и газеты «Звезда» в России. В этих письмах Ленина конца 1910 г. уже отражалось начало нового революционного подъема, созревавшего в недрах рабочего класса России.

Научно-вспомогательный аппарат XXVIII тома значительно отличается от аппарата предыдущих томов. Специфические особенности данного тома вызвали необходимость составления двух особых указателей: указателя адресатов писем, вошедших в XXVIII т., и хронологического указателя писем, не вошедших в этот том.

П. Сенниковский

XX ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

В ближайшее время выходит из печати XX Ленинский сборник, посвященный первой половине 1921 г.

Самый перечень глав: канун X съезда, X съезд РКП, новая экономическая политика, концессии, вопросы промышленности, снабжения, просвещения и партийной жизни — показывает, как широко представляют публикуемые документы многостороннюю деятельность Ленина в этот сложнейший период истории советской республики.

Сборник охватывает большое количество предварительных материалов к X съезду партии, майской конференции, первоначальные планы и тезисы докладов, черновые наброски резолюций, планы Наказа СТО и несколько этапов редакционной работы над Наказом Совнаркома о проведении в жизнь начал новой экономической политики.

Кроме этих материалов, развивающих основные принципиальные вопросы нэпа, в сборнике имеется очень большое количество писем по различным вопросам хозяйственной деятельности (внешняя и внутренняя торговля, кооперация, промышленность: нефть, уголь, торф, электричество, хлебозаготовки, рыбная путина и т. д. и т. д.). Эти письма отражают колоссальную роль Ленина в оперативной работе всех наркоматов и ведомств и по сей день будут служить директивой к действию хозяйственникам.

В сборнике кроме того отражен процесс подготовительной работы, которую обычно проделывал Ленин перед принятием того или иного решения. Наилучшее выражение этого мы имеем во главе «Концессии», где дан богатейший конкретный материал, проработанный Лениным перед X съездом партии, одобрившим решение Совнаркома о концессиях. Доклады специалистов-нефтяников и политических работников в этой области Ленин изучал с исключительной тщательностью, привлекая большое количество специальной литературы как по техническим вопросам, так и по хозяйственно-правовым.

В этой же главе публикуется впервые доклад Ленина о концессиях на фракции ВЦСПС 11 апреля, когда оппозиция после X съезда партии усилила свою деятельность в профсоюзах и в лице Рязанова и Шляпникова срывала политическую линию, принятую X съездом. Ленин вынужден был разоблачить вождей оппозиции на фракции ВЦСПС и тем положить конец колебаниям части профсоюзных работников по вопросу о концессионной политике.

Из документов партийного порядка наибольший интерес представляют письма Ленина о беспартийных организациях.

Весь сборник (второй по счету с документами советского периода) по своему содержанию доступен и интересен не только для партийного актива, но и для всякого сознательного рабочего.

Н. Крутикова

758 Die Neue Zeit.

geistig sind in den Großstaaten Sozialdemokraten zu Gefangenen des Imperialismus geworden. Das erstere wird mit dem Krieg vergehen, das zweite ist bei dem heimtückischen Charakter des Uebels, leider weniger sicher. Es muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß das Ende des Krieges statt Auflösung Befestigung der Koalitionen sieht, die sich ihm gegenübergestellt haben, daß auch nach dem Friedensschluß der größte Teil Europas in zwei sich feindselig gegenüberstehende Verbände gespalten bleibt. Welche verheerende Wirkungen dies in bezug auf Wirtschaft und Kultur im weitesten Sinne des Wortes für die Völker Europas haben müßte, liegt auf der Hand. Von woher soll dann die bessernde Hilfe kommen? Diese Frage mögen sich diejenigen einmal vorlegen, die heute über die Internationale spotten und mit unverantwortlicher Beflissenheit Steine aus ihrem Fundament herauszulösen suchen. Kein Wunder von oben wird die Rettung bringen, keine noch so wohlgemeinte Ermahnung des Papstes die Interessengegensätze überbrücken, die zwischen Kapitalistengruppen hüben und drüben in unendlich schärferer Form nach dem Kriege obwalten werden, als vor ihm. Unendlich lange wird sich die schleichende Krankheit hinziehen, wenn auch die Internationale der Arbeiter dem Krieg zum Opfer fallen sollte.

Darum m u ß diese letztere sein, muß unser ganzes Streben darauf gerichtet bleiben, sie an innerer Kraft zu erhalten. Und ebenso müssen wir uns der Kräfte vergewissern, welche mit ihr das Interesse an der Wiederherstellung Europas und dessen Ausbau zu einem wahren Verband der Völker gemein haben. Zu ihnen aber gehören heute in erster Linie diejenigen Staaten Europas, die nicht Großstaaten sind oder sein wollen. Sie sehen mit Recht ihr Dasein und ihre freie Entwickelung gefährdet durch die Rüstungen und die Machtgelüste der Großstaaten und sind dadurch genötigt, ihre Sicherheit, die Verbürgung ihrer Lebensentfaltung dort zu suchen, wo der Fortschritt der Kultur über den Imperialismus hinweg liegt: in der Ausbildung und Festigung des i n t e r n a t i o n a l e n Rechts. Mögen die einen oder die andern dieser Staaten zu irgendeiner früheren Zeit Brutstätten eines reaktionären Partikularismus gewesen sein, heute ist das nicht mehr der Fall. Bewußt oder unbewußt streben sie alle zur Internationalität hin, sind gerade die kleineren Staaten deren aufrichtigste Träger. Von symbolischer Bedeutung hierfür ist es, daß die bedeutungsvollsten internationalen Schöpfungen der Kulturmenschheit ihre Ursprungsstätte oder ihren Zentralsitz gerade in Kleinstaaten haben. So sind u. a. in der kleinen S c h w e i z die Bundeshauptstadt Bern die Heimatsstadt des Weltpostvereins, Genf die Heimatsstadt des internationalen Roten Kreuzes, Basel der Zentralsitz des Internationalen Arbeitsamts, im kleinen B e l g i e n Brüssel der Sitz des Instituts für Internationales Recht, des Bureaus für die Beseitigung des Sklavenhandels, der Zentralbureaus für die Internationalen Verbindungen, im kleinen H o l l a n d der Haag der Sitz des Internationalen Schiedshofs, der bestimmt ist zum Internationalen Staatengerichtshof für Schlichtung, Gutachten und Schiedsspruch sich zu erweitern.

Nicht im Zentralismus, wie ihn der erobernde Imperialismus verkörpert, liegt der Fortschritt der Menschheit geborgen. Dieser Zentralismus ist überflüssig, ja verderblich geworden. Wir haben ihn als Zerstörer von Kultur, als Auseinanderreißer der Kulturmenschheit kennen gelernt, seine

ПОМЕТКИ ЛЕНИНА НА СТАТЬЕ БЕРНШТЕЙНА „VOM GESCHICHTLICHEN RECHT DER KLEINEN“ В ЖУРНАЛЕ „NEUE ZEIT“ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 1915 г., № 24

С подлинника, хранящегося в Институте Маркса — Энгельса — Ленина

Apostel träumen Raub und Unterdrückung, predigen Haß und säen Verzweiflung. Der Fortschritt der Menschheit liegt in der Zusammenfassung der Kräfte freier Völker für die großen, gemeinsamen Werke, zu welcher Zusammenfassung es keiner über den Völkern stehenden militaristischen Sondermacht bedarf.

Mit Recht durfte unser leider erkrankter Genosse Troelstra auf der unvergeßlichen Baseler Konferenz der Internationale 1912 von der Kanzel des ehrwürdigen Münsters herab es aussprechen:

„Die Selbständigkeit der kleinen Nationen wird nicht durch 10 000 oder 20 000 Mannschaft mehr, noch durch Dreadnoughts oder die verschwenderischen Ausgaben für das Militär verbürgt, in welchen die großen Nationen einander nachahmen, sondern sie wird nur sichergestellt durch Einprägung des Gedankens in das Gewissen der Völker, daß die Verletzung der historisch gewordenen und ökonomisch begründeten Selbständigkeit der kleinen Nationen eine Verletzung der Zivilisation selbst ist. Nur in dem Höhepunkt der Zivilisation können wir die Garantierung unseres Daseins finden. Daher haben wir den Militärforderungen der herrschenden Klassen stets unsere zivilisatorischen Forderungen entgegengesetzt. Ein Blick auf die freie Schweiz, auf deren Gebiet wir uns befinden, ein Blick auf die schöne humanitäre und soziale Arbeit, die ein kleines Land wie Dänemark verrichtet, ein Blick auf die Kunst, die Wissenschaft und die Kultur Belgiens und Hollands beweist uns, daß man kein großes Gebiet inne zu haben braucht, um ein großes Kulturvolk zu sein."

Die Baseler Konferenz ist unvergessen, aber vieles, was auf ihr gesagt und bejubelt wurde, ist gar sehr in Vergessenheit geraten. „Wir sind kleine Nationen, aber die große Macht des internationalen Sozialismus ist mit uns," heißt es am Schluß der mit Beifallsstürmen aufgenommenen Rede Troelstras. Hätte es sich damals einer der Jubelnden ahnen lassen mögen, daß keine drei Jahre später ein Vertreter der größten Sektion dieses internationalen Sozialismus sich werde leisten dürfen, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen für „ins alte Eisen" gehörig zu erklären, ohne in seiner Partei einem ganz andern Sturm zu begegnen? So wenig, wie er es für möglich gehalten hätte, daß einflußreiche Organe dieser Partei es eines Tages für eine hinlängliche Erfüllung bedeutungsvoller Pflichten erklären würden, wenn man im Angesicht der Kreuzigung des Selbstbestimmungsrechts ganzer Völker nach dem Muster des biederen Pontius Pilatus achselzuckend seine Hände in Unschuld wäscht.

Die sozialökonomischen und nationalen Verhältnisse in den „deutschen" Ostseeprovinzen.

Von F. Zinis.

In der deutschen Presse werden oft die russischen Ostseeprovinzen als deutsch bezeichnet. Vor 50 bis 60 Jahren, als die Ureinwohner der Provinzen, die Letten und Esten, eine „geschichtslose" graue Masse von Bauern und Landarbeitern waren, aber die höheren Schichten des Landes, die adligen Grundbesitzer und städtischen Bürger, Deutsche waren, da konnte man gewissermaßen die Provinzen ihrer herrschenden Kultur nach als deutsch bezeichnen. Doch die kapitalistische Entwickelung der letzten 50 bis 60 Jahre

ПОМЕТКИ ЛЕНИНА НА ТОЙ ЖЕ СТАТЬЕ БЕРНШТЕЙНА

ЗА СОЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ В МОСКВЕ

Редакция «Литературного Наследства» всецело присоединяется к инициативе организаторов Центрального литературного музея в Москве. Со своей стороны, редакция «Литературного Наследства», ставя этот вопрос (см. наше примечание в публикации материалов по Чернышевскому), предприняла и предпринимает ряд практических мероприятий к созданию музея, к разысканию и собиранию затерянных архивов и отдельных документов. Ниже мы печатаем сообщение об обширном Елагинском архиве, хранившемся мертвым кладом с первых лет революции в провинциальной библиотеке (г. Белев) и лишь ныне по инициативе редакции «Литературного Наследства» перевезенном в Москву и уже поступившем в научную эксплоатацию. Эта находка очевидно должна стать одним из первых поступлений в фонды нового музея.

Начиная с настоящей книги, редакция будет систематически освещать ход организации Центрального литературного музея, в создании которого «Литературное Наследство» примет посильное участие.

Ред.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ

Еще осенью 1903 г. на чужбине, в Женеве, в эмиграции у меня созрела мысль о необходимости организовать библиотеку и архив, в которых были бы собраны всевозможные документы, рукописи и редкие издания предыдущих эпох, дабы современным читателям, исследователям и будущим поколениям дать все возможности для изучения революционных и общественных течений, партий и групп, которые возникали на протяжении последних столетий нашей истории. Само собой понятно, что организация этого дела всецело зависела от экономических возможностей нашего эмигрантского существования. Быстро сложившаяся «группа инициаторов» энергично повела дело. Члены этой группы все до одного были членами РСДРП — давнишние подпольщики, в силу политических преследований очутившиеся в Швейцарии в политической эмиграции. Архив и библиотека стали быстро разрастаться, и после Октябрьской революции все материалы из этого учреждения поступили сначала в Истпарт, а потом в Институт Ленина. Нужно отметить, что тогда, когда наша партия была еще в подполье, ее Центральный комитет вполне одобрил эту работу, что и запечатлел особой резолюцией, которую мы считаем необходимым здесь привести:

«От Центрального Комитета Рос. Соц.-Дем. Раб. Партии.

От души приветствуя прекрасный почин «Группы инициаторов» по созданию «библиотеки и архива при Центральном Комитете Российской Социал-Демократической Рабочей Партии», убедительно просим всех товарищей и сочувствующих этому давно назревшему делу оказать посильное содействие нашим товарищам, взявшим на себя труд организовать это сложное и важное дело.

Центральный комитет РСДРП
29 января 1904 г.»

Эта резолюция была написана и предложена ЦК Владимиром Ильичем.

Когда произошел окончательный раскол в нашей партии, мы, группа инициаторов, считая женевскую библиотеку и архив неразрывно связанными с нашей работой и нашей большевистской частью с.-д. рабочей партии того времени, твердо настояли, несмотря на жесткую и гнусную полемику меньшевиков, чтобы это наше детище было передано «Бюро комитетов большинст-

ва». Владимир Ильич не только совершенно был с этим согласен, но даже собственноручно написал следующую резолюцию, подлинник, который сейчас хранится в Институте Ленина. В этой резолюции он писал:

«Группа инициаторов, учредившая библиотеку РСДРП в Женеве, единогласно постановила передать библиотеку «Бюро комитетов большинства» для общего заведывания делами библиотеки впредь до решения, которое будет принято относительно ее III партийным съездом».

Таким образом, мы видим, что еще в 1903—1904 гг. эта наша коллективная инициатива была дважды одобрена и лично Владимиром Ильичем, и высшим директивным органом партии.

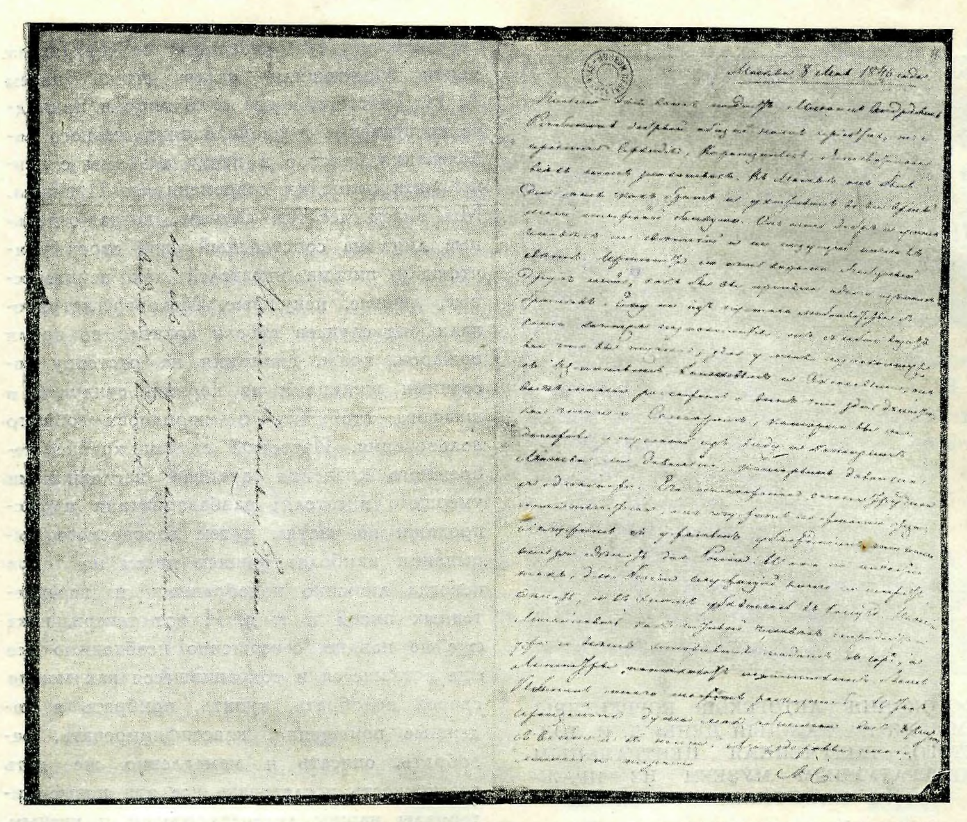
В стране социализма культурные потребности возрастают не по дням, а по часам. Повсюду возникли музеи местного значения, а столицы республик организовали архивы, библиотеки, музеи общереспубликанского масштаба. В Москве создался колоссальный Институт Маркса—Энгельса—Ленина. Широко развернулся Музей революции, Публичная ленинская библиотека (бывший Румянцевский музей) ведет новую стройку, превращаясь в мировое книгохранилище. Возникла огромная библиотека Коммунистической академии с ее целым рядом научно-исследовательских институтов. То же самое делается в Ленинграде, конечно в несколько меньшем масштабе, а также в Харькове, Тифлисе, Казани, Саратове и других областных центрах.

Однако и на этом фронте есть участок, на который необходимо обратить самое серьезное внимание и который пора привести в действительный порядок: мы говорим о литературных музеях, которых в нашей стране довольно много. До сих пор в этом деле торжествовал принцип большего или меньшего почитания того или иного автора. Если современники писателя после смерти его считали его достойным памяти, то организовывались кружки, общества, которые и закладывали основание для музея того или иного писателя. Делалось это повсюду. Так возникли Пушкинский, Толстовский, Чеховский музеи; так организовались музеи Тютчева, Гоголя, Герцена, Лермонтова, Чернышевского, Кропоткина и мн. др. Ни средств, ни сил в этих литературных музеях конечно никогда достаточно не было. Сбор материалов шел здесь случайно, находясь в полной зависимости от энергии того или другого лица или случайного кружка лиц. Общественности в этом деле всегда было очень мало, зато кружковщина и подчас самая затхлая семейственность царствовали здесь безраздельно. Нередко ближайшие родственники того или иного писателя, при его жизни известные только тем, что мешали проявлению свободного творчества талантливого или даже гениального своего сородича, часто даже отравлявшие и сокращавшие его жизнь, вдруг после его смерти неожиданно из Савлов превращались в Павлов. Навязчивое поклонение этих наследников памяти покойного писателя делало их центром внимания среди почитателей умершего.

Дело собирания литературного наследства, всестороннего изучения творчества почившего писателя, его среды, окружения, экономических и социальных корней, его связей с эпохой нередко сильно тормозилось этими родственниками-почитателями. Они частенько десятилетиями задерживали доставшиеся им архивы, или из самых меркантильных расчетов, желая выждать время, когда можно будет подороже продать весь рукописный материал, или сознательно замедляли его опубликование, так как в своих дневниках или другом эпистолярном наследии писатели нередко оставляли весьма нелестные сведения о своих близких. Мы знаем много примеров прямого уничтожения родственниками и наследниками писем и дневников умерших писателей, отдельных глав воспоминаний и других произведений, неудобных почему-либо этим так называемым близким.

Конечно имеются многочисленные примеры и противоположного отношения ближайшего окружения, когда все документы сохраняются с величайшей тщательностью и уважением. Но в таких случаях создаваемые по частной инициативе музеи носят обычно узко-этнографической и совершенно некритический характер. Самое главное — выяснение социальной и политической базы писателя, связи со своей эпохой, со своим классом, определение его места в общественной жизни страны, в борьбе классов — здесь обыкновенно отсутствует.

В настоящее время особо остро стоит вопрос о создании такого литературного музейного центра в Москве, который бы мог вместить в себе все литературные материа-

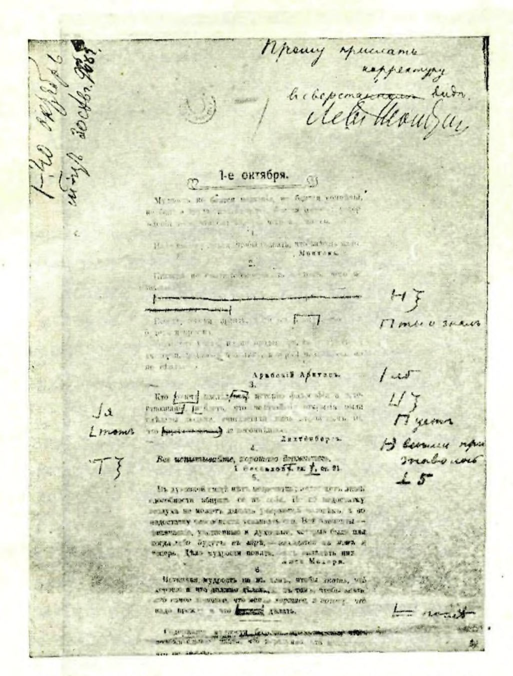

Москва 8 Мая 1846 года

ФОТОКОПИЯ ПИСЬМА А. О. СМИРНОВОЙ К Н. В. ГОГОЛЮ ОТ 8 МАЯ 1846 г., ПОЛУЧЕННАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ ИЗ ПРАЖСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

лы, находящиеся сейчас в различных местах. Мы знаем, что много литературных материалов долгие десятилетия покоятся под спудом в наших музейных и других учреждениях, казалось бы ничего общего не имеющих с музейным делом. Все это необходимо привести в порядок, все это требует прилива живых сил, которые дадут толчок и приведут в движение множество материалов, лежащих мертвым научно-литературным капиталом в тайниках наших книгохранилищ, архивов и музеев. Все литературно-рукописные отделы этих учреждений, все мелкие музеи должны конечно слиться в один огромный литературно-музейный центр, где будет вполне возможно дать надлежащую характеристику эпохи, классовой связи, взаимных отношений писателей, групп и партий, в которые они входили, и таким образом в музейном показе определить их место в истории нашей культуре.

При такой централизации мелких и малых литературных музеев и архивов хотя бы только в Москве выиграет литературный рукописный фонд писателя.

В этом деле у нас еще нет достаточного порядка и организованности. Что не погибло в огне и пламени гражданской войны и что не было растаскано — поступило во многие местные и центральные книгохранилища, но многое все-таки разошлось по рукам. Местные краеведческие музеи в своих обследованиях стараются теперь разыскивать все оставшиеся документы и бережно сохраняют их в своих местных архивах. Но что же получается на деле? В одном архиве вы найдете письмо Гоголя, в другом — Лермонтова, в третьем — Л. Толстого, Добролюбова и т. д. и т. д. Так как описей этих архивов в большинстве случаев не существует, то даже сведения об этих ценных материалах получаются исследователями совершенно случайно. Приобщить эти материалы к научным работам чрезвычайно трудно, так как исследователям в погоне за отдельными письмами, вариантами, черновиками и корректурами изучаемых авто-


Прошу прислать корректуру в сверстанном виде. Лев Толстой

1-е октября.

ФОТОКОПИЯ АВТОРСКОЙ КОРРЕКТУРЫ «МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» Л. Н. ТОЛСТОГО, ПОЛУЧЕННАЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ МУЗЕЕМ ИЗ ПРАЖСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

ров приходилось бы бороздить весь СССР. Совершенно ясно, что сосредочение подлинников рукописей тех или иных писателей должно быть где-нибудь в одном городе, там, где писатель представлен наиболее полно. Совершенно естественно, что и музеи местного значения на совершенно законном основании желают иметь у себя в качестве экспонатов и рукописи, и письма, и портреты различных писателей. Это справедливое желание, эта в высшей степени ценная культурная потребность должны быть полностью удовлетворены и даже в значительно большем объеме, чем это делается в настоящее время, но не за счет подлинников, а обязательно за счет фотоснимков с них. Теперь это дело поставлено так технически совершенно, что замена подлинника фотоснимком вполне допустима и разумна.

Во всяком случае все то, что в настоящее время хранится в центральных или местных музеях, более или менее доступно для исследования, так как находится в государственном владении.

Совершенно иное дело, когда мы говорим о частном секторе этого дела. Здесь литературные материалы подвергаются тысячам случайностей. Нам известны случаи, когда мыши уничтожили целые пачки писем Л. Н. Толстого, когда одно лицо в припадке исступления и проявления душевного заболевания бросило в печку альбомы с ценнейшими записями современников Пушкина. Мы знаем десятки случаев, когда отдельные лица на собственный свой страх уничтожали письма писателей как неинтересные, личные, ненужные. Мы зарегистрировали ряд случаев гибели архивов во время пожаров, краж, сжигания на растопку соседними жильцами из корзин, сундуков и шкафов, стоявших в коридорах общего пользования. Известны случаи крайне небрежного хранения архивов наследниками умершего писателя; разбазаривания и распродажи по частям путем варварского вырывания наиболее ценных писем из томов некогда любовно подобранных и переплетенных писем и т. д. И вот теперь, пока еще не поздно, совершенно необходимо все еще оставшееся и сохранившееся как можно скорей подобрать, купить, прибрать в надежные помещения, классифицировать, разобрать, описать и немедленно же дать возможность исследовать все эти новые материалы нашим литературоведам и ученым.

Кроме того конечно существует очень много лиц, кровно заинтересованных в сохранении своих архивов, собирание которых было делом жизни их предков и их самих, которыми проявлена самая благородная страсть, энтузиазм и безграничная любовь к судьбам нашей литературы. И мы знаем, что эти лица особенно хотят, чтобы все ими собранное могло быть передано на тех или иных условиях в надежные государственные руки в такой центральный литературный музей, который вполне может обеспечить сохранность, уход, научную обработку и широкое использование этих литературных материалов.

Работа над частновладельческим литературным сектором в настоящее время — самая необходимая и насущная задача. Созидаемый Центральный литературный музей с первых же шагов должен стараться сосредоточить все материалы, принадлежащие частным лицам, в государственных руках—в новом грандиозном культурном учреждении, вполне достойном второй пятилетки нашего социалистического строительства.

В виду совершенно назревшей потребности в организации такого Центрального ли-

тературного музея наркомпрос РСФСР, заслушав ряд докладов, постановил образовать комиссию по устройству Центрального литературного музея. Во главе этой комиссии стал нарком просвещения А. С. Бубнов, имеющий двух своих заместителей — И. К. Луппола и В. Д. Бонч-Бруевича. Через некоторое время нарком просвещения ввел в эту основную группу В. И. Невского и Л. Б. Каменева. Помимо названных лиц в комиссию входят еще представители следующих учреждений: 1) Института ЛИЯ Комакадемии, 2) Союза писателей, 3) Центрархива и персонально следующие лица: Н. А. Семашко, Б. Е. Этингоф, В. В. Григоренко, В. Г. Вешнев, С. А. Басов-Верхоянцев, П. И. Лебедев-Полянский, В. И. Соловьев, Н. Я. Марр, А. Ф. Кашинская.

Помимо перечисленных лиц, состав которых может меняться, комиссия кооптировала еще следующих лиц: А. В. Ефремина, М. М. Чистякова, Н. С. Ашукина, М. А. Цявловского, В. М. Соколова, Н. К. Гудзия, Наумова и др.

На эту комиссию прежде всего возложены следующие обязанности, которые включены в ближайший план работ:

1. Проработка целевой установки ЦЛМ, его структуры и состава.

2. Определение фондов, подлежащих передаче из ныне существующих музеев в ЦЛМ.

3. Предварительный план экспозиции.

И дополнительно к этим пунктам прибавлены:

4. Библиографическая и библиотечная комиссии.

После проработки всех этих вопросов комиссия принялась через образовавшиеся органы за выполнение данных ей директив.

Наиболее практически важна деятельность фондовой подкомиссии, которая, несмотря на свое кратковременное существование, вполне могла бы дать нашей широкой общественности, хотя бы при посредстве печати, свой первый отчет.

Фондовой подкомиссией получено, зарегистрировано и описано свыше сотни литературных материалов и документов, в том числе:

Р. М. Плехановой приобретены в Париже: рукопись очерка Ф. М. Решетникова «Полторы сутки по Варшавской железной дороге», письмо К. А. Полевого к Н. И. Гречу от 3 мая 1864 г.

И. В. Ильинским приобретено в Батуме три письма И. С. Тургенева к Ф. А. Свечину от 16 июля 1881 г., 10 августа 1881 г. и без даты [1881 г.].

Н. С. Ангарским приобретено в Париже большое количество различных документов, относящихся к смерти Тургенева и касающихся его литературного наследства.

В. Д. Бонч-Бруевичем при участии полпреда СССР в Чехо-Словакии А. Я. Аросева засняты толстовские документы из Национального музея в Праге: среди этих документов имеются отрывки «Хаджи-Мурата», рукописи «Мыслей на каждый день», черновики писем к Столыпину, к Кони, письма к Маковицкому (12); сняты копии с яснополянского дневника Маковицкого. Здесь же засняты: письмо А. О. Смирновой к Н. В. Гоголю от 8 мая 1846 г.,

АВТОГРАФ ПИСЬМА И. С. ТУРГЕНЕВА К Ф. А. СВЕЧИНУ ОТ 16 ИЮЛЯ 1881 г.

Приобретен в Батуме для Центрального Литературного Музея

письмо И. А. Гончарова к F. Chmek от 27 февраля [б. г.].

В архиве чехо-словацкого министерства иностранных дел засняты 12 писем Толстого к Альберту Шкарвану, письма к Кони и черновик письма к студенту Арсеньеву.

Интересные материалы получены из архива б. издательства «Мусагет» и архива Андрея Белого.

Несколько рукописей и фотографий получено также из Дома им. Чернышевского в Саратове.

В настоящее время фондовая комиссия усиленно работает над разысканием целого ряда архивов и над получением уже имеющихся. Мы убеждены, что при следующей публикации мы дадим сведения о значительно большем материале.

Влад. Бонч-Бруевич

ЕЛАГИНСКИЙ АРХИВ В МОСКВЕ

Одна из слабых сторон существующей у нас постановки архивного дела — чрезвычайная разбросанность наших архивных фондов, чрезвычайная их дробность. Центральные хранилища — московские и ленинградские — объединяют хотя и очень значительную их часть, но все же ни в какой мере не исчерпывают их полностью. Кроме того и здесь они недостаточно централизованы. Часто архивные материалы, касающиеся одной и той же эпохи, даже одного и того же писателя, оказываются разбитыми между несколькими мелкими хранилищами. Излишне говорить о том, насколько затрудняет это обстоятельство их разработку, насколько препятствует оно их вовлечению в повседневный обиход научно-исследовательской работы.

АВТОГРАФ ПИСЬМА В. А. ЖУКОВСКОГО ОТ 24 АВГУСТА 1809 г.
Из материалов переведенного в Москву Елагинского архива

Еще хуже в этом отношении обстоит дело с архивами, сосредоточенными в провинциальных хранилищах, а таких не мало не только в крупных областных и краевых центрах, но и в районных. Здесь не может быть речи уже не только о систематической работе над ними, но даже самое общее ознакомление с ними обставлено часто очень большими трудностями. Фактически архивы, сосредоточенные в такого рода хранилищах, погребены для научно-исследовательской работы, точно так же как архивы, до сих пор остающиеся неучтенными и необследованными. Следует добавить, что крайне неудовлетворительные условия хранения ведут к тому, что в ближайшем будущем можно вообще ожидать их полной гибели. Тем острее встает поднятый выше редакцией вопрос об организации единого центрального хранилища, в котором были бы сосредоточены архивные фонды всесоюзного значения.

Считая централизацию мелких провинциальных хранилищ одной из насущных задач архивной политики и рассматривая работу в этом направлении как часть общей оперативной работы журнала, редакция «Литературного Наследства» с самого начала предприняла определенные шаги в этом направлении. Сейчас можно говорить уже о

некоторых конкретных результатах. По инициативе редакции и при содействии Публичной библиотеки им. Ленина доставлен в Москву и поступил в рукописное отделение библиотеки Елагинский архив, в начале революции переданный в Белевскую городскую библиотеку и до последнего времени хранившийся там в неразобранном виде.

В настоящее время архив до конца еще не описан, поэтому полностью содержащиеся в нем материалы с точки зрения их качественного состава охарактеризованы быть не могут, и поэтому пока даем суммарный их обзор. Общий объем архива — несколько тысяч листов, по предварительным предположениям — тысяч пять-шесть. Хронологический их диапазон довольно значителен: они охватывают период от начала XIX в. до семидесятых годов.

Центральную группу материалов образует семейная переписка Киреевских и Елагиных, в частности письма А. П. Елагиной— хозяйки знаменитого московского салона тридцатых годов, ее первого мужа В. П. Киреевского, ее детей от первого брака — известных славянофилов И. В. и П. В. Киреевских, их сестры М. В. Киреевской. Затем письма ее второго мужа А. А. Елагина и детей от второго брака — В. А. Елагина и Е. А. Елагиной; эти письма содержат между прочим ряд замечаний и зарисовок, касающихся первых лекций Грановского в Московском университете, которые Е. А. Елагина посещала.

Вторую группу материалов образуют чрезвычайно обильно представленные в архиве письма В. А. Жуковского — дальнего родственника Елагиных, часто и подолгу живавшего в Долбине. Относятся эти письма главным образом к периоду его романа с М. А. Протасовой, т. е. к десятым годам, но частично и к более позднему времени, в частности ко времени его женитьбы. Далее сюда примыкают письма самой М. А. Протасовой, ее матери Е. А. Протасовой и ее мужа И. Ф. Мойера, письма ее сестры к А. А. Протасовой и А. А. Воейкова — мужа последней.

АВТОГРАФ ПИСЬМА А. Ф. ВОЕЙКОВА К КАВЕЛИНУ И ЖУКОВСКОМУ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 1815 г.

Из материалов переведенного в Москву Елагинского архива

Третья группа — письма представителей ближайшего культурно-бытового окружения елагинской семьи — деятелей московского любомудрия, а позднее славянофильства: Шевырева (в частности, его письмо к А. П. Елагиной с описанием его встречи с Гете в 1829 г., впервые публикующееся в исправном виде в гетевском номере «Литературного Наследства»), Погодина, Аксаковых.

Наконец, четвертую группу образуют адресованные Елагиным письма их близкого друга декабриста Батенкова — главным образом периода 1813—1825 гг.

Эпистолярными материалами содержание архива не исчерпывается. Кроме них в архиве обнаружен ряд рукописей П. В. Киреевского — черновики его религиозно-философских трактатов и рассуждений.

Каков удельный вес использованных материалов, насколько значительны материалы, доселе неизвестные, — на все эти вопросы должны дать ответ дальнейшие интенсивно ведущиеся разыскания.

И. Сергиевский

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЗОРЫ И СООБЩЕНИЯ

ХРОНИКА

В НОМЕРЕ 95 ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Адрес редакции: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, тел. 3-91-48.

Обложка работы И. РЕРБЕРГА
Отв. редактор Г. БЕЛИНСКИЙ
Корректировала Н. СКАЛОВА
Уполномоченный Главлита В—30369.

Сдано в набор 20/III, подписано к печати 5/VI 1932 г.
Форм. бум. $Б_5$—72×110 1/16. Печ. знаков в печ. л. 65000. Тираж 10.000 экз.

Заказ тип 333. Журнально-газетное объединение 1198

Отпечатано в 7-й типографии „Искра Революции". Москва, Филипповский пер., 13.

Цена 5 р. 50 коп.